

БЕЛЫЙ КАМЕНЬ ЭРДЕНИ

сборник
фантастики





БЕЛЫЙ КАМЕНЬ ЭРДЕНИ

сборник
фантастики

ЛЕНИЗДАТ • 1982

Составитель Е. П. Брандис

Б43 **Белый камень Эрдени: Сборник фантастики**
/[Сост. Е. П. Брандис]. — Л.: Лениздат, 1982. —
592 с.

Сборник содержит новые произведения фантастики — романы и повести, психологические рассказы и сатирические памфлеты, современные литературные сказки и пародийно-шутливые новеллы. Наиболее крупные произведения сборника — повесть Аркадия и Бориса Стругацких «Жук в муравейнике», роман Георгия Бальдыша «Я убил смерть», повесть Геннадия Николаева «Белый камень Эрдени». Авторы используют фантастический замысел и условный сюжет для раскрытия нравственных проблем, которые ставит перед нами сегодняшняя реальная жизнь.

Н 4702010200—133
М171(03)—82 169—82

84.3(2)7.

© Лениздат, 1982

Настоящий сборник фантастики, как и предыдущие, выпущенные Лениздатом («Вторжение в Персей», «Тайна всех тайн», «Кольцо обратного времени» и др.), разнообразен по темам и жанрам. Читатель найдет здесь научно-фантастический роман, построенный на «твердой» гипотезе, и социально-философскую повесть с детективным сюжетом; приключенческую повесть на легендарной основе и современную литературную сказку, лирико-психологические рассказы и сатирико-политические памфлеты; парадоксальные и шутивно-иронические новеллы. Вероятно, можно было бы подыскать и более точные определения тематических и жанровых признаков, отражающих широту диапазона фантастики в рамках одного сборника. Но при всей несхожести творческих почерков авторы едины в стремлении подчинить фантастический замысел и условный сюжет морально-нравственной проблематике, которую ставит перед нами отнюдь не вымышленная, а наша сегодняшняя, реальная жизнь.

Выдвижение личностного начала в сложнейших диалектических связях между человеком и обществом, человеком и техникой, человеком и природой, раскрытие внутреннего мира героев в острых психологических коллизиях, в драматических, а то и трагедийных конфликтах — пожалуй, и есть то общее, что объединяет столь разнородные произведения и, можно сказать шире, характеризует современную фантастическую прозу.

Переориентировка фантастики с технических проблем на этические — в русле общелитературных исканий. Теперь фантастов интересует не техника сама по себе, а ее воздействие на сознание, не наука как таковая, а социальные и нравственные последствия применения изобретений и открытий. Фантастические допущения — лишь сгусток того, с чем мы встречаемся сегодня или можем столкнуться завтра. Способность фантастики рассматривать жизненные процессы как бы сквозь волшебные стекла, убыстряющие бег времени, помогает осмыслить уже осуществившиеся или неминуемые в обозримом будущем перемены, к которым приводят социальные движения нашего времени и научно-техническая революция.

Сегодняшний уровень научной фантастики определяют социальные и нравственные критерии — научиться обращаться с собственными знаниями, уберечь Землю для наших детей и внуков, научить человека быть добрее и лучше, чем он есть.

Да, ныне многое зависит от этики! От высокого сознания, честности, стойкости ныне живущих и тех, кто придет вслед за нами, зависит будущее всего человечества, зависит реальный облик грядущего, которое создается с упреждением на страницах фантастических книг.

Теперь в современной фантастике мы ищем не пограничные столбы, отделяющие ее от остальной литературы, а те же конфликты и проблемы, которые ставит современная действительность перед всеми писателями, в каких бы жанрах они ни работали. Изобразительные

средства фантастики (условность, символика, гротеск, гипербола) отнюдь не являются «запретными» и для писателей-реалистов. Мастера реалистической прозы охотно берут на вооружение приемы и мотивы фантастики. Вживание в реалистическую ткань фантастической образности и освоение фантастикой реалистических повествовательных методов — процесс двусторонний, отражающий все большую сложность постижения современного мира языком образов.

Разумеется, отсюда не следует заключать, что фантастика якобы «размывается» и теряет свои особенности. Речь идет лишь о новых тенденциях, заметных и в нашем сборнике, где собраны под одной обложкой произведения писателей, связанных интересами либо с литературой преимущественно фантастической, либо с реалистической прозой, либо с поэзией. Но здесь они «за круглым столом» — ветераны и дебютанты, волонтеры или гости Фантастики.

«Ветераны» — это прежде всего Аркадий и Борис Стругацкие. Произведения братьев-соавторов изданы в СССР общим тиражом в несколько миллионов экземпляров, переведены на десятки иностранных языков, удостоены международных премий, а повесть «Жук в муравейнике», центральная в нашем сборнике, получила приз «Аэли-та» — впервые учрежденную в нашей стране Союзом писателей РСФСР и журналом «Уральский следопыт» премию за лучшее фантастическое произведение 1980 года.

«Жук в муравейнике» — как бы одна из глав многотомной, далеко еще не законченной эпопеи о людях XXII века — образует дилогию с повестью «Обитаемый остров», где действуют те же лица: Максим Каммерер и Рудольф Сикорски. Но там события происходят на планете Саракш, поставленной на грань катастрофы феодально-фашистской хунтой, а в новой повести — у нас на Земле, где создано всепланетное коммунистическое общество. Принцип авторов — ничего не «разжевывать». По отдельным деталям читатель сам должен получить представление о том, где и когда происходит действие. К примеру, все решает Мировой Совет (значит, нет государств), детские интернаты расположены на всех шести континентах (значит, в Антарктиде изменен климат), каждый может воспользоваться кабиной нуль-транспортиции (значит, мгновенная переброска в пространстве — дело обычное) и так далее.

Из книги в книгу переходят знакомые персонажи то в качестве главных, то — эпизодических лиц. Максим, отчаянный юноша, чуть было не устроивший на Саракше преждевременную, обреченную на провал революцию, спустя двадцать лет — многоопытный согрудник Комиссии по контролю, получает от руководителя этой мощной организации, самого Экселенца (прозвище Рудольфа Сикорски), секретное задание исключительной важности. Связано оно с тайной личности Льва Абалкина, одного из «подкидышей» загадочной сверхцивилизации Странников, преследующих непонятные, скорее всего недобрые, цели. И когда вложенная в него программа вдруг начинает действовать, Абалкин, сам того не подозревая, становится носителем угрозы, возможно для всего человечества. В сложившейся ситуации трагическая развязка predetermined, как в древнегреческой драме, с роковой неизбежностью. Абалкин во власти Фатума, но не слепой античной Судьбы, а логически мотивированного, жестокого эксперимента Странников.

По сюжету и композиции повесть напоминает психологический детектив и читается с непрерывно нарастающим напряжением. Повествование ведется от имени рассказчика — Максима, от имени Абалкина (отрывки из его служебного отчета) и затем, когда действие достигает кульминации, — от третьего лица, в объективно-спокойном тоне, по

контрасту с накалом страстей и событий. Позже читатель узнает, что Максим изложил со слов Экселенца биографию Льва Абалкина. И наконец, ошеломительная развязка — снова от имени Максима. Экспрессивный повествовательный стиль, внутренние монологи, сказовая речь, стремительные, будто бы небрежные, реплики делают образы невольных антагонистов резко индивидуализированными. Каждый — незаурядная личность, со своим характером, со своей судьбой. «Жук в муравейнике» — не более чем эпизод, вобравший множество взаимозависимых факторов — не где-то в глубинах Галактики, а у нас дома, на благоустроенной планете Земля.

Герои Стругацких живут в динамичном, быстро меняющемся мире, и смоделирован он так убедительно, что даже на условном фантастическом фоне кажется почти достоверным. У этого Будущего нет и не будет идиллии. Действительность ставит перед людьми все более сложные задачи. Отсюда — противоречия и конфликты, толкающие к новым свершениям. Человечество, вступая в Контакт с другими цивилизациями Галактики, считает своим нравственным долгом помогать отсталым планетам в борьбе за будущее — содействовать их переходу на путь прогрессивного развития. Возникает комплекс проблем: польза или вред любого стороннего вмешательства в ход истории; трудности взаимопонимания с иным Разумом; ответственность ученых и человечества в целом за допущение опасных экспериментов или опрометчивых действий, вызывающих цепную реакцию негативных последствий; соблюдение научной тайны, либо запрет на исследования, если в них таится угроза. Все это стянуто в сюжетные узлы и отнюдь не выглядит умозрительно. Конфликты и проблемы, обращенные, казалось бы, к будущему, наводят на серьезные размышления, воспринимаются как метафоры и гиперболы противоречий нашего времени.

Вторжение будущего в сегодняшний день и проекция современности в будущее — обычные приемы фантастики. Сергей Снегов в своем рассказе «Чудотворец из Вшивого тупика» вскрывает испытанным гротескно-сатирическим методом абсурдность претензий тоталитарного фашистского государства на полную безликость, «совершенную» унификацию граждан, превращения их в живых автоматов на всех ступенях иерархической лестницы. Нужно заметить, что Сергей Снегов, автор фантастической трилогии «Люди как боги», документальных книг о физиках XX века, реалистических повестей и романов, в данном случае добивается эффекта воздействия обаятельно публицистическими средствами. Синхронизация действий Властителя и всего населения достигается посредством «нейтронно-волновой промывки психики», «Автоматических Душеглядов», контролирующих «каналов Общественного Сознания», а в затруднительных случаях — применением «квантово-дальнобойной артиллерии», которая распыляет людей, «полностью сохраняя их снаряжение и имущество».

Высшая цель абсолютного диктатора — добиться солдатского тупого повиновения, когда даже думать все обречены одинаково, одними и теми же продуцируемыми с пульта командами, причем сам диктатор — не более чем «Органчик», еще упрощенней, чем в городе Глупове, и еще страшней, потому что он связан электронной аппаратурой со всеми подданными. Стоило появиться здесь человеку с нестандартными свойствами, как весь механизм подавления расслаживается и система взрывает себя изнутри. Автор показывает не только нелепость, идиотизм подобного общественного устройства, но и его непрочность, нежизнеспособность.

Близок к памфлету рассказ известного прозаика-реалиста Бориса Никольского «Хозяин судьбы». Писатель исследует близкую к действительности механику нивелировки личности на примере доведенной до

логического абсурда грабительской индустрии азартных игр. Фирма «Оракул-ХХ» процветает за счет лжепророчеств, иллюзорных посулов любому желающему подняться над своей незавидной судьбой. При этом совершенная техника, которой располагает фирма, почти на грани возможного, а методы оболванивания доверчивых простаков хорошо известны. Недаром все начинается с рекламного проспекта, найденного Джеймсом Тышкевичем в почтовом ящике...

К циклу обличительных произведений относится также рассказ-предупреждение «Стена» Александра Шалимова, автора многих научно-фантастических книг. Сюжет строится на «случайности»: где-то за морями за горами, в пустынной местности, за тридцать или сорок лет до начала действия, самолет «нечаянно уронил» бомбу, и вот к чему это привело — к деградации и одичанию немногих людей, уцелевших в зараженной радиацией зоне.

В романе Георгия Бальдыша «Я убил смерть» взаимоотношения действующих лиц строятся в привычном психологическом плане — любовь, ревность, измена, соперничество, подлость одних, благородство других. И на этом бытовом фоне, причудливо сочетаясь с ним, разворачивается научно-фантастический замысел. Эпиграфом к роману могли бы послужить слова Норберта Винера: «Как-то я присутствовал на обеде в кругу врачей. Непринужденно беседуя между собой и не боясь высказать вещи необычные, они стали обсуждать возможности решительного наступления на болезнь, называемую дегенерацией человеческого организма, или попросту старостью. ...Собеседники стремились заглянуть вперед, в тот, быть может, не такой уж далекий завтрашний день, когда момент неизбежной смерти можно будет отдалить, вероятно, в необозримое будущее, а сама смерть станет столь же случайной, как это бывает у гигантских секвой и, кажется, у некоторых рыб».

Заглавие «Я убил смерть» точно и полно передает замысел, обусловленный биологическими проблемами: законы эволюции, приводящие к вершинам самосознющего и творящего себя интеллекта, раскрытие механизмов одряхления и смерти, запись памяти для последующего воспроизведения индивида, бессмертие особи и бессмертие вида, к чему бы привело бессмертие и т. д. В постановке и «решении» этих проблем художественными средствами автор отталкивается от достижений современной медицины и биологии, от существующих идей и гипотез, благоразумно воздерживаясь от подробных обоснований экспериментов и ограничиваясь лишь общими принципами. Это именно тот случай, когда конкретные идеи в фантастике воспринимаются, по выражению М. Горького, как «смелые задания науке и технике».

Размышления Дима и его коллег, совершенные им поразительные открытия органически вырастают в сюжет. Прямое действие чередуется с воспоминаниями дважды воскрешенного молодого ученого о его прошлой жизни и работе, проясняющими его необыкновенную судьбу. И так постепенно восстанавливается драматическая история человека, сумевшего победить смерть. Автор незаметно переводит повествование от первого лица к третьему. Смещение интонаций придает изложению живость и непосредственность. Образы четырех главных героев, и в первую очередь самого Дима, раскрыты в переплетении научных и бытовых интересов, различных стремлений и судеб. Перед нами незаурядный психологический роман на тему столь же фантастическую, околь и научную, ибо к проблемам, волнующим автора, ныне приковано внимание коллективов ученых. Георгий Бальдыш — опытный литератор, работающий в разных жанрах. Его обращение к научной фантастике во всех отношениях плодотворно.

Представленные в сборнике короткие психологические повести и

рассказы построены в основном на любовных коллизиях. Научно-технические атрибуты будущего намечают условный фон, нужный прежде всего для обострения действия. Если и даются мотивировки, то обычно в общих словах. Пожалуй, только в рассказе Феликса Дымова «Горький напиток „Сезам“» объяснения особенностей устройства и работы орбитальной пылесосной станции «Пульверс» — не просто придуманный антураж, а необходимые компоненты сюжета, раскрывающие загадку гибели юной подруги «станционного смотрителя». Сражение с наступающей пылью, которая разрастается до символа агрессивно враждебной человеку стихии, определяет глубинное содержание рассказа в традиционном понимании научно-фантастического.

В остальных, близких по типу произведениях — «Будешь помнить одно мое имя» Галины Усовой, «Город, в котором не бывает дождей» Бориса Романовского, «Солнце по утрам» Наталии Никитайской, «Ошибка» Галины Панизовской — авторы используют фантастическое допущение как художественный прием, ставящий героев в экстремальную ситуацию. А это требует наибольшего сосредоточения душевных сил, выбора трудного решения.

Неважно, какая фантастическая посылка дает «первый толчок» и организует сюжетное построение. «Энергия эмоций», произведшая взрыв на биостанции, понадобилась Г. Усовой, чтобы проследить драматическую историю трех судеб, раскрыть в движении три характера. Погибшая исследовательница предстает в двух ракурсах как ярко очерченный образ. Оба близких ей человека под воздействием нерасеявшейся энергии ее сильных эмоций мысленно ведут с ней споры, обнажая души в воображаемых диалогах. Произвольное допущение в данном случае себя оправдало, как и в рассказе Б. Романовского, где «стирание личности» преступника и пересадка в ту же телесную оболочку чужого интеллекта заставляют молодую женщину почувствовать свою вину, понять и простить убийцу.

Инопланетный корабль с «разведчиками Вселенной» ставит альтернативу перед героиней рассказа Н. Никитайской — либо навсегда остаться с любимым, либо возвратиться на Землю с сыном, чтобы освободить место на корабле для двух ученых. В созданных волею автора неповторимых условиях иного выбора не было. Отказ от личного счастья — единственно нравственное решение. Равно, как и для героини Г. Панизовской. Парадокс состоит в том, что историк из будущего мог и не знать закона «дискретности времени», из-за которого нельзя вернуться в тот же временной отрезок, а Надежда Веселова, талантливый математик, открывшая этот закон, ничего ему не сказала, боясь, что он останется, «а потом когда-нибудь пожалеет».

Разумеется, суть и смысл любого из этих произведений не сводятся к однозначной формуле, говорящей скорее о жанровой типологии. В той же новелле Г. Панизовской главное, конечно, не парадокс, а попытка передать мироощущение человека, свободного от оков времени и вместе с тем привязанного к своей эпохе. Открытие Веселовой у одних вызывает сомнения, у других — зависть, и эта женщина, опередившая современников, чувствует себя белой вороной в своем 2023 году...

Повести «Белый камень Эрдени» Геннадия Николаева и «Старуха с лорнетом» Олега Тарутина переводят фантастическую условность в полусказочный или откровенно сказочный план. Достаточно было Борису Митрохину проглотить конфетку с неведомым снадобьем, которую он получил от симпатичной старушки, как он почувствовал бурный прилив сил и скрытые в себе небывалые возможности, заложенные в каждом нормальном человеке, но полностью не реализуемые. В юмористическом тоне, на примерах из повседневного быта, как бы иллю-

стрирующих эту мысль, автор затрагивает очень серьезную проблему. До сих пор Олега Тарутина знали как поэта, а теперь будут знать и как одаренного прозаика.

Г. Николаев соединяет легенду с действительностью. Искусно стилизованное бурятское сказание о поющем «белом камне Эрдени», способном «смешивать тысячи веков», неожиданно получает подтверждение во время туристского похода в долину горного озера, на дне которого будто бы скрыт чудодейственный камень, упавший когда-то с неба. Повесть полна приключений, о которых поочередно рассказывают все пять персонажей. В какой-то момент, совпавший с пробуждением сейсмической активности, они словно бы отброшены назад во времени и превратились в первобытных пещерных людей. Поведение каждого соответствует его темпераменту, преобладающим признакам генотипа. «Сквозь века в разных телесных оболочках, — утверждает автор устами одного из героев, — передается одна и та же человеческая суть».

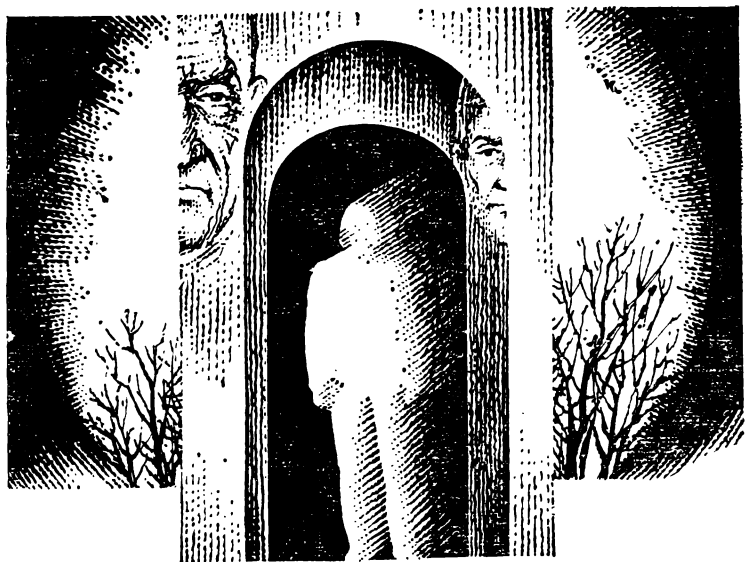
Нравственный урок ненавязчиво вытекает из самого замысла: человек должен уметь преодолевать темные инстинкты, оставшиеся от далекого прошлого, — только тогда он становится Человеком. Эта оригинальная повесть создана писателем, до сих пор выступавшим в реалистических жанрах.

Вадим Шефнер не раз заявлял, что видит в фантастике продолжение поэзии иными средствами: «Сказочность, странность, возможность творить чудеса, возможность ставить героев в невозможные ситуации — вот что меня привлекает». Все это причудливо воплощается в рассказе «Записки зубовладельца». Нагромождение нелепых случайностей соединяет приметы ленинградского быта 30-х годов с «городской» сказкой, забавный сюжет — с «философскими» раздумьями рассказчика, простодушного чудака, в действительности не столь уж наивного, каким он хочет казаться. И эта балансировка на грани юмора и серьезности придает обаяние иронической прозе поэта.

Пародийно-шутливые, лукаво-насмешливые новеллы принесли популярность Илье Варшавскому. Новелла «Сумма достижений», оставшаяся в архиве покойного писателя, публикуется здесь впервые. В текст органически входят цитаты из «Преступления и наказания». В последних строках новеллы выясняется, что изобретение иллюзионного аппарата и «эффект участия» героя в романе Достоевского — плод больного воображения, а точнее — остроумная пародия на неумелых фантастов, отрабатывающих отработанные сюжеты.

Таково в общих чертах содержание очередного сборника фантастики, который мы предлагаем вниманию читателей.

Евг. Брандис



*Аркадий Стругацкий,
Борис Стругацкий*

Более двадцати лет назад повестью «Полдень, XXII век» мы начали цикл произведений о далеком будущем, каким мы хотели бы его видеть. «Попытка к бегству», «Далекая радуга», «Трудно быть богом», «Обитаемый остров», «Малыш», «Парень из преисподней»... Время действия всех этих повестей, написанных в разные годы, — XXII век, а их главные герои — коммунары, люди коммунистической Земли, представители объединенного человечества, уже забывшего, что такое нищета, голод, несправедливость, эксплуатация. «Жук в муравейнике» — последняя (пока) повесть этого цикла. Тематически она продолжает повесть «Обитаемый остров». Здесь действуют те же герои — Максим Каммерер и Рудольф Сикорски, — но они теперь стали на два десятка лет старше, и они уже не Прогрессоры — специалисты по ускорению развития остальных инопланетных цивилизаций, они — Сотрудники Комиссии по контролю, КОМКОНа, наблюдающей за тем, чтобы наука в процессе бурного развития своего не нанесла ущерба человечеству Земли.

Жук в муравейнике

ПОВЕСТЬ

1 июня 78 года. СОТРУДНИК КОМКОНА-2 МАКСИМ КАММЕРЕР.

В 13.17 Экселенц вызвал меня к себе. Глаз он на меня не поднял, так что я видел только его лысый череп, покрытый бледными старческими веснушками,— это означало высокую степень озабоченности и неудовольствия. Не моими делами, впрочем.

— Садись.

Я сел.

— Надо найти одного человека,— сказал он и замолчал. Надолго. Собрал кожу на лбу в сердитые складки. Фыркнул. Можно было подумать, что ему не понравились собственные слова. То ли их форма, то ли содержание. Экселенц обожает абсолютную точность формулировок.

— Кого именно? — спросил я, чтобы вывести его из филологического ступора.

— Льва Вячеславовича Абалкина. Прогрессора. Отбыл позавчера на Землю с Полярной базы Саракша. На Земле не зарегистрировался. Надо его найти.

Он снова замолчал и тут впервые поднял на меня свои круглые, неестественно зеленые глаза. Он был в явном затруднении, и я понял, что дело серьезное.

Прогрессор, не посчитавший нужным зарегистрироваться по возвращении на Землю, хотя и является, строго говоря, нарушителем порядка, но заинтересовать своей особой нашу Комиссию, да еще самого Экселенца, конечно же, никак не может. А между тем Экселенц был в столь явном затруднении, что у меня появилось ощущение, будто он вот-вот откинется на спинку кресла, вздохнет с каким-то даже облегчением и проворчит: «Ладно. Извини. Я сам этим займусь». Такие случаи бывали. Редко, но бывали.

— Есть основания предполагать,— сказал Экселенц,— что Лев Абалкин скрывается.

Лет пятнадцать назад я бы жадно спросил: «От кого?», однако с тех пор прошло пятнадцать лет, и времена жадных вопросов давно миновали.

— Ты его найдешь и сообщишь мне,— продолжал Экселенц.— Никаких силовых контактов. Вообще никаких контактов. Найти, установить наблюдение и сообщить мне. Не больше и не меньше.

Я попытался отделаться солидным понимающим кивком, но он смотрел на меня так пристально, что я счел необходимым нарочито неторопливо и вдумчиво повторить приказ.

— Я должен обнаружить его, взять под наблюдение и сообщить вам. Ни в коем случае не пытаться его задерживать, не попадаться ему на глаза и тем более не вступать в разговоры.

— Так,— сказал Экселенц.— Теперь следующее.

Он полез в боковой ящик стола, где всякий нормальный сотрудник держит справочную кристаллотеку, и извлек оттуда некий громоздкий предмет, название которого я сначала вспомнил на хонтийском: «заккурапия», что в точном переводе означает — «вместилище документов». И только когда он водрузил это вместилище на стол перед собой и сложил на нем длинные узловатые пальцы, у меня вырвалось:

— Папка для бумаг!

— Не отвлекайся,— строго сказал Экселенц.— Слушай внимательно. Никто в Комиссии не знает, что я интересуюсь этим человеком. И ни в коем случае не должен знать. Следовательно, работать ты будешь один. Никаких помощников. Всю свою группу переподчинишь Клавдию, а отчитываться будешь передо мной и только передо мной. Никаких исключений.

Надо признаться, это меня ошеломило. Просто такого еще не было. На Земле я никогда еще не встречался с таким уровнем секретности. И честно говоря, даже представить себе не мог, что такое возможно. Поэтому я позволил себе довольно глупый вопрос:

— Что значит — никаких исключений?

— Никаких — в данном случае означает просто никаких. Есть еще несколько человек, которые в курсе дела, но поскольку ты с ними никогда не встретишься, то практически о нем знаем только мы вдвоем. Разумеется, в ходе поисков тебе придется говорить со многими людьми. Каждый раз ты будешь пользоваться какой-нибудь легендой. О легендах изволь позаботиться сам. Без легенды будешь разговаривать только со мной.

— Да, Экселенц,— сказал я смиренно.

— Далее,— продолжал он.— Видимо, тебе придется начать с его связей. Все, что мы знаем о его связях, нахо-

дится здесь.— Он постучал пальцем по папке.— Не слишком много, но есть с чего начать. Возьми.

Я принял папку. С таким я тоже на Земле еще не встречался. Корки из тусклого пластика были стянуты металлическим замком, и на верхней было вытиснено кармином: «ЛЕВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ АБАЛКИН». А ниже почему-то — «07».

— Слушайте, Экселенц,— сказал я.— Почему в таком виде?

— Потому что в другом виде этих материалов нет,— холодно ответил он.— Кстати, кристаллокопирование не разрешаю. Других вопросов у тебя нет?

Разумеется, это не было приглашением задавать вопросы. Просто небольшая порция яда. Вопросов было множество, и без предварительного ознакомления с папкой их не имело смысла задавать. Однако я все же позволил себе два.

— Сроки?

— Пять суток. Не больше.

«Ни за что не успеть»,— подумал я.

— Могу я быть уверен, что он — на Земле?

— Можешь.

Я встал, чтобы идти, но он еще не отпустил меня. Он смотрел на меня снизу вверх пристальными зелеными глазами, и зрачки у него сужались и расширялись, как у кота. Конечно же, он ясно видел, что я недоволен заданием, что задание представляется мне не только странным, но и, мягко выражаясь, нелепым. Однако по каким-то причинам он не мог сказать мне больше, чем уже сказал. И в то же время не хотел отпустить меня без того, чтобы сказать хоть что-нибудь.

— Помнишь,— проговорил он,— на планете по имени Саракш некто по имени Странник гонялся за шустрым молокососом по имени Мак...

— Я помнил.

— Так вот,— сказал Экселенц.— Странник тогда не поспел. Мы же с тобой должны поспеть. Потому что планета теперь называется не Саракш, а Земля. А Лев Абалкин — не молокосос.

— Загадками изволите говорить, шеф? — сказал я, чтобы скрыть охватившее меня беспокойство.

— Иди работай,— сказал он.

1 июня 78 года. КОЕ-ЧТО О ЛЬВЕ АБАЛКИНЕ, ПРОГРЕССОРЕ.

Андрей и Сандро все еще дожидались меня и были потрясены, когда я переподчинил их Клавдию. Они даже

заартачились было, но беспокойство мое не проходило, я рывкнул на них, и они удалились, обиженно ворча и бросая на папку недоверчиво-встревоженные взгляды. Эти взгляды возбудили во мне новую и совершенно неожиданную заботу: где мне теперь держать это чудовищное «вместилище документов»?

Я уселся за стол, положил папку перед собой и машинально взглянул на регистратор. Семь сообщений за четверть часа, которые я провел у Экселенца. Признаюсь, не без удовольствия я переключил всю свою рабочую связь на Клавдия. Затем я занялся папкой.

Как я и ожидал, в папке не было ничего, кроме бумаги. Двести семьдесят три пронумерованных листка разного цвета, разного качества, разного формата и разной степени сохранности. Я не имел дела с бумагой добрых два десятка лет, и первым моим побуждением было засунуть всю эту груду в транслятор, но я, разумеется, вовремя спохватился. Бумага так бумага. Пусть будет бумага.

Все листки были очень неудобно, но прочно схвачены хитроумным металлическим устройством на магнитных защелках, и я не сразу заметил самую обыкновенную радиокарточку, подsunутую под верхний зажим. Эту радиogramму Экселенц получил сегодня, за шестнадцать минут до того, как вызвал меня к себе. Вот что в ней было:

01.06—13.01. СЛОН — СТРАННИКУ

НА ВАШ ЗАПРОС О ТРИСТАНЕ ОТ 01.06—07.11 СООБЩАЮ: 31.05—19.34 ЗДЕСЬ ПОЛУЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ КОМАНДИРА БАЗЫ САРАКШ-2. ЦИТИРУЮ: ПРОВАЛ ГУРОНА (АБАЛКИН, ШИФРОВАЛЬЩИК ШТАБА ГРУППЫ ФЛОТОВ «Ц» ОСТРОВНОЙ ИМПЕРИИ). 28.05 ТРИСТАН (ЛОФФЕНФЕЛЬД, ВЫЕЗДНОЙ ВРАЧ БАЗЫ) ВЫЛЕТЕЛ ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО МЕДОСМОТРА ГУРОНА. СЕГОДНЯ 29.05—17.13 НА ЕГО БОТЕ ПРИБЫЛ НА БАЗУ ГУРОН. ПО ЕГО СЛОВАМ, ТРИСТАН ПРИ НЕИЗВЕСТНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ БЫЛ СХВАЧЕН И УБИТ КОНТРРАЗВЕДКОЙ ШТАБА «Ц». ПЫТАЯСЬ СПАСТИ ТЕЛО ТРИСТАНА И ДОСТАВИТЬ ЕГО НА БАЗУ, ГУРОН РАСКРЫЛ СЕБЯ. СПАСТИ ТЕЛО ЕМУ НЕ УДАЛОСЬ. ПРИ ПРОРЫВЕ ГУРОН ФИЗИЧЕСКИ НЕ ПОСТРАДАЛ, НО НАХОДИТСЯ НА ГРАНИ ПСИХИЧЕСКОГО СПАЗМА. ПО ЕГО НАСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОСЬБЕ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА ЗЕМЛЮ РЕЙСОВЫМ 611. ЦИТАТА ОКОНЧЕНА.

СПРАВКА: 611-Й ПРИБЫЛ НА ЗЕМЛЮ 30.05—22.32. АБАЛКИН НА СВЯЗЬ С КОМКОНОМ НЕ ВЫХОДИЛ, НА ЗЕМЛЕ К МОМЕНТУ СЕГОДНЯ 12.53 НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН. НА ОСТАНОВКАХ ПО МАШРУТУ 611-ГО (ПАНДОРА, КУРОРТ) НА ТОТ ЖЕ МОМЕНТ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН ТАКЖЕ. СЛОН.

Прогрессоры. Так. Признаюсь совершенно откровенно: я не люблю Прогрессоров, хотя сам был, по-видимому, одним из первых Прогрессоров еще в те времена, когда это понятие употреблялось только в теоретических выкладках. Впрочем, надо сказать, что в своем отношении к Прогрессорам я не оригинален. Это не удивительно: подавляющее большинство землян органически не способны понять, что бывают ситуации, когда компромисс исключен. Либо они меня, либо я их, и некогда разбираться; кто в своем праве. Для нормального землянина это звучит дико, и я его понимаю, я ведь и сам так думал, пока не попал на Саракш. Я прекрасно помню это видение мира, когда любой носитель разума априорно воспринимается как существо, этически равное тебе, когда невозможна сама постановка вопроса — хуже он тебя или лучше, даже если его этика и мораль отличаются от твоей...

И тут мало теоретической подготовки, недостаточно модельного кондиционирования — надо самому пройти через сумерки морали, увидеть кое-что собственными глазами, как следует опалить собственную шкуру и накопить не один десяток тошнотных воспоминаний, чтобы понять наконец, и даже не просто понять, а влить в мировоззрение эту, некогда тривиальнейшую мысль: да, существуют на свете носители разума, которые гораздо, значительно хуже тебя, каким бы ты ни был... И вот только тогда ты обретаешь способность делить на чужих и своих, принимать мгновенные решения в острых ситуациях и обучаешься смелости сначала действовать, а уж потом разбираться.

По-моему, в этом сама суть Прогрессора: умение решительно делить на своих и чужих. Именно за это умение к ним относятся дома с опасливым восторгом, с восторженной опаской, а сплошь и рядом — с несколько брезгливой настороженностью. И тут уж ничего не поделаешь. Приходится терпеть — и нам, и им. Потому что либо Прогрессоры, либо нечего Земле соваться во внеземные дела... Впрочем, к счастью, нам в КОМКОНе-2 достаточно редко приходится иметь дело с Прогрессорами.

Я прочитал радиogramму, внимательно перечитал ее еще раз. Странно. Выходит, Экселенц интересуется главным образом неким Тристаном, он же Лоффенфельд. Ради того чтобы узнать нечто об этом Тристане, он поднялся сегодня в несусветную рань сам и не постеснялся подняться с постели нашего Слона, который, как всем известно, ложится спать с петухами...

Еще одна странность: можно подумать, что он заранее знал, какой будет ответ. Ему понадобилось всего четверть

часа, чтобы принять решение о розыске Абалкина и приготовить для меня папку с его бумагами. Можно подумать, что эта папка уже была у него под рукой...

И самое странное: конечно, Абалкин — последний человек, который видел хотя бы труп Тристана, но если Экселенцу Абалкин понадобился только как свидетель по делу Тристана, то к чему была эта зловещая притча о некоем Страннике и некоем молокососе?

О, разумеется, у меня были версии. Двадцать версий. И среди них ослепительным алмазом сверкнула, например, такая: Гурон — Абалкин перевербован имперской разведкой, он убивает Тристана — Лоффенфельда и скрывается на Земле, имея целью внедрить себя в Мировой Совет...

Я еще раз перечитал радиogramму и отложил ее в сторону. Ладно. Лист № 1. Абалкин Лев Вячеславович. Кодовый номер такой-то. Генетический код такой-то. Родился 6 октября 38 года. Воспитание: школа-интернат 241, Сыктывкар. Учитель: Федосеев Сергей Павлович. Образование: школа Прогрессоров № 3 (Европа). Наставник: Горн Эрнст-Юлий. Профессиональные склонности: зоопсихология, театр, этнолингвистика. Профессиональные показания: зоопсихология, теоретическая ксенология. Работа: февраль 58 — сентябрь 58, дипломная практика, планета Саракш, опыт контакта с расой голованов в естественной обстановке...

Тут я остановился. Вот так так! А ведь я же его, пожалуй, помню! Правильно, это было в 58-м. Явилась целая компания — Комов, Раулингсон, Марта... и этот угрюмоватый парнишка-практикант. Экселенц (в те времена — Странник) приказал мне все бросить и переправить их через Голубую Змею в Крепость под видом экспедиции Департамента науки... Мосластый такой парень с очень бледным лицом и длинными прямыми черными волосами, как у американского индейца. Правильно! Они все звали его (кроме Комова, конечно) Левушка-ревушка или просто Ревушка, но не потому, разумеется, что он был плакса, а потому что голос у него был зычный, взреывающий, как у тахорга... Тесен мир! Ладно, посмотрим, что с ним стало дальше.

Март 60 — июль 62: планета Саракш, руководитель-исполнитель операции «Человек и головыны». Июль 62 — июнь 63: планета Пандора, руководитель-исполнитель операции «Голован в Космосе». Июль 63 — сентябрь 63: планета Надежда, участие совместно с голованом Щекном в операции «Мертвый мир». Сентябрь 63 — август 64: планета Пандора, курсы переподготовки. Август 64 — ноябрь 66:

планета Гиганда, первый опыт самостоятельного внедрения — младший бухгалтер службы охотничьего собаководства, псарь маршала Нагон-Гига, егермейстер герцога Алайского (см. лист № 66)...

Я посмотрел лист № 66. Это оказался клочок бумаги, небрежно откуда-то выданный и сохранивший складки от помятостей. На нем размашистым почерком было написано: «Руди! Чтобы ты не беспокоился. Божьим попущением на Гиганде встретились двое наших близнецов. Уверяю тебя — совершенная случайность и без последствий. Если не веришь, загляни в 07 и 11. Меры уже приняты». Неразборчивая вычурная подпись. Слово «совершенная» подчеркнуто трижды. На обороте бумажки — какой-то печатный текст арабской вязью.

Я поймал себя на том, что чешу в затылке, и вернулся к листу № 1.

Ноябрь 66 — сентябрь 67: планета Пандора, курсы переподготовки. Сентябрь 67 — декабрь 70: планета Саракш, внедрение в республику Хонти — унионист-подпольщик, выход на связь с агентурой Островной Империи (первый этап операции «Штаб»). Декабрь 70: планета Саракш, Островная Империя — заключенный концентрационного лагеря (до марта 71 без связи), переводчик комендатуры концентрационного лагеря, солдат строительных частей, старший солдат в Береговой Охране, переводчик штаба отряда Береговой Охраны, переводчик-шифровальщик флагамена 2-го подводного флота группы «Ц», шифровальщик штаба группы флотов «Ц». Наблюдающий врач: с 38 по 53 — Леканова Ядвига Михайловна; с 53 по 60 — Крэсеску Ромуальд; с 60 — Лоффенфельд Курт.

Все. Больше на листе № 1 ничего не было. Впрочем, на обороте крупно, во всю страницу было изображено размытыми коричневыми полосами (словно бы гуашью) что-то вроде стилизованной буквы «Ж».

Ну что ж, Лев Абалкин, Левушка-ревушка, теперь я о тебе уже кое-что знаю. Теперь я уже могу начинать искать тебя. Я знаю, кто твой Учитель. Я знаю, кто твой Наставник. Я знаю твоих наблюдающих врачей... А вот чего я не знаю, так это — зачем и кому нужен этот лист № 1? Ведь если бы человеку понадобилось узнать, кто есть Лев Абалкин, он мог бы вызвать информаторий (я вызвал БВИ), набрал бы имя или кодовый номер (я набрал кодовый номер) и спустился... раз-и-два-и-три-и... четыре секунды получил бы возможность узнать все, что один человек имеет право знать о другом, постороннем для него человеке.

Пожалуйста: Абалкин Лев и так далее, кодовый номер, генетический код, родился тогда-то, родители (кстати, почему в листе № 1 не указаны родители?): Абалкина Стелла Владимировна и Цюрупа Вячеслав Борисович, школа-интернат в Сыктывкаре, Учитель, школа Прогрессоров, Наставник... Все совпадает. Так. Прогрессор, работает с 60-го: планета Саракш. Гм. Немного. Только официальные данные. По-видимому, в дальнейшем решил не утруждать себя сообщением новых сведений службе БВИ... А это что? «Адрес на Земле: не зарегистрирован».

Я набрал новый запрос: «По каким адресам регистрировался на Земле кодовый номер такой-то?» Через две секунды последовал ответ: «Последний адрес Абалкина на Земле — школа Прогрессоров № 3 (Европа)». Тоже любопытная деталь. Либо Абалкин за последние восемнадцать лет на Земле не был ни разу, либо человек он крайне нелюдимый, не регистрируется никогда и никаких сведений о себе давать не желает. И то и другое представить себе, конечно, можно, однако выглядит это в достаточной мере непривычно...

Как известно, в БВИ содержатся только те сведения, которые человек хочет сообщить о себе сам. А что содержится с листе № 1? Я решительно не вижу в этом листе ничего такого, что Абалкину стоило бы скрывать. Все там изложено гораздо подробнее, но ведь за такого рода подробностями никому и в голову не пришло бы обращаться в БВИ. Обратись в КОМКОН-1, и там тебе все это изложат. А чего не знают в КОМКОНе, легко выяснить, потолкавшись на Пандоре среди Прогрессоров, проходящих там рекондиционирование или просто валяющихся на Алмазном Пляже, у подножия величайших в обитаемом Космосе песчаных дюн...

Ладно, господь с ним, с этим листом № 1. Хотя в скобках отметим, что мы так и не поняли, зачем он нужен вообще, да еще такой подробный... А если уж он такой подробный, то почему в нем нет ни слова о родителях?

Стоп. Это, скорее всего, меня не касается. А вот почему он, вернувшись на Землю, не зарегистрировался в КОМКОНе? Это можно объяснить: психический спазм. Отвращение к своему делу. Прогрессор на грани психического спазма возвращается на родную планету, где он не был по меньшей мере восемь лет. Куда он пойдет? По-моему, к маме идти в таком состоянии непристойно. Абалкин не похож на сопляка, точнее — не должен быть похож. Учитель? Или Наставник? Это возможно. Это вполне вероятно. Поплакаться в жилетку. Это я по себе знаю, Причём

скорее Учитель, чем Наставник. Ведь Наставник в каком-то смысле все-таки коллега, а у нас отвращение к делу... Стоп. Да стоп же! Что это со мной? Я посмотрел на часы. На два документа у меня ушло тридцать четыре минуты. Причем я ведь даже не изучал их, а только знакомился с ними.

Я заставил себя сосредоточиться и вдруг понял, что дело плохо. Я вдруг осознал, что мне совсем не интересно думать о том, как найти Абалкина. Мне гораздо интереснее понять, ПОЧЕМУ его так нужно найти. Разумеется, я немедленно разозлился на Экселенца, хотя простая логика подсказывала мне, что, если бы это помогло мне в поисках, шеф непременно представил бы все необходимые объяснения. А раз он не объяснил мне, ПОЧЕМУ надо искать и найти Абалкина, значит это ПОЧЕМУ не имеет никакого отношения к вопросу КАК.

И тут же я понял еще одну вещь. Вернее, не понял, а почувствовал. А еще точнее — заподозрил. Вся эта громоздкая папка, все это обилие бумаг, вся эта пожелтевшая писанина ничего не даст мне, кроме, может быть, еще нескольких имен и огромного количества новых вопросов, опять-таки не имеющих никакого отношения к вопросу КАК.

1 июня 78 года. ВКРАТЦЕ О СОДЕРЖАНИИ ПАПКИ.

К 14.23 я закончил опись содержимого.

Большую часть бумаг составляли документы, написанные, как я понял, рукой самого Абалкина.

Во-первых, это был его отчет об участии в операции «Мертвый мир» на планете Надежда — семьдесят шесть страниц, исписанных отчетливым крупным почерком почти без помарок. Я бегло проглядел эти страницы. Абалкин рассказывал, как он с голованом Щекном в поисках какого-то объекта (я не уловил, какого именно) пересек покинутый город и одним из первых вступил в контакт с остатками несчастных аборигенов.

Полтора десятка лет назад Надежда и ее дикая судьба были на Земле притчей во языцех, да они и оставались до сих пор притчей во языцех, как грозное предупреждение всем обитаемым мирам во Вселенной и как свидетельство самого недавнего по времени и самого масштабного вмешательства Странников в судьбы других цивилизаций. Теперь считается твердо установленным, что за свое последнее столетие обитатели Надежды потеряли контроль над развитием технологии и практически необратимо наруши-

ли экологическое равновесие. Природа была уничтожена. Отходы промышленности, отходы безумных и отчаянных экспериментов в попытках исправить положение загрозили планету до такой степени, что местное человечество, пораженное целым комплексом генетических заболеваний, было обречено на полное одичание и неизбежное вымирание. Генные структуры взбесились на Надежде. Собственно, насколько я знаю, до сих пор никто у нас так и не понял механику этого бешенства. Во всяком случае, модель этого процесса до сих пор не удалось воспроизвести ни одному нашему биологу. Бешенство генных структур. Внешне это выглядело как стремительное, нелинейное по времени ускорение темпов развития всякого мало-мальски сложного организма. Если говорить о человеке, то до двенадцати лет он развивался, в общем, нормально, а затем начинал стремительно взрослеть и еще более стремительно стареть. В шестнадцать лет он выглядел тридцатипятилетним, а в девятнадцать, как правило, умирал от старости.

Разумеется, такая цивилизация не имела никакой исторической перспективы, но тут пришли Странники. Впервые, насколько нам известно, они активно вмешались в события чужого мира. Теперь можно считать установленным, что им удалось вывести подавляющее большинство населения Надежды через межпространственные тоннели и, видимо, спасти. (Куда были выведены эти миллиарды несчастных больных людей, где они сейчас и что с ними случилось, мы, конечно, не знаем и, похоже, узнаем не скоро.)

Абалкин принимал участие лишь в самом начале операции «Мертвый мир», и роль, которая ему там отводилась, была достаточно скромной. Хотя, если взглянуть на это с принципиальной стороны, он был первым (и пока единственным) Прогрессором-землянином, которому довелось работать в паре с представителем разумной негуманоидной расы.

Проглядывая этот отчет, я обнаружил, что Абалкин упоминает там довольно много имен, но у меня сложилось впечатление, что для дела следует взять на заметку одного только Щекна. Мне было известно, что сейчас на Земле пребывает целая миссия голованов, и, пожалуй, имело смысл выяснить, нет ли среди них этого Щекна. Абалкин писал о нем с такой теплотой, что я не исключал возможности их встречи. К этому моменту я уже отметил для себя, что у Абалкина особое отношение к «меньшим братьям»: на голованов он потратил несколько лет жизни, на Гиганде стал псарем... и вообще.

И был в папке еще один отчет Абалкина — о его операции на Гиганде. Операция, впрочем, была, на мой взгляд, пустяковой: егермейстер его высочества герцога Алайского пристраивал курьером в банк своего бедного родственника. Егермейстером был Лев Абалкин, а бедным родственником — некий Корней Яшмаа. Как мне показалось, материал этот был для меня совершенно бесполезен. Кроме Корнея Яшмаа, насколько я мог заметить при беглом просмотре, в нем не содержалось ни одного земного имени. Мелькали какие-то Зогги, Нагон-Гиги, шталмейстеры, сиятельства, бронемастера, конференц-директора, гоф-дамы... Я взял на заметку этого Корнея, хотя и было ясно, что он вряд ли мне понадобится. Всего во втором отчете содержалось двадцать четыре страницы, и больше отчетов Льва Абалкина о своей работе в папке не было. Это показалось мне странным, и я положил себе подумать как-нибудь в дальнейшем: почему из всех многочисленных отчетов профессионального Прогрессора в папку 07 попали только два и именно эти два?..

Оба отчета были выполнены в манере «лаборант» и, на мой взгляд, сильно смахивали на школьные сочинения в жанре «Как я провел каникулы у дедушки». Писать такие отчеты — одно удовольствие, читать их, как правило, сущее мучение. Психологи (засевшие в штабах) требуют, чтобы отчеты содержали не столько объективные данные о событиях и фактах, сколько субъективные ощущения, личные впечатления и поток сознания автора. При этом манеру отчета («лаборант», «генерал», «артист») автор не выбирает — ему ее предписывают, руководствуясь какими-то таинственными психологическими соображениями. Воистину, есть ложь, беспардонная ложь и статистика, но не будем забывать и о психологии!

Я не психолог, во всяком случае — не профессионал, но я подумал, что, может быть, и мне удастся извлечь из этих отчетов что-нибудь полезное о личности Льва Абалкина.

Проглядывая содержимое папки, я то и дело обнаруживал однообразные, я бы сказал — просто одинаковые и совершенно непонятные мне документы: синеватые листы плотной бумаги с зеленым обрезом и выдавленной в верхнем левом углу монограммой, изображающей то ли китайского дракона, то ли птеродактиля. На каждом таком листе уже знакомым мне размашистым почерком иногда стилем, иногда фломастером, а один раз почему-то лабораторным электродным карандашом было написано: «Тристан 777». Ниже стояла дата и все та же замыслова-

тая подпись. Насколько можно было судить по датам, такие листки закладывались в папку с 60-го года, примерно раз в три месяца, так что папка на четверть состояла из них.

И еще двадцать две страницы занимала переписка Абалкина с его руководством. Переписка эта навела меня на некоторые размышления.

В октябре 63-го года Абалкин направляет в КОМКОН-1 рапорт, в котором выражает пока еще кроткое недоумение по поводу того, что операция «Голован в Космосе» свернута без консультации с ним, хотя операция эта развивалась вполне успешно и обещала богатую перспективу.

Неизвестно, какой ответ получил Абалкин на этот свой рапорт, но в ноябре того же года он пишет совершенно отчаянное письмо Комову с просьбой возобновить операцию «Голован в Космосе» и одновременно очень резкое заявление в КОМКОН, в котором протестует против направления его, Абалкина, на курсы переподготовки. (Заметим, что все это он почему-то делает в письменной форме, а не обычным порядком.)

Как явствует из дальнейших событий, переписка эта никакого действия не возымела, и Абалкин отправляется работать на Гиганду. Три года спустя, в ноябре 66-го, он снова пишет в КОМКОН с Пандоры и просит направить его на Саракш для продолжения работы с голованами. На этот раз его просьбу удовлетворяют, но только отчасти: его посылают на Саракш, но не на Голубую Змею, а в Хонти, унионистом-подпольщиком.

С курсов переподготовки в феврале и августе 67-го года он еще дважды пишет в КОМКОН (Бадеру, а потом и самому Горбовскому), указывая на нецелесообразность использования его, хорошего специалиста по голованам, в качестве резидента. Тон его писем становится все резче, письмо Горбовскому, например, я иначе как оскорбительным не назвал бы. Любопытно было бы мне узнать, что ответил душка Леонид Андреевич на этот взрыв ярости и презрительного негодования.

И уже будучи резидентом в Хонти, в октябре 67-го, Абалкин посылает Комову свое последнее письмо: развернутый план форсирования контактов с голованами, включающий обмен постоянными миссиями, привлечение голованов к зоопсихологическим работам, проводящимся на Земле, и т. д. и т. п. Я никогда специально не следил за работой в этой области, но у меня сложилось такое впечатление, что этот план сейчас принят и осуществляется,

А если это так, то положение парадоксальное: план осуществляется, а инициатор его торчит резидентом то в Хонти, то в Островной Империи.

В общем, эта переписка оставила у меня какое-то тягостное впечатление. Ну, ладно; пусть в проблеме головнов я не специалист, мне трудно судить, вполне возможно, что план Абалкина совершенно тривиален и употреблять такие громкие слова, как «инициатор», не имеет смысла. Но дело не только и не столько в этом! Парень, видимо, прирожденный зоопсихолог. «Профессиональные склонности: зоопсихология, театр, этнолингвистика... Профессиональные показатели: зоопсихология, теоретическая ксенология...» И тем не менее из парня делают Прогрессора. Не спорю, существует целый класс Прогрессоров, для которых зоопсихология — хлеб насущный. Например, те, кто работает с леонидиями или с теми же голованами. Так нет же, парню приходится работать с гуманоидами, работать резидентом, боевиком, хотя он пять лет кричит на весь КОМКОН: «Что вы со мной делаете?» А потом они удивляются, что у него психический спазм!

Конечно, Прогрессор — это такая профессия, где железная, я бы сказал — военная, дисциплина совершенно неизбежна. Прогрессор сплошь и рядом вынужден делать не то, что ему хочется, а то, что приказывает КОМКОН. На то он и Прогрессор. И наверное, резидент Абалкин много ценнее для КОМКОНА, нежели зоопсихолог Абалкин. Но все-таки есть в этой истории какое-то нарушение меры, и недурно было бы поговорить на эту тему с Горбовским или с Комовым... И что бы там ни натворил этот Абалкин (а он явно что-то натворил), я, ей-богу, на его стороне.

Впрочем, все это, по-видимому, к моей задаче отношения не имеет.

Еще я заметил, что не хватает трех пронумерованных страниц после первого отчета Абалкина, двух страниц — после второго его отчета и двух страниц — после последнего письма Абалкина Комову. Я решил не придавать этому значения.

1 июня 78 года. ПОЧТИ ВСЕ О ВОЗМОЖНЫХ СВЯЗЯХ ЛЬВА АБАЛКИНА.

Я составил предварительный список возможных связей Льва Абалкина на Земле, и оказалось у меня в этом списке всего восемнадцать имен. Практически для меня представляли интерес только шесть человек, и я расставил их в порядке убывания вероятности (по моим представле-

ниям, конечно) того, что Лев Абалкин посетит их. Выглядело это так:

Учитель Сергей Павлович Федосеев

Мать Стелла Владимировна Абалкина

Отец Вячеслав Борисович Цюрупа

Наставник Эрнст-Юлий Горн

Наблюдающий врач школы Прогрессоров Ромуальд Крэсеску

Наблюдающий врач школы-интерната Ядвига Михайловна Леканова.

Во втором эшелоне у меня оставались Корней Яшмаа, голован Щекн, Яков Вандерхузе и еще человек пять, как правило — Прогрессоров. Что же касается таких персон, как Горбовский, Бадер, Комов, то я вписал их скорее для проформы. Обращаться к ним нельзя было уже хотя бы потому, что их никакими легендами не проймешь, а разговаривать впрямую я не имел права, даже если бы они сами обратились ко мне по этому делу.

В течение десяти минут информаторий выдал мне следующие малоутешительные сведения.

Родители Льва Абалкина не существовали — по крайней мере в обычном смысле этого слова. Возможно, они не существовали вообще. Дело в том, что сорок с лишним лет назад Стелла Владимировна и Вячеслав Борисович в составе группы «Йормала» на уникальном звездолете «Тьма» совершили погружение в Черную Дыру ЕН 200056. Связи с ними не было, да и не могло быть, по современным представлениям. Лев Абалкин, оказывается, был их посмертным ребенком. Конечно, слово «посмертный» в этом контексте не совсем точно: вполне можно было допустить, что родители его живы и будут жить еще миллионы лет в нашем времяисчислении, но с точки зрения землянина они, конечно, все равно что мертвы. У них не было детей, и, уходя навсегда из нашей Вселенной, они, как и многие супружеские пары до них и после них в подобной ситуации, оставили в Институте Жизни материнскую яйцеклетку, оплодотворенную отцовским семенем. Когда стало ясно, что погружение удалось, что они более не вернуться, клетку активизировали, и на свет появился Лев Абалкин — посмертный сын живых родителей. По крайней мере теперь мне стало понятно, почему в листе № 1 родители Абалкина не упоминались вовсе.

Эрнста-Юлия Горна, Наставника Абалкина по школе Прогрессоров, уже не было в живых. В 72-м году он погиб на Венере при восхождении на пик Строгова.

Врач Ромуальд Крэсеску пребывал на некоей планете Лу, совершенно, по-видимому, вне пределов досягаемости. Я никогда даже не слышал о такой планете, но поскольку Крэсеску является Прогрессором, следовало предположить, что планета эта обитаема. Любопытно, однако, что старикан (сто шестнадцать лет!) оставил в БВИ свой последний домашний адрес, сопроводив его таким характерным посланием: «Моя внучка и ее муж всегда будут рады принять по этому адресу любого из моих питомцев». Надо полагать, питомцы любили своего старикана и частенько навещали его. Мне следовало иметь в виду это обстоятельство.

С остальными двумя мне повезло.

Сергей Павлович Федосеев, Учитель Абалкина, жил и здравствовал на берегу Аятского озера, в усадьбе с предостерегающим названием «Комарики». Ему тоже было уже за сто, и был он, по-видимому, человек либо чрезвычайно скромный, либо замкнутый, потому что не сообщал о себе ничего, кроме адреса. Все остальные данные были официальные: окончил то-то и то-то, археолог, Учитель. Все. Как говорится, яблочко от яблони... Весь в своего ученика Льва Абалкина. А между тем, когда я послал в БВИ соответствующий дополнительный запрос, выяснилось, что Сергей Павлович — автор более тридцати статей по археологии, участник восьми археологических экспедиций (Северо-Западная Азия) и трех евразийских конференций Учителей. Кроме того, у себя в «Комариках» он организовал регионального значения личный музей по палеолиту Северного Урала. Такой вот человек. Я решил с ним связаться в ближайшее же время.

А вот с Ядвигой Михайловной Лекановой меня ожидал небольшой сюрприз. Врачи-педиатры редко меняют свою профессию, и я как-то уже представлял себе такую старушку — божий одуванчик, согнувшуюся под невообразимым грузом специфического и, по сути, самого ценного в мире опыта, бодренько семяющую все по той же территории Сыктывкарской школы. Черта с два — семяющую! Некоторое время она действительно педиатрствовала, и именно в Сыктывкаре, но потом она переквалифицировалась в этнолога, и мало того — она занималась последовательно: ксенологией, патоксенологией, сравнительной психологией и левелометрией, и во всех этих не так уж тесно связанных между собой науках она явно преуспела, если судить по количеству опубликованных ею работ и по ответственности постов, ею занимаемых. За последние четверть века ей довелось работать в шести различных органи-

ях и институтах, а сейчас она работала в седьмом — передвижном институте земной этнологии в бассейне Амазонки. Адреса у нее не было, желающим предлагалось устанавливать с нею связь через стационар института в Манаосе. Что ж, и на том спасибо, хотя сомнительно, конечно, чтобы мой клиент в своем нынешнем состоянии потащился к ней в эти, все еще первобытные, дебри.

Было совершенно очевидно, что начинать следует с Учителя. Я взял папку под мышку, сел в машину и вылетел на Аятское озеро.

1 июня 78 года. УЧИТЕЛЬ ЛЬВА АБАЛКИНА.

Вопреки моим опасениям усадьба «Комарики» стояла на высоком обрыве над самой водой, открытая всем ветрам, и никаких комариков там не оказалось. Хозяин встретил меня без удивления и достаточно приветливо. Мы расположились на веранде в плетеных креслах у овального антикварного столика, на котором имели место миска со свежей малиной, кувшин с молоком и несколько стаканов.

Я вторично извинился за вторжение, и вновь мои извинения были приняты молчаливым кивком. Он смотрел на меня со спокойным ожиданием и как бы равнодушно, и вообще лицо у него было малоподвижное, как, впрочем, у большинства этих стариков, которые в свои сто с лишним лет сохраняют полную ясность мысли и совершенную крепость тела. Лицо у него было угловатое, коричневое от загара, почти без морщин, с мощными густыми бровями, торчащими над глазами вперед, словно солнцезащитные козырьки. Забавно, что правая бровь у него была черная как смоль, а левая — совершенно белая, именно белая, а не седая.

Я обстоятельно представился и изложил свою легенду. Я был журналист, по профессии — зоопсихолог, и сейчас собирал материалы для книги о контактах человека с головами. «Вы наверняка знаете, — сказал я, — что ваш ученик Лев Вячеславович Абалкин сыграл в этих контактах очень видную роль. Я и сам был когда-то знаком с ним, но это было давно, с тех пор я растерял все свои связи. Сейчас я попытался его разыскать, но в КОМКОНе мне сказали, что Льва Вячеславовича нет на Земле, а когда он вернется — совершенно неизвестно. Между тем мне хотелось бы узнать как можно больше о его детстве, как у него все это начиналось, почему так, а не иначе; движение психологии исследователя — вот что меня интересует в первую очередь. К сожалению, Наставника его уже нет

в живых, друзей его я не знаю, но зато я имею возможность побеседовать с вами, с его Учителем. Я лично убежден, что все в человеке начинается с детства, причем с самого раннего детства...»

Признаться, у меня все время теплилась некоторая надежда, что в самом начале моего вранья я буду прерван возгласом: «Позвольте, позвольте! Но ведь Лев был у меня буквально вчера!» Однако меня не прервали, и мне пришлось договорить все до конца — изложить с самым умным видом все свои скороспелые суждения о том, что творческая личность формируется в детстве, именно в детстве, а не в отрочестве, не в юности и уж конечно не в зрелом возрасте, и именно формируется, а не то чтобы просто закладывается или там зарождается... Мало того, когда я наконец выдохся совсем, старик молчал еще целую минуту, а потом вдруг спросил, кто такие эти голованы.

Я удивился самым искренним образом. Получалось, что Лев Абалкин не удосужился похвалиться успехами перед своим Учителем! Знаете ли, надо быть в высшей степени нелюдимым и замкнутым человеком, чтобы не похвалиться перед своим Учителем своими успехами.

Я с готовностью объяснил, что голованы — это разумная киноидная раса, возникающая на планете Саракш в результате лучевых мутаций.

— Киноиды? Собаки?

— Да. Разумные собакообразные. У них огромные головы, отсюда — голованы.

— Значит, Лева занимается собакообразными... Добился своего...

Я возразил, что совсем не знаю, чем занимается Лева сейчас, однако двадцать лет назад он голованами занимался, и с большим успехом.

— Он всегда любил животных, — сказал Сергей Павлович. — Я был убежден, что ему следует стать зоопсихологом. Когда комиссия по распределению направила его в школу Прогрессоров, я протестовал, как мог, но меня не послушались... Впрочем, там все было сложнее, может быть, если бы я не стал протестовать...

Он замолчал и налил мне в стакан молока. Очень, очень сдержанный человек. Никаких возгласов, никаких «Лева! Как же! Это был такой замечательный мальчишка!». Конечно, вполне может быть, что Лева не был замечательным мальчишкой...

— Так что бы вы хотели узнать от меня конкретно? — спросил Сергей Павлович.

— Все! — ответил я быстро. — Каким он был. Чем увлекался. С кем дружил. Чем славился в школе. Все, что вам запомнилось.

— Хорошо, — сказал Сергей Павлович без всякого энтузиазма. — Попробую.

Лев Абалкин был мальчиком замкнутым. С самого раннего детства. Это была первая его черта, которая бросалась в глаза. Впрочем, замкнутость эта не была следствием чувства неполноценности, ощущения собственной ущербности или неуверенности в себе. Это была скорее замкнутость всегда занятого человека. Как будто он не хотел тратить время на окружающих, как будто он был постоянно и глубоко занят своим собственным миром. Этот мир, казалось, состоял из него самого и всего живого вокруг — за исключением людей. Это не такое уж редкое явление среди ребятшек, просто он был ТАЛАНТЛИВ в этом, а удивляло в нем как раз другое: при всей своей замкнутости он охотно и прямо-таки с наслаждением выступал на всякого рода соревнованиях и в школьном театре. Особенно в театре. Но, правда, всегда соло. В пьесах участвовать он отказывался категорически. Обычно он декламировал, даже пел, с большим вдохновением, с необычным для него блеском в глазах, он словно раскрывался на сцене, а потом, сойдя в партер, снова становился самим собой — уклончивым, молчаливым, неприступным. И таким он был не только с Учителем, но и с ребятами, и так и не удалось разобраться, в чем же тут причина. Можно предполагать только, что его талант в общении с живой природой настолько возобладавал над всеми остальными движениями его души, что окружающие ребята — да и вообще все люди были ему просто неинтересны. На самом деле, конечно, все это было гораздо сложнее — эта его замкнутость, эта погруженность в собственный мир явилась результатом тысячи микрособытий, которые остались вне поля зрения Учителя. Учитель вспомнил такую сценку: после проливного дождя Лев ходил по дорожкам парка, собирал червяков-выползков и бросал обратно в траву. Ребятам это показалось смешным, а были среди них такие, кто умел не только смеяться, но и жестоко высмеивать. Учитель, не говоря ни слова, присоединился к Леве и стал собирать выползков вместе с ним...

— Но боюсь, он мне не поверил. Вряд ли мне удалось убедить его, что судьба червяков меня интересует на самом деле. А у него было еще одно заметное качество: абсолютная честность. Я не помню ни одного случая, чтобы он соврал. Даже в том возрасте, когда дети, случается,

врут охотно и бессмысленно, получая от вранья чистое, бескорыстное удовольствие. А он не врал. И более того, он презирал тех, кто врет. Даже если врали бескорыстно, для интереса. Я подозреваю, что в его жизни был какой-то случай, когда он впервые с ужасом и отвращением понял, что люди способны говорить неправду. Этот момент я тоже пропустил... Впрочем, вряд ли это вам нужно. Вам ведь гораздо интереснее узнать, как проклевывался в нем будущий зоопсихолог...

И Сергей Павлович принялся рассказывать.

Назвался груздем — полезай в кузов. Я слушал с самым внимательным видом, в надлежащих местах вставлял: «Ах вот как?», а один раз даже позволил себе вульгарное восклицание: «Черт возьми, это как раз то, что мне нужно!» Иногда я очень не люблю свою профессию.

Потом я спросил:

— А друзей у него, значит, было немного?

— Друзей у него не было совсем, — сказал Сергей Павлович. — Я не виделся с ним с самого выпуска, но другие ребята из его группы говорили мне, что он с ними тоже не встречается. Им неловко об этом рассказывать, но, как я понял, он просто уклонялся от встречи.

И вдруг его прорвало:

— Ну почему вас интересует именно Лев? Я выпустил в свет сто семьдесят два человека. Почему вам из них понадобился именно Лев? Поймите, я не считаю его своим учеником! Не могу считать! Это моя неудача! Единственная моя неудача! С самого первого дня и десять лет подряд я пытался установить с ним контакт, хоть тоненькую ниточку протянуть между нами. Я думал о нем в десять раз больше, чем о любом другом своем ученике. Я выворачивался наизнанку, но все, буквально все, что я принимал, оборачивалось во зло...

— Сергей Павлович! — сказал я. — Что вы говорите? Абалкин — великолепный специалист, ученый высокого класса, я лично встречался с ним...

— И как вы его нашли?

— Замечательный мальчишка, энтузиаст... Это как раз была первая экспедиция к голованам. Его все там ценили, сам Комов возлагал на него такие надежды... И они оправдались, эти надежды, заметьте!

— У меня прекрасная малина, — сказал он. — Самая ранняя малина в регионе. Попробуйте, прошу вас...

Я осекся и принял блюдец с малиной.

— Голованы... — проговорил он с горечью. — Возможно,

возможно. Но видите ли, я и сам знаю, что он талантлив. Только моей-то заслуги никакой в этом нет...

Некоторое время мы молча поедали малину с молоком. Я почувствовал, что он вот сейчас, с минуты на минуту переведет разговор на меня. Он явно не собирался больше говорить о Льве Абалкине, и простая вежливость требовала теперь поговорить обо мне. Я быстро сказал:

— Очень вам благодарен, Сергей Павлович. Вы дали мне массу интересного материала. Единственно только жаль, что у него не было друзей. Я очень рассчитывал найти какого-нибудь его друга.

— Я могу, если хотите, назвать вам имена его одноклассников...— Он замолчал и вдруг сказал:— Вот что. Попробуйте найти Майю Глумову.

Выражение лица его меня поразило. Совершенно невозможно было представить, что именно он сейчас вспомнил, какие ассоциации возникли у него в связи с этим именем, но можно было поручиться наверняка, что самые неприятные: Он даже весь пошел бурыми пятнами.

— Школьная подруга?— спросил я, чтобы скрыть неловкость.

— Нет,— сказал он.— То есть она, конечно, училась в нашей школе. Майя Глумова. По-моему, она стала потом историком.

1 июня 78 года. МАЛЕНЬКИЙ ИНЦИДЕНТ С ЯДВИГОЙ МИХАЙЛОВНОЙ.

В 19.23 я вернулся к себе и принялся искать Майю Глумову, историка. Не прошло и пяти минут, как информационная карточка лежала передо мной.

Майя Тойвовна Глумова была на три года моложе Льва Абалкина. После школы она окончила курсы персонала обеспечения при КОМКОНе-1 и сразу приняла участие в печально знаменитой операции «Ковчег», а затем поступила на историческое отделение Сорбонны. Специализировалась вначале по ранней эпохе Первой НТР, после чего занималась историей космических исследований. У нее был сын Тойво Глумов, одиннадцати лет, а о муже она не сообщала ничего. В настоящее время — о чудо! — она работала сотрудником спецфонда Музея Внешних Культур, который располагался в трех кварталах от нас, на площади Звезды. И жила она совсем неподалеку — на Аллее Канадских Елей.

Я позвонил ей немедленно. На экране появилась серьезная белобрысая личность со вздернутым облупленным

носом, окруженным богатыми россыпями веснушек. Несомненно, это был Тойво Глумов-младший. Глядя на меня прозрачными северными глазами, он объяснил, что мамы нет дома, что она собиралась быть дома, но потом позвонила и сказала, что вернется завтра прямо на работу. Что ей передать? Я сказал, что ничего передавать не надо, и попрощался.

Так. Придется ждать до утра, а утром она будет долго вспоминать, кто же это такой Лев Абалкин, и затем, вспомнив, скажет со вздохом, что ничего не слыхала о нем вот уже двадцать пять лет.

Ладно. У меня в списке первоочередников оставался еще один человек, на которого, впрочем, никаких особенных надежд я возлагать не осмеливался. В конце концов, после четвертьвековой разлуки люди охотно встречаются с родителями, очень часто — со своим Учителем, нередко со школьными друзьями, но лишь в каких-то особенных, я бы сказал — специальных случаях память возвращает их к своему школьному врачу. Тем более если учесть, что этот школьный врач пребывает в экспедиции, в глуши, на другой стороне планеты, а нуль-связь, согласно сводке, уже второй день работает неуверенно из-за флюктуаций нейтринного поля.

Но мне просто ничего больше не оставалось. Сейчас в Манаосе был день, и если уж вообще звонить, то звонить надо было сейчас.

Мне повезло. Ядвига Михайловна Леканова оказалась как раз в пункте связи, и я смог поговорить с ней немедленно, на что никак не рассчитывал. Было у Ядвиги Михайловны полное, до блеска загорелое лицо с темным румянцем, кокетливые ямочки на щеках, сияющие синие глазки и мощная шапка совершенно серебряных волос. Она обладала каким-то трудноуловимым, но очень милым дефектом речи и глубоким бархатным голосом, наводившим на совершенно неуместные игривые мысли о том, что совсем недавно эта дама могла при желании вскружить голову кому угодно. И, по всему видно, кружила.

Я извинился, представился и изложил ей свою легенду. Она прищурилась, вспоминая, сдвинула соболиные брови.

— Лев Абалкин?.. Лева Абалкин... Простите, как вас зовут?

— Максим Каммерер.

— Простите, Максим, я не совсем поняла. Вы выступаете от себя лично или как представитель какой-то организации?

— Да как вам сказать... Я договорился с издательством, они заинтересовались...

— Но вы сами — просто журналист или все-таки работаете где-нибудь? Не бывает же такой профессии — журналист...

Я почтительно хихикнул, лихорадочно соображая, как быть.

— Видите ли, Ядвига Михайловна, это довольно трудно сформулировать... Основная профессия у меня... н-ну, пожалуй, Прогрессор... хотя, когда я начинал работать, такой профессии еще не существовало. В недалеком прошлом я — сотрудник КОМКОНа... да и сейчас связан с ним в известном смысле...

— Ушли на вольные хлеба? — сказала Ядвига Михайловна.

Она по-прежнему улыбалась, но теперь в ее улыбке не хватало чего-то очень важного. И в то же время — весьма и весьма обычного.

— Вы знаете, Максим, — сказала она, — я с удовольствием с вами поговорю о Льве Абалкине, но, с вашего позволения, через некоторое время. Давайте я вам позвоню... через час-полтора...

Она все еще улыбалась, и я понял, чего не хватает теперь в ее улыбке — самой обыкновенной доброжелательности.

— Ну разумеется, — сказал я. — Как вам будет удобно...

— Извините меня, пожалуйста.

— Нет, это вы должны меня извинить...

Она записала номер моего канала, и мы расстались. Станный какой-то получился разговор. Словно она узнала откуда-то, что я вру. Я пощупал уши. Уши у меня горели. Пр-р-роклятая профессия... «И началась самая увлекательная из охот — охота на человека...» О темпора, о морес! Как они часто все-таки ошибались, эти классики!.. Ладно, подождем. И ведь придется, наверное, лететь в этот Манаос. Я запросил сводку. Нуль-связь была по-прежнему неустойчивой. Тогда я заказал стратолет, раскрыл папку и принялся читать отчет Льва Абалкина об операции «Мертвый мир».

Я успел прочитать страниц пять, не больше. В дверь стукнули, и через порог шагнул Экселенц. Я поднялся.

Нам редко приходится видеть Экселенца иначе, как за его столом, и всегда как-то забываешь, какая это костлявая громадина. Безупречно белая полотняная пара болталась на нем, как на вешалке, и вообще было в нем что-то

от циркача на ходулях, хотя движения его вовсе не были угловатыми.

— Сядь,— сказал он, сложился пополам и опустился в кресло передо мной.

Я тоже поспешно сел.

— Докладывай,— приказал он.

Я доложил.

— Это все? — спросил он с неприятным выражением.

— Пока все.

— Плохо,— сказал он.

— Так уж и плохо, Экселенц...— сказал я.

— Плохо! Наставник умер. А школьные друзья? Я вижу, они у тебя даже не запланированы! А его однокашники по школе Прогрессоров?

— К сожалению, Экселенц, у него, по-видимому, не было друзей. В интернате — во всяком случае, а что касается Прогрессоров...

— Уволь меня от этих рассуждений. Проверь все. И не отвлекайся. При чем здесь детский врач, например?

— Я стараюсь проверить все,— сказал я, начиная злиться.

— У тебя нет времени мотаться на стратолетах. Занимайся архивами, а не полетами.

— Архивами я тоже займусь. Я собираюсь заняться даже этим голованом Щекном. Но у меня намечен определенный порядок... Я вовсе не считаю, что детский врач — это совсем уж пустая трата времени...

— Помолчи-ка,— сказал он.— Дай мне твой список.

Он взял список и долго изучал его, время от времени пошевеливая костлявым носом. Я голову готов был дать на отсечение, что он уставился на какую-то одну строчку и смотрит на нее не отрывая глаз. Потом он вернул мне листок и сказал:

— Щекн — это неплохо. И легенда твоя мне нравится. А все остальное — плохо. Ты поверил, что у него не было друзей. Это неверно. Тристан был его другом, хотя в папке ты не найдешь об этом ничего. Ищи. И эту... Глумову... Это тоже хорошо. Если у них там была любовь, то это шанс. А Леканову оставь. Это тебе не нужно.

— Но она же все равно позвонит!

— Не позвонит,— сказал он.

Я посмотрел на него. Круглые зеленые глаза не мигали, и я понял, что да, Леканова не позвонит.

— Послушайте, Экселенц,— сказал я.— Вам не кажется, что я работал бы втрое успешней, если бы знал, в чем тут дело?

Я был уверен, что он отрежет: «Не кажется». Вопрос мой был чисто риторическим. Я просто хотел продемонстрировать ему, что атмосфера таинственности, окружавшая Льва Абалкина, не осталась мною не замеченной и мешает мне.

Но он сказал другое:

— Не знаю. Полагаю, что нет. Все равно я пока не могу ничего сказать. Да и не хочу.

— Тайна личности? — спросил я.

— Да, — сказал он. — Тайна личности.

ИЗ ОТЧЕТА ЛЬВА АБАЛКИНА (ОПЕРАЦИЯ «МЕРТВЫЙ МИР»).

...К десяти часам порядок движения устанавливается окончательно. Идем посередине улицы: впереди по оси маршрута — Щекн, за ним и левее — я. От принятого порядка движения — прижимаясь к стенам — пришлось отказаться, потому что тротуары завалены осыпавшейся штукатуркой, битыми кирпичами, осколками оконного стекла, проржавевшей кровельной жстью, и уже дважды обломки карнизов без всякой видимой причины обрушивались чуть ли не нам на головы.

Погода не меняется, небо по-прежнему в тучах, налетает порывами влажный теплый ветер, гонит по разбитой мостовой неопределенный мусор, рябит вонючую воду в черных застойных лужах. Налетают, рассеиваются и налетают снова полчища комаров. Штурмовые волны комаров. Целые комариные смерчи. Очень много крыс — шуршат в грудах мусора, грязно-рыжими стайками перебегают улицы из подъезда в подъезд, столбиками торчат в пустых оконных проемах. Глаза у них как бусинки, поблескивают настороженно. Непонятно, чем они питаются в этой каменной пустыне. Разве что змеями. Змей тоже очень много, особенно вблизи канализационных люков, где они собираются в спутанные шевелящиеся клубки. Чем питаются здесь змеи — тоже непонятно. Разве что крысами. Змеи, впрочем, какие-то вялые, совсем не агрессивные, но и не трусливые. Занимаются какими-то своими делами, ни на кого и ни на что не обращая внимания.

Город безусловно и давно покинут. Тот человек, которого мы встретили на окраине, был, конечно, сумасшедший и забрел сюда случайно.

Сообщение от группы Рэма Желтухина. Он пока вообще никого не встретил. Он в восторге от своей свалки и клянется в ближайшее время определить индекс здешней цивилизации с точностью до второго знака. Я пытаюсь

представить себе эту свалку — гигантскую, без начала и без конца, завалившую полмира. У меня портится настроение, и я перестаю об этом думать.

Мимикридный комбинезон работает неудовлетворительно. Защитная окраска, соответствующая фону, проявляется на мимикриде с задержкой на пять минут, а иногда и вовсе не проявляется, а вместо нее возникают удивительной красоты и яркости пятна самых чистых спектральных цветов. Надо думать, здесь в атмосфере есть что-то такое, что сбивает с толку отрегулированный химизм этого вещества. Эксперты комиссии по камуфляжной технике отказались от надежды отладить работу комбинезона дистанционно. Они дают мне рекомендации, как произвести регулировку на месте. Я следую этим рекомендациям, в результате чего комбинезон мой теперь разрегулирован окончательно.

Сообщение от группы Эспады. Судя по всему, при высадке в тумане они промахнулись на несколько километров: ни возделанных полей, ни поселений, замеченных с орбиты, они не наблюдают. Наблюдают океан и побережье, покрытое километровой ширины черной полосой коросты — похоже, застывшим мазутом. У меня снова портится настроение.

Эксперты категорически протестуют против решения Эспады полностью отключить камуфляж. Маленький, но шумный скандальчик в эфире. Щекн ворчливо замечает: — Пресловутая человеческая техника! Смешно...

На нем нет никакого комбинезона, и нет на нем тяжелого шлема с преобразователями, хотя все это было для него специально приготовлено. Он отказался от всего этого, как обычно, без объяснения причин.

Он бежит по полустертой осевой линии проспекта вразвалку, слегка занося вбок задние ноги, как это делают иногда наши собаки, толстый, мохнатый, с огромной круглой головой, как всегда повернутой влево, так что правым глазом он смотрит строго вперед, а левым словно бы косится на меня. На змей он не обращает внимания вовсе, как и на комаров, а вот крысы его интересуют, но только с гастрономической точки зрения. Впрочем, сейчас он сыт.

Мне кажется, что он уже сделал для себя кое-какие выводы и по поводу города, и, возможно, по поводу всей этой планеты. Он равнодушно уклонился от осмотра на диво сохранившегося особняка в седьмом квартале, совершенно неуместного своей чистотой и элегантностью среди ободранных временем слепых, заросших диким ползуном

зданий. Он только брезгливо обнюхал двухметровые колеса военной бронированной машины, пронзительно и свежесвежающей бензином, полупогребенной под развалинами рухнувшей стены, и без всякого любопытства наблюдал за сумасшедшей пляской давешнего бедняги аборигена, который выскочил на нас, звеня бубенчиками, гримасничая, весь в развевающихся разноцветных то ли лохмотьях, то ли лентах. Все эти странности Щекну безразличны, он почему-то не пожелал выделить их из общего фона катастрофы, хотя поначалу, на первых километрах пути, он был явно возбужден, искал что-то, поминутно нарушая порядок движения, что-то вынюхивал, фыркая и отплеываясь, бормоча неразборчиво на своем языке...

— А вот что-то новенькое,— говорю я.

Это что-то вроде кабины ионного душа — цилиндр высотой метра в два и метр в диаметре из полупрозрачного, похожего на янтарь материала. Овальная дверца во всю его высоту распахнута. Похоже, что когда-то эта кабина стояла вертикально, а потом подложили под нее сбоку заряд взрывчатки, и теперь ее сильно накренило, так что край ее днища приподнялся вместе с приросшим к нему пластом асфальта и глинистой земли. В остальном она не пострадала, да там в ней и нечему было страдать — внутри она пустая, как пустой стакан.

— Стакан,— говорит Вандерхузе.— Но с дверцей.

— Ионный душ,— говорю я.— Но без оборудования. Или, например, кабина регулировщика. Я видел очень похожие на Саракше, только там они из жести и стекла. Кстати, на тамошнем сленге они так и называются: «стакан».

— А что он регулирует? — с любопытством осведомляется Вандерхузе.

— Уличное движение на перекрестках,— говорю я.

— До перекрестка далековато, как ты полагаешь? — говорит Вандерхузе.

— Ну, значит, это ионный душ,— говорю я.

Диктую ему донесение. Приняв донесение, он осведомляется:

— А вопросы?

— Два естественных вопроса: зачем эту штуку здесь поставили и кому она помешала? Обращаю внимание: никаких кабелей и проводов нет. Щекн, у тебя есть вопросы?

Щекн более чем равнодушен — он чешется, повернувшись к кабине задом.

— Мой народ не знает таких предметов,— сообщает он высокомерно.— Моему народу это неинтересно.— И он

снова принимается чесаться с самым откровенным вызовом.

— У меня все,— говорю я Вандерхузе, и Щекн тут же поднимается и трогается дальше.

Его народу это, видите ли, неинтересно, думаю я, шагая следом и левее. Мне хочется улыбнуться, но улыбаться ни в коем случае нельзя. Щекн не терпит такого рода улыбок, чуткость его к малейшим оттенкам человеческой мимики поразительна. Странно, откуда у голованов эта чуткость? Ведь физиономии их (или морды?) почти совсем лишены мимики — по крайней мере, на человеческий глаз. У обыкновенной дворняги мимика значительно богаче. А вот в человеческих улыбках он разбирается великолепно. Вообще голованы разбираются в людях в сто раз лучше, чем люди в голованах. И я знаю — почему. Мы стесняемся. Они разумны, и нам неловко их исследовать. А вот они подобной неловкости не ощущают. Когда мы жили у них в Крепости, когда они укрывали нас, кормили, поили, оберегали, сколько раз я вдруг обнаруживал, что надо мной произвели очередной эксперимент! И Марта жаловалась Комову на то же, и Раулингсон, и только Комов никогда не жаловался — я думаю, просто потому, что он слишком самолюбив для этого. А Тарасконец в конце концов просто сбежал. Уехал на Пандору, занимается своими чудовищными тахоргами и счастлив... Почему Щекна так заинтересовала Пандора? Он всеми правдами и неправдами оттягивал отлет. Надо будет потом проверить, точно ли, что группа голованов попросила транспорт для переселения на Пандору.

— Щекн,— говорю я,— тебе хотелось бы жить на Пандоре?

— Нет. Мне нужно быть с тобой.

Ему нужно быть. Вся беда в том, что в их языке всего одна модальность. Никакой разницы между «нужно», «должно», «хочется», «может» не существует. И когда Щекн говорит по-русски, он использует эти понятия словно бы наугад. Никогда нельзя точно сказать, что он имеет в виду. Может быть, он хотел сказать сейчас, что любит меня, что ему плохо без меня, что ему нравится быть только со мной. А может быть — что это его обязанность — быть со мной, что ему поручено быть со мной и что он намерен честно выполнить свой долг, хотя больше всего на свете ему хочется пробираться через оранжевые джунгли, жадно ловя каждый шорох, наслаждаясь каждым запахом, которых на Пандоре хоть отбавляй...

Впереди справа от грязно-белого балкона на третьем

этаже отделяется пласт штукатурки и с шумом обрушивается на тротуар. Возмущенно пищат крысы. Комариный столб вырывается из кучи мусора и крутится в воздухе. Через улицу узорчатой металлической лентой заструилась огромная змея, свернулась спиралью перед Щекном и угрожающе подняла ромбическую голову. Щекн даже не останавливается — небрежно и коротко взмахивает передней лапой, ромбическая голова отлетает на тротуар, а он уже трусит дальше, оставив позади извивающееся клубком обезглавленное тело.

Эти чудачки боялись отпускать меня вдвоем со Щекном! Первоклассный боец, умница, с невероятным чутьем на опасность, абсолютно бесстрашен — не по-человечески бесстрашен. Но... Разумеется, не обходится и без некоторого «но». Если придется, я буду драться за Щекна, как за землянина, как за самого себя. А Щекн? Не знаю. Конечно, на Саракше они дрались за меня, дрались и убивали, и гибли, прикрывая меня, но всегда мне казалось почему-то, что не за меня они дрались, не за друга своего, а за некий отвлеченный, хотя и очень дорогой для них принцип... Я дружу со Щекном уже пять лет, у него еще перепонки между пальцами не отпали, когда мы с ним познакомились, я учил его языку и как пользоваться Линией Доставки. Я не отходил от него, когда он болел своими странными болезнями, в которых наши врачи так и не сумели ничего понять. Я терпел его дурные манеры, мирился с его бесцеремонными высказываниями, прощал ему то, что не прощаю никому в мире. И до сих пор я не знаю, кто я для него...

Вызов с корабля. Вандерхузе сообщает, что Рэм Желтухин нашел на своей свалке ружье. Информация пустяковая. Просто Вандерхузе хочется, чтобы я не молчал. Он очень беспокоится, добрая душа, когда я долго молчу. Мы говорим о пустяках.

Пока мы говорим о пустяках, Щекн ныряет в ближайший подъезд. Оттуда доносится возня, писк, хруст и чавканье. Щекн снова появляется в дверях. Он энергично жует и обирает с морды крысиные хвосты.

Каждый раз, когда я нахожусь на связи, он принимается вести себя как собака — то кормится, то чешется, то ищется. Он прекрасно знает, что я этого не люблю, и устраивает демонстрации, словно мстит мне за то, что я отвлекаюсь от нашего одиночества вдвоем.

Он приносит мне свои извинения, ссылаясь на то, что это вкусно и что он не мог удержаться. Я говорю с ним сухо.

Начинается мелкий морозящий дождь. Проспект впереди заволакивает серая зыбкая мгла. Мы минуем семнадцатый квартал (поперечная улица вымощена булыжником), проходим мимо проржавевшего автофургона на спущенных баллонах, мимо неплохо сохранившегося, облицованного гранитом здания с фигурными решетками на окнах первого этажа, и слева от нас начинается парк, отделенный от проспекта низкой каменной оградой.

В тот момент, когда мы проходим мимо покосившейся арки ворот, из мокрых, буйно разросшихся кустов с шумом и бубенчиковым звоном выскакивает на ограду пестрый нелепый длинный человек...

Он худой как скелет, желтолицый, с впалыми щеками и стекленелым взглядом. Мокрые рыжие патлы торчат во все стороны, ходуном ходят разболтанные и словно бы многосуставчатые руки, а голенастые ноги беспрестанно дергаются и приплясывают на месте, так что из-под огромных ступней разлетаются в стороны палые листья и размокшая цементная крошка.

Весь он от шеи до ног обтянут чем-то вроде трико в разноцветную клетку — красную, желтую, синюю и зеленую, и беспрестанно звенят бубенчики, нашитые в беспорядке на его рукавах и штанинах, и звонко и дробно шелкают в замысловатом ритме узловатые пальцы. Паяц. Арлекин. Его ужимки были бы, наверное, смешными, если бы не были так страшны в этом мертвом городе, под серым сеющим дождем, на фоне одичалого парка, превратившегося в лес. Это, без всякого сомнения, безумец. Еще один безумец.

В первое мгновение мне кажется, что это тот же самый, с окраины. Но тот был в разноцветных ленточках и в дурацком колпаке с колокольчиком, и был гораздо ниже ростом, и не казался таким изможденным. Просто оба они были пестрые, и оба сумасшедшие, и представляется совершенно невероятным, чтобы первые два аборигена, встреченные на этой планете, оказались сумасшедшими клоунами.

— Это не опасно,— говорит Щекн.

— Мы обязаны ему помочь,— говорю я.

— Как хочешь. Он будет нам мешать.

Я и сам знаю, что он будет нам мешать, но делать нечего, и я начинаю придвигаться к пляшущему паяцу, готовя в перчатке присоску с транквилизатором.

— Опасно сзади! — говорит вдруг Щекн.

Я круто поворачиваюсь. Но на той стороне улицы ничего особенного: двухэтажный особняк с остатками ядовито-

фиолетовой покраски, фальшивые колонны, ни одного целого стекла, дверной проем в полтора этажа зияет тьмой. Дом как дом, однако Щекн глядит именно на него в позе самого напряженного внимания. Он присел на напруженных лапах, низко пригнул голову и настропалил маленькие треугольные уши. У меня холодок проливается между лопаток: с самого начала маршрута Щекн еще ни разу не становился в эту редкую позу. Позади отчаянно дребезжат колокольчики, и вдруг становится тихо. Только шорох дождя.

— В котором окне? — спрашиваю я.

— Не знаю.— Щекн медленно поводит тяжелой головой справа налево.— Ни в каком окне. Хочешь — посмотрим? Но уже меньше...— Тяжелая голова медленно поднимается.— Все. Как всегда.

— Что?

— Как сначала.

— Опасно?

— С самого начала опасно. Слабо. А сейчас было сильно. И опять как сначала.

— Люди? Зверь?

— Очень большая злоба. Непонятно.

Я оглядываюсь на парк. Сумасшедшего паяца больше нет, и ничего нельзя различить в плотной мокрой зелени.

Вандерхузе страшно обеспокоен. Я диктую донесение. Вандерхузе боится, что это была засада и что паяц должен был меня отвлекать. Никак ему не понять, что в этом случае засада бы удалась, потому что паяц меня действительно отвлек так, что я ничего не видел и не слышал, кроме него. Вандерхузе предлагает выслать к нам группу поддержки, но я отказываюсь. Задание у нас пустяковое, и скорее всего нас самих скоро снимут с маршрута и перебросят в поддержку хотя бы тому же Эспаде.

Сообщение от группы Эспады: его обстреляли. Трассирующими пулями. Похоже, предупредительный обстрел. Эспада продолжает движение. Мы — тоже. Вандерхузе взволнован до последней крайности, голос у него совсем жалобный.

Пожалуй, с капитаном нам не повезло. У Эспады капитан — Прогрессор. У Желтухина капитан — Прогрессор. А у нас — Вандерхузе. Все это оправданно, разумеется: Эспада — это группа контакта, Рэм — основной поставщик информации, а мы со Щекном — просто пешие разведчики в пустом безопасном районе. Вспомогательная группа. Но когда что-нибудь случится, — а ведь всегда что-нибудь случается, — то рассчитывать нам придется только на себя.

В конце концов старый милый Вандерхузе — это всего-навсего звездолетчик, опытейший космический волк. В плоть и кровь впиталась у него инструкция 06/3: «При обнаружении на планете признаков разумной жизни НЕМЕДЛЕННО стартовать, уничтожив по возможности все следы своего пребывания...» А здесь — предупредительный обстрел, очевиднейшее нежелание вступать в контакт, и никто не только не собирается стартовать немедленно, а наоборот, продолжает движение и вообще прет на рожон...

Дождь прекращается. По мокрому асфальту прыгают лягушки. Становится ясно, чем здесь питаются змеи. А чем питаются лягушки? Комарами. Дома становятся все выше, все роскошнее. Облезлая, заплесневелая роскошь. Длиннейшая колонна разномастных грузовиков, остановившихся у обочины с левой стороны. Движение здесь, видимо, было левосторонним. Многие грузовики открытые, в кузовах громоздится домашний скраб. Похоже на следы массовой эвакуации, только непонятно, почему они двигались к центру города. Может быть, в порт?

Мы выходим на площадь и сразу останавливаемся, потому что видим пушку. Она стоит слева за углом, приземистая, словно бы припавшая к мостовой, — длинный ствол с тяжелым набалдашником дульного тормоза, низкий широкий щит, размалеванный камуфляжными зигзагами, широко раздвинутые трубчатые станины, толстенькие колеса на резиновом ходу... С этой позиции был сделан не один выстрел, но давно, очень давно. Стреляные гильзы, рассыпанные вокруг, насквозь проедены зеленой и красной окисью, крючья станин распороли асфальт до земли и тонут теперь в густой траве, и даже маленькое деревце успело пробиться возле левой станины. Проржавевший замок откинут, прицела нет вовсе, а в тылу позиции валяются сгнившие, полураспавшиеся ящики, все пустые. Здесь стреляли до последнего снаряда.

Я гляжу поверх щита и вижу, куда стреляли. Точнее, сначала я вижу громадные, заросшие плющом пробойны в стене дома напротив, и только потом в глаза мне бросается некая архитектурная несообразность. У подножия дома с пробойнами, совершенно ни к селу ни к городу, стоит небольшой тускло-желтый павильон, одноэтажный, с плоской крышей, и теперь мне ясно, что стреляли именно по нему, прямой наводкой, почти в упор, с пятидесяти метров, а зияющие дыры в стене дома над ним — это промахи, хотя с такого расстояния промахнуться, казалось, было бы невозможно. Впрочем, промахов не так уж и много, и

можно только поражаться прочности этого невзрачного желтого сооружения, принявшего на себя столько попадавший и все же не превратившегося в груды мусора.

Расположен павильон нелепо, и поначалу мне кажется, будто страшными ударами снарядов его сдвинуло с места, отбросило назад, загнало на тротуар и почти воткнуло углом в стену дома. Но это, конечно, не так. Снаряды пробивали в желтом фасаде круглые отверстия с оплавленными и закопченными краями и рвались внутри, так что широкие створки просторного входа выбило наружу, и, перекосившись, они висят теперь на каких-то невидимых ниточках. Внутри, несомненно, возник пожар, и все, что там было, выгорело дотла, а языки пламени оставили черные следы над входом и кое-где над пробоинами. Но стоит павильон, конечно же, именно там, где его поставили с самого начала какие-то чудаковатые архитекторы, совершенно загородив тротуар и отхвативши часть мостовой, что несомненно должно было мешать движению транспорта.

Все, что здесь случилось, случилось очень давно, много лет назад, и давно уже исчезли запахи пожаров и стрельбы, но странным образом сохранилась и давила душу атмосфера лютой ненависти, ярости, бешенства, которые двигали тогда неведомыми артиллеристами.

Я принимаюсь диктовать очередное донесение, а Щекн, усевшись поодаль, брюзгливо отвесив губу, демонстративно громко бурчит, кося желтым глазом: «Люди... Какое же тут может быть сомнение... Разумеется, люди... Железо и огонь, развалины, всегда одно и то же...» Видимо, он тоже ощущает эту атмосферу, и, наверное, еще более интенсивно, чем я. Он ведь вдобавок вспоминает сейчас свои родные края — леса, начиненные смертоубийственной техникой, выжженные до пепла пространства, где мертво торчат обугленные радиоактивные стволы деревьев и сама земля пропитана ненавистью, страхом и гибелью...

На этой площади нам делать больше нечего. Разве что строить гипотезы и рисовать в воображении картины одна другой ужаснее. Мы идем дальше, а я думаю, что в эпохи глобальных катастроф цивилизации выплескивают на поверхность бытия всю мерзость, все подонки, скопившиеся за столетия в генах социума. Формы этой накипи чрезвычайно многообразны, и по ним можно судить, насколько неблагоприятна была данная цивилизация к моменту катаклизма, но очень мало можно сказать о природе этого катаклизма, потому что самые разные катаклизмы — будь то глобальная пандемия, или всемирная война, или даже геологическая катастрофа — выплескивают на поверхность

одну и ту же накипь: ненависть, звериный эгоизм, жестокость, которая кажется оправданной, но не имеет на самом деле никаких оправданий...

Сообщение от Эспады: он вступил в контакт. Приказ Комова: всем группам подготовить трансляторы для приема лингвистической информации. Я завожу руку за спину и на ощупь щелкаю тумблером портативного переводчика...

2 июня 78 года. МАЙЯ ГЛУМОВА, ПОДРУГА ЛЬВА АБАЛКИНА.

Я не стал предупреждать Майю Тойвовну о своем визите, а прямо в девять утра направился на площадь Звезды.

На рассвете прошел небольшой дождь, и огромный куб музея из неотесанного мрамора весь влажно сверкал под солнцем. Еще издали я увидел перед главным входом небольшую толпу, а подойдя вплотную, услышал недовольные и разочарованные восклицания. Оказывается, со вчерашнего дня Музей был закрыт для посетителей по случаю подготовки какой-то новой экспозиции. Я не стал здесь задерживаться. Мне неоднократно приходилось бывать в этом Музее, и я знал, где расположен служебный вход. Я обогнул здание и по тенистой аллейке прошел к широкой низкой дверце, едва заметной за сплошной стеной каких-то выющихся растений. Эта пластиковая, под мореный дуб, дверца тоже была заперта. У порога маялся кибер-уборщик. Вид у него был безнадежно унылый: за ночь он, бедняга, основательно разрядился, а теперь здесь, в тени, шансов снова накопить энергию у него было не много.

Я отодвинул его ногой и сердито постучал. Отозвался замогильный голос:

— Музей Внеземных Культур временно закрыт для переоборудования центральных помещений под новую экспозицию. Просим прощения, приходите к нам через неделю.

— Массаракш! — произнес я вслух, озираясь в некоторой растерянности.

Никого вокруг, естественно, не было, и только кибер озабоченно стрекотал у меня под ногами. Видимо, его заинтересовали мои туфли.

Я снова отпихнул его и снова стукнул кулаком в дверь.

— Музей Внеземных Культур... — затянул было замогильный голос и вдруг смолк.

Дверь распахнулась.

— То-то же, — сказал я и вошел.

Кибер остался за порогом.

— Ну? — сказал я ему. — Заходи.

Но он попятился, словно бы не решаясь, и в ту же секунду дверь снова захлопнулась.

В коридорах стоял не очень сильный, но весьма специфический запах. Я уже давно успел заметить, что каждый музей обладает своим запахом. Особенно мощно пахло в зоологических музеях, но и здесь тоже паховало основательно. Внеземными культурами, надо полагать.

Я заглянул в первое попавшееся помещение и обнаружил там двух совсем молоденьких девчушек, которые с молекулярными паяльниками в руках возились в недрах некоего сооружения, более всего напоминающего гигантский моток колючей проволоки. Я спросил, где мне найти Майю Тойвовну, получил подробные указания и пошел блуждать по переходам и залам спецсектора предметов материальной культуры невыясненного назначения. Здесь я никого не встретил. Широкие массы сотрудников пребывали, по-видимому, в центральных помещениях, где и занимались новой экспозицией, а здесь не было никого и ничего, кроме предметов невыясненного назначения. Но уж зато предметов этих я нагляделся по дороге досыта, и у меня мимоходом сложилось убеждение, что назначение их как было всегда невыясненным, так и останется таковым во веки веков, аминь.

Майю Тойвовну я нашел в ее кабинете-мастерской. Когда я вошел, она подняла мне навстречу лицо — красивая, мало того — очень милая женщина: прекрасные каштановые волосы, большие серые глаза, слегка вздернутый нос, сильные обнаженные руки с длинными пальцами, свободная блузка-безрукавка в вертикальную черно-белую полоску. Прелестная женщина. Над правой бровью у нее была маленькая черная родинка.

Она глядела на меня рассеяннo, и даже не на меня, а как бы сквозь меня, глядела и молчала. На столе перед нею было пусто, только обе руки ее лежали на столе, как будто она их положила перед собой и забыла о них.

— Прошу прощения, — сказал я. — Меня зовут Максим Каммерер.

— Да. Слушаю вас.

Голос у нее тоже был рассеянный, и сказала она неправду: не слушала она меня. Не слышала она меня и не видела. И вообще ей было явно не до меня сегодня. Любой приличный человек на моем месте извинился бы и потихоньку ушел. Но я не мог позволить себе быть приличным человеком. Я был сотрудником КОМКОНа-2 на

работе. Поэтому я не стал ни извиняться, ни тем более уходить, а просто уселся в первое попавшееся кресло и, изобразив на физиономии простодушную приветливость, спросил:

— Что это у вас сегодня с Музеем? Никого не пускают...

Кажется, она немного удивилась:

— Не пускают? Разве?

— Ну я же вам говорю! Еле-еле пропустили через служебный вход...

— А, да... Простите, кто вы такой? У вас ко мне дело?

Я повторил, что я — Максим Каммерер, и принялся излагать свою легенду.

И тут произошла удивительная вещь. Едва я произнес имя Льва Абалкина, как она словно бы проснулась. Рассеянность исчезла с ее лица, она вся вспыхнула и буквально впиалась в меня своими серыми глазами. Но она не произнесла ни слова и выслушала меня до конца. Она только медленно подняла от стола свои безвольно лежавшие руки, скрестила длинные пальцы и положила на них подбородок.

— Вы сами его знали? — спросила она.

Я рассказал об экспедиции в устье Голубой Змеи.

— И вы обо всем этом напишете?

— Разумеется, — сказал я. — Но этого мало.

— Мало — для чего? — спросила она.

На лице ее появилось странное выражение — словно она с трудом сдерживала смех. У нее даже глаза заблестели.

— Понимаете, — начал я снова, — мне хочется показать становление Абалкина как крупнейшего специалиста в своей области. На стыке зоопсихологии и социопсихологии он произвел что-то вроде...

— Но он же не стал специалистом в своей области, — сказала она. — Они же сделали его Прогрессором. Они же его... Они...

Нет, не смех она сдерживала, а слезы. И теперь перестала сдерживать. Упала лицом в ладони и разрыдалась. О господи! Женские слезы — это вообще ужасно, а тут я вдобавок ничего не понимал. Она рыдала бурно, самозабвенно, как ребенок, вздрагивая всем телом, а я сидел дурак-дураком и не знал, что делать. В таких случаях всегда протягивают стакан воды, но в кабинете-мастерской не было ни стакана, ни воды, ни каких-либо заменителей — только стеллажи, уставленные предметами неизвестного назначения.

А она все плакала, слезы струйками протекали у нее между пальцами и капали на стол, она судорожно вздыхала, всхлипывала и все не открывала лица, а потом вдруг принялась говорить, и говорила так, будто думала вслух — перебивая сама себя, без всякого порядка и без всякой цели.

...Он лупил ее — ого, еще как! Стоило ей поднять хвост, как он выдавал ей по первое число. Ему было наплевать, что она девчонка и младше его на три года, — она принадлежала ему, и точка. Она была его вещью, его собственной вещью. Стала сразу же, чуть ли не в тот день, когда он увидел ее. Ей было пять лет, а ему восемь. Он бегал кругами и выкрикивал свою собственную считалку: «Стояли звери около двери, они кричали, их не пускали!» Десять раз, двадцать раз подряд. Ей стало смешно, и вот тогда он выдал ей впервые...

...Это было прекрасно — быть его вещью, потому что он любил ее. Он больше никого и никогда не любил. Только ее. Все остальные были ему безразличны. Они ничего не понимали и не умели понять. А он выходил на сцену, пел песни и декламировал — для нее. Он так и говорил: «Это для тебя. Тебе понравилось?» И прыгал в высоту — для нее. И нырял на тридцать два метра — для нее. И писал стихи по ночам — тоже для нее. Он очень ценил ее, свою собственную вещь, и он все время стремился быть достойным такой ценной вещи. И никто ничего об этом не знал. Он всегда умел сделать так, чтобы никто ничего об этом не знал. До самого последнего года, когда об этом узнал его Учитель...

...У него было еще много собственных вещей. Весь лес вокруг интерната был его очень большой собственной вещью. Каждая птица в этом лесу, каждая белка, каждая лягушка в каждой канаве. Он повелевал змеями, он начинал и прекращал войны между муравейниками, он умел лечить оленей, и все они были его собственными, кроме старого лося по имени Рекс, которого он признал равным себе, но потом с ним поссорился и прогнал его из леса...

...Дура, дура! Сначала все было так хорошо, а потом она подросла и вздумала освободиться. Она прямо объявила ему, что не желает больше быть его вещью. Он отлупил ее, но она была упряма, она стояла на своем, проклятая дура. Тогда он снова отлупил ее, жестоко и беспощадно, как лупил своих волков, пытавшихся вырваться у него из повиновения. Но она-то была не волк, она была упрямее всех его волков, вместе взятых. И тогда он выхва-

тил из-за пояса свой нож, который самолично выточил из кости, найденной в лесу, и с бешеной улыбкой медленно и страшно вспорол себе руку от кисти до локтя. Он стоял перед ней с бешеной улыбкой, кровь хлестала у него из руки, как вода из крана, и он спросил: «А теперь?» И он еще не успел повалиться, как она поняла, что он был прав. Был прав всегда, с самого начала. Но она, дура, дура, дура, так и не захотела признать этого...

...А в последний его год, когда она вернулась с каникул, ничего уже не было. Что-то случилось. Наверное, они уже взяли его в свои руки. Или узнали обо всем и, конечно же, ужаснулись, идиоты. Проклятые разумные кретины. Он посмотрел сквозь нее и отвернулся. И больше уже не смотрел на нее. Она перестала существовать для него, как и все остальные. Он утратил свою вещь и примирился с потерей. А когда он снова вспомнил о ней, все уже было по-другому. Жизнь уже навсегда перестала быть таинственным лесом, в котором он был владыкой, а она — самым ценным, что он имел. Они уже начали превращать его, он уже был почти Прогрессор, он уже был на полпути в другой мир, где предают и мучают друг друга. И видно было, что он стоит на этом пути твердой ногой, он оказался хорошим учеником, старательным и способным. Он писал ей, она не отвечала. Он звал ее, она не откликалась. А надо было ему не писать и не звать, а приехать самому и отлупить, как встарь, и тогда все, может быть, стало бы по-прежнему. Но он уже больше не был владыкой. Он стал всего лишь мужчиной, каких было много вокруг, и он перестал ей писать...

...Последнее его письмо, как всегда написанное от руки (он признавал только письма от руки, никаких кристаллов, никаких магнитных записей, только от руки), последнее его письмо пришло как раз оттуда, из-за Голубой Змеи. «Стояли звери около двери,— писал он,— они кричали, их не пускали». И больше ничего не было в этом последнем его письме...

Она лихорадочно выговаривалась, всхлипывая и сморкаясь в смятые лабораторные салфетки, и вдруг я понял, и через секунду она сказала это сама: она виделась с ним вчера. Как раз в то самое время, когда я звонил ей и беседовал с конопатым Тойво, и когда я дозванивался до Ядвиги, и когда я разговаривал с Экселенцем, и когда я валялся дома, изучая отчет об операции «Мертвый мир»,— все это время она была с ним, смотрела на него, слушала его, и что-то там у них происходило такое, из-за чего она сейчас плакалась в жилетку незнакомому человеку.

2 июня 78 года. МАЙЯ ГЛУМОВА И ЖУРНАЛИСТ КАММЕРЕР.

Она замолчала, словно опомнившись, и я тоже опомнился — только на несколько секунд раньше. Ведь я был на работе. Надо было работать. Долг. Чувство долга. Каждый обязан исполнить свой долг. Эти затхлые, шершавые слова. После того, что мне довелось услышать. Плюнуть на долг и сделать все возможное, чтобы вытащить эту несчастную женщину из трясины ее непонятного отчаяния. Может быть, это и есть мой настоящий долг.

Но я знал, что это не так. Это не так по многим причинам. Например, потому, что я не умею вытаскивать людей из трясины отчаяния. Просто не знаю, как это делается. Не знаю даже, с чего здесь начинают. И поэтому мне больше всего хотелось сейчас встать, извиниться и уйти. Но и этого я, конечно, не сделаю, потому что мне надо непременно узнать, где они встречались и где он сейчас...

Она вдруг снова спросила:

— Кто вы такой?

Она задала этот вопрос голосом надтреснутым и сухим, и глаза у нее уже были сухие и блестящие, совсем больные глаза.

Пока я не пришел, она сидела здесь одна, хотя вокруг было полным-полно ее коллег и даже, наверное, друзей, все равно она была одна, может быть, даже кто-то подходил к ней и пытался заговорить с нею, но она все равно оставалась одна, потому что никто здесь не знал и не мог ничего знать о человеке, переполнившем ее душу этим страшным отчаянием, этим жгучим, обессиливающим разочарованием и всем прочим, что скопилось в ней за эту ночь, рвалось наружу и не находило выхода. И вот появился я и назвал имя Льва Абалкина — словно полоснул скальпелем по невыносимому нарыву. И тогда ее прорвало, и на какое-то время она ощутила огромное облегчение, сумела наконец выкрикаться, освободиться от боли, разум ее освободился, и тогда я перестал быть целителем, а стал тем, кем и был на самом деле, — совершенно чужим, посторонним и случайным человеком. И сейчас ей становилось ясно, что на самом деле я не могу быть совсем уж случайным человеком, потому что таких случайностей не бывает. Не бывает так, чтобы расстаться с возлюбленным двадцать лет назад, двадцать лет ничего не знать о нем, двадцать лет не слышать его имени, а потом, двадцать лет спустя, снова встретиться с ним и провести с ним ночь, страшную и горькую, страшнее и горше любой разлуки,

и чтобы наутро, впервые за двадцать лет, услышать его имя от совершенно случайного, чужого, постороннего человека...

— Кто вы такой? — спросила она надтреснутым и сухим голосом.

— Меня зовут Максим Каммерер, — ответил я в третий раз, всем видом своим изображая крайнюю растерянность. — Я в некотором роде журналист... Но ради бога... Я, видимо, попал не вовремя... Понимаете, я собираю материал для книги о Льве Абалкине...

— Что он здесь делает?

Она мне не верила. Может быть, она чувствовала, что я ищу не материал о Льве Абалкине, а самого Льва Абалкина. Мне надо было приспособливаться. И побыстрее. И я, разумеется, приспособился.

— В каком смысле? — спросил журналист Каммерер озадаченно и с некоторой даже тревогой.

— У него здесь задание?

Журналист Каммерер обалдел.

— 3-задание? Н-не совсем понимаю... — Журналист Каммерер был жалок. Без всякого сомнения, он был не готов к такой встрече. Он попал в дурацкое положение помимо своей воли и совершенно не представлял себе, как из этого положения выпутаться. Больше всего на свете журналисту Каммереру хотелось убежать. — Майя Тойвовна, ведь я... Ради бога, вы не подумайте только... Считайте, что я ничего здесь не слышал... Я уже все забыл!.. Меня здесь вообще не было!.. Но если я могу помочь вам...

Журналист Каммерер лепетал бессвязицу и был багров от смущения. Он уже не сидел. Он в предупредительной и крайне неудобной позе как бы нависал над столом и все пытался ободряюще взять Майю Тойвовну за локоть. Он был, вероятно, довольно противен на вид, но уж наверняка совершенно безвреден и глуповат.

— ...У меня, видите ли, такая манера работы... — бормотал он в жалкой попытке как-то оправдаться. — Вероятно, спорная, не знаю, но раньше мне всегда это удавалось... Я начинаю с периферии: сотрудники, друзья... учителя, разумеется... наставники... А потом уже — так сказать, во всеоружии — приступаю к главному объекту исследования... Я справлялся в КОМКОНе, мне сказали, что Абалкин должен вот-вот вернуться на Землю... С Учителем я уже говорил... С врачом... Потом решил — с вами... но не вовремя!.. Простите, и еще раз простите... Я же не слепой, я вижу, что получилось какое-то крайне неприятное совпадение...

И он-таки успокоил ее, этот неуклюжий и глуповатый журналист Каммерер. Она откинулась в кресле и прикрыла лицо ладонью. Подозрения исчезли, проснулся стыд, и навалилась усталость.

— Да,— сказала она.— Это совпадение...

Теперь журналисту Каммереру следовало повернуться и удалиться на цыпочках. Но не такой он был человек, этот журналист. Не мог он вот так, попросту, оставить в одиночестве измученную, расстроенную женщину, без всякого сомнения нуждающуюся в помощи и поддержке.

— Разумеется, совпадение и не более того...— бормотал он.— И забудем, и ничего не было... Потом, когда-нибудь, когда вам будет удобно... угодно... я бы с величайшей благодарностью, разумеется... Конечно, это не в первый раз случается в моей работе, что я сначала беседую не с главным объектом, а потом уже... Майя Тойвовна, может быть, позвать кого-нибудь? Я мигом...

Она молчала.

— Ну и не надо, ну и правильно... Зачем? Я посижу здесь с вами... на всякий случай...

Она наконец отняла руку от глаз.

— Не надо вам со мной сидеть,— устало сказала она.— Ступайте лучше к своему главному объекту...

— Нет-нет-нет!—запротестовал журналист Каммерер.— Успею. Объект, знаете ли, объектом, а я бы не хотел оставлять вас одну... Времени у меня сколько угодно...— Он посмотрел на часы с некоторой тревогой.— А объект теперь никуда не денется! Теперь я его поймаю... Да его и дома-то сейчас, скорее всего, нет. Знаю я этих Прогрессоров в отпуске... Бродит, наверное, по городу и предается сентиментальным воспоминаниям...

— Его нет в городе,— сказала Майя Тойвовна, пока еще сдерживаясь.— Вам до него два часа лету...

— Два часа лету? — Журналист Каммерер был неприятно поражен.— Позвольте, но у меня определенно сложилось впечатление...

— Он на Валдае! Курорт «Осинушка»! На озере Велье! И имейте в виду, что нуль-Т не работает!

— М-м-м! — очень громко произнес журналист Каммерер.

Двухчасовое воздушное путешествие, безусловно, не входило в его планы на сегодняшний день. Можно было даже заподозрить, что он вообще противник воздушных путешествий.

— Два часа... — забормотал он. — Так-так-так... Я как-то совсем по-другому это себе представлял... Прошу

извинить меня, Майя Тойвовна, но, может быть, с ним можно как-то связаться отсюда?..

— Наверное, можно,— сказала Майя Тойвовна совсем уже угасшим голосом.— Я не знаю его номера... Послушайте, Каммерер, дайте мне остаться одной. Все равно вам сейчас от меня никакого толку.

И вот только теперь журналист Каммерер осознал всю неловкость своего положения до конца. Он вскочил и бросился к двери. Спихнулся, вернулся к столу. Пробормотал нечленораздельные извинения. Снова бросился к двери, опрокинув по дороге кресло. Продолжая бормотать извинения, поднял кресло и поставил его на место с величайшей осторожностью, словно оно было из хрусталя и фарфора. Попятился, кланяясь, выдавил задом дверь и вывалился в коридор.

Я осторожно прикрыл дверь и некоторое время постоял, растирая тыльной стороной ладони затекшие мускулы лица. От стыда и отвращения к самому себе меня мутило.

2 июня 78 года. «ОСИНУШКА». ДОКТОР ГОАННЕК.

С восточного берега «Осинушка» выглядела как россыпь белых и красных крыш, утопающих в красно-зеленых зарослях рябины. Была там еще узкая полоска пляжа и деревянный на вид причал, к которому приткнулось стадо разноцветных лодок. На всем озаренном солнцем косогоре не видно было ни души, и только на причале восседал, свесив босые ноги, некто в белом — надо полагать, удил рыбу, очень уж был неподвижен.

Я бросил одежду на сиденье и без лишнего шума вошел в воду. Хороша была вода в озере Велье, чистая и сладкая, плыть было одно удовольствие.

Когда я вскарабкался на причал и, вытряхивая воду из уха, запрыгал на одной ноге по горячим от солнца доскам, некто в белом отвлекся наконец от поплавка и, оглядев меня через плечо, осведомился с интересом:

— Так и бредете из Москвы в одних трусах?

Опять это был старикан лет под сто, сухой и тощий, как его бамбуковая удочка, только не желтый с лица, а скорее коричневый или даже, я бы сказал, почти черный. Возможно, по контрасту со своими незапятнанно белыми одеждами. Впрочем, глаза у него были молодые — маленькие, синенькие и веселенькие. Ослепительно-белая каскетка с исполинским противосолнечным козырьком прикрывала его несомненно лысую голову и делала его похожим не

то на отставного жокея, не то на марктовеновского школьника, удравшего из воскресной школы.

— Говорят, здесь рыбы необыкновенное количество,— сказал я, опускаясь рядом с ним на корточки.

— Вранье,— сказал он. Кратко сказал. Увесисто.

— Говорят, здесь можно время неплохо провести,— сказал я.

— Смотря кому,— сказал он.

— Модный курорт, говорят, здесь,— сказал я.

— Был,— сказал он.

Я иссяк. Мы помолчали.

— Модный курорт, юноша,— наставительно произнес он,— был здесь три сезона тому назад. Или, как выражается мой правнук Брюцеслав, «тому обратно». Теперь, видите ли, юноша, мы не мыслим себе отдыха без ледяной воды, без гнуса, без сыроядения и диких дебрей... «Дикие скалы — вот мой приют», видите ли... Таймыр и Баффинова земля, знаете ли... Космонавт? — спросил он вдруг. — Прогрессор? Этнолог?

— Был,— сказал я не без злорадства.

— А я врач,— сказал он, не моргнув глазом. — Полагаю, вам я не нужен? Последние три сезона я редко кому здесь был нужен. Впрочем, опыт показывает, что пациент склонен идти косяком. Например, вчера я понадобился. Спрашивается: почему бы и не сегодня? Вы уверены, что я вам не нужен?

— Только как приятный собеседник,— сказал я искренне.

— Ну что ж, и на том спасибо,— отозвался он с готовностью. — Тогда пойдемте пить чай.

И мы пошли пить чай.

Доктор Гоаннек обитал в обширной бревенчатой избе при медицинском павильоне. Изба была оборудована всем необходимым, как-то: крыльцом с балясинами, резными паличниками, коньковым петухом, русской ультразвуковой печью с автоматической настройкой, подовой ванной и двухспальной лежанкой, а также двухэтажным погребом, подключенным, впрочем, к Линии Доставки. На задах, в зарослях могучей крапивы, имела место кабина нуль-Т, искусно выполненная в виде деревянного нужника.

Чай у доктора состоял из ледяного свекольника, пшенной каши с тыквой и шипучего, с изюмом кваса. Собственно чая, чая как такового, не было: по глубокому убеждению доктора Гоаннека, потребление крепкого чая способствовало камнеобразованию, а жидкий чай представлял собою кулинарный нонсенс.

Доктор Гоаннек был старожилом «Осинушки» — он принял здешнюю практику двенадцать сезонов назад. Он видывал «Осинушку» и заурядным курортом, каких тысячи, и в пору совершенно фантастического взлета, когда в курортологии на время возобладала идея, будто только средняя полоса способна сделать отдыхающего счастливым. Не покинул он ее и теперь, в период ее, казалось бы безнадёжного, упадка.

Нынешний сезон, начавшийся, как всегда, в апреле, привел в «Осинушку» всего лишь тронх.

В середине мая здесь побывала супружеская чета абсолютно здоровых ассенизаторов, только что прибывших из Северной Атлантики, где они разгребали огромную кучу радиоактивной дряни. Эта пара — негр банту и малайка — перепутала полушария и явилась сюда покататься, видите ли, на лыжах. Побродив несколько дней по окрестным лесам, они в одну прекрасную ночь скрылись в неизвестном направлении, и только через неделю от них пришла телеграмма с подобающими извинениями.

Да вот еще вчера рано утром объявился неожиданно-негаданно в «Осинушке» некий странный юноша. Почему странный? Во-первых, непонятно, как он сюда попал. Не было при нем ни наземного, ни воздушного транспорта — за это доктор Гоаннек мог поручиться своей бессонницей и чутким слухом. Не явился он сюда и пешком, — не был он похож на человека, путешествующего пешком: пеших туристов доктор Гоаннек безошибочно определял по запаху. Оставалась нуль-транспортировка. Но, как известно, последние несколько дней нуль-связь барахлит из-за флуктуаций нейтринного поля, а значит, в «Осинушку» нуль-транспортировкой можно было попасть только по чистой случайности. Однако спрашивается: если этот юноша попал сюда чисто случайно, почему он сразу же набросился на доктора Гоаннека, словно именно в докторе Гоаннеке он нуждался всю свою жизнь?

Этот последний пункт показался путешествующему в трусах туристу Каммереру несколько туманным, и доктор Гоаннек не замедлил дать соответствующие разъяснения. Странному юноше не нужен был именно доктор Гоаннек лично. Ему нужен был любой доктор, но зато чем скорее, тем лучше. Дело в том, что юноша жаловался на нервное истощение, и таковое истощение у него действительно имело место, причем настолько сильное, что такому опытному врачу, как доктор Гоаннек, это было видно невооруженным глазом. Доктор Гоаннек считал необходимым тут же произвести всестороннее и тщательное обследование, кото-

рое, к счастью, не обнаружило никакой патологии. Замечательно, что этот благоприятный диагноз произвел на юношу прямо-таки целительное действие. Он буквально расцвел на глазах и уже через два-три часа, как ни в чем не бывало, принимал гостей.

Нет-нет, гости прибыли самым обыкновенным образом — на стандартном глайдере... собственно, не гости, а гостья. И очень правильно: для молодого человека нет и не может быть более целительной психотерапии, нежели очаровательная молодая женщина. В обширной практике доктора Гоаннека аналогичные случаи имели место достаточно часто. Вот, например... Доктор Гоаннек привел пример номер один. Или, скажем... Доктор Гоаннек привел пример номер два. Соответственно, и для молодых женщин лучшей психотерапией является... И доктор Гоаннек привел примеры за номерами три, четыре и пять.

Чтобы не ударить в грязь лицом, турист Каммерер поспешил ответить примером из своего личного опыта, когда он в бытность свою Прогрессором тоже однажды оказался на грани нервного истощения, однако этот жалкий и неудачный пример был отвергнут доктором Гоаннеком с негодованием. С Прогрессорами, оказывается, все обстоит совершенно иначе — гораздо сложнее, а в известном смысле, наоборот, гораздо проще. Во всяком случае, доктор Гоаннек никогда не позволил бы себе без консультации со специалистом применять какие бы то ни было психотерапевтические средства к странному юноше, если бы таковой был Прогрессором...

Но странный юноша, разумеется, не был Прогрессором. Говоря в скобках, он, пожалуй, никогда и не смог бы стать Прогрессором: у него для этого малоприспособленный тип нервной организации. Нет, не Прогрессором он был, а то ли артистом, то ли художником, которого постигла крупная творческая неудача. И это был далеко не первый и даже не десятый случай в богатой практике доктора Гоаннека. Помнится... И доктор Гоаннек принялся извергать случаи один другого краше, заменяя при этом, разумеется, подлинные имена всевозможными Иксами, Бетами и даже Альфами...

Турист Каммерер, бывший Прогрессор и человек вообще грубоватый по натуре, довольно невежливо прервал это поучительное повествование, заявив, что лично он ни почем не согласился бы жить на одном курорте с ополоумевшим артистом. Это было опрометчивое замечание, и туриста Каммерера незамедлительно поставили на место. Прежде всего, слово «ополоумевший» было проанализиро-

вано, вдребезги раскритиковано и отмечено прочь, как медицински безграмотное, а вдобавок еще и вульгарное. И только затем доктор Гоаннек с необычайным ядом в голосе сообщил, что упомянутый ополоумевший артист, предчувствуя, видимо, нашествие бывшего Прогрессора Каммерера и все связанные с этим неудобства, сам отказался от мысли делить с ним один курорт и еще утром отбыл на первом попавшемся глайдере. При этом он так спешил избежать встречи с туристом Каммерером, что даже не успел попрощаться с доктором Гоаннеком.

Бывший Прогрессор Каммерер остался, впрочем, совершенно нечувствителен к яду. Он принял все за чистую монету и выразил полное удовлетворение тем обстоятельством, что курорт свободен от нервно-истощенных работников искусства и теперь можно без помех и со вкусом выбрать себе подходящее место для постоя.

— Где жил этот неврастеник? — прямо спросил он и тут же пояснил: — Это я — чтобы туда зря не ходить.

Разговор происходил уже на крыльце с балясинами. Несколько шокированный доктор молча указал на живописную избу с большим синим номером шесть, стоявшую несколько отдельно от прочих строений, на самом обрыве.

— Превосходно, — объявил турист Каммерер. — Значит, туда мы не пойдем. А пойдем мы с вами сначала вон туда... Мне нравится, что там как будто рябина погуще...

Было совершенно несомненно, что изначально общительный доктор Гоаннек намеревался предложить, а в случае сопротивления — и навязать свою особу в качестве проводника и рекомендателя «Осинушки». Однако турист и бывший Прогрессор Каммерер казался ему теперь излишне бесцеремонным и толстокожим.

— Разумеется, — сухо сказал он. — Я вам советую пройти по этой вот тропинке. Отыщите коттедж номер двенадцать...

— Как? А вы?

— Увольте. У меня, знаете ли, обыкновение после чая отдыхать в гамаке...

Несомненно, одного-единственного жалобного взгляда было бы достаточно, чтобы доктор Гоаннек немедленно смягчился и изменил бы своему обыкновению во имя закон гостеприимства. Поэтому толстокожий и вульгарный Каммерер поспешил наложить последний мазок.

— Пр-р-роклятые годы, — сочувственно произнес он, и дело было сделано.

Кипя безмолвным негодованием, доктор Гоаннек на-

правился к своему гамаку, а я нырнул в заросли рябины, обогнул медицинский павильон и наискосок по косогору направился к избе неврастеника.

2 июня 78 года. В ИЗБЕ НОМЕР ШЕСТЬ.

Мне было ясно, что скорее всего «Осинушка» больше никогда не увидит Льва Абалкина и что в его временном жилище я не найду ничего для себя полезного. Но две вещи были для меня совсем не ясны. Действительно: как Лев Абалкин попал в эту «Осинушку» и зачем? С его точки зрения, если он действительно скрывается, гораздо логичнее и безопаснее было бы обратиться к врачу в любом большом городе. Например, в Москве, до которой отсюда десять минут лету, или хотя бы в Валдае, до которого отсюда лету две минуты. Скорее всего, он попал сюда совершенно случайно: либо не обратил внимания на предупреждение о нейтринной буре, либо ему было все равно куда попадать. Ему нужен был врач, срочно, позарез. Зачем?

И еще одна странность. Неужели опытный столетний врач мог ошибиться настолько, чтобы признать матерого Прогрессора непригодным к этой профессии? Вряд ли. Тем более, что вопрос о профессиональной ориентации Абалкина встает передо мной не впервые... Выглядит это беспрецедентно. Одно дело — направить в Прогрессоры человека вопреки его профессиональным склонностям, и совсем другое дело — определить Прогрессором человека с противопоказанной нервной организацией. За такие штучки надо снимать с работы — и не временно, а навсегда, потому что пахнет это уже не напрасной растратой человеческой энергии, а человеческими смертями... Кстати, Тристан уже умер... И я подумал, что потом, когда я найду Льва Абалкина, мне непременно надо будет найти тех людей, по вине которых заварилась вся эта каша.

Как я и ожидал, дверь временного обиталища Льва Абалкина заперта не была. В маленьком холле было пусто, на низком круглом столике под газосветной лампой восседал игрушечный медвежонок-панда и важно кивал головой, посвечивая рубиновыми глазками.

Я заглянул направо, в спальню. Видимо, сюда не заходили года два, а то и все три, — даже световая автоматика не была там задействована, а над застеленной кроватью темнели в углу паутинные заросли с дохлыми пауками.

Обогнув столик, я прошел на кухню. Кухней пользовались. На откидном столе имели место грязные тарелки,

окно Линии Доставки было открыто, и в приемной камере красовался невестребованный пакет с гроздьё бананов. Видимо, там, у себя в штабе «Ц», Лев Абалкин привык пользоваться услугами денщика. Впрочем, вполне можно было предположить, что он не знал, как запустить кибер-уборщика...

Кухня в какой-то мере подготовила меня к тому, что я увидел в гостиной. Правда, в очень малой мере. Весь пол был усеян клочьями рваной бумаги. Широкая кушетка разорена — цветастые подушки валялись как попало, а одна оказалась на полу в дальнем углу комнаты. Кресло у стола было опрокинуто, на столе в беспорядке располагались блюда с подсохшей едой и опять-таки грязные тарелки, а среди всего этого торчала початая бутылка вина. Еще одна бутылка, оставив за собой липкую дорожку на ковре, откатилась к стене. Бокал с остатками вина был почему-то только один, но поскольку оконная портьера была содрана и висела на последних нитках, я как-то сразу предположил, что второй бокал улетел в распахнутое настежь окно.

Мятая бумага валялась не только на полу, и не вся она была мятая. Несколько листков белели на кушетке, рванные клочки попали в блюда с едой, и вообще блюда и тарелки были несколько сдвинуты в сторону, а на освободившемся пространстве лежала целая пачка бумаги.

Я сделал несколько осторожных шагов, и сейчас же что-то твердое впилося мне в босую подошву. Это был кусочек янтаря, похожий на коренной зуб с двумя корнями. Он был просверлен насквозь. Я опустился на корточки, огляделся и обнаружил еще несколько таких же кусочков, а остатки янтарного ожерелья валялись под столом, у самой кушетки.

Все еще на корточках, я подобрал ближайший клочок бумаги и расправил его на ковре. Это была половинка листа обычной писчей бумаги, на которой кто-то изобразил стилем человеческое лицо. Детское лицо. Некий пухлощекый мальчишка лет двенадцати. По-моему, ябеда. Рисунок был выполнен несколькими точными, уверенными штрихами. Очень и очень приличный рисунок. Мне вдруг пришло в голову, что я, может быть, ошибаюсь, что вовсе не Лев Абалкин, а и на самом деле какой-то профессиональный художник, претерпевший творческую неудачу, оставил здесь после себя весь этот хаос.

Я собрал всю разбросанную бумагу, поднял кресло и устроился в нем.

И опять все это выглядело довольно странно. Кто-то

быстро и уверенно рисовал на листках какие-то лица — по преимуществу детские, каких-то зверюшек — явно земных, какие-то строения, пейзажи, даже, по-моему, облака. Было там несколько схем и как бы кроков, набросанных рукой профессионального топографа, — рощицы, ручьи, болота, перекрестки дорог, и тут же, среди лаконичных топографических знаков, — почему-то крошечные человеческие фигурки, сидящие, лежащие, бегущие, и крошечные изображения животных — не то оленей, не то лосей, не то волков, не то собак, и почему-то некоторые из этих фигурок были перечеркнуты.

Все это было непонятно и уж во всяком случае никак не увязывалось с хаосом в комнате и с образом имперского штабного офицера, не прошедшего рекондиционирования. На одном из листочков я обнаружил превосходно выполненный портрет Майи Глумовой, и меня поразило выражение то ли растерянности, то ли недоумения, очень умело схваченное на этом улыбающемся и, в общем-то, веселом лице. Был там еще и шарж на Учителя, Сергея Павловича Федосеева, причем мастерский шарж: именно таким был, вероятно, Сергей Павлович четверть века назад. Увидев этот шарж, я сообразил наконец, что это за строения изображены на рисунках, — четверть века назад такова была типовая архитектура евразийских школ-интернатов... И все это рисовалось быстро, точно, уверенно, и почти сейчас же рвалось, сминалось, отбрасывалось.

Я отложил бумаги и снова оглядел гостиную. Внимание мое привлекла голубая тряпочка, валявшаяся под столом. Я подобрал ее. Это был измятый и изодранный женский носовой платок. Я, конечно, сразу же вспомнил рассказ Акутагавы, и мне представилось, как Майя Тойвовна сидела вот в этом самом кресле перед Львом Абалкиным, смотрела на него, слушала его, и на лице ее блуждала улыбка, за которой лишь слабой тенью проступало выражение то ли растерянности, то ли недоумения, а руки ее под столом безжалостно терзали и рвали носовой платок...

Я отчетливо видел Майю Глумову, но я никак не мог представить себе, что же такое видела и слышала она. Все дело было в этих рисунках. Если бы не они, я бы легко увидел перед собой на этой развороченной кушетке обыкновенного имперского офицера, только что из казармы и вкушающего заслуженный отдых. Но рисунки были, и что-то очень важное, очень сложное и очень темное скрывалось за ними...

Делать здесь было больше нечего. Я потянулся к видеофону и набрал номер Экселенца,

2 июня 78 года. НЕОЖИДАННАЯ РЕАКЦИЯ ЭКСЕЛЕНЦА.

Он выслушал меня, ни разу не перебив, что само по себе было уже достаточно дурным признаком. Я попробовал утешить себя мыслью, что недовольство его связано не со мною, а с другими, далекими от меня обстоятельствами. Но, выслушав меня до конца, он сказал угрюмо:

— С Глумовой у тебя почти ничего не получилось.

— Меня связывала легенда,— сказал я сухо.

Он не спорил.

— Что думаешь делать дальше? — спросил он.

— По-моему, сюда он больше не вернется.

— По-моему, тоже. А к Глумовой?

— Трудно сказать. Вернее, совсем ничего не могу сказать. Не понимаю. Но шанс, конечно, остается.

— Твое мнение: зачем он вообще с нею встречался?

— Вот этого я и не понимаю, Экселенц. Судя по всему, они здесь занимались любовью и воспоминаниями. Только любовь эта была не совсем любовь, а воспоминания — не просто воспоминания. Иначе Глумова не была бы в таком состоянии. Конечно, если он напился как свинья, он мог ее как-то оскорбить... Особенно, если вспомнить, какие у них были странные отношения в детстве...

— Не преувеличивай,— проворчал Экселенц.— Они уже давно не дети. Поставим вопрос так: если он теперь снова позовет ее или придет к ней сам — примет она его?

— Не знаю,— сказал я.— Скорее всего — да. Он все еще очень много значит для нее. Она не могла бы прийти в такое отчаяние из-за человека, к которому равнодушна.

— Литература,— проворчал Экселенц и вдруг гаркнул: — Ты должен был узнать, зачем он ее вызвал! О чем они говорили! Что он ей сказал!

Я разозлился.

— Ничего этого я узнать не мог,— сказал я.— Она была в истерике. А когда пришла в себя, перед ней сидел идиот-журналист со шкурой толщиной в дюйм...

Он прервал меня:

— Тебе придется встретиться с ней еще раз.

— Тогда разрешите мне изменить легенду!

— Что ты предлагаешь?

— Например, так. Я из КОМКОНа. На некой планете произошло несчастье, Лев Абалкин — свидетель. Но несчастье это так потрясло его, что он бежал на Землю и теперь не хочет никого видеть... Психически надломлен, почти болен. Мы ищем его, чтобы узнать, что там произошло...

Экселенц молчал, предложение мое ему явно не нравилось. Некоторое время я смотрел на его недовольную веснушчатую лысину, заслонившую экран, а затем, сдерживаясь, заговорил снова:

— Поймите, Экселенц, теперь уже нельзя больше врать, как раньше. Она уже успела сообразить, что я появился у нее не случайно. Я ее разубедил, кажется, но если я снова появлюсь в том же ампула — это же будет явный вызов здравому смыслу! Либо она поверила, что я журналист, и тогда ей не о чем со мной говорить, она просто пошлет к черту толстокожего идиота. Либо она не поверила, и тогда пошлет тем более. Я бы послал, например. А вот если я — представитель КОМКОНа, тогда я имею право спрашивать, и уж я постараюсь спросить так, чтобы она ответила.

По-моему, все это звучало достаточно логично. Во всяком случае, никакого другого пути я придумать сейчас не мог. И во всяком случае, в роли идиота-журналиста я к ней больше не пойду. В конце концов Экселенцу виднее, что более важно: найти человека или сохранить тайну розыска.

Он спросил, не поднимая головы:

— Зачем тебе понадобилось утром заходить в Музей?

Я удивился:

— То есть как — зачем? Чтобы поговорить с Глумовой...

Он медленно поднял голову, и я увидел его глаза. Зрачки у него были во всю радужку. Я даже отпрянул. Было несомненно, что я сказал нечто ужасное. Я залепетал, как школьник:

— Но ведь она же там работает... Где же мне было с ней разговаривать? Дома я ее не застал...

— Глумова работает в Музее Внеземных Культур? — отчетливо выговаривая слова, спросил он.

— Ну да, а что случилось?

— В спецсекторе объектов невыясненного назначения... — тихо проговорил он. То ли спросил, то ли сообщил. У меня холод продрал по хребту, когда я увидел, как левый угол его тонкогубого рта пополз влево и вниз.

— Да, — сказал я шепотом.

Я уже снова не видел его глаз. Снова весь экран заслонила блестящая лысина.

— Экселенц...

— Помолчи! — каркнул он. И мы оба надолго замолчали.

— Так, — сказал он наконец обычным голосом. — От-

правляйся домой. Сиди дома и никуда не выходи. Ты можешь понадобиться мне в любую минуту. Но скорее всего ночью. Сколько тебе нужно времени на дорогу?

— Два с половиной часа.

— Почему так много?

— Мне еще озеро надо переплыть.

— Хорошо. Вернешься домой — доложи мне. Торопись. И экран погас.

ИЗ ОТЧЕТА ЛЬВА АБАЛКИНА (ОПЕРАЦИЯ «МЕРТВЫЙ МИР»).

...Снова усиливается дождь, туман становится еще гуще, так что дома справа и слева уже почти невозможно разглядеть с середины улицы. Эксперты впадают в панику — им померещилось, что теперь отказывают биооптические преобразователи. Я их успокаиваю. Успокоившись, они наглеют и пристают, чтобы я включил противотуманный прожектор. Я включаю им прожектор. Эксперты ликуя было, но тут Щекн усаживается на хвост посередине мостовой и объявляет, что не сделает более ни шагу, пока не уберут эту дурацкую радугу, от которой у него болят уши и чешется между пальцами. Он, Щекн, превосходно видит все и без этих нелепых прожекторов, а если эксперты и не видят чего-нибудь, то им и видеть-то ничего не надо, пусть-ка они лучше займутся каким-нибудь полезным делом — например, приготовят к его, Щекна, возвращению овсяную похлебку с бобами. Взрыв возмущения. Вообще-то эксперты побаиваются Щекна. Любой землянин, познакомившись с голованом, рано или поздно начинает его побаиваться. Но в то же время, как это ни парадоксально, тот же землянин не способен относиться к головану иначе, как к большой говорящей собаке (ну, там, цирк, чудеса зоопсихологии, то, се...)

Один из экспертов имеет неосторожность пригрозить Щекну, что его оставят без обеда, если он будет упрямяться. Щекн повышает голос. Выясняется, что он, Щекн, всю свою жизнь прекрасно обходился без экспертов. Более того, мы здесь чувствовали себя до сих пор особенно хорошо именно тогда, когда экспертов не было ни видно, ни слышно. Что же касается персонально того эксперта, который, судя по всему, нацелился сейчас потребить его, Щекна, овсяную похлебку с бобами... И так далее, и так далее, и так далее.

Я стою под дождем, который все усиливается и усиливается, слушаю всю эту экспертно-бобовую белиберду и никак не могу стряхнуть с себя какое-то дремучее оцепене-

ние. Мне чудится, будто я присутствую на удивительно глупом театральном представлении без начала и конца, где все действующие лица поперезабыли свои роли и несут отсебятину в тщетной надежде, что кривая вывезет. Это представление затеяно как бы специально для меня, чтобы как можно дольше удерживать меня на месте, не дать сдвинуться ни на шаг дальше, а тем временем за кулисами кто-то торопливо делает так, чтобы мне стало окончательно ясно: все без толку, ничего сделать нельзя, надо возвращаться домой...

С огромным трудом я беру себя в руки и выключаю проклятый прожектор. Щеки сейчас же обрывает на полуслове длинное, тщательно продуманное оскорбление и как ни в чем не бывало устремляется вперед. Я шагаю следом, слушая, как Вандерхузе наводит порядок у себя на борту: «Срам!.. Мешать полевой группе!.. Немедленно удалю из рубки!.. Отстраню!.. Базар!»

— Развлекаешься? — тихонько спрашиваю я Щека.

Он только косится выпуклым глазом.

— Склочник,— говорю я.— И все вы голованы — склочники и скандалисты...

— Мокро,— невпопад отзывается Щека.— И полно лягушек. Ступить некуда.

В два часа пополудни Штаб распространяет первое итоговое сообщение. Экологическая катастрофа, но цивилизация погибла по какой-то другой причине. Население исчезло, так сказать, в одночасье, но оно не истребило себя в войнах и не эвакуировалось через Космос — не та технология, да и вообще планета представляет собой не кладбище, а помойку. Жалкие остатки аборигенов прозябают в сельской местности, кое-как обрабатывают землю, совершенно лишены культурных навыков, однако прекрасно управляют с магазинными винтовками. Вывод для нас со Щекном: город должен быть абсолютно пуст. Мне этот вывод представляется сомнительным. Щекну тоже.

Улица расширяется, дома и ряды машин по обе стороны от нас совершенно исчезают в тумане, и я чувствую перед собой открытое пространство. Еще несколько шагов, и впереди из тумана возникает приземистый квадратный силуэт. Это опять броневик — совершенно такой же, как тот, что попал под обвалившуюся стену, но этот брошен давным-давно, он просел под собственной тяжестью и словно бы врос в асфальт. Все люки его распахнуты настежь. Два коротких пулеметных ствола, некогда грозно уставленных навстречу каждому, кто выходил на площадь,

теперь уныло поникли, ржавые капли сочатся из них и лениво стекают на покатый лобовик. Проходя мимо, я машинально толкаю распахнутую боковую дверцу, но она приржавела намертво.

Перед собой я не вижу ничего. Туман на этой площади какой-то особенный, неестественно густой, словно он отставивался здесь много-много лет и за эти годы свернулся, как молоко, и просел под собственной тяжестью.

— Под ноги! — командует вдруг Щекн.

Я гляжу под ноги и ничего не вижу. Зато до меня вдруг доходит, что под подошвами уже не асфальт, а что-то мягкое, пружинящее, склизкое, словно толстый мокрый ковер. Я приседаю на корточки.

— Можешь включить свой прожектор, — ворчит Щекн.

Но я уже без всякого прожектора вижу, что асфальт здесь почти сплошняком покрыт довольно толстой неаппетитной коркой, какой-то спрессованной влажной массой, обильно проросшей разноцветной плесенью. Я вытаскиваю нож, поддеваю пласт этой корки — от заплесневелой массы отдирается не то тряпочка, не то обрывок ремешка, а под ремешком этим мутной зеленью проглядывает что-то округлое (пуговица? пряжка?), и медленно распрямляются какие-то то ли проволоочки, то ли пружинки...

— Они все здесь шли... — говорит Щекн со странной интонацией.

Я поднимаюсь и иду дальше, ступая по мягкому и скользкому. Я пытаюсь укротить свое воображение, но теперь у меня это не получается. Все они шли здесь, вот этой же дорогой, побросав свои ненужные больше легковушки и фургоны, сотни тысяч и миллионы вливались с проспекта на эту площадь, обтекая броневик с грозно и бессильно уставленными пулеметами, шли, роняя то немного, что пытались унести с собой, спотыкались и роняли, может быть, даже падали сами и тогда уже не могли подняться, и все, что падало, втапывалось и втапывалось миллионами ног. И почему-то казалось, что все это происходило ночью, — человеческая каша была озарена мертвенным неверным светом, и стояла тишина, как во сне...

— Яма... — говорит Щекн.

Я включаю прожектор. Никакой ямы нет. Насколько хватает луч, ровная гладкая площадь светится бесчисленными тусклыми огоньками люминесцирующей плесени, а в двух шагах впереди влажно чернеет большой, примерно двадцать на сорок, прямоугольник голого асфальта. Он словно аккуратно вырезан в этом проплесневелом мерцающем ковре.

— Ступеньки! — говорит Щекн как бы с отчаянием. — Дырчатые! Глубоко! Не вижу...

У меня мурашки ползут по коже: я никогда еще не слышал, чтобы Щекн говорил таким странным голосом. Не глядя, я опускаю руку, и пальцы мои ложатся на большую лобастую голову, и я ощущаю нервное подрагивание треугольного уха. Бесстрашный Щекн испуган. Бесстрашный Щекн прижимается к моей ноге совершенно так же, как его предки прижимались к ногам своих хозяев, учуяв за порогом пещеры незнакомое и опасное...

— Дна нет...—говорит он с отчаянием.— Я не умею ныгать. Всегда бывает дно. Они все ушли туда, а дна нет, и никто не вернулся... Мы должны туда идти?

Я опускаюсь на корточки и обнимаю его за шею.

— Я не вижу здесь ямы,—говорю я на языке головапов.— Я вижу только ровный прямоугольник асфальта.

Щекн тяжело дышит. Все мускулы его напряжены, и он все теснее прижимается ко мне.

— Ты не можешь видеть,—говорит он.— Ты не умеешь. Четыре лестницы с дырчатыми ступенями. Стерты. Блестят. Все глубже и глубже. И никуда. Я не хочу туда. Не приказывай.

— Дружище,—говорю я,— что это с тобой? Как я могу тебе приказывать?

— Не проси,—говорит он.— Не зови. Не приглашай.

— Мы сейчас уйдем отсюда,—говорю я.

— Да. И быстро!

Я диктую донесение. Вандерхузе уже переключил мой канал на Штаб, и, когда я заканчиваю, вся экспедиция уже в курсе. Начинается галдеж. Выдвигаются гипотезы, предлагаются меры. Шумно. Щекн понемножку приходит в себя: косит желтым глазом и то и дело облизывается. Наконец вмешивается сам Комов. Галдеж прекращается. Нам приказано продолжать движение, и мы подчиняемся.

Мы огибаем страшный прямоугольник, пересекаем площадь, минуем второй броневик, запирающий проспект с противоположной стороны, и снова оказываемся между двумя колоннами автомашин. Щекн снова бодро бежит впереди, он снова энергичен, сварлив и заносчив. Я усмехаюсь про себя и думаю, что на его месте я сейчас несомненно мучился бы от неловкости за тот панический приступ почти детского страха, с которым не удалось совладать там, на площади. А вот Щекн ничем таким не мучается. Да, он испытал страх и не сумел скрыть этого, и не видит здесь ничего стыдного и неловкого. Теперь он рассуждает вслух:

— Они все ушли под землю. Если бы там было дно, я бы уверил тебя, что все они живут сейчас под землей, очень глубоко, не слышно. Но там нет дна! Я не понимаю, где они там могут жить. Я не понимаю, почему нет дна.

— Попытайся объяснить,— говорю я ему.— Это важно. Но Щекн не может объяснить.

— Очень страшно,— твердит он.— Планеты круглые,— пытается объяснить он,— и эта планета тоже круглая, я сам видел, но на той площади она вовсе не круглая. Она там как тарелка. И в тарелке дырка. И дырка эта ведет из одной пустоты, где находимся мы, прямо в другую пустоту, где нас нет.

— А почему я не видел этой дырки?

— Потому что она заклеена. Ты не умеешь. Заклеивали от таких, как ты, а не от таких, как я...

Потом он вдруг сообщает, что снова появилась опасность. Небольшая опасность, обыкновенная. Очень давно не было совсем, а теперь опять появилась.

Через минуту от фасада дома справа отваливается и рушится балкон третьего этажа. Я быстро спрашиваю Щекна, не уменьшилась ли опасность. Он не задумываясь отвечает, что да, уменьшилась, но ненамного. Я хочу его спросить, с какой стороны угрожает нам теперь эта опасность, но тут в спину мне ударяет плотный воздух, в ушах свистит, шерсть на Щекне поднимается дыбом.

По проспекту проносится словно маленький ураган. Он горячий, и от него пахнет железом. Еще несколько балконов и карнизов с шумом рушатся по обеим сторонам улицы. С длинного приземистого дома срывает крышу, и она — старая, дырявая, рыхлая,— медленно крутясь и разваливаясь на куски, проплывает над мостовой и исчезает в туче гнойно-желтой пыли.

— Что там у вас происходит? — вопит Вандерхузе.

— Сквозняк какой-то... — отзываюсь я сквозь зубы.

Новый удар ветра заставляет меня пробежаться вперед помимо воли. Это как-то унижительно.

— Абалкин! Щекн! — гремит Комов. — Держитесь середины! Подальше от стен. Я продуваю площадь, у вас возможны обвалы...

И в третий раз короткий горячий ураган проносится вдоль проспекта, как раз в тот момент, когда Щекн пытается развернуться носом к ветру. Его сбивает с ног и юзом волочит по мостовой в унижительной компании с какой-то зазевавшейся крысой.

— Все? — раздраженно спрашивает он, когда ураган стихает. Он даже не пытается подняться на ноги.

— Все,— говорит Комов.— Можете продолжать движение.

— Огромное вам спасибо,— говорит Щекн, ядовитый, как самая ядовитая змея.

В эфире кто-то хихикает, не сдержавшись. Кажется, Вандерхузе.

— Приношу свои извинения,— говорит Комов.— Мне нужно было разогнать туман.

В ответ Щекн изрыгает самое длинное и замысловатое проклятье на языке голованов, поднимается, бешено встряхивается и вдруг замирает в неудобной позе.

— Лев,— говорит он,— опасности больше нет. Совсем. Сдуло.

— И на том спасибо,— говорю я.

Информация от Эспады. Чрезвычайно эмоциональное описание Главного Гаттауха. Я вижу его перед собой, как живого: невообразимо грязный, вонючий, покрытый лишаями старикашка, лет двухсот на вид, утверждает, будто ему двадцать один год, все время хрипит, кашляет, отхаркивается и сморкается, на коленях постоянно держит магазинную винтовку и время от времени палит в божий свет поверх головы Эспады, на вопросы отвечать не желает, а все время норовит задавать вопросы сам, причем ответы выслушивает нарочито невнимательно и каждый второй ответ во всеуслышание объявляет ложью...

Проспект вливается в очередную площадь. Собственно, это не совсем площадь — просто справа располагается полукруглый сквер, за которым желтеет длинное здание с вогнутым фасадом, уставленным фальшивыми колоннами. Фасад желтый, и кусты в сквере какие-то вяло-желтые, словно в канун осени, и поэтому я не сразу замечаю посередине сквера еще один «стакан».

На этот раз он целехонек и блестит как новенький, будто его только сегодня утром установили здесь, среди желтых кустов,— цилиндр высотой метра в два и метр в диаметре, из полупрозрачного, похожего на янтарь материала. Он стоит совершенно вертикально, и овальная дверца его плотно закрыта.

На борту у Вандерхузе вспышка энтузиазма, а Щекн лишний раз демонстрирует свое безразличие и даже презрение ко всем этим предметам, «неинтересным его народу»: он немедленно принимается чесаться, повернувшись к «стакану» задом.

Я обхожу стакан кругом, потом берусь двумя пальцами за выступ на овальной дверце и заглядываю внутрь. Одно-го взгляда мне вполне достаточно: заполняя своими чудо-

вишними суставчатыми мослами весь объем «стакана», выставив перед собой шипастые полуметровые клешни, ту-по и мрачно глянул на меня двумя рядами мутно-зеленых белым гигантский ракопаук с Пандоры во всей своей красе.

Не страх во мне сработал, а спасительный рефлекс на абсолютно непредвиденное. Я и ахнуть не успел, как уже изо всех сил упирался плечом в захлопнутую дверцу, а ногами — в землю, с головы до ног мокрый от пота, и каждая жилка у меня дрожала.

А Щекн уже рядом, готовый к немедленной и решительной схватке, — покачивается на вытянутых, напряженных ногах, выжидательно поводя из стороны в сторону лобастой головой. Ослепительно-белые зубы его влажно блестят в уголках пасти. Это длится всего несколько секунд, после чего он сварливо спрашивает:

— В чем дело? Кто тебя обидел?

Я на шариваю рукоять скорчера, заставляю себя оторваться от проклятой дверцы и принимаюсь пятиться, держа скорчер на изготовку. Щекн отступает вместе со мной, все более раздражаясь.

— Я задал тебе вопрос! — заявляет он с негодованием.

— Ты что же, — говорю я сквозь зубы, — до сих пор ничего не чуешь?

— Где? В этой будке? Там ничего нет!

Вандерхузе с экспертами взволнованно галдят над ухом. Я их не слушаю. Я и без них знаю, что можно, например, подпереть дверцу бревном, — если найдется, — или сжечь ее целиком из скорчера. Я продолжаю пятиться, не спуская глаз с дверцы «стакана».

— В будке ничего нет! — настойчиво повторяет Щекн. — И никого нет. И много лет никого не было. Хочешь, я открою дверцу и покажу тебе, что там ничего нет?

— Нет, — говорю я, кое-как управляясь со своими головными связками. — Уйдем отсюда.

— Я только открою дверцу...

— Щекн, — говорю я. — Ты ошибаешься.

— Мы никогда не ошибаемся. Я иду. Ты увидишь.

— Ты ошибаешься! — рявкаю я. — Если ты сейчас же не пойдешь за мной, значит, ты мне не друг и тебе на меня наплевать!

Я круто поворачиваюсь на каблуках (скорчер в опущенной руке, предохранитель снят, регулятор на непрерывный разряд) и шагаю прочь. Спина у меня огромная, во всю ширину проспекта, и совершенно беззащитная,

Щекн с чрезвычайно недовольным и брезгливым видом шлепает слева и позади. Ворчит и задирается. А когда мы отходим шагов на двести и я совсем уже успокаиваюсь и принимаюсь искать ходы к примирению, Щекн вдруг исчезает. Только когти шарахнули по асфальту. И вот он уже около будки, и поздно кидаться за ним, хватать за задние ноги, волочить дурака прочь, и скорчер мой уже совершенно бесполезен, а проклятый голован приоткрывает дверцу и долго, бесконечно долго смотрит внутрь «стакана».

Потом, так и не издав ни единого звука, он снова прикрывает дверцу и возвращается. Щекн униженный. Щекн уничтоженный. Щекн, безоговорочно признающий свою полную непригодность и готовый поэтому претерпеть в дальнейшем любое с собой обращение. Он возвращается к моим ногам и усаживается боком, уныло опустив голову. Мы молчим. Я избегаю глядеть на него. Я гляжу на «стакан», чувствуя, как струйки пота на висках высыхают и стягивают кожу, как уходит из мышц мучительная дрожь, сменяясь тоскливой тягучей болью, и больше всего на свете мне хочется сейчас прошептать: «С-с-скотина!» — и со всего размаха с рыдающим выдохом вклепить ему по этой унылой, дурацкой, упрямой, безмозглой лобастой башке. Но я говорю только:

— Нам повезло. Почему-то они здесь не нападают...

Сообщение из Штаба. Предполагается, что «прямоугольник Щекна» является входом в межпространственный тоннель, через который и было выведено население планеты. Предположительно, Странниками...

Мы идем по непривычно пустому району. Никакой живности, даже комары куда-то исчезли. Мне это скорее не нравится, но Щекн не обнаруживает никаких признаков беспокойства.

— На этот раз вы опоздали,— ворчит он.

— Да, похоже на то,— отзываюсь я с готовностью.

После инцидента с ракопауком Щекн заговаривает впервые. Кажется, он склонен поговорить о постороннем. Склонность эта проявляется у него не часто.

— Странники,— ворчит он. — Я много раз слышал: Странники, Странники... Вы совсем ничего о них не знаете?

— Очень мало. Знаем, что это сверхцивилизация, знаем, что они намного мощнее нас. Предполагаем, что они не гуманоиды. Предполагаем, что они освоили всю нашу Галактику, причем очень давно. Еще мы предполагаем, что у них нет дома — в нашем или в вашем понимании этого слова. Поэтому мы и называем их Странниками...

— Вы хотите с ними встретиться?

— Да как тебе сказать... Комов отдал бы за это правую руку. А я бы, например, предпочел, чтобы мы не встретились с ними никогда...

— Ты их боишься?

Мне не хочется обсуждать эту проблему. Особенно сейчас.

— Видишь ли, Щекн,— говорю я,— это длинный разговор. Ты бы все-таки поглядывал по сторонам, а то, я смотрю, ты стал какой-то рассеянный.

— Я поглядываю. Все спокойно.

— Ты заметил, что здесь вся живность исчезла?

— Это потому, что здесь часто бывают люди,— говорит Щекн.

— Вот как? — говорю я.— Ну, ты меня успокоил.

— Сейчас их нет. Почти.

Кончается сорок второй квартал, мы подходим к перекрестку. Щекн объявляет вдруг:

— За углом человек. Один.

Это дряхлый старик в черном пальто до пят, в меховой шапке с наушниками, завязанными под взлохмаченной грязной бородой, в перчатках веселой, ярко-желтой расцветки, в огромных башмаках с матерчатым верхом. Двигается он с трудом, еле ноги волочит. До него метров тридцать, но и на этом расстоянии отчетливо слышно, как он тяжело, с присвистом дышит, а иногда постанывает от напряжения.

Он грузит тележку на высоких тонких колесиках, что-то вроде детской коляски. Убредает в разбитую витрину, надолго исчезает там и так же медленно выбирается обратно, опираясь одной рукой о стену, а другой, скрюченной, прижимает к груди по две, по три банки с яркими этикетками. Каждый раз, подобравшись к своей коляске, он обессиленно опускается на трехногий складной стульчик, некоторое время сидит неподвижно, отдыхая, а затем принимается так же медлительно и осторожно перекладывать банки из-под скрюченной руки на тележку. Потом снова отдыхает, будто спит сидя, и снова поднимается на трясущихся ногах и направляется к витрине — длинный, черный, согнутый почти пополам.

Мы стоим на углу почти не прячась, потому что нам ясно: старик ничего не видит и не слышит вокруг. По словам Щекна, он здесь совсем один, никого больше нет, разве что очень далеко. У меня нет ни малейшего желания вступать с ним в контакт, но, по-видимому, придется это сделать — хотя бы для того, чтобы помочь ему с этими

банками. Но я боюсь его испугать. Я прошу Вандерхузе показать его Эспаде, пусть Эспада определит, кто это такой — «колдун», «солдат» или «человек».

Старик в десятый раз разгрузил свои банки и опять отдыхает, сгорбившись на трехногом стульчике. Голова его мелко трясется и клонится все ниже на грудь. Видимо, он засыпает.

— Я ничего подобного не видел, — объявляет Эспада. — Поговорите с ним, Лев...

— Уж очень он стар, — с сомнением говорит Вандерхузе.

— Сейчас умрет, — ворчит Щекн.

— Вот именно, — говорю я. — Особенно, если я появлюсь перед ним в этом моем радужном балахоне...

Я не успеваю договорить. Старик вдруг резко подается вперед и мягко валится боком на мостовую.

— Все, — говорит Щекн. — Можно подойти посмотреть, если тебе интересно.

Старик мертв, он не дышит, и пульс не прощупывается. Судя по всему, у него обширный инфаркт и полное истощение организма. Но не от голода. Просто он очень, невообразимо дряхл. Я стою на коленях и смотрю в его зеленоватое-белое костистое лицо со щетинистыми серыми бровями, с приоткрытым беззубым ртом и провалившимися щеками. Очень человеческое, совсем земное лицо. Первый нормальный человек в этом городе. И мертвый. И я ничего не могу сделать, потому что у меня с собой только полевая аппаратура.

Я вкалываю ему две ампулы некрофага и говорю Вандерхузе, чтобы сюда прислали медиков. Я не собираюсь здесь задерживаться. Это бессмысленно. Он не заговорит. А если и заговорит, то не скоро. Перед тем как уйти, я еще с минуту стою над ним, смотрю на коляску, наполовину загруженную консервными банками, на опрокинутый стульчик, и думаю, что старик, наверное, всюду таскал за собой этот стульчик и поминутно присаживался отдохнуть...

Около восемнадцати часов начинается смеркаться. По моим расчетам, до конца маршрута остается еще часа два ходу, и я предлагаю Щекну отдохнуть и поесть. В отдыхе Щекн не нуждается, но, как всегда, не упускает случая лишний раз перекусить.

Мы устраиваемся на краю обширного высохшего фонтана, под сенью какого-то мифологического каменного чудовища с крыльями, и я вскрываю продовольственные пакеты. Вокруг мутно светлеют стены мертвых домов, стоит

мертвая тишина, и приятно думать, что на десятках километров пройденного маршрута уже нет мертвой пустоты, а работают люди.

Во время еды Щекн никогда не разговаривает, однако, насытившись, любит поболтать.

— Этот старик,— произносит он, тщательно вылизывая лапу,— его действительно оживили?

— Да.

— Он снова живой, ходит, говорит?

— Вряд ли говорит и тем более ходит, но он живой,

— Жаль,— ворчит Щекн.

— Жаль?

— Да. Жаль, что он не говорит. Интересно было бы узнать, что ТАМ...

— Где?

— Там, где он был, когда стал мертвым.

Я усмехаюсь.

— Ты думаешь, там что-нибудь есть?

— Должно быть. Должен же я куда-то деваться, когда меня не станет.

— Куда девается электрический ток, когда его выключают?— спрашиваю я.

— Этого я никогда не мог понять,— признается Щекн.— Но ты рассуждаешь неточно. Да, я не знаю, куда девается электрический ток, когда его выключают. Но я также не знаю, откуда он берется, когда его включают. А вот откуда взялся я— это мне известно и понятно.

— И где же ты был, когда тебя еще не было? — коварно спрашиваю я.

Но для Щекна это не проблема.

— Я был в крови своих родителей. А до этого — в крови родителей своих родителей...

— Значит, когда тебя не будет, ты будешь в крови своих детей...

— А если у меня не будет детей?

— Тогда ты будешь в земле, в траве, в деревьях...

— Это не так! В траве и в деревьях будет мое тело. А вот где буду я сам?

— В крови твоих родителей тоже был не сам ты, а твое тело. Ты ведь не помнишь, каково тебе было в крови твоих родителей...

— Как это — не помню? — удивился Щекн. — Очень многое помню!

— Да, действительно... — бормочу я, сраженный. — У вас же генетическая память...

— Называть это можно как угодно,— ворчит Щекн.—

Но я действительно не понимаю, куда я денусь, если сейчас умру. Ведь у меня нет детей...

Я принимаю решение прекратить этот спор. Мне ясно: я никогда не сумею доказать Щекну, что ТАМ ничего нет. Поэтому я молча сворачиваю продовольственный пакет, укладываю его в заплечный мешок и усаживаюсь поудобнее, вытянув ноги.

Щекн тщательно вылизал вторую лапу, привел в идеальный порядок шерстку на щеках и снова заводит разговор.

— Ты меня удивляешь, Лев,— объявляет он.— И все вы меня удивляете. Неужели вам здесь не надоело?

— Мы работаем,— возражаю я лениво.

— Зачем работать без всякого смысла?

— Почему же — без смысла? Ты же видишь, сколько мы узнали всего за один день.

— Вот я и спрашиваю: зачем вам узнавать то, что не имеет смысла? Что вы будете с этим делать? Вы все узнаете и узнаете, и ничего не делаете с тем, что узнаете.

— Ну, например? — спрашиваю я.

Щекн — великий спорщик. Он только что одержал одну победу и теперь явно рвется одержать вторую.

— Например, яма без дна, которую я нашел. Кому и зачем может понадобиться яма без дна?

— Это не совсем яма,— говорю я.— Это скорее дверь в другой мир.

— Вы можете пройти в эту дверь? — осведомляется Щекн.

— Нет,— признаюсь я. — Не можем.

— Зачем же вам дверь, в которую вы все равно не можете пройти?

— Сегодня не можем, а завтра сможем.

— Завтра?

— В широком смысле. Послезавтра. Через год...

— Другой мир, другой мир...— ворчит Щекн.— Разве вам тесно в этом?

— Как тебе сказать... Тесно, должно быть, нашему воображению.

— Еще бы! — ядовито произносит Щекн.— Ведь стоит вам попасть в другой мир, как вы сейчас же принимаетесь переделывать его наподобие вашего собственного. И конечно же, вашему воображению снова становится тесно, и тогда вы ищете еще какой-нибудь мир и опять принимаетесь переделывать его...

Он вдруг резко обрывает свою филиппику, и в то же мгновение я ощущаю присутствие постороннего. Здесь. Ря-

дом. В двух шагах. Возле постамента с мифологическим чудищем.

Это совершенно нормальный абориген — судя по всему, из категории «человеков» — крепкий статный мужчина в брезентовых штанах и брезентовой куртке на голое тело, с магазинной винтовкой, висящей на ремне через шею. Копна нечесаных волос спадает ему на глаза, а щеки и подбородок выскоблены до гладкости. Он стоит у постамента совершенно неподвижно, и только глаза его неторопливо перемещаются с меня на Щекна и обратно. Судя по всему, в темноте он видит не хуже нас. Мне непонятно, как он ухитрился так бесшумно и незаметно подобраться к нам.

Я осторожно завожу руку за спину и включаю лингап транслятора.

— Подходи и садись, мы друзья, — одними губами говорю я.

Из лингана с полусекундным замедлением несутся гортанные, не лишённые приятности звуки.

Незнакомец вздрагивает и отступает на шаг.

— Не бойся, — говорю я. — Как тебя зовут? Меня зовут Лев, его зовут Щекн. Мы не враги. Мы хотим с тобой поговорить.

Нет, ничего не получается. Незнакомец отступает еще на шаг и наполовину укрывается за постаментом. Лицо его по-прежнему ничего не выражает, и неясно даже, понимает ли он, что ему говорят.

— У нас вкусная еда, — не сдаюсь я. — Может быть, ты голоден или хочешь пить? Садись с нами, и я с удовольствием тебя угощу...

Мне вдруг приходит в голову, что аборигену, должно быть, довольно странно слышать это «мы» и «с нами», и я торопливо перехожу на единственное число. Но это не помогает. Абориген совсем скрывается за постаментом, и теперь его не видно и не слышно.

— Уходит, — ворчит Щекн.

И я тут же снова вижу аборигена — он длинным, скользящим, совершенно бесшумным шагом пересекает улицу, ступает на противоположный тротуар и, так ни разу и не оглянувшись, скрывается в подворотне.

2 июня 78 года. ЛЕВ АБАЛКИН ВООЧИЮ.

Около 18.00 ко мне ввалились (без предупреждения) Андрей и Сандро. Я спрятал папку в стол и сразу же строго сказал им, что не потерплю никаких деловых разгово-

воров, поскольку теперь они подчинены не мне, а Клавдию. Кроме того, я занят.

Они принялись жалобно ныть, что пришли вовсе не по делам, что соскучились и что нельзя же так. Что-то, а пить они умеют. Я смягчился. Был открыт бар, и некоторое время мы с удовольствием говорили о моих кактусах. Потом я вдруг совершенно случайно обнаружил, что говорим мы уже не столько о кактусах, сколько о Клавдии, и это было бы еще как-то оправданно, поскольку Клавдий своей шишковатостью и колючестью мне самому напоминал кактус, но я и ахнуть не успел, как эти юные провокаторы чрезвычайно ловко и естественно съехали на дело о биореакторах и о Капитане Немо.

Не подавая виду, я дал им войти в раж, а затем, в самый кульминационный момент, когда они уже решили, что их начальник вполне готов, предложил им убираться вон. И я бы их выгнал, потому что здорово разозлился и на них, и на себя, но тут (опять же без предупреждения) заявила Алена. Это судьба, подумал я, и отправился на кухню. Все равно было уже время ужинать, а даже юным провокаторам известно, что при посторонних о наших делах разговаривать не полагается.

Получился очень милый ужин. Провокаторы, забыв обо всем на свете, распускали хвосты перед Аленой. Когда она их срезала, распускал хвост я — просто для того, чтобы не давать супу остыть в горшке. Кончился этот парад петухов великим спором: куда теперь пойти. Сандро требовал идти на «Октопусов», и притом немедленно, потому что лучшие вещи у них бывают вначале, Андрей горячился, как самый настоящий музыкальный критик, его выпады против «Октопусов» были страстны и поразительно бессодержательны, его теория современной музыки поражала свежестью и сводилась к тому, что нынче ночью самое время опробовать под парусом его новую яхту «Любомудр». Я стоял за шарады или, в крайнем случае, фанты. Алена же, смекнувшая, что я сегодня никуда не пойду и вообще занят, расстроилась и принялась хулиганить. «„Октопусов“ в реку! — требовала она. — По бим-бом-брамселям! Давайте шуметь!» И так далее.

В самый разгар этой дискуссии, в 19.33, закурлыкал видеофон. Андрей, сидевший ближе всех к аппарату, ткнул пальцем в клавишу. Экран осветился, но изображения на нем не было. И слышно не было ничего, потому что Сандро вопил во всю мочь: «Острова, острова, острова!..», совершая нелепые телодвижения в попытках подражать неподражаемому В. Туарегу, между тем как Алена противоре-

яла ему «Песней без слов» Глиэра (а может быть и не Глиэра).

— Ша! — гаркнул я, пробираясь к видеофону.

Стало несколько тише, но аппарат по-прежнему молчал, мерцая пустым экраном. Вряд ли это был Экселенц, и я успокоился.

— Подождите, я перетащу аппарат,— сказал я в голубоватое мерцание.

В кабинете я поставил видеофон на стол, повалился в кресло и сказал:

— Ну вот, здесь потише... Только имейте в виду, я вас не вижу.

— Простите, я забыл...— произнес низкий мужской голос, и на экране появилось лицо — узкое, иссиня-бледное, с глубокими складками от крыльев носа к подбородку. Низкий широкий лоб, глубоко запавшие большие глаза, черные прямые волосы до плеч.

Любопытно, что я сразу узнал его, но не сразу понял, что это он.

— Здравствуйте, Мак,— сказал он.— Вы меня узнаете?

Мне нужно было несколько секунд, чтобы привести себя в порядок. Я был совершенно не готов.

— Позвольте, позвольте...— затянул я, лихорадочно соображая, как мне следует себя вести.

— Лев Абалкин,— напомнил он.— Помните? Саракш, Голубая Змея...

— Господи! — вскричал журналист Каммерер, в прошлом Мак Сим, резидент Земли на планете Саракш.— Лева! А мне сказали, что вас на Земле нет и неизвестно, когда будете... Или вы еще там?

Он улыбался.

— Нет, я уже здесь... Но я вам помешал, кажется?

— Вы мне никак не можете помешать! — проникновенно сказал журналист Каммерер. Не тот журналист Каммерер, который навещал Майю Глумову, а скорее тот, который навещал Учителя. — Вы мне нужны! Ведь я пишу книгу о голованах!..

— Да, я знаю,— перебил он.— Поэтому я вам и звоню. Но, Мак, я ведь уже давно не имею дело с голованами.

— Это как раз неважно,— возразил журналист Каммерер.— Важно, что вы были первым, кто имел с ними дело.

— Положим, первым были вы...

— Нет. Я их просто обнаружил, вот и все. И вообще о себе я уже написал. И о самых последних работах Комова материал у меня подобран. Как видите, пролог и эпилог

есть, не хватает пустячка — основного содержания... Послушайте, Лева, нам надо обязательно встретиться. Вы долго на Земле?

— Не очень,— сказал он.— Но встретимся мы обязательно. Правда, сегодня я не хотел бы...

— Положим, сегодня и мне было бы не совсем удобно,— быстро подхватил журналист Каммерер.— А вот как насчет завтрашнего дня?

Какое-то время он молча всматривался в меня. Я вдруг сообразил, что никак не могу определить цвет его глаз — уж очень глубоко они сидели под нависшими бровями.

— Поразительно,— проговорил он.— Вы совсем не изменились. А я?

— Честно? — спросил журналист Каммерер, чтобы что-нибудь сказать.

Лев Абалкин снова улыбнулся.

— Да,— сказал он.— Двадцать лет прошло. И вы знаете, Мак, я вспоминаю о тех временах как о самых счастливых. Все было впереди, все еще только начиналось... И вы знаете, я вот сейчас вспоминаю эти времена и думаю: до чего же мне чертовски повезло, что начинал я с такими руководителями, как Комов, и как вы, Мак...

— Ну-ну, Лев, не преувеличивайте,— сказал журналист Каммерер.— При чем здесь я?

— То есть как это при чем здесь вы? Комов руководил, Раулингсон и я были на подхвате, а ведь всю координацию осуществляли вы!

Журналист Каммерер вытаращил глаза. Я — тоже, но я вдобавок еще и насторожился.

— Ну, Лев,— сказал журналист Каммерер,— вы, брат, по молодости лет ни черта, видно, не поняли в тогдашней субординации. Единственное, что я тогда для вас делал, это обеспечивал безопасность, транспорт и продовольствие... Да и то...

— И поставляли идеи! — вставил Лев Абалкин.

— Какие идеи?

— Идея экспедиции на Голубую Змею — ваша?

— Ну, в той мере, что я сообщ...

— Так! Это раз. Идея о том, что с головами должны работать Прогрессоры, а не зоопсихологи,— это два!

— Погодите, Лев! Это Комова идея! Да мне вообще было на вас всех наплевать! У меня в это время было восстание в Пандее! Первый массовый десант Океанской Империи. Вы-то должны понимать, что такое... Господи! Да если говорить честно, я о вас и думать тогда забыл!

Зеф вами тогда занимался, Зеф, а не я! Помните рыжего аборигена?..

Лев Абалкин смеялся, обнажая ровные белые зубы.

— И нечего оскаливаться! — сказал журналист Каммерер сердито. — Вы же ставите меня в дурацкое положение. Вздор какой! Не-ет, голубчики, видно, я вовремя взялся за эту книгу. Надо же, какими идиотскими легендами все это обросло!..

— Ладно, ладно, я больше не буду, — сказал Абалкин. — Мы продолжим этот спор при личной встрече...

— Вот именно, — сказал журналист Каммерер. — Только спора никакого не будет. Не о чем здесь спорить. Давайте так...

Журналист Каммерер поиграл кнопками настольного блокнота.

— Завтра в десять ноль-ноль у меня... Или, может быть, вам удобнее...

— Давайте у меня, — сказал Лев Абалкин.

— Тогда диктуйте адрес, — скомандовал журналист Каммерер. Он еще не остыл.

— Курорт «Осинушка», — сказал Лев Абалкин. — Котедж номер шесть.

2 июня 78 года. КОЕ-КАКИЕ ДОГАДКИ О НАМЕРЕНИЯХ ЛЬВА АБАЛКИНА.

Сандро и Андрею я приказал быть свободными. Совершенно официально. Пришлось сделать официальное лицо и говорить официальным тоном, что, впрочем, удалось мне без всякого труда, потому что я хотел остаться один и как следует подумать.

Мгновенно поняв мое настроение, Алена притихла и беспрекословно согласилась не заходить в кабинет и вообще беречь мой покой. Насколько я знаю, она абсолютно неправильно представляет себе мою работу. Например, она убеждена, что моя работа опасна. Но некоторые азы она усвоила прочно. В частности: если я вдруг оказываюсь занят, то это не означает, что на меня накатило вдохновение или что меня вдруг осенила ослепительная идея, — это означает просто, что возникла какая-то срочная задача, которую нужно действительно срочно решить.

Я дернул ее за ухо и затворился в кабинете, оставив ее прибирать в гостиной.

Откуда он узнал мой номер? Это просто. Номер я оставлял Учителю. Кроме того, ему могла рассказать обо мне Майя Глумова; либо он еще раз общался с Майей

Тойвовной, либо решил все-таки повидаться с Учителем. Несмотря ни на что. Двадцать лет не давал о себе знать, а сейчас вот вдруг решил повидаться. Зачем?

С какой целью он мне звонил? Например, из сентиментальных побуждений. Воспоминания о первой настоящей работе. Молодость, самое счастливое время в жизни. Гм... Сомнительно. Альтруистическое желание помочь журналисту (и первооткрывателю возлюбленных голованов) в его работе, сдобренное, скажем, здоровым честолюбием. Чушь. Зачем он в этом случае дает мне фальшивый адрес? А может быть, не фальшивый? Но если не фальшивый, значит, он не скрывается, значит, Экселенц что-то путает... В самом деле, откуда следует, что Лев Абалкин скрывается?

Я быстренько вызвал информаторий, узнал номер и позвонил в «Осинушку», коттедж номер шесть. Никто не ото- звался. Как и следовало ожидать.

Ладно, оставим пока это. Далее. Что было главным в нашем разговоре? Кстати, один раз я чуть не проболтался. Язык себе за это откусить мало. «Вы-то должны понимать, что такое десант группы флотов «Ц»!» — «Интересно знать, откуда вам известно, Мак, о группе флотов «Ц» и, главное, почему вы, собственно, решили, что я об этом что-нибудь знаю?» Разумеется, ничего этого он бы не ска- зал, но он бы подумал и все понял, и после такого позор- ного прокола мне оставалось бы только в самом деле уйти в журналистику... Ладно, будем надеяться, что он ничего не заметил. У него тоже было не так уж много времени, чтобы анализировать и оценивать каждое мое слово. Он явно добивался какой-то своей цели, а все прочее, к цели не относящееся, надо думать, пропускал мимо ушей...

Но чего же он добивался? Зачем это он попытался при- писать мне свои заслуги и заслуги Комова вдобавок? И главное, вот так, в лоб, вдруг, едва успев поздоровать- ся... Можно подумать, что я действительно распространяю легенды о своем приоритете, будто бы именно мне принад- лежат все фундаментальные идеи относительно голованов, что я все это себе присвоил, а он об этом узнал и дает мне понять, что я дерьмо. Во всяком случае, усмешка у него была двусмысленная... Но это же вздор! О том, что именно я открыл голованов, знают сейчас только самые узкие спе- циалисты, да и те, наверное, забыли об этом за ненадоб- ностью...

Чушь и ерунда, конечно. Но факт остается фактом: мне только что позвонил Лев Абалкин и сообщил, что, по его мнению, основоположником и корифеем современной на-

уки о голованах являюсь я, журналист Каммерер. Больше наш разговор не содержал ничего существенного. Все остальное — светская шелуха. Ну, правда, еще фальшивый (скорее всего) адрес в конце...

Конечно, напрашивается еще одна версия. Ему было все равно о чем говорить. Он мог позволить себе говорить любую чушь, потому что он позвонил только для того, чтобы увидеть меня. Учитель или Майя Глумова говорят ему: «Тобой интересуется некий Максим Каммерер». — «Вот как? — думает скрывающийся Лев Абалкин. — Очень странно! Стоило мне прибыть на Землю, как мною интересуется Максим Каммерер. А ведь я знавал Максима Каммерера. Что это? Совпадение?» Лев Абалкин не верит в совпадения. «Дай-ка я позвоню этому человеку и посмотрю, точно ли это Максим Каммерер, в прошлом Мак Сим... А если это действительно он, то посмотрим, как он будет себя вести...»

Я почувствовал, что попал в точку. Он звонит и на всякий случай отключает изображение. На тот самый случай, если я НЕ Максим Каммерер. Он видит меня. Не без удивления, наверное, но зато с явным облегчением. Это самый обыкновенный Максим Каммерер, у него вечеринка, развеселое шумство, абсолютно ничего подозрительного. Что ж, можно обменяться десятком ничего не значащих фраз, назначить свидание и сгинуть...

Но! Это не вся правда и не только правда. Есть здесь две шероховатости. Во-первых, зачем ему вообще понадобилось тогда вступать в разговор? Посмотрел бы, послушал, убедился, что я есть я, и благополучно отключился бы. Ошибочное соединение, кто-то не туда попал. И все.

А во-вторых, я ведь тоже не вчера родился. Я же видел, что он не просто разговаривает со мной. Он еще и наблюдает за моей реакцией. Он хотел убедиться, что я есть я и что я определенным образом отреагирую на какие-то его слова. Он говорит заведомую чушь и внимательно следит, как я на эту чушь реагирую... Опять-таки странно. На заведомую чушь все люди реагируют одинаково. Следовательно, либо я рассуждаю неправильно, либо... либо, с точки зрения Абалкина, эта чушь вовсе не чушь. Например: по каким-то совершенно неведомым мне причинам Абалкин действительно допускает, что моя роль в исследовании голованов чрезвычайно велика. Он звонит мне, чтобы проверить это свое допущение, и по моей реакции убеждается, что это допущение неверно.

Вполне логично, но как-то странно. При чем здесь голованы? Вообще-то говоря, в жизни Льва Абалкина голо-

ваны сыграли роль, прямо скажем, фундаментальную. Стоп!

Если бы мне сейчас предложили изложить вкратце самую суть биографии этого человека, я бы, наверное, сказал так: ему нравилось работать с головами, он больше всего на свете хотел работать с головами, он уже весьма успешно работал с головами, но работать с головами ему почему-то не дали... Черт побери, а что тут было бы удивительного, если бы у него наконец лопнуло терпение и он плюнул бы на этот свой штаб «Ц», на КОМКОН, на дисциплину, плюнул бы на все и вернулся на Землю, чтобы, черт возьми, раз и навсегда выяснить, почему ему не дают заниматься любимым делом, кто — персонально — мешает ему всю жизнь, с кого он может спросить за крушение взлелеянных планов, за горькое свое непонимание происходящего, за пятнадцать лет, потраченных на безмерно тяжкую и нелюбимую работу... Вот он и вернулся!

Вернулся — и сразу наткнулся на мое имя. И вспомнил, что я был, по сути, куратором его первой работы с головами, и захотелось ему узнать, не принимал ли я участия в этом беспрецедентном отчуждении человека от любимого дела, и он узнал (с помощью нехитрого приема), что нет, не участвовал — занимался, оказывается, отражением десантов и вообще был не в курсе...

Вот как, например, можно было бы объяснить давешний разговор. Но только этот разговор, и ничего больше. Ни темную историю с Тристаном, ни темную историю с Майей Глумовой, ни, тем более, причину, по которой Льву Абалкину понадобилось скрываться, объяснить этой гипотезой было нельзя. Да, елки-палки, если бы эта моя гипотеза была правильной, Лев Абалкин должен был бы сейчас ходить по КОМКОНу и лупить своих обидчиков направо и налево, как человек несдержанный и с артистической нервной организацией... Впрочем, что-то здоровое в этой моей гипотезе все-таки было, и возникали кое-какие практические вопросы. Я решил задать их Экселенцу, но сначала следовало позвонить Сергею Павловичу Федосееву.

Я взглянул на часы: 21.51. Будем надеяться, что старик еще не лег.

Действительно, оказалось, что старик еще не лег. С некоторым недоумением, словно бы не узнавая, он смотрел с экрана на журналиста Каммерера. Журналист Каммерер рассыпался в извинениях за неурочный звонок. Извинения были приняты, однако выражение недоумения не исчезло.

— У меня к вам буквально один-два вопроса, Сергей Павлович,— сказал журналист Каммерер озабоченно.— Вы ведь встретились с Абалкиным?

— Да. Я дал ему ваш номер.

— Вы меня простите, Сергей Павлович... Он только что позвонил мне... И он разговаривал со мною как-то странно... — Журналист Каммерер с трудом подбирал слова.— У меня возникло впечатление... Я понимаю, что это, скорее всего, ерунда, но ведь всякое может случиться... В конце концов он мог вас неправильно понять.

Старик насторожился.

— В чем дело? — спросил он.

— Вы ведь рассказали ему обо мне... Н-ну, о нашем с вами разговоре...

— Естественно. Я не понимаю вас. Разве я не должен был рассказывать?

— Да нет, дело не в этом. Видимо, он все-таки неверно вас понял. Представьте себе, мы не виделись с ним пятнадцать лет. И вот, едва поздоровавшись, он с каким-то болезненным сарказмом принимается восхвалять меня за то... Короче говоря, он фактически обвинил меня в том, что я претендую на его приоритет в работе с головами! Уверяю вас, без всяких, без малейших на то оснований... Поймите, я в этом вопросе выступаю только как журналист, как популяризатор, и никак не более того...

— Позвольте, позвольте, молодой человек! — Старик поднял руку.— Успокойтесь, пожалуйста. Разумеется, ничего подобного я ему не говорил. Хотя бы уже просто потому, что я в этом совсем не разбираюсь...

— Ну... может быть... вы как-то недостаточно ясно сформулировали...

— Позвольте, я вообще ему ничего такого не формулировал! Я ему сказал, что некий журналист Каммерер пишет о нем книгу и обратился ко мне за материалом. Номер у журналиста такой-то. Позвони ему. Все. Вот все, что я ему сказал.

— Ну, тогда я не понимаю,— сказал журналист Каммерер почти в отчаянии.— Я сначала решил, что он как-то неверно вас понял, но если это не так... тогда я не знаю... Тогда это что-то болезненное. Манья какая-то. Вообще эти Прогрессоры, может быть, и ведут себя вполне достойно у себя на работе, но на Земле они иногда совершенно распускаются... Нервы у них сдают, что ли...

Старик завесил глаза бровями.

— Н-ну, знаете ли... В конце концов не исключено, что Лева действительно меня недопонял... а точнее сказать —

недослышал... Разговор у нас получился мимолетный, я спешил, был сильный ветер, очень шумели сосны, а вспомнил я о вас в самый последний момент...

— Да нет, я ничего такого не хочу сказать... — понятился журналист Каммерер. — Возможно, что это именно я недопонял Льва... Меня, знаете ли, кроме прочего, потряс его вид... Он сильно изменился, сделался каким-то недобрым... Вам не показалось, Сергей Павлович?

Да, Сергею Павловичу это тоже показалось. Понуждаемый и подталкиваемый не слишком скрываемой обидой простодушно-общительного журналиста Каммерера, он постепенно и очень сбивчиво, стыдясь за своего ученика и за какие-то свои мысли, рассказал, как это все у них произошло.

Примерно в 17.00 С. П. Федосеев покинул на глайдере свою усадьбу «Комарики» и взял курс на Свердловск, где у него было назначено некое заседание некоего клуба. Через пятнадцать минут его буквально атаковал и заставил приземлиться в диком сосновом бору невесть откуда взявшийся глайдер, водителем которого оказался Лев Абалкин. На поляне, среди шумящих сосен, между ними состоялся краткий разговор, построенный Львом Абалкиным по уже известной мне схеме.

Едва поздоровавшись, фактически не дав старому учителю раскрыть рта и не тратя времени на объятия, он обрушился на старика с саркастическими благодарностями. Он язвительно благодарил несчастного Сергея Павловича за те невероятные усилия, которые тот якобы приложил, чтобы убедить комиссию по распределению направить абитуриента Абалкина не в Институт зоопсихологии, куда абитуриент по глупости и неопытности намеревался поступить, а в школу Прогрессоров, каковые усилия увенчались блистательным успехом и сделали всю дальнейшую жизнь Льва Абалкина столь безмятежной и счастливой.

Потрясенный старик за столь наглое извращение истины закатил, естественно, своему бывшему ученику оплеуху. Приведя его таким образом в подобающее состояние молчания и внимания, он спокойно объяснил ему, что на самом деле все было наоборот. Именно он, С. П. Федосеев, прочил Льва Абалкина в зоопсихологи, уже договорился относительно него в Институте и представил комиссии соответствующие рекомендации. Именно он, С. П. Федосеев, узнав о нелепом, с его точки зрения, решении комиссии, устно и письменно протестовал, вплоть до регионального Совета Просвещения. И именно он, С. П. Федосеев, был в конце концов вызван в Евразийский сектор и высечен

там как мальчишка за попытку недостаточно квалифицированной дезавуации решения комиссии по распределению. («Мне предъявили там заключение четырех экспертов и как дважды два доказали, что я — старый дурак, а прав, оказывается, председатель комиссии по распределению доктор Серафимович...»)

Дойдя до этого пункта, старик замолчал.

— И что же он? — осмелился спросить журналист Каммерер.

Старик горестно пожевал губами.

— Этот дурачок поцеловал мне руку и бросился к своему глайдеру.

Мы помолчали. Потом старик добавил:

— Вот тут-то я и вспомнил про вас... Откровенно говоря, мне показалось, что он не обратил на это внимания... Может быть, следовало рассказать ему о вас подробнее, но мне было не до того... Мне показалось почему-то, что я больше никогда его не увижу...

2 июня 78 года. КОРОТКИЙ РАЗГОВОР.

Экселенц был дома. Облаченный в строгое черное кино, он восседал за рабочим столом и занимался любимым делом: рассматривал в лупу какую-то уродливую коллекционную статуэтку.

— Экселенц, — сказал я, — мне надо знать, вступал ли Лев Абалкин на Земле в контакт с кем-нибудь еще?

— Вступал, — сказал Экселенц и посмотрел на меня, как мне показалось, с интересом.

— Могу я узнать — с кем?

— Можешь. Со мной.

Я осекся. Экселенц подождал немного и приказал:

— Докладывай.

Я доложил. Оба разговора — дословно, выводы свои — вкратце, а в конце добавил, что, по-моему, следует ожидать, что Абалкин должен в ближайшее время выйти на Комова, Раулингсона, Горячеву и других людей, так или иначе причастных к его работе с голованами. А также на этого доктора Серафимовича — тогдашнего председателя комиссии по распределению. Поскольку Экселенц молчал и не опускал головы, я позволил себе задать вопрос:

— Можно узнать, о чем он говорил с вами? Меня очень удивляет, что он вообще вышел на вас.

— Тебя это удивляет... Меня тоже. Но никакого разговора у нас не было. Он проделал такую же штуку, как и с тобой: не включил изображение, Полюбовался на меня, узнал, наверное, и отключился.

— Почему вы, собственно, думаете, что это был он?
— Потому что он связался со мной по каналу, который был известен только одному человеку.

— Так, может быть, этот человек...

— Нет, этого быть не может... Что же касается твоей гипотезы, то она несостоятельна. Лев Абалкин сделался превосходным резидентом, он любил эту работу и не согласился бы променять ее ни на что.

— Хотя по типу нервной организации быть Прогрессором ему...

— Это не твоя компетенция,— сказал Экселенц резко.— Не отвлекайся. К делу. Приказ отыскать Абалкина и взять его под наблюдение я отменяю. Иди по его следам. Я хочу знать, где он бывал, с кем встречался и о чем говорил.

— Понял, А если я все-таки наткнулся на него?

— Возьмешь у него интервью для своей книги. А потом доложишь мне. Не больше и не меньше.

2 июня 78 года. КОЕ-ЧТО О ТАЙНАХ.

Около 23.30 я быстренько принял душ, заглянул в спальню и убедился, что Алена дрыхнет без задних ног. Тогда я вернулся в кабинет.

Я решил начать со Щекна. Щекн, естественно, не землянин и даже не гуманоид, и потому потребовался весь мой опыт и вся моя, скажу не хвастаясь, сноровка в обращении с информационными каналами, чтобы получить те сведения, которые я получил. Замечу в скобках, что подавляющее большинство моих однопланетников понятия не имеет о реальных возможностях этого восьмого (или теперь уже девятого?) чуда света — Большого Всепланетного Информатория. Вполне допускаю, впрочем, что и я, при всем своем опыте и всей своей сноровке, отнюдь не имею права претендовать на совершенное умение пользоваться его необъятной памятью.

Я послал одиннадцать запросов — три из них, как выяснилось, оказались лишними — и получил в результате следующую информацию о головане Щекне.

Полное его имя было, оказывается, Щекн-Итрч. С семьдесят пятого года и по сей день он числился членом постоянной миссии народа голованов на Земле. Судя по его функциям при сношениях с земной администрацией, он был чем-то вроде переводчика-референта миссии, истинное же его положение было неизвестно, ибо взаимоотношения внутри коллектива миссии оставались для землян тайной за семью печатями. Судя по некоторым данным, Щекн воз-

главлял что-то вроде семейной ячейки внутри миссии, причем до сих пор не удалось толком разобраться ни в численности, ни в составе этой ячейки, а между тем эти факторы играли, по-видимому, весьма большую роль при решении целого ряда важных вопросов дипломатического свойства.

Вообще фактических данных о Щекне, как и обо всей миссии в целом, набралось множество. Некоторые из них были поразительные, но все они со временем вступали в противоречие с новыми фактами, либо полностью опровергались последующими наблюдениями. Похоже было, что наша ксенология склонялась к тому, чтобы поднять (или опустить — как кому нравится) руки перед этой загадкой. И многие, весьма порядочные ксенологи, присоединились к мнению Раулингсона, сказавшего еще лет десять назад в минуту слабости: «По-моему, они просто морочат нам голову!..»

Впрочем, все это меня мало касалось. Мне только следовало в дальнейшем не забывать слова Раулингсона.

Располагалась миссия на реке Телон в Канаде, северо-западнее Бэйкер-лэйка. Голованы, оказывается, пользовались полной свободой передвижения, причем пользовались ею весьма охотно, хотя и не признавали никакого транспорта, кроме нуль-Т. Резиденция для миссии была возведена в строгом соответствии с проектом, представленным самими голованами, однако от удовольствия заселить ее голованы вежливо уклонились, а расположились вокруг в самодельных подземных помещениях, или, говоря по-просту, в норах. Телекоммуникации они не признавали, и втуне пропали старания наших инженеров, создавших видеоаппаратуру, специально приспособленную для их слуха, зрения и удобного манипулирования. Голованы признавали только личные контакты. Значит, придется лететь в Бэйкер-лэйк.

Покончив со Щекном, я решил все-таки найти доктора Серафимовича. Мне удалось это без особого труда, то есть удалось получить информацию о нем. Он, оказывается, умер двенадцать лет назад, в возрасте ста восемнадцати лет. Доктор педагогики, постоянный член Евразийского Совета Просвещения, член Мирового Совета по педагогике Валерий Маркович Серафимович. Жаль.

Я взялся за Корнея Яшмаа. Прогрессор Корней Янович Яшмаа уже два года имел адресом виллу «Лагерь Яна» — в десятке километров к северу от Антонова в приволжской степи. У него был обширный послужной список, из которого явствовало, что вся его профессиональная деятельность

была связана с планетой Гиганда. Видимо, это был очень крупный практический работник и незаурядный теоретик в области экспериментальной истории, но все подробности его карьеры разом вылетели у меня из головы, едва до меня дошли два малоприметных обстоятельства.

Первое: Корней Янович Яшмаа был посмертным сыном.

Второе: Корней Янович Яшмаа родился 6 октября 38 года.

Различие с Львом Абалкиным состояло только в том, что родителями Корнея Яшмаа были не члены группы «Йормала», а супружеская чета, трагически погибшая во время эксперимента «Зеркало».

Я не поверил памяти и полез в папку. Все было точно. И никуда, разумеется, не девалась записка на обороте арабского текста: «...встретились двое наших близнецов. Уверяю тебя — совершенная случайность...» Случайность. Ну, там у них, на Гиганде, может быть, и произошла некая случайность: Лев Абалкин, посмертный сын, родившийся 6 октября 38 года, встретился с Корнеем Яшмаа, посмертным сыном, родившимся 6 октября 38 года... А у меня это что — тоже случайность? «Близнецы». От разных родителей. «Если не веришь, загляни в 07 и 11». Так, 07 — передо мной. Значит, где-то в недрах нашего департамента есть еще и 11. И логично предположить, что есть и 01, 02 и так далее... Кстати, минус мне, что я не сразу обратил внимание на этот странный шифр: 07. Дела у нас (конечно, не в папках, а в кристаллозаписи) обозначаются обычно либо фантастическими словосочетаниями, либо названиями предметов...

Между прочим, что это за эксперимент «Зеркало»? Никогда о таком не слыхал... Мысль эта прошла как-то вторым планом, и я набрал запрос в БВИ почти машинально. Ответ меня удивил: **ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ. ПРЕДЪЯВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВАШ ДОПУСК.** Я набрал код своего допуска и повторил запрос. На этот раз карточка с ответом выскочила с задержкой на несколько секунд: **ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ. ПРЕДЪЯВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВАШ ДОПУСК.** Я откинулся на спинку кресла. Вот это да! Впервые в моей практике допуска КОМКОНа-2 оказалось недостаточно для получения информации от БВИ.

И вот тут я с совершенной отчетливостью ощутил, что вышел за пределы своей компетенции. Я как-то сразу вдруг понял, что передо мною — огромная и мрачная тайна, что судьба Абалкина, со всеми ее загадками и непонят-

ностями, не сводится просто к тайне личности Абалкина — она переплетена с судьбами множества других людей, и касаться этих судеб я не смею ни как работник, ни как человек.

И дело, конечно, было не в том, что БВИ отказался дать мне информацию по какому-то там эксперименту «Зеркало». Я был совершенно уверен, что к тайне этот эксперимент никакого отношения не имеет. Отказ БВИ был просто направляющей затрещиной, заставившей меня оглянуться назад. Эта затрещина как бы прояснила мое зрение, я сразу связал между собою все — и странное поведение Ядвиги Лекановой, и необычный уровень секретности, и непривычность этого «вместилища документов», и странный шифр, и отказ Экселенца ввести меня полностью в курс дела, и даже его исходная установка не вступать с Абалкиным ни в какие контакты... А теперь вот еще — фантастическое совпадение обстоятельств и дат появления на свет Льва Абалкина и Корнея Яшмаа.

Была тайна. Лев Абалкин был только частью этой тайны. И я понял теперь, почему Экселенц поручил это дело именно мне. Наверняка ведь были люди, посвященные в эту тайну полностью, но они, видимо, не годились для розыска. Было достаточно людей, которые провели бы этот розыск не хуже, а может быть, и лучше меня, но Экселенц, безусловно, понимал, что розыск рано или поздно приведет к тайне, и тут важно было, чтобы у человека хватило деликатности вовремя остановиться. Но если даже по ходу розыска тайна будет раскрыта, важно было, чтобы этому человеку Экселенц доверял, как самому себе.

А ведь тайна Льва Абалкина — это вдобавок еще и тайна личности! Совсем плохо. Самая сумеречная тайна из всех мыслимых — о ней ничего не должна знать сама личность... Простейший пример: информация о неизлечимой болезни личности. Пример посложнее: тайна проступка, совершенного в неведении и повлекшего за собой необратимые последствия, как это случилось в незапамятные времена с царем Эдипом...

Ну что ж, Экселенц сделал правильный выбор. Я не люблю тайн. Признаю, что многие из них вполне сенсационны и способны потрясти воображение, но лично мне всегда неприятно в них посвящаться, а еще неприятнее — посвящать в них ни в чем не повинных посторонних людей. У нас в КОМКОНе-2 большинство работников придерживаются той же точки зрения, и, наверное, именно поэтому утечка информации у нас случается крайне редко. Но моя безгласность к тайнам, видимо, все-таки превышает среднюю

норму. Я даже стараюсь никогда не употреблять принятого термина — «раскрыть тайну», я говорю обычно: «раскопать тайну» — и кажусь себе при этом ассенизатором в самом первоначальном смысле этого слова.

Вот как сейчас, например.

ИЗ ОТЧЕТА ЛЬВА АБАЛКИНА (ОПЕРАЦИЯ «МЕРТВЫЙ МИР»).

...В темноте город становится плоским, как старинная гравюра. Тускло светится плесень в глубине черных оконных проемов, а в редких сквериках и на газонах мерцают маленькие мертвенные радуги — это распустились на ночь бутоны неведомых светящихся цветов. Тянет слабыми, но раздражающими ароматами. Из-за крыш выползает и повисает над проспектом первая луна — огромный иззубренный серп, заливший город неприятным оранжевым светом.

У Щекна это светило вызывает какое-то необъяснимое отвращение. Он поминутно неодобрительно взглядывает на него и каждый раз при этом судорожно приоткрывает и захлопывает пасть, словно его тянет повить, а он сдерживается. Это тем более странно, что на его родном Саракше луну увидеть невозможно из-за атмосферной рефракции, а к земной Луне он всегда относился совершенно индифферентно — насколько мне это известно, во всяком случае.

Потом мы замечаем детей.

Их двое. Держась за руки, они тихонько бредут по тротуару, словно стараясь прятаться в тени. Идут они туда же, что и мы со Щекном. Судя по одежде — мальчишки. Один повыше, лет восьми, другой совсем маленький, лет чегырех или пяти. По-видимому, они только что вывернули из какого-то бокового переулочка, иначе я бы увидел их издалека. Идут уже давно, не первый час, очень устали и едва передвигают ноги... Младший вообще уже не идет, а волочится, держась за руку старшего. У старшего на широкой лямке через плечо болтается сумка, он ее все время поправляет, а она бьет его по коленкам.

Транслятор сухим, бесстрастным голосом переводит: «...Устал, болят ноги... Иди, тебе сказано... Иди... Нехороший человек... Ты сам нехороший, дурной человек... Змея с ушами... Ты сам несъедобный крысиный хвост...» Так. Остановились. Младший выворачивает свою руку из руки старшего и садится. Старший поднимает его за ворот, но младший снова садится, и тогда старший дает ему по шее. Из транслятора валом валят «крысы», «змеи», «дурнопахнущие животные» и прочая фауна. Потом младший прини-

мается громко рыдать, и транслятор недоуменно замолкает. Пора вмешаться.

— Здравствуйте, ребята,— говорю я одними губами.

Я подошел к ним вплотную, но они только сейчас замечают меня. Младший моментально перестает плакать — глядит на меня широко раскрыв рот. Старший тоже глядит, но исподлобья, неприязненно, и губы у него плотно сжаты. Я опускаюсь перед ним на корточки и говорю:

— Не бойся. Я добрый. Обижать не буду.

Я знаю, что линганы не передают интонацию, и поэтому стараюсь подбирать простые, успокаивающие слова.

— Меня зовут Лев,— говорю я.— Я вижу, вы устали. Хотите, я вам помогу?

Старший не отвечает. Он по-прежнему глядит исподлобья, с большим недоверием и настороженностью, а младший вдруг заинтересовывается Щекном и не сводит с него глаз — видно, что ему и страшно и интересно сразу. Щекн с самым добропорядочным видом сидит в сторонке, отвернув лобастую голову.

— Вы устали,— говорю я.— Вы хотите есть и пить. Сейчас я вам дам вкусенького...

И тут старшего прорывает. Вовсе они не устали, и не надо им ничего вкусенького. Сейчас он расправится с этой крысоухой змеей, и они пойдут дальше. А кто будет им мешать, тот получит пулю в брюхо. Вот так.

Очень хорошо. Никто им не собирается мешать. А куда они идут?

Куда им надо, туда они и идут.

А все-таки? Вдруг им по дороге? Тогда крысоухую змею можно было бы поднести на плече...

В конце концов все улаживается. Съедается четыре плитки шоколада и выпивается две фляги тонизатора. В маленькие рты выдавливаются по полтюбика фруктовой массы. Внимательно обследуется радужный комбинезон Льва и (после краткого, но чрезвычайно энергичного спора) позволяется один раз (только один!) погладить Щекна (но ни в коем случае не по голове, а только по спине). На борту у Вандерхузе все рыдают от умиления, и раздается мощное сюсюканье. Далее выясняется следующее.

Мальчики — братья, старшего зовут Иядрудан, а младшего — Притулатан. Жили они довольно далеко отсюда (уточнить не удается) с отцом в большом белом доме с бассейном во дворе. Совсем еще недавно с ними вместе жили две тетки и еще один брат — самый старший, ему было восемнадцать лет,— но они все умерли. После этого отец никогда не брал их с собой за продуктами, он стал

ходить сам, один, а раньше они ходили всей семьей. Вокруг много продуктов — и там-то, и там-то, и там-то (уточнить не удастся). Уходя один, отец каждый раз приказывал: если он не вернется до вечера, надо взять Книгу, выходить на этот вот проспект и идти все вперед и вперед до красивого стеклянного дома, который светится в темноте. Но входить в этот дом не надо — надо сесть рядом и ждать, когда придут люди и отведут их туда, где будет и отец, и мама, и все. Почему ночью? А потому, что ночью на улицах не бывает дурных людей. Они бывают только днем. «Нет, мы никогда их не видели, но много раз слышали, как они звенят колокольчиками, играют песенки и выманивают нас из дому. Тогда отец и старший брат хватали свои винтовки и всаживали им пулю в брюхо...» Нет, больше никого они не знают и не видели. Правда, когда-то давно к ним в дом приходили какие-то люди с винтовками и целый день спорили с отцом и со старшим братом, а потом и мама с обеими тетками вмешалась. Все очень громко кричали, но отец, конечно, всех переспорил, эти люди ушли и больше никогда не приходили...

Маленький Притулатан засыпает сразу же, как только я беру его на закорки. Иядрудан, напротив, отказывается от какой-либо помощи. Он только позволил мне приладить половчее свою сумку с книгой и теперь с независимым видом идет рядом, засунув руки в карманы. Щеки бежит вперед, не принимая участия в разговоре. Всем своим видом он демонстрирует полное равнодушие к происходящему, но на самом деле он, так же как и все мы, заинтригован очевидным предположением, что цель мальчиков — некое светящееся здание — как раз и есть тот самый объект «Пятно-96».

...Что написано в Книге, Иядрудан пересказать не умеет. В эту Книгу все взрослые каждый день записывали все, что случается. Как Притулатана укусил ядовитый муравей. Как вода вдруг стала уходить из бассейна, но отец ее остановил. Как тетка умерла — открывала консервную банку, мама смотрит, а тетка уже мертвая... Иядрудан эту книгу не читал, он плохо умеет читать и не любит, у него плохие способности. Вот у Притулатана очень хорошие способности, но он еще маленький и ничего не понимает. Нет, им никогда не было скучно. Какая может быть скука в доме, где пятьсот семь комнат? А в каждой комнате полно всяких диковинных вещей, даже таких, что сам отец ничего не мог сказать, зачем они и для чего. Только вот винтовки там ни одной не нашлось. Винтовки теперь — редкость. Может быть, в соседнем доме нашлась бы вин-

товка, но отец настрого запретил выходить на улицу... «Нет, из своей винтовки отец стрелять не давал. Он говорил, что нам это ни к чему. Вот когда мы уйдем к светящемуся дому и добрые люди, которые нас там встретят, отведут нас к маме, вот уж там-то мы будем стрелять, сколько захотим... А может быть, это ты отведишь нас к маме? Тогда почему у тебя нет винтовки? Ты добрый человек, но винтовки у тебя нет, а отец говорил, что все добрые люди — с винтовками...»

— Нет,— говорю я.— Не сумею я тебя отвести к маме. Я здесь чужой и сам бы хотел встретиться с добрыми людьми.

— Жалко,— говорит Иядрудан.

Мы выходим на площадь. Объект «Пятно-96» вблизи похож на гигантскую старинную шкатулку голубого хрустала во всем ее варварском великолепии, сверкающую бесчисленными драгоценными камнями и самоцветами. Ровный бело-голубой свет пронизывает ее изнутри, озаряя растрескавшийся, проросший черной щетиной сорняков асфальт и мертвые фасады домов, окаймляющих площадь. Стены этого удивительного здания совершенно прозрачны, а внутри сверкает и переливается веселый хаос красного, золотого, зеленого, желтого, так что не сразу замечаешь широкий, как ворота, приветливо распахнутый вход, к которому ведут нас несколько низких плоских ступеней.

— Игрушки!..— благоговейно шепчет Притулатан и принимается ерзать, сползая с меня.

Только теперь я понимаю, что шкатулку наполняют все не драгоценности, а разноцветные игрушки, сотни и тысячи разноцветных, чрезвычайно аляповатых игрушек — несуразно огромные, ярко размалеванные куклы, уродливые деревянные автомобили и великое множество какой-то разноцветной мелочи, которую трудно разглядеть на таком расстоянии.

Маленький способный Притулатан немедленно принимается ныть и клянить, чтобы все пошло в этот волшебный дом: «Это ничего, что папа не велел, мы только на минуточку зайдём, возьмем вон тот грузовик и сейчас же начнем ждать добрых людей...» Иядрудан пытается пресечь его, сначала словесно, а когда это не помогает, то крутанув ему ухо, и нытьё теряет членораздельность. Транслятор бесстрастно высыпает в окружающее пространство целый мешок «крысоухих змей», возмущенно галдит борт Вандерхузе, требуя успокоить и утешить, и вдруг все, включая способного Притулатана, разом замолкают.

У ближайшего угла вдруг объявляется давешний аба-

риген с винтовкой. Мягко и бесшумно ступая по голубым бликам, положив руки на винтовку, висящую поперек груди, он подходит прямо к детям. На нас со Щекном он даже не смотрит. Крепко берет притихшего Притулатана за левую руку, а просиявшего Иядрудана — за правую и ведет их прочь, через площадь, прямо к светящемуся зданию — к маме, к отцу, к безграничным возможностям стрелять сколько угодно.

Я смотрю им вслед. Все вроде бы идет так, как должно идти, и в то же время какая-то мелочь, какой-то сущий пустяк портит всю картину. Какая-то капелька дегтя...

— Ты узнал? — спрашивает Щекн.

— Что именно? — отзываюсь я раздраженно, потому что мне никак не удастся избавиться от этой неведомой соринки, которая портит весь вид.

— Погаси в этом здании свет и выстрели десяток раз из пушки...

Я почти не слышу его. Я вдруг все понимаю про эту соринку. Абориген удаляется, держа детишек за руки, и я вижу, как винтовка в такт шагам раскачивается у него на груди словно маятник — слева направо, справа налево... Она не может так раскачиваться. Не может так лихо мотаться туда-сюда тяжелая магазинная винтовка, весом уж никак не меньше полпуда. Так может мотаться игрушечная винтовка — деревянная, пластмассовая. У этого «доброго человека» винтовка не настоящая...

Я не успеваю додумать до конца все. Игрушечная винтовка у аборигена. Аборигены стреляют снайперски. Может быть, игрушечная винтовка — из этого игрушечного павильона... Погаси в этом павильоне свет и расстреляй его из пушки... Это ведь точно такой же павильон... Нет, ничего я не успел додумать до конца.

Слева сыплются кирпичи, с хрустом раскалывается о тротуар деревянная рама. По уродливому фасаду шестиэтажного дома, третьего от угла, сверху вниз, наискосок, через черные провалы окон скользит широкая желтая тень — скользит так легко, так невесомо, не верится, что это после нее рушатся с фасада пласты штукатурки и обломки кирпичей. Что-то кричит Вандерхузе, ужасно, в два голоса, визжат на площади дети, а тень уже на асфальте — такая же невесомая, полупрозрачная, огромная. Бешеное движение десятков ног почти неразличимо, и в этом мелькании темнеет, вспучиваясь и опадая, длинное членистое тело, несущее перед собой высоко задранные хватательные клешни, на которых лежит неподвижный лаковый блик...

Скорчер оказывается у меня в руке сам. Я превращаюсь в автоматический дальномер, занятый только тем, чтобы измерять расстояние между ракопаук и детскими фигурками, улепетывающими наискосок через площадь. (Где-то там еще абориген со своей фальшивой винтовкой, он тоже бежит изо всех сил, чуть отставая от детей, но за ним я не слежу). Расстояние стремительно сокращается, все совершенно ясно, и когда ракопаук оказывается у меня на траверзе, я стреляю.

В этот момент до него двадцать метров. Мне не так уж часто приходилось стрелять из скорчера, и я потрясен результатом. От красно-лиловой вспышки я на мгновение слепну, но успеваю увидеть, что ракопаук словно бы взрывается. Сразу. Весь, целиком, от клешней до кончика задней ноги. Как перегретый паровой котел. Гремит короткий гром, эхо пошло отражаться и перекачиваться по площади, а на месте чудовища вспухает плотная, на вид даже как бы твердая, туча белого пара.

Все кончено. Облако пара расплзается с тихим шипением, панические визги и топот затихают в глубине темного переулка, а драгоценная шкатулка павильона как ни в чем не бывало сияет посередине площади прежним своим варварским великолепием...

— Черт знает, какая дрянь страшная, — бормочу я. — Откуда они здесь взялись — за сто парсеков от Пандоры?.. А ты что — опять его не учуял?

Щекн не успевает ответить. Гремит винтовочный выстрел, эхом прокатывается по площади, и сразу же за ним — второй. Где-то совсем близко. Как будто за углом. Ну ясно — из того переулка, куда они все убежали...

— Щекн, держись слева, не высывайся, — командую я уже на бегу.

Я не понимаю, что там происходит, в этом переулке. Скорее всего, на детей напал еще один ракопаук... Значит, винтовка все-таки не игрушечная? И тут из темноты переулка выходят и останавливаются, преграждая нам дорогу, трое. И двое из них вооружены настоящими магазинными винтовками, и два ствола направлены прямо на меня.

Все очень хорошо видно в голубовато-белом свете: рослый седой старик в сером мундире с блестящими пуговицами, а по сторонам его и чуть позади — двое крепких парней с винтовками на изготовку, тоже в серых мундирах, опоясанных ремнями с патронными сумками.

— Очень опасно... — щелкает Щекн на языке головнов. — Повторяю: очень!

Я перехожу на шаг и с некоторым усилием заставляю

себя спрятать скорчер в кобуру. Я останавливаюсь, перед стариком и спрашиваю:

— Что с детьми?

Дула винтовок направлены мне прямо в живот. В брюхо. Лица у парней угрюмые и совершенно безжалостные.

— С детьми все в порядке,— отвечает старик.

Глаза у него светлые и как будто даже веселые. В лице его нет той тяжеловесной мрачности, что у вооруженных парней. Обыкновенное морщинистое лицо старого человека, не лишенное даже известного благообразия. Впрочем, может быть, мне это только кажется, может быть, все дело в том, что вместо винтовки у него в руке блестящая отполированная трость, которой он легонько и небрежно похлопывает себя по голенищу высокого сапога.

— В кого стреляли? — спрашиваю я.

В нехорошего человека,— переводит транслятор ответ.

— Вы, наверное, и есть те самые добрые люди с винтовками? — спрашиваю я.

Старик задирает брови.

— Добрые люди? Что это значит?

Я объясняю ему то, что мне объяснил Иядрудан. Старик кивает.

— Понятно. Да, мы — те самые добрые люди.— Он разглядывает меня с головы до ног.— А у вас дела, я вижу, идут неплохо... Переводящая машинка за спиной... У нас тоже такие были когда-то, но огромные, на целые комнаты... А такого ручного оружия у нас и вовсе никогда не было. Ловко вы этого нехорошего человека срезали! Как из пушки. Давно прилетели?

— Вчера,— говорю я.

— А вот мы свои летающие машины так и не наладили. Некому налаживать.— Он снова откровенно разглядывает меня.— Да, вы молодцы. А у нас тут, как видите, полный развал. Как вам удалось? Отбились? Или средства какие-нибудь нашли?

— Развал у вас действительно полный,— говорю я осторожно.— Целые сутки я у вас здесь и все равно ничего не понимаю...

Мне ясно, что он принимает меня за кого-то другого. На первых порах это, может быть, даже и к лучшему. Только надо осторожно, очень осторожно...

— Я знаю, что вы ничего не понимаете,— говорит старик.— И это по меньшей мере странно... Неужели у вас ничего этого не было?

— Нет,— отвечаю я,— Такого у нас не было.

Старик вдруг раздражается длинной фразой, на которую транслятор немедленно откликается: «Язык не кодируется».

— Не понимаю,— говорю я.

— Не понимаете... А мне казалось, что я неплохо владею языком Загорья.

— Я не оттуда,— возражаю я.— Я никогда там не был.

— Откуда же вы?

Я принимаю решение.

— Это сейчас неважно,— говорю я.— Не будем говорить о нас. У нас все в порядке. Мы не нуждаемся в помощи. Будем говорить о вас. Я мало что понял, но одно очевидно: вы в помощи нуждаетесь. В какой именно? Что нужно в первую очередь? Вообще, что у вас здесь происходит? Вот о чем мы сейчас будем говорить. И давайте сядем, я весь день на ногах. У вас найдется, где можно было бы посидеть и спокойно поговорить?

Некоторое время он молча шарит взглядом по моему лицу.

— Не хотите говорить, откуда вы...— произносит он наконец.— Что же, это ваше право. Вы сильнее. Только это глупо. Я и так знаю: вы — с Северного Архипелага. Вас не тронули только потому, что не заметили. Ваше счастье. Но хочется спросить: где вы были, пока нас здесь гноили заживо?

— Не вы одни терпите бедствие,— возражаю я вполне искренне.— Теперь вот очередь дошла до вас.

— Мы очень рады,— говорит он.— Пойдемте сядем и побеседуем.

Мы входим в подъезд дома напротив, поднимаемся на второй этаж и оказываемся в грязноватой комнате, где всего-то и есть: стол посередине, огромный диван у стены да два табурета у окна. Окна выходят на площадь, и комната озарена бело-голубым светом павильона. На диване кто-то спит, завернувшись с головой в глянцеви́тый плащ. На столе — консервные банки и большая металлическая фляга.

Едва войдя в комнату, старик принимается наводить порядок. Он поднимает на ноги спящего и гонит его куда-то из дому. Один из угрюмых парней получает приказ занять пост и усаживается на табурет у окна, где и сидит потом все время, не отрывая глаз от площади. Вторым угрюмым парень принимается ловко вскрывать банки с консервами, а потом встает у дверей, прислонившись плечом к притолоке.

Мне предлагается сесть на диван, после чего меня за-

двигают столом и обставляют банками с консервами. Во фляге оказывается обыкновенная вода, довольно чистая, хотя с железистым привкусом. Щекн тоже не забыт. Солдат, которого согнали с дивана, ставит перед ним на пол открытую банку консервов. Щекн не возражает. Правда, он не ест консервов, а отходит к двери и предусмотрительно устраивается рядом с постовым. При этом он старательно чешется, фыркает и облизывается, изо всех сил притворяясь обыкновенной собакой.

Между тем старик берет второй табурет, усаживается напротив меня, и переговоры начинаются.

Прежде всего старик представляется. Разумеется, он оказывается гаттаухом, и притом не просто гаттаухом, но и-гаттаух-окамбомоном, что следует, по-видимому, переводить, как «правитель всей территории и прилегающих районов». Под его правлением находится весь город, порт и дюжина племен, обитающих в радиусе до пятидесяти километров. Что происходит за пределами этого радиуса, он представляет себе плохо, но полагает, что там примерно то же самое. Общая численность населения его области составляет сейчас не более пяти тысяч человек. Ни промышленности, ни сколько-нибудь правильно организованного сельского хозяйства в области не существует. Есть, правда, лаборатория в пригороде. Хорошая лаборатория, в свое время одна из лучших в мире, и руководит ею по сей день сам Драудан («...странно, что вы о нем не слышали... ему тоже повезло — он оказался долгожителем, как и я...»), но ничего они там так и не добились за все эти сорок лет. И видимо, не добьются.

— А поэтому, — заключает старик, — давайте не будем ходить вокруг да около, и торговаться давайте не будем. У меня условие только одно: если лечить, то всех. Без исключения. Если это условие вам годится, все остальные можете ставить сами. Любые. Принимаю безоговорочно. Если же нет, — тогда вы лучше к нам не суйтесь. Мы, конечно, все здесь погибнем, но и вам житья не будет, пока хоть один из нас еще жив.

Я молчу. Я все жду, что Штаб хоть что-нибудь мне подскажет. Но там, похоже, тоже ничего не понимают.

— Я хотел бы напомнить, — говорю я наконец, — что я по-прежнему ничего не понимаю в ваших делах.

— Так задавайте вопросы! — говорит старик резко.

— Вы сказали: лечить. У вас эпидемия?

Лицо у старика делается каменным. Он долго глядит мне в глаза, а потом утомленно облокачивается на стол и трет пальцами лоб,

— Я же вас предупредил: не надо ходить вокруг да около. Мы же не собираемся торговаться. Скажите ясно и просто: есть у вас всеобщее лекарство? Если есть, диктуйте условия. Если нет, нам не о чем разговаривать.

— Так мы с вами не сдвинемся с мертвой точки,— говорю я.— Давайте исходить из того, что я абсолютно ничего о вас не знаю. Проспал я эти сорок лет, например. Не знаю, какая у вас болезнь, не знаю, какое вам нужно лекарство...

— И про Нашествие ничего не знаете? — говорит старик, не открывая глаз.

— Почти ничего.

— И про Всеобщий Угон ничего не знаете?

— Почти ничего. Знаю, что все ушли. Знаю, что в этом как-то замешаны пришельцы из Космоса. Больше ничего.

— При-шерь-зы... из Коз-мо-за... — с трудом повторяет старик по-русски.

— Люди с луны... Люди с неба... — говорю я.

Он оскаливает желтые крепкие зубы.

— Не с неба и не с луны. Из-под земли! — говорит он.— Значит, кое-что вы все-таки знаете...

— Я прошел через город. И многое видел.

— А у вас там не было совсем ничего? Совсем?

— Ничего подобного не было,— говорю я твердо.

— И вы ничего не заметили? Не заметили гибели человечества? Перестаньте врать! Чего вы хотите добиться этим враньем?

— Лев! — шелестит у меня под шлемом голос Комова.— Разыгрывай вариант «Кретин»!

— Я — лицо подчиненное,— объявляю я строго.— Я знаю только то, что мне положено знать! Я делаю только то, что мне приказано делать! Если мне прикажут врать, я буду врать, но сейчас я такого приказа не имею.

— А какой же приказ вы имеете?

— Провести разведку в вашем районе и доложить все обстоятельства.

— Какая чушь! — с усталым отвращением говорит старик.— Ну хорошо. Будь по-вашему. Вам зачем-то надо, чтобы я рассказывал всем известные вещи... Ладно. Слушайте.

Оказывается, во всем виновата раса отвратительных нелюдей, расплодившаяся в недрах планеты. Четыре десятка лет назад эта раса предприняла нашествие на местное человечество. Нашествие началось с невиданной пандемии, которую нелюди обрушили разом на всю планету. Возбудителя пандемии обнаружить не удалось до сих пор.

А выглядела эта болезнь так: начиная с двенадцатилетнего возраста вполне нормальные дети начинали стремительно стареть. Темп развития человеческого организма по достижении критической возрастной точки начинал возрастать в геометрической прогрессии. Шестнадцатилетние юноши и девушки выглядели сорокалетними, в восемнадцать лет начиналась старость, а до двадцати доживали только единицы.

Пандемия свирепствовала три года, после чего нелюди впервые заявили о своем существовании. Они предложили всем правительствам организовать переброску населения «в соседний мир», то есть к себе, в недра земли. Они обещали, что там, в соседнем мире, пандемия исчезнет сама собой, и тогда миллионы испуганных людей ринулись в специальные колодцы, откуда, разумеется, никто с тех пор так и не вернулся. Так сорок лет тому назад погибла местная цивилизация.

Конечно, не все поверили и не все испугались. Оставались целые семьи и группы семей, целые религиозные общины. В чудовищных условиях пандемии они продолжали свою безнадежную борьбу за существование и за право жить так, как жили их предки. Однако нелюди и эту жалкую долю процента прежнего населения не оставили в покое. Они организовали настоящую охоту за детьми, за этой последней надеждой человечества. Они наводнили планету «нехорошими людьми». Сначала это были подделки под людей, имеющие вид веселых размалеванных дядей, звенящих бубенчиками и играющих веселые песенки. Глупые детишки с радостью шли за ними и навсегда исчезали в янтарных «стаканах». Тогда же на главных площадях появились такие вот сияющие в ночи игрушечные лавки — ребенок заходил туда и исчезал бесследно.

— Мы делали все, что могли. Мы вооружились — в покинутых арсеналах было полно оружия. Мы научили детей бояться «нехороший людей», а затем и уничтожать их из винтовок. Мы разрушали кабины и расстреливали в упор игрушечные лавки, пока не поняли, что умнее будет поставить возле них часовых и перехватывать неосторожных детей у порога. Но это было только начало...

Нелюди с неистощимой выдумкой выбрасывали на поверхность все новые и новые типы охотников за детьми. Появились «чудовища». Почти невозможно попасть в такое, когда оно нападает на ребенка. Появились гигантские яркие бабочки; они падали на ребенка, окутывали его крыльями и исчезали вместе с ним. Эти бабочки вообще неуязвимы для пуль. Наконец, последняя новинка: появи-

лись гады, совершенно неотличимые от обыкновенного бойца. Эти просто берут ничего не подозревающего ребенка за руку и уводят с собой. Некоторые из них умеют даже разговаривать...

— Мы прекрасно знаем, что шансов выжить у нас практически нет. Пандемия не прекращается, а мы сначала надеялись на это. Только один человек на сто тысяч останется незараженным. Вот я, например, Драудан... и еще один мальчик — он вырос на моих глазах, ему сейчас восемнадцать, и он выглядит на восемнадцать... Если вы не знали всего этого, то знайте. Если знали, тогда имейте в виду, что мы прекрасно понимаем свое положение. И мы готовы согласиться на любые ваши условия — готовы на вас работать, готовы вам подчиняться... На все условия, кроме одного: если лечить, то всех. Никакой элиты, никаких избранных!

Старик замолкает, тянется к кружке с водой и жадно пьет. Солдат, стоящий у дверей, переминается с ноги на ногу и зевает, прикрывая рот ладонью. На вид ему лет двадцать пять. А на самом деле? Тринадцать? Пятнадцать? Подросток...

Я сижу неподвижно, стараясь сохранить каменное лицо. Подсознательно я ожидал чего-нибудь в этом роде, но то, что я услышал от очевидца и пострадавшего, почему-то никак не укладывается у меня в сознании. Факты, которые изложил старик, сомнения у меня не вызывают, но это — как во сне: каждый элемент в отдельности полон смысла, а все вместе выглядит совершенно нелепо. Может быть, все дело в том, что мне в плоть и кровь въелось некое предвзятое мнение о Странниках, безоговорочно принятое у нас на Земле?

— Откуда вы знаете, что они — нелюди? — спрашиваю я. — Вы их видели? Вы — лично!

Старик кряхтит. Лицо его делается страшным.

— Половину своей бессмысленной жизни я бы отдал, чтобы увидеть перед собой хотя бы одного, — сипло произносит он. — Вот этими руками... Сам... Но я, конечно, их не видел. Слишком они осторожны и трусливы... Да их, наверное, никто не видел, кроме этих поганых предателей из правительства сорок лет назад... А по слухам, они вообще формы не имеют, как вода, скажем, или пар...

— Тогда непонятно, — говорю я. — Зачем существам, не имеющим формы, заманивать несколько миллиардов людей к себе в подземелье?

— Да будьте вы прокляты! — говорит старик, повысив голос. — Это же НЕЛЮДИ! Как мы с вами можем судить,

что нужно нелюдям? Может быть, рабы. Может быть, еда... А может быть, строительный материал для своих гадов... Какая разница? Они разрушили наш мир! Они и теперь не дают нам покоя, травят нас, как крыс...

И тут его лицо вдруг страшно искажается. С поразительной для своего возраста прытью он отскакивает к противоположной стене, с грохотом отшвырнув табуретку. Я и глазом моргнуть не успел, а он уже держит обеими руками большой никелированный револьвер, наставив его прямо на меня. Сонные стражи проснулись и с таким же выражением недоверия и ужаса на лицах, ставших вдруг совсем ребяческими, не отрывая от меня глаз, беспорядочно шарят вокруг себя в поисках своих магазинков.

— Что случилось? — говорю я, стараясь не шевелиться.

Никелированный ствол ходит ходуном, а стражи, нащупав наконец оружие, дружно клацают затворами.

— Твоя дурацкая одежда все-таки заработала, — щелкает Щекн на своем языке. — Тебя почти не видно. Только лицо. Ты не имеешь формы, как вода или пар. — Впрочем, старик уже раздумал стрелять. Или мне все-таки убрать его?

— Не надо, — говорю я по-русски.

Старик наконец подает голос. Он белеет стены и говорит запинаясь, но не от страха, конечно, а от ненависти. Мощный все-таки старик.

— Проклятый подземный оборотень! — говорит он. — Положи руки на стол! Левую на правую! Вот так...

— Это недоразумение, — говорю я сердито. — Я не оборотень. У меня специальная одежда. Она может делать меня невидимым, только плохо работает...

— Ах одежда? — издевательски произносит старик. — На Северном Архипелаге научились делать одежду-невидимку!

— На Северном Архипелаге очень многое научились делать, — говорю я. — Спрячьте, пожалуйста, ваше оружие и давайте разберемся спокойно.

— Дурак ты, — говорит старик. — Хоть бы на карту нашу удосужился взглянуть. Нет никакого Северного Архипелага... Я тебя сразу раскусил, только все никак не мог поверить в такую наглость...

— Неужели тебе не унижительно? — щелкает Щекн. — Давай ты возьмешь на себя старика, а я — обоих молодых...

— Пристрели собаку! — командует старик стражу, не отрывая взгляда от меня.

— Я тебе покажу «собаку»! — на чистейшем местном наречии произносит Щекн.— Старый болтливый котел!

Тут нервы у мальчишек не выдерживают, и начинается пальба...

3 июня 78 года. СНОВА МАЙЯ ГЛУМОВА.

Я сильно переборщил с громкостью видеофона. Аппарат у меня над ухом мелодично взревел, как незнакомец в коротких штанишках в разгар ухаживания за миссис Никльби. Я бомбой вылетел из кресла, на лету нашаривая клавишу приема.

Звонил Экселенц. Было 07.03.

— Хватит спать,— произнес он довольно благодушно.— В твои годы я не имел обыкновения спать.

До каких, интересно, пор мне выслушивать от него про мои годы? Мне уже сорок пять... И кстати, в мои годы он-таки спал. Он и сейчас не дурак поспать.

— А я и не спал,— соврал я.

— Тем лучше,— сказал он.— Значит, ты можешь приступить к работе немедленно. Найди эту Глумову. Выясни у нее следующее. Виделась ли она с Абалкиным со вчерашнего дня. Говорил ли Абалкин с ней о ее работе. Если говорил, что именно его интересовало. Не выражал ли он желания зайти к ней в Музей. Все. Не больше и не меньше.

Я откликаюсь на эту кодовую фразу:

— Выяснить у Глумовой, виделась ли она с ним еще раз, был ли разговор о работе, если был — то что интересовало, не выражал ли желания посетить Музей.

— Так. Ты предлагал сменить легенду. Не возражаю. КОМКОН разыскивает Прогрессора Абалкина для получения от него показаний касательно некоего несчастного случая. Расследование связано с тайной личности и потому проводится негласно. Не возражаю. Вопросы есть?

— Хотел бы я знать, при чем здесь этот Музей...— пробормотал я как бы про себя.

— Ты что-то сказал? — осведомился Экселенц.

— Предположим, что у них не было никаких разговоров про этот треклятый Музей. Могу я в этом случае попытаться выяснить, что все-таки произошло между ними при первой встрече?

— Тебе это важно?

— А вам?

— Мне—нет.

— Очень странно,— сказал я, глядя в сторону.— Мы знаем, что хотел выяснить Абалкин у меня. Мы знаем, что

он хотел выяснить у Федосеева. Но мы представления не имеем, чего он добивался от Глумовой...

Экселенц сказал:

— Хорошо. Выясняй. Но только так, чтобы это не мешало выяснению главных вопросов. И не забудь надеть радиобраслет. Надень-ка его прямо сейчас, чтобы я это видел...

Я со вздохом извлек из ящика стола brasлет и нацепил его на левое запястье. Браслет жал.

— Вот так,— сказал Экселенц и отключился.

Я направился в душ. Из кухни раздавался гром и лязг — Алена орудовала утилизатором. Пахло кофе. Я принял душ, и мы позавтракали. Алена в моем халате восседала напротив меня и была похожа на китайского божка. Она объявила, что у нее сегодня доклад, и предложила прочитать мне его вслух. Прорепетировать. Я уклонился, сославшись на обстоятельства. «Опять?» — спросила она сочувственно и в то же время агрессивно. «Опять»,—признался я не без вызова. «Проклятье»,— сказала она. «Не спорю»,—сказал я. «Это надолго?» — спросила она. «У меня еще три дня сроку»,—сказал я. «А если не успеешь?» — спросила она. «Тогда всему конец»,—сказал я. Она бегло глянула на меня, и я понял, что она опять представляет себе всякие ужасы. «Скучища,—сказал я,—надоело. Отбарабаню это дело, и поедем с тобой куда-нибудь подальше отсюда». — «Я не смогу»,—сказала она грустно. «Неужели тебе не надоело? — спросил я. — Чепухой ведь занимаетесь...» Вот так с ней и нужно. Она мгновенно ошетинилась и принялась доказывать, что занимается не чепухой, а дьявольски интересными и нужными вещами. В конце концов мы договорились, что через месяц поедем на Новую Землю. Это теперь модно...

Я вернулся в кабинет и, не садясь, набрал номер дома Глумовой. Никто не откликнулся. Было 07.51. Яркое солнечное утро. В такую погоду до восьми часов спать мог только наш Слон. Майя Глумова, наверное, уже отправилась на работу, а веснушчатый Тойво вернулся в свой ин-тернат.

Я прикинул свое расписание на сегодняшний день. В Канаде сейчас поздний вечер. Насколько я знаю, головы ведут преимущественно ночной образ жизни, так что ничего плохого не случится, если я отправлюсь туда часа через три-четыре... Кстати, как сегодня насчет нуль-Т? Я запросил справочную. Нуль-транспортровка возобновила нормальную работу с четырех утра. Таким образом, я сегодня успеваю и к Щекну, и к Корнею Яшмаа.

Я сходил на кухню, выпил еще одну чашку кофе и проводил Алену на крышу до глайдера. Простились мы с преувеличенной сердечностью: у нее начался преддокладный мандраж. Я старательно махал ей рукой, пока она не скрылась из виду, а потом вернулся в кабинет.

Интересно, что ему дался этот Музей? Музей как музей... Какое-то отношение к работе Прогрессоров, в частности к Саракшу, он, конечно, имеет... Тут я вспомнил расширенные во всю радужку зрачки Экселенца. Неужели он тогда в самом деле испугался? Неужели мне удалось испугать Экселенца? И чем! Обыкновенным и вообще-то случайным сообщением, что подруга Абалкина работает в Музее Внеземных Культур... в спецсекторе объектов невыясненного назначения... Пардон! Спецсектор он назвал сам. Я сказал, что Глумова работает в Музее Внеземных Культур, а он мне объявил: в спецсекторе объектов невыясненного назначения... Я вспомнил анфилады комнат, уставленные, увешанные, перегороженные, заполненные диковинами, похожими на абстрактные скульптуры или на топологические модели... И Экселенц допускает, что Абалкина, имперского штабного офицера, натворившего что-то такое в сотне парсеков отсюда, может хоть что-нибудь заинтересовать в этих комнатах...

Я набрал номер рабочего кабинета Глумовой и несколько остолбенел. С экрана приятно улыбался мне Гриша Серосовин, по прозвищу Водолей, из четвертой подгруппы моего отдела. В течение нескольких секунд я наблюдал за последовательной сменой выражения на румяной Гришиной физиономии. Приятная улыбка; растерянность; официальная готовность выслушать распоряжение; и наконец снова приятная улыбка. Теперь слегка натянутая. Парня можно было понять: если уж я сам испытал некоторое остолбенение, то ему сам бог велел слегка растеряться. Конечно же, меньше всего он ожидал увидеть на экране начальника своего отдела, но, в общем, справился он вполне удовлетворительно.

— Здравствуйте,—сказал я.— Попросите, если можно, Майю Тойвовну.

— Майя Тойвовна...— Гриша огляделся.— Вы знаете, ее нет. По-моему, она сегодня еще не приходила. Передать ей что-нибудь?

— Передайте, что звонил Каммерер, журналист. Она должна меня помнить. А вы что же — новичок? Что-то я вас...

— Да, я тут только со вчерашнего дня... Я тут, собственно, посторонний, работаю с экспонатами...

— Ага,— сказал я.— Ну что ж... Спасибо. Я еще позвоню.

Так-так-так. Экселенц принимает меры. Похоже, он просто уверен, что Лев Абалкин появится в Музее. И именно в секторе этих самых объектов. Попробуем понять, почему он выбрал именно Гришу. Гриша у нас без году неделя. Сообразительный, хорошая реакция. По образованию — экзобиолог. Может быть, именно в этом все дело. Молодой экзобиолог начинает свое первое самостоятельное исследование. Что-нибудь вроде: «Зависимость между топологией артефакта и биоструктурой разумного существа». Все тихо, мирно, изящно, прилично. Между прочим, Гриша еще и чемпион отдела по субаксу...

Ладно. Это я, кажется, понял. Пусть. Глумова, надо полагать, где-то задерживается. Например, беседует где-нибудь с Львом Абалкиным. А кстати, он ведь мне назначил на сегодня свидание в 10.00. Наверняка соврал, но, если мне действительно предстоит лететь на это свидание, сейчас самое время позвонить ему и узнать, не изменились ли у него планы. И я тут же, не теряя времени, позвонил в «Осинушку».

Коттедж номер шесть отозвался немедленно, и я увидел на экране Майю Глумову.

— А, это вы... — произнесла она с отвращением.

Невозможно передать, какая обида, какое разочарование были на лице ее. Она здорово сдала за эти сутки — ввалились щеки, под глазами легли тени, тоскливые больные глаза были широко раскрыты, губы запеклись. И только секунду спустя, когда она медленно откинулась от экрана, я отметил, что прекрасные волосы ее тщательно и не без кокетства уложены и что поверх строго-элегантного серого платья с закрытым воротом лежит на груди ее то самое янтарное ожерелье.

— Да, это я... — сказал журналист Каммерер растерянно. — Доброе утро. Я, собственно... Что, Лев у себя?

— Нет, — сказала она.

— Дело в том, что он назначил мне свидание... Я хотел...

— Здесь? — живо спросила она, снова придвинувшись к экрану. — Когда?

— В десять часов. Я просто хотел на всякий случай узнать... А его, оказывается, нет...

— А он вам точно назначил? Как он сказал? — совсем по-детски спросила она, жадно на меня глядя.

— Как он сказал?... — медленно повторил журналист Каммерер. Вернее, уже не журналист Каммерер, а я. —

Вот что, Майя Тойвовна. Не будем себя обманывать. Скорее всего, он не придет.

Теперь она смотрела на меня, словно не верила своим глазам.

— Как это?.. Откуда вы знаете?

— Ждите меня,— сказал я.— Я вам все расскажу. Через несколько минут я буду.

— Что с ним случилось? — пронзительно и страшно крикнула она.

— Он жив и здоров. Не беспокойтесь. Ждите, я сейчас...

Две минуты на одевание. Три минуты до ближайшей кабины нуль-Т. Черт, очередь у кабины... «Друзья, очень прошу вас, разрешите мне пройти перед вами, очень важно... Спасибо большое, спасибо!..» Так. Минута на поиски индекса. Что за индексы у них там в провинции!.. Пять секунд на набор индекса. Я шагаю из кабины в пустынный бревенчатый вестибюль курортного клуба. Еще минуту стою на широком крыльце и верчу головой. Ага, мне туда... Ломлюсь напрямик через заросли рябины пополам с крапивой. Не наскочить бы на доктора Гоаннека...

Она ждала меня в холле — сидела за низким столом с медвежонком, держа на коленях видеофон. Войдя, я непроизвольно взглянул на приоткрытую дверь гостиной, и она сейчас же торопливо сказала:

— Мы будем разговаривать здесь.

— Как вам будет угодно,— отозвался я.

Нарочито не спеша я осмотрел гостиную, кухню и спальню. Везде было чисто прибрано, и, конечно, никого там не было. Краем глаза я видел, что она сидит неподвижно, положив руки на видеофон, и смотрит прямо перед собой.

— Кого вы искали? — спросила она холодно.

— Не знаю,— честно признался я.— Просто разговор у нас с вами будет деликатный, и я хотел убедиться, что мы одни.

— Кто вы такой? — спросила она.— Только не врите больше!

Я изложил ей легенду номер два, разъяснил про тайну личности и добавил, что за вранье не извиняюсь,— просто я пытался сделать свое дело, не подвергая ее излишним волнениям.

— А теперь, значит, вы решили больше со мной не церемониться? — сказала она.

— А что прикажете делать?

Она не ответила,

— Вот вы сидите здесь и ждете,— сказал я.— А ведь он не придет. Он водит вас за нос. Он всех нас водит за нос, и конца этому не видно. А время идет.

— Почему вы думаете, что он сюда не вернется?

— Потому что он скрывается,— сказал я.— Потому что он врет всем, с кем ему приходится разговаривать.

— Зачем же вы сюда звонили?

— А затем, что я никак не могу его найти! — сказал я, понемногу свирепея.— Мне приходится ловить любой шанс, даже самый идиотский...

— Что он сделал? — спросила она.

— Я не знаю, что он сделал. Может быть, ничего. Я ищу его не потому, что он что-то сделал. Я ищу его потому, что он — единственный свидетель большого несчастья. И если мы его не найдем, мы так и не узнаем, что же там произошло...

— Где — там?

— Это неважно,— сказал я нетерпеливо.— Там, где он работал. Не на Земле. На планете Саракш.

По лицу ее было видно, что она впервые слышит про планету Саракш.

— Почему же он скрывается? — спросила она тихо.

— Мы не знаем. Он на грани психического срыва. Он, можно сказать, болен. Возможно, ему что-то чудится. Возможно, это какая-то идея-фикс.

— Болен...— сказала она, тихонько качая головой.— Может быть... А может быть, и нет... Что вам от меня надо?

— Вы виделись с ним еще раз?

— Нет,— сказала она.— Он обещал позвонить, но так и не позвонил.

— Почему же вы ждете его здесь?

— А где мне его еще ждать? — спросила она.

В голосе ее было столько горечи, что я отвел глаза и некоторое время молчал. Потом спросил:

— А куда он собирался вам звонить? На работу?

— Наверное... Не знаю. В первый раз он позвонил на работу.

— Он позвонил вам в Музей и сказал, что приедет к вам?

— Нет. Он сразу позвал меня к себе. Сюда. Я взяла глайдер и прилетела.

— Майя Тойвовна,— сказал я.— Меня интересуют все подробности вашей встречи... Вы рассказывали ему о себе, о своей работе. Он вам рассказывал о своей... Постарайтесь вспомнить, как это было.

Она покачала головой.

— Нет. Ни о чем таком мы не разговаривали... Конечно, это действительно странно... Мы столько лет не виделись... Я уже потом сообразила, уже дома, что я так ничего и не узнала... Ведь я его спрашивала: «Где ты был, что делал?..» — но он отмахивался и кричал, что все это чушь, ерунда...

— Значит, он расспрашивал вас?

— Да нет же! Все это его не интересовало... Кто я, как я... одна или у меня кто-либо есть... чем я живу... Он был как мальчишка... Я не хочу об этом говорить.

— Майя Тойвовна, не надо говорить о том, о чем вы не хотите говорить...

— Я ни о чем не хочу говорить!

Я поднялся, сходил на кухню и принес ей воды. Она жадно выпила весь стакан, проливая воду на свое серое платье.

— Это никого не касается,— сказала она, отдавая мне стакан.

— Не говорите о том, что никого не касается,— сказал я, усаживаясь.— О чем он вас расспрашивал?

— Я же вам говорю: он ни о чем не расспрашивал! Он рассказывал, вспоминал, рисовал, спорил... как мальчишка... Оказывается, он все помнит! Чуть ли не каждый день! Где стоял он, где стояла я, что сказал Рекс, как смотрел Вольф... Я ничего не помнила, а он кричал на меня и заставлял вспоминать, и я вспоминала... И как он радовался, когда я вспоминала что-нибудь такое, чего не помнил он сам!..

Она замолчала.

— Это все — о детстве? — спросил я, подождав.

— Ну конечно! Ведь я же вам говорю, это никого не касается, это только наше с ним!.. Он и правда был как сумасшедший... У меня уже не было сил, я засыпала, а он будил меня и кричал в ухо: «А кто тогда свалился с качелей?» И если я вспоминала, он хватал меня в охапку, бегал со мной по дому и орал: «Правильно, все так и было, правильно!»

— И он не расспрашивал вас, что сейчас с Учителем, со школьными друзьями?

— Я же вам объясняю: он ни о чем не расспрашивал и ни о ком не расспрашивал! Можете вы это понять? Он рассказывал, вспоминал и требовал, чтобы я тоже вспоминала...

— Да, понимаю, понимаю,— сказал я.— А что он, по-вашему, намеревался делать дальше?

Она посмотрела на меня как на журналиста Каммера.

— Ничего-то вы не понимаете,— сказала она.

И в общем-то она была, конечно, права. Ответы на вопросы Экселенца я получил: Абалкин НЕ интересовался работой Глумовой, Абалкин НЕ намеревался использовать ее для проникновения в Музей. Но я действительно совершенно не понимал, какую цель преследовал Абалкин, устраивая эти сутки воспоминаний. Сентиментальность... дань детской любви... возвращение в детство... В это я не верил. Цель была практическая, заранее хорошо продуманная, и достиг ее Абалкин, не возбудив у Глумовой никаких подозрений. Мне было ясно, что сама Глумова об этой цели ничего не знает. Ведь она тоже не поняла, что же было на самом деле...

И оставался еще один вопрос, который мне следовало бы выяснить. Ну, хорошо. Они вспоминали, любили друг друга, пили, снова вспоминали, засыпали, просыпались, снова любили и снова засыпали... Что же тогда привело ее в такое отчаяние, на грань истерики? Разумеется, здесь открывался широчайший простор для самых разных предположений. Например — связанных с привычками штабного офицера Островной Империи. Но могло быть и что-нибудь другое. И это другое вполне могло оказаться весьма ценным для меня. Тут я остановился в нерешительности: либо оставить в тылу что-то, может быть, очень важное, либо решиться на отвратительную бестактность, рискуя не узнать в результате ничего существенного...

Я решился.

— Майя Тойвовна,— произнес я, изо всех сил стараясь выговаривать слова твердо.— Скажите, чем было вызвано такое ваше отчаяние, которому я был невольным свидетелем в прошлую нашу встречу?

Я выговаривал эту фразу, не осмеливаясь глядеть ей в глаза. Я бы не удивился, если бы она тут же приказала мне убираться вон или даже просто шарахнула меня видеофоном по голове. Однако она не сделала ни того, ни другого.

— Я была дура,— сказала она довольно спокойно.— Дура истеричная. Мне почудилось тогда, что он выжал меня как лимон и выбросил за порог. А теперь я понимаю: ему и в самом деле не до меня. Для деликатности у него не остается ни времени, ни сил. Я все требовала у него объяснений, а он ведь не мог мне ничего объяснить. Он же знает, наверное, что вы его ищете...

Я встал.

— Большое спасибо, Майя Тойвовна,— сказал я.— Помоему, вы неправильно поняли наши намерения. Никто не хочет ему вреда. Если вы встретитесь с ним, постарайтесь, пожалуйста, внушить ему эту мысль.

Она не ответила.

3 июня 78 года. КОЕ-ЧТО О ВПЕЧАТЛЕНИЯХ ЭКСЕЛЕНЦА.

С обрыва было видно, что доктор Гоаннек за отсутствием пациентов занят рыбной ловлей. Это было удачно, потому что до его избы с нуль-Т-нужником было ближе, чем до курортного клуба. Правда, по дороге, оказывается, располагалась пасека, которую я опрометчиво не заметил во время своего первого визита, так что теперь мне пришлось спастись, прыгая через какие-то декоративные плетни и сшибая на скаку декоративные же макитры и крынки. Впрочем, все обошлось благополучно. Я взбежал на крыльцо с балясинами, проник в знакомую горницу и, не сядя, позвонил Экселенцу.

Я думал отделаться коротким докладом, но разговор получился довольно длинный, так что пришлось вынести видеофон на крыльцо, чтобы меня не захватил врасплох говорливый и обидчивый доктор Гоаннек.

— Почему она там сидит?— спросил Экселенц задумчиво.

— Ждет.

— Он ей назначил?

— Насколько я понимаю — нет.

— Бедняга... — проворчал Экселенц. Потом он спросил: — Ты возвращаешься?

— Нет,— сказал я.— У меня еще остались этот Яшмаа и резиденция голованов.

— Зачем?

— В резиденции,— ответил я,— сейчас пребывает некий голован по имени Щекн-Итрч, тот самый, который участвовал вместе с Абалкиным в операции «Мертвый мир»...

— Так.

— Насколько я понял из отчета Абалкина, у них сложились какие-то не совсем обычные отношения.

— В каком смысле — необычные?

Я замялся, подбирая слова.

— Я бы рискнул назвать это дружбой, Экселенц... Вы помните этот отчет?

— Помню. Понимаю, что ты хочешь сказать. Но ответ мне на такой вот вопрос: как ты выяснил, что голова Щекна находится на Земле?

— Ну... это было довольно сложно. Во-первых...

— Достаточно,— прервал он меня и замолчал выжидательно.

До меня не сразу, правда, но дошло. Действительно, это мне, сотруднику КОМКОНа-2, при всем моем солидном опыте работы с БВИ, было довольно сложно разыскать Щекна. Что же тогда говорить о простом Прогрессоре Абалкине, который вдобавок двадцать лет проторчал в Глубоком Космосе и понимает в БВИ не больше, чем двадцатилетний школяр!

— Согласен,— сказал я.— Вы, конечно, правы. И все-таки согласитесь: задача эта вполне выполнима. Было бы желание.

— Соглашаюсь. Но дело не только в этом. Тебе не приходило в голову, что он бросает камни по кустам?

— Нет,— сказал я честно.

Бросать камни по кустам — в переводе с нашей фразеологии означает: пускать по ложному следу, подсовывать фальшивые улики, короче говоря, морочить людям голову. Разумеется, теоретически вполне можно было допустить, что Лев Абалкин преследует некую вполне определенную цель, а все его эскапады с Глузовой, с Учителем, со мной — все это мастерски организованный фальшивый материал, над смыслом которого мы должны бесплодно ломать голову, попусту теряя время и силы, безнадежно отвлекаясь от главного.

— Не похоже,— сказал я решительно.

— А вот у меня есть впечатление, что похоже,— сказал Экселенц.

— Вам, конечно, виднее,— отозвался я сухо.

— Бесспорно,— согласился он.— Но, к сожалению, это только впечатление. Фактов у меня нет. Однако, если я НЕ ошибаюсь, представляется маловероятным, чтобы в его ситуации он вспомнил о Щекне, потратил бы массу сил, чтобы разыскать его, бросился бы в другое полушарие, ломал бы там какую-нибудь комедию,— и все это только для того, чтобы бросить в кусты лишний камень. Ты согласен со мной?

— Видите ли, Экселенц, я не знаю его ситуации, и, наоборот, именно поэтому у меня нет вашего впечатления.

— А какое есть? — спросил он с неожиданным интересом.

Я попытался сформулировать свое впечатление:

— Только не разбрасывание камней. В его поступках есть какая-то логика. Они связаны между собой. Более того, он все время применяет один и тот же прием. Он не тратит времени и сил на выдумывание новых приемов — он ошарашивает человека каким-то заявлением, а потом слушает, что бормочет этот ошарашенный... Он хочет что-то узнать, что-то о своей жизни... точнее, о своей судьбе. Что-то такое, что от него скрыли...— Я замолчал, а потом сказал:— Экселенц, он каким-то образом узнал, что с ним связана тайна личности.

Теперь мы молчали оба. На экране покачивалась веснушчатая лысина. Я чувствовал, что переживаю исторический момент. Это был один из тех редчайших случаев, когда мои доводы (не факты, добытые мной, а именно доводы, логические умозаключения) заставляли Экселенца пересмотреть свои представления.

Он поднял голову и сказал:

— Хорошо. Навести Щекна. Но имей в виду, что нужнее всего ты здесь, у меня.

— Слушаюсь,— сказал я и спросил: — А как насчет Яшмаа?

— Его нет на Земле.

— Почему же,— сказал я.— Он на Земле. Он в «Лагере Яна» под Антоновом.

— Он уже три дня как на Гиганде.

— Понятно,— сказал я.— Это же надо — какое совпадение! Родился в тот же день, что и Абалкин, тоже смертный ребенок, тоже фигурирует под номером...

— Хорошо, хорошо,— проворчал Экселенц.— Не отвлекайся.

Экран погас. Я отнес видеофон на место и спустился во двор. Там я осторожно пробрался через заросли гигантской крапивы и прямо из деревянного нужника доктора Гоаннека шагнул под ночной дождь на берег реки Телон.

3 июня 78 года. ЗАСТАВА НА РЕКЕ ТЕЛОН.

Невидимая река шумела сквозь шуршанье дождя где-то совсем рядом под обрывом, а прямо передо мною мокро отсвечивал легкий металлический мост, над которым светилось большое табло на линкосу: «ТЕРРИТОРИЯ НАРОДА ГОЛОВАНОВ». Немного странно было видеть, что мост начинается прямо из высокой травы — не было к нему не только подъезда, но даже какой-нибудь паршивенькой тропинки. В двух шагах от меня светилось одиноким окошком округлое приземистое здание казарменно-ка-

зсматного вида. От него пахнуло на меня незабываемым Саракшем — запахом ржавого железа, мертвечины, затаившейся смерти. Станные все-таки места попадают у нас на Земле. Казалось бы, и дома ты, и все уже здесь знаешь, и все привычно и мило, так нет же: обязательно рано или поздно наткнешься на что-нибудь ни с чем не сообразное... Ладно. Что думает по поводу этого здания журналист Каммерер? О! У него, оказывается, уже сложилось вполне определенное мнение.

Журналист Каммерер отыскал в округлой стене дверь, решительно толкнул ее и оказался в сводчатой комнате, где не было ничего, кроме стола, за которым сидел, подперши подбородок кулаками, длинноволосый юнец, нарядившийся в яркое и пестрое мексиканское пончо, похожий кудрями и нежным длинным ликом на Александра Блока. Синие глаза юнца встретили журналиста Каммерера взглядом, совершенно лишенным интереса и слегка утомленным.

— Ну и архитектура здесь у вас, однако! — произнес журналист Каммерер, отряхивая с плеч дождевые брызги.

— А им нравится, — безразлично возразил Александр Б., не меняя позы.

— Быть этого не может! — саркастически сказал журналист Каммерер, озираясь, на что бы присесть.

Свободных стульев в помещении не было, равно как и кресел, диванов, кушеток и скамеек. Журналист Каммерер посмотрел на Александра Б. Александр Б. смотрел на него с прежним безразличием, не обнаруживая ни тени намерения быть любезным или хотя бы просто вежливым. Это было странно. Вернее, непривычно. Но чувствовалось, что здесь это в порядке вещей.

Журналист Каммерер уже открыл было рот, чтобы представиться, но тут вдруг Александр Б. с какой-то усталой покорностью опустил на свои бледные щеки дивные ресницы и... с механической проникновенностью транспортного кибера принялся наизусть зачитывать свой текст:

— Дорогой друг! К сожалению, вы проделали свой путь сюда совершенно напрасно. Вы не найдете здесь абсолютно ничего для себя интересного. Все слухи, которыми вы руководствовались, направляясь к нам, чрезвычайно преувеличены. Территория народа голованов ни в малейшей мере не может рассматриваться как некий развлекательно-познавательный комплекс. Голованы — замечательный, весьма самобытный народ — говорят о себе: «Мы любознательны, но вовсе не любопытны», Миссия голованов

представляет здесь свой народ в качестве дипломатического органа и не является объектом неофициальных контактов и уж тем более — праздного любопытства. Уважаемый друг! Самое уместное, что вы можете сейчас сделать, это пуститься в обратный путь и убедительно объяснить всем вашим знакомым истинное положение вещей.

Александр Б. замолк и томно приподнял ресницы. Журналист Каммерер пребывал перед ним по-прежнему, и это его, видимо, совсем не удивило.

— Разумеется, прежде чем мы простимся, я отвечу на все ваши вопросы.

— А вставать при этом вы не обязаны? — поинтересовался журналист Каммерер.

Что-то вроде оживления засветилось в синих очах.

— Откровенно говоря — да, — признался Александр Б. — Но вчера я расшиб колено, до сих пор болит ужасно, так что вы уж извините...

— Охотно, — сказал журналист Каммерер и присел на край стола. — Я вижу, вы замучены любопытствующими...

— За мое дежурство вы — шестая компания.

— Я один как перст! — возразил журналист Каммерер.

— Компания есть счетное слово, — пояснил Александр Б., оживляясь еще более. — Ну, например, как ящик. Ящик консервов. Штука ситца. Или коробка конфет. Ведь может так случиться, что в коробке осталась всего одна конфета. Как перст.

— Ваши объяснения удовлетворили меня полностью, — сказал журналист Каммерер. — Но я не любопытствующий. Я пришел по делу.

— Восемьдесят три процента всех компаний, — немедленно откликнулся Александр Б., — являются сюда именно по делу. Последняя компания — из пяти экземпляров, включая малолетних детей и собаку, — искала здесь договориться с руководителями миссии об уроках языка голованов. Но в огромном большинстве это собиратели ксенофольклора. Поветрие. Все собирают ксенофольклор. Но у голованов нет фольклора. Это же утка! Шутник Лонг Мюллер выпустил книжонку на манер Оссиана, и все походили с ума... «О лохматые древа, тысячехвостые, затаившие скорбные мысли свои в пушистых и теплых стволах! Тысячи тысяч хвостов у вас и ни одной головы!..» А у голованов, между прочим, понятия хвоста нет вообще! Хвост у них — орган ориентировки, и если уж переводить адекватно, то получится не хвост, а компас... «О тысячекомпасовые деревья!» Но вы, я вижу, не фольклорист...

— Нет,— честно признался журналист Каммерер.— Я гораздо хуже. Я журналист.

— Пишете книгу о голованах?

— В каком-то смысле. А что?

— Нет, ничего. Пожалуйста. Не вы первый, не вы последний. Вы голованов-то когда-нибудь видели?

— Да, конечно.

— На экране?

— Нет. Дело в том, что это именно я открыл их на Саракше...

Александр Б. даже привстал.

— Так вы — Каммерер?

— К вашим услугам.

— Нет уж, это я к вашим услугам, доктор! Приказывайте, требуйте, распоряжайтесь...

Я моментально вспомнил разговор Каммерера с Абалкиным и торопливо пояснил:

— Я всего лишь открыл их, и не более того. Я вовсе не специалист по голованам. И меня интересуют сейчас не голованы вообще, а только один-единственный голован, переводчик миссии. Так что, если вы не возражаете... Я пройду туда к ним.

— Да помилуйте, доктор!— Александр Б. всплеснул руками.— Вы, кажется, подумали, что мы здесь сидим, так сказать, на страже? Ничего подобного! Пожалуйста, проходите! Очень многие так и делают. Объяснишь ему, что слухи, мол, преувеличены, он покивает, распрощается, а сам выйдет — и шмыг через мост...

— Ну?

— Через некоторое время возвращается. Очень разочарованный. Ничего и никого не видел. Леса, сопки, распадки, очаровательные пейзажи — это все, конечно, есть, а голованов нет. Во-первых, голованы ведут ночной образ жизни, во-вторых, живут они под землей, а самое главное — они встречаются только с теми, с кем хотят встречаться. Вот на этот случай мы здесь и дежури́м — на положении, так сказать, связных...

— А кто это — мы? — спросил журналист Каммерер.— КОМКОН?

— Да. Практиканты. Дежури́м здесь по очереди. Через нас идет связь в обе стороны... Вам кого именно из переводчиков?

— Мне нужен Щекн-Итрч.

— Попробуем. Он вас знает?

— Вряд ли. Но скажите ему, что я хочу поговорить с ним про Льва Абалкина, которого он знает наверняка.

— Еще бы! — сказал Александр Б. и придвинул к себе селектор.

Журналист Каммерер (да, признаться, и я сам) с восхищением, переходящим в благоговение, наблюдал, как этот юноша с нежным ликом романтического поэта вдруг дико выкатил глаза и, свернув изящные губы в немыслимую трубку, зашелкал, закрикал, загукал, как тридцать три голована сразу (в мертвом ночном лесу, у развороченной бетонной дороги, под мутно фосфоресцирующим небом Саракша), и очень уместными казались эти звуки в этом сводчатом казематно-пустом помещении с шершавыми голыми стенами. Потом он замолчал и склонил голову, прислушиваясь к сериям ответных щелчков и гуканий, а губы и нижняя челюсть его продолжали странно двигаться, словно он держал их в постоянной готовности к продолжению беседы. Зрелище это было скорее неприятное, и журналист Каммерер, при всем своем благоговении, счел все-таки необходимым деликатно отвести глаза.

Впрочем, беседа продолжалась не слишком долго. Александр Б. откинулся на спинку стула и, ласково массируя нижнюю челюсть длинными бледными пальцами, произнес, чуть задышавшись:

— Кажется, он согласился. Впрочем, не хочу вас слишком обнадеживать: я вовсе не уверен, что все понял правильно. Два смысловых слоя я уловил, но по-моему, там был еще и третий... Короче говоря, ступайте через мост, там будет тропинка. Тропинка идет в лес. Он вас там встретит. Точнее, он на вас посмотрит... Нет, как бы это сказать... Вы знаете, не так трудно понять голована, как трудно его перевести. Вот, например, эта рекламная фраза: «Мы любознательны, но не любопытны». Это, между прочим, образец хорошего перевода. «Мы не любопытны» — можно понимать так, что «мы не любопытствуем попусту», и в то же самое время — «мы для вас неинтересны». Понимаете?

— Понимаю, — сказал журналист Каммерер, слезая со стола. — Он на меня посмотрит, а там уже решит, стоит ли со мной разговаривать. Спасибо за хлопоты.

— Какие хлопоты! Это моя приятная обязанность... Подождите, возьмите мой плащ, дождь на дворе...

— Спасибо, не надо, — сказал журналист Каммерер и вышел под дождь.

3 июня 78 года. ЩЕКН-ИТРЧ, ГОЛОВАН.

Было по местному времени около трех часов утра, небо было кругом обложено, а лес был густой, и этот ночной

мир казался мне серым, плоским и мутноватым, как скверная старинная фотография.

Конечно, он первым обнаружил меня и, наверное, минут пять, а может быть и все десять, следовал параллельным курсом, прячась в густом подлеске. Когда же я наконец заметил его, он понял это почти мгновенно и сразу оказался на тропинке передо мною.

— Я здесь,— объявил он.

— Вижу,— сказал я.

— Будем говорить здесь,— сказал он.

— Хорошо,— сказал я.

Он сейчас же сел, совершенно как собака, разговаривающая с хозяином,— крупная, толстая, большеголовая собака с маленькими треугольными ушами торчком, с большими круглыми глазами под массивным широким лбом. Голос у него был хрипловатый, и говорил он без малейшего акцента, так что только короткие, рубленые фразы и несколько преувеличенная четкость артикуляции выдавали в его речи чужака. И еще—от него попахивало. Но не мокрой псиной, как можно было бы ожидать, запах был скорее неорганический— что-то вроде нагретой канифоли. Странный запах, скорее механизма, чем живого существа. На Саракше, помнится, головы пахли совсем не так.

— Что тебе нужно? — спросил он прямо.

— Тебе сказали, кто я?

— Да. Ты — журналист. Пишешь книгу про мой народ.

— Это не совсем так. Я пишу книгу о Льве Абалкине.

Ты его знаешь.

— Весь мой народ знает Льва Абалкина.

Это была новость.

— И что же твой народ думает о Льве Абалкине?

— Мой народ не думает о Льве Абалкине. Он его знает.

Кажется, здесь начинались какие-то лингвистические болота.

— Я хотел спросить: как твой народ относится к Льву Абалкину?

— Он его знает. Каждый. От рождения и до смерти.

Мы с журналистом Каммерером посоветовались и решили пока оставить эту тему. Мы спросили:

— Что ты можешь рассказать о Льве Абалкине?

— Ничего,— коротко ответил он.

Вот этого я боялся больше всего. Боялся до такой степени, что подсознательно отвергал самую возможность такого положения и был к нему совершенно не готов. Я рас-

терялся самым жалким образом, а он поднес переднюю лапу к морде и принялся шумно выкусывать между ногтями. Не по-собачьи, а так, как это делают иногда наши кошки.

Впрочем, у меня хватило самообладания. Я вовремя сообразил, что если бы эта псина-сапиенс действительно не хотела иметь со мной никакого дела, она бы просто уклонилась от встречи.

— Я знаю, что Лев Абалкин — твой друг, — сказал я. — Вы жили и работали вместе. Очень многие земляне хотели бы знать, что думает об Абалкине его друг и сотрудник голован.

— Зачем? — спросил он так же коротко.

— Опыт, — ответил я.

— Беспольный опыт.

— Беспольного опыта не бывает.

Теперь он принялся за другую лапу и через несколько секунд проворчал невнятно:

— Задавай конкретные вопросы.

Я подумал.

— Мне известно, что в последний раз ты работал с Абалкиным пятнадцать лет назад. Приходилось тебе после этого работать с другими землянами?

— Приходилось. Много.

— Ты почувствовал разницу?

Задавая этот вопрос, я, собственно, ничего особенного не имел в виду. Но Щеки вдруг замер, затем медленно опустил лапу и поднял лобастую голову. Глаза его на мгновение озарились мрачным красным светом. Однако и секунды не прошло, как он вновь принялся глодать свои когти.

— Трудно сказать, — проворчал он. — Работы разные, люди тоже разные. Трудно.

Он уклонился. От чего? Мой невинный вопрос заставил его как бы споткнуться. Он растерялся на целую секунду. Или здесь опять лингвистика? Вообще-то лингвистика — вещь неплохая. Будем атаковать. Прямо в лоб.

— Ты с ним встретился, — объявил я. — Он снова пригласил тебя работать. Ты согласился?

Это могло означать: «Если бы ты с ним встретился и он бы снова пригласил тебя работать, — ты бы согласился?» Или на выбор: «Ты с ним встречался, и он (как мне стало известно) приглашал тебя работать. Ты дал ему согласие?» Лингвистика. Не спору, это был довольно жалкий маневр, но что мне оставалось делать?

И лингвистика выручила-таки.

— Он не приглашал меня работать,— возразил Щекн.
— Тогда о чем же вы говорили? — удивился я, развивая успех.

— О прошлом,— буркнул он.— Никому не интересно.

— Как тебе показалось,— спросил я, мысленно вытирая со лба трудовой пот,— он сильно изменился за эти пятнадцать лет?

— Это тоже не интересно.

— Нет. Это очень интересно. Я тоже видел его недавно и обнаружил, что он сильно изменился. Но я — землянин, а мне надо знать твое мнение.

— Мое мнение: да.

— Вот видишь! И в чем же он, по-твоему, изменился?

— Ему больше нет дела до народа голованов.

— Вот как? — искренне удивился я.— А со мной он только о голованах и говорил...

Глаза его опять озарились красным. Я понял это так, что мои слова снова его смутили.

— Что он тебе сказал? — спросил он.

— Мы спорили: кто из землян сделал больше для контактов с народом голованов.

— А еще?

— Все. Только об этом.

— Когда это было?

— Позавчера. А почему ты решил, что ему больше нет дела до народа голованов?

Он вдруг объявил:

— Мы теряем время. Не задавай пустых вопросов. Задавай настоящие вопросы.

— Хорошо. Задаю настоящий вопрос. Где он сейчас?

— Не знаю.

— Что он намеревался делать?

— Не знаю.

— Что он тебе говорил? Мне важно каждое его слово.

И тут Щекн принял странную, я бы даже сказал, неестественную позу: присел на напружиненных лапах, вытянул шею и уставился на меня снизу вверх. Затем, мерно покачивая тяжелой головой вправо и влево, он заговорил, отчетливо выговаривая слова:

— Слушай внимательно, понимай правильно и запоминай надолго. Народ Земли не вмешивается в дела народа голованов. Народ голованов не вмешивается в дела народа Земли. Так было, так есть и так будет. Дело Льва Абалкина есть дело народа Земли. Это решено. А потому: не ищи того, чего нет. Народ голованов никогда не даст убежища Льву Абалкину.

Вот это да! У меня вырвалось:

— Он просил убежища? У вас?

— Я сказал только то, что сказал: народ голованов никогда не даст убежища Льву Абалкину. Больше ничего. Ты понял это?

— Я понял это. Но меня не интересует это. Повторяю вопрос: что он тебе говорил?

— Я отвечу. Но сначала повтори то главное, что я тебе сказал.

— Хорошо, я повторяю. Народ голованов не вмешивается в дело Абалкина и отказывает ему в убежище. Так?

— Так. И это главное.

— Теперь отвечай на мой вопрос.

— Отвечаю. Он спросил меня, есть ли разница между ним и другими людьми, с которыми я работал. Точно такой же вопрос, какой задавал мне ты.

Едва кончив говорить, он повернулся и скользнул в заросли. Ни одна ветка, ни один лист не шевельнулись, а его уже не было. Он исчез.

Ай да Щекн! «...Я учил его языку и как пользоваться Линией Доставки. Я не отходил от него, когда он болел своими странными болезнями... Я терпел его дурные манеры, мирился с его бесцеремонными высказываниями, прощал ему то, чего не прощаю никому в мире... Если придется, я буду драться за него, как за землянина, как за самого себя. А он? Не знаю...» Ай да Щекн-Итрч!

3 июня 78 года. ЭКСЕЛЕНЦ ДОВОЛЕН.

— Очень любопытно! — сказал Экселенц, когда я закончил доклад. — Ты правильно сделал, Мак, что настоял на визите в этот зверинец.

— Не понимаю, — отозвался я, с раздражением отдирая колючие репья от мокрой штанины. — Вы видите в этом какой-то смысл?

— Да.

Я вытаращился на него.

— Вы всерьез допускаете, что Лев Абалкин мог просить убежища?

— Нет. Этого я не допускаю.

— Тогда о каком смысле идет речь? Или это снова камень в кусты?

— Может быть. Но дело не в этом. Неважно, что имел в виду Лев Абалкин. Реакция голованов — вот что важно. Впрочем, ты не ломай себе над этим голову. Ты привез мне важную информацию. Спасибо. Я доволен. И ты будь доволен.

Я снова принялся оттирать репы. Что и говорить, он несомненно был доволен. Зеленые глазища его так и горели, даже в сумраке кабинета было заметно. Вот точно так же смотрел он, когда я, молодой, веселый, запыхавшийся, доложил ему, что Тихоня Прешт взят наконец с поличным и сидит внизу в машине с кляпом во рту. Это я взял Тихоню, но мне тогда было еще невдомек то, что прекрасно понимал Странник: саботажу теперь конец, и эшелоны с зерном уже завтра двинутся в Столицу...

Вот и сейчас он тоже явно понимал нечто такое, что было мне невдомек, но я-то не испытывал даже самого элементарного удовлетворения. Никого я не взял, никто не ждал допроса с кляпом во рту, а только метался по огромной ласковой Земле загадочный человек с изуродованной судьбой, метался, не находя себе места, метался, как отравленный, и сам отравлял всех, с кем встречался, отчаянием и обидой, предавал сам и сам становился жертвой предательства...

— Я тебе еще раз напоминаю, Мак,— сказал вдруг Экселенц негромко.— Он опасен. И он тем более опасен, что сам об этом не знает.

— Да кто он такой, черт возьми? — спросил я.— Сумасшедший андроид?*

— У андроида не может быть тайны личности,— сказал Экселенц.— Не отвлекайся.

Я засунул репы в карман куртки и сел прямо.

— Сейчас ты можешь идти домой,— сказал Экселенц.— До девятнадцати ноль-ноль ты свободен. Затем будь поблизости, в черте города, и жди моего вызова. Возможно, сегодня ночью он попытается проникнуть в Музей. Тогда будем брать.

— Хорошо,— сказал я без всякого энтузиазма.

Он откровенно оценивающе оглядел меня.

— Надеюсь, ты в форме,— проговорил он.— Брать будем вдвоем, а я уже слишком стар для таких упражнений.

4 июня 78 года. МУЗЕЙ ВНЕЗЕМНЫХ КУЛЬТУР. НОЧЬ.

В 01.08 радиобраслет у меня на запястье пискнул, и приглушенный голос Экселенца пробормотал скороговоркой: «Мак, Музей, главный вход, быстро...»

Я захлопнул колпак кабины, чтобы не ударило воздухом, и включил двигатель на форсаж с места. Глайдер свечкой взмыл в звездное небо. Три секунды на торможении.

* Андроид (фантастич.) — человекообразный робот.

ние. Двадцать две секунды на планирование и ориентировку. На площади Звезды пусто. Перед главным входом тоже никого. Странно... Ага. Из кабины нуль-Т на углу Музея появляется черная тощая фигура. Скользит к главному входу. Экселенц.

Глайдер бесшумно сел перед главным входом. Немедленно на пульте вспыхнула сигнальная лампочка, и мягкий голос кибер-инспектора произнес с укоризной: «Посадка глайдеров на площади Звезды не разрешается...» Я откинул колпак и выскочил на мостовую. Экселенц уже возился у дверей, орудуя магнитной отмычкой. «Посадка глайдеров на площади Звезды...» — проникновенно вещал кибер-инспектор.

— Заткни его... — не оборачиваясь проворчал Экселенц сквозь зубы.

Я захлопнул колпак. В ту же секунду главный вход распахнулся.

— За мной! — бросил Экселенц и нырнул во тьму.

Я нырнул следом. Совсем как в старые времена.

Он несся передо мной огромными неслышными скачками, длинный, тощий, угловатый, снова легкий и ловкий, обтянутый черным, похожий на тень средневекового демона, и я мельком подумал, что уж такого Экселенца наверняка не выдывал ни один из нынешних наших сопляков, а выдывал разве что старина Слон, да еще я — полтора десятка лет назад.

Он вел меня по сложной извилистой кривой из зала в зал, из коридора в коридор, безошибочно ориентируясь между стендами и витринами, среди статуй и макетов, похожих на безобразные механизмы, и среди механизмов и аппаратов, похожих на безобразные статуи. Нигде не было света — видимо, автоматика была заранее отключена, — но он ни разу не ошибся и не сбился с пути, хотя я знал, что ночное зрение у него много хуже моего. Он здорово подготовился к этому ночному броску, наш Экселенц, и все получалось у него пока очень и очень неплохо, если не считать дыхания. Дышал он слишком громко, но тут уж ничего нельзя было поделать. Возраст. Проклятые годы.

Внезапно он остановился и, едва я встал рядом, сжал пальцы на моем плече. В первый момент я испугался, что у него схватило сердце, но тут же понял: мы прибыли на место и он просто переживает отдышку.

Я огляделся. Пустые столы. Стеллажи вдоль стен, уставленные инопланетными диковинами. Ксенографические проекторы у дальней стены. Все это я уже видел. Я уже был здесь. Это была мастерская Майи Тойвовны

Глумовой. Вот это ее стол, а в этом вот кресле сидел журналист Каммерер...

Экселенц отпустил мое плечо, шагнул к стеллажам, согнулся и пошел вдоль стеллажей, не разгибаясь, — он что-то высматривал. Потом остановился, с натугой поднял что-то и направился к столу, расположенному прямо перед входом. Слегка откинувшись корпусом назад, он нес на опущенных руках длинный предмет — какой-то плоский брусок с закругленными углами. Осторожно, без малейшего стука он поставил этот предмет на стол, на мгновение замер, прислушиваясь, а потом вдруг, как фокусник, потянул из нагрудного кармана длинную пеструю шаль с бахромой. ловким движением он расправил ее и набросил поверх этого своего бруска. Потом он повернулся ко мне, нагнулся к моему уху и едва слышно прошептал:

— Когда он прикоснется к платку — бери его. Если он прежде заметит нас — бери его. Встань здесь.

Я встал по одну сторону двери, Экселенц — по другую.

Сначала я ничего не слышал. Я стоял, прижавшись спиной к стене, механически прикидывал возможные варианты развития событий и глядел на платок, расстеленный на столе. Интересно, чего это ради Лев Абалкин станет к нему прикасаться. Если ему так уж нужен этот брусок, то как он узнает, что брусок спрятан под платком? И что это за брусок? Похож на футляр для переносного интравизора. Или для какого-то музыкального инструмента. Впрочем, вряд ли. Тяжеловат. Ничего не понимаю. Это явно приманка, но если это приманка, то не для человека...

Тут я услышал шум. Надо сказать, шум был основательный: где-то в недрах Музея обрушилось что-то обширное, металлическое, разваливающееся в падении. Я ментально вспомнил гигантский моток колючей проволоки, который давеча так старательно обрабатывали молекулярными паяльниками местные девчушки. Я глянул на Экселенца. Экселенц тоже прислушивался и тоже недоумевал.

Звон, лязг и дребезг постепенно прекратились, и снова стало тихо. Странно. Чтобы Прогрессор, профессионал, мастер скрадывания, ниндзя, вломился сослепу в такое громоздкое сооружение? Невероятно. Конечно, он мог зацепиться рукавом за одну-единственную торчащую колючку... Нет, не мог. Прогрессор — не мог. Или здесь, на безопасной Земле, Прогрессор уже успел слегка подразболтаться... Сомнительно. Впрочем, посмотрим. В любом случае он сейчас застыл на одной ноге и прислушивается, и будет так прислушиваться минут пять...

Он и не подумал стоять на одной ноге и прислушиваться. Он явно приближался к нам, причем движение его сопровождалось какофонией шумов, разнообразных и совершенно неуместных для Прогрессора. Он волочил ноги и звучно шаркал подошвами. Он задевал за притолоки и за стены. Один раз он налетел на какую-то мебель и разразился серией невнятных восклицаний с преобладанием шипящих. А когда на экраны проекторов упали слабые электрические отсветы, мои сомнения превратились в уверенность.

— Это не он,— сказал я Экселенцу почти вслух.

Экселенц кивнул. Вид у него был недоумевающий и угрюмый. Теперь он стоял боком к стене и лицом ко мне, раздвинув ноги и набычившись, и легко было представить себе, как через минуту он схватит лже-Прогрессора обеими руками за грудки и, равномерно его встряхивая, прорычит ему в лицо: «Кто ты такой и что ты здесь делаешь, мелкий сукин сын?»

И так ясно я представил себе эту картину, что поначалу даже не удивился, когда он левой рукой оттянул на себе борт черной куртки, а правой принялся засовывать за пазуху свой любимый «герцог» двадцать шестого калибра,— он словно бы освобождал руки для предстоящего хватания и встряхивания.

Но когда до меня дошло, что все это время он стоял с этой восьмизарядной верной смертью в руке, я попросту обмер. Это могло означать только одно: Экселенц был готов убить Льва Абалкина. Именно убить, потому что никогда Экселенц не обнажал оружия для того, чтобы пугать, грозить или вообще производить впечатление,— только для того, чтобы убивать.

Я был так ошеломлен, что забыл обо всем на свете. Но тут в мастерскую ворвался толстый столб яркого белого света, и, зацепившись в последний раз за притолоку, в дверь проследовал лже-Абалкин.

Вообще-то говоря, он был даже чем-то похож на Льва Абалкина: крепенький, ладный, невысокого роста, с длинными черными волосами до плеч. Он был в белом просторном плаще и держал перед собой электрический фонарик «турист», а в другой руке у него был то ли маленький чемоданчик, то ли большой портфель. Войдя, он остановился, провел лучом фонарика по стеллажам и произнес: — Ну, кажется, это здесь.

Голос у него был скрипучий, а тон — нарочито бодрый. Таким тоном говорят сами с собой люди, когда им страшно, неловко, немножечко стыдно,— словом, когда чув-

ствуют себя не в своей тарелке. «Одной ногой в канаве», — как говорят хонтийцы.

Теперь я видел, что это, собственно, старый человек. Может быть, даже старше Экселенца. У него был длинный острый нос с горбинкой, длинный острый подбородок, впалые щеки и высокий, очень белый лоб. В общем, он был похож не столько на Льва Абалкина, сколько на Шерлока Холмса. Пока я мог сказать о нем с совершенной точностью только одно: этого человека я раньше никогда в жизни не видел.

Бегло оглядевшись, он подошел к столу, поставил на цветастый платок прямо рядом с нашим бруском свой чемодан-портфель, а сам, подсвечивая себе фонариком, принялся осматривать стеллажи, неторопливо и методично, полку за полкой, секцию за секцией. При этом он непрерывно бормотал что-то себе под нос, но разобрать можно было только отдельные слова: «...Ну, это всем известно... бур-бур-бур... Обыкновенный иллюзион... бур-бур-бур... Хлам и хлам... бур-бур... Может быть, и не на месте... За-сунули, запихали, запрятали... бур-бур-бур...»

Экселенц следил за всеми этими манипуляциями заложивши руки за спину, и на лице его было очень неприличное и несвойственное ему выражение какой-то безнадежной усталости или, может быть, усталой скуки, словно было перед ним нечто безмерно надоевшее, осточертевшее на всю жизнь и вместе с тем неотвязное, чему он давно уже покорился и от чего давно уже отчаялся избавиться. Признаться, поначалу меня несколько удивило, что же это он отказался от такого естественного намерения — взять за грудки обеими руками и с наслаждением встряхнуть. Однако теперь, глядя на его лицо, я понимал: это было бы бессмысленно. Встряхивай, не встряхивай — ничего не изменится, все вернется на круги своя: будет ползать и шарить, бормотать под нос, стоять на одной ноге в канаве, опрокидывать экспонаты в музеях и срывать тщательно подготовленные и продуманные операции...

Когда старик добрался до самой дальней секции, Экселенц тяжело вздохнул, подошел к столу, уселся на край его рядом с портфелем и сказал брезгливо:

— Ну что вы там ищете, Бромберг? Детонаторы?

Старик Бромберг тоненько взвизгнул и шархнулся в сторону, повалив стул.

— Кто здесь? — завопил он, лихорадочно шаря лучом вокруг себя. — Кто это?

— Да я это, я! — отозвался Экселенц еще более брезгливо. — Перестаньте вы трястись!

— Кто? Вы? Какого дьявола! — Луч уперся в Экселенца. — А! Сикорски! Ну, я так и знал!..

— Уберите фонарь, — приказал Экселенц, заслоня лицо ладонью.

— Я так и знал, что это ваши штучки! — завопил старикан Бромберг. — Я сразу понял, кто стоит за всем этим спектаклем!

— Уберите фонарь, а то я его расколочу! — гаркнул Экселенц.

— Попрошу на меня не орать! — взвизгнул Бромберг, но луч отвел. — И не смейте прикасаться к моему портфелю!

Экселенц встал и пошел на него.

— Не смейте ко мне подходить! — завопил Бромберг. — Я вам не мальчишка! Стыдитесь! Вы же старик! Экселенц подошел к нему, отобрал фонарь и поставил на ближайший столик рефлектором вверх.

— Присядьте, Бромберг, — сказал он. — Надо поговорить.

— Эти ваши разговоры... — пробурчал Бромберг и уселся.

Поразительно, но теперь он был совершенно спокоен. Бодренький почтенный старичок. По-моему, даже веселый.

4 июня 78 года. АЙЗЕК БРОМБЕРГ. БИТВА ЖЕЛЕЗНЫХ СТАРЦЕВ.

— Давайте попробуем поговорить спокойно, — предложил Экселенц.

— Попробуем, попробуем! — бодро отозвался Бромберг. — А что это за молодой человек подпирает стену у дверей? Вы обзавелись телохранителем?

Экселенц ответил не сразу. Может быть, он намеревался отослать меня: «Максим, ты свободен», — и я бы, конечно, ушел. Но это бы меня оскорбило, и Экселенц, разумеется, это понимал. Вполне допускаю, впрочем, что у него были и еще какие-то соображения. Во всяком случае, он слегка повел рукой в мою сторону и сказал:

— Это Максим Каммерер, сотрудник КОМКОНа. Максим, это доктор Айзек Бромберг, историк науки.

Я поклонился, а Бромберг немедленно заявил:

— Я так и знал. Разумеется, вы побоялись, что не справитесь со мной один на один, Сикорски... Садитесь, садитесь, молодой человек, устраивайтесь поудобнее. Насколько я знаю вашего руководителя, разговор у нас получится длинный...

— Сядь, Мак,— сказал Экселенц.

Я сел в знакомое кресло для посетителей.

— Так я жду ваших объяснений, Сикорски,— произнес Бромберг.— Что означает эта засада?

— Я вижу, вы сильно напугались.

— Какой вздор! — мгновенно воспламенился Бромберг.— Чушь какая! Слава богу, я не из пугливых! И уж если кто меня сумеет испугать, Сикорски...

— Но вы так ужасно завопили и повалили так много мебели...

— Ну, знаете ли, если бы у вас над ухом в абсолютно пустом здании ночью...

— Абсолютно незачем ходить в абсолютно пустые здания по ночам...

— Во-первых, это абсолютно не ваше дело, Сикорски, куда и когда я хожу! А во-вторых, когда еще вы мне прикажете ходить? Днем меня не пускают. Днем здесь устраивают какие-то подозрительные ремонты, какие-то нелепые перемены экспозиции... Слушайте, Сикорски, сознайтесь: ведь это ваша затея — закрыть доступ в Музей! Мне нужно срочно освежить в памяти кое-какие данные. Я являюсь сюда. Меня не пускают. Меня! Члена Ученого совета этого Музея. Я звоню директору: в чем дело? Директор, милейший Грант Хочикян, мой, в каком-то смысле, ученик... Бедняга мнется, бедняга красен от стыда за себя и передо мной... Но он ничего не может сделать, он обещал! Его попросили весьма уважаемые люди, и он обещал! Любопытно узнать, кто его попросил? Может быть, некий Рудольф Сикорски? Нет! О нет! Никто здесь даже не слышал имени Рудольфа Сикорски! Но меня не проведешь! Я-то сразу понял, чьи уши торчат из-за кулис! И я бы все-таки хотел узнать, Сикорски, почему вы вот уже битый час молчите и не отвечаете на мой вопрос? Зачем вам все это понадобилось, спрашиваю я! Закрытие Музея! Позорная попытка изъять из Музея принадлежащие ему экспонаты! Ночные засады! И кто, черт подери, выключил здесь электричество? Я не знаю, что бы я стал делать, если бы у меня в глайдере не оказалось фонарика. Я шишку набил себе вот здесь, черт бы вас побрал! И я там что-то повалил! От души надеюсь — хочу надеяться! — что это был всего лишь макет... И молитесь бога, Сикорски, чтобы это был только макет, потому что, если это оригинал, вы у меня сами будете его собирать! До последнего велдинга. А если этого последнего велдинга не окажется, вы у меня как миленький отправитесь на Тагору...

Голос его сорвался, и он мучительно заперхал, стуча себя обеими кулаками по груди.

— Я получу когда-нибудь ответы на свои вопросы? — яростно просипел он сквозь перхание.

Я сидел, как в театре, и все это производило на меня впечатление скорее комическое, но тут я глянул на Экселенца и обомлел.

Экселенц, Странник, Рудольф Сикорски, эта ледяная глыба, этот покрытый изморозью гранитный монумент Хладнокровия и Выдержки, этот безотказный механизм для выкачивания информации,— он до макушки налился темной кровью, он тяжело дышал, он судорожно сжимал и разжимал костлявые веснушчатые кулаки, а знаменитые уши его пылали и жутковато подергивались. Впрочем, он еще сдерживался, но, наверное, только он один знал, чего это ему стоило.

— Я хотел бы знать, Бромберг,— сдавленным голосом произнес он,— зачем вам понадобились детонаторы.

— Ах, вы хотели бы это знать! — ядовито прошептал доктор Бромберг и подался вперед, заглядывая Экселенцу в лицо с такого малого расстояния, что длинный нос его едва не оказался в зубах у моего шефа.— А что бы вы еще хотели обо мне знать? Может быть, вас интересует мой стул? Или, например, о чем я давеча беседовал с Пильгуем?

Упоминание имени Пильгуя в таком контексте мне не понравилось. Пильгуй занимался биогенераторами, а мой отдел уже второй месяц занимался Пильгуем. Впрочем, Экселенц пропустил Пильгуя мимо ушей. Он сам просунулся вперед, да так стремительно, что Бромберг едва успел отшатнуться.

— Вашим стулом извольте интересоваться сами! — прорычал он.— А я хотел бы знать, почему это вы позволяете себе взламывать Музей и почему тянете свои лапы к детонаторам, хотя вам было совершенно ясно сказано, что на ближайшие несколько дней...

— Вы, кажется, собираетесь критиковать мое поведение? Ха! Кто? Сикорски! Меня! Обвинять во взломе! Хотел бы я знать, как вы сами проникли в этот Музей! А? Отвечайте.

— Это не относится к делу, Бромберг!

— Вы — взломщик, Сикорски! — объявил Бромберг, простирая к Экселенцу длинный извилистый палец.— Вы докатились до взлома!

— Это вы докатились до взлома, Бромберг! — взревел Экселенц.— Вы! Вам было совершенно ясно и недвусмыс-

ленно сказано: доступ в Музей прекращен! Любой нормальный человек на вашем месте...

— Если нормальный человек сталкивается с очередным актом тайной деятельности, его долг...

— Его долг — немножечко пошевелить мозгами, Бромберг! Его долг — сообразить, что он живет не в средние века. Если он столкнулся с тайной, с секретом, то это не чей-то каприз и не злая воля...

— Да, не каприз и не злая воля, а ваша потрясающая самоуверенность, Сикорски, ваша смехотворная, поистине средневековая, идиотски-фанатическая убежденность в том, что именно вам дано решать, чему быть скрытым, а чему — открытым! Вы — глубокий старик, Сикорски, но вы так и не поняли, что это прежде всего аморально!..

— Мне смешно разговаривать о морали с человеком, который ради удовлетворения своего детского чувства протеста идет на взлом! Вы не просто старик, Бромберг, вы — жалкий старикашка, впавший в детство!..

— Прекрасно! — сказал Бромберг, вдруг снова успокаиваясь. Он сунул руку в карман своего белого плаща, извлек оттуда и со стуком положил на стол перед Экселенцем какой-то блестящий предмет. — Вот мой ключ. Мне, как и всякому сотруднику этого Музея, полагается ключ от служебного хода, и я им воспользовался, чтобы прийти сюда...

— Посреди глухой ночи и вопреки запрету директора Музея? — У Экселенца не было ключа, у него была магнитная отмычка, и ему оставалось одно: наступать.

— Посреди глухой ночи, но все-таки с ключом! А где ваш ключ, Сикорски? Покажите мне, пожалуйста, ваш ключ!

— У меня нет ключа! Он мне не нужен! Я нахожусь здесь по долгу, а не потому, что мне попала вожжа под хвост, старый вы истерический дурак!

И что тут началось! Я уверен, что никогда раньше стены этой скромной мастерской не слышали таких взрывов сиплого рева вперемешку со скрипучими воплями. Таких эпитетов. Такой вакханалии эмоций. Таких абсурдных доводов и еще более абсурдных контрдоводов. Да что там стены! В конце концов это были всего лишь стены тихого академического учреждения, далекого от житейских страстей. Но я, человек уже не первой молодости, всякого, казался бы, повидавший, даже я никогда и нигде не слышал ничего подобного — во всяком случае, от Экселенца.

То и дело поле сражения совершенно заволакивалось дымом, в котором не различить было уже предмета спора,

и только, подобно раскаленным ядрам, пронеслись на встречу друг другу разнообразные «безответственные болтуны», «феодалы-рыцари плаща и кинжала», «провокаторы-общественники», «плешивые агенты тайной службы», «склеротические демагоги» и «тайные тюремщики идей». Ну, а менее экзотические «старые ослы», «ядовитые сморчки» и «маразматика» всех видов сыпались градом, наподобие шрапнели...

Однако порой дым рассеивался, и тогда моему изумленному и замороженному взору открывались воистину поразительные ретроспективы. Я понимал тогда, что сражение, случайным свидетелем которого я оказался, было лишь одной из бесчисленных, невидимых миру схваток беззвучной войны, начавшейся еще в те времена, когда родители мои только оканчивали школу.

Довольно быстро я вспомнил, кто такой этот Айзек Бромберг. Разумеется, я слышал о нем и раньше, может быть, еще когда сопливым мальчишкой работал в Группе Свободного Поиска. Одну из его книг — «Как это было на самом деле» — я, безусловно, читал: это была история «Массачусетского кошмара». Книга эта, помнится, мне не понравилась — слишком сильно было в ней памфлетное начало, слишком усердствовал автор, сдирая романтические покровы с этой действительно страшной истории, и слишком много места уделил он подробностям дискуссии о политических принципах подхода к опасным экспериментам, дискуссии, которой в те времена я нисколько не интересовался.

В определенных кругах, впрочем, имя Бромберга было известно и пользовалось достаточным уважением. Его можно было бы назвать «крайним левым» известного движения дзюкистов, основанного еще Ламондуа и провозгласившего право науки на развитие без ограничений.

Экстремисты этого движения исповедуют принципы, которые на первый взгляд представляются совершенно естественными, а на практике сплошь да рядом оказываются неисполнимыми при каждом заданном уровне развития человеческой цивилизации (помню огромный шок, который я испытал, ознакомившись с историей цивилизации Тагоры, где эти принципы соблюдались неукоснительно с незапамятных времен их Первой Промышленной Революции).

Каждое научное открытие, которое может быть реализовано, обязательно будет реализовано. С этим принципом трудно спорить, хотя и здесь возникает целый ряд оговорок. А вот как поступать с открытием, когда оно уже реали-

зовано? Ответ: держать его последствия под контролем. Очень мило. А если мы не предвидим всех последствий? А если мы переоцениваем одни последствия и недооцениваем другие? Если, наконец, совершенно ясно, что мы просто не в состоянии держать под контролем даже самые очевидные и неприятные последствия? Если для этого требуются совершенно невообразимые энергетические ресурсы и моральное напряжение? (Как это, кстати, и случилось с Массачузетской машиной, когда на глазах у ошеломленных исследователей зародилась и стала набирать силу новая, нечеловеческая цивилизация Земли.)

Прекратить исследование! — приказывает обычно в таких случаях Мировой Совет.

Ни в коем случае! — провозглашают в ответ экстремисты. — Усилить контроль? Да. Бросить необходимые мощности? Да. Рискнуть? Да! В конце концов, «кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет» (из выступления патриарха экстремистов Дж. Гр. Пренсона). Но никаких запретов! Морально-этические запреты в науке страшнее любых этических потрясений, которые возникали или могут возникнуть в результате самых рискованных поворотов научного прогресса. Точка зрения, безусловно импонирующая своей динамикой, находящая безотказных апологетов среди научной молодежи, но чертовски опасная, когда подобные принципы исповедует крупный и талантливый специалист, сосредоточивший под своим влиянием динамичный талантливый коллектив и значительные энергетические мощности.

Именно такие экстремисты-практики и были основными клиентами нашего КОМКОНа-2. Старикан же Бромберг был экстремистом-теоретиком, и именно по этой причине, вероятно, он ни разу не попал в поле моего зрения. Зато у Экселенца, как я теперь видел, он всю жизнь сидел в почках, печени и в желчном пузыре.

По роду своей деятельности мы в КОМКОНе-2 никогда никому и ничего не запрещаем. Для этого мы просто недостаточно разбираемся в современной науке. Запрещает Мировой Совет. А наша задача сводится к тому, чтобы реализовать эти запрещения и преграждать путь к утечке информации, ибо именно утечка информации в таких случаях сплошь и рядом приводит к самым жутким последствиям.

Очевидно, Бромберг либо не хотел, либо не мог понять этого. Борьба за уничтожение всех и всяческих барьеров на пути распространения научной информации сделалась буквально его идеей-фикс. Он обладал фантастическим

темпераментом и неиссякаемой энергией. Связи его в научном мире были неисчислимы, и стоило ему прослышать, что где-то результаты многообещающих исследований сда ны на консервацию, как он приходил в зоологическое неистовство и рвался разоблачать, обличать и срывать покровы.

Ничего решительно невозможно было с ним сделать. Он не признавал компромиссов, поэтому договориться с ним было невозможно, он не признавал поражений, поэтому его невозможно было победить. Он был неуправляем, как космический катаклизм.

Но, по-видимому, даже самая высокая и абстрактная идея нуждается в достаточно конкретной точке приложения. И такой точкой, конкретным олицетворением сил мрака и зла, против которых он сражался, стал для него КОМКОН-2 вообще и наш Экселенц в особенности. «КОМКОН-2! — ядовито шипел он, подскакивая к Экселенцу и тут же отскакивая назад. — О, ваше изуверство!.. Взять всем известную аббревиатуру — Комиссия по Контактaм с иными цивилизациями! Благородно, возвышенно! Прославленно! И спрятать за нею вашу зловонную контору! Комиссия по Контролю, видите ли! Команда Консерваторов, а не Комиссия по Контролю! Компания Конспираторов!..»

Экселенцу он за эти полвека надоел безмерно. Причем, насколько я понял, именно надоел — как надоедает кусачая муха или назойливый комар. Разумеется, он был не в состоянии нанести нашему делу сколько-нибудь существенный вред. Это было просто не в его силах. Но зато в его силах было непрерывно гундеть и бубнить, галдеть и трещать, отрывать от дела, не давать покоя, запускать ядовитые шпильки, требовать неукоснительного выполнения всех формальностей, возбуждать общественное мнение против засилья формалитета, одним словом — утомлять до изнеможения. Я не удивился бы, если бы оказалось, что двадцать лет назад Экселенц нырнул в кровавую кашу на Саракше главным образом для того, чтобы хоть немножко отдохнуть от Бромберга. Мне было особенно обидно за Экселенца еще и потому, что Экселенц, человек не только принципиальный, но и в высшей степени справедливый, полностью, видимо, отдавал себе отчет в том, что деятельность Бромберга, если отвлечься от формы ее, несет и некую положительную социальную функцию: это был тоже вид социального контроля — контроль над контролем.

Но уж что касается ядовитого старикана Бромберга, то он был, по-видимому, начисто лишен самого элементарного

чувства справедливости и всю нашу работу отметал с порога, считал безусловно вредной и пламенно, искренне ненавидел. При этом формы, в которые выливалась эта ненависть, были настолько однозны, сами манеры этого настырного старикана были до такой степени невыносимы, что Экселенц, при всем своем хладнокровии и нечеловеческой выдержке, совершенно терял лицо и превращался в склочного, глупого и злобного крикуна, по-видимому, каждый раз, когда сталкивался вот так, лицом к лицу, с Бромбергом. «Вы — невежественный мозгляк! — сорванным голосом хрипел он. — Вы паразитируете на промахах гигантов! Сами вы не способны изобрести соуса к макаронам, а беретесь судить о будущем науки! Вы же только дискредитируете дело, которое хватаетесь защищать, вы — смакователь дешевых анекдотов!..»

Видимо, старики давненько не сталкивались нос к носу и теперь с особенным остервенением изливали друг на друга накопившиеся запасы яда и желчи. Зрелище это было во многих отношениях поучительным, хотя оно и находилось в вопиющем противоречии с широко известными тезисами о том, что человек по природе добр и что он же звучит гордо. Больше всего они походили не на людей, а на двух старых облезлых бойцовых петухов. Впервые я заметил, что Экселенц уже глубокий старик.

Однако при всей своей неэстетичности этот спектакль обрушил на меня целую лавину поистине бесценной информации. Многих намеков я просто не понял — речь, видимо, шла о делах, давно уже закрытых и забытых. Некоторые упоминавшиеся истории были мне хорошо знакомы. Но кое-что я и услышал, и понял впервые.

Я узнал, например, что такое операция «Зеркало». Оказывается, так были названы глобальные, строго засекреченные маневры по отражению возможной агрессии извне (предположительно — вторжения Странников), проведенные четыре десятка лет назад. Об этой операции знали единицы, а миллионы людей, принимавших в ней участие, даже не подозревали об этом. Несмотря на все меры предосторожности, как это почти всегда бывает в делах глобального масштаба, несколько человек погибло. Одним из руководителей операции и ответственным за сохранение секретности был Экселенц.

Я узнал, как возникло дело «Урод». Как известно, Ионафан Перейра по собственной инициативе прекратил свою работу в области теоретической евгеники. Консервируя всю эту область, Мировой Совет следовал, по сути, именно его рекомендациям. Оказывается, это наш дорогой

Бромберг разнюхал, а затем пламенно разболтал детали теории Перейры, в результате чего пятерка дьявольски талантливых сорвиголов из Швейцеровской лаборатории в Бамако затеяла и едва не довела до конца свой эксперимент с новым вариантом хомо супер.

История с андроидами в общих чертах была мне известна и раньше — главным образом потому, что ее всегда приводят в качестве классического примера неразрешимой этической проблемы. Однако любопытно было узнать, что доктор Бромберг отнюдь не считает вопрос с андроидами закрытым. Проблема «субъект или объект» в данном случае для него не существует вовсе. На тайну личности ученых, занимавшихся андроидами, ему наплевать, а право антроидов на тайну личности он полагает нонсенсом и катехрезой. Все подробности этой истории должны быть опубликованы в назидание потомству, а работы с андроидами должны продолжаться...

И так далее.

Среди историй, о которых я никогда ничего не слышал раньше, мое внимание привлекла одна. Речь шла о каком-то предмете, который они называли то саркофагом, то инкубатором. С этим саркофагом-инкубатором они в своем споре каким-то неуловимым образом связывали «детонаторы» — по-видимому, те самые, за которыми явился Бромберг и которые лежали сейчас на столе передо мною, накрытые цветастой шалью. О детонаторах, впрочем, упоминалось вскользь, хотя и неоднократно, а главным образом склока клубилась вокруг «дымовой завесы отвратительной секретности», поставленной Экселенцем вокруг саркофага-инкубатора. Именно в результате этой секретности доктор имярек, получивший уникальные результаты по антропометрии и физиологии кроманьонцев (при чем здесь кроманьонцы?), вынужден был держать эти свои результаты под спудом, тормозя таким образом развитие палеоантропологии. А другой доктор имярек, разгадавший принцип работы саркофага-инкубатора, оказался в двусмысленном и стыдном положении человека, которому научная общественность приписывает открытие этого принципа, в результате чего он вообще оставил научное поприще и малюет теперь посредственные пейзажи...

Я насторожился. Детонаторы были связаны с таинственным саркофагом. За детонаторами явился сюда Бромберг. Детонаторы Экселенц выставил как приманку для Льва Абалкина. Я стал слушать с удвоенным вниманием, надеясь, что в пылу свары старики выболтают что-нибудь еще и я наконец узнаю нечто существенное о Льве Абалки-

не. Но я услышал это существенное только тогда, когда они уgomонились.

4 июня 78 года. ЛЕВ АБАЛКИН У ДОКТОРА БРОМБЕРГА.

Они уgomонились разом, одновременно, как будто у них одновременно иссякли последние остатки энергии. Замолчали. Перестали сверлить друг друга огненными взорами. Бромберг, отдуваясь, вытащил старомодный носовой платок и принялся утирать лицо и шею. Экселенц, не глядя на него, полез за пазуху (я испугался — не за пистолетом ли), извлек капсулу, выкатил на ладонь белый шарик и положил его под язык, а капсулу протянул Бромбергу.

— И не подумая! — заявил Бромберг, демонстративно отворачиваясь.

Экселенц продолжал протягивать ему капсулу. Бромберг искоса, как петух, посмотрел на нее. Потом сказал с пафосом:

— Яд, мудрецом тебе предложенный, возьми, из рук же дурака не принимай бальзама...

Он взял капсулу и тоже выкатил себе на ладонь белый шарик.

— Я в этом не нуждаюсь! — объявил он и кинул шарик в рот. — Пока еще не нуждаюсь...

— Айзек, — сказал Экселенц и причмокнул. — Что вы будете делать, когда я умру?

— Спляшу качучу, — сказал Бромберг мрачно. — Не говорите глупостей.

— Айзек, — сказал Экселенц. — Зачем вам все-таки понадобились детонаторы?.. Подождите, не начинайте все сначала. Я вовсе не собираюсь вмешиваться в ваши личные дела. Если бы вы заинтересовались детонаторами неделю назад или на будущей неделе, я бы никогда не стал задавать вам этот вопрос. Но они понадобились вам именно сегодня. Именно в ту ночь, когда за ними должен был прийти совсем другой человек. Если это просто невероятное совпадение, то так и скажите, и мы расстанемся. У меня голова разболелась...

— А кто это должен был за ними прийти? — подозрительно спросил Бромберг.

— Лев Абалкин, — сказал Экселенц утомленно.

— Кто это такой?

— Вы не знаете Льва Абалкина?

— В первый раз слышу, — сказал Бромберг.

— Верю, — сказал Экселенц.

— Еще бы! — сказал Бромберг высокомерно.

— Вам я верю, — сказал Экселенц. — Но я не верю в совпадения... Слушайте, Айзек, неужели это так трудно — просто, без кривляний рассказать, почему вы именно сегодня пришли за детонаторами...

— Мне не нравится слово «кривлянья»! — сказал Бромберг сварливо, но уже без прежнего задора.

— Я беру его назад, — сказал Экселенц.

Бромберг снова принялся утираться.

— У меня секретов нет, — объявил он. — Вы знаете, Рудольф, я ненавижу все и всяческие секреты. Это вы сами поставили меня в положение, когда я вынужден кривляться и ломать комедию. А между тем все очень просто. Сегодня утром ко мне явился некто... Вам обязательно нужно имя?

— Нет.

— Некий молодой человек. О чем мы с ним говорили — несущественно, я полагаю. Разговор носил достаточно личный характер. Но во время разговора я заметил у него вот здесь... — Бромберг ткнул пальцем в сгиб локтя правой руки, — довольно странное родимое пятно. Я даже спросил его: «Это что — татуировка?» Вы знаете, Рудольф, татуировки — мое хобби... «Нет — ответил он. — Это родимое пятно». Больше всего оно было похоже на букву «Ж» в кириллице или, скажем, на японский иероглиф «сандзю» — «тридцать». Вам это ничего не напоминает, Рудольф?

— Напоминает, — сказал Экселенц.

Мне это тоже что-то напомнило, что-то совсем недавнее, что-то, показавшееся и странным, и несущественным одновременно.

— Вы что — сразу сообразили? — спросил Бромберг с завистью.

— Да, — сказал Экселенц.

— А вот я — не сразу. Молодой человек уже давно ушел, а я все сидел и вспоминал, где я мог видеть такой значок... Причем не просто похожий на него, а именно такой в точности. В конце концов вспомнил. Мне надо было проверить, понимаете? Под рукой — ни одной репродукции. Я бросаюсь в Музей — Музей закрыт...

— Мак, — сказал Экселенц, — будь добр, подай нам сюда эту штуку, которая под шалью.

Я повиновался.

Брусочек был тяжелый и теплый на ощупь. Я поставил его на стол перед Экселенцем. Экселенц придвинул его поближе к себе, и теперь я видел, что это действительно

футляр из гладко отполированного материала ярко-янтарного цвета с едва заметной идеально прямой линией, отделяющей слегка выпуклую крышку от массивного основания. Экселенц попытался приподнять крышку, но пальцы его скользили и ничего у него не получалось.

— Дайте-ка мне,— нетерпеливо сказал Бромберг. Он оттолкнул Экселенца, взялся за крышку обеими руками, поднял ее и отложил в сторону.

Вот эти штуки они, по-видимому, и называли детонаторами: круглые серые блямбы миллиметров семидесяти в диаметре, уложенные одним рядом в аккуратные гнезда. Всего детонаторов было одиннадцать, и еще два гнезда были пусты, и видно было, что дно их выстлано белесоватым ворсом, похожим на плесень, и ворсинки эти заметно шевелились, словно живые,— да они, вероятно, и были в каком-то смысле живые.

Однако прежде всего в глаза мне бросились довольно сложные иероглифы, изображенные на поверхности детонаторов, по одному на каждом и все разные. Они были большие, розовато-коричневые, слегка расплывшиеся, как бы нанесенные цветной тушью на влажную бумагу. И один из них я узнал сразу — чуть расплывшаяся стилизованная буква «Ж» или, если угодно, японский иероглиф «сандзю» — маленький оригинал увеличенной копии на обороте листа № 1 в деле № 07. Этот детонатор был третьим слева, если смотреть от меня, и Экселенц, подвесив над ним свой длинный указательный палец, произнес:

— Он?

— Да, да;— нетерпеливо отозвался Бромберг, отпихивая его руку.— Не мешайте. Вы ничего не понимаете...

Он вцепился ногтями в края детонатора и принялся осторожными движениями как бы вывинчивать его из гнезда, бормоча при этом: «Здесь совсем не в этом дело... Неужели вы воображаете, что я был способен перепутать... Чушь какая...» И он вытянул наконец детонатор из гнезда и стал осторожно поднимать его над футляром все выше и выше, и видно было, как тянутся за серым толстеньким диском тонкие белесоватые нити, утоньшаются, лопаются одна за другой. И когда лопнула последняя, Бромберг перевернул диск нижней поверхностью вверх, и я увидел там среди шевелящихся полупрозрачных ворсинок тот же иероглиф, только черный, маленький и очень отчетливый, словно его вычеканили в сером материале.

— Да! — сказал Бромберг торжествующе.— Точно такой. Я так и знал, что не могу ошибиться.

— В чем именно? — спросил Экселенц,

— Размер! — сказал Бромберг. — Размер, детали, пропорции. Вы понимаете, родимое пятно у него не просто похоже на этот значок — оно в точности такое же... — Он пристально посмотрел на Экселенца. — Слушайте, Рудольф, услуга за услугу. Вы что — вы их всех поместили?

— Нет, конечно.

— Значит, у них это было с самого начала? — спросил Бромберг, постукивая себя пальцем по сгибу правой руки.

— Нет. Эти значки появились у них в возрасте десяти — двенадцати лет.

Бромберг осторожно ввинтил детонатор обратно в гнездо и удовлетворенно повалился в кресло.

— Ну что ж, — произнес он, — так я все это и понял... Ну-с, господин полицей-президент, чего же стоит вся эта ваша секретность? Канал его у меня есть, и едва златоперстый Феб озарит верхушки этих ваших архитектурных уродов, как я немедленно свяжусь с ним, и мы всласть поговорим... И не пытайтесь меня отговаривать, Сикорски! — вскричал он, размахивая пальцем перед носом Экселенца. — Он сам пришел ко мне, а я сам — понимаете? — сам, вот этой своей старой головой сообразил, кто передо мною, и теперь он мой! Я не проникал в ваши паршивые тайны! Немножко везенья, немножко сообразительности...

— Хорошо, хорошо, — сказал Экселенц. — Ради бога. Никаких возражений. Он ваш, встречайтесь, говорите. Но только с ним, пожалуйста. Больше ни с кем.

— Н-ну... — с ироническим сомнением протянул Бромберг.

— А впрочем, как вам будет угодно, — сказал вдруг Экселенц. — Все это сейчас не важно... Скажите, Айзек, о чем вы с ним разговаривали?

Бромберг сложил руки на животе и покрутил большими пальцами. Победы, одержанные им над Экселенцем, были настолько велики и очевидны, что он, без сомнения, мог позволить себе быть великодушным.

— Разговор, надо признаться, был довольно сумбурный, — сказал он. — Теперь-то я, конечно, понимаю, что этот кроманьонец просто морочил мне голову...

Сегодня, а вернее — вчера утром к нему явился молодой человек лет сорока — сорока пяти и представился как Александр Дымок, конфигуратор сельскохозяйственной автоматики. Роста среднего, очень бледное лицо, длинные черные прямые волосы, как у индейца. Он пожаловался, что на протяжении многих месяцев пытается и никак не может выяснить обстоятельства исчезновения своих родителей. Он изложил Бромбергу в высшей степени загадоч-

ную и чертовски соблазнительную в своей загадочности легенду, которую он якобы собрал по крупинкам, не брезгая даже самыми малодостоверными слухами. Легенда эта у Бромберга записана во всех подробностях, но излагать ее сейчас вряд ли имеет смысл. Собственно, визит Александра Дымка преследовал единственную цель: не может ли Бромберг, крупнейший в мире знаток запрещенной науки, пролить хоть какой-нибудь свет на эту историю.

Крупнейший знаток Бромберг окунулся в свою картотеку, но ничего о супругах Дымок не обнаружил. Молодой человек был заметно огорчен этим обстоятельством и совсем уже собрался было уходить, когда в голову ему пришла счастливая мысль. Не исключено, сказал он, что фамилия его родителей вовсе и не Дымок. Не исключено также, что вся его легенда не имеет ничего общего с действительностью. Может быть, доктор Бромберг попытается вспомнить, не происходило ли в науке каких-то загадочных и впоследствии запрещенных к широкой публикации событий в годы, близкие к дате рождения Александра Дымка (февраль 36-го), поскольку родителей своих он потерял то ли в годовалом, то ли в двухлетнем возрасте...

Знаток Бромберг снова полез в свою картотеку, на этот раз в хронологическую ее часть. За период с 33-го по 39-й год он обнаружил в общей сложности восемь различных инцидентов, в том числе и историю с саркофагом-инкубатором. Вместе с Александром Дымком они тщательно проанализировали каждый из этих инцидентов и пришли к выводу, что ни один из них не может быть связан с судьбой супругов Дымок.

«Отсюда я, старый дурак, сделал заключение, что судьба подарила мне историю, которая в свое время совершенно ускользнула из поля моего зрения. Представляете себе? Не запрет ваш какой-нибудь паршивый, а исчезновение двух биохимиков! Уж этого бы я вам не простил, Сикорски!» И еще битых два часа Бромберг допрашивал Александра Дымка, требуя от него вспомнить все самые мельчайшие подробности, любые, даже самые нелепые, слухи, взял с него торжественное обещание пройти глубокое ментоскопирование*, так что молодой человек на протяжении последнего часа явно мечтал только об одном — поскорее убраться восвояси...

Уже в самом конце разговора Бромберг совершенно случайно заметил «родимое пятно». Это родимое пятно, не имеющее, казалось бы, никакого отношения к делу, ка-

* Ментоскопирование (фантастич.) — исследование подсознания с помощью прибора, «читающего мысли» (ментоскопа).

ким-то необъяснимым образом застряло у Бромберга в мозгу. Молодой человек уже давно ушел. Бромберг уже успел сделать несколько запросов в БВИ, поговорить с двумя-тремя специалистами по поводу супругов Дымок (безрезультатно), но этот проклятый значок никак не шел у него из головы. Во-первых, Бромберг был совершенно уверен, что уже видел его где-то и когда-то, а во-вторых, его не покидало ощущение, что об этом значке или о чем-то, связанном с этим значком, упоминалось в его беседе с Александром Дымком. И только восстановив самым скрупулезным образом в памяти всю эту беседу, фразу за фразой, он добрался наконец до саркофага, вспомнил детонаторы, и поразительная догадка о том, кто такой на самом деле Александр Дымок, осенила его.

Первым его движением было немедленно позвонить мальчику и сообщить, что тайна его происхождения раскрыта. Но присущая ему, Бромбергу, научная добросовестность требовала прежде всего абсолютной достоверности, не допускающей никаких инотолкований. Он, Бромберг, знал совпадения и покруче. Поэтому он бросился сначала звонить в Музей...

— Все понятно,— сказал Экселенц мрачно.— Спасибо вам, Айзек. Значит, теперь он знает о саркофаге...

— А почему бы ему об этом и не знать? — вскинулся Бромберг.

— Действительно,— медленно проговорил Экселенц.— Почему бы и нет?

ТАЙНА ЛИЧНОСТИ ЛЬВА АБАЛКИНА.

21 декабря 37 года отряд Следопытов под командой Бориса Фокина высадился на каменистом плато безымянной планетки в системе ЕН 9173, имея задачей обследовать обнаруженные здесь еще в прошлом веке развалины каких-то сооружений, приписываемых Странникам.

24 декабря интравизионная съемка зафиксировала под развалинами наличие обширного помещения в толще скальных пород на глубине более трех метров.

25 декабря Борис Фокин с первой же попытки и без всяких неожиданностей проник в это помещение. Оно было выполнено в форме полусферы радиусом в десять метров. Полусфера эта была облицована янтаринном, материалом, весьма характерным для цивилизации Странников, и содержала громоздкое устройство, которое, с легкой руки одного из Следопытов, стали называть саркофагом.

26 декабря Борис Фокин запросил и получил из соот-

ветствующего отдела КОМКОНа разрешение на обследование саркофага своими силами.

Действуя по своему обыкновению изнуряюще методично и осторожно, он провозился с саркофагом трое суток. За это время удалось определить возраст находки (сорок — сорок пять тысяч лет), обнаружить, что саркофаг потребляет энергию, и даже установить несомненную связь между саркофагом и расположенными над ним развалинами. Уже тогда была высказана гипотеза, впоследствии подтвердившаяся, что указанные «развалины» вовсе развалинами не являются, а представляют собой часть обширной, охватывающей всю поверхность планетки системы, предназначенной для поглощения и трансформации всех видов даровой энергии, как планетарной, так и космической (сейсмика, флюктуации магнитного поля, метеоявления, излучение центрального светила, космические лучи и так далее).

29 декабря Борис Фокин связался непосредственно с Комовым и потребовал к себе лучшего специалиста-эмбриолога. Комов, разумеется, запросил объяснений, но Борис Фокин от объяснений уклонился и предложил Комову прибыть лично, но при этом обязательно в сопровождении эмбриолога. Когда-то в далекой молодости Комову приходилось работать вместе с Фокиным, и у него осталось от Фокина впечатление скорее нелестное. Поэтому сам он лететь и не подумал, однако эмбриолога послал — правда, далеко не самого лучшего, а просто первого же согласившегося: некоего Марка Ван Блеркома (впоследствии Комов неоднократно рвал на себе волосы, вспоминая об этом своем решении, ибо Марк Ван Блерком оказался загадочным другом небезызвестного Айзека П. Бромберга).

30 декабря Марк Ван Блерком убыл в распоряжение Бориса Фокина и уже через несколько часов отправил Комову открытым текстом поразительное сообщение. В этом сообщении он утверждал, что так называемый саркофаг представляет собой на самом деле не что иное, как своего рода эмбриональный сейф совершенно фантастической конструкции. В сейфе содержатся тринадцать оплодотворенных яйцеклеток вида хомо сапиенс, причем все они представляются вполне жизнеспособными, хотя и пребывают в латентном состоянии.

Необходимо отдать должное двум участникам этой истории: Борису Фокину и члену КОМКОНа Геннадию Комову. Борис Фокин каким-то шестым чувством угадал, что об этой находке не следует орать на весь мир: радиограмма Марка Ван Блеркома была первой и последней откры-

той радиограммой в последующем радиообмене отряда с Землей. Поэтому вся эта история отразилась в потоке массовой информации на нашей планете лишь в виде коротенького сообщения, впоследствии не подтвердившегося и потому почти не привлечшего внимания.

Что же касается Геннадия Комова, то он не только сразу ухватил суть возникающей на глазах проблемы, но и каким-то образом сумел представить себе целый ряд возможных последствий этой проблемы. Прежде всего он потребовал от Фокина и Блеркома подтверждения полученных данных (спецкодом по сверхсрочному каналу), а получив это подтверждение, немедленно собрал совещание тех руководителей КОМКОНа, которые являлись одновременно членами Мирового Совета. Среди них были такие корифеи, как Леонид Горбовский и Август-Иоганн Бадер, молодой и горячий Кирилл Александров, осторожный, вечно сомневающийся Махино Синода, а также энергичный шестидесятидвухлетний Рудольф Сикорски.

Комов проинформировал собравшихся и поставил вопрос ребром: что теперь делать? Очевидно, можно было закрыть саркофаг и оставить все, как есть, ограничившись на будущее пассивным наблюдением. Можно было попытаться инициировать развитие яйцеклеток и посмотреть, что из этого получится. Наконец, можно было во избежание грядущих осложнений уничтожить находку.

Разумеется, Геннадий Комов, человек в то время уже достаточно опытный, прекрасно понимал, что ни это чрезвычайное совещание, ни даже десяток последующих проблему не решат. Своим нарочито резким выступлением он преследовал только одну цель — шокировать собравшихся и побудить их к дискуссии.

Надо сказать, цели своей он достиг. Из всех участников совещания только Леонид Горбовский и Рудольф Сикорски сохранили видимое хладнокровие. Горбовский — потому что был разумным оптимистом, Сикорски же — потому что уже тогда был руководителем КОМКОНа-2. Было произнесено множество слов: безудержно горячих и нарочито спокойных, вполне легкомысленных и исполненных глубокого смысла, давно ныне забытых и таких, что вошли впоследствии в лексикон докладов, легенд, отчетов и рекомендаций. Как и следовало ожидать, единственное решение совещания свелось к тому, чтобы завтра же собрать новое, расширенное совещание с привлечением других членов Мирового Совета — специалистов по социальной психологии, педагогике и средствам массовой информации.

На протяжении всего совещания Рудольф Сикорски

молчал. Он не чувствовал себя достаточно компетентным, чтобы высказаться за то или иное решение проблемы. Однако долгий опыт работы в области экспериментальной истории, а также вся совокупность известных ему фактов о деятельности Странников однозначно приводили его к выводу: какое бы решение ни принял бы в конце концов Мировой Совет, решение это, как и все обстоятельства дела, надлежит на неопределенное время сохранить в кругу лиц с самым высоким уровнем социальной ответственности. В этом смысле он и высказался под занавес. «Решение оставить все как есть и пассивно наблюдать — решением на самом деле не является. Истинных решений всего два: уничтожить или инициировать. Неважно, когда будет принято одно из этих решений — завтра или через сто лет, — но любое из них будет неудовлетворительным. Уничтожить саркофаг — это значит совершить необратимый поступок. Мы все здесь знаем цену необратимым поступкам. Инициировать — это значит пойти на поводу у Странников, намерения которых нам, мягко выражаясь, непонятны. Я ничего не предрешаю и вообще не считаю себя вправе голосовать за какое бы то ни было решение. Единственное, о чем я прошу и на чем я настаиваю, — разрешите мне немедленно принять меры против утечки информации. Ну, хотя бы для того только, чтобы нас не захлестнуло океаном некомпетентности...»

Эта маленькая речь произвела известное впечатление, и разрешение было дано единогласно, тем более что все понимали: спешить не следует, а создать условия для спокойной и обстоятельной работы совершенно необходимо.

31 декабря состоялось расширенное совещание. Присутствовало восемнадцать человек, и в том числе приглашенный Горбовским Председатель Мирового Совета по социальным проблемам. Все согласились, что саркофаг был найден совершенно случайно, а значит — преждевременно. Все согласились, далее, что, прежде чем принимать какое бы то ни было решение, надобно попытаться понять, а если и не понять, то по крайней мере представить себе изначальный замысел Странников. Было высказано несколько более или менее экзотических гипотез.

Кирилл Александров, известный своими антропоморфистскими взглядами, высказал предположение, что саркофаг есть хранилище генофонда Странников. «Все известные мне доказательства негуманности Странников, — заявил он, — являются по сути своей косвенными. На самом же деле Странники вполне могут оказаться генетическими двойниками человека. Такое предположение не

противоречит ни одному из доступных фактов». Исходя из этого, Александров предлагал все исследования прекратить, вернуть находку в первоначальное состояние и покинуть систему ЕН 9173.

По мнению Августа-Иоганна Бадера, саркофаг есть — да! — хранилище генофонда, но никаких не Странников, а именно землян. Сорок пять тысяч лет тому назад Странники, допуская теоретически возможность генетического вырождения немногочисленных тогда племен хомо сапиенс, попытались таким образом принять меры к восстановлению земного человечества в будущем.

Под тем же лозунгом: «Не будем плохо думать о Странниках» — выступил и престарелый Пак Хин. Он, как и Бадер, был убежден, что мы имеем дело с генофондом землян, но полагал, будто Странники выступают здесь с целями скорее просветительскими. Саркофаг есть своеобразная «бомба времени», вскрыв которую современные земляне получат возможность воочию ознакомиться с особенностями облика, анатомии и физиологии своих далеких предков.

Геннадий Комов поставил вопрос значительно шире. По его мнению, любая цивилизация, достигшая определенного уровня развития, не может не стремиться к контакту с иным разумом. Однако контакт между гуманоидными и негуманоидными цивилизациями чрезвычайно затруднен, если только вообще возможен. Не имеем ли мы дело с попыткой применить принципиально новый метод контакта — создать существо-посредника, гуманоида, в генотипе которого закодированы некие существенные характеристики негуманоидной психологии. В этом смысле мы должны рассматривать находку как начало принципиально нового этапа и в истории землян, и в истории негуманоидных Странников. По мнению Комова, яйцеклетки должны быть несомненно и немедленно иницированы. Его, Комова, мало смущает заведомая преждевременность находки: Странники, рассчитывая темпы развития человечества, легко могли ошибиться на несколько столетий.

Гипотеза Комова вызвала оживленную дискуссию, во время которой впервые прозвучало сомнение в том, что современная педагогика способна успешно применить свою методику к воспитанию людей, психика которых в значительной степени отличается от гуманоидной.

Одновременно осторожнейший Махино Синода, крупный специалист по Странникам, задал вполне резонный вопрос: почему, собственно, уважаемый Геннадий, да и некоторые другие товарищи, так уверены в благорасполо-

женин Странников к землянам? Мы не имеем никаких свидетельств того, что Странники вообще способны на благо-расположение к кому бы то ни было, в том числе и к гуманоидам. Напротив, факты (немногочисленные, правда) свидетельствуют скорее о том, что Странники абсолютно равнодушны к чужому разуму и склонны относиться к нему как к средству для достижения своих целей, а вовсе не как к партнеру по контакту. Не кажется ли уважаемому Геннадию, что высказанную им гипотезу можно в равной степени развить в прямо противоположном направлении, а именно — предположить, что гипотетические существа-посредники должны, по замыслу Странников, выполнять задачи, с нашей точки зрения скорее негативные. Почему бы, следуя логике уважаемого Геннадия, не предположить, что саркофаг есть, так сказать, идеологическая бомба замедленного действия, а существа-посредники — своего рода диверсанты, предназначенные для внедрения в нашу цивилизацию. «Диверсанты», разумеется, слово однозначное. Но вот у нас сейчас появилось новое понятие — Прогрессор — человек Земли, деятельность которого направлена на ускорение прогресса отсталых гуманоидных цивилизаций. Почему не допустить, что гипотетические существа-посредники — это своего рода Прогрессоры Странников. Что мы, в конце концов, знаем о точке зрения Странников на темпы и формы нашего, человеческого прогресса?..

Совещание немедленно раскололось на две фракции — оптимистов и пессимистов. Точка зрения оптимистов представлялась, разумеется, гораздо более правдоподобной. Действительно, трудно и даже, пожалуй, невозможно было представить себе сверхцивилизацию, способную не то чтобы на грубую агрессию, но хотя бы даже на скольконибудь бестактное экспериментирование с младшими братьями по разуму. В рамках всех существующих представлений о закономерностях развития Разума точка зрения пессимистов выглядела, мягко выражаясь, искусственной, надуманной и архаичной. Но, с другой стороны, всегда оставался шанс, пусть даже ничтожный, на какой-то просчет. Могла ошибаться общая теория прогресса. Могли ошибаться ее интерпретаторы. И главное, могли ошибиться и сами Странники. Последствия такого рода ошибок для судеб земного человечества не поддавались ни учету, ни контролю.

Именно тогда воображению Рудольфа Сикорски впервые представился апокалиптический образ существа, которое ни анатомически, ни физиологически не отличается от

человека, более того, ничем не отличается от человека психически — ни логикой, ни чувствами, ни мироощущением,— живет и работает в самой толще человечества, несет в себе неведомую грозную программу, и страшнее всего то, что оно само ничего не знает об этой программе и ничего не узнает о ней даже в тот неопределимый момент, когда программа эта включится наконец, взорвет в нем землянина и поведет его... куда? К какой цели? И уже тогда Рудольфу Сикорски стало безнадежно ясно, что никто — и в первую очередь он, Рудольф Сикорски,— не имеет права успокаивать себя ссылкой на ничтожную вероятность и фантастичность такого предположения.

В самый разгар совещания Геннадия Комову передали очередную шифровку от Фокина. Он прочитал ее, изменился в лице и надтреснутым голосом объявил: «Плохо дело — Фокин и Ван Блерком сообщают, что все тринадцать яйцеклеток совершили первое деление».

Это был скверный Новый год для всех посвященных. С раннего утра 1 января и до вечера 3 января Нового, 38-го года шло практически непрерывное заседание спонтанно образовавшейся Комиссии по инкубатору. Саркофаг теперь называли инкубатором и обсуждали, по сути дела, только один вопрос: как, учитывая все обстоятельства, организовать судьбу тринадцати будущих новых граждан планеты Земля?

Вопрос об уничтожении инкубатора более не поднимался, хотя все члены Комиссии, в том числе и те, кто изначально ратовал за инициацию яйцеклеток, чувствовали себя не в своей тарелке. Их не покидала смутная тревога, им казалось, что 31 декабря они в каком-то смысле утратили самостоятельность и теперь вынуждены следовать плану, навязанному извне. Впрочем, обсуждение носило вполне конструктивный характер.

Уже в эти дни были в общих чертах сформулированы принципы режима воспитания будущих новорожденных, намечены их няни, наблюдающие врачи, Учителя, возможные Наставники, а также основные направления антропологических, физиологических и психологических исследований. Были назначены и немедленно направлены в группу Фокина специалисты по ксенотехнологии вообще и по ксенотехнике Странников в частности — на предмет самого тщательного изучения саркофага-инкубатора, для предупреждения «человких действий», а главным образом — в надежде, что удастся обнаружить какие-то детали этой машины, которые впоследствии помогут уточнить и конкретизировать программу предстоящей работы с «подкидыша-

ми». Были даже разработаны различные варианты организации общественного мнения на случай реализации каждой из высказанных гипотез о целях Странников...

Рудольф Сикорски в дискуссии участия не принимал. Слушал он вполуха, все внимание свое сосредоточил на том, чтобы учесть каждого, кто хоть в малейшей степени оказывался причастным к развивающимся событиям. Список рос с угнетающей быстротой, но он понимал, что с этим пока ничего сделать нельзя, что так или иначе в этой странной и опасной истории обязательно окажется замешано много людей.

Вечером 3 января на заключительном заседании, когда были подведены итоги и стихийно образовавшиеся подкомиссии были оформлены организационно, он потребовал слова и объявил примерно следующее:

— Мы проделали здесь неплохую работу и подготовились более или менее к возможному развитию событий — насколько это возможно при нашем нынешнем уровне информированности и в той, прямо скажем, бездарной ситуации, в которой мы оказались помимо своей воли и по воле Странников. Мы договорились не совершать необратимых поступков — в этом, собственно, суть всех наших решений. Но! Как руководитель КОМКОНа-2, организации, ответственной за безопасность земной цивилизации в целом, я предлагаю вам ряд требований, которые вам надлежит неукоснительно выполнять в нашей деятельности впредь.

Первое. Все работы, хотя бы мало-мальски связанные с этой историей, должны быть объявлены закрытыми. Сведения о них не подлежат разглашению ни при каких обстоятельствах. Основание: всем хорошо известный Закон о тайне личности.

Второе. Ни один из «подкидышей» не должен быть посвящен в обстоятельства своего появления на свет. Основание: тот же Закон.

Третье. «Подкидыши» немедленно по появлении на свет должны быть разделены, а в дальнейшем надлежит принять меры к тому, чтобы они не только ничего не знали друг о друге, но и не встречались бы друг с другом. Основание: достаточно элементарные соображения, которые я не намерен здесь приводить.

Четвертое. Все они должны получить в дальнейшем внезапные специальности с тем, чтобы сами обстоятельства их жизни и работы естественным образом затрудняли бы им возвращение на Землю даже на короткие сроки. Основание: та же элементарная логика. Мы вынуждены пока идти на поводу у Странников, но должны делать все

возможное, чтобы в дальнейшем (и чем скорее, тем лучше) с проторенной для нас дороги свернуть.

Как и следовало ожидать, «Четыре требования Сикорски» вызвали взрыв недоброжелательства. Участники совещания, как и все нормальные люди, терпеть не могли каких бы то ни было тайн, закрытых тем, умалчиваний, да и вообще КОМКОНа-2. Но Сикорски правильно предвидел, что психологи и социологи, отдавши дань понятным эмоциям, возмущаясь за ум и решительно встанут на его сторону. С Законом о тайне личности шутки плохи. Можно было легко и без всяких натяжек представить себе целый ряд неприятнейших ситуаций, которые могли бы возникнуть в будущем при нарушении первых двух «Требований». Попробуйте-ка представить себе психику человека, который узнаёт о себе, что появился он на свет из инкубатора, запущенного сорок пять тысяч лет тому назад неизвестными чудовищами с неведомой целью, да еще при этом знает, что и всем вокруг это известно. А если у него хоть мало-мальски развито воображение, он с неизбежностью придет к представлению о том, что он, землянин до мозга костей, никогда ничего не знавший и не любивший, кроме Земли, несет в себе, может быть, какую-то страшную угрозу для человечества. Представление это способно нанести человеку такую психическую травму, с которой не справятся и самые лучшие специалисты.

Доводы психологов были подкреплены внезапным и необычайно резким выступлением Михаро Синоды, который прямо заявил, что все мы здесь слишком много думаем о тринадцати еще не родившихся сопляках и слишком мало думаем о потенциальной опасности, которую они могут представлять для древней Земли. В результате все «Четыре требования» были приняты большинством голосов, и Рудольфу Сикорски было тут же поручено разработать и провести в жизнь соответствующие мероприятия. И вовремя.

5 января Рудольфу Сикорски позвонил слегка встревоженный Леонид Андреевич Горбовский. Оказывается, полчаса назад он имел беседу со своим старым другом — тагорским ксенологом, аккредитованным последние два года при Московском университете. В ходе беседы тагорянин как бы вскользь осведомился, подтвердилось ли промелькнувшее несколько дней назад сообщение о необычной находке в системе ЕН 9173. Застигнутый этим невинным вопросом врасплох, Горбовский принялся мямлить нечто невразумительное насчет того, что он давно уже не Следопыт, что это вне его сферы интересов, что он в общем-то не

в курсе, и в конце концов с облегчением и совершенно искренне объявил, что сообщения этого не читал. Тагорянин немедленно перевел разговор на другую тему, но у Горбовского тем не менее остался от этой части беседы самый неприятный осадок.

Рудольф Сикорски понял, что этот разговор еще будет иметь продолжение. И не ошибся.

7 января его неожиданно посетил только что прибывший с Тагоры коллега, так сказать, по роду деятельности — высокопочтенный доктор Ас-Су. Целью этого визита было уточнение ряда действительно существенных деталей, касающихся намечаемого расширения сферы деятельности официальных наблюдателей Тагоры на нашей планете. Когда деловая часть разговора была закончена и маленький доктор Ас-Су принялся за свой любимый земной напиток (холодный ячменный кофе с синтетическим медом), высокие стороны принялись обмениваться забавными и страшными историческими анекдотами, излагать которые друг другу они были издавна большими мастерами и любителями.

В частности, доктор Ас-Су рассказал, как полтора-два земных лет назад при закладке фундамента Третьей Большой Машины тагорские строители обнаружили в базальтовой толще Приполярного Континента поразительное устройство, которое в терминах землян можно было бы назвать хитроумно сконструированным садком, содержащим двести три личинки тагорян в латентном состоянии. Возраст находки сколько-нибудь точно установить не удалось, однако ясно было, что этот садок был заложен задолго до Великой Генетической Революции, то есть еще в те времена, когда каждый тагорянин в своем развитии проходил стадию личинки...

— Поразительно, — пробормотал Сикорски. — Невужели уже в те времена ваш народ обладал настолько развитой технологией?

— Разумеется, нет! — ответил доктор Ас-Су. — Безусловно, это была затея Странников.

— Но зачем?

— Слишком трудно ответить на этот вопрос. Мы даже и не пытались на него ответить.

— И что же дальше случилось с этими двумя сотнями маленьких тагорян?

— Хм... Вы задаете странный вопрос. Личинки начали спонтанно развиваться, и мы, разумеется, немедленно уничтожили это устройство со всем его содержимым...

Неужели вы можете представить себе народ, который поступил бы в этой ситуации иначе?

— Могу,— сказал Сикорски.

На другой день, восьмого января 38-го года, Высокий Посол Единой Тагоры отбыл на родину в связи с состоянием здоровья. Еще через несколько дней на Земле и на всех других планетах, где селились и работали земляне, не осталось ни одного тагорянина. А еще через месяц все без исключения земляне, работавшие на Тагоре, были поставлены перед необходимостью вернуться на Землю. Связь с Тагорой прекратилась на двадцать пять лет.

ТАЙНА ЛИЧНОСТИ ЛЬВА АБАЛКИНА (Продолжение).

Они все родились в один день — 6 октября 38-го года,— пять девочек и восемь мальчиков, крепкие, горластые, абсолютно здоровые человеческие младенцы. К моменту их появления на свет все уже было готово. Их приняли и осмотрели медицинские светила, члены Мирового Совета и консультанты Комиссии по Тринадцати, обмыли и спеленали их и в тот же день в специально оборудованном корабле доставили на Землю. К вечеру в тринадцати яслях, разбросанных по всем шести материкам, заботливые няни уже хлопотали над тринадцатью сиротами и посмертными детьми, которые никогда не увидят своих родителей и единой матерью которых отныне становилось все огромное доброе человечество. Легенды об их происхождении уже были подготовлены самим Рудольфом Сикорски и, по специальному разрешению Мирового Совета, введены в БВИ.

Судьба Льва Вячеславовича Абалкина, как и судьбы остальных двенадцати его «единоутробных» сестер и братьев, была отныне запрограммирована на много лет вперед, и много лет она абсолютно ничем не отличалась от судеб сотен миллионов его обычных земных сверстников.

В яслях он, как и полагается всякому младенцу, сначала лежал, потом ползал, потом ковылял, потом начал бегать. Его окружали такие же младенцы, и над ним хлопотали заботливые взрослые, такие же, как и в сотнях тысяч других яслей планеты.

Правда, ему повезло, как немногим. В тот самый день, когда его принесли в ясли, туда же поступила на работу простым наблюдающим врачом Ядвига Михайловна Леканова — один из крупнейших в мире специалистов по детской психологии. Почему-то захотелось ей спуститься с горных высот чистой науки и вернуться к тому, с чего она начинала несколько десятилетий назад. А когда шестилетний Лева Абалкин был переведен со всей своей группой

в Сыктывкарскую школу-интернат 241, та же Ядвига Михайловна сочла, что пора ей теперь поработать с детишками школьного возраста, и перевелась наблюдающим врачом в эту же школу.

Лева Абалкин рос и развивался как вполне обычный мальчик, склонный, может быть, к легкой меланхолии и замкнутости, но никакие отклонения его психотипа от нормы не превышали средних значений и значительно уступали крайним возможным отклонениям. Так же благополучно обстояло у него дело и с физическим развитием. Он не отличался от прочих ни повышенной хрупкостью, ни какой-нибудь выдающейся силой. Короче говоря, он был крепкий, здоровый, вполне обыкновенный мальчик, выделявшийся среди своих однокашников, по преимуществу славян, разве что иссиня-черными прямыми волосами, которыми он очень гордился и все норовил отращивать до плеч. Так было до ноября 47-го года.

16 ноября, проводя регулярный осмотр, Ядвига Михайловна обнаружила у Левы на сгибе правого локтя небольшой синяк с припухлостью. Синяк у мальчишки — невеликая редкость, и Ядвига Михайловна не обратила на него никакого внимания, а потом, разумеется, забыла бы о нем, если бы через неделю, 23 ноября, не оказалось, что синяк не только не исчез, но странно трансформировался. Его уже, собственно, нельзя было назвать синяком, это было уже нечто вроде татуировки — желто-коричневый маленький значок в виде стилизованной буквы «Ж». Осторожные расспросы показывали, что Лева Абалкин понятия не имеет, откуда у него это взялось и почему. Было совершенно ясно, что до сих пор он попросту не знал и не замечал, что у него что-то там появилось на сгибе правого локтя.

Поколебавшись, Ядвига Михайловна сочла своей обязанностью сообщить об этом маленьком открытии доктору Сикорски. Доктор Сикорски принял информацию без всякого интереса, однако в конце декабря вдруг вызвал Ядвигу Михайловну по видеофону и осведомился, как обстоят дела с родимым пятном у Льва Абалкина. «Без изменений», — ответила несколько удивленная Ядвига Михайловна. «Если вас не затруднит, — попросил доктор Сикорски, — как-нибудь незаметно для мальчика сфотографируйте это пятно и перешлите фотографию мне».

Лев Абалкин был первым из «подкидышей», у кого на сгибе правого локтя появился значок. В течение последующих двух месяцев родимые пятна, имеющие более или менее замысловатые формы, появились еще у восьми «подкидышей» при совершенно сходных обстоятельствах: синяк

с припухлостью вначале, никаких внешних причин, никаких болезненных ощущений, а через неделю — желто-коричневый значок. К концу 48-го года «клеймо Странников» носили уже все тринадцать. И тогда было сделано поистине удивительное и страшноватое открытие, вызвавшее к жизни понятие «детонатор».

Кто первым ввел это понятие — определить теперь уже невозможно. По мнению Рудольфа Сикорски, оно как нельзя более точно и грозно определяло суть дела. Еще в 39-м году, через год после рождения «подкидышей», ксенотехники, занимавшиеся демонтажем опустевшего инкубатора, обнаружили в его недрах длинный ящик из янтарина, содержащий тринадцать серых круглых дисков со значками на них. В недрах инкубатора были обнаружены тогда предметы и более загадочные, чем этот ящик-футляр, и поэтому никто особого внимания на него не обратил. Футляр был транспортирован в Музей Внеземных Культур, описан в закрытом издании «Материалов по саркофагу-инкубатору» как элемент системы жизнеобеспечения, успешно выдержал вялый натиск какого-то исследователя, попытавшегося понять, что это такое и для чего может пригодиться, а затем отфутболен в уже переполненный спецсектор предметов материальной культуры невыясненного назначения, где и был благополучно забыт на целых десять лет.

В начале 49-го года помощник Рудольфа Сикорски по делу «подкидышей» (назовем его, например, Иванов) вошел в кабинет своего начальника и положил перед ним проектор, включенный на 211-й странице 6-го тома «Материалов по саркофагу». Экселенц глянул и обомлел. Перед ним была фотография «элемента жизнеобеспечения 15/156А»: тринадцать серых круглых дисков в гнездах янтарного футляра. Тринадцать замысловатых иероглифов, тех самых, над которыми он даже уже перестал ломать голову, прекрасно знакомых по тринадцати фотографиям тринадцати сгибов детских локтей. По значку на локоть. По значку на диск. По диску на локоть.

Это не могло быть случайностью. Это должно было что-то означать. Что-то очень важное. Первым движением Рудольфа Сикорски было немедленно затребовать из Музея этот «элемент 15/156А» и спрятать к себе в сейф. От всех. От себя. Он испугался. Он просто испугался. И страшнее всего было то, что он даже не понимал, почему ему страшно.

Иванов был тоже испуган. Они взглянули друг на друга и поняли друг друга без слов. Одна и та же картина

стояла перед их глазами: тринадцать загорелых, исцарапанных бомб с веселым гиканьем носятся по-над речками и лазают по деревьям в разных концах земного шара, а здесь, в двух шагах, тринадцать детонаторов к ним в зловещей тишине ждут своего часа.

Это была минута слабости, конечно. Ведь ничего страшного не произошло. Ниоткуда, собственно, не следовало, что диски со значками — это детонаторы к бомбам, возбудители скрытой программы. Просто они привыкли уже предполагать самое худшее, когда дело касалось «подкидышей». Но если даже эта паника воображения и не обманывала их, даже в этом самом крайнем случае ничего страшного пока не произошло. В любой момент детонаторы можно было уничтожить. В любой момент их можно было изъять из Музея и отправить за тридевять земель, на край обитаемой Вселенной, а при необходимости — и еще дальше.

Рудольф Сикорски позвонил директору Музея и попросил его доставить экспонат номер такой-то в распоряжение Мирового Совета — к нему, Рудольфу Сикорски, в кабинет. Последовал несколько удивленный, безукоризненно вежливый, но недвусмысленный отказ. Выяснилось (Сикорски прежде и представления об этом не имел), что экспонаты из Музея, причем не только из Музея Внеземных Культур, но из любого музея на Земле, не выдаются — ни частным лицам, ни Мировому Совету, ни даже господу богу. Если бы даже самому господу богу потребовалось бы поработать с экспонатом номер такой-то, ему пришлось бы для этого явиться в Музей, предъявить соответствующие полномочия и там, в стенах Музея, производить необходимые исследования, для которых, впрочем, ему, господу богу, были бы созданы все необходимые условия: лаборатории, любое оборудование, любая консультация и так далее и тому подобное.

Дело оборачивалось неожиданной стороной, но первый шок уже прошел. В конце концов хорошо уж и то, что бомбе для воссоединения с детонатором понадобятся по меньшей мере «соответствующие полномочия». И в конце концов только от Рудольфа Сикорски зависело сделать так, чтобы Музей превратился в тот же самый сейф, только размерами побольше. И вообще, какого дьявола? Откуда бомбам знать, где находятся детонаторы и что они вообще существуют? Нет-нет, это была минута слабости. Одна из немногих подобных минут в его жизни.

Детонаторами занялись вплотную. Соответственно подобранные люди, снабженные соответствующими полномо-

чиями и рекомендациями, провели в прекрасно оборудованных лабораториях Музея цикл тщательно продуманных исследований. Результаты этих исследований можно было бы со спокойной совестью назвать нулевыми, если бы не одно странное и даже, прямо скажем, трагическое обстоятельство.

С одним из детонаторов был проведен эксперимент на регенерацию. Эксперимент дал отрицательные результаты: в отличие от многих предметов материальной культуры Странников детонатор номер 12 (значок «М готическое»), будучи разрушен, не восстановился. А спустя два дня в Северных Андах попала под горный обвал группа школьников из интерната «Темпладо» — двадцать семь девчонок и мальчишек во главе с Учителем. Многие получили ушибы и ранения, но все остались живы, кроме Эдны Ласко (личное дело № 12, значок «М готическое»).

Безусловно, это могло быть случайностью. Но исследования детонаторов были приостановлены, и через Мировой Совет удалось провести их как запрещенные.

И было еще одно происшествие, но много позже, уже в 62-м году, когда Рудольф Сикорски, по местному прозвищу Странник, резидентствовал на Саракше.

Дело в том, что именно благодаря его отсутствию на Земле группе психологов, входящих в состав Комиссии по Тринадцати, удалось добиться разрешения на частичное раскрытие тайны личности одному из «подкидышей». Для эксперимента был выбран Корней Яшмаа (номер 11, значок «Эльбрус»). После тщательной подготовки ему была рассказана вся правда о его происхождении. Только о нем. Больше ни о ком.

Корней Яшмаа кончал тогда Школу Прогрессоров. Судя по всем обследованиям, это был человек с чрезвычайно устойчивой психикой и очень сильной волей, весьма незаурядный человек по всем своим задаткам. Психологи не ошиблись. Корней Яшмаа воспринял информацию с поразительным хладнокровием — видимо, окружающий мир интересовал его много больше, чем тайна собственного происхождения. Осторожное предупреждение психологов о том, что в нем, возможно, заложена скрытая программа, которая в любой момент может направить его деятельность против интересов человечества, — это предупреждение нисколько не взволновало его. От откровенно признался, что хотя и понимает свою потенциальную опасность, но совершенно в нее не верит. Он охотно согласился на регулярное самонаблюдение, включающее, между прочим, ежедневное обследование индикатором эмоций, и даже

сам предложил сколь угодно глубокое ментоскопирование. Словом, Комиссия могла быть довольна: по крайней мере один из «подкидышей» стал теперь сознательным и сильным союзником Земли.

Узнав об этом эксперименте, Рудольф Сикорски поначалу разозлился, но потом решил, что в конечном итоге такой эксперимент может оказаться полезным. С самого начала он настаивал на сохранении тайны личности «подкидышей», прежде всего из соображений безопасности Земли. Он не хотел, чтобы в распоряжении «подкидышей», когда (и если) программа заработает, кроме этой подсознательной программы были бы еще и вполне сознательные сведения о них самих и о том, что с ними происходит. Он предпочел бы, чтобы они стали метаться, не зная, чего они ищут, и с неизбежностью совершая нелепые и странные поступки. Но в конце концов для контроля было даже полезно иметь одного (но не больше!) из «подкидышей», располагающего полной информацией о себе. Если программа вообще существует, то она безусловно организована так, что никакое сознание справиться с нею будет не в силах. Иначе Странникам не стоило и огород городить. Но, без всякого сомнения, поведение человека, осведомленного о программе, должно будет резко отличаться от поведения прочих.

Однако психологи и не думали останавливаться на достигнутом. Ободренные успехом с Корнеем Яшмаа, они спустя три года (Рудольф Сикорски все еще сидел на Саракше) повторили эксперимент с Томасом Нильсоном (номер 02, значок «Косая звезда»), смотрителем заповедника на Горгоне. Показания были вполне благоприятны, и несколько месяцев Томас Нильсон действительно продолжал благополучно работать, по всей видимости нимало не смущенный тайной своей личности. Он вообще был человеком скорее флегматичным и не склонным к проявлению эмоций.

Он аккуратно выполнял все рекомендованные процедуры по самонаблюдению, относился к своему положению даже с некоторым свойственным ему тяжеловатым юмором, но, правда, наотрез отказался от ментоскопирования, сославшись при этом на чисто личные причины. А на сто двадцать восьмой день после начала эксперимента Томас Нильсон погиб на своей Горгоне при обстоятельствах, не исключающих возможности самоубийства.

Для Комиссии. вообще и для психологов в особенности это был страшный удар. Престарелый Пак Хин объявил о своем выходе из Комиссии, бросил институт, учеников,

родных и удалился в самоизгнание. А на сто тридцать второй день сотрудник КОМКОНа-2, в обязанности которого входил, в частности, ежемесячный осмотр янтарного футляра, доложил в панике, что детонатор номер 02, значок «Косая звезда», исчез начисто, не оставив после себя в гнезде, высланном шевелящимися волокнами псевдоэпителия, даже пыли.

Теперь существование некой, мягко выражаясь, полумистической связи между каждым из «подкидышей» и соответствующим детонатором не вызывало никаких сомнений. И никаких сомнений ни у кого из членов Комиссии не вызывало теперь, что в обозримом будущем землянам, пожалуй, не дано будет разобраться в этой истории.

4 июня 78 года. ДИСКУССИЯ СИТУАЦИИ.

Все это и еще многое другое рассказал мне Экселенц той же ночью, когда мы вернулись из Музея к нему в кабинет.

Уже светало, когда он кончил рассказывать. Замолчав, он грузно поднялся, не глядя на меня, и пошел заваривать кофе.

— Можешь спрашивать,— проворчал он.

К этому моменту лишь одно чувство, пожалуй, владело мною почти безраздельно — огромное, безграничное сожаление о том, что я все это узнал и вынужден был теперь принимать в этом участие. Конечно, будь на моем месте любой нормальный человек, ведущий нормальную жизнь и занятый нормальной работой, он воспринял бы эту историю как одну из тех фантастических и грозных баек, которые возникают на самых границах между освоенным и неведомым, докатываются до нас в неузнаваемо искаженном виде и обладают тем восхитительным свойством, что как бы грозны и страшны они ни были, к нашей светлой и теплой Земле они прямого отношения не имеют и никакого существенного влияния на нашу повседневную жизнь не оказывают,— все это как-то кем-то и где-то всегда улаживалось, улаживается сейчас или непременно уладится в самом скором времени.

Но я-то, к сожалению, не был нормальным человеком в этом смысле слова. Я, к сожалению, и был как раз одним из тех, на долю которых выпало улаживать. И я понимал, что с этой тайной на плечах мне ходить теперь до конца жизни. Что вместе с тайной я принял на себя еще одну ответственность, о которой не просил и в которой, право же, не нуждался. Что отныне я обязан принимать

какие-то решения, а значит — должен теперь досконально понять хотя бы то, что уже понято до меня, а желательно и еще больше. А значит — увязнуть в этой тайне, отвратительной, как все наши тайны, и даже, наверное, еще более отвратительной, чем они, — увязнуть в ней еще глубже, чем до сих пор. И какую-то совсем детскую благодарность ощущал я к Экселенцу, который до последнего момента старался удержать меня на краю этой тайны. И какое-то еще более детское, почти капризное раздражение против него — за то, что он все-таки не удержал.

— У тебя нет вопросов? — осведомился Экселенц.

Я спохватился.

— Значит, вы полагаете, что программа заработала и он убил Тристана?

— Давай рассуждать логически. — Экселенц расставил чашечки, аккуратно разлил кофе и уселся на место. — Тристан был его наблюдающим врачом. Регулярно раз в месяц они встречались где-то в джунглях, и Тристан проводил профилактический осмотр. Якобы в порядке рутинного контроля за уровнем психической напряженности Прогрессора, а на самом деле — для того, чтобы убедиться: Абалкин остается человеком. На всем Саракше один только Тристан знал номер моего спецканала. Тридцатого мая — самое позднее тридцать первого — я должен был получить от него три семерки, «все в порядке». Но двадцать восьмого, в день, назначенный для осмотра, он гибнет. А Лев Абалкин бежит на Землю. Лев Абалкин бежит на Землю, Лев Абалкин скрывается, Лев Абалкин звонит мне по спецканалу, который был известен только Тристану... — Он залпом выпил свой кофе и помолчал, жуя губами. — По-моему, ты не понял самого главного, Мак. Мы теперь имеем дело не с Абалкиным, а со Странниками. Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников. — Он снова помолчал. — Я, откровенно говоря, вообще не представляю, какая сила была способна заставить Тристана назвать мой номер кому бы то ни было, а тем более — Льву Абалкину. Я боюсь, его не просто убили...

— Значит, вы полагаете, что программа гонит его на поиски детонатора?

— Мне больше нечего предполагать.

— Но ведь он понятия не имеет о детонаторах... Или это тоже Тристан?

— Тристан ничего не знал. И Абалкин не знает. Знает программа!

— А как ведет себя Яшмаа? И остальные?

— Все в пределах нормы. Но ведь и значки появились у них не одновременно. Абалкин был первым.

Это надо было понимать так, что в отношении остальных Экселенц уже принял необходимые меры, и, слава богу, мне не надо было знать, что это за меры. Меня это не касалось. Я сказал:

— Вы только поймите меня правильно, Экселенц. Не подумайте, что я стараюсь смягчить, сгладить, приуменьшить... Но ведь вы не видели его. И вы не видели людей, с которыми он общался... Я все понимаю: гибель Тристана, бегство, звонок по вашему спецканалу, скрывается, выходит на Глумову, у которой хранятся детонаторы... Выглядит это совершенно однозначно. Этакая безупречная логическая цепочка. Но ведь есть и другое! Встречается с Глумовой — и ни слова о Музее, только детские воспоминания и любовь. Встречается с Учителем — и только обида, будто бы Учитель испортил ему жизнь... Разговор со мной — обида, будто я украл у него приоритет... Кстати, зачем ему было вообще встречаться с Учителем? Со мной еще — туда-сюда — скажем, он хотел проверить, кто его выслеживает... А с Учителем зачем? Теперь Щеки — дурацкая просьба об убежище, что вообще уже ни в какие ворота не лезет!

— Лезет, Мак. Все лезет. Программа — программой, а сознание — сознанием. Ведь он не понимает, что с ним происходит. Программа требует от него нечеловеческого, а сознание тшится трансформировать это требование во что-то хоть мало-мальски осмысленное... Он мечется, он совершает странные и нелепые поступки. Что-то вроде этого я и ожидал... Для того и нужна была тайна личности: мы имеем теперь хоть какой-то запас времени... А насчет Щекина ты не понял ни черта. Никакой просьбы об убежище там не было. Голованы почуяли, что он больше не человек, и демонстрируют нам свою лояльность. Вот что там было...

Он не убедил меня. Логика его была почти безупречна, но ведь я видел Абалкина, я разговаривал с ним, я видел Учителя и Майю Тойвовну, я разговаривал с ними. Абалкин метался — да. Он совершал странные поступки — да, но эти поступки не были нелепыми. За ними стояла какая-то цель, только я никак не мог понять — какая. И потом, Абалкин был жалок, он не мог быть опасен...

Но все это была только моя интуиция, а я знал цену интуиции. Дешево она стоила в наших делах. И потом, интуиция — это из области человеческого опыта, а мы как-никак имели дело со Странниками...

— Можно еще кофе? — спросил я,

Экселенц поднялся и пошел заваривать новую порцию.

— Я вижу, ты сомневаешься,— сказал он, стоя ко мне спиной.— Я бы и сам сомневался, если бы только имел на это право. Я — старый рационалист, Мак, и я навиделся всякого, я всегда шел от разума, и разум никогда не подводил меня. Мне претят все эти фантастические кунштюки, все эти таинственные программы, составленные кем-то там сорок тысяч лет назад, которые, видите ли, включаются и выключаются по непонятному принципу, все эти мистические внепространственные связи между живыми душами и дурацкими кругляшками, запрятанными в футляр... Меня с души воротит от всего этого!

Он принес кофе и разлил по чашкам.

— Если бы мы с тобой были обыкновенными учеными,— продолжал он,— и просто занимались бы изучением некоего явления природы, с каким бы наслаждением я объявил бы все это цепью идиотских случайностей! Случайно погиб Тристан — не он первый, не он последний. Подруга детства Абалкина случайно оказалась хранительницей детонаторов. Он совершенно случайно набрал номер моего спецканала, хотя собирался звонить кому-то другому... Клянусь тебе, это маловероятное сцепление маловероятных событий казалось бы мне все-таки гораздо более правдоподобным, чем идиотское, бездарное предположение о какой-то там вельзевуловой программе, якобы заложенной в человеческие зародыши... Для ученых все ясно: не изобретай лишних сущностей без самой крайней необходимости. Но мы-то с тобой не ученые. Ошибка ученого — это, в конечном счете, его личное дело. А мы ошибаться не должны. Нам разрешается прослыть невеждами, мистиками, суеверными дураками. Нам одного не простят: если мы недооценили опасность. И если в нашем доме вдруг завоняло серой, мы просто не имеем права пускаться в рассуждения о молекулярных флюктуациях — мы обязаны предположить, что где-то рядом объявился черт с рогами, и принять соответствующие меры, вплоть до организации производства святой воды в промышленных масштабах. И слава богу, если окажется, что это была всего лишь флюктуация, и над нами будет хохотать весь Мировой Совет и все школяры в придачу... — Он с раздражением отодвинул от себя чашку. — Не могу я пить этот кофе, и есть я не могу уже четвертый день подряд...

— Экселенц,— сказал я,— ну что вы, в самом деле... Ну почему обязательно черт с рогами? В конце концов, что плохого мы можем сказать о Странниках? Ну возьмите вы операцию «Мертвый мир»... Ведь они там как-никак насе-

ление целой планеты спасли! Несколько миллиардов человек!

— Утешаешь...— сказал Экселенц, мрачно усмехаясь.— А ведь они там не население спасли. Они планету спасли от населения! И очень успешно... А куда делось население — этого нам знать не дано...

— Почему — планету? — спросил я, растерявшись.

— А почему — население?

— Ну ладно,— сказал я.— Дело даже не в этом. Пусть вы правы: программа, детонаторы, черт с рогами... Ну что он нам может сделать? Ведь он один.

— Мальчик,— сказал Экселенц почти нежно,— ты думаешь над этим едва полчаса, а я ломаю голову вот уже сорок лет. И не только я. И мы ничего не придумали, вот что хуже всего. И никогда ничего не придумаем, потому что самые умные и опытные из нас — это всего-навсего люди. Мы не знаем, чего они хотят. Мы не знаем, что они могут. И никогда не узнаем. Единственная надежда — что в наших метаниях, судорожных и беспорядочных, мы будем то и дело совершать шаги, которых они не предусмотрели. Не могли они предусмотреть всё. Этого никто не может. И все-таки каждый раз, решаясь на какое-то действие, я ловлю себя на мысли, что именно этого они от меня и ждали, что именно этого-то делать не следует. Я дошел до того, что, старый дурак, радуюсь, что мы не уничтожили этот проклятый саркофаг сразу же, в первый же день... Вот тагоряне уничтожили,—и посмотри теперь на них! Этот жуткий тупик, в который они уперлись... Может быть, это как раз и есть следствие того самого разумного, самого рационального поступка, который они совершили полтора века назад... Но ведь, с другой-то стороны, сами себя они в тупике не считают! Это тупик с нашей, человеческой точки зрения! А со своей точки зрения, они процветают и благоденствуют и, безусловно, полагают, что обязаны этим своевременному радикальному решению... Или вот мы решили не допускать взбесившегося Абалкина к детонаторам. А может быть, именно этого они от нас и ждали?

Он положил лысый череп на ладони и замотал головой.

— Мы все устали, Мак,— проговорил он.— Как мы все устали! Мы уже больше не можем думать на эту тему. От усталости мы становимся беспечными и все чаще говорим друг другу: «А, обойдется!» Раньше Горбовский был в меньшинстве, а теперь семьдесят процентов Комиссии приняли его гипотезу. «Жук в муравейнике»... Ах, как это было бы прекрасно! Как хочется верить в это! Умные дяди из

чисто научного любопытства сунули в муравейник жука и с огромным прилежанием регистрируют все нюансы муравьиной психологии, все тонкости их социальной организации... А муравьи-то перепуганы, а муравьи-то суетятся, переживают, жизнь готовы отдать за родимую кучу, и невдомек им, беднягам, что жук сползет в конце концов с муравейника и убредет своей дорогой, не причинив никому никакого вреда... Представляешь, Мак? Никакого вреда! Не суетитесь, муравьи! Все будет хорошо... А если это не «Жук в муравейнике»? А если это «Хорек в курятнике»? Ты знаешь, что это такое, Мак,— «Хорек в курятнике»?..

И тут он взорвался. Он грохнул кулаками по столу и заорал, уставясь на меня бешеными зелеными глазами:

— Мерзавцы! Сорок лет они у меня вычеркнули из жизни! Сорок лет они делают из меня муравья! Я ни о чем другом не могу думать! Они сделали меня трусом! Я шарахаюсь от собственной тени, я не верю собственной бездарной башке... Ну что ты вытаращился на меня? Через сорок лет ты будешь такой же, а может быть и гораздо скорее, потому что события пойдут вскачь! Они пойдут так, как мы, старичье, и не подозревали, и мы всем гуртом уйдем в отставку, потому что нам с этим не справиться. И все это навалится на вас! А вам с этим тоже не справиться! Потому что вы...

Он замолчал. Он уже смотрел не на меня, а поверх моей головы. И он медленно поднимался из-за стола. Я обернулся.

На пороге, в проеме распахнутой двери, стоял Лев Абалкин.

4 июня 78 года. ЛЕВ АБАЛКИН В НАТУРЕ.

— Лева!— произнес Экселенц изумленно-растроганным голосом.— Боже мой, дружище! А мы с ног сбились, вас разыскивая!

Лев Абалкин сделал движение и вдруг сразу оказался возле стола. Без сомнения, это был настоящий Прогрессор новой школы, профессионал, да еще из лучших, наверное,— мне приходилось прилагать изрядные усилия, чтобы удерживать его в своем темпе восприятия.

— Вы — Рудольф Сикорски, начальник КОМКОНа-2,— произнес он тихим, удивительно бесцветным голосом.

— Да,— отозвался Экселенц, радушно улыбаясь.— А почему так официально? Садитесь, Лева...

— Я буду говорить стоя,— сказал Лев Абалкин.

— Бросьте, Лева, что за церемонии? Садитесь, прошу вас. Нам предстоит долгий разговор, не правда ли?

— Нет, неправда,— сказал Абалкин. На меня он даже не взглянул.— У нас не будет долгого разговора. Я не хочу с вами разговаривать.

Экселенц был потрясен.

— Как это — не хотите? — спросил он.— Вы, дорогой, на службе, вы обязаны отчетом. Мы до сих пор не знаем, что случилось с Тристаном... Как это — не хотите?

— Я — один из «тринадцати»?

— Этот Бромберг...— проговорил Экселенц с досадой.— Да, Лева. К сожалению, вы—один из «тринадцати».

— Мне запрещено находиться на Земле? И я всю жизнь должен оставаться под надзором?

— Да, Лева. Это так.

Абалкин великолепно владел собой. Лицо его было совершенно неподвижно, и глаза были полузакрыты, словно он дремал стоя. Но я-то чувствовал, что перед нами человек в последнем градусе бешенства.

— Так вот я пришел сюда сказать,— произнес Абалкин все тем же тихим бесцветным голосом,— что вы поступили с нами глупо и гнусно. Вы исковеркали мою жизнь и в результате ничего не добились. Я — на Земле и более не намерен Землю покидать. Прошу вас иметь в виду, что и надзора вашего я больше не потерплю и избавляться от него буду беспощадно.

— Как от Тристана? — небрежно спросил Экселенц.

Абалкин, казалось, не слышал этой реплики.

— Я вас предупредил,— сказал он.— Теперь пеняйте на себя. Я намерен теперь жить по-своему и прошу больше не вмешиваться в мою жизнь.

— Хорошо. Не будем вмешиваться. Но скажите мне, Лев, разве вам не нравилась ваша работа?

— Теперь я сам буду выбирать себе работу.

— Очень хорошо. Великолепно. А в свободное от работы время пораскиньте, пожалуйста, мозгами и попробуйте представить себя на нашем месте. Как бы вы поступили с «подкидышами»?

Что-то вроде усмешки промелькнуло на лице Абалкина.

— Здесь нет материала для размышлений,— сказал он.— Здесь все очевидно. Надо было мне все рассказать, сделать меня своим сознательным союзником...

— А вы бы через пару месяцев покончили с собой? Страшно ведь, Лева, ощущать себя угрозой для человечества, это не всякий выдержит...

— Чепуха. Это все бредни ваших психологов. Я — землянин! Когда я узнал, что мне запрещено жить на Земле, я чуть не спятил! Только андроидам запрещено жить на Земле. Я мотался, как сумасшедший, — искал доказательств, что я не андроид, что у меня было детство, что я работал с головами... Вы боялись свести меня с ума? Ну так это вам почти удалось!

— А кто сказал, что вам запрещено жить на Земле?

— А что — это неправда? — осведомился Абалкин. — Может быть, мне разрешено жить на Земле?

— Теперь — не знаю... Наверное, да. Но посудите сами, Лева! На всем Саракше только один Тристан знал, что вы не должны возвращаться на Землю. А он вам этого сказать не мог... Или все-таки сказал?

Абалкин молчал. Лицо его по-прежнему оставалось неподвижным, но на матово-бледных щеках проступили серые пятна, словно следы старых лишаев, — он сделался похож на пандейского дервиша.

— Ну, хорошо, — сказал, подождав, Экселенц. Он демонстративно разглядывал свои ногти. — Пусть Тристан вам это все-таки рассказал. Не понимаю, почему он это сделал, но — пусть. Тогда почему он не рассказал вам остальных? Почему он не рассказал вам, что вы — «подкидыш»? Почему не объяснил причин запрета? Ведь были же причины, — и весьма существенные, что бы вы об этом ни думали...

Медленная судорога прошла по серому лицу Абалкина, и оно вдруг потеряло твердость и словно бы обвисло — рот полуоткрылся, и широко раскрылись, как бы в удивлении, глаза, и я впервые услышал его дыхание.

— Я не хочу об этом говорить... — громко и хрипло произнес он.

— Очень жаль, — сказал Экселенц. — Нам это очень важно.

— А мне важно только одно, — сказал Абалкин. — Что бы вы оставили меня в покое.

Лицо его сделалось, как прежде, твердым, опустились веки, с матовых щек медленно сходили серые пятна. Экселенц заговорил совсем другим тоном:

— Лева, разумеется, мы оставим вас в покое. Но я умоляю вас: если вы вдруг почувствуете в себе что-то непривычное, непривычное ощущение... какие-нибудь странные мысли... просто больным себя почувствуете... Умоляю, сообщите об этом. Ну пусть не мне. Горбовскому. Комову. Бромбергу, в конце концов...

Тут Абалкин повернулся к нему спиной и пошел к двери. Экселенц почти кричал ему вслед, протягивая руку:

— Только сразу же! Сразу! Пока вы еще землянин! Пусть я виноват перед вами, но Земля-то не виновата ни в чем!..

— Сообщу, сообщу,— сказал Абалкин через плечо.— Лично вам.

Он вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь.

Несколько секунд Экселенц молчал, вцепившись обеими руками в подлокотники кресла, и напряженно прислушивался. Затем скомандовал вполголоса:

— За ним. Ни в коем случае не упускать. Связь через браслет. Я буду в Музее.

4 июня 78 года. ЗАВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИИ.

Выйдя из здания КОМКОНа-2, Лев Абалкин неторопливо, праздной походкой проследовал по улице Красных Кленов, зашел в кабину уличного видеофона и с кем-то переговорил. Разговор длился две минуты с небольшим, после чего Лев Абалкин все так же неторопливо, заложив руки за спину, свернул на бульвар и устроился там на скамейке возле постамента с барельефом Строгова.

По-моему, он очень внимательно прочитал все, что было высечено на постаменте, потом рассеянно огляделся и минут двадцать сидел в позе человека, отдыхающего от тяжелой работы: раскинул руки поверх спинки скамьи, откинул голову и вытянул на середину аллеи скрещенные ноги. К нему собрались белки, одна прыгнула на плечо и ткнулась мордочкой в ухо. Он громко рассмеялся, взял ее в ладони и, подобрав ноги, посадил на колено. Белка так и осталась сидеть. По-моему, он разговаривал с нею. Солнце только что взошло, улицы были почти пусты, а на бульваре кроме него не было ни души.

Я не питал, конечно, никаких иллюзий, что мне удалось остаться незамеченным. Безусловно, он знал, что я не спускаю с него глаз, и, наверное, уже прикинул про себя, как ему от меня избавиться при необходимости. Но не это меня занимало. Меня беспокоил Экселенц. Я не понимал, что он затеял.

Он приказал мне найти Абалкина. Он хотел встретиться с Абалкиным, чтобы поговорить с ним один на один. По крайней мере, так было вначале, три дня назад. Потом он убедился, а точнее сказать — убедил себя, что Абалкин неизбежно должен выйти на детонаторы. Тогда он устроил засаду. О разговорах тет-а-тет речи уже не было. Был

приказ — «брать его, как только он прикоснется к платку». И был пистолет. По-видимому, на тот случай, если взять не удастся. Хорошо. Теперь Абалкин приходит к нему сам. И простым глазом видно, что Экселенцу нечего сказать Абалкину. Ничего удивительного: Экселенц убежден, что программа работает, а в этом случае разговаривать с Абалкиным бессмысленно. (Работает ли программа на самом деле — на этот счет были разные мнения, но это роли не играло. Прежде всего мне надо было понять замысел Экселенца).

Итак, он отпускает Абалкина. Вместо того чтобы взять его прямо в кабинете и отдать в распоряжение врачей и психологов, он его отпускает. Над Землей нависла угроза. Чтобы ее предотвратить, достаточно изолировать Абалкина. Это можно было бы сделать самыми элементарными средствами. И поставить точку по крайней мере на этом деле. Но он отпускает Абалкина, а сам идет в Музей. Это может означать только одно: он совершенно уверен, что Абалкин в ближайшее время тоже явится в Музей. За детонаторами. За чем же еще? (Казалось бы, чего проще — сунуть этот янтарный футляр в списанный «призрак» и загнать в подпространство до скончания времен... К сожалению, делать этого, конечно, нельзя: это был бы необратимый поступок.)

Абалкин является в Музей (или прорывается с боем — ведь там его ждет Гриша Серосовин)... В общем, он является в Музей и снова видит там Экселенца. Картина. И вот там-то происходит настоящий разговор...

Экселенц его убьет, подумал я. Господи помилуй, в панике подумал я. Он сидит здесь и играет с белочками, а через час Экселенц его убьет. Ведь это же просто, как репа. Экселенц для того и ждет его в Музее, чтобы досмотреть это кино до конца, чтобы понять, своими глазами увидеть, как это все происходит, как автомат Странников отыскивает дорогу, как он находит янтарный футляр (глазами? по запаху? шестым чувством?), как он открывает этот футляр, как выбирает свой детонатор, что он намеревается делать с детонатором... только намеревается, не больше, ведь в ту же секунду Экселенц нажмет спусковой крючок, потому что рисковать дальше будет уже нельзя.

И я сказал себе: ну нет, этого не будет. Нельзя сказать, чтобы я тщательно продумал все последствия своего поступка. Если говорить откровенно, я их не продумал вовсе. Просто я вошел в аллею и направился прямо к Абалкину.

Когда я подошел, он глянул на меня искоса и отвернулся. Я сел рядом.

— Лева,— сказал я,— уезжайте отсюда. Сейчас же.

— По-моему, я просил оставить меня в покое,— сказал он прежним тихим и бесцветным голосом.

— Вас не оставят в покое. Дело зашло слишком далеко. Никто не сомневается в вас лично. Но вы для нас больше не Лева Абалкин. Левы Абалкина больше нет. Вы для нас — автомат Странников.

— А вы для меня — банда взбесившихся от страха идиотов.

— Не спорю,— сказал я.— Но именно поэтому вам надо удирать отсюда, как можно дальше и как можно быстрее. Летите на Пандору, Лева, поживите там несколько месяцев, докажите им, что никакой программы внутри вас нет.

— А зачем? — сказал он.— Чего это ради я должен кому-то что-то доказывать? Это, знаете ли, унинительно.

— Лева,— сказал я.— Если бы вы встретили перепуганных детей, неужели вам показалось бы унинительным повалить дурака перед ними, чтобы их успокоить?

Он впервые глянул мне прямо в глаза. Он смотрел долго, почти не мигая, и я понял, что он не верит ни одному моему слову. Перед ним сидел взбесившийся от страха идиот и старательно врал, чтобы снова загнать его на край Вселенной, но теперь без всякой надежды на возвращение.

— Бесполезно,— сказал он.— Прекратите эту болтовню и оставьте меня в покое. Мне пора.

Он осторожно отогнал белок и поднялся. Я тоже поднялся.

— Лева,— сказал я,— вас убьют.

— Ну, это не так просто сделать,— небрежно отозвался он и пошел вдоль аллен.

Я пошел рядом с ним. Я все время говорил. Нес какую-то чушь, что-де это не тот случай, когда можно позволить себе обижаться, что глупо-де рисковать жизнью из-за одной только гордости, что-де стариков тоже надо бы понять — они сорок лет живут как на иголках... Он отмалчивался или отвечал колкостями. Раз или два он даже улыбнулся — мое поведение, кажется, забавляло его. Мы прошли до конца аллеи и свернули на Сиреневую улицу. Мы шли к площади Звезды.

Людей на улице было уже довольно много. Это не входило в мои планы, но и не особенно им мешало. Может же человеку стать дурно на улице, и в таких случаях должен же кто-то доставить потерявшего сознание человека к ближайшему врачу... Я доставлю его на наш ракетодром, это недалеко, он даже не успеет очухаться. Там всегда нагото-

не два-три дежурных «призрака». Я вызову туда Глумову, и мы втроем высадимся на зеленой Ружене, в моем старом лагере. По дороге я ей все объясню, и провались она в тартарары — тайна личности Льва Абалкина... Так. Вон у обочины подходящий глайдер. Свободный. То, что нужно...

Когда я очухался, голова моя покоилась на теплых коленях незнакомой пожилой женщины, и я был словно на дне колодца, и на меня сверху вниз встревоженно глядели незнакомые лица, и кто-то предлагал не тесниться и дать мне больше воздуха, и еще кто-то заботливо подсовывал к моему носу ядовито пахнущую ампулу, а рассудительный голос вещал в том смысле, что оснований для тревоги никаких нет — может же стать человеку дурно на улице...

Тело мое казалось мне туго надутым воздушным шаром, который с тихим звоном колышется над самой землей. Боли не было. Судя по всему, я попался на самый обыкновенный «поворот вниз», проведенный, правда, из такой позиции, из которой его никто и никогда не проводит.

— Ничего, он уже очнулся, все будет в порядке...

— Лежите, лежите, пожалуйста, вам стало дурно...

— Сейчас будет врач, ваш друг уже побежал за ним.

Я сел. Меня поддерживали за плечи. Внутри меня по-прежнему звенело, но голова была совершенно ясной. Я должен был встать, однако пока это было не в моих силах. Сквозь частокол ног и тел, окружавших меня, я видел, что глайдер исчез. И все-таки Абалкин не сумел довести дело до конца. Попади он на два сантиметра левее, я провалился бы без памяти до вечера. Но то ли он промахнулся, то ли сработал у меня защитный рефлекс...

Со свистящим шелестом рядом опустился глайдер, и прямо через борт его сквозь толпу устремился сухопарый мужчина, на ходу вопрошая: «Что тут случилось? Я врач!..»

И откуда только у меня ноги взялись! Я вскочил ему навстречу и, схватив за рукав, толкнул к пожилой женщине, которая только что поддерживала мою голову и все еще стояла на коленях.

— Женщине плохо, помогите ей...

Язык едва слушался меня. В ошарашенной тишине я пробрался к глайдеру, перевалился через борт на сиденье и включил двигатель. Я еще успел услышать изумленно-протестующий вопль: «Но позвольте же!..», а в следующее мгновение подо мной распахнулась залитая утранным солнцем площадь Звезды.

Все было как в повторном сне. Как шесть часов назад. Я бежал из зала в зал, из коридора в коридор, лавируя между стендами и витринами, среди статуй и макетов, по-

хожих на бессмысленные механизмы, среди механизмов и аппаратов, похожих на уродливые статуи, только теперь все вокруг было залито ярким светом, и я был один, и ноги подо мной подкашивались, и я не боялся опоздать, потому что был уверен, что обязательно опоздаю.

Уже опоздал. Уже.

Треснул выстрел. Негромкий сухой выстрел из «герцога». Я споткнулся на ровном месте. Все. Конец. Я побежал из последних сил. Впереди справа мелькнула между безобразными формами фигура в белом халате. Гриша Серосовин по прозвищу Водолей. Тоже опоздал.

Треснули еще два выстрела, один за другим... «Лева. Вас убьют». — «Это не так просто сделать...» Мы ворвались в мастерскую Майи Глумовой одновременно — Гриша и я.

Лев Абалкин лежал посередине мастерской на спине, а Экселенц, огромный, сгорбленный, с пистолетом в отставленной руке, мелкими шажками осторожно приближался к нему, а с другой стороны, придерживаясь за край стола обеими руками, к Абалкину приближалась Глумова.

У Глумовой было неподвижное, совсем равнодушное лицо, а глаза ее были страшно и неестественно скошены к переносице.

Шафранная лысина и слегка обвисшая обращенная ко мне щека Экселенца были покрыты каплями пота.

Остро, кисло, противоестественно воняло пороховой гарью.

И стояла тишина.

Лев Абалкин был еще жив. Пальцы его правой руки бессильно и упрямо скребли по полу, словно пытались дотянуться до лежащего в сантиметре от них серого диска детонатора. Со знаком в виде то ли стилизованной буквы «Ж», то ли японского иероглифа «сандзю».

Я шагнул к Абалкину и опустился возле него на корточки. (Экселенц каркнул мне что-то предостерегающее.) Абалкин стеклянными глазами смотрел в потолок. Лицо его было покрыто давешними серыми пятнами, рот окровавлен. Я потрогал его за плечо. Окровавленный рот шевельнулся, и он проговорил:

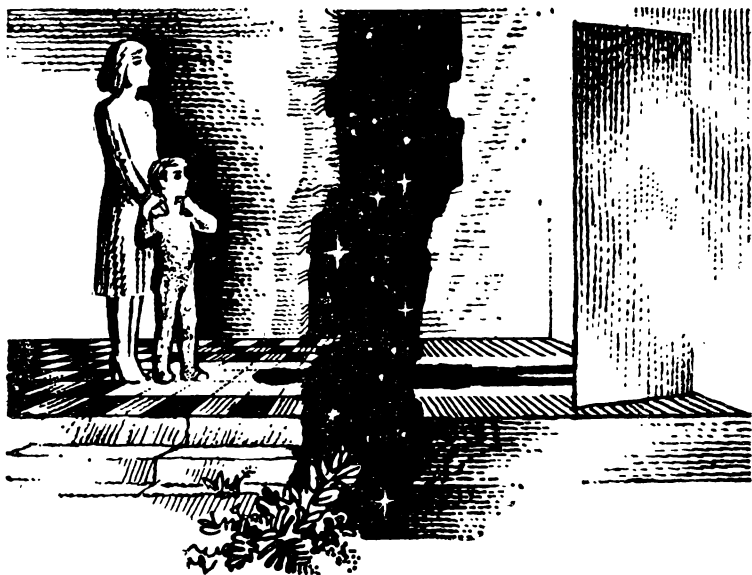
— Стояли звери около двери...

— Лева,— позвал я.

— Стояли звери около двери,— повторил он настойчиво. Около двери...

И тогда Майя Тойвовна Глумова закричала.

Ноябрь 1978 — апрель 1979



Наталия Никитайская

Солнце по утрам

РАССКАЗ

Тебе, конечно же, не понравится первый вариант начала. Ты сочтешь его несколько нескромным. Ты вообще большой скромник. Хорошо, с оглядкой на тебя я напишу по-другому. Но сохраню место действия. Итак, на сцене ванная, ты под душем, только я не буду стоять тут же, расчесывая перед зеркалом еще не просохшие волосы, а поведу разговор из кухни, и ты якобы не все будешь слышать из-за шума воды. Замечу, настроение у нас прекрасное — так и было, — и если пробегает иногда тень моей обиды, то пробежки ее так стремительны, что ты их не замечаешь.

Немного о тебе: ты выдающийся биолог со всякими степенями и званиями. До сих пор для меня загадка, как ты добился их при своей великолепной стеснительности. Тебе тридцать пять. Женщин знал мало. И если любил их, то как-то вяло. А женщины тебя любили. Ты красивый. Сдержанный. Умный. Вот разве что суховатый немного, Глав-

ное в тебе — трудолюбие. В этом смысле ты побиваешь всех. Если бы среди биологов, как и у футболистов, велся подсчет точно забитых идей, то ты сверкал бы ярче Пеле. Впрочем, ты и сверкаешь.

Теперь я. Мне тридцать. Я разведена. Живу с сыном в однокомнатной квартире. Работаю на небольшом заводе в юротделе. Весь отдел три человека: Марья — начальница, Борис Петрович — юрист и я — на оформлении документов. Образование у меня среднее техническое. По вечерам я занимаюсь сыном. А когда ухожу к тебе, сын остается с соседкой по площадке, милой пожилой женщиной.

Да, совсем забыла сказать: тебя зовут Евгений, меня Ольга. Мой сын — Юрка, по прозвищу Ученый.

Все ли я рассказала? Нет, не все. Непонятно, как мы познакомились. А проще простого. Тебя культсектор нашего заводского комитета пригласил рассказать о влиянии загрязнения окружающей среды на человеческий организм. Ты приехал, от оплаты отказался. Рабочие это одобрили. Одобрили они и твой рассказ. Сейчас принято говорить доступно. Но ты говорил еще и увлеченно-образно. Ты был отчетлив. И так отчетливо я вижу тебя между столом президиума и обшарпанной трибуной. И ты говоришь не в микрофон. И так часто смотришь на меня, что я, кажется, сквозь землю провалилась бы от счастья. Короче, я влюбилась в тебя с первого взгляда. И осталась, якобы задать вопрос. И ты — господи! как я понимаю теперь, чего тебе это стоило! — предложил мне объяснить все по дороге до моего дома. Это было всего четыре года назад. Я сама в тот вечер тебя поцеловала. И ты так припал ко мне, что на секунду я даже ощутила свое превосходство. Но я еще не знала тебя. И не думала, что ты, перебрав в уме весь этот вечер, посчитаешь меня легкомысленной. Тогда ты еще не оценил моей влюбленности и порыва. Но тот порыв, который свалился на тебя, ты оценил сразу. А после первой нашей ночи — как же долго пришлось мне ждать ее! — стало ясно: нам друг без друга никак.

Тут пора остановиться. Всего, что было у нас за четыре года, не пересказать, да и по сюжету этого не требуется.

Вернемся к разговору, который происходит, пока ты под душем, а я как будто готовлю для нас ужин.

— Где сметана? Неужели ты опять поставил сметану в морозилку?

— Чего?

— Сметану, говорю, ты опять заморозил!

— Не придирайся! Это мелочи по сравнению с твоими туфлями!

Это о том, что я купила в магазине отличную пару туфель, только обе туфли были на одну ногу.

— Верно сказано: два сапога пара,— намекаю я на то, что пора бы и пожениться.

Ты не слышишь ни слов, ни интонации.

Не слышишь. Наверное, замотал голову полотенцем. Точно. Выходишь закутанный, лицо влажное, сияющее.

— Ну, какую отраву ты мне сегодня приготовила?

Ты любишь поест, и я стараюсь вовсю, чтобы тебе угодить.

— Нет, ничего, ничего, вкусно...

— Понравилось? В кои-то веки угодила...

Ты взглядываешь на меня, отрывая глаза от тарелки, быстро и преданно.

— Останешься ночевать?

— Нет. Обещала Ученому начертить график дежурства его звездочки.

— Командир?

— А я тебе не говорила? Радовался вчера весь вечер.

— Радостный ребенок.

— Приносит мне радость.

— Я к нему тоже привязан.

— Только видишь редко.

— Ну, Оля...

— Молчу, молчу.

Ты подходишь. И обнимаешь меня за плечи. От ласки я глупею и иду напролом:

— Женя, давай поженимся.

— Женщина, Оля,— говоришь ты, радостно усмехась,— должна ждать, когда ее позовут замуж. Не выполняя мужских функций.

— Насчет функций ты все знаешь лучше меня. А я во все и не делаю тебе предложения, а уговариваю тебя сделать его мне.

— Ага! А ты подумаешь и откажешься!— выдвигаешь ты предположение настолько нелепое, что мы оба смеемся.

Ты знаешь, как я люблю твои шутки. Каждая новая встреча прибавляла к нашим отношениям раскованности и тепла. И один из признаков того и другого — твой юмор.

Но наши встречи, особенно в последнее время, будили не только хорошее. Вернее, вся жизнь — моя во всяком случае — делилась на периоды: мы вместе и мы врозь. И так как первые были гораздо реже вторых, а вторые — опять-таки для меня — означали горькое одиночество, а моя эмоциональная натура горечь эту умела как-то преувели-

ченно переживать, а когда мы были вместе, я не позволяла себе выплескивать отрицательные эмоции, считая, что слезы и упрёки оттолкнут тебя,— то и умноженного с годами тепла мне все-таки не хватало для душевного спокойствия.

И поэтому сегодня мне захотелось получить ответ.

— Ну, а все-таки?

— Оля! Олешек! Не гожусь я в мужья — не созрел еще, видимо...

— Созрешь — скажешь... — Мне было обидно.

— Скажу. И учти, если это случится, то только тебе, и тебе первой...

Ты всегда чувствовал, что настала пора погладить по головке. Я приняла жест.

— Не обманывай. Одной женщине ты уже сделал предложение, для нее ты уже созрел.

— Вот как? Кто же она?

— У нее звучное имя. Она кровожадна и точна. Неуловима и прекрасна. Она — вамп. Она — неженка. И ее ты любишь больше всех!

— Да кто же это? От такой я бы, конечно, не отказался!

— Ее имя Биология! И я ревную тебя к этой косой красотке.

— Почему это косой?

— Один глаз ее не посмотрится на точные науки, другой подмигивает гуманитарщине, а интересуют ее только смертные творения.

— Не хули ее за это. Ведь и мы такие творения. А как можно не интересоваться мною?

— Слушай, а она может так обнять? И поцеловать? — Я прижалась губами к твоему уху и зашептала, как шаман молитву: — Ну почему, почему два человека, такие подходящие друг другу, такие любящие... Нет, по-моему, мы сами лишаем себя счастья...

Ты прижимаешь меня. Но это не столько любовное, сколько приниженное объятие.

Как ты ускользаешь от главного решения! Как умеешь совместить несовместимое: быть со мной и держать меня на расстоянии! Я не понимаю, что тебе мешает быть, как другие, не могу понять. Но видеть тебя приниженным не хочу и поэтому откатываю назад.

— Впрочем, мы ведь и так счастливы, правда?

— Правда, правда, — повторяешь ты облегченно.

Надо отметить, что потерять меня ты боишься. Боишься, что я не выдержу такой жизни: встречи в неделю раз,

скупые разговоры по телефону, частые твои поездки — без тебя почему-то ни один международный симпозиум не обходится.

Но я выдерживаю. И Марию с ее подъелдыкиванием: «Ну что у тебя за характер, Ольга! С мужем не ужилась. И этот на тебе не женится». Говорится это не всерьез, но по странному стечению обстоятельств всегда после того, как я проявляю недовольство стилем Мариного руководства. Повторяю, терплю Марию, терплю твою нерешительность, одиночество, которого ты почему-то не чувствуешь, смиряю себя и свою нетерпеливость. Смиряюсь, потому что люблю тебя и боюсь потерять.

Видишь, что получается: мы оба боимся потерять друг друга. И оба любим Юрку. Правда, ты редко его видишь.

Вот иду, иду. Приближаюсь к главным событиям и все боюсь что-нибудь упустить. Так и есть. Не объяснила прозвища сына. Ученым его стали называть чуть ли не с яслей. Он, как ты выражаешься, ребенок с частыми проблесками гениальности. Тебе нравится логичность в его рассуждениях и поступках. Ты видишь в нем будущего математика. А я считаю, что Юрка больше склонен к искусству: он очень эмоционален. Из всей нашей троицы: ты, я, он — я самая неодаренная. Я обыкновенная.

Ну, а теперь о самом важном. Если бы это был исторический труд, здесь обязательно употребили бы слова: «поворотный момент». Ведь и вправду все перевернулось. Смена декораций произошла так внезапно, как это возможно только в волшебном театре. Я шагнула за порог. Ты вышел на площадку и стоял на лестнице, придерживая дверь. Мне было не так уж весело. Кончилась еще одна встреча. И все, как раньше. Ничего не изменилось. Я возвращалась к обычной жизни — без тебя. На прощание я погладила рукав твоего махрового халата. И провалилась. Даже вскрикнуть не успела. Провалилась в небытие. Потом ты рассказывал то же самое: «Ты дотронулась до рукава. Это было так нежно. Мне стало так тепло. И вдруг — полное отключение. Как сон. Или смерть».

Почему они выбрали именно нас? Кто знает, как они углядели нас среди миллиардов землян? Но, так или иначе, началось второе действие. Инопланетный корабль. Светящиеся тексты на стене в большом, выстроенном специально для нас помещении. Первый текст был такой: «Приветствуем землян на нашем корабле. Мирные лазутчики». Потом слово «лазутчики» погасло и вместо него появились два: «разведчики Вселенной». Табло напомнило мне аксаковский «Аленький цветочек». А то, что их переводчик не

всегда сразу находит синонимы в нашем языке, было таким человеческим. Почему-то я сразу поняла, что происходящее — реальность. Ты стоял рядом напряженный. И это напряжение готово было вот-вот перейти в восхищение. Ты тоже поверил. И был потрясен. Но какое потрясение могло остановить работу твоего ума? Ты мысленно подвергал анализу свои впечатления, ты хотел узнать, при помощи каких сил удалось этим «лазутчикам» погасить сознание, а затем снова его возродить, не повредив ничего, ничего не нарушив. Ты пытался разобраться в происшедшем объективно и беспристрастно. Но разве сразу такое возможно! Ты стал задавать вопросы. Тебе отвечали. Но ответы — я видела — не удовлетворяли тебя. Я попробовала понять ваш разговор, но после нескольких внушительных формул, произнесенных тобой скороговоркой, отказалась от попытки, просто крепко прижалась к тебе, найдя в этом спасение от непонятного. Но не улавливая смысла беседы, я ощутила, как в тебе растет раздраженность и как ты изо всех сил пытаешься ее подавить. Уж мне ли не разбираться в твоих вроде бы спокойных интонациях, в том полном отсутствии жестов — ты как будто леденеешь весь, — которые характерны для тебя рассерженного. Я и наблюдала-то тебя таким раза два-три, не больше. И дала себе слово никогда впредь до такого состояния тебя не доводить. Это были случаи, когда я могла потерять тебя. И поэтому сейчас я испугалась. Но тут ты спросил понятно:

— Так вы хотите, чтобы мы полетели с вами?

Я насторожилась. Ответ «Да» на табло значил для меня слишком много. Я оттолкнула тебя и отчаянно закричала:

— А Юра?! Я хочу домой! У меня сын!

Ты схватил меня, сжал.

— погоди, успокойся! Читай!

Я ничего не видела. От горя у меня закрывались глаза: я представляла себе Юрку осиротевшим, обездоленным. Я вырвалась, я металась. А ты пытался остановить меня и что-то говорил, говорил... Но за своими криками: «Домой! Я хочу домой!» — я ничего не слышала.

— Твой сын здесь! Ты видишь, там написано: твой сын здесь!

Слова доходили не сразу. А когда дошли, я упала на пол и заплакала. Сквозь плач я все-таки слышала твой вопрос:

— Мы имеем право отказаться от полета?

Я взглянула на экран. Какое-то время он был затума-

нен. Потом я увидела: «Да. Все вместе или избирательно. Через две недели».

Я повторила:

— Две недели... — Ко мне вернулась трезвость, и я сказала почти тихо: — Хотелось бы остаться с тобой наедине.

Табло погасло. Задвинулись шторы. Я оглядела комнату и нас. Комната как комната. А вот мы! Ты в халате, в домашних тапочках. Я в пальто, косынка выбилась, берет валяется на полу. Лица у обоих возбужденные. Я сняла пальто, подобрала берет и села в кресло рядом с тобой. Ты задумчиво произнес:

— Первый опыт завершен. Что мы имеем? Реакция земного ученого. Степень материнской привязанности. Рассудок и эмоции. Для начала неплохо.

— Ты о чем?

— Так, ерунда. Кто знает, какие у них методы...

— Почему ты так?.. — Я не могла найти подходящего определения, чтобы не задеть тебя. — Чем «они» тебе не понравились?

Ты на секунду напрягся, но сразу овладел собой.

— Меня водили за нос.

— Да, с тобой этого лучше не делать.

— Не издевайся! Я почувствовал себя неандертальцем. Я еще не дорос до их дел!

— Чувство, конечно, неприятное и для тебя непривычное. Но, наверное, мы до них и правда не доросли.

— Ты права. Но не будем об этом, а то поссоримся раньше времени.

— Ты предвидишь ссоры? — Я не любила, когда ты прогнозировал плохое, потому что твои прогнозы, как правило, сбывались.

— Оленька, давай помолчим.

Я смолкла. И только сейчас вспомнила: надо пойти посмотреть, как там Юра. Но тут открылась дверь и в проеме возник он сам.

— Ма, а, ма! И кто это догадался постелить мне то короткое одеяло, которым я укрывался в детстве? Я лежу под ним, как пень враскорячку — все корни наружу.

— Иди сюда!

Он подошел. Я обняла его, теплого, живого.

— Здравствуйте, дядя Женья!

— Привет, Ученый!

— Сыграем?

— Завтра.

Имелись в виду шахматы. И ты уже не один раз Юрке проиграл.

— Завтра, завтра, не сегодня, так лентяи говорят. — Сын был обижен и по-своему мстил за обиду.

— Шел бы лучше спать. Держи. — Я стянула с дивана плед.

— Ладно уж. — Юрка удалился, волоча плед по полу и всей спиной подчеркивая свою независимость.

Ты сидел и молчал. Мне тоже было о чем подумать. Я еще не до конца поняла, что же произошло. А вдруг все это: провал, корабль, две недели, полет в неизвестность, таинственные собеседники — какая-то грандиозная мистификация, или попросту все это мне снится. Что ж, в таком случае я проснусь и это будет самый фантастический сон из всех, которые мне снились. А если нет? Да ведь то, что случилось, — необыкновенная удача для меня. Ты, я, Юрка — вместе и теперь уже точно — на всю жизнь. А не об этом ли я мечтала последние годы? Как часто я представляла себе нашу семью, видела тебя хорошим мужем и отцом, себя — любящей женой и заботливой хозяйкой, сына, которому тепло и радостно расти в нашем доме. Я еще раз огляделась. Мирно выглядели занавески на окнах, стол, покрытый скатертью, ковер под ногами, привычная мне мебель — смесь мебелировки твоей и моей квартир. Я встала, подошла к двери, из которой появился Юрка, приоткрыла ее: детская. Еще дверь — кухня. Еще одна — спальня. Квартира была большой и удобной. Только нигде я не нашла выхода из этой квартиры. Выглянула в окно. Пелена. И ничего, что можно было бы разглядеть за нею.

Ты спокойно наблюдал за моими действиями. Я вернулась к тебе, села перед тобой на корточки, уткнулась лицом в твои колени. Ты вздрогнул. Между нами прокатилась волна. Ты поцеловал меня в затылок, в шею, в плечо. Но вдруг резко прервал поцелуй:

— Нет!

— Чего ты?

Мне не нужно было твоего ответа. Я и так почувствовала, как ты замкнулся. И поняла причину. Я и сама машинально оглянулась на табло.

— Ты из-за «этих»? Ты думаешь, они смотрят?

— А ты как думаешь?

— Да уж... — Нельзя сказать, что я сразу оценила последствия этого открытия, но сейчас ласка была отравлена. Я отстранилась, хотя и осталась сидеть на полу, у твоих ног. — Нам надо лететь?

— Понимаешь...

— Я все понимаю, дорогой. Все. Это как исполнение

мечты. Ты ведь ученый. И перед тобой, перед первым —
иная цивилизация...

— Что дал тебе осмотр? Мы в изоляции?

— Ну, не у всех бывают такие удобные камеры и
такие приятные сокамерники...

— Так ты уверена, что это правда?

— Не знаю.

— Вот то-то же. Нет, Ольга, в тебе пропал исследова-
тель. Сомнение — начало всех начал. И пока я не пошу-
паю «их»...

Я уловила в тебе что-то похожее на угрозу.

— Как ты себя чувствуешь? — Ты смотрел на меня
с заботой, окупавшей для меня тяготы этого вечера. Но
чувствовала я себя неважно.

— Честно говоря, немного измочалена.

Ты как будто и не ожидал другого ответа.

— Да. Я тоже устал. Há таблетку. Поспи.

— А ты?

— Я еще немного посижу, подумаю. И тоже лягу. —
Ты улыбнулся, и с легкомыслием, на которое, по твоему
мнению, был способен, спросил: — Ну и как ты представля-
ешь, какие «они»?

Я опять вспомнила «Аленький цветочек».

— Страшилища, раз не могут показаться добрым лю-
дям на глаза.

Во второй раз за сегодняшний день ты посмотрел на
меня с благодарностью.

— Ничего не бойся.

— Я не боюсь, милый. Ты со мной.

Я действительно еще ничего не боялась. Таблетку пить
не стала — знала, что и без нее засну моментально. Так и
случилось.

Когда я проснулась, ты уже не спал. Сидел на краю
моей постели и смотрел на меня.

— Доброе утро, — сказала я.

— Какая ты красивая!

— Да ты что!

— Я всегда, когда нам случалось просыпаться вместе,
смотрел на тебя и не мог привыкнуть, какая ты красивая.
И не привыкну никогда.

— Привыкнешь. Теперь мы каждый день будем вме-
сте. Мы вместе на-всег-да!

Я сама еще не освоилась с этой мыслью. И неслыхан-
ное счастье обожгло меня, едва я произнесла это отдель-
ное «на-всег-да». Я легко поднялась, накинула халат.

Умылась. Занялась завтраком для своих мужчин. Мне еще никогда не было так хорошо! Если бы ты знал, как мне в этот момент было хорошо! Впрочем, ты знал. Ты всегда видел и понимал мое состояние лучше меня.

Мы позавтракали втроем. Ты был сосредоточеннее, чем обычно, но я легко оправдала тебя: опять идеи, опять наука — я не сомневалась, что даже в таком неопределенном положении, в каком мы оказались, ты попытаешься найти просветы, зацепки, чтобы загадочное стало тебе понятным — то есть опять то, в чем я не разбиралась. Но и раньше, на Земле, я не мешала тебе работать. Неужели я стану делать это здесь?!

Я с удовольствием подавала на стол. И кажется, кроме меня, особенную радость от того, что мы вместе, испытывал Юрка.

— Дядя Женя! Мама! — Он задавал пустяковые вопросы, обращаясь попеременно к нам обоим, и видно было, что ему хотелось бы, чтобы этот завтрак длился как можно дольше.

Я чмокнула Юрку в щеку, выставила его из-за стола, прикоснулась к твоим пальцам — ты руку убрал. «Неприятно это подглядывание», — подумалось мне, но вслух я этого не произнесла. Зачем портить радость? Мне казалось, что все утрясется. Я вспомнила, как Марья назвала меня недавно твердолюбой оптимисткой. Я улыбнулась этому воспоминанию. Ведь если вдуматься, мой оптимизм еще не подводил меня. Я не только встретила и удержала тебя, я к тому же и впрямь буду для тебя единственной на свете!

Дальше в пьесе, которую мы разыграли, все более или менее мирно. Мы облазили доступные нам помещения. Юрке сказали, что будем пока жить одни на сказочном корабле, улетающем через некоторое время к другим планетам. Юрка принял игру. Она его очень обрадовала. Какого мальчишку не обрадует игра в космонавтов!

— Мы сами летим или нас похитили? — задал он вопрос, заглядывая в корень.

— Похитили, конечно! — отвечаю я таким уверенным тоном, чтобы он ни в коем случае не поверил.

— Вот это да! Ну вы даете! — Юрка был уверен, что все это нами придумано. Большого нам и не требовалось для начала.

Рабочие помещения — накануне я до них не добралась — были оснащены земной техникой: лабораторные столы, приборы, пульта.

— С умом оборудовано, — одобрил ты. — Есть все, что

необходимо для работы биолога, математика и... — Пауза затянулась.

— И кого еще? — спросила я.

— Физика и астронома, — договорил ты резко.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Так, ничего...

Мне не понравилась твоя резкость, но я не стала заострять на ней внимание.

За обедом Юрка болтал и болтал, фантазировал и фантазировал и завершил свои выдумки словами:

— Во ребята позавидуют!

У меня сжалось сердце. Ребята... Легко сказать! Вот когда впервые мне стало страшно. Я встретила с тобой взглядом. Ты испытующе смотрел на меня. Господи! Да ты уже думал об этом! Обрывки мыслей заколотились во мне, и, побеждая все, как-то медно звучала шиворот-навыорот строчка дурацкой песенки: «Кто-то находит, а кто-то теряет...» Нахожу-теряю, нахожу-теряю... Собственно, я думала не о себе, а о Юре. Я не могла дожидаться, пока сын заснет. Все валилось у меня из рук. Чего хотят от нас? Зачем все это нужно? И когда наконец вечер наступил, я все вопросы и всю нервность выплеснула на тебя. Впрочем, если быть честной, то я попробовала поговорить с табло, но «оно» отвечать не захотело. Страх от этого не убыло.

— Я же сказал тебе, не бойся. — Ты только хотел казаться спокойным.

— Но что им нужно от нас?

— Неужели непонятно? Посмотри вокруг.

— Сто раз видала.

— Посмотри в сто первый.

— Ну, смотрю!

— И что ты видишь?

— То же, что и раньше. Все, как дома.

— Вот тебе и ответ.

— Какой?! Не мучай хоть ты меня! Неужели нельзя говорить по-человечески?!

— Ты сказала: «Все, как дома». В этом и есть ответ на твой вопрос. От нас хотят, чтобы мы и вели себя, как дома!

— Занятно!

— Втройне занятно, когда речь идет о мыслящих существах. Кто это может вести себя естественно в изоляции да еще под наблюдением. Даже животные не все.

— Я не хочу!

— Вчера ты говорила другое.

— Я не хочу быть подопытной обезьяной.

— Ты подопытный человек, Оля. И еще двенадцать дней никто не будет спрашивать твоего желания.

— Хорошо. А через двенадцать дней мы откажемся, да? — Это была мольба, хотя и непонятно откуда взявшаяся.

Ты смотрел напряженно.

— Во всяком случае, у нас есть над чем подумать.

Насколько все-таки ты умнее меня. А я-то радовалась: «Летим! Втроем!» Если я в ослеплении не увидела таких простых вещей, то сколько же более сложных еще укрыто от меня. Я боялась думать. К тому же предыдущая полуссора — мы редко разговаривали на повышенных тонах — требовала примирения. И ты первый погладил мои опущенные руки.

— Оленька! Стойкая Оленька! — Иногда ты был таким сентиментальным.

— Да уж, стойкая.

— Ты столько лет выносила меня, ты все вынесешь, Оленька!

— Вот это правда!

— Мы будем работать! Я закончу статью, которую начал там. — Ты ткнул пальцем во что-то за моей спиной. — Буду наблюдать за состоянием здоровья «экипажа». А тебя научу делать анализы. И пока мы будем заняты делом, придет решение.

Ты уговаривал одновременно и меня и себя. Но сейчас я была не столько под властью перспектив, которые ты рисовал, сколько под ощущением твоей любви. Все, что было у нас до этого, тоже было любовью. Но сейчас... Так ты еще не любил меня. Я каждой клеточкой, каждым нервом чувствовала эту обновленную, эту без примеси эгоизма любовь. И я любила тебя заново. И ты мне был так дорог, как будто я была тобой.

Я разобрала постели. Ты поцеловал меня на сон грядущий, погасил свет. Я слышала, как ты разделся и лег. Я сделала было шаг в твою сторону, остановилась, тоже не спеша разделась и легла на свою кровать. Жизнь казалась мне не такой уж плохой.

Утром меня разбудила тревога, предчувствие чего-то непоправимого. Ты спал. Я увидела, как ты осунулся за вчерашний день. На цыпочках я вышла из комнаты. Заглянула к сыну. Тот спал безмятежно. На кухне я долго решала, что приготовить. Продуктов было много, и прекрасных. Мне не пришлось бегать из-за них по магазинам, толкаться в очередях. Меня это уже не радовало. Меня

заседала тревога. Я отобрала несколько крупных помидоров, вымыла их. Простые эти действия не успокаивали. И тут я поняла: все дело в тебе! Я представляла себе твое лицо таким, каким только что увидела. Спящий мученик! Я вспомнила, как вчера бесилась. Как же ты мучился, видя это! Но только ли я была причиной твоих мук? А полст? Ты ведь не сможешь отказаться от него. Но если ты не откажешься, я полечу тоже. Я. А Юра? Мальчик без детской среды. Хорошо ли это? А в будущем, когда вырастет, когда придет пора влюбиться?

Ты вошел в кухню веселый. Даже слишком веселый для твоего невыспавшегося вида.

— Ну что? Еды полны закрома? Стараются Матвейч.

Я обратила внимание на этого «Матвейча», но не могла сразу припомнить, кто это. Однако почувствовала, что такое веселье нужно сбивать.

— Женя, полей цветы, — сказала я как можно будничнее и сунула тебе в руки банку с водой.

Ты кивнул. Вышел, закрыв за собою дверь. Дверь неприятно громко хлопнула. Совсем плохо — тебе изменяет выдержка.

Матвейч, Матвейч... Когда-то давно ты что-то рассказывал мне о Матвейче... О-о-о! Вспомнила! И расстроилась. Матвейч — служитель в вашем обезьяньем питомнике. Больше всего его интересовали проблемы пола. Он обожал активных самцов и даже лакомства им приносил. Над этой страстишкой старика некоторые посмеивались, советовали ему писать кандидатскую, а другие — и ты в их числе — относились к Матвейчу с презрением. Да, Матвейч тебе покоя не даст. И постоянное мое присутствие...

Ты вернулся одетый по всей форме, как на работу. Влетел Юрка, с налету обнял меня, прижался к тебе.

— Привет! Мамуля, какую отраву ты нам сегодня готовила?

— Юра!

— Дяде Жене можно, а мне нельзя?

— Тебе нельзя.

— Дядя Женя, я знаете, чего думаю? «Они» такие умные потому, что у «них» вместо деревьев растут логарифмические линейки, а вместо травы — цифры.

Ты промолчал.

— А между прочим, — Юрка внимательно посмотрел по очереди на тебя и на меня, — странненький у нас домик. Мы как игрушки в большой коробке. Что вы на это скажете?

— Не фантазируй.

— Во-первых, дядя Женя говорит, что без фантазии не бывает ученого. Мне же надо оправдывать прозвище? А во-вторых, может, ты, мамочка,— очень язвительная была интонация,— покажешь мне, как отсюда выйти? Лично я выхода не нашел.

По-моему, ты тоже растерялся. Правду говорить было рискованно, но это был единственный путь, чтобы укрыться от детской прозорливости:

— Юра, я скажу тебе все, как есть. Нас похитили инопланетяне, и чтобы мы привыкли к одиночеству втроем, нас оставили в этом доме, а снаружи заперли дом и окна на большие замки!

— Ух ты! Ничего придумала! Подходит!

На сегодня все. На сегодня Юра утихомирен, а что будет дальше? Ты сидел подавленный. Мои мысли постоянно возвращались к земле, к земному. Работа, дом, летние поездки, театры, берег реки, падающие под ноги абрикосы, солнце по утрам, дожди осенью, воздух в лесу, сумерки, сутолока трамваев, техникумовская читалка, — я перебирала в уме эти и тысячи других мелочей: впечатлений, событий. Одно за другим выплывали в памяти лица знакомых: близких и чужих мне людей. Теперь будете только ты и Юра. Не так уж мало. Умирая, человек теряет все. А мы живы. И мы очень нужны друг другу. А значит, надо жить веселее и проще.

— Ты хотел научить меня делать анализы.

— Да, да, — ты возвращался, по-видимому, из тех же краев, где только что побывала я. Но было ли общее в наших воспоминаниях? Думаю, не много.

На какое-то время жизнь на корабле приняла застывшую форму. Ни о чем серьезном мы не разговаривали. Вы с Юркой целые дни проводили в научном центре — так я называла комнаты, где мне нечего было делать. Юрка за эти дни стал похож на тебя. Он копировал твои жесты, манеру говорить, слушать. Иногда даже мне казалось, что он твой сын. О тебе я и не говорю. Ты видел в нем больше, чем сына. Ты готовил преемника. И был уверен, что мальчик шагнет дальше тебя. Мне кажется, ты понимал, как поняла я, что если удастся осуществить сближение с теми, кто нас похитил, то сделает это Юра. Хотя бы потому, что он моложе и раскованнее.

А со мной получилось вот что. Как-то я приоткрыла дверь в лабораторию. Там не было никого, кроме Юры. Мальчик сидел на полу и сосредоточенно складывал в непонятную вязь пружинки, колечки, какие-то странные загогулины, проводочки,

— Юра!

Он не слышал меня. Легкий розовый проводок трепыхнулся в его руке и лег в один ряд с другими такими же. И по тому радостному удовольствию, которое изобразилось на Юркином лице, я догадалась, что он решил что-то, и решил правильно.

— Юра!

Он уже крутил в руках следующую штуковину и думал о том, куда ее приспособить. И опять он не услышал зова. Так бывало с ним и дома: зачитается — и ничего не слышит. Но одно дело дома, другое — здесь. Так все похоже на сцену из «Снежной королевы»! Я — Герда — вхожу в ледяной замок, мой сын — Кей — играет льдинками и совершенно недоступен мне.

Какой холод охватил меня! Как все во мне возмутилось! Я не дам отобрать у меня сына! «Эй, вы там! Да, мой мальчик интересен вам больше, чем мы с Женей. Его легче приобщить, приручить. Но, между прочим, у него есть мать!» Я не помнила себя от страха. Подбежала к сыну, смахнула с пола все, что с таким трудом он собрал, и заорала на него, забыв на время, что спокойное достоинство — одна из характернейших земных черт:

— Ты что, не слышишь?! Оглох?!

Юрка стоял передо мной обиженный, со слезами на глазах. Гордый в своей обиде.

— Ты! Ты! Я старался, а ты!..

И такое отчуждение почувствовала я в нем, так он давал понять несправедливость моего поступка, что мне стало до боли стыдно.

— Прости, сын! Прости! — Я плакала.

— Да ладно, ма! — Он не видел меня раньше плачущей и испугался не меньше, чем я. — Я это теперь по памяти соберу. Не плачь, ма!

Я заставила себя улыбнуться.

— Ма! Я же ничего плохого, я просто не слышал...

— Да, да, конечно! А что это ты делал?

— Трудно сказать... Так, пришло в голову...

Я повела его из комнаты. «Он мой! И никогда — слышите вы! — никогда не будет вашим!» С этого дня не было секунды, чтобы во мне умолкло чувство ревнивого материнства. И, сознаюсь, это одно из самых тяжелых чувств, которые выпадает переживать матери.

Происшедшее я обдумывала одна. Тебя посвящать не стала. Боялась, ты станешь смеяться над моим тяготением к сказкам, а потом представила, как ты говоришь: «Эмоции. Одни эмоции. Не приставай к ребенку, пусть играет,

как ему нравится». Я скрыла от тебя этот случай еще и потому, что сама выглядела в нем не очень.

Хорошо еще, что мне приходилось много учиться и работать, что на переживания оставалось не так много времени, иначе я бы, наверное, сошла с ума и вправду. А училась я старательнее любой отличницы в школе. Я уже мастерски делала анализы крови — кстати, анализы у нас всех были прекрасные — все было в норме. Ты усложнял и усложнял программу, обучил меня приборному исследованию организма. И говорил, что в конкретных исполнительских делах я незаменима, что за неделю я освоила больше, чем иная лаборантка за год. Я читала, вела дневник, занималась хозяйством. Как-то при уборке я обнаружила, что мне чего-то не хватает. Потом сообразила: пыли. Почему-то меня и это огорчило.

— О-о-о! Стоит расстраиваться! — усмехнулся ты, когда я поделилась с тобой открытием. — А что с тобой будет, если я скажу, что вся еда, которую мы поглощаем с таким удовольствием, — искусственная.

— Не может быть!

— Вот тебе и «не может». Представляешь: все вкусно, все натурально — и все искусственно. Для «этих» пара пустяков сварганить оленью вырезку и кочан капусты, кукурузные палочки и куриные яйца — только пожелай. Вот тебе и решение проблемы с питанием человечества.

— А ты понял, как «они» это делают?

— Если бы! Мне не хватает какой-то главной исходной: мысли ли, знания ли, представления ли о мире, измерения — ну, я не знаю чего!

— И хочется узнать?

— Спрашиваешь! Но то, что ты сказала, тоже интересно. На первый взгляд, это означает то, что Юра сформулировал: игрушки в большой коробке. А я бы представил себе пробирки с живыми клетками в герметизированной камере: все для поддержания жизни и пока ничего, что вредно воздействует на эту жизнь.

— Пока?

Я не заметила, как беседа прикоснулась к беспокойному, раздражающему. Но так или иначе это случилось. И снова я ощутила твою нервозность. Да, мы были один на один с кем-то, кто не хотел открывать себя, но высокую степень развития скрыть трудно, вот она и сказывалась в мелочах: питание, микроклимат. И мелочи эти вырастали для нас в панацею от многих человеческих бед. Загрязнение атмосферы, голод, угрожающий еще многим людям. А ведь этого можно было бы избежать, знай мы «их»

секреты, «их» систему. Но так уж получилось, что понять что-нибудь мог сейчас только ты. На меня надежда плоха, а Юра слишком мал. Впервые за всю мою сознательную жизнь я сожалела о том, что такая обыкновенная. Там, на Земле, у меня было свое место в общественной, в личной жизни. У тебя были соратники, друзья-ученые — была среда, помогающая тебе, подталкивающая тебя. А я, — там с меня было достаточно просто любить.

Какая же злость разбирала меня: эмоциональная дура, без минимального запаса нужных тебе знаний! Ну, хорошо. Ну, не мы исследуем, а нас... Но на нашем, пусть и низком по отношению к «этим», уровне мы же можем хотя бы попытаться изучить то, что приоткрывается. И все это на тебя одного! Да еще обучение меня. Да еще Юрка: ты для него и школьный учитель, и товарищ по играм, и отец... И опять я. Ах, Матвейч, Матвейч!.. Ну почему бы ему не быть нормальным человеком, без патологических отклонений? Впрочем, не в нем соль. Интимную сторону человеческой жизни ты всегда считал чем-то священным, не допускающим ни посторонних ушей — ты даже анекдотов на эту тему не выносил! — ни тем более глаз. Скромный ты мой человек! Ты любил меня. Возможно, ты с каждым днем все больше меня желал. Но умер бы раньше, чем позволил своему желанию вырваться наружу. Я даже думаю, что ты гасил в себе сексуальное воображение, предполагая, как и я, впрочем, что «им» доступно и наше воображение.

Мы не сомневались в истинности происходящего. Смешно было бы думать, что кто-то из твоих талантливых друзей «отмочил» с нами эту шутку. Жестокая была бы шутка, да и не по силам людям. Но кем бы ни были наши похитители, а на нас их незримое присутствие действовало не лучшим образом.

Ты стал таким нетерпимым. Ты придирался к мелочам. Ни с того ни с сего грубил. Я, естественно, расстраивалась.

— Женя! Посиди со мной. Последнее время мы так редко видимся.

— По-моему, чаще мы еще никогда не виделись.

— Да, по земным меркам...

— Оля! Давай договоримся: отношения не выяснять.

— А я и не хочу выяснять их, просто хочу знать, куда делась раскованность и в каком положении находится наша любовь? Мне лично кажется: в бедственном.

— Вопросы, которые с выяснением отношений имеют самое дальнее родство...

— Смейся, смейся! — Все-таки мне полегчало от твоей

улыбки.— Женья! Я не могу избавиться от ощущения, что кто-то невидимый прицепился к моему сердцу и тянет его вниз, тянет. Стряхнешь этого мерзавца на секунду улыбкой ли, словом ли, и снова он тут как тут. Женья! — Я замолчала, не зная, продолжить ли, а ты молча ждал, и я решилась: — Женья, мне кажется: уходит наша любовь.

— Тебе так кажется? Ты ошибаешься.

— Нет, не ошибаюсь. Иначе откуда давление?

— Давление?

— Да. Во мне растет сопротивление именно давлению на душу мою, на любовь.

— Ну что ты хочешь, Оля. Груз наблюдения, сознавая его, нести нелегко.

— Я ненавижу «их»! Ненавижу!

— Это личное твое дело, Оля! Но прошу тебя, как бы ни складывались твои отношения с «ними», не переноси свои негативные чувства на нас. Ты часто выходишь из-под внутреннего контроля.

— Скажи еще: бери пример с меня. Уж ты-то выдержишь.

— Да. Выдержке тебе не мешало бы поучиться.

Ты был холоден. И это называется любовью?! «Ты ошибаешься!» Может, и ошибаюсь. Может, это не холодность, а обычная твоя скрытность. Ты же ужасно скрытный, не то что я. Но если и я, чувствуя все время дремлющее око «этих», стараюсь сдерживать себя, свою эмоциональность и, в сущности, если не стала другой, то не была и прежней,— что говорить о тебе!

— Женья! Не нравится мне эта любовь!

— Оленька! Ну будь разумной! Ну не докапывайся! Наверное, надо послушаться твоего совета.

— А я устаю быстро.

— Поменьше копайся в себе. И за Юркой перестань шпионить.

— Я и не шпионю.

— Ой ли?!

— Но его отнимают у меня!

Так и подмывало рассказать, но ты заполнил образовавшуюся было паузу категорическим:

— И все равно не ходи за ним — этим ты его не удержишь.

И на этот раз ты, конечно, прав. Но я не могла справиться с собой. Жизнь моя, одновременно с трудом и занятостью, превратилась в бесконечную пытку самокопания, почти маниакального шпионства за Юркой и за тобой, тщательно скрываемой подозрительности. Чем дальше, тем

больше я убеждалась: вы «им» нужны, я «им» — ни к чему. Не знаю, что помогло мне сохранить самообладание, но я его сохранила.

А дни шли. Как-то вечером, сидя по привычке с ногами в кресле, я читала книгу. Это был сборник высказываний знаменитых ученых мира о запретных опытах. Одни говорили, что наука — это наука, что никаких запретов быть не может, что должно изучаться все сущее. Другие... Я нашла твое имя в оглавлении. Но почему-то, прежде чем открыть нужную страницу, посмотрела на тебя. И успела, как перехватчик ракету, зацепить твой убегающий взгляд. Лучше бы я не успела этого сделать. В твоих глазах был страх. И одновременно они как будто обещали мне предсказать будущее без утайки и заранее предупреждали, что ничего хорошего ждать не приходится. Я захлопнула книгу. Ты уже сидел ко мне спиной и делал вид, что ничего не случилось.

— Женья!

— А? Что? — Ты изобразил, плохо изобразил, должна заметить, поглощенного работой человека, которого от работы почему-то отрывают.

— Так, ерунда. Я вот сижу и думаю, Женья. Там, на Земле, я была для тебя отдушиной, а мечтала стать твоим дыханием. Только здесь я поняла, что мечтала о непосильном... Мы не ровня, Женья.

— Оля!

— Да, да! Не спорь! — Мне так хотелось, чтобы ты спорил, но ты промолчал. Потом уже, после долгого раздумья, ты сказал:

— По-моему, ты не о том думаешь.

— Вот как! Но согласишься, — мне не хотелось согласия, — тебе было бы легче, если бы вместо меня была другая женщина. Образованная, умная, не такая близкая...

— Оля! Молчи! — Ты подошел, сел на подлокотник кресла, прижался губами к моей руке и, как мне показалось, заплакал.

— Ты плачешь?

— Нет. — Ты поднял лицо. Слез не было. — Но знаешь, я мог бы сейчас заплакать.

— Сколько времени нам осталось на размышления?

— По моим подсчетам, что-то около суток...

— Так мало?! И что ты решил?

— Решил?.. Ты понимаешь, я открываю в себе по новому качеству ежедневно. Вот нерешительность...

— Она была в тебе всегда.

— В том, что касается дела, я редко колебался.

— Сейчас речь идет не только о деле.

— Может, ты и права. Видишь ли, кое-какой материал я уже собрал. Так, мелочи, но дома мне было бы над чем поработать.

На меня повеяло надеждой от твоих слов. Как было бы хорошо, если бы ты решил вернуться! Ты продолжал:

— Но, с другой стороны, я уверен, что решение всех проблем возможно только у «этих». Впереди нечто грандиозное, такое даже представить трудно, пока не увидишь. К тому же, кто знает, вдруг мы вернемся со временем на Землю. Наверняка не на ту, которую оставляем, но, может быть, как раз кстати, чтобы помочь человечеству выбраться из тупика разрухи и разорения.

— Э-э! Да ты надеешься спасти человечество...

— Я занимаюсь этим всю жизнь. Я разрабатываю средства защиты для всего живого на Земле. Но разве могут сравниться возможности, которыми я располагаю дома, с теми, которые я смогу, очевидно, получить там. Во всяком случае рискнуть тремя людьми ради такого — не грех. Этот путь кажется мне не хуже других.

— О! Ты умеешь выбирать самые короткие пути к открытиям...

Все погасло во мне. Твоя неумность в работе, твой запал не выпустят тебя из этой клетки, даже если тебе всю оставшуюся жизнь придется провести в ней. Я снова злилась. Теперь уже на тебя. Угораздило же меня влюбиться в такого рационалиста и мечтателя в одно время. Ум, ум, ум! Исследования, исследования, исследования! Эврики, эврики, эврики! О каких чувствах можно говорить, когда в тебе главное чувство — мышление! Я поняла, что не вполне справедлива к тебе, но мне казалось, что я отступаю на задний план, дальше быть не может! Потом я поймала себя на мысли о том, что никогда еще не была так уверена в твоей любви! Перепады, метания, сомнения — да сколько же может вынести человек!

— Не могу! Не могу я больше! Ты черствый! Ты думаешь только о себе! Ты и наука! Наука и ты! А я? А Юра? Ты о нас подумал?

— Оля! Я все понимаю! Я обо всем думаю. Подожди, успокойся! Мы же еще ничего не решили! Послушай лучше, что мне наш Юрка выдал: «Дядя Женя, на разведку всегда посылают самых смелых и наблюдательных. И уж когда разведчики берут «языка», то выбирают, кого лучше, плохого не возьмут. Значит, если нас взяли, мы не последние земляне, да?»

Я не могла не съязвить:

— По-моему, мы с тобой это давно вовсю демонстрируем.

Но все-таки ты добился своего: я не могу не радоваться Юркиным удачам. А уж то, что ты сказал «наш Юрка», прямо растрогало меня.

— Скажи, ты действительно уверен, что мальчик не сломается? Что он останется человеком? Что ему не придется страдать, когда наступит пора возмужания? Что...

Ты перебил меня:

— Я ни в чем не уверен, Оля! Но я иногда завидую тому, как легко он воспринимает окружающее. Он ведь уже не сомневается, что все не игра, а быль. Но с тех пор, как к нему пришла уверенность, он ни разу не подвергал сомнению наши сказки, сочиняемые для его спокойствия, — он охранял наш покой. Удивительный все-таки мальчишка! Я ни в чем не уверен, Оля. Но очень может быть, что «они» умеют обращаться с подопытными со степенью осторожности, гарантирующей безопасность. За все время, что мы здесь, я не вижу ничего тревожного ни в ком из нас.

— А твоя нервозность? А моя усталость?

— Момент притирки.

— Почему, почему ты стараешься все сгладить? Хочешь, я скажу?

— Ну скажи.

Ты обледенело замер, но, несмотря на это, я выпалила:

— Потому что ты не можешь отказаться! Не можешь! Но ты готов погубить себя, нас!..

— Вас — нет!

— Можно подумать, что мы сможем жить без тебя!

— Оля!

— А вдруг они еще и не начали никаких опытов, а мы уже — посмотри на нас — разве это мы?! Орем, ненавидим...

— Ну прости, прости, Оля! Ты не права: они начали. Иначе зачем мучительный выбор: лететь, не лететь... Что мешало им просто уволочь нас к себе, туда, где они обитают?

А правда, подумала я, зачем? Но сейчас же мысль моя, не найдя ответа на поверхности, вернулась к проблеме выбора. Я вспомнила уроки литературы в техникуме. Мы проходили какую-то пьесу, и преподавательница объясняла нам, что, как правило, драматург ставит своего героя перед выбором. И отказ от решения — тоже решение. И вот теперь, когда я возвращаюсь к прошлому, мне легче

передавать события, как пьесу, где ты — какой-то другой Женя, Юра — другой наш сын и я как будто выдуманная. Это как самообман. Вроде бы и не с нами происходит.

Я помню себя тогда. Во мне отстукивали часы. Я превратилась во время, которое осталось нам до принятия решения, — а решения не было. То есть оно было и у тебя и у меня, но разное у каждого. А нам нельзя было порознь, нам необходимо было вместе.

— Реши все за всех, а, Женя! Как решишь, так и будет!

— Попробую.

— Хочешь побыть один?

— Нет, мне нужно твое присутствие.

— Я буду тихой, как моя любовь к тебе на Земле.

— А сейчас она громкая?

— Любовь? Как набат. Ей угрожают, и она взывает о помощи! — Я поднялась. — Пойду все-таки приготовлю нам чего-нибудь поесть.

— Только поскорее.

Я сидела одна на кухне. Было тихо-тихо, и бились часы во мне. «Нет уж, если нам суждено вместе вернуться на Землю, мы не сможем обходиться друг без друга неделями. На Земле... Ко мне вернулась тревога и уже не исчезала. Если ты вернешься из-за меня, счастья не будет. Ну хорошо, мы любим. Но мы такие разные. «Эти» — для меня пугало, я боюсь их, хватило с меня и двух недель! А ты? Ты ведь небось уверен, что совершишь подвиг во имя человечества. Глупая я, глупая! Вряд ли ты думаешь о подвиге, уж это-то я могла бы знать. Мне непонятно только, почему ты так мучаешься. Я ведь подчинюсь тебе, как подчинялась и раньше. Я-то знаю свое место. Всяк сверчок...»

Я заплакала неудержимо. Ты возник передо мной:

— Ревешь?

— Реву.

— Ненормальная! Подними свои заплаканные глаза и слушай!

Я сделала, как ты велел. Твою торжественность нечем было измерить.

— Мы все, подчеркиваю — все! — останемся на Земле! Что они значат — наука, человечество — по сравнению с двумя людьми, которых любишь!

Я кинулась к тебе на шею, я обнимала тебя и целовала. Как я была благодарна тебе! Уж я-то знала, чего тебе стоило это решение!

— Женя! Родной! Любимый! Женя! Женя!

Помню сейчас только себя. За неожиданной радостью тебя я видела только как источник этой радости. Каким ты был тогда? Что испытывал? Нет, конечно же, ты тоже был счастлив: ты всегда любил делать подарки. И из всех, которые ты сделал мне, этот был — королевским!

— Женя! Женя! — Не осталось во мне слов, кроме твоего имени. Оно было для меня всем: миром, жизнью, счастьем! — Женя!

— Оленька! Ну перестань плакать! Что же ты теперь-то!.. Оля!

Это утро мне не хочется вспоминать. Я плохо провела ночь. Ты тоже делал вид, что спишь, а по-настоящему и очень крепко заснул, когда должно было светать. Нас ждал последний рассвет без восходящего солнца. И как раз в это время от меня потребовали — никакого табло не понадобилось, мой мозг отчетливо читал требования — очень властно потребовали дать собственный ответ. И я даже не предполагала, что он у меня есть. Сына отдать я не могла, а на твое решение не имела права влиять. Ты жаждал совсем иного, чем собирался сделать. Ты должен был остаться. Так же, впрочем, как я должна была уйти. Единственно, чего я не могла допустить — тысячу раз буду это повторять! — лишиться Юрки. И я взмолилась, всем существом взмолилась, чтобы происшедшее не сохранилось в памяти сына. И мне пообещали. А ты, что будет с тобой? Мне ответили, что примут твои пожелания относительно состава экспедиции. Под конец этого безмолвного, но очень интенсивного разговора меня поблагодарили за разумность и пожелали всех благ на Земле! Ну вот и кончилось! Я подошла к тебе попрощаться. Как замечательно ты спал! Как горд был своим самоотречением! Ты не знал, что ему не суждено совершиться. Я поцеловала тебя в лоб — ты будешь хранить ощущение этого поцелуя — это была последняя я в твоей жизни.

Меня не интересовало, как я окажусь на Земле. В этом можно было на «них» положиться.

Наутро я проснулась в незнакомой комнате. Рядом с моей постелью сидела Марья. Лицо ее было озабоченным и страдающим.

— Очнулась? Есть хочешь?

— Хочу. Марья Михайловна, как вы здесь оказались?

— А как только узнала, что с тобой стряслось, так и прибежала. Дежуришь тут по очереди с твоей соседкой. По ночам она с тобой, а днем — у Юрки. А я вот — по утрам да сразу после работы.

— У Юрки?

— Ну да! Вы тут такого натворили! Захочешь — не придумаешь..

В тот день Марья сказала мне только, что у Юры было воспаление легких, но вчера он пошел на поправку. Вчера!.. Ну, хитрецы! «Они» все знали еще вчера. А я-то радовалась твоему предложению. «Они» знали меня лучше, чем ты.

— Марья Михайловна,— решила я проверить подозрение,— а Женя ко мне приходит? — По тому, как Марья засуетилась, я все поняла.

— Что с Женей?

— Ничего. Порядок с твоим Женей.— Больше она ничего не сказала.

Потом уже я узнала, что при строительстве метро произошел обвал рядом с твоим домом и дом дал трещину. Мы были единственными пострадавшими, так как трещина прошла вдоль нашей лестницы. Нас обоих доставили в больницу. И две недели мы были на грани жизни и смерти. В тот день, когда я очнулась, ты умер. Я не была на похоронах. Я трудно приходила в себя. Позже Марья плакала и говорила, что ты лежал как живой и улыбался. Чего только «они» не могут!

Ко мне все были очень внимательны. Врач, который вел меня, относился прямо с нежностью. Он был хорошим психологом и догадывался, что мое тяжелое возвращение к жизни связано не только с физической травмой. Но он искал причину в том, что было до катастрофы. Ведь не мог он предположить, что я знаю о потере. Тебя со мной не будет! Я не должна была этого делать! Я не должна была отпускать тебя одного! А что же я должна была сделать? Стать источником твоей муки? Не из-за себя же, в конце концов, ты так мучился! Я попросила, чтобы мне принесли тот сборник, ну, помнишь, который я не стала дочитывать? Мне принесли. Я положила его рядом с собой на тумбочку и не решалась открыть. Там был ответ. Проще всего было, чтобы успокоить себя окончательно, решить, что ни ты, ни я не были властны в выборе, что у нас была только фикция выбора. Или еще, что окончательное мое решение было принято под твоим влиянием, а ты, в свою очередь, отталкивался только от рационального, которое тебе подсказывало, что в таком ответственном деле, как контакт с иной цивилизацией, я буду обузой. Но ведь не так же это, не так!

А собственно, зачем тебе было лететь? Не думаю, чтобы ты очень надеялся принести своей жертвой какую-то пользу себе и людям, но твое «пощупать» как будто вновь

прозвучало в моих ушах. Ты надеялся со ступеньки подопытного перешагнуть на ступеньку изучающего, открывающего, чтобы затем, может быть, сравняться с «этими», если это возможно. Но и невозможность чего-то тоже надо доказывать. И ты не успокоишься, пока не докажешь.

Я плакала, ночами совсем не спала, днем разговаривала с людьми, терпела уколы, рентгены, принимала таблетки, волновалась из-за Юрки. И вспоминала, вспоминала...

Нечего было даже думать сравняться с тобой в тяге к неизвестному. Но не слишком ли легко я отказалась от борьбы? Испугалась за Юрку, за себя! Да, может, этим куриным поступком я лишила сына самого блистательного будущего, какое только возможно. Но у тебя-то я не укра-ла его! Хоть перед тобой-то совесть моя чиста. Ах, Женья, Женья! Как же я теперь без тебя?! Как?..

Самый длинный разговор был у меня с соседкой. Она рассказала мне, как испугалась ночью, обнаружив у Юрки бред — он все про одеяло какое-то говорил. Пришла неотложная. Мальчика отправили в больницу. Остаток ночи соседка провела в ожидании меня. А меня не было, и она кинулась звонить мне на работу. Там тоже удивлялись моему отсутствию. Марья разыскала в справочнике твой адрес и телефон. Звонила, никто не отвечал. И тогда они встретились с соседкой и поехали прямо к тебе. Тут все и объяснилось. Соседка рассказывала, и плакала, и сокрушалась над моей горькой судьбой. И я тоже заплакала и попыталась объяснить ей, что же произошло на самом деле. Тут соседка плакать перестала и посмотрела на меня, как смотрят на сумасшедших. Я прикусила язык. И с тех пор никого не посвящала в свое горе. Теперь для тех, кто знает меня, я человек, перенесший ужасную трагедию — так ведь и есть! И никто не знает, что в этой жизни, кроме Юры, меня еще поддерживает чувство, что в решительный момент я сумела тебе помочь.

Я уже знала, какие темы в науке ты считаешь запретными: опыты на человеке, его психике и чувствах. Ты говорил, что для изучения того и другого без экспериментов трудно обойтись, но происходящие при этом в человеке процессы трудноуправляемы и могут быть необратимыми. Ты боялся за меня, за Юрку, за нашу любовь. Этот страх постоянно сковывал бы тебя. И если ты решился вернуться с нами, то лишь потому, что тебе показалось, что процесс утрат во мне уже начался. И ты был не так уж не прав: я ведь действительно себя теряла. Но нашла ли я себя?

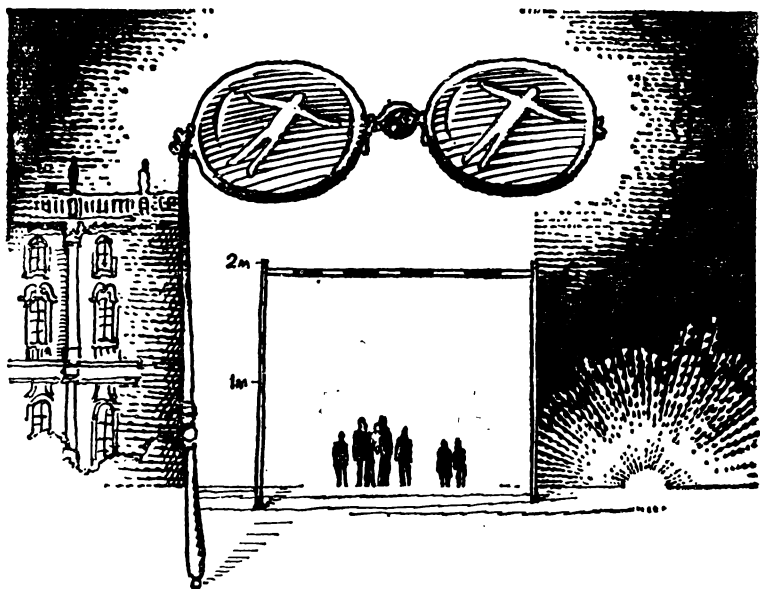
Боль постепенно притуплялась. Я уже могу не плакать, вспоминая тебя. Меня тянет к воспоминаниям — вот и пишу поэтому. Внешне у меня все даже неплохо. Сын радуется. Он ничего не помнит о похищении, но учителя поражаются его успехам, — уж не сохранились ли в нем уроки твои и «этих»?

Да, еще! Недавно в одном журнале была напечатана статья-некролог о том, что ученый мир понес три невосполнимые утраты: ты погиб, Семенов — известный физик, я видела его у тебя несколько раз — пропал без вести в горах; американец — астроном и математик — ты с ним переписывался — внезапно умер от инфаркта. Это что, те люди, с которыми ты сейчас?

Я знаю, ты не отвечаешь не потому, что не хочешь ответить.

Да и известен мне этот ответ.

Большой вам жизни, мои дорогие!



Олег Тарутин

Старуха с лорнетом

ПОВЕСТЬ

I

Ровно в четверть восьмого, не в половине, как вчера, и не в двадцать минут, как обычно, Борис Митрохин, отжав замок, толкнул плечом дверь своей однокомнатной кооперативной квартиры и бодро выскочил на лестничную площадку. Черта с два! Не тут-то было! Как вчера, как позавчера, как всю эту распроклятую неделю подряд, лязгнув замком, одновременно приоткрылась и выпустила соседа смежная по площадке дверь. «Вот гусь...— в полной растерянности подумал Митрохин.— Да ведь он меня караулит. Ну сейчас добавит он мне бодрости!»

— А я ведь и опять в жилконтору могу! — с ходу начал сосед-смежник.— Что ж, думаешь, управы не найду на тебя да на кобеля твоего, а? То джазом рычал, теперь кобелем гавкаешь? Вот выкинем тебя отсюда вместе с твоей живностью да с музыкой! Сказать тебе, где я рабо-

тал? Сказать, а? Ишь, вырядился!— с обличающим сарказмом завертел он пальцами перед джинсами и спортивной сумкой Митрохина.— Пижон! Низкопоклонник перед Западом! — Сосед уже закрыл дверь и стоял в середине тупикового конца коридора, загораживая Борису проход к лестнице.

«Ох и сквалыга!..— тоскливо думал Митрохин, глядя на соседа.— А ведь старик, старикан глубокий... Да неужто он всю жизнь так?»

Сосед топорщил небритый, заштитенный подбородок, а глаза его, устремленные снизу вверх на рослого Митрохина, светились каким-то вдохновенным восторгом. В руке соседа покачивалась драная хозяйственная сумка, из которой торчали бутылочные горла: все бомбы, все фугасы... И куда он с ними в такую рань?

Борис отвел взгляд от стеклотары.

— Слушай, дед,— начал он, стараясь, чтоб звучало внушительно,— ты мне надоел, понял? Нету у меня никакого кобеля и никогда не было, прекрасно ведь знаешь. Кошка у меня есть, так она не гавкает, хомяк — тем более. И магнитофона, в который раз тебе говорю, у меня нет! И в жилконторе тебе то же самое втемяшивали...

— Да ты что ж меня тыкаешь-то, а?

— А ты меня что ж?

— Ах ты молокосос!

— Ох, кабы вы молоко пить начали, Прокопий Митрофанович,— съязвил Митрохин,— так вам бы всякие голоса да лай...

— Митрофан Прокопыч! — криком прервал его сосед.— Склеротик! Сам псих! Бабник! Алкоголик!

— Ну хватит! — Митрохин решительно шагнул вперед, слегка сдвинув в сторону Митрофана Прокопыча, обходя того со стороны сумки.— Привет жилконторе!

— И участковому! И участковому привет! — кидаясь вдогонку, закричал сосед.— Ах ты!.. Ну ж ты!..

Борис выскочил из парадного, усмехаясь, покрутил головой. «Ай да сосед! И обижаться-то нельзя на такого старикана. В теперешнем его состоянии», — поправил себя Митрохин. Ну, а в прошлом? Кем он там был, в трудовой своей зрелости, штатской или военной, полный сил и энергии Митрофан Прокопович — ныне алкаш и сквалыга, тяжкое наследие квартирного обмена милой семейной пары? Ну ведь не «секретным же физиком» в самом деле, о чем с недомолвками и намеками поведал он Митрохину, зайдя к тому по-соседски в первый свой послеприездный вечер. Выпили они тогда немного, и впал Митрофан Про-

копыч прямо-таки в сатанинскую гордость. Кто, мол, Митрохин против него, Прокопыча? И в таких он, брат, органах работал, что и сейчас не до конца еще рассекречен. Только — шш!.. понял? Если, конечно, неприятностей не хочешь. И в таких он местах жил, что тебе и знать не положено. Где все, такие, как он, «австрофизики» собраны, понял? И черт же дернул тут Митрохина хохотнуть! У-у! Тут и стопка об пол, и дружба всмятку. Вот и до сих пор угомониться не может.

Борис и хмурился, и усмехался, вспоминая тот вечер. Ладно. Жалеть человека нужно, а не злиться. А специальность у него была наверняка тихая, сидячая: бухгалтер, допустим, товаровед, кадровик, может быть. Митрохин шел мимо соседнего девятиэтажного дома, мимо ясельно-детско-садовского комплекса, куда всюю подводили, подносили и подкатывали разновозрастную ребятню, шел через скверик, через проспект — к станции метро. Три года уже одним маршрутом. Он шел, держа перед собой на ремне спортивную сумку, на ходу поддавая ее коленом. И прекрасным было это июльское утро: свежим, солнечным, ясным. И день был отличный — четверг.

Ох и народу, мама милая! Ох и каша! Во входные проемы станции метро «Академическая» — грудью в спину, носом в затылок — вваливалась спрессованная толпа, а избыток ее нетерпеливым полукружьем топтался на площадке перед входом. Вниз шли три эскалатора, и на них тоже — носом в затылок и бок о бок. На эскалаторе Митрохин вздохнул с облегчением, выпростал из бокового кармана мягкокорочный растрепанный детектив и, не теряя времени, налистал нужную страницу, где как раз «...рука Пьера медленно сжала нагретую за пазухой рукоятку пистолета...». Вот и читаем. Ну тяни, Пьер, а то, похоже, крышка тебе...

И тут Митрохин услышал встревоженный гомон метрах в пятнадцати ниже, на их же эскалаторе. Гомон, а в нем отдельно различимые отчаянные вскрики: «Бу-бу-бу... — Его же раздавят! (женщина)... — ...Гу-гу-гу... пенсионеры эти... гум-гум... — Да остановите же! (женщина)... — Остановят, как же... гум-гум...» От нижних к верхним, как огонь по фитилю, стремительно покатилась информация, передаваемая как при игре в испорченный телефон:

- Да очки это, очки!
- Очки старуха потеряла!
- Старуху в очках затоптали!
- Кричали же «его раздавят!».
- Кого — его?

— Нагнулась, понимаете, за очками, ну и...
— Да какая там «скорая»! Бесполезно уже!..
— Черт их носит, пенсионеров! И обязательно им в часы пик надо!

— А если надо? Вот доживите до этих лет...

— За очками в аптеку ехала бабуся... Эх!

В этом дезинформирующем гуде и съезжал Митрохин, взволнованно шаря глазами по толпе внизу, а толпа, замедляя движение и оборачиваясь, создавала kloкочущую толчею возле кабины контролера. Поголовно все смотрели на высокую, худощавую, снежно-белую старуху с сумкой под мышкой. Старуха, неудержимо относимая встречным потоком, изо всех своих сил пыталась пробиться назад, к митрохинскому эскалатору. Встав в своей кабине, кричала что-то женщина-контролер.

Вот уже ступени выположились под Борисовыми подошвами, и тут он увидел вдруг какой-то предмет, ну да — эти самые очки. Они лежали сбоку, прямо у стальных зубцов решетки, под которые убегала лента эскалатора. Они подпрыгивали, тычась в эти зубцы и отскакивая. Кто-то из впереди стоящих нагнулся было схватить, да где там! — эскалатор шел с максимальной разгрузочной скоростью часа пик. Вот сейчас и Митрохина пронесет мимо... Борис стремительно присел, резко качнулся вправо и так, на коротких, перепрыгивая с эскалатора на решетку, в последний миг успел уцепить эти очки пальцами. Кто-то в толпе подхватил его под локоть, рывком помог встать, кто-то чертыхнулся, кто-то хлопнул по спине: молодец, мол.

— Все в порядке, бабуся! У меня очки! — прокричал Митрохин, вскинув вверх руку с очками. — Где вы там, бабуся? — А вот она где. Не рвется уже против течения, а стоит чуть в стороне от основного потока, прижав свою сумку к груди, к сердцу. Ах, бедолага... Митрохин пробрался к ней, издали показывая очки. — Вот они. Здесь!

Старуха вырвала очки из митрохинской руки, судорожно прижала их к щеке, всхлипнула.

— Сонечкин лорнет, — полушепотом произнесла она, — единственная оставшаяся Сонечкина вещь. И чуть было... Ах, я вам так благодарна, молодой человек, так благодарна! — Она доверительно коснулась рукава митрохинской куртки. — Вы не представляете, что значит для меня эта вещь... И его могли раздавить! — вновь проникаясь пережитым ужасом, вскричала старуха. Она взяла странные эти очки за единственную дужку. Странная оптика в затейливой оправе. Действительно, лорнет... надо же... «Двойной лорнет, скосясь, наводит...» — вспомнилось Борису что-то

школьное, давнее. Кто ж это наводил, а? А сейчас-то откуда она их выкопала?

Старуха навела лорнет на Митрохина.

— Целы! — радостно вскричала она. — Стекла целы! Ах, дорогой вы мой, как я вам благодарна!

Митрохин смутился: ну уж... Старуха сложила лорнет, выпростала из-под мышки сумку. Ох и сумка! Что-то рыже-черное, старое, вытертое донельзя, с каким-то металлическим вензелем сбоку. «Ридикуль», — почему-то подумал Митрохин. Старуха, щелкнув замком, открыла этот самый ридикуль и бережно опустила в него лорнет. Борис успел увидеть внутри какой-то кулек и корешок массивной, с золотым тиснением, книги. Зашелкнув замок и вернув ридикуль под мышку, старуха свободной рукой подхватила под руку засмущавшегося Бориса.

— Давайте-ка, юноша, постоим немного. Я все еще не могу прийти в себя. Прямо сердце зашлось! Единственная вещь, оставшаяся мне от Сонечки Мурановой — самого верного моего друга. Вы не торопитесь, юноша?

— Ну ясно... конечно же, — забормотал почти тридцатилетний Митрохин, — я сегодня вообще раньше времени еду.

— Ну и чудесно! — обрадовалась собеседница. — А вот тут и народу поменьше, вставайте-ка к колонне. Татьяна Антоновна, — представилась она неожиданно церемонно.

— Борис, — ответно представился Митрохин.

— Очень красивое имя, — улыбнулась Татьяна Антоновна. Была она одета в серую вязаную, очень старую кофту, кое-где аккуратно заштопанную, в длинную черную юбку. На ногах ее были простецкие туфли, тоже не вчера купленные. А эта блузка с тщательно отглаженным воротничком... Где она такую откопала? Мгновенная жалость парাপнула Борисово сердце, он отвел глаза.

— Чепуха все это, милый юноша, — перехватив его взгляд, безмятежно сказала Татьяна Антоновна. — А я, дура старая, почитать вздумала на эскалаторе. А тут кто-то возьми да и толкни меня под руку, не намеренно, конечно. Ужас! Я — в крик, и все вокруг — в крик, и так и сяк меня костерят: сидели бы, мол, дома по утрам белые панамки, одуванчики божьи, мол, неймется им в часы пик в транспорт лезть, под ногами путаться! — Старуха беззлобно рассмеялась. — В общем-то правы они, конечно. Но мне сегодня обязательно надо побывать у Сонечки, и именно с утра: вечером я уезжаю. Кто знает, суждено ли вернуться? Она похоронена на Смоленском, — пояснила Татьяна Антоновна, — дружок мой бесценный. Сколько вместе

прожито-пережито... А теперь, Боря, давайте-ка садиться. Только, бога ради, не вздумайте занимать для меня место. Встанем в уголок, поговорим, ладно?

Они вошли в мгновенно наполнившийся вагон, протиснулись в уголок.

— Вы где выходите, Боря? — спросила Татьяна Антоновна. — На Невском? Чудесно! И у меня там пересадка. А кстати, Боренька, простите за любопытство, кто вы по профессии?

— Инженер-конструктор.

— И это интересно? Это, если не секрет, не связано с космосом?

— Какой там космос, — ухмехнулся Митрохин, — обычный инженеришка. Работаю в НИИ «Бытпромаш». Бытовые и промышленные машины, — пояснил он. — Полотеры, пылесосы, прочая такая ерунда, автоматы всякие.

— Да, конечно, малоромантичная работа, — с легкостью, так что Митрохин даже несколько обиделся, согласилась старушка. — Хотя и в этой области есть, наверное, простор для взлета мысли, — тут же поправилась она.

— М-мда... — неопределенно промямлил Борис. — «Лесная» уже, — качнул он головой в сторону замелькавшего зеленого пластика станции.

— Угу, — улыбнулась собеседница. — А вы случайно не пишете, Боря?

— Что вы? — искренне изумился тот. — С какой стати?

— А музыка? Живопись? Какая-нибудь иная область искусства?

— Да нет, и не баловался даже никогда.

Старушка слегка вздохнула с непонятным для Митрохина сожалением.

— Татьяна Антоновна, — решился-таки спросить Митрохин, — а что, разве этот лорнет такая уж удобная штука?

— Ах, конечно же нет, Боря, — оживилась старушка, — и в обычные дни я пользуюсь очками, как все нормальные люди. А лорнет я беру только тогда, когда езжу к Сонечке. Это уже традиция, так же как и Диккенс, которого я читаю там. Вы знаете, Боренька, ведь от других моих близких — ни могил, ни писем, ни фотографий не осталось. Ничего. А ваши родители живы, Боря?

— Нет, — коротко ответил Митрохин, — у меня только сестра в Севастополе.

...Так они стояли и разговаривали в углу, а когда вагон, сбиваясь с ровного хода, дергался и раскачивался, Митрохин придерживал старушку под локоть, а та благо-

дарно улыбалась и кивала. На Невском толпа вынесла их из вагона и мгновенно схлынула: кому на пересадку, кому на выход. Пора было расставаться.

— Еще раз — огромное вам спасибо, Боренька. Славный вы человек. И знаете, у вас на переносице оспинка, как у моего старшего, у Стасика. Он погиб. Волховский фронт...— Татьяна Антоновна судорожно передохнула.— Вот, ради бога, не побрезгуйте.— Она полезла в свой ридикюль, достала кулек и протянула его Митрохину. В кульке было несколько коричнево-бурых комков с терпким, странным, удивительно приятным запахом.— Возьмите, возьмите, юноша. Это конфеты собственного моего изготовления. Берите одну. Больше я не предлагаю, да больше, пожалуй, и нельзя. Тут добавлено немного сока некоторых растений. Я ведь когда-то увлекалась ботаникой. Вы никогда не задумывались, Боря, какая сила движет одуванчиком, пробивающим головою асфальт? Впрочем, это неважно. Берите же, Боренька!

— Спасибо, Татьяна Антоновна! — Митрохин, чтоб, не дай бог, не обидеть старуху недоверием к ее самодельным сластям, вытянул из кулька один комок, сунул в рот. До чего же странный вкус... До чего ж замечательный вкус!..

— Ешьте, ешьте,— как-то торжественно проговорила Татьяна Антоновна,— вы достойны, я уверена.

— До чего же вкусно! — проглотив сладкую слюну, проговорил Митрохин.— А вы?

— А мне это уже ни к чему, милый юноша,— улыбнулась старая женщина.— День взлета... Нет, это я не для себя делаю,— загадочно проговорила она, убирая кулек в ридикюль.— Ну, мне пора. Прощайте, Боря. Да будет этот день памятным для вас.— Она протянула Митрохину руку, и пожатие ее было неожиданно крепким и энергичным.— И все-таки жаль, Боря, что вы — не человек искусства. Ах, какая бы тут открылась возможность! Но это уже старческое брюзжание. Прощайте же.

Татьяна Антоновна еще раз тряхнула Борисову руку и, ни разу не оглянувшись, пошла к пересадочному эскалатору. Митрохин смотрел ей вслед: белоснежные волосы, прямая спина, статная поступь. Еще раз мелькнула белая голова, и навсегда исчезла из Борисовой жизни эта старуха с ридикюлем, лорнетом и кульком удивительных самодельных конфет. ...Седая, гордая, в заштопанной этой кофте, в туфлях этих детских...

Ох, бабуля... Ох, старухи, тебе, одинокой, подобные... Седые русские интеллигентки на последнем отрезке жизни, на самых ее предфинишных полосах... Бывшие Ма-

шеньки, Сонечки, Шурочки, бывшие девочки из многолюдных, дружных трудовых семей, бывшие гимназистки, курсистки, учительницы, фельдшерицы. Бывшие, бывшие... Бывшие хохотушки и недотроги, бывшие спорщицы и певуны, бывшие красавицы, бывшие любимые, бывшие жены... Бывшие, бывшие... Все минуло, все кануло в прошлое: и люди те, и то время, ее время, ее люди. А в этом вот времени, в нынешнем, она уже не жена, не возлюбленная, не мать, не защитница, не наставница, и не живой она нерв в этом времени, а заноза... В старость, в старость — как в воду, все глубже и глубже, пока не зальет она последнего твоего вздоха. Старость — как отступление, как сдача позиций — одной за другой, до самой последней позиции, до края, до шага в пустоту... А если нет даже писем, даже фотографий, даже могил на земле? Если навсегда — только соседи, только чужая жизнь? Если осталась только память, вместившая все, что было с нею, с ее страной в то время — прекрасное и страшное, неповторимое, единственное? Только память и мужество жить.

Вот так, или примерно так, сумбурно и взволнованно, думал Борис Митрохин, пока эскалатор выносил его на поверхность. Теперь ему оставался последний, троллейбусный этап рабочего пути — пять остановок. Эх, а троллейбус-то уже отходит! Не успеть... А вдруг? Митрохин помчался к остановке с какой-то необычной для себя ловкостью, стремительно проскакивая меж прохожими и умудрившись не сбить и не толкнуть ни одного человека. Сейчас захлопнется! Ну еще чуть... Давай! В мощном последнем затяжном прыжке, с ходу, Митрохин влетел в тронувшийся троллейбус и привалился спиной к тотчас же захлопнувшейся двери. Вся задняя площадка принялась рассматривать прыгуна.

— Ну ты, друг, даешь! — одобрительно пробасил стоявший у заднего окна черно-лохматый дядя. — Я думал, ни в жисть не успеешь. От алиментов, что ли, спасаешься?

— От них, проклятых! — засмеявшись со всеми пассажирами, подтвердил Митрохин. — От самой Охты бегу!

— Ну, считай, что спасся, коллега, — забасил лохмач. — Лезь сюда. Что, мужики, не выдадим спортсмена?

Митрохин сквозь развеселившуюся толпу с удовольствием протискался к лохмачу, встал рядом. Все пять остановок проболтали они с этим дядей, представившимся Митрохину художником-декоратором. Потом, в настроении самом веселом, Митрохин выскочил из троллейбуса, помахал на прощание едущему дальше алиментщику-декоратору, а тот помахал в ответ.

Родной митрохинский институт — НИИ «Бытпромаш» помещался в небольшом старинном особняке с пузатыми полуколоннами у входа и четырьмя кариатидами, что вот уже свыше двухсот лет, и пять из них — на памяти Бориса, день за днем со скорбными улыбками держали на нежных девичьих плечах широкий и тяжелый балкон. Митрохин всегда с сочувствием поглядывал на этих гологрудых бедолаг: держитесь, девочки! Дом находился под охраной государства, о чем свидетельствовала чугунная доска, укрепленная на уровне второго этажа. У входа зеленела стеклянная вывеска учреждения. Митрохин, пришедший сегодня раньше обычного, в числе первых миновал проходную, весело насвистывая, взбежал по широкой, затейливо изукрашенной мраморной лестнице, прошел по коридору и бодро вошел в приоткрытые двери с табличкой: «Конструкторское бюро, группа 2».

Как обычно по утрам, Серафима Мироновна, их чертежница, уже заваривала чай на категорически запрещенной электроплитке, и пар чуть пошевеливал приклеенное к стене бумажное уведомление в рамке, тщательно выполненное самой Серафимой: «Ответственный за противопожарную безопасность — С. М. Васильева». Большая и светлая комната впрыток была заставлена столами и кульманами, и в утреннем малолюдь особенно бросалось в глаза, какая же у них теснотища.

В красном углу комнаты, за своим начальничьим столом уже сидел сам Жорж. Кому Жорж, а кому Георгий Андреевич Бочко-Задонский, обремененный животом и гипертонией крупногабаритный мужчина, некогда — русокудрый могучий красавец. Митрохину он был Георгием Андреевичем. Бочко-Задонский всегда приходил на работу первым. И как обычно, стоял уже у своего кульмана, задумчиво закусив палец, старательный Эдик Грендруков — «потливый ум», как ядовито окрестил его Борисов приятель, блестящий конструктор и редкостный неудачник Серега Пересветов. За соседним с Эдиковым столом, прямо на чертежах разложив свою косметику, беззаветно трудилась Ирочка Стебликова, самый молодой конструктор группы.

— Привет, коллеги! — поздоровался вошедший Митрохин. — Ирочка, что с тобой стряслось?

Молодой здоровый сон обычно не давал Ирочке возможности появляться в группе раньше чем через четверть часа после начала работы. Это стало уже традицией, всегдашним утренним развлечением сотрудников.

— Опять эта Стебликова опаздывает! — ежеутренне, спустя эти самые минуты, возмущался Задонский. — Черт знает что! — И тут же в тихо скрипнувших дверях появлялась легкая на помине Ирочка. — Ну-с, что вы сегодня скажете, Стебликова? — опершись щекой на руку и поигрывая карандашиком, вопрошал ее начальник.

— Ну честное слово, Георгий Андреевич, ну не слышу я его (имелся в виду будильник), а папа к семи уходит!

— А почему бы вашему папе не будить вас перед уходом, Ирина Викторовна? — всякий раз коварно предлагал Жорж.

— Что вы! — с обидой отвечала Ирочка. — Это же шестьдесять! — Она стояла в дверях, укоризненно переминяясь на своих потрясающей красоты ногах, и убойной силы взглядом пронзала Задонского.

— Чтоб это было в последний раз! — всякий раз сдавался бывший красавец. — Пропуск отобрали?

— Не отобрали, Георгий Андреевич! — радостно успокаивала его Стебликова. — Они давно уже не отбирают! (Ну ясное дело, вахтеры тоже ведь мужики, хоть и пожилые.)

... — Так что с тобой стряслось, Ирина? — спросил Митрохин.

Ирочка потрянула белогривой головой. Во рту у нее был карандаш для ресниц.

— Папа у нее теперь к восьми уходит, — злорадно пояснил Жорж.

— Ага, — грустно подтвердила Ирочка, освободив рот и поднося зеркало к глазу. — Он теперь в другом месте работает...

— Пьем чай, товарищи! — позвала Серафима. — Быстренько!

Все привычно, все на месте, все — как всегда в родной конторе. Потом они пили чай, а комната наполнялась сотрудниками. Серега Пересветов болел вот уже третий день.

— Борис Сергеевич, — позвал Митрохина Задонский, — как там у вас с «Эрмитажем»? Сроки-то уже вовсю жмут. Третий вариант, я считаю, вполне. Можно запускать.

— Дрянный вариант, — неожиданно для самого себя сказал Митрохин, поморщившись. А ведь еще вчера, задержавшись после работы и — в который уже раз — просматривая документацию по третьему варианту своего «Эрмитажа», он тоже нашел его вполне приличным. Не ахти, конечно, если честно-то, но Митрохин ведь не Кулибин, не Пересветов даже...

«Эрмитажем» (это красивое и ответственное название было предложено самим Митрохиным) называлась проектируемая им модель самоходного полотерного агрегата для музеев. Заказал ее «Бытпроммашу» эрмитажный отдел технического обслуживания, обходившийся до этого электрополотерами, не ахти какими мощными, шумными да еще капризными в работе.

Была у заказчиков, кстати, возможность закупить импортные машины, но этот вариант, конечно, не решал проблемы — нужна была отечественная модель. Одним словом, заказали. Одновременно эрмитажники просили модернизировать закупленные ими по случаю самоходные пылесосы. Кем и где закупленные — не важно. А важно то, что при работе они вырывались из рук уборщиц, катались по залам с поросычьим визгом и, переключившись вдруг на обратный режим, выплевывали проглоченный мусор в самых неожиданных местах. С пылесосами быстро разделался умница Пересветов. Теперь-то уж не завизжат и не плюнут. С пылесосами-то все о'кэй, а вот с «Эрмитажем»... Ходовая у него, пожалуй, улучшилась, фильтры стали надежней, покомпактней он стал... Э, да что там юлить: нет изюминки в митрохинском проекте, ни в первом варианте, ни в третьем. А сколько можно тянуть с этим заказом? Маркович, завтех музея, поначалу через день звонил: как да что? «Уж постарайтесь, братцы!» Весь отдел на выставки проводил, на самые дефицитные. Теперь вот обиделся: вот, мол, предпочел отечественную модель... Не звонит.

— Дрянь вариант, — сказал начальнику Митрохин, — сегодня сдам.

Задонский пожал плечами, но промолчал. Уперев локти в стол и ероша руками волосы, почти бездумно глядел Митрохин на осточертевшую, знакомую ему до мельчайших подробностей синьку основного чертежа агрегата. Н-да... Серегина работа — вот изящество! Постой-ка, постой... Стой! У Бориса похолодело под ложечкой, перехватило дыхание. Вот же как! Вот же... И — на одной оси, и — оба эти узла долой! Лишние они, лишние! А сюда — эксцентрик, а систему охлаждения — сюда. Ах, балбес, сколько времени допереть не мог! Ну, поняла теперь, тетя Мотя? Поняла, поняла... Схватив лист бумаги, стремительно и четко Митрохин набрасывал схему единого полотерно-пылесосного агрегата. Только бы не сорвалось... Не сорвется! Умница! Гений! Вот так, и так, и так вот, — мысленно поддакивал он возникающим на бумаге узлам и сочленениям. Да за каждую такую находку он отдал бы все,

что угодно! И Серега бы отдал, и любой инженер отдал бы! Вот он, «Эрмитаж», вот он, родимый. Жаль, что Пересвет болен...

Митрохин глянул на часы: десять двадцать. А ему-то казалось, что и четверти часа не прошло. Проходя к столу Задонского мимо Ирочки, Митрохин нежно пощекотал у нее за ушком и подмигнул в ответ на ее изумленно-обрадованный взгляд. Минуя задумавшегося, с пальцем во рту, Эдика, похлопал того по плечу.

— Четвертый вариант,— сказал он, протягивая лист начальнику.

Тот уставился на чертеж.

— Ничего не понимаю...— начал было Задонский и вдруг замолчал, словно бы задохнувшись. Соображал-то он как раз очень быстро.— А трансмиссия? — спросил было он.— Ах вот оно как...— И снова замолчал, стремительно водя карандашом по чертежу. Потом он поднял голову, и изумленно и обрадованно, как давеча Ирочка, глянул на Митрохина.— Гениально! — рявкнул он.— А ну, все сюда! Смотрите — вот это вещи! Смотрите, смотрите! — рявкал он, по-медвежьи ворочая головой и оглядывая столпившихся у стола сотрудников.— Гениально...— уже расслабленно и нежно проговорил Жорж.— Ай да Митрохин... Вот так Боря... Ну кто бы мог... Ты это сегодня? Сейчас?

Митрохин кивнул. Что-то стало ему вдруг неловко. И Пересвет болеет... Сотрудники, радостно галдя, поздравляли Митрохина: жали руки, тискали, хлопали... Фу ты, дьявол, до чего неудобно. На столе Задонского загрохотал телефон.

— Але! — рявкнул в трубку начальник, помаргивая повлажневшими глазами.— Слушаю! Кто? Арон Борисович? Легок на помине! С вас пол-литра, товарищ Маркович! Ах за что? А за то! Не думайте больше ни о каком импорте! Своя модель есть, такая, что им и не снилась! Черта с два им там такое решение найти! А? Ага! Что, не верите? Ай-ай... Сроки теперь малость увеличатся, но не прогадаете! Да что толку по телефону-то? Сейчас к вам автор подъедет. Ну да — Боря Митрохин, он самый. Ну пока. Привет! — Бочко-Задонский с маху положил трубку.— Поезжай-ка ты в Эрмитаж, Борис Сергеевич. Поезжай, растолкуй там, что да как. Время ведь теперь понадобится: чертежи, расчеты, но, если согласятся ждать, это ж будет вещи!

Сотрудники снова загалдели, поздравляя Бориса. «Эк его разобрало...» — с непонятым недовожеством подумал о Задонском Митрохин. Он подошел к своему столу, подцепил пальцами ремень спортивной сумки и под взглядами всей комнаты торжественно проследовал к двери. «Ай да

Митрохин,— подумал он о себе с усмешкой,— вот уж от кого не ожидал...»

На лестнице к нему, запыхавшись, подскочил «Валера-из-месткома», он же Валера Орехов, вездесущий общественник институтского масштаба, митрохинских лет инженер. «Что за Валера?» — спрашивали новички. «А это тот, который орет и за руку хватает», — отвечали им.

— Боб! — заорал Валера, ухватив Митрохина за руку. — Не забыл?

Митрохин качнул плечом сумку.

— Гигант! — заорал Валера.

— Ты, Валера, учти,— сурово предупредил Митрохин,— меня теперь на эту мормышку не поймаешь. Только один вид, как договорились: хоть бег, хоть прыжки, хоть метания. Мне все едино, где позориться, но только уж в чем-нибудь одном.

— Тогда прыжки! Ты ж у нас прыгун! — ткнул тот Митрохина в плечо.

— Да, я у вас тот еще прыгун, — усмехнулся Митрохин.

— Метр шестьдесят всего-то с тебя и требуется, остальное мы с Димулей обеспечим! — радостно орал месткомовец. Он имел в виду Диму Сергеева — молодого специалиста, дважды перворазрядника. — От вашей группы, значит, четверо: ты, Стебликова, Грендруков и Васильева! Главное — массовость! Очки! Выиграем «легкую» — команду «Минерала» завалим, а может, и команду «Вибратора» пошатнем, а? Главное, Стебликову на «сотке» имеем: такие ножки, хы-хы! Как считаешь?

— Будь здоров, — Митрохин шагнул вниз, — спешу. — Тоже мне, хы-хы...

— Так, значит, в три на «Комете»! — крикнул вслед Валера. — Не опоздай! Мы все в два отсюда едем. Отпрыгаешь — и домой!

«„Отпрыгаешь...” — неприязненно думал Митрохин. — Знаем мы эти спартакиады «Прощай, здоровье»! Жоржа Задонского вот после коньков еле таблетками откормили. Серафима тогда колено разбила и очки. Вот они, очки-секунды... Ладно. Надо так надо! Летом-то — не зимой. Позагораем, посмеемся, задавим «Вибратор» массовостью. А вот Арончика мы сейчас обрадуем. Вот уж тут-то был прыжок! Тут уж — без дураков. Давай-ка, Боб, побыстрее!»

Митрохин показал вахтеру раскрытый загодя пропуск, толкнул вертушку и выскочил из дверей. Он глянул вверх на кариатид: держись, девочки! — и, бодро размахивая сумкой, пошагал в сторону Эрмитажа.

III

— Ну, знал же я, Боренька! Ну, уверен же я был! Может быть, вы думаете, что я хоть секунду сомневался? Так вы ошибаетесь! Или, может, это не я буквально позавчера говорил начальству: когда Маркович делает заказ, так Маркович знает, где его делать! Я говорил ему: может, вам приятно смотреть, как эти полотеры зря жуют энергию? А вот в НИИ «Проммаш» в группе уважаемого товарища Задонского молодые талантливые конструкторы вот-вот закончат свою модель, такую, что все только ахнут! Вот вам мои доподлинные слова, Боречка, это, можно сказать, стенограмма! Есть там, говорю, такой Митрохин, так это не Митрохин, а Эдисон!

— Арон Борисович...— в который уже раз тщетно пытался перебить Арончика Митрохин,— да бросьте вы в самом-то деле...

Вот уж минут двадцать ежился он под ливнем восторга, изливаемым на него бородатым толстяком-хозяйственником. Рад был Арон и согласился ждать, сколько надо, а лучше бы немного. Позарез нужен был ему такой агрегат: километры паркета, тонны пыли. А самым чистым должен быть лучший музей мира. И он-таки будет! Любил Арон свой музей и дело свое знал и любил.

— Он стесняется! — вздернув бороду, вознес руки хозяйственник. — Он сначала изобретает, а потом он скромничает! Он не хочет, чтобы его называли Эдисоном. И он прав! У него есть своя фамилия!

Вогнал он таки Митрохина в краску.

— Ну, я пошел,— сказал Митрохин, метнувшись к двери.— Уши горят.

— Молчу, молчу, Боречка! — вытянул руки хозяйственник. Он действительно умолк и задумался, забегав пальцами по своей холеной, густой бороде.— Знаете, Боря, сейчас я вам устрою одну экскурсию. Вы будете меня благодарить. Для публики выставка откроется только в понедельник, но вы посмотрите ее сейчас. Надеюсь, сам Николай Павлович не откажет мне быть вашим личным экскурсоводом. Только уж вы постарайтесь побыстрее закончить с расчетами, ладно?

— Какая выставка, Арон Борисович? Какой Николай Павлович?

— А вы не слыхали? — искренне удивился Арон.— Весь город говорит. У нас открывается выставка «Культура инков». В понедельник тут будет столпотворение! И есть из-за чего, уверяю вас. Уникальнейшие экспонаты

из музеев Латинской Америки и Штатов. Раскопки Хайре-ма Бингема, Луиса Валькарселя, Ойле. Раскопки городов Куско, Сапсаумена! («Ай да Арон! — уважительно подумал Митрохин. — Мне такого и поевши не выговорить».) Сейчас вы спокойно осмотрите экспозицию. А что вы спрашиваете, кто такой Николай Павлович, так это — Николай Павлович Пласкеев — один из молодых наших американистов. Та-а-лант! — закатил глаза Арон Борисович. — Идемте, он мне не откажет! А сумочку, Боря, оставьте здесь.

Бородач подхватил Митрохина под руку, вывел из кабинета и, неожиданно при своей тучности, быстро повлек его по коридорам, лестницам и залам на эту самую выставку. «Со мной!», «Это со мной!» — коротко успокаивал он дежурных, бдительно кидавшихся навстречу.

— У нас так строго, — шепнул он Митрохину, — посторонних — ни-ни... Но пусть мне теперь скажут, что вы нашему музею посторонний.

— Спасибо, — поблагодарил Митрохин.

Он огляделся. Работы по подготовке выставки шли, видимо, еще полным ходом. Пахло замазкой, ремонтом. По устланному бумагой и газетами полу сновали люди. Что-то тут двигали, приколачивали, подвинчивали, подкрашивали, устанавливали, а установив и присмотревшись, вновь начинали двигать. Отрывисто и гулко в пустом помещении звучали деловитые голоса.

— Работы еще на два дня, — уверенно определил хозяин. — Давайте, Борис, пройдем в соседний зал. Там экспозиция уже готова, там и сам Николай Павлович.

В соседнем зале, пол которого тоже кое-где был покрыт бумагой, было безлюдно и тихо. Здесь уже неизбежно вдоль стен и по всему помещению стояли экспонаты: какие-то каменные стелы, каменные плиты, каменные же статуи, всевозможных размеров вазы, чаши. На стенах висели огромного формата фотографии, панорамы. Бросался в глаза огромный макет города, вернее — его развалин, отлично выполненный макет в стеклянном кубе, стоящем посреди зала. У этого куба, чуть склонившись, стоял невысокий, коренастый лысоватый человек. Он задумчиво рассматривал какой-то сложный рисунок, лежащий на крышке куба, и легко постукивал по рисунку пальцами.

— А вот и сам Николай Павлович! Николай Павлович, познакомьтесь, дорогой мой, с товарищем Митрохиным, нашим талантливым конструктором!

«Ну, Арон...» — покраснев и страдальчески сморщившись, чертыхнулся Борис, быстро глянув на ученого. Тот усмехнулся понимающе.

— А это,— Арон сделал жест в сторону остролицего — а это, Боря...

— Пласкеев,— поспешно представился тот,— Николай Павлович.

— Борис Сергеевич,— назвал Митрохин, пожимая ладонь ученого.

— Чем могу? — спросил тот, вопросительно глянув на Арона.

— Николай Павлович, не в службу, а в дружбу, покажите товарищу выставку. Я знаю, время у вас драгоценное, но кто же лучше вас...

— Хорошо,— вежливо согласился ученый,— я ознакомлю товарища с экспозицией. Получаса, я думаю, будет достаточно?

— Вполне,— обрадованно закивал Арон.— Ну, я побежал. Вы, Боря, на обратном пути загляните ко мне, хорошо? Хотя ведь сумка там ваша. Дорогу, конечно, найдете? А сейчас вы получите удовольствие! — Арон еще покивал обоим и быстро двинулся из зала, на ходу озабоченно оглядывая паркет на свободных от бумаги участках пола.

Ученый едва приметно вздохнул, сдвинул на стекле лист и постучал пальцами в стенд.

— Это,— начал он объяснять,— развалины Сапсауаме-на, одной из крепостей инков. Посмотрите, какая мощь, какая суровая гармония, какая ненавязчивая геометричность. Вы когда-нибудь интересовались древними цивилизациями Южной Америки, Борис Сергеевич?

— Нет,— сожалеюще покачал головой Митрохин.— Это из раскопок?

— Да. Эти развалины изучал перуанский археолог Луис Валькарсель. Часть экспонатов,— Николай Павлович коротко ткнул рукой в сторону стены,— как раз из этой крепости. Основной же материал — из Куско, столицы инков. Вот его панорама, взгляните.— Они подошли к стене.— Справа, на заднем плане панорамы,— показал рукой инковед (как мысленно окрестил его Митрохин),— знаменитый храм бога Ильяпа, бога погоды, грома и молнии.

— Илья Пророк? — обрадовался знакомому созвучию Митрохин.

Николай Павлович снисходительно усмехнулся, не ответив.

— А вот фрагмент стены этого самого храма,— ласково коснулся он пальцами огромного каменного блока, покры-

того узорной резьбой, изображавшей каких-то затейливых чудищ. В верхнем углу блока внимание привлекала вмятина, от которой, уродуя резьбу, разбежались прихотливые трещины.

— След ядра,— с отвращением пояснил ученый.— Конкста. Штурм.

— А-а...

— А это,— шагнул инковед к соседнему стенду,— так называемые «толстые танцовщицы».

«Ох и тети! — отвел глаза Митрохин.— Ох и танцовщицы! Да неужто их с натуры лепили? Вот так детали, вот так пуды...» Взгляд его, как намагниченный, вновь обратился к этому ансамблю. «Да...»

Проследив за взглядом Митрохина, Николай Павлович почему-то оскорбился и демонстративно глянул на часы. Почти ничего не объясняя и почти не задерживаясь у экспонатов, он показал Борису украшения из могильников инковской знати: броши, статуэтки, фигурки зверей и птиц. Каждый экспонат был снабжен аккуратной табличкой с надписью на трех языках: на русском, на английском и на испанском. Походя ученый показал Борису статую бога плодородия. Снова стелы, снова статуэтки, снова чаши... Посуда понравилась Митрохину чрезвычайно, о чем он и сказал Пласкееву, не изменив, впрочем, его пренебрежительного отношения к себе.

— А это что? А это? — то и дело спрашивал Борис, изо всех сил стараясь реабилитироваться во мнении ученого, которого так расхваливал Арон. Но, увы, ученого все больше и больше тяготила экскурсия.

Перед одним из экспонатов он вдруг вновь оживился. Это был огромный, метра два с половиной по ребру, белый барельеф.

— А вот это, м... Борис Сергеевич, пожалуй, гвоздь экспозиции. Это, видите ли, гипсовая копия каменного блока с бокового фриза храма божества Солнца — бога Инти. Это — из последних приобретений исторического музея Лимы. Фрагмент сильно попорчен, к сожалению. По-видимому, это изображение самого божества. Не правда ли, впечатляющая личность?

— Впечатляющая! — искренне согласился Митрохин.

Божество было изображено в полный рост и выполнено в тех же угловатых геометрических, чрезвычайно прихотливых линиях. Инти в расставленных руках, сжав кулаки, держал какие-то длинные узкие предметы: не то жезлы, не то рулоны. И только эти предметы в его руках нарушали впечатление полной, абсолютной симметрии ба-

рельефа. Так и виделась Митрохину ось симметрии, проходящая через центральный зуб шапки, или там — короны божества, через прямоугольный нос, через ступенчатый постамент, который попирали прямоугольные ступни Инти. Предметы в руках божества Митрохин мысленно окрестил жезлами. Правый жезл был расчленен на ячейки поперечными линиями, и каждую ячейку заполнял узор, замкнутый с внешней стороны и разомкнутый в сторону божества. Левый жезл раздваивался наверху и тоже был расчленен на ячейки с узорами, только эти узоры замыкались в противоположном направлении. Митрохин, как замороженный, не отрываясь смотрел на барельеф. Николай Павлович дружески тронул его за плечо.

— Какая мощь, какое божественное равнодушие к земному, — сказал он, — какой лаконизм исполнения! Да, это были мастера! У меня есть графическая копия этого барельефа, — ученый кивнул в сторону стенда с макетом крепости, и Борис понял, что речь идет о том самом листе, который Пласскеев рассматривал в момент их прихода.

— Скажите, пожалуйста, Николай Павлович, — спросил Митрохин, — а почему здесь нет надписей по-инкски? Здорово было бы, а?

Инковед усмехнулся:

— Этот вопрос... — И Борис испугался, что опять ляпнул нечто безграмотное. — Видите ли, Борис Сергеевич, — тем не менее благосклонно пояснил ученый, — это действительно вопрос вопросов. Еще недавно считалось, что, в отличие от месоамериканских индейцев (Митрохин поежился), андские индейцы письменности не знали. (Митрохин кивнул, сообразив, кто такие «месоиндейцы».) Но, — торжественно поднял палец гид, — теперь этот взгляд оспаривается, и, смею вас уверить, не без оснований! Нет, — затряс он головой, — письменных источников, подобных «кодексам» ацтеков, в Южной Америке не найдено, и узелковые записи — «кипу», согласитесь, тоже не письменность. Но еще хронист де Гамба утверждал, что в Куско существовал архив инков, где хранились куски материи, на которых были вытканы, — ученый голосом подчеркнул это слово, — вытканы важнейшие события истории страны. А де Гамба — корректнейший исследователь. А знаменитые «бобы» археолога Ойле? «Бобы», испещренные какими-то знаками. Вполне возможно, что это — пиктографическое письмо. Но все это, Борис Сергеевич, до сих пор — династическая тайна инков. Ах, если бы мы имели дело с иероглифическими комплексами, как Кнорозов! Впрочем, — спохва-

тился Пласкеев,—вам, наверно, все это... Одним словом, «по-инкски», как вы говорите, писать мы не можем.

Митрохин все еще неотрывно разглядывал барельеф. У него вдруг дернулась бровь, и он бессознательным жестом пригладил ее пальцем. Линия симметрии...

— Николай Павлович,—обернулся он к ученому,— нельзя ли взглянуть на чертеж?

— На чертеж? — изумился тот.

— На графическую копию,—поправился Борис, шагнул к стенду.

— Ах вот вы о чем,—пожал плечами Пласкеев,— пожалуйста... А собственно, с какой стати... Что вы делаете! — закричал он возмущенно, видя, как Митрохин, повернув лист обратной стороной, вдруг сложил его пополам по длине и провел ладонью по сгибу.— Ну, знаете ли!..

Митрохин развернул изображение Инти и, аккуратно изогнув половинки, свел жезлы вплотную. Узоры соединились. Теперь они были замкнуты с обоих боков, превратившись в странные, асимметричные фигуры. Одна фигура напоминала клубок змей, другая походила на стилизованного льва, третья — на сплющенное окно с рамкой, поставленное на платформу с колесами. А еще одна была кругом с крестом в центре, и еще одна, и еще... Штук двадцать фигур, расположенных вертикально одна под другой, причем некоторые, как показалось Митрохину, повторялись. Он вопросительно глянул на Пласкеева, который давно уже перестал возмущаться, молчком уставившись на рисунок. Инковед вдруг резко вырвал лист из Борисовых рук, поднес его к глазам. Руки его дрожали, и он вдруг вскрикнул от возбуждения.

— Это же! — крикнул он в лицо Митрохину и задохнулся.— Это же группы слогов! Понимаете вы? Понимаете? Ведь это же, возможно, подлежит расшифровке! — Уроненный лист медленно спланировал на пол. Ученый, уцепив Митрохина за плечи, тряс его так, что у Бориса моталась голова.— Может, это — нечто подобное письму майя?! — Пласкеев опять обессиленно вскрикнул и отпустил Митрохина.

— Значит, это вам пригодится? — довольно улыбаясь, спросил тот.

— О-о-о! — заклокотало в горле у Пласкеева.— О-о! У меня просто нет слов, Борис! — В волнении он упростил обращение.— Как это гениально просто! Как вы, неспециалист, как вы могли? Как догадались?! И как я... Ах, будь я неладен! Как я-то, я-то... Я ж все глаза промозолил этим,—он ткнул пальцем в пол, в рисунок. С каким-то

даже отвращением ткнул.— Что ж,— сказал он печально,— значит, честь первого шага в решении загадки письменности инков принадлежит неспециалисту. Забавно...— Было видно, как ему забавно. Пласкеев весь сник, съежился, лицо его осунулось. Впрочем, ученый тут же взял себя в руки.— И все же я готов расцеловать вас, Борис. Вы молодец. Гений!

— Ну что вы, Николай Павлович,— усмехнулся Митрохин,— какой я, к дьяволу, гений. Я же в этом — ни бумбум. Элементарная догадка.— И снова ему стало неловко и неуютно, и скучно ему как-то сделалось опять. Не зная, что же делать дальше — не уйдешь же отсюда сейчас просто так,— Митрохин снова подошел к стене, ткнул наугад в первую попавшуюся керамическую плитку:

— А это что такое, Николай Павлович?

— Здесь,— поспешно, с неестественной радостной готовностью откликнулся ученый,— изображен бегун-посыльный, скороход из Куско.

— Кстати, о бегунах,— обрадованно вспомнил Митрохин.— Мне пора. Наше заведение сегодня соревнуется. Я побегу, спасибо вам большое.

— Да, да, конечно же,— суетливо оживился Пласкеев и тут же опять сник.— Извините, что задержал вас, Борис,— совсем уж некстати извинился он.— А о вашей блистательной догадке я, конечно же, сообщу...

— Я тут ни при чем,— твердо отозвался Митрохин, глянув в глаза инковеда,— я просто согнул лист. Спасибо еще раз. До свидания!

Митрохин пожал вялую ладонь Пласкеева и торопливо пересек зал. Оглянувшись в дверях, он увидел печальную спину ученого, склонившегося над стендом с развалинами города Сапсауамена, над той самой, поднятой с пола, графической копией божества Солнца,

IV

«Комета» — старый второразрядный стадион — находилась в самом, пожалуй, тихом и зеленом, в самом уютном уголке города, на берегу Малой Невки, в соседстве с гребной базой и больницей, утопающей в зелени сада за глухим и старым деревянным забором. Спортивный комплекс «Кометы» был предельно прост: двухэтажный обветшалый деревянный дом в окружении застолетних раскидистых топей, да само поле стадиона, огороженное трубчатой изгородью. К одной стороне поля примыкали деревянные трибуны, с другой — располагались щиты с фигурами

представителей всех видов спорта. И — деревья, деревья, кусты, клумбы... Хорошее место!

Здесь-то обычно и проводились всяческие непредставительные соревнования, на которых — ни платных зрителей, ни выдающихся достижений. На этом вот поле сражался митрохинский НИИ в ту памятную зимнюю спартакиаду, здесь же разыгрывалась и прошлогодняя летняя.

Соревнования шли уже полным ходом, и на стадионе царило веселое оживление, непринужденный домашний азарт. Все свои: «Вибратор», «Минерал», «Лаборатория твердых сплавов», прочие знакомые. Чего делить-то? Не корову проигрывать. Ну мы, ну они — какая в общем-то разница? Главное — здоровье! Посоревнуемся, посмеемся, толкнем, пробежим — чем плохо? Вроде пикника или овощебазы, очень способствует сплочению... А Костиков-то у нас, оказывается, спортсмен — ишь как в длину-то сиганул! Кесикова! Ах ты, моя рыбонька! Ногу подвернула, сошла с дорожки... Да не расстраивайся ты, Люсенька, подумаешь — сошла! Зато смотри, какая ты у нас красавица! Да «Твердым сплавам» такие-то и не снились! Ихним гримзам только выигрывать и остается! Давай, давай, Сергей Авдеич, не расслабляйся! Соберись-ка, напрягись, растрясись пузо-то! «Прыгает Васильева, „Проммаш“, приготовиться Ордынцевой, „Минерал“!» Разбежалась, прыгнула. Четыре десять? Вот и умница, вполне еще спортивная женщина...

Вот так полным ходом и шли эти соревнования. И тепло было, и весело. Пожалуй, кой-какой азарт ощущали лишь бывшие разрядники, знавшие друг друга еще со студенческих соревнований, где они соперничали — кровь из носа. Трое таких прыгали в высоту вместе с Митрохиным в правом прыжковом секторе: свои, родные — Дима Сергеев с Валерой-из-месткома и вибраторец Лурье. Вернее, они еще не прыгали, высота для них была плевая — метр пятьдесят пять; начать же они договорились десятью сантиметрами выше. Валера и Лурье все еще разминались: качались вразножку, отжимались, делали махи ногами. Дима же Сергеев — неоспоримый претендент на победу (институтский его результат был метр девяносто) — побежал в левый сектор, где в окружении восторженных зрителей тренировался со своим индивидуальным наставником знаменитый Игорь Гривосвятов — недавний чемпион города, член олимпийской сборной.

Митрохин и сам бы с удовольствием побежал любоваться знаменитостью, но, прыгнув свои обязательные

метр пятьдесят пять, свободное время до следующей высоты он потратил, наблюдая финал женской стометровки, в котором бежала Ирочка Стебликова. Ирочка птицей пролетела дистанцию, красиво упала на ленточку грудью, вылетела на вираж. Первое место.

— Молодец, старуха! — заорал Валера. — Иди, я тебя прижму к сердцу! Два первых места — в кармане! (Он имел в виду и грядущую Димину победу.)

Ирина послушно направилась к прыгунам. Ох и хороша была соотрудница: белогривая, черноглазая, загорелая, в майке с эмблемой «Буревестника». «И как она замуж еще не выскочила?» — вдруг удивился Митрохин. Ирочка, чуть склонив голову, царапала землю шиповкой. Валера кинулся было осуществлять свое намерение, но Стебликова беззлобно шлепнула его по рукам. Она посмотрела на Митрохина.

— Прыгаешь?

— Он у нас молоток! — заорал Валера. — Он свое дело сделал. Может, и еще возьмет, а потом уж мы с Димулей!

«Мы с Димулей...» — неприязненно подумал Митрохин, и вдруг ему захотелось обязательно взять и следующую высоту, и следующую тоже. При Ирине взять.

— Прыгает Митрохин, «Проммаш», — вызвала судья Шурочка.

Митрохин, прыгавший «ножницами» — самым примитивным способом, пошел направо, потоптался, разбежался и перемахнул через планку. Все же он был рослым мужиком.

— Есть! — сказала Шурочка, ставя крестик в протоколе. — Прыгает Сейфулаев!

— С запасом! — заорал Митрохину Валера. — Во запас! — показал он руками полметра. — Ну ты, Боб, даешь — «ножницами» и такой запас!

— А ты как прыгаешь? — поинтересовался Борис. — Каким стилем?

— Я-то перекидным, — важно пояснил Валера. — Экономный стиль. Или уж фосбери-флоп, это спиной. Видел? Вот Гривосвятков так прыгает, — мотнул Валера подбородком в сторону противоположного сектора. — Видишь, поролона ему в яму наволокли? А ты, Боб, продолжай «ножницами». Ты только в толчок попади и сто шестьдесят пять в кармане!

— Ой, мальчики! — спохватилась Ирина. — Вы тут прыгайте, а я побегу посмотрю, как Игорек работает. (Ирочка коротко знала почти всех ведущих легкоатлетов

города.) А то он говорит, что не в форме сегодня.— И Стебликова на своих красивых и легких ногах побежала к гривосвятовскому сектору.

Объявили следующую высоту. Претендовало на нее всего-то человек с десяток.

— Начнем, что ли, Миша? — обратился к Лурье Валера. Тот кивнул. Они начали солидно и неспешно раздеваться.— Дима! Пора-а! — проорал Сергееву Валера.

— Прыгает Орехов, «Проммаш»!

Валера, заранее разметивший разбег, подошел к своей ближней отметке, обновил черту, потом пошел к дальней отметке. Он попрыгал столбиком, кругообразно помахал руками, сосредоточился, сказал: «Ы-ых»,— и побежал. Митрохин уставился на Валеру, мысленно повторяя каждое его движение. Вот Валера у ближней отметки: раз шаг, два шаг, три, четыре, пять... Взмах прямой ногой, Валера взлетел над планкой, на миг как бы оседлал ее, лежа с одной прямой ногой и полусогнутой другой, потом резким толчком как бы выстрелил ее вверх, провернулся вокруг планки и упал на спину в яму.

— Есть! Прыгает Лурье, приготовиться Сергееву!

Лурье проделал примерно то же самое, что и Валера, и тоже: «Есть!» Примчался выкликнутый дважды Сергеев. Не раздеваясь даже, он подошел к своей отметке, наклонился, выпрямился, побежал.

— Есть! Прыгает Мусиков, «Твердые сплавы»! — Звякнула планка.

— Нет! Митрохин, «Проммаш»! — крикнула Шурочка. Борис, решившись вдруг, направился не к своему правому углу сектора, где уже топтался чернявый Сейфулаев, тоже прыгавший «ножницами», а к левому, к дальней Валериной отметке.

— Ты что, Боб? — заорал Валера.— Куда тебя попесло?

— Попробую,— сказал Митрохин.

— Не выйдет же! А-а...— махнул рукой Валера,— вай. Сто шестьдесят — в кармане.

Митрохин попрыгал, как давеча Валера, ы-ыхнул так же и побежал. Вот она, ближняя отметка: раз... два... пять! Митрохин вымахнул прямой ногой, взлетел над планкой и опомнился, только почувствовав спиной опилки ямы.

— Есть! Прыгает Сейфулаев!

— Молоток! — возрадовался Валера.— И опять запас! А еще говоришь, не прыгал! А техника-то, техника! — кричал он. Все же Валера-из-месткома был истым общественником.

Трое отсеялись на этой высоте, в том числе и Сейфулаев. А ведь почти взял с третьей попытки.

— Метр семьдесят. Орехов — есть!... Лурье — есть... Сергеев — есть!... Митрохин!

Разбег. Пять шагов. Мах. Рывок... Есть!

— Запас! — выдергивая Бориса из ямы, восторгался Валера. — Во! — И опять показывал руками полметра. Чемпион Сергеев посмотрел на Митрохина с интересом.

— ...Безгубов, третья попытка — нет!... Веселовский, «Севкабель», — нет!...

На высоте метр восемьдесят их осталось трое: Сергеев, Лурье и Митрохин. Валера растянул какую-то связку и, дважды сбив планку, от третьей попытки отказался. Он, впрочем, ничуть и не огорчился, а, прихрамывая, мотался по сектору, со всей высвободившейся энергией болея теперь за Митрохина.

— Сергеев — есть!.. Митрохин — есть!.. Лурье!..

— Ну, Боб, ну, Боб! Ну слов же нет! А запас-то, запас! Ага, и Мишку — в снос! (Лурье сошел, исчерпав третью попытку.) Вот так «Вибратор»! Два первых места — наши! Боб! Да ты никак ошалел: метр восемьдесят пять!

«Действительно, ошалел...» — в растерянности думал Митрохин, глядя, как двое помощников судьи устанавливают планку на этой, невероятной для него, высоте.

Соревнования по остальным видам уже закончились, и участники, превратившиеся в зрителей, толпились теперь в двух прыжковых секторах: в том, где прыгали они с Сергеевым, и в том, где индивидуально тренировался Игорь Гривосвятков. Но в их секторе народу теперь, пожалуй, было побольше.

— Метр восемьдесят пять. Сергеев! Первая попытка!

Разбег, толчок — есть! (Ну еще бы!)

— Митрохин! Первая попытка!

Те же отметки, те же шаги, тот же вымах, тот же переворот... Есть! (Из ямы еще, на спине лежа, понятно, что — есть! По единому общему воплю понятно.) И тот же запас, судя по восторженно разведенным рукам Валеры.

— Вот где таланты-то скрывались! — громко сказал подошедший представитель спорткомитета. — Что ж вы, Орехов, его на межведомственные соревнования не заявили? — неприязненно обратился он к Валере.

— А я знал? — орал Валера. — А кто знал? Он же в прошлый раз полтора и пять прыгнул! Ядро — для зачета! В длину — тоже!

— Ну-ну, — не поверил представитель, — рассказывайте! И ты, Дима, мне ни слова, а?

Губы Сергеева дрогнули, он нахмурился.

— Не знал,— коротко ответил он.

Он подошел к планке, поднятой тем временем уже на сто девяносто, и озабоченно потрамбовал землю в месте толчка. Потом пошел к началу разбега. Митрохин глянул на него и отвел глаза. Больше всего ему хотелось, чтоб все это кончилось поскорее, чтоб Сергеев выиграл, как ему, прыгуну, и положено, а самому Митрохину за глаза хватит и этого неожиданного второго места, за счет невесты откуда прорезавшейся прыгучести. Не его это дело, не специалист он в этом...

— Сергеев, можно!

Сергеев поднял руку — понял, мол, понял. Он согнулся, выпрямился, побежал...

— Нет! — Аж взвилась планка, подцепленная Диминой ногой еще на взлете. — Нет!

Сергеев, поднявшись из ямы, отряхнул опилки, подошел к месту толчка, глянул, покачал головой. Зрители сочувственно последили за ним, но тут же выжидательно устремили глаза на Митрохина. Еще бы! Это ж подумать только: не прыгун, а такое выдает! В прошлом году, говорят, полтора метра еле одолел, сегодня еще вначале «ножницами» прыгал, вот Коля видел. Правда, Коля? А ну давай, давай, парень! Давай, Митрохин! Чего только не бывает, вот тебе и любитель!

— Митрохин, можно! — крикнула Шурочка, улыбаясь лучезарно.

— О-о-ых! — Разбег... шаг... второй... пятый... взлет... Есть!

— Есть! С первой попытки! — бесновато орал Валера.

— Есть!!! — орали зрители. — Есть!!

Привлеченные этими воплями, от чемпионского сектора трусцой зашпешили перебежчики. Толпа густо толкалась, полукольцом охватив сектор. Сергеев прохаживался, готовясь ко второй попытке. Митрохин сидел на скамейке, обнимаемый за плечи Валерой, заботливо покрывшим своей фуфайкой митрохинские колени.

— Ты в самом деле сто девяносто взял? — спросила подошедшая Ирочка. — А, Боря? Потрясающе!

— Все — с первой попытки, — погладив Митрохина по голове, сообщил Валера.

— А Димочка? — поинтересовалась Ирина. — А там у Игорька совсем прыжок разладился, — не дожидаясь ответа, сообщила она, — нервничает. С тренером, с Иван Герасимычем, разругался, ужас! Чушь, говорит, все ваши советы! Не идет, говорит, сегодня и все! Мешает, мол, что-то!

— Сергеев! Вторая попытка, можно!

«Ну прыгни же, прыгни!» — мысленно внушал ему Митрохин.

Разбег, взлет... Нет!

— Все! — сказал Сергеев, улыбаясь. — Отпрыгался на сегодня! — Он подошел к скамейке, хлопнул Митрохина по плечу. — Иди допрыгивай.

— Митрохин, поднимать? — спросила Шурочка, с огорчением глядя на Диму. Представитель комитета метнул на нее свирепый взгляд.

— О чем вы спрашиваете? Следующая высота! — рявкнул он тем, что заведовали планкой.

— Не надо, — вяло махнул рукой Митрохин, — действительно хватит!

— Митрохин, прыгайте! — веско распорядился представитель.

— Прыгай! Прыгай! — загалдела толпа. — Сигай дальше, Боря!

— Ну Боб, ну родной, давай! — затряс его Валера. — Потрудись за родимый коллектив!

— Прыгни, Боря, — провела ладонью по Борисову плечу Ирина.

— Ладно, — махнул он рукой, — в последний раз прыгну.

Зрители захохотали.

Всей кожей ощущая эти прикованные к нему взгляды, Митрохин поплелся к отметке. Ишь фаворит. «Янычар...»

И опять — эта отметка, этот разбег, этот взлет...

— А-а-а! Ур-ра! — единой глоткой взревели болельщики.

— Запа-ас! — надрывался Валера. — Ставьте ему два десять, сразу ставьте!

— Отлично! — затряс Митрохину руку представитель. — Удивительно стабильный прыжок. И действительно — постоянный запас не менее двадцати сантиметров. Может быть, имеет смысл в самом деле поставить сразу два десять, или лучше — два ноль пять?

— Два десять! Два десять! — галдела спартакиада. Это ж надо — из их среды! Ну-ка, где там этот Гривотрясов? Чего он там в одиночку выгибается? Пусть-ка с нашим посоревнуется! Посмотрим, кто кого! Это ж надо — все высоты с первой попытки! В кедах! Дайте ему спецобувь и ставьте два десять!

...А Гривосвятов как раз уходил из своего чемпионского сектора, пиная несомую на ремне сумку, оборачиваясь и что-то гневно отвечая тренеру, кричавшему ему вслед.

— Так какую высоту ставить? — настырно наседал представитель.

— Все! — твердо сказал Митрохин. — Больше не могу. Выдохся. Нет здоровья. Ногу растянул, — пояснил он представителю.

Он поспешно похватал со скамьи свои вещи, отпихнул Валерины руки, протиснулся сквозь влюбленных в него болельщиков и, деланно хромя, через поле стадиона, не оглядываясь, устремился к раздевалке.

— Но куда же вы, Митрохин? — кричал вслед представитель. — Мы ж должны с вами... Да остановитесь же!..

На берегу Невки, за кустами у забора больницы Митрохин неспешно переоделся, покачивая головой и смущенно посмеиваясь. Он утрамбовал в сумку спортивную форму. Зеленая майка оказалась наверху. «Цвета НИИ «Быт-промаш», — подумал он с комментаторскими интонациями, — блистательно защищал Б. Митрохин, доселе никому не известный...» Откуда что берется... Что ж это творится весь день сегодня, а? На миг вспомнилось узкое лицо огорченного инковеда. Ну да ладно. На сегодня хватит.

Вдоль забора, крадучись и воровато озираясь, Митрохин выбрался на бульвар и бульваром вышел к трамвайной остановке, сел в подошедший семнадцатый. Сразу же за мостом, как обрубленная, кончалась эта, почти загородная, зелень и тишина. Начинался город.

На проспекте, случайно глянув в окно, он увидел витрину кинотеатра и выскочил из трамвая. «Остров сокровищ!» Старый, довоенный «Остров», тот, где «приятель, веселей разворачивай парус...», тот — с пиратскими песнями, повстанцами, тавернами, с Дженни... А он-то искал этот фильм столько времени!

Митрохин купил билет и опрометью (шел уже журнал) кинулся в зрительный зал. Ну вот и слава богу...

С первых же звуков увертюры, зазвучавшей словно со старой, исцарапанной, заезженной пластинки, с первых же кадров, где возник пустынный морской берег и группа всадников помчалась по нему во весь опор, Митрохин начисто забыл обо всем том, что стряслось с ним в этот странный, насыщенный событиями день.

V

Когда, в негустой толпе зрителей, растроганный и размягченный, Митрохин вышел из кино, был уже вечер. Митрохин глянул на часы. Они стояли, показывая четыре часа

с минутами. «Встряхнул! — мысленно чертыхнулся Борис, — рекордсмен ушибленный!» На улице горели фонари, светились витрины магазинов, и свет был чуть размыт еле заметным, еле ощутимым мелким дождем, почти туманом. Митрохин зашел в гастроном, купил еды на ужин и на завтрашнее утро, уложив пакеты в сумку и увидев сверху зеленую майку, вновь огорчился по поводу покалеченных часов. Он дошел до конца проспекта, свернул на набережную, потом на бульвар, примыкавший к ней под острым углом.

Давненько не гулял он так вот, без спешки, без цели, в одиночку. Очень даже давно. А то все бегом, все по графику: от будильника до работы, от работы до квартиры. Ах, быт накатанный, привычные привычки... кошка Векша, песок ей через день таскать, хомяк Вася — раз в неделю чистка его жилплощади, по выходным — душевные беседы с Пересветом, иногда с бутылкой, время от времени — Вика, с ее заботой о нем, с ее собственными проблемами, и ссоры с ней, и примирения — тоже уже привычка. Доктор Вика... «Все доктора — швабры!» — вспомнился ему пиратский рык Билли Бонса — Черкасова. Митрохин засмеялся. Ну уж это ты, положим, зря. Хорошая женщина и к тебе привязана, к этакому сокровищу. Любит. Да полно, любит ли? А ты ее? Ох, хоть бы сестра приехала со своими пацанами, что ли. В прошлый раз — как весело было! Вот бы от кого сосед мой попрыгал! Сосед, сосед... Может, он и сам себе не рад, может, никого у него на свете нет, ни сестры даже, ни племянников... Поговорить бы с ним без нервов...

Митрохин прошел церквушку у начала сада, вытянувшегося вдоль бульвара, свернул в аллею. Тут было сумрачно и безлюдно. Митрохин шел, тихо посвистывая и в такт мелодии качая сумкой.

Вдруг где-то сбоку впереди забубнили голоса, раздался испуганный и протестующий женский вскрик и на аллею, метрах в пятидесяти от Митрохина, с боковой дорожки стремительно вышла женщина и пошла, почти побежала по аллее к выходу на бульвар, испуганно оглядываясь назад. Следом вышли двое мужчин и неторопливо двинулись за ней, что-то бубня и всхохатывая. Женщина побежала. И тут впереди нее из кустов выскочил третий и, растопырив руки, преградил ей путь. Женщина отпрянула, кинулась в сторону, в другую, и руки мужчины вцепились ей в рукав и в волосы. Она вскрикнула, и тут же взревел схвативший:

— Царапаться, сука?!

Изрыгая несусветной мерзости ругань, он наотмашь, смачно ударил ее по лицу. Сзади, все так же неспешно, подходили те двое.

Не успев даже осознать происходящего во всей этой последовательности, подброшенный, как взрывом, звуком этой — наотмашь — пощечины, с заолодевшим от несправедливости сердцем, Митрохин мчался по аллее.

— Стой, падаль! — крикнул он осевшим до клекота голосом.

Двое задних, остановившись, обернулись. Оба они улыбались как-то даже снисходительно и сожалеюще, и один, тот, что поменьше, сунул руку в карман. Не добежав до них нескольких метров, Митрохин взлетел вверх с согнутыми в коленях ногами и, резко выбросив их вперед, ударил одновременно их обоих, не успевших даже отшатнуться. Высокому удар пришелся в плечо, тому, что пониже, — в подбородок. Оба рухнули. Митрохин упал на спину, перекатился через голову, снова вскочил на ноги, словно подкинутый пружиной. В несколько огромных, стелющихся шагов он был уже рядом с тем, бывшим женщиной, и когда тот, выпустив ее из рук, дернулся в сторону и назад, Митрохин, коротко размахнувшись, ударил его ребром ладони наискось по лицу: по губам, по ноздрям и, уже падающего, достал ногой. Он снова размахнулся ногой.

— Нет! — в ужасе закричала женщина, схватив его за руку. — Не бейте больше!

Митрохин, вырвав руку, стремительно повернулся назад. Невысокий лежал на спине — рука в кармане, — второй сидел на корточках, раскачиваясь и уцепившись руками в плечо.

— Ах падаль, ах падаль... — не в силах совладать с дергающимися губами, бормотал Митрохин. — Убью!

Женщина опять схватила его за руку, с настойчивой силой влекла его к выходу из сада.

— Не надо! Не надо! — повторяла она. — Не надо больше!.. Боря?..

Митрохин глянул. О господи, — Ирина! Он рванулся назад, но она повисла на нем, лихорадочно что-то бормоча, шепча, целуя его и заливаясь слезами.

Они быстро прошли на бульвар к остановке троллейбуса, тут же, к счастью, подошедшего. Они вскочили в него, но, проехав две остановки, вышли, потому что пассажиры с любопытством и недоумением разглядывали эту пару: заревавшая девица и парень с серым лицом и дергающимися губами. И оба — со спортивными сумками в руках. Что за трагедия на спортивном фронте?

...— Понимаешь,— рассказывала Стебликова, когда, уже успокоившись, они вышли на Дворцовый мост,— мы все тебя искали, ждали. И Иван Герасимыч хотел на тебя взглянуть. Игорек...— Ирина запнулась,— Гривосвятов даже не поверил, что ты без тренировки, в кедах метр девяносто семь взял...

— Метр девяносто пять,— равнодушно поправил Митрохин.

— Нет, девяносто семь,— погладила его руку Ирина,— там потом перемеряли...

— Ну, а дальше?

— А потом все наши «нишники» пошли в «мороженое». А потом я к тете Клавде пошла. Это сестра папина,— пояснила Ирина,— она на Добролюбова живет. А ее дома не оказалось. Ну, а потом пошла я через садик...— Ирочка прерывисто вздохнула, и Митрохин сжал ее ладонь.— Они все сзади меня шли, эти двое... Сначала просто заигрывали, потом всякие гадости стали выкрикивать. Я бы от них запросто убежала, а тут этот, из кустов... А тут — ты! А как ты их всех троих, Боря! — она восхищенно глянула на Митрохина.— Каратэ, а я и не знала.

— Какое, к черту, каратэ,— сказал Митрохин,— осви-репел я просто, когда он тебя ударил. О каратэ я и понятия не имею.

— Ну да...— усомнилась Ирочка, опять погладив его руку.— Давай, Боря, зайдем к нам, а? Я тебя с папой познакомлю. Он у меня знаешь какой!

— Вот только на работу ему теперь к восьми,— вспомнилась Митрохину утренняя новость.

Ирочка засмеялась, тряхнула волосами. Митрохин глянул на нее и в который уже раз за сегодня подивился: до чего же красива! Как же он раньше-то не замечал?

— Ирина,— спросил он,— а мама?

— Мама умерла три года назад,— глухо ответила Ирочка,— три года и четыре месяца.

Они проходили мимо какого-то длинного обшарпанного забора. Сеял дождь и было безлюдно. Митрохин остановился, повернул Ирину к себе лицом, обнял ее и поцеловал. Она всхлипнула и погладила ладонями его лицо. Больше они не останавливались и не разговаривали до самого ее дома.

— Ну беги,— сказал Митрохин.— До завтра. Привет папе. Ты его не пугай, не рассказывай про драку.

— Ага. Боря...— начала было она, но не договорила, засмеялась и махнула рукой: — До завтра!

Через час добравшись до дому, Митрохин отпер свой почтовый ящик, глянул. Две газеты и записка. Так, интересно... «Была, не застала, буду завтра. В.». Лаконизм. Телеграфный стиль. Завтра, стало быть... Нет, завтра никак не годится. Вроде бы теперь никогда уже не годится. Вот ведь дела-то какие, друг ты мой Боря...

К лифту они подошли одновременно с соседом. Митрофан Прокопович, против обыкновения, на Митрохина не накинулся, а глянул и отвел глаза: — Кхе-кхе... — Трезв он был и тих.

— Домой? — спросил Митрохин, держа палец у кнопочного пульта, спросил на предмет выяснения нужного соседу этажа.

— Домой... — вздохнул тот.

Митрохин нажал кнопку. Поехали. Помолчали.

— Эх, — сказал Борис, — не будем ссориться, Митрофан Прокопыч! Ей-богу, надоело. Извините, коли виноват.

— А чего ссориться-то, — закричал сосед. — Ни к чему это дело. Тут вот лаешься, психуешь, а потом «кондратий» хватит — и в ящик. Разумно это, я тебя, Боря, спрашиваю? Разумно?

— Конечно же, неразумно! — обрадовался Митрохин.

При выходе из лифта Борис жестом пригласил соседа пройти первым, и тот вышел, кивнув светски.

— А я твою Вешку давеча накормил, кошку, стало быть, — сообщил сосед, имея в виду Борисову Векшу. — Она ко мне по балкону перебралась. Мяукала, голодная. У-у, злыдень! — шутливо ткнул он кулаком в митрохинский живот. — Не кормишь! Так она ж хомяка твоего сожрет, а потом тебя самого.

— Ну спасибо вам, Митрофан Прокопыч, ну спасибо! — поблагодарил старика Митрохин, отпирая дверь. — Прощу!

— Попозже разве, — пожевал губами сосед. — А и ты, Боря, заходи, когда вздумаешь.

— Спасибо, спасибо.

— Не на чем.

Митрохин вошел в свою однокомнатную холостяцкую квартиру, купленную три года назад старшей сестрой — единственной его родней на белом свете, зажег свет, включил телевизор и пошел на кухню, готовить еду себе и кошке. Векша уже вилась у его ног со своим извечным: «Дай! Дай!», иногда переезжавшим на совсем уже душераздира-

ющее: «Дав-а-а-ай!!» Борис дал ей колбасы. Отстала, слава богу.

Борис вернулся в комнату, поглядел, как на обеззвученном экране широко разевает рот певица, словно бы норовя откусить от всунутого в рот микрофона. Митрохин дал звук: «...па-рус мой, парус: бе-е-лая птица...» Нет уж, пусть лучше Векша мяучит. Он выключил телевизор, вытянулся на диване, заложив руки за голову.

Весь сегодняшний день вспомнился ему, весь день во всех подробностях. И Татьяна Антоновна с ее лорнетом, с ее Диккенсом (странно, что только теперь он ее вспомнил), Сонечкина могила, Калуга... И этот вариант «Эрмитажа» — блестящее конструкторское решение, и бог Инти с его сдвинутыми жезлами, и радостно-ошарашенное, а потом такое печальное лицо Пласкеева. И соревнования на «Комете», Валера, Дима Сергеев, Гривосвятов-чемпион, и эта драка в саду, и Ирина...

«Что ж это? — думал Митрохин. — Что? Почему мне так невозможно, необъяснимо все удавалось сегодня? Что это — случайное везение? Непрерывная цепь случайного везения?..» Он вспомнил первое, искреннее изумление Бочко-Задонского, когда положил ему на стол тот самый четвертый вариант. Ну ясно же — он просто не ожидал от Митрохина такого. И никто небось не ожидал. Это мог сделать только Серега Пересветов, только он один из всей их группы. А Серега заболел как раз... Митрохин вспомнил затем произвольно сорвавшуюся фразу Николая Павловича на выставке: «Как вы, неспециалист...» — и так далее. И — презрение ученого к самому себе. Он, Митрохин, опять ухватил чужое. Чужое, чужое! А эти прыжки, черт бы их побрал? Эта прыть, чемпионство это в кедах?.. Любимец публики... И второе место у поскучившего, хмурого перворазрядника Сергеева, Сергеева, который до сих пор ходит на тренировки. Чужое, и тут чужое! А Стебликова? Наверняка ведь у нее кто-то был, есть кто-то, у такой красивой, веселой? Ведь любила она наверняка кого-то до сегодняшнего вечера. Ведь не его же, Митрохина, в самом-то деле. Опять — чужое? Он сказал ей: «Привет папе...», а она? Что она хотела сказать перед этим: «До завтра»? «А что будет завтра, Боб? Что будет завтра, конструктор-самородок, инковед-самородок, чемпион-самородок, что? Ох и выпил бы я сейчас, ох и выпил бы! И — никого...» Митрохин скрипнул зубами, замотал головой.

В дверь деликатно позвонили.

Он встал, постоял, охватил лицо ладонью, потом отомкнул дверь и увидел соседа.

— Отдыхаешь? — спросил Прокопыч. — Не помешал?

— Какое там помешал! — обрадовался Борис. — Входите, пожалуйста.

— А я вот с «дружком», — подмигнул Митрохину сосед, — за шкирку его приволок. — И он протянул Борису банку кофе. — Растворимый, — гордо сообщил Митрофан, — как ты непьющий...

— Можно и с дружком, — сказал Митрохин, — это даже хорошо, что с дружком. Мне бы сегодня и покрепче «дружок» подошел. Вы проходите в комнату, Митрофан Прокопыч, располагайтесь, я сейчас на кухне все приготовлю и сюда приду.

— А чего ж в комнате огород городить? Айда на кухню, — предложил сосед.

— Айда, — согласился Митрохин.

— По-холостячки, по-соседски, — наклонившись, чтоб пощекотать Векшу, прокряхтел старик. — Ах ты, шельма ты этакая, Вешка ты полосатая! А я, брат, к кофею этому не привык, не развезло бы, хе-хе-хе...

...Потом они сидели на кухне, попивая кофеек, и соседа, удивительное дело, действительно явно развезло от непривычного напитка. И сосед душевно жаловался Митрохину на одиночество: всех, мол, своих растерял в войну, и сам контуженный и раненный-перераненный, и вот заносит его за счет контузии временами; такие закидоны бывают, что и сам потом не рад. И ни в каких таких суровых заведениях он отродясь не работал, а на пенсию ушел из вахтеров Института геологини, знаешь, — на Мойке?

— Так что ты, Боря, сердца на меня не держи. А вот женить тебя, Боря, давно пора — непорядок. Ни жены, ни детей.

Ну и правильно, ну и верно, и не буду я больше никогда эту заразу пить, чем заборы красят. Будем мы с тобой, Боря, кофей теперь пить. Главное, есть он всегда, простой-то. Полны полки. Кому он нужен? А нам с тобой — нужен! Будем пить и будем оба здоровы! А крепкий кофей-то этот; а? Жуты! Поглажу вот твою Вышечку и пойду... Ах ты, шельма полосатая, ах ты, Вошка хвостатая! Пусть банка тут у тебя стоит, до следующего раза. Ну, прощай, Боря. Справедливый ты человек, без закидонов...

...Четверть часа спустя Митрохин уже спал. Заснул, не смотря на крепчайший кофе, которого выпили они с Прокопычем чуть ли не полбанки.

Спать-то он спал, но не давало ему возбуждение провалиться до утра в пустоту и безвременье. Сны одолевали Бориса Митрохина, ох одолевали...

«Странно, очень странно, Борис Сергеевич,— во сне, как наяву, качал головой Бочко-Задонский, кудрявый и красивый, как на фотографии молодых лет.— Может быть, все-таки эту идею подсказал вам Сергей Иванович? Вы бы уж признались, Борис Сергеевич, чего уж там... А то, знаете ли, неэтично, некорректно как-то — чужое присваивать. Конструктор вы, конечно, неплохой, пользовались заслуженным уважением коллектива, но...»

А Ирочка Стебликова при этом смотрела на Митрохина с состраданием и сожалением.

«Именно — некорректно и неэтично,— продолжил, сменив отснявшегося Задонского, Пласкеев-американист.— Андские индейцы — моя специальность. И графическая копия Инти изготовлена по моей просьбе. Может быть, уже сегодня я бы и сам догадался соединить жезлы. Ах зачем вы, товарищ Маркович, привели на выставку этого неспециалиста!»

«Мое дело — техническое обслуживание! — отвергая обвинение, вскидывал ладошку Арон.— Ну, привел. Ну, предоставил возможность. Откуда же я мог знать, что он покусится на чужое?»

И опять Ирина смотрела на Митрохина с жалостью и сочувствием.

«Пры-ы-гун!... — цедил сквозь стиснутые зубы неотчетливо видимый олимпиец Гривосвяттов.— Только тренировку сбил мне, паразит! Чужие успехи спать ему не дают! Допингу небось наглотался! Пусть-ка он при мне свою прыть покажет! Там же, на «Комете»! А вы, Иван Герасимыч, сразу же: тью-тью, мур-мур, и познакомиться, и узнать...»

«Да я же, Игорек, так и думал — допинг. Откуда же иначе в таком-то возрасте такая поразительная прыгучесть, такая стабильность прыжка? И потом этот самый Валера-из-ихнего-месткома меня с панталыку сбил. Вот этот самый...»

«А я знал? — орал Валера.— А кто знал? Хороший вроде мужик, кто ж его знал, что он допингу наклюется?»

И смотрела Ирина на разоблачаемого Митрохина все с тем же выражением, и порывалась было к нему, и протягивала было руку, но тут же опускала ее, словно желая его защитить, ободрить среди справедливого этого судилища и не решаясь этого сделать.

Допинг, допинг... Сладкая конфетка... Одуванчик, пробивающий асфальт... Так вот оно что...

«Чепуха это, милый юноша! Уверяю вас — несусветная чушь. Да не верьте вы им!» — сказала вдруг возникшая в митрохинском сне Татьяна Антоновна и навела на него свой лорнет. — Очень уж вы совестливы, Борис. Ни у кого ничего вы не взяли: ни на работе, ни в музее, ни на стадионе, ни в аллее. Сегодня вы сделали то, на что вы были способны всегда. Боже мой, ну что ж тут особенного? Вы — хороший инженер, вы — наблюдательный человек, вы — не чужды спорта, и у вас, кстати, есть явная способность к прыжкам в высоту. Вспомните, что говорил вам еще на первом курсе тренер по баскетболу. Так почему бы вам не подняться однажды до своих вершин: в специальности, в наблюдательности, в спорте? Да и почему непременно только однажды?»

«Но завтра-то что будет? Завтра?» — беззвучно дергались во сне губы Митрохина.

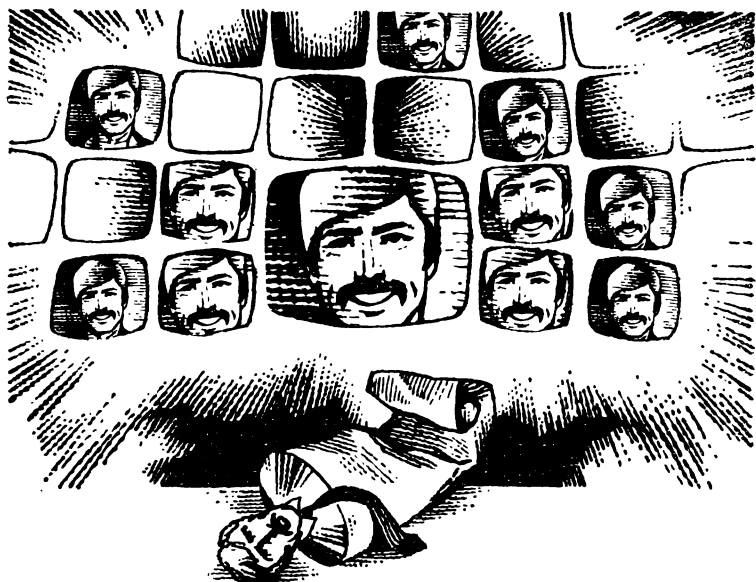
«А завтра будет завтра, — отвечала Татьяна Антоновна, убирая в ридикюль лорнет и вынимая оттуда Диккенса. — А потом — послезавтра, и так далее. И ничего плохого не произойдет. С чего бы? Не правда ли, Ирина?»

И Ирка согласно и радостно кивала своей белогривой головой.

«Ну вот, а вы говорите конфетка, допинг, — сказала Татьяна Антоновна, озабоченно, перед тем как исчезнуть, оглядывая свой заштопанный локоть. — Прощайте, милый юноша! Берегите, его, Ирина».

«Что ж, посмотрим, что будет завтра, — сказал Митрофан Прокопыч культурным голосом. — Я, видите ли, сосед, хоть и с закидонами, а чужого никогда не брал и не возьму. И допинги всякие тоже лучше бросить, пока не поздно. Допинг — он хуже бормотухи. Лучше, Боря, будем мы с тобой пить растворимый кофе. Скидываться будем, или по очереди брать — мне все едино, а одному каждый раз тратить — так это больно накладно».

...С мучительно сведенными бровями, невнятно и коротко постанывая, спал Митрохин, въезжая во сне из четверга в пятницу — предвыходной рабочий день. Спал он уже без сновидений, и только одно чувство, одно ощущение не покидало его, не гасло. И ощущение это, если бы мог он его осознать и озвучить словами, звучало бы так: ох и горька ты, сладкая конфета!...



Борис Никольский

Хозяин судьбы

из цикла

«РАССКАЗЫ ГЛЕБА ГУРЬЯНОВА»

Сначала он не обратил внимания на это письмо. Он обнаружил его у себя в почтовом ящике между рекламными листками какого-то косметического кабинета, счетами от врача и красочными проспектами туристского бюро, призывавшими совершить путешествие в Антарктиду. В аккуратном конверте с незнакомым обратным адресом был заключен бланк со следующим текстом:

«Дорогой сэръ!

Если Вам надоело быть рабом случайного стечения жизненных обстоятельств, если Вы хотите знать свое будущее, хотите стать хозяином своей судьбы, наша фирма охотно поможет Вам в этом. Наша фирма «Оракул-XX» опирается в своей деятельности на новейшие научно-технические достижения и гарантирует высокую степень точности».

«Знаем мы эти новейшие достижения,— думал Джеймс Тышкевич, сердито разрывая на мелкие клочки рекламу

«Оракула». — Новейшие достижения, а сунешься туда, тебе какой-нибудь задрипанный автомат выдаст двусмысленный совет, вроде такого: «Не делайте того, чего, по вашему мнению, не следует делать, и вы достигнете того, чего желаете достигнуть». Очень мудро!»

Он бы так и забыл об этом письме, если бы через неделю опять не обнаружил в почтовом ящике точно такой же аккуратный конверт.

«Дорогой сэръ!

Если Вам надоело быть рабом случайного стечения жизненных обстоятельств...»

Черт подери, может быть, это как раз то, что нужно ему, Джеймсу Тышкевичу, сейчас?.. Может, и правда, а?

Последнее время жизнь Тышкевича состояла, казалось, из сплошных опасений. Он опасался увольнения, опасался стать безработным, опасался, что к нему вернется жена, как, впрочем, совсем еще недавно, всего полгода назад, опасался, что она его бросит, опасался повышения цен на бензин, опасался, что его ограбят, поскольку так и не удалось установить в своей квартире электронного сторожа... Хотя, если говорить откровенно, грабить было особенно нечего — те небольшие сбережения, которые ему удалось сделать, он держал в местном банке, опасаясь, что когда-нибудь этот банк неожиданно прогорит и он, Тышкевич, окажется на мели. Все эти опасения так мешали ему жить, что однажды он даже обратился к врачу-психиатру, к тому самому, чьи счета теперь обнаруживал в своем почтовом ящике, и врач этот обещал, как он выразился, «снять напряженность», но после нескольких визитов к нему Тышкевич не без оснований стал опасаться, что врач попросту водит его за нос и никакого толку от предложенного им курса лечения, скорее всего, не будет. Главное заключалось в том, что сам-то Тышкевич отлично понимал, что все его опасения вовсе не плод расстроенного воображения, что все они реальны, и это особенно угнетало его. Работал он линотипистом в типографии местной газеты, и положение его казалось достаточно прочным и устойчивым до тех пор, пока не докатилась и до их городка волна технических преобразований: типография переходила на новый, более совершенный способ печати, и этот переход, естественно, должен был повлечь за собой весьма значительное сокращение персонала. Так что Тышкевичу было от чего тревожиться за свою судьбу.

«...Если Вы хотите знать свое будущее...»

На этот раз Тышкевич уже внимательнее взгляделся в обратный адрес, стоявший на конверте. Там значилось на-

звание города, расположенного километрах в двухстах от их городка. Что-то такое слышал Тышкевич об этом городе... Когда-то прежде город этот славился своими ночными кабаре, грандиозными шоу, игорными домами, но потом все это как-то угасло, померкло, перестало привлекать туристов, ходили слухи, будто там строится нечто гигантское — вроде бы какой-то завод электронного оборудования, что ли... Подробностей этих слухов Тышкевич уже не помнил...

Еще неделю-другую Тышкевич колебался, пребывал в нерешительности, не знал, что делать. Чем больше он думал об обещаниях «Оракула», тем заманчивее они казались. Ему нравился сдержанный, лаконичный тон письма. Ничего лишнего, никаких рекламных завитушек — только суть. Тышкевич повторял текст письма про себя, словно взвешивал его и так и эдак: «Если Вам надоело быть рабом случайного стечения жизненных обстоятельств...» «Точнее не скажешь», — думал он. А тут как раз подошел его отпуск, и по тому, каким тоном разговаривал с ним его шеф, Тышкевич понял, что, очень возможно, после отпуска его услуги уже не понадобятся типографии. И тогда он решился.

Никому — ни соседям своим, ни товарищам по работе — он не стал рассказывать, куда и зачем едет. Пусть до поры до времени это будет его тайной, его секретом. Так лучше.

Утром, в первый же день отпуска, он сел в автобус и уже через несколько часов, оставив чемодан в отеле, шел к зданию, где помещался офис фирмы «Оракул-ХХ». Здание офиса понравилось ему. Точнее сказать — оно его поразило. До самого последнего момента Тышкевич опасался: не заглотнул ли он фальшивую приманку, не окажется ли этот «Оракул» какой-нибудь замызганной конторой, дешевым аттракционом, рассчитанным на доверчивых простаков. Его опасения развеялись, едва он приблизился к зданию офиса, все еще не веря, что это и есть нужная ему фирма. Шутка ли сказать — тридцатипятиэтажный небоскреб высился перед ним. И на самом верху, на фасаде сверкали огромные буквы: «ОРАКУЛ-ХХ».

Тышкевич даже испытал некоторую почтительную робость, приближаясь к прозрачным дверям, которые тут же бесшумно раздвинулись перед ним.

Он очутился в просторном холле, потолок которого куполообразно, как в старинных церквях, уходил ввысь. В центре холла журчал небольшой фонтан.

Направляясь к барьеру с надписью «Информационная

служба», Тышкевич не слышал своих шагов — звук их гасил мягкий синтетический ковер.

— Добрый день, мистер...— Служащий сделал короткую паузу, вопросительно глядя на Тышкевича.

— Тышкевич. Джеймс Тышкевич.

— Добрый день, мистер Тышкевич. «Оракул-XX» рад приветствовать вас. Меня зовут Майкл, я к вашим услугам.— Произнося эти слова, человек за барьером одновременно быстро и ловко нажимал кнопки на пульте, словно набирал какой-то код, и через несколько секунд Тышкевич уже увидел у него в руках картонный прямоугольник, похожий на перфокарту, сверху на котором отчетливо была напечатана его фамилия.

— Мы надеемся, мистер Тышкевич, что сумеем оправдать ваши надежды, что ваше пребывание у нас будет максимально полезным и плодотворным...

— Я бы хотел знать...— начал было Тышкевич, но Майкл тут же вежливо перебил его:

— Да, да, разумеется, с этого мы и начинаем. Сейчас я познакомлю вас с основными принципами работы нашей фирмы, и тогда вы уже сами сможете решить, воспользоваться вам нашими услугами или нет... Прошу вас, присядьте.

Видите ли, мистер Тышкевич,— продолжал он, усаживаясь за низкий столик напротив Тышкевича,— когда мы говорим о таких вещах, как предсказание судьбы, предсказание будущего, мы невольно в нашем сознании связываем все это с некими сверхъестественными явлениями, не так ли?..

— Да, пожалуй,— сказал Тышкевич.

— Такова, я бы сказал, инерция человеческого мышления. Фирма «Оракул-XX», должен вас сразу предупредить, самым решительным образом отвергает подобный подход. Никакой мистики! Девиз нашей фирмы — «Только наука дает нам подлинное знание, только подлинное знание дает нам власть над судьбой». Нами используются самые последние достижения электроники, физики, математики. В нашем электронно-вычислительном комплексе, который является абсолютно уникальным по своей сложности, уже сейчас заложены миллиарды и миллиарды различных вероятностей, человеческих взаимосвязей, наш комплекс в состоянии проанализировать их в течение десятых долей секунды. Вы, конечно, знаете, что каждая ситуация, изменяясь, порождает возможность десятков новых, казалось бы непредвиденных, ситуаций,— и это в силах учесть наш комплекс... Одним словом, нет такой мелочи, такого пустя-

ка, который бы ускользнул от внимания «Оракула», — ведь вы сами знаете, мистер Тышкевич: именно то, что сегодня нам кажется пустяком, завтра может иметь далеко идущие последствия... Вы, наверно, обратили внимание, как быстро я получил вашу перфокарту? Это лишь потому, что вы уже заложены в память нашего комплекса, вся ваша жизнь, с ее различными обстоятельствами, деталями, прямыми и обратными связями... Мы ведь посылаем свои приглашения лишь тем, кто попал в сферу памяти нашего комплекса. Разумеется, эта сфера постоянно расширяется, вовлекает все новые и новые объекты, и расширяется, надо сказать, стремительно... Рано или поздно наступит время, когда к нам сможет обратиться любой человек, живущий в нашей стране. Вам кажется это невероятным? Но отчего же? Если ЭВМ может проанализировать, допустим, десяток вариантов, то почему бы ей не проделать то же самое с миллиардом в десятой степени?.. Принципиальной разницы нет, весь вопрос только в емкости, в объеме памяти. Впрочем, недаром говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Пойдемте, мистер Тышкевич, я продемонстрирую вам, как все это выглядит на практике. Прощу вас.

Когда они шли через холл, Тышкевич приостановился на минуту, чтобы разглядеть висевшие на стене фотографии.

— О, я вижу, вас заинтересовали эти портреты? — сказал Майкл. — Это все люди, которым наша фирма помогла найти свой путь в жизни, помогла отыскать ту, может быть единственную, возможность, которая привела их к успеху. Все они побывали здесь так же, как вы, мистер Тышкевич.

— Как? И Стив тоже?

Сам Стив Эллинсон, знаменитый киноактер, звезда экранов, чья судьба и слава всегда вызывали у Тышкевича восторг, восхищение и зависть, собственной персоной, ослепительно улыбаясь, смотрел сейчас на него с фотопортрета.

— Да, и Стив тоже. Кстати, он ведь до некоторой степени ваш коллега. Знаете, кем он пришел к нам? Третьеразрядным репортером третьеразрядной газетенки, можно сказать, совершенно отчаявшимся человеком. Поверите ли, он не имел никакого представления о своих актерских талантах. И вот с помощью «Оракула» он ухватил свою версию... Ухватить версию — так это называется на нашем жаргоне, — улыбнулся Майкл. — Надеюсь, и вы тоже, мистер Тышкевич, сумеете...

— ...ухватить версию? — засмеялся Тышкевич.

— Вот именно. Я рад, что вам нравится у нас, мистер Тышкевич.

Они вошли в кабину лифта. Майкл нажал кнопку, и лифт плавно и бесшумно заскользил не вверх, как ожидал Тышкевич, а вниз, унося Майкла и Тышкевича к подземным этажам здания.

— Разумеется, когда вы станете нашим постоянным клиентом,— делая упор на слове «постоянным», сказал Майкл,— вы будете попадать во владения «Оракула» более простым путем, через главный, центральный вход, а пока нам придется немного попутешествовать...

Они шли по небольшим коридорам и коридорчикам, еще раз спускались, а потом поднимались на лифте и наконец оказались в огромном дугообразном помещении. В отличие от холла офиса здесь были низко нависающие потолки, и все помещение выглядело бесконечно длинным, изгибающимся коридором с небольшими, в рост человека нишами-ячейками по обеим сторонам. Большинство из этих ниш были сейчас пусты, лишь в некоторых виднелись согнутые спины людей, занятых какой-то работой. На Тышкевича и Майкла никто не обращал внимания.

— Вот мы и пришли,— сказал Майкл торжественно.

Тышкевич молчал, осматриваясь. На стенах, окрашенных в салатный цвет, повсюду были видны стрелки-указатели с многозначными числами.

— Для удобства работы комплекса,— сказал Майкл,— мы вынуждены присваивать нашим клиентам номера. Это, правда, не всем нравится, но ничего не поделаешь — здесь мы находимся во власти машин, а машины предпочитают иметь дело с цифрами. Ваш номер, мистер Тышкевич, будет 203415/371.

— Ого! — сказал Тышкевич.

— А что вы думаете, наш «Оракул» пользуется популярностью. Я еще не видел человека, который удержался бы от искушения узнать свое будущее. Даже если оно, судя по всем признакам, не сулит ничего хорошего. Ведь малая доля надежды, это самое «а вдруг?», всегда, до самого конца остается с нами. Не так ли, мистер Тышкевич?

— Пожалуй, что так, Майкл.

— Я знаю одного старика, богатого старика, он каждый день приходит сюда. Он и сейчас здесь. Видите, вон там, справа, впереди — это его спина. Этот человек смертельно болен, врачи говорят, он не протянет и месяца, но он каждый день приезжает сюда, чтобы перебраться еще

десяток-другой версий, хотя все они приводят его к одному результату. К сожалению, наш «Оракул», в отличие от профессиональных гадалок, не умеет лгать. И все же, я думаю, отними у старика сейчас эту возможность — приходить сюда, — и он умрет завтра же. Надежда — великая вещь, мистер Тышкевич, и «Оракул» дает ее человеку...

— Но почему сейчас здесь так пустынно?

— Видите ли, мистер Тышкевич, основные наши клиенты — это люди работающие. Кстати говоря, большинство из них работает на заводах нашей фирмы. Так что они имеют возможность приходить сюда только вечером, после работы. Вот когда вы заглянете сюда вечером, вы увидите совсем иную картину...

Бесконечный, однообразный ряд ниш-ячеек вдруг прервался. Тяжелые красные портьеры скрывали уводящую вниз лестницу.

— А что здесь, Майкл? — спросил Тышкевич.

Майкл пренебрежительно отмахнулся.

— А-а... Здесь — «детская». Так мы называем между собой зал, куда ведет эта лестница. Это так, для развлечения. Там вы можете сами выбрать для себя любую программу своей жизни, вы можете стать на один вечер королем Саудовской Аравии, или чемпионом мира по боксу, или знаменитым Стивом Эллинсоном — кем угодно. И в этом качестве на экране перед вами пройдет вся ваша жизнь. Причем с помощью голографии мы достигаем наибольшего эффекта присутствия. Хотя, конечно, это всего лишь игра, забава, иллюзия, не больше. Но некоторым очень нравится. Честно говоря, этот зал — для людей со слабо развитым интеллектом, для тех, у кого не хватает ни ума, ни терпения работать с «Оракулом», управлять своей судьбой. Посмотреть это любопытно и стоит недорого, но я вам все-таки не советую спускаться туда, во всяком случае должен вас предупредить: будьте осторожны, там собирается разная публика...

Опять они шли мимо нескончаемых ниш-ячеек, иногда между нишами возникал широкий проход, и там, в глубине, словно в зеркале, Тышкевич видел еще один бесконечный ряд точно таких же ячеек. Лабиринт, самый настоящий лабиринт! Что-то напоминали ему эти нескончаемые ячейки, где-то он уже видел нечто похожее, только не мог вспомнить, где. Да и не до того ему сейчас было, чтобы заниматься воспоминаниями.

— Ну вот мы и у цели, — сказал Майкл, останавливаясь у одной из ячеек. — Смелее, мистер Тышкевич, будьте как дома!

Только теперь Тышкевич рассмотрел, что внутри ячейки находится довольно обширный пульт с клавишами, кнопками и переключателями. Но главное место на пульте занимали экраны — маленькие, похожие на телевизионные экраны. Их было десятка три, не меньше. Сейчас они были безжизненны и молочно белели перед Тышкевичем.

— Итак, чтобы подключиться к системе «Оракула», — сказал Майкл, — вы прежде всего должны опустить в эту прорезь несколько монет или специальных жетонов, после этого счетчик — видите, вот он, в верхнем углу? — вам покажет, каким количеством машинного времени вы располагаете за эти деньги. Таким образом, первое, что вам следует запомнить: желательно действовать быстро, не медлить, ибо время здесь — деньги в буквальном смысле этого слова. Сейчас мы проведем с вами показательный сеанс. Какую точку отсчета вы хотели бы взять? Допустим, утро следующего понедельника вас устраивает?

— Да, — сказал Тышкевич. Собственно, его одинаково устраивал любой день.

Майкл нажал несколько кнопок, и сразу пульт словно ожил: замигали на нем сигнальные лампочки и индикаторы, что-то щелкнуло, раздался слабый звук, похожий на жужжание, по экранам побежали светлые всплески, и вдруг на всех экранах разом Тышкевич увидел себя. Он стоял на улице возле своего дома. Было утро, светило солнце. Он щурился, глядя на небо, словно бы решая: куда отправиться, что предпринять. Ну да, конечно, он же был еще в отпуске, ему некуда было спешить.

— Здорово! — сказал Тышкевич, восторженно глядя на самого себя.

Его изображение на экранах не было неподвижным, застывшим, как на фотографиях, но в то же время движения его были неестественными, странными.

В первый момент, когда изображение только возникло, Тышкевичу показалось, что на всех тридцати экранах он одинаков. Но почти сразу же он понял, догадался, что каждое из тридцати изображений пусть совсем незаметно, в малой степени, но все же отличается одно от другого. Если на первом экране он просто стоял, глядя в небо, то на втором взгляд его был обращен вправо, вдоль улицы — туда, где виднелась вывеска бара, на третьем — он заносил ногу, чтобы ступить с тротуара на мостовую, собиравшись, вероятно, перейти улицу, на четвертом...

— Теперь, — сказал Майкл, — вам надлежит нажать кнопку выбора. Вы имеете возможность выбрать одну из этих тридцати ситуаций. Ну, быстро! Ваш выбор?

— Прямо не знаю, что и выбрать,— растерянно сказал Тышкевич.— Не вижу существенной разницы...

— Простите, но вы сейчас рассуждаете, как тот Тышкевич, что стоит и смотрит в небо, а не как человек, сидящий за пультом «Оракула». Поймите, мистер Тышкевич, у каждого из нас в любой момент нашей жизни существует огромная свобода выбора. Мы можем шагнуть вправо или влево, пойти быстрее или медленнее, выйти из дома на пять минут раньше или на пять минут позднее, и так без конца... Но что толку в этой свободе выбора, если мы не знаем, не можем оценить главного — последствий нашего выбора?.. Если мы, допустим, выходим из дома на пять минут раньше, то мы ведь так никогда и не узнаем, что бы с нами могло случиться, задержись мы на эти пять минут... Потому мы и говорим: нет существенной разницы. «Оракул» же для того и создан, чтобы вычислить и показать нам последствия нашего выбора. «Оракул» дает вам возможность перебрать десятки, сотни, тысячи вариантов и остановиться на одном — наилучшем. Причем не старайтесь, пожалуйста, ничего запоминать, за вас все запоминает машина. В любой момент вы можете заново проиграть весь вариант с самого начала, достаточно только нажать кнопку «повтор». Если же вариант вас не устраивает, завел вас в тупик или привел к нежелательным результатам, вы всегда можете начать все сначала или с любого момента, с которого сочтете нужным... Итак, давайте все же продолжим. Решительнее, мистер Тышкевич!

Торопливо, почти наугад Тышкевич ткнул в кнопку с цифрой «3». На мгновение погасли и тут же вспыхнули все тридцать экранов, и снова на всех тридцати экранах Тышкевич увидел себя.

Только теперь он уже находился на другой, противоположной стороне улицы. Причем один Тышкевич чуть задержался, приостановился у витрины магазинчика, второй проходил мимо этой витрины, даже не взглянув на нее, третий нагибался, чтобы завязать шнурок ботинка, четвертый полуобернулся — что-то заинтересовало его в конце улицы... Что же такое он там увидел? Это становилось любопытно.

Тышкевич нажал на четвертую кнопку.

Ага, он так и думал — там, в конце улицы, была женщина. И теперь все тридцать экранов показали ее и идущего ей навстречу Тышкевича. Что-то знакомое угадывалось в лице этой женщины, где-то он уже встречал ее прежде, но где?.. В колледже? В редакции? Где?

На всех тридцати экранах Тышкевич сейчас шел ей на-

встречу, но каждый из тридцати Тышкевичей делал это по-своему: один напустил на себя безразличное выражение, другой, наоборот, заинтересованно вглядывался в ее лицо, третий замедлял шаги, словно колеблясь, не вернуться ли назад, четвертый уже явно собирался заговорить с ней, пятый... По лицу пятого было отчетливо видно, что он уже припомнил, уже узнал эту женщину. И Тышкевич, сидящий здесь, возле пульта «Оракула», тоже сразу вспомнил, кто это. Сестра его жены, вернее, сестра той женщины, которая еще совсем недавно была его женой. Он не видел ее уже сто лет и вовсе не горел желанием встречаться с этой особой. И черт его дернул пойти на встречу!

Он вопросительно взглянул на Майкла.

— Нажмите клавишу возврата,— сказал тот.

Экраны погасли и зажглись снова. И снова Тышкевич увидел себя стоящим возле дверей своего дома.

— Выходит, я сейчас видел кусочек моей будущей жизни? — потрясенно произнес Тышкевич. — Вернее, то, что могло бы состояться в моей жизни?..

— Да, разумеется,— сказал Майкл. — То, что могло бы состояться, если бы вы этого захотели. И то, что никогда уже не состоится, если вам это неугодно. Все теперь зависит от вас. От вашего решения. Нажимая кнопку выбора, мистер Тышкевич, вы становитесь хозяином своей судьбы.

Раздался шелчок, и изображение на экранах начало медленно блекнуть, затухать. Одна за другой гасли сигнальные лампочки на пульте.

— Время, оплаченное фирмой, истекло,— сказал Майкл. — Надеюсь, вы теперь уже в состоянии действовать самостоятельно.

— Да, да,— сказал Тышкевич. Он с сожалением смотрел на погасшие экраны.

— А сейчас,— продолжал Майкл,— советую вам отдохнуть, вечером же приходите сюда снова. Погуляйте сейчас, осмотрите достопримечательности города, хотя, говоря откровенно, в нем есть лишь одна стоящая достопримечательность — «Оракул-XX». Все остальное — в прошлом. Скажу без ложной скромности: никакие игорные дома; никакие ночные шоу не смогли выдержать конкуренции с нашим «Оракулом». Ведь игры с собственной судьбой куда увлекательнее и азартнее любой рулетки,— вы, по-моему, уже ощутили это сами, мистер Тышкевич, не правда ли?

— Да,— сказал Тышкевич, еще не справившись с тем возбуждением, которое охватило его, когда он сидел за пультом «Оракула». — Я и не подозревал никогда, что

каждая минута дает нам столько возможностей выбора, что, оказывается, мы всю жизнь только тем и занимаемся, что выбираем...

Честно говоря, ему вовсе не хотелось сейчас уходить отсюда, ему не терпелось снова поскорее оказаться у пульта «Оракула», опять увидеть себя на экранах. Но он не стал обнаруживать свое нетерпение перед Майклом. Может быть, тот и прав, и ему действительно следует отдохнуть — слишком много сильных впечатлений за один день...

Они опять шли мимо бесконечных ниш-ячеек, и Тышкевич теперь уже с каким-то новым чувством, в котором смешивались изумленное восхищение и почти болезненное любопытство, заглядывал в те ячейки, где виднелись склоненные над экранами фигуры. Возле одной из них он хотел даже приостановиться, но Майкл решительно потянул его дальше.

— Позвольте дать вам один совет,— сказал он.— Никогда не останавливайтесь за спинами людей, работающих с «Оракулом». Они этого не любят.

— Да, я понимаю,— смущенно отозвался Тышкевич.— Это ведь то же самое, что пытаться заглянуть в чужую жизнь.

— Вот именно,— сказал Майкл.— Их это очень раздражает. Прямо выводит из себя.

— Простите, Майкл, а можно задать вам еще один вопрос? Скажите, а вы сами...

Что-то вроде снисходительной усмешки скользнуло, почудилось Тышкевичу, по лицу Майкла, но тут же он снова превратился в безукоризненно вежливого служащего фирмы.

— Вы хотите спросить, пользуюсь ли я сам услугами «Оракула»? — сказал он.— К сожалению, нет. Я — сотрудник «Оракула», и нам это категорически запрещено. Так что нет, мистер Тышкевич, не пользуюсь. Желаю успеха! Надеюсь, вы будете удачливы, мистер Тышкевич!

В этот день Тышкевич едва дождался вечера. Он заставил себя зайти в бар подкрепиться, но кусок не шел в горло — слишком сильно был взволнован и взбудоражен Тышкевич всем тем, что ожидало его впереди. Если бы еще неделю назад кто-нибудь сказал ему, что он получит возможность заглянуть в свое будущее, получит возможность взвешивать, выбирать, что должно, а что не должно произойти в его жизни, он бы взглянул на такого человека как на чудака, как на сумасшедшего. А оказывается, здесь не было даже малейшего чуда, только чистый расчет, наука.

Что несколько беспокоило Тышкевича и о чем сейчас он старался не думать — так это деньги. Надолго ли хватит его сбережений? «Ну ладно,— говорил он себе,— что волноваться раньше времени? Недели на две, на три хватит, а там видно будет...» Может быть, за эти дни ему уже удастся ухватить свою версию — вот на что он втайне надеялся. Он повторял эти слова, они доставляли ему удовольствие одним только своим звучанием,— в них слышалось ему обещание новой, счастливой жизни.

Наконец наступил вечер, и Тышкевич вновь оказался в подземном лабиринте «Оракула — ХХ». Майкл был прав — то помещение, где были они днем, теперь неузнаваемо преобразилось. Повсюду, во всех нишах-ячейках виднелись теперь фигуры людей, бесконечные согнутые спины. Казалось, люди здесь вовсе не имеют лиц — только спины. Щелканье переключателей и реле, жужжанье работающей аппаратуры — все это сливалось сейчас в ровный, слабый, но непрерывный гул, которым был насыщен воздух этого помещения. Мертвенный свет ртутных ламп заливал его. Вовсю работали кондиционеры. И опять — показалось Тышкевичу — что-то виденное, что-то уже поразившее его однажды теперь еще сильнее, чем днем, напоминал ему этот лабиринт. И опять он не мог вспомнить, что.

Тышкевич отыскал свою нишу, свою ячейку, над которой уже светился присвоенный ему номер: «203415/371». Нервное возбуждение опять сразу овладело им, едва он опустился во вращающееся кресло за пультом, едва увидел еще не светящиеся, молочно-белые экраны. Только сейчас он заметил: те самые слова, которые днем произнес Майкл, оказывается, были начертаны прямо над пультом: «Помните: нажимая кнопку выбора, вы становитесь хозяином своей судьбы».

Стараясь успокоиться, стараясь не торопиться, Тышкевич одну за другой опустил в прорезь несколько монет, установил точку отсчета, повернул переключатель...

Вспыхнули экраны.

Выбор!

Погасли и вспыхнули.

Выбор!

Выбор!

Выбор!

Возврат.

Выбор!

Выбор!

Еще днем, когда он соглашался с Майклом в том, что нет ничего увлекательнее и азартнее, чем игра с собствен-

ной судьбой, он, оказывается, и представления не имел, насколько в действительности азартна эта игра. Только теперь, оставшись один на один с пультом «Оракула», он ощутил это,

Выбор!

Выбор!

Возврат!

Наверно, с точки зрения разумного использования машинного времени, Тышкевич был сейчас слишком суетлив и поспешен. Он торопился нажать клавишу возврата сразу, едва только начинало казаться, что выбранный вариант сулит ему пустой номер. Ему не терпелось попробовать как можно больше различных вариантов, он кидался от одного к другому, обрывал их, не доведя до конца. Он менял точку отсчета, менял временной масштаб, то уменьшая его до тридцатисекундного интервала между двумя последующими изображениями, то увеличивая до часа.

Выбор!

Выбор!

Выбор!

Когда, вконец измочаленный, израсходовавший все принесенные с собой сегодня деньги, Тышкевич последний раз щелкнул переключателем и обессиленно откинулся на спинку кресла, была уже поздняя ночь. В голове мешались обрывки не доведенных до завершения вариантов, какие-то пустяковые эпизоды, ничего не значащие картины, сумятица, неразбериха...

Рубашка на нем взмокла от пота, от напряжения и усталости болели глаза.

И все-таки если о чем он и жалел сейчас, так только о том, что ему предстояло встать и уйти отсюда, что у него не было возможности остаться здесь, за пультом, и продолжить. Ему казалось, он уже понял свои ошибки. Теперь он уже не повторит их. Терпение и последовательность — вот что должно привести к успеху.

Остаток ночи Тышкевич спал плохо. Подобно шахматисту, отложившему решающую партию, он продолжал мысленно перебирать возможные варианты. Маленькие экраны неотступно маячили перед глазами.

Утром он уже снова был за пультом «Оракула».

Теперь Тышкевич решил изменить тактику. Вчерашний суматошный вечер — это только проба, только разведка. Нужна система. Нужно последовательно исследовать варианты за вариантом. Прав Майкл: иногда пустяк, которому мы не придаем значения, способен перевернуть всю нашу жизнь,

Опять он работал до усталости, до изнеможения, до тех пор, пока кнопки не стали путаться перед глазами.

Варианты ветвились, число их увеличивалось в геометрической прогрессии.

Выбор! Выбор! Азартная дрожь снова била его. Не может быть, чтобы среди этих тысяч возможностей не нашлось такой, которая бы чудесным образом изменила его жизнь.

Экраны вспыхивали и гасли. Уже наугад, почти не глядя, он тыкал в кнопки выбора. Счетчик машинного времени подгонял его.

Черт подери, он никогда не предполагал, что его настоящая жизнь — впрочем, что теперь называть его настоящей жизнью? — точнее сказать, его предполагаемая, его возможная жизнь так бедна событиями. К концу дня он был подобен игроку в лотерею, у ног которого валялась кипа пустых, порванных билетов.

По нарастающему гулу, по шарканью многих ног Тышкевич понял, что наступил вечер. Постоянные посетители заполняли лабиринт «Оракула».

«Еще один раз, еще только одна попытка,— говорил он сам себе.— И все, и отдых».

Ага, вот, кажется, что-то новое... Машина, взятая напрокат... загородное шоссе... автострада, ведущая к морю... Обгон, еще обгон... Скорость...

Тышкевич торопливо давил на кнопки. Чутье подсказывало ему: что-то маячило там впереди в этом варианте, что-то маячило...

Выбор! Выбор! Выбор!

Он даже не сразу понял, что произошло. Все тридцать экранов показывали одно и то же. Дымилась его машина среди нелепо сгрудившихся поперек шоссе других машин. Сквозь разбитое стекло Тышкевич увидел свое безжизненно обвисшее тело...

Разглядеть, жив он или уже мертв, Тышкевич не успел — его рука мгновенно метнулась к клавише возврата, как будто от этого движения руки, от быстроты реакции и правда сейчас зависела его жизнь.

Несколько минут Тышкевич сидел ошарашенный, потрясенный, не слыша ничего, кроме собственного сердцебиения.

Значит, это могло произойти с ним, могло случиться?..

А на экранах он опять был живой, улыбающийся, неторопливо усаживался во взятую напрокат машину. И снова

каждый из тридцати экранов предоставлял Тышкевичу возможность выбора.

«Так, значит, отсутствие этой возможности, возможности выбора, и есть смерть?» — неожиданно подумал Тышкевич, с содроганием вспоминая, как только что на всех экранах он был один и тот же, недвижимый, безжизненно застывший...

Конечно, он мог снова отправиться в путешествие, достаточно было только нажать на иные кнопки выбора, выбрать другую скорость, не пойти на обгон вишневого «бьюика», и он бы наверняка избежал аварии, как ни в чем не бывало катил бы к морю. Но какой-то почти суеверный страх заставил Тышкевича отказаться от новых попыток исследовать, довести до конца этот вариант.

Впоследствии — причем очень скоро — Тышкевич научился, привык не принимать так близко к сердцу подобные происшествия. В конечном счете, все они ведь не совершались на самом деле — они только могли совершиться. И именно оттого, что теперь Тышкевич знал о них, прорабатывал подобные варианты, они ничем не грозили ему, он был в состоянии избежать, не допустить их в своей будущей жизни.

За последующую неделю, что провел он возле пульта «Оракула», Тышкевич еще дважды попадал в автокатастрофы, один раз становился свидетелем ограбления, один раз объяснялся со своей бывшей женой — их пути все же пересеклись однажды в баре, который имел привычку постоянно посещать Тышкевич, и, наконец, один раз получил уведомление об увольнении... Потом он видел себя среди пикетчиков, небольшой кучкой толпившихся с самодельными плакатами возле типографии, но это тоже был пустой номер, ничего из этого не вышло...

Тышкевич уже почти не различал времени суток, — иногда он валился и засыпал в своем номере в отеле как убитый посреди дня, а ночь опять заставляла его возле пульта «Оракула», иногда, наоборот, он приходил сюда с утра и поднимался со своего кресла поздним вечером, а потом мучился от бессонницы... За это время он осунулся, исхудал, но надежда и азарт, это ни с чем не сравнимое ощущение власти над тем, что еще не произошло, овладели им, стоило лишь только протянуть руку к кнопкам выбора. Количество возможных вариантов не уменьшалось, страна вероятного, простиравшаяся перед ним, выглядела бесконечной, суля еще неведомые открытия...

Порой Тышкевич так ясно, так отчетливо ощущал волеющую близость удачи, — казалось, еще немного и он

ухватит свою версию. Так было, когда на экране вдруг возник его старый — еще по школьным временам — приятель. Они не виделись давно, уже несколько лет, и теперь столкнулись случайно у входа в мэрию. Это был тот человек, который мог помочь Тышкевичу, который мог что-нибудь придумать для него. Если бы только пожелал. Он был весьма значительной фигурой в деловом мире, Тышкевич отлично знал это. Тышкевич видел себя на одном из экранов протягивающим ему свою визитную карточку; видел затем себя входящим в загородный коттедж своего школьного приятеля... И вдруг все пропало, исчезло — пустота. Что произошло, что случилось? «Оракул» не давал на это ответа.словно огромная рыба осторожно тронула крючок и затаилась, и сколько ни забрасывай снова удочку — поплавок остается неподвижен. Но ведь ты точно знаешь, что она там, в темной глубине, среди зарослей, — так неужели же не повезет больше? Примерно такое чувство испытывал Тышкевич, нажимая в отчаянии на кнопки выбора, пробуя все новые и новые варианты в надежде, что вот-вот лицо приятеля снова возникнет на экране...

И тут он вдруг обнаружил, что его сбережения уже растаяли, что денег у него осталось в обрез — разве что на обратную дорогу.

«Все, надо выбираться отсюда, — говорил он себе. — Все. Конец. Финиш».

Но огромная рыба по-прежнему стояла в темной глубине, заманчиво пошевеливая плавниками.

«К черту, к черту, надо быстрее уезжать отсюда», — говорил себе Тышкевич, а ноги его сами опять вели в подземные владения «Оракула».

«Может быть, как раз сегодня... Если бы вместо двадцать шестой кнопки нажать двенадцатую... Или семнадцатую... Если бы...»

Тышкевич в нерешительности остановился возле автомата, менявшего деньги на жетоны. Взгляд его скользнул по объявлению, которое он уже не раз видел, но в смысл которого раньше как-то не особенно вникал:

«Своим постоянным клиентам фирма «Оракул — ХХ» охотно предоставит кредит и работу на предприятиях фирмы».

Пожалуй, это было как раз то, что нужно.

Уже на следующее утро Тышкевич шел к проходной завода. Цеха этого завода казались такими же бесконечными, как подземные лабиринты «Оракула». Конвейер, к которому поставили Тышкевича, уходил вдаль и терялся где-то в уже не различимом глазом пространстве цеха.

Операция, которую поручили выполнять Тышкевичу, оказалась несложной, он быстро освоил ее,— работать на ленточном типе было куда сложнее.

Что именно производит этот цех и весь завод, Тышкевич не знал, да его это и не интересовало,— все его мысли были обращены туда, к вечеру, когда он сможет снова занять свое место перед пультом «Оракула». Только один раз он чуть не сбилсся, чуть не сорвал свою операцию. Он поднял глаза и по другую сторону конвейера, неподалеку от себя увидел лицо, показавшееся ему знакомым. Да, лицо было очень знакомым, только глаза — беспокойные глаза больного, одержимого человека — мешали ему вспомнить, кто же это. Но все-таки он вспомнил. Этот человек был из того же городка, что и Тышкевич. Одно время с ним много говорили в городке. Говорили, будто он исчез, пропал без вести, как в воду канул. Никто не знал, куда он делся. И вот теперь Тышкевич вдруг увидел его здесь, за конвейером. Их глаза встретились. Узнал ли он Тышкевича? Наверно, узнал. Во всяком случае, что-то похожее на удивление промелькнуло в его напряженном взгляде. И тут же оба они опустили глаза — как будто никогда прежде не знали друг друга.

А вечером Тышкевич в толпе молчаливых, сосредоточенных людей опять торопливо шагал к «Оракулу». Теперь он уже не мог представить свое существование без этого пульта с кнопками выбора, без мерцающих экранов с мгновенно сменяющимися перед глазами вариантами своей вероятной, своей предполагаемой жизни.

Но однажды, когда он привычно протянул руку в окошко кассы за очередной порцией жетонов, служащий фирмы, как две капли воды похожий на Майкла, такой же безукоризненно подтянутый и вежливый, сказал:

— Очень сожалею, мистер Тышкевич, но вы уже превысили максимальный предел кредита. Очень сожалею.

Растерянный, Тышкевич молча отошел от кассы. Что ж, рано или поздно это должно было случиться.

Все же машинально он продолжал идти к своей ячейке, к ячейке за номером 203415/371, как ходил туда каждый день. Кажется, ничего не изменилось здесь с того момента, когда он впервые попал сюда. Тот же мертвенный свет ртутных ламп разливался под низкими потолками, тот же ровный однообразный гул стоял в воздухе, и те же согнутые спины виднелись в ячейках. Никто не оборачивался, никто не отрывался от своего дела, никто не обращал внимания на Тышкевича, одиноко, без всякой цели

бредущего по коридору. И вдруг он понял, что напоминала ему эта картина.

Это было в Японии. Еще тогда, когда он был молод и служил в военно-морском флоте. И вот в те дни как-то он и забрел в зал для игры в починок. Так, кажется, называлась эта игра. Больше нигде, кроме Японии, он не видел ничего подобного. Что поразило его тогда в этом зале? Бесчисленные ряды молчаливых, терпеливо сосредоточенных людей, часами простаивающих у автоматов. Игра с самим собой, без партнеров. До сих пор помнил Тышкевич характерный, сливающийся воедино звук перекачивающихся, сыплющихся шариков... Что ж, там были шарики, сверкающие, никелированные шарики, а здесь — кнопки, клавиши, вспыхивающие и гаснущие экраны — но, в сущности, какая разница?

Ничего, кроме безразличия и усталости, не испытывал сейчас Тышкевич. Его взгляд остановился на тяжелых красных портьерах. «Детская»? Так, кажется, сказал тогда Майкл.

Тышкевич нащупал у себя в кармане последние две монеты. Этого было слишком мало для того, чтобы подключиться к «Оракулу», но, пожалуй, вполне достаточно, чтобы спуститься в «детскую».

— Прошу! — сказал, возникая из-за портьеры, еще один двойник Майкла. Почему все они были так схожи между собой? Подбирали их, что ли, по принципу сходства? Или работа в «Оракуле» постепенно делала их неотличимыми друг от друга?

— Прошу! Только у нас вы получите ни с чем не сравнимую возможность оказаться в роли любого великого человека, всего за один вечер прожить любую жизнь, какую пожелаете!

— И жизнь Стива Эллинсона?

— Да, и жизнь Стива. Но сегодня я бы не советовал вам этого делать.

— Интересно! — сказал Тышкевич. — Это еще почему?

— Разве вы не знаете? Стив Эллинсон неделю назад покончил с собой. Он застрелился.

— Как? — пораженно воскликнул Тышкевич. — Но отчего?

— Кто их разберет, этих актеров! Они ведь живут по своим законам...

— Но как же так... — растерянно пробормотал Тышкевич. — Мне же рассказывали... я же сам видел... его портрет здесь, на стене... Значит, он должен был знать свое будущее...

— Да, это верно,— сказал двойник Майкла.— И все же... Возможно, он просто недостаточно глубоко проработал свой вариант, свою версию, а возможно...

— Что еще? Что — возможно?

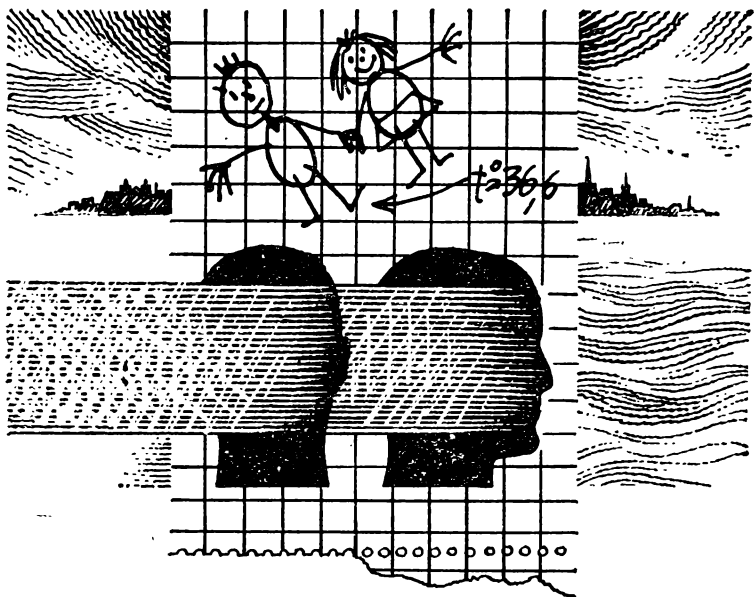
— Возможно, это был риск, сознательный риск. Скорее всего, я думаю, так оно и было. Он понимал, что за все нужно платить, в том числе и за ту жизнь, которую он выбрал, которую он получил возможность прожить. Эта плата, вероятно, показалась ему вполне сносной...

Тышкевич молчал в растерянности.

— И тем не менее я вам не советую...— сказал двойник Майкла.— Выберите лучше что-нибудь другое. Могу порекомендовать, например, роль наследного принца...— И он, доверительно понизив голос, назвал страну, которую Тышкевич не знал, и имя принца, которого Тышкевич никогда не слышал.— Сейчас это очень модно... Вы не пожалеете...

— Ну что ж...— сказал Тышкевич.— Принц так принц... Я согласен.

И он шагнул за портьеры.



Борис Романовский

Город, в котором не бывает дождей

РАССКАЗ

Итак, я обещал вам рассказать историю о каком-нибудь преступлении из моей судейской практики. Собственно, судьей я никогда не был, был народным заседателем. Нет, это не одно и то же, но близко.

Парень, о котором я хочу рассказать, был сыном моего друга. Не стану утверждать, что он вырос на моих коленях, но скажу, что знал его хорошо, — отец уши мне прожужжал о талантах своего отпрыска. Мальчишка и вправду рос тихим и застенчивым романтиком, читал книги и смотрел фильмы о пиратах и разбойниках, но имел в школе всего четыре балла за активность. В то время, когда произошло несчастье, он уже вырос и превратился в мужчину среднего роста, субтильного, даже хилого сложения, с негустыми пшеничными волосами и беспомощными, какими-то близорукими глазами, хотя зрение у него было вполне нормальное. Был он прекрасным поэтом, добрым и мяг-

ким человеком. Совершенно неожиданно, женщинам он нравился, хотя сам либо не знал этого, либо не придавал значения.

Со временем нашлась девушка, которая его любила, или ей показалось, что она любила, и в которую он влюбился сам... Как их звали? Это абсолютно неважно для моего рассказа, но для определенности назовем Алек и Тамара... Да, я видел ее два-три раза. Они были похожи, это странно — обычно друг друга находят разные люди и похожими становятся с возрастом, с годами совместно прожитой жизни... Блондинка с голубыми глазами, большими и великолепного цвета. Конечно, все мы видим любимую женщину и вообще женщину совсем иначе, чем она сама видит себя. Мы ее облагораживаем, чтобы было, что любить. Тем более, наверное, поэты. Я поэтом никогда не был, но мне так кажется. В общем, Алек начал устраивать их совместную жизнь и кончил тем, что договорился о работе на одном из экологических пунктов, где-то в лесу, далеко от людей, и это было для него, биолога по основной профессии, замечательным началом деятельности. Вы знаете, экологические пункты великолепно оборудованы, вполне автономны и люди, живущие в них, ни в чем не нуждаются, кроме человеческого общества.

Как вы сами понимаете, меньше всего молодоженам было пужно человеческое общество. Они надеялись, что медовый месяц у них растянется как раз на три года. Не знаю, сами ли они придумали эту цифру, но верили свято в созданный ими безобидный миф.

Полгода примерно так и было. Он работал, она ему помогала, он писал стихи, она их слушала. Маленькие ссоры и бурные примирения скрашивали их жизнь на этом необитаемом острове. Он говорил мне позже, что эти полгода он наслаждался совершеннейшим счастьем, и я ему верю.

Но через семь-восемь месяцев положение изменилось, ссоры стали бурными, а примирения — недолговечными и неустойчивыми. Она была горожанка, дитя города, вдобавок — женщина темпераментная и страстная. По-настоящему она не любила природу, ей надоело одиночество, и пение птиц да стрекотание кузнечиков не заполняло пустоты в ее душе. Однако он не мог нарушить слово и сбежать со своего пункта, она же боялась уйти одна, так как это было бы воспринято окружающими как крушение и капитуляция, а она была чертовски самолюбива.

Еще Гете, был такой великий поэт... ах, вы знаете его? Тем лучше! Так вот, Гете как-то сказал, что «женщина

обладает тысячью способов сделать нас несчастными и только одним — счастливыми». Делать его счастливым она больше не хотела, и он стал по-настоящему несчастен. Она не знала сама, чего хотела добиться, да я думаю, что у нее и не было никаких планов. Она просто вымещала на нем свое одиночество, потому что теперь она была действительно одинока. Он горько разочаровался в ней, тем более горько, что уж больно высоко она была вознесена им всего три-четыре месяца назад. Слишком короткий срок для метаморфоз. И он отшатнулся от нее, ожесточился, но не потерял ее, он точно знал положение ее тела в пространстве в каждое мгновение. А такое чутье дает человеку или большая любовь, или ненависть.

Все случилось во время бури. Поскольку Тамара не любила природы, она, естественно, очень боялась грозы. А вокруг во всем своем великолепии сверкала и грохотала «воробьиная ночь». Молнии озаряли небо одновременно в двух и даже трех местах, страшный грохот от столкновения небесных повозок с камнями временами заглушал абсолютно все звуки, казалось, что ничего нет, кроме этого грохота, а затем и дождя. Она переживала свой страх ощутимо и навязчиво, и Алек, чтобы не видеть ее, вышел на веранду. Пахнуло свежестью, ему в лицо летели отраженные в рикошете брызги дождя, душная злоба последних дней отошла куда-то, и он почувствовал себя отмытым от греха ненависти. Ему стало жалко ее, такую одинокую перед лицом грозы. Он вернулся в дом. Тамара сидела напуганная и растерянная.

— Закрой дверь! Брызги летят в комнату!

Он повиновался. Она же, приняв его молчание за обычный уже молчаливый протест, закричала:

— Ненавижу! Ненавижу грозу, дождь, твою проклятую избу и звериное житье в одиночестве!

— Тамара, послушай...— начал он.

— Я не желаю тебя слушать, ничтожество! На такое... я истратила год своей жизни! Но больше этого не будет!

Она была взвинчена грозой, молнией и ливнем, только поэтому, наверное, не помня себя, она бросилась на мужа. По-видимому желая сильнее его унижить, она выплюнула ему в лицо отвратительное оскорбление. Вначале Алек растерялся. Он вырос в атмосфере мягкости и любви, и эта фраза хлестнула ему по лицу. Сдерживая нарастающий гнев, он презрительно и горько рассмеялся. Я думаю, смех унижил женщину сильнее, чем если бы он ее ударил. Она выкрикнула оскорбление вторично, прибавив к нему новые слова.

Он оттолкнул женщину, схватил первый попавшийся предмет и ударил. Это был небольшой хромированный топорик, подаренный друзьями. Он убил ее.

Потом он связался с больницей, приехали две машины, одна, реанимационная,— за ней, вторая, позже — за ним. И сполохи молний сияли уже над опустевшим домом, а грохот разрядов не глушил ничьей речи.

Психиатры после обследования сделали заключение, что он психически вменяем, хотя и отметили некоторое нервное истощение. Его дело передали в суд.

На суде я выступал как адвокат: я знал его с детства и кому, как не мне, было известно, что он за человек. Да судья и не препятствовал этому, похоже, мои горячие речи помогали ему лучше разобраться в деле. Я пытался оправдать Алека, осуждая ее. С моей точки зрения, брак был неудачен с самого начала. Мне дали выговориться, а потом судья холодно и спокойно разбил мои доводы, сказав:

— Вы пытались внушить нам, что обвиняемый хороший человек и всегда вел себя по-мужски и достойно. Но ведь любой мужчина, даже не поэт, который более тонко чувствует эмоциональный настрой другого, любой мужчина попытался бы разрушить ситуацию, тревожащую любимую женщину. Он уехал бы из этого дома, не на каторге же они были, он попытался бы создать обстановку, приемлемую для них обоих. Однако он не пожелал поступиться ничем своим, не пожелал искать выхода из конфликта. Он оказался эгоистом, чудовищным эгоистом, для которого его желания — основной закон. Так он дошел до преступления.

В этот момент я посмотрел на Алека и увидел, что он поражен мыслью судьи, мне кажется, что он только сейчас почувствовал себя действительно виновным. На его лице промелькнула растерянность. Он побелел так, что живыми остались одни глаза. Потом выступил пот, и он машинально стер его со лба.

Мы спорили долго, дело было слишком серьезным. Подсудимый был подавлен и отказался защищаться. Я видел, что он и физически разбит. Мы кончили наши споры в комнате совещаний. Приговор гласил:

«За убийство жены, Тамары К., при отягощающих вину обстоятельствах, имеющих эгоистический характер, по статье такой-то судом в таком-то составе Алек С. приговаривается к полному стиранию личности».

Приговор я привел неточно. За давностью лет текст забылся, хотя это был мой первый процесс, где преступник получил высшую меру наказания.

Я вышел из суда в подавленном состоянии. Но, перебирая в памяти все аргументы сторон, я неожиданно вспомнил лицо подсудимого. И тут я подумал, что приговор справедлив. Конечно, жаль поэта, человека с тонкой и изысканной душой. Его несчастье и преступление в слепоте, только в слепоте и в том, что он не искал выхода. Но ведь и он не сможет жить сейчас, прозрев и увидев свою вину. Он не простит себе. Все равно кончится плохо. И я еще раз пожалел его. Да и ее тоже.

Перед казнью я пришел к нему, и мы долго разговаривали. Под конец я задал ему несколько вопросов.

— Скажи мне, Алек, в период ваших войн, когда все было так плохо, ты любил ее хотя бы временами?

— Любил.— Он ответил довольно категорично и без раздумий.

— А она тебя?

— Трудный вопрос, Альберт... Мне кажется, что да.

— Тогда скажи, я хочу понять, ты случайно убил ее или ты **хотел** убить?

— В тот момент, когда я схватил топор, я не знал, что это именно топор, но я хотел убить ее. Хотел убить.

Приговор был приведен в исполнение двумя научными работниками института криминалистики. Мне уже тогда показалось, что они сделали все небрежно. Просто подобрали противоположный характер новой личности, как и предписывает закон, не утруждая себя более глубоким анализом. Алеку полностью стерли память и записали новую индивидуальность на якобы пустых клетках мозга. Я даже не вполне уверен, что они достаточно надежно провели и эту операцию.

Теперь он был Джованни Т., итальянец по происхождению. Живой, энергичный, веселый человек, экспансивный жизнелюб — вот каким должен был стать его характер. Это была запись психики и памяти недавно умершего человека, не имевшего в живых близких родственников. Будущему итальянцу было внушено, что он сменил обстановку и климат по рекомендации врачей. Единственным упущением была профессия Джованни — он был метеорологом.

После приведения приговора в исполнение я узнал, что Тамару удалось спасти. С применением сложнейших реанимационных комплексов, после нескольких операций ей вернули даже здоровье. Даже внешность, как мне говорили. Сам я не видел, не хотелось с нею встречаться.

Она тоже поменяла имя и фамилию и исчезла с моего горизонта.

Новые данные о Джованни вместе с решением суда и протоколом о приведении приговора в исполнение были заложены в Машину, на чем и завершается первая половина моего рассказа.

Вторая? Конечно, есть и вторая половина!

Джованни выбрал для жизни небольшой старый городок внутри большого современного. Он поселился в так называемой старой части Таллина. Уже в те времена города типа Флоренции, Парижа, Москвы в своих исторических местах были перекрыты геодезическими куполами, для предохранения от разрушений. Построены исторические центры, как правило, из камня и недолговечного кирпича, легко размываются дождями, особенно штукатурка. Джованни был римлянином, и такой город, как Таллин, был по режиму в некотором смысле продолжением его предыдущей жизни. Я сам уроженец Таллина, очень люблю свой город и, мне кажется, знаю в центре каждый камень. Знал я и домик по улице Кулласена, где он поселился. Джованни получил работу в «Центр-погода», такую, как ему хотелось: метеорологом-эксплуатационником.

Не скрою, я интересовался, как живет и чем дышит человек с «новой личностью», и, предприняв несложные шаги, я познакомился с ним. Это было нетрудно — он был общителен и доверчив.

Я не делал ничего предосудительного, не сообщил ему, кто он и откуда, но, надеюсь, вы поймете меня, все-таки искал, осталось ли в нем что-нибудь от того, от прежнего, сына моего друга — от Алека. Иногда мне мерещилось, будто что-то неуловимое, легкое, как оттенок голубого на сером, в нем высвечивается, но потом все это смывалось бурной жизнерадостностью человека, лишенного тонкой эмоциональности. Нет, он не был плохим, что вы! Он был хорош, но по-своему. Добр по-своему и отзывчив. И мягок по-своему, хотя и вспыльчив.

— Альберто,— сказал он однажды. Он произносил мое имя по-итальянски — Альберто.— Ты меня любишь! Не знаю только за что. Ты очень похож на моего отца, Альберто!

И мне стало приятно, потому что я действительно его любил.

Однажды я пришел к нему на работу, он очень звал меня «посмотреть, как делается погода». Джованни очень обрадовался, усадил меня посреди пультавой, «чтобы я мог все увидеть».

— Мне нужно полить еще три огромных участка пашни и огородов,— сказал он.— А избыток дождя я передам дежурному в соседнем секторе.

Он был спокойнее обычного, суше и чрезвычайно деловит.

Теперь часто показывают в «Новостях», как работает «Центр-погода», а тогда его показали в день открытия, а потом журналисты почему-то потеряли к нему интерес. А я сидел посреди «святая святых» и мог рассмотреть все в работе.

Четыре пульта были сориентированы по странам света, и за каждым потолок спускался к стене наклонными плоскостями. Над одним пультом плоскость светилась колеблющимися оранжевыми струями, а по ним текли ярко-голубые облака. Облака я узнал, несмотря на ненатуральные цвета и различную яркость.

— Джованни, что это оранжевое?

— Это ветры. Голубые — облака, более темные — много воды, светлые — поменьше. — Тем временем он спроецировал на карту ветров и туч красные контуры земельных участков. — Альберто, видишь?

— Да.

— Эту землю надо полить! Теперь вопросов не задавай, работа мелкая и точная. Тут единственное место, где машина еще не может заменить человека!

Он ходил вдоль пульта, нажимая на нем какие-то кнопки, вертел ручки. Оранжевые потоки сливались, опять дробились, скорости их менялись, и, когда, по-видимому, было достигнуто необходимое сочетание условий, он нажал красную кнопку на одной из секций пульта. Красивый пейзаж, висевший перед ним чуть ниже «неба», потускнел, я увидел, как по экрану текут струйки. Пошел дождь.

— Один готов! — крикнул Джованни.

Он «организовал», иначе не назовешь, дождь и на двух других участках. Потом включил связь. На экране появился загорелый лысый эстонец, за его спиной виднелся пульт.

— Лейв, примерно через двадцать минут я передам тебе семьдесят тысяч тонн остатков. Кроме того, неиспользованных... — Профессиональный разговор продолжался пять минут, после чего Лейв погас.

— Я должен проследить, чтобы все прошло нормально, — сказал Джованни. — Знаешь, Альберто, коллеги в Риме полдня транспортируют тучи с расстояния до тысячи километров, чтобы устроить небольшой дождик над иссохшей землей. А здесь я сбрасываю лишние облака на соседние секторы. Я люблю дожди! Только грозу почему-то не люблю.

И я еще раз подумал о тех недоумках, которые сделали его метеорологом. На такой работе естественно стать поэтом, но то, что было бы прекрасно для любого человека, ему грозило возвратом памяти. Он мог стать человеком с двумя «душами», вероятно, даже неполноценным. А могло случиться и так, что одна его индивидуальность осудит другую. В общем, мог получиться страшненький кавардачок.

Я дождался конца работы, и мы погуляли по старому, чистому Таллину. Кругом неслышно ходили люди, свои и туристы, в мягкой обуви без каблуков: камни не вечны. Расстались мы поздно.

— Мне завтра рано вставать! — сказал он. — Моя очередь поливать газоны.

— Как, и скверы вы поливаете?

— Конечно! — Он засмеялся. — А кто же еще? Мы! Часиков в шесть утра, когда все спят.

— Как же это делается?

— Да так же. — Он был искренне удивлен. — Ты разве не знаешь, что геодезический купол состоит из прозрачных поворотных элементов?

— Не-ет. Из каких элементов?

— Из треугольников. Я подгоняю дождевую тучу, открываю соответствующие секторы — и пожалуйста, общий полив прекрасной водой, насыщенной кислородом и всякими ионами. Многие женщины ее набирают и потом моют головы. Говорят, она способствует росту волос и придает им блеск. Если проснешься рано, можешь увидеть своими глазами! Завтра не встретимся, у меня свидание с Вандой. — Ванда это его очередная, чрезвычайно милая девушка. С женщинами у него были простые отношения.

Рано я не проснулся.

Потом я его не видел пять дней, было много тяжелой работы, я приходил домой и отключался от внешнего мира. Вечерами я восстанавливал силы всеми имеющимися способами. На шестой день я соединился с ним.

— Как дела, мальчик?

— Ничего, Альберто. Где ты пропадал?

— Работы было много.

— А я познакомился с замечательной девушкой!

— Да?

— Ага. Шел с работы, она подошла ко мне и спросила, как меня зовут. Я ответил.

— А она?

— Она тоже. Ее зовут Лина.

Мне немного полегчало, Я ведь каждый раз боялся.

— Знаешь, Альберто, она смотрит на меня, как на знакомого. А я ее никогда не видел.

«Черт возьми!»

— Она спрашивала, откуда я родом, кто мои родители и друзья.

— Как она выглядит? — Наверное, голос у меня был хриплым.

— Блондинка. Некрупная. Огромные голубые глаза, прямо светящиеся. У меня такое впечатление, что она заглядывает мне в душу, когда смотрит на меня!

«Весьма вероятно, — подумал я, — она видит там больше, чем можешь увидеть ты сам!»

— И когда ты собираешься с ней встретиться?

— Сегодня. На площади Ратуши, в семь вечера. — Он добросовестно все перечислил. — А когда мы увидимся с тобой?

— Давай завтра.

— Хорошо. — И мы расстались.

Надо было что-то делать. Надо было что-то предпринимать, придумывать. Срочно, безотлагательно. Эта злая женщина чувствует себя неотомщенной и задумала гнусность. Я был уверен в своей правоте. Что же сделать? Надо идти туда. И я пошел, переодевшись и даже загримировав лицо. На мое счастье, у ратуши была такая толпа туристов, что в ней мог остаться незамеченным даже снежный человек, любимец двадцатого века.

Я занял выгодную позицию около угла ратуши. Стоять мне пришлось недолго. Он появился и пристроился около входа в здание, скользя по моей фигуре равнодушным взглядом. Я отвернулся и принял вид томящегося в ожидании.

Она подходила к ратуше с моей стороны, и я раньше обнаружил ее. Наконец он тоже увидел и засиял. Да, это была она, Тамара. На ее лице лучилась ответная улыбка. Может быть, и настоящая. Я подобрался поближе. Джованни двинулся ей навстречу и нежно взял за локоть. Это он неплохо умел.

— Я жду тебя уже час!

— Да? Я пришла вовремя.

— Куда мы пойдем, дорогая?

— Уже и дорогая? — Ее глаза смеялись. — Куда хочешь. Побродим пешком по этому заповеднику.

Они двинулись вперед, я — за ними.

— Чем ты занимался сегодня... Джованни? Никак не могу привыкнуть к твоему имени.

— Почему? — Он удивленно посмотрел на нее.

— Мы же так недавно познакомились с тобой! — вывернулась она.

— А мне кажется,— галантно заявил он,— что я тебя знаю целую вечность! — Тамара и я побледнели одновременно, но у нее тоже была великолепная выдержка.

— Так чем же ты все-таки занимался?

— Делал погоду!

— Как «делал погоду»? Что это значит?

— Разве я не говорил тебе? Я же метеоролог-эксплуатационник и каждый день делаю погоду!

— Вот оно что! — Она задумчиво посмотрела на него и умолкла.

Тут мне на одно мгновение почудилось, что он нравится ей. Они шли рядышком, он прижимал ее согнутую руку к своему боку, а она все время заглядывала ему в лицо. «Неужели опять? — подумал я, но потом отогнал эту мысль. Нет, у нее, скорее всего, был какой-то план, который она и проводила в жизнь.

— Так мы пойдем куда-нибудь? — еще раз спросил он.

— Нет, Джованни. Просто погуляем. А потом ты проводишь меня в гостиницу.

— Может быть, зайдем ко мне?

— Ты сошел с ума! — В ее голосе не было решительности, и мне еще раз пришло в голову, что она неравнодушна к нему. — К девяти вечера я должна быть в гостинице «Старый Томас», — уже более уверенно добавила она.

— Ты не представляешь, как огорчила меня! Ты отказалась от всего, что я тебе предложил.

— Джованни, а ты можешь выполнить мое желание? Горячее желание!

— Любое!

— Послушай, устрой завтра дождь. Ливень с громом и молниями здесь, в старом Таллине. В этой коробке со стеклянной крышей... Хороший дождь с громом!

— Это запрещено,— сказал он, но, помолчав, вдруг согласился. — Ладно, сделаю, хотя грома и не люблю.

— Обязательно с громом и молниями, слышишь, милый!

Он странно посмотрел на нее и кивнул.

К десяти вечера я ждал их у «Старого Томаса». Они скоро пришли. Постояли недалеко от меня. Минут пятнадцать она отбивала его поползновения зайти к ней. Потом они расстались, она вошла в гостиницу, а он зашагал в белесый эстонский вечер, насвистывая что-то бравурное.

Вид у него был самодовольный. Я двинулся вслед за ней. Поднимаясь по лестнице, покрытой ярким цветастым ковром, я любовался ее ногами и фигурой. Красивая женщина, она действительно могла покорять мужчин. У номера, пока она открывала дверь, я ее догнал.

— Тамара! — Она обернулась.

— Кто вы? Что вам нужно?

Я отлепил дурацкие усики и кое-как протер лицо платком.

— Не узнаешь?

— Не-ет.

— Я Альберт, друг Алека!

— ??

— Мне надо с тобой поговорить.

Она распахнула дверь. Я вошел первым, она — за мной.

— Что тебе от меня надо, Альберт? Нет Алека, нет его друзей, и я не могу понять, зачем ты здесь? Зачем я тебя впустила?

— Вот именно. Зачем ты меня впустила? Предложи мне сесть.

— Садись.— Она собиралась с мыслями.— Так что тебя привело сюда?

— Я следил за вами обоими сегодня и слышал твою просьбу устроить дождь. С громом и молниями! — сказал я, устраиваясь в удобном гостиничном кресле.

— Ну и что? — Она немного смутилась.

— У меня несколько вопросов.— Нельзя было давать ей опомниться.— И первый — зачем ты разыскала его?

— Ах, ты хочешь знать, зачем я его отыскала? — Она разозлилась и от этого похорошела еще больше.— Так вот, я его не разыскивала! Я приехала сюда на экскурсию и неожиданно наткнулась на него. На улице. И увидев его, такого самоуверенного, спокойного, цветущего, более цветущего, чем тогда... со мной, я пришла в ярость. Да, в ярость! — Она говорила зло, ее глаза потемнели от негодования.— Ты знаешь, как я жила все это время? Нет? Так послушай. Меня починили врачи. Полностью привели в порядок, даже внешность. Мне это стоило трех месяцев жизни, и черт с ними, недорогая цена. Я знала, что ему стерли память, и радовалась этому. Да, радовалась! Но мне память не стерли, понимаешь? Мне оставили этот ужас. И страшную ночь, с грохотом и молниями. И убийство. Мгновенный ужас и страшную боль. И небытие. Оставшееся время я носила ужас и боль в себе. Я не верила ничьим чувствам. Ужас давил на меня. И когда я встретила

Алека, спокойного, уверенного, гуляющего по свету без воспоминаний, я решила, что это несправедливо. Вопиюще несправедливо! Никаких мук, никаких переживаний! Сладкая жизнь!

— И ты решила отомстить.

— Я решила все поставить на свои места.

— А для этого замыслила убийство совсем другого человека? — Я был безжалостен к ней, мне казалось, что так нужно. — Сама пошла на преступление, так как сообщение осужденному его прошлого после приведения приговора в исполнение — уголовное преступление!

— Что ты тычешь мне в лицо свои законы?! В моем деле я закон! Впрочем, это не имеет сейчас никакого значения. — Она внезапно успокоилась и даже как-то повеселела.

— Почему?

— Потому что я поняла, что он не Алек. Нет, не Алек, а Джованни. Совсем другой человек, как ты сказал, более мужественный, более решительный. Энергичный и жизнерадостный человек. Человек дела и действия. Знаешь, Альберт, со времени моего, так сказать, излечения я непрерывно варюсь в собственных мыслях. И мне уже мерещилось, что я схожу с ума. Экскурсию по старым городам я предприняла, чтобы отвлечься, но ничего не помогало. А теперь, когда я наткнулась на него, познакомилась и увидела, каков он, меня отпустило это наваждение. Мне с Джованни, именно с Джованни, а не с Алеком, легко, приятно и просто. — Она помолчала и вызывающе добавила: — Он мне нравится!

— Тем более, зачем тебе дождь и молнии? — Я даже выскочил из кресла.

Она кивнула:

— Глупо, конечно! Просто мысль рассказать обо всем ему, если я когда-нибудь его встречу, жила во мне слишком долго. А задним числом я все объяснила себе. Если он способен вспомнить, подумала я, пусть лучше уж сейчас, чем потом. Это же не последний дождь в нашей жизни, Альберт!

Я не смог опровергнуть ее довода. Вообще мне показалось, что я попал в зону, в которую посторонним запрещено вторгаться.

Я встал.

— Возможно, ты права. Не могу судить. И пусть будет так, как ты решила!

— Ты понял меня, Альберт! — сказала она и тоже поднялась. — Я вижу, что ты понял. И знаешь, я хочу быть

любимой! Это так приятно! — Тон ее был жалобный, и мне стало стыдно.

— Ладно, — сказал я. — Пойду. Ты уж извини меня, Тамара!

— Лина. Не Тамара, а Лина. Брось извиняться, Альберт. — Она выглядела очень усталой. — И приходи к двенадцати на улицу Пикк, к дому «три сестры», мы там договорились встретиться.

— Ты все-таки боишься?

— Нет. — Она улыbnулась. — Я хочу, чтобы ты увидел, как мы оба счастливы!

Утром следующего дня я сообщил на работу, что сегодня не приду. Потом позавтракал, убрал жилье. Без пятнадцати двенадцать, как назло, заверещал видеофон. Надо было его блокировать заранее. Нечего делать, включил. На экране светился мой коллега по работе...

В конце концов я был у порога своего дома в двенадцать часов пять минут и даже успел сделать несколько шагов, когда над моей головой раздался странный шорох, а потом звук, похожий на шлепок. Стало светлее. На лицо капнуло, еще, потом еще. На асфальте и камнях появились мокрые мелкие точки, и вдруг пошел настоящий дождь. Вначале не очень частый, он становился с каждой минутой сильнее и сильнее. Мягкий летний дождь хлестал теплыми струями, а сквозь поток воды светило солнце. Вода зашумела по старым водосточным трубам, которые, наверное, уже давно забыли вкус дождя, тротуар сделался мокрым и черным, а над каждой, теперь уже тяжелой, каплей вздымался воздушный пузырек. Сначала вода с крыш и из труб текла мутная, в этом стерильном городе-музее накопилось немало пыли по закоулкам и щелям, но чуть позже потекла светлая, как будто из родника. По улицам бежали, наскакивая друг на друга, хулиганистые ручьи и ручейки. Я сразу промок и не стал прятаться. Надо было спешить. Быстрыми шагами я двинулся на улицу Пикк, к месту свидания.

Сумасшедшие водяные потоки стремились меня смыть. По лакированным тротуарам, по лужам расплзались кое-где радужные пленки. Из дождя навстречу мне вышли девушка и парень в совершенно промокшей одежде. Платье девушки и легкий костюм парня облепили их странные фигуры, они шли, держась за руки, счастливо смеясь дождю, шли босиком, нарочно выбирая более глубокие ручейки и лужи. Обувь они несли в руках. Потом я увидел еще людей, их было удивительно много. Никто не прятался, все были рады дождю. Внезапно над головой

сверкнула молния, и где-то недалеко загрохотало. Дождь, как будто ждавший сигнала небесного барабана, хлынул сильнее. Я почти побежал, но, завернув за угол, остановился в удивлении.

Прямо посреди огромной лужи орда мальчишек и девчонок семи-восьми лет исполняла какой-то странный, дикий танец.

Дождик-дождик, пуше,
Дам тебе гуши.
Дождик-дождик, перестань,
Я поеду в Эристань, —

пели маленькие дикари, мокрые и счастливые, из-под их ног поднимались фонтаны воды, а через водяную завесу сияли бездумным детским счастьем глаза. Рядом бегали не очень испуганные воспитатели и уговаривали их покинуть лужу. Я не дождался благополучного окончания инцидента и коротким рывком проскочил до улицы Пикк. Она была уже там. Точнее, она шла мне навстречу, посреди улицы, медленно и почти величественно. Ее светлые волосы стали темными от воды, тяжелое платье намокло, и огрубевшая ткань крупными складками обнимала тело. Она была очень естественна между камней средневековой улицы, и крупные звенья вычурного ожерелья, кольцо и тяжелые серьги делали ее еще более похожей на суровую и яркую скульптуру католического храма.

Она показала мне рукой на парадную дома, и я поспешил спрятаться под старинным арочным входом. Внутри подъезда была дверь, и я вошел в нее. В маленьком вестибюле было тихо, только сквозь резную решетку шумел дождь. Здесь он звучал скучно и монотонно.

— Давай спрячемся здесь! — неожиданно совсем рядом со мной раздался голос Джованни. — Я совсем промок! До нитки! Далеко же я назначил свидание!

Похоже, она нарочно привела его сюда.

— Мне сегодня приснился странный сон. — Опять его голос. — Увидел дождь с громом и молниями, и тебя со мной в маленьком доме.

— Ну и что? — Ее голос звучал без напряжения.

— И мы с тобой ругаемся из-за дождя. Ты хочешь погулять под ливнем, а я смотрю по телевизору фильм из жизни мифических амазонок. Подумай, нелепость какая! — Мне стало неудобно в своем убежище, я вдруг почувствовал, что на мне мокрая одежда.

— И чем эта семейная сцена окончилась? — Ее голос наконец задрожал. Но он этого не заметил.

— А ничем. Грянул гром, я обернулся, а тебя в комнате уже нет.

— Досмотрел ты телевизор? — Голос звучал насмешливо.

— Нет, проснулся на самом интересном месте!

— Жаль.

— Ага... Послушай, Лина, тебе понравился мой дождь?

— Да. Только не было грома и молний.

— Были. Два раза.

— Один. Но все равно спасибо.

— Благодарностью ты не отделаешься!

— Перестань! Не надо, Джованни!

— Глупо. Надо любить, пока мы молоды!

— А я не хочу... только потому, что мы молоды. Не надо!

— Ладно, не буду... Как мне влетит за этот ливень в голову! Ты себе не представляешь!

— Беги, кончи дождь. Я получила, что хотела!

— Правда? Тогда я действительно побегу. Мне и так не сносить головы. Честно говоря, я пожалел, что сделал все это! Я сильно вымок и боюсь простудиться. Ох и влетит мне! — Последняя фраза доносилась уже с улицы.

И ни слова о любви! Ни одной интонации!

— Ты здесь, Альберт? — спросил ее голос.

— Здесь.— Я вышел из своего укрытия.— Зачем ты сделала меня свидетелем?

— Не знаю.— Она была очень печальна, кажется, плакала.— Альберт, уведи меня отсюда!

Мы вышли под дождь. Она брела рядом совершенно поникшая, и я боялся заглянуть ей в лицо. Внезапно над головой раздался знакомый звук шлепка. Дождь прекратился и стало не светлее, а почему-то темнее. Было слышно, как бежит вода по улицам. Люди разбегались по домам, как и я, осознав, что они мокрые. Праздник кончился.

Дома я велел ей залезть в ванну и согреться. Потом дал алкоголя. Она вяло выполнила все, что я велел. Через некоторое время «Вана Таллин» ее все-таки оживил.

— Альберт, это крушение.— Она сидела в кресле, завернувшись в мой махровый халат.

— Почему? — Хотя я почти понимал почему.

— А просто...— Она опять заплакала, видимо, обдумывая фразу.— Просто он может сделать дождь, хотя сам предпочитает сухую и солнечную погоду.

— Так, может быть, это тоже неплохо!

— Может быть. Но я-то хотела быть любимой!.. Алек

меня убил, ненавидя и любя! Теперь я могу его понять. И... пожалуй... простить! Да, знаешь, простить!

— Это верно, Джованни не способен убить.

— Я бы не хотела, чтобы меня еще раз убили. Но прожить жизнь с Джованни я тоже не хочу! Ни любви, ни ненависти...— печально сказала она.— Облик!

Она вышла из комнаты и вернулась, переодетая в свое платье.

— Альберт, спасибо тебе за все! — В ответ на мою мимику она отрицательно покачала головой.— Нет, спасибо тебе! Я сейчас уезжаю. И пожалуйста, сделай так, чтобы он меня не искал, хорошо?

Я кивнул.

— Я простила Алека, Альберт... Не провожай меня!

Она ушла. Я сел в своей комнате, не включая света, и выпил рюмку чего-то горького. Верхняя часть окна светила молочноголубым.

Разные мысли беспорядочной толпой бродили в голове. Мне стало очень жаль его. Очень. Он стоял перед открытой сокровищницей Аладдина и не видел ее, не мог из нее ничего взять. И немного, совсем немножко жаль ее. Хотя я был уверен, что скоро, наверное, совсем скоро, кто-нибудь ее полюбит.



Георгий Бальдыш

Я убил смерть

РОМАН

Мальчишка присел на корточки и пустил с ладони кораблик. Кораблик скользнул, подхваченный мутным и сильным потоком ручья, крутнулся и, выпрямившись, полетел, неся на грот-мачте парус из кленового листа.

Мальчишка бежал вдоль ручья. Кораблик тыкался о камни, вставал на дыбы, юлил, но упорно плыл, иногда скрываясь за поворотом. Мальчишка не заметил, как оказался на окраине парка, где ручей скатывался в пруд.

Кораблик кувырнулся и застрял в ряске.

Теперь не оставалось ничего другого, как расстрелять его камнями. Недолет, перелет... бах! Кораблик нырнул под воду и опять качался как ни в чем не бывало.

И тут мальчишка увидел такое, что заставило его забыть обо всем. Слева, в кольце бетонного акведука, протаранившего железнодорожную насыпь, появился голый человек. Мужчина некоторое время стоял, пригнувшись и высунув голову. Огляделся вокруг. Нерешительно вышел

из трубы. Ступая по камням, отдергивал ноги. Тело его было чуть зеленоватым. И даже почти прозрачным, как студень. Оно странно вытягивалось и изменялось. Мальчишка поправил косо сидящие на длинном носу очки. Взъерошил волосы. Но все было так же. Ему стало страшно.

Человек двигался прямо на него. И, кажется, его не видел. Наконец в его студенистых глазах мелькнуло что-то осмысленное.

— Э-э, мальчик!

Тело мужчины быстро теряло прозрачность, уплотнялось, становилось розовым, волосы его темнели. В глазах четко проступала зеленоватая радужка. Казалось, человек проявляется на солнце, как снимок, опущенный в ванночку. Болезненно прикрывая рукой глаза от солнца, он спросил:

— Какое у нас сегодня число?

— Второе.

— Второе?..— В голосе мужчины звучало нетерпение.

— Второе... сентября...

— А год? Какой год?

Мальчишка от удивления слегка вобрал голову в плечи.

— Восемьдесят... То есть, разумеется, тысяча девятьсот.— И недоверчиво покосившись, на всякий случай добавил: — Нашей эры.

Мужчина облегченно вздохнул. Зеленоватые глаза вспыхнули лукаво-озорно; он подмигнул.

— Дяденька, а почему вы голый?

Застигнутый врасплох, мужчина съежился, подобрал ногу, потом оглядел себя и, только теперь осознав всю нелепость своего сверхнеглиже, поднял брови в крайнем недоумении.

— Действительно... Я сейчас...— И заскакал к акведуку.

Мальчишка ждал. Минута, две, три... Мужчина не появлялся. Он подождал еще и заглянул в трубу. Там никого не было. Мальчишка взбежал на насыпь и сразу увидел мужчину, выходящего из развалин. Он был в плаще и шел к станции.

...Глуховато и мягко стучат колеса. Поезд идет в узком коридоре березового леса. Летит навстречу зеленоватый глаз светофора. Вот звук колес меняется: звонче, веселее,— перелесок, поле, простор. Солнце бросается под колеса. И опять лес — сосны: покачиваются степенно, ходят верхушками. И густой запах смолы. И вновь простор. Деревушка на взгорье. В облаке пыли — стадо коров. Он сто-

ит на площадке вагона, выпростанной на волю ладонью ловя ветер.

Трубно орет электричка, проносясь мимо шлагбаума. За шлагбаумом нетерпеливо пофыркивает грузовик. Девичата в кузове. Они машут и кричат что-то. И колеса лепечут непонятное, сбившись с ритма на стрелке...

— Это уже было,— вздрагивает Дим.

Так же неслось, струилось, пахло, грохотало...

Опять мельтешит березовая рябь.

И вдруг все проваливается. Куда-то уходят и запахи и цвета. И тогда кажется, что он существует отдельно, а мир где-то отдельно от него — в холодном зеркале. Странное чувство отупения и зыбкости. И пугаясь этих провалов, он прислушался к чему-то в себе.

Он подумал о Лике.

Ему вспомнилось, как они вчера шли из театра бок о бок по гранитным плитам канала. В воде ртутно колыхалась лунная рябь. Их плечи касались друг друга...

Вчера?.. Что за белиберда! Это за гранью рассудка. Он подергал себя за торчащий на темени вихор,— это как-то всегда помогало ему в затруднительных случаях. Быстро оглянулся. На площадке стоял полковник и курил.

— Не угостите папироской? Спешил на поезд...

Полковник вытряхнул из пачки папиросу, чиркнул спичку:

— Последняя, не загасите.

— Спасибо.— Осторожно, пряча огонь в ладони, прикурил.

Судорожно глотнув дым, перекинул папиросу во рту. Спичка горела, обугливалась, загибалась.

Огонь коснулся кончиков пальцев.

— Вы... вас...— удивился полковник.— Вы обожглись?

— Ничуть.— Скомкал пальцами остатки горящей спички.

«Вот еще фокус — боли не чувствую!»

Соскочил на платформу, не дожидаясь, когда поезд остановится: он ехал без билета и нервничал. Только что отплясал дождь, и от платформы шел пар. Вышел на шумную, многолюдную улицу. На углу продавали газированную воду. В кармане заваялся случайный гривенник. И не так уж хотелось пить, но надо было собраться с мыслями, и он стал в очередь.

— Без сиропа, пожалуйста, один.

Через весь город шел пешком. Даже интереснее. Тем более что совсем не к спеху. Это он отчетливо понял, подойдя к дому. Он ходил взад и вперед мимо парадной, не

решаясь войти. Из скверика через дорогу можно было заглянуть в окна во втором этаже. Они не были занавешены полотняными шторами. В солнечные дни Лика всегда их задергивала. Она говорила: выгорают обои.

Он нащупал в кармане ключ.

Взбежал по лестнице.

Хотел открыть, но почувствовал, что не может так войти, как всегда. Он потянулся к кнопке звонка. Шагнул в сторону...

Кажется, вчера еще они шли по плитам канала, в воде кувыркался острогорый месяц. Потом пили кофе. Она научила его пить черный кофе. Ему это нравилось, потому что нравилось ей...

Лика открыла не сразу. Смотрела чужими глазами. Вдруг отпрянула. Попятилась, пропуская его. Глядела недоверчиво, панически.

— Ты? Правда? — спросила она с ужасом и сомнением. И тотчас же вся сжалась.

— Прости, Дим, я не... — Она проглотила слова. — Я немножко приберу.

Она скользнула в комнату, крепко притворив дверь. Это было нелепо, будто он пришел не к себе...

Она выдвигала ящики, что-то швыряла. Наконец вышла.

— Заходи же, — сказала она, судорожно глотнув воздух и словно недоумевая, чего же это он там застрял.

Она отошла (ему показалось: отскочила) к окну. И стояла, чуть покачиваясь и тревожно скосив глаза на него.

Он прикрыл дверь, шагнул к ней. Она тихо вскрикнула, выбросила руки, как бы отталкивая его своими узкими ладонями.

— Нет-нет... Этого не может быть...

— Что ты, Лика. Это действительно я. — Доказывать, что ты есть ты, было явно абсурдным, и он пошутил: — Хочешь, ущипну?

Растерянно подергал себя за хохолок на макушке.

И этот жест, такой знакомый и привычный, может быть, несколько успокоил ее.

— Сядь там. — Она повела глазами.

«Детский сад», — подумал он, опускаясь в маленькое креслице с запрокинутой назад спинкой.

— Чешское? — спросил Дим.

— В театре знакомый столяр сделал. Я играла в чешской пьесе... Хотя откуда тебе знать?.. Она ведь всего три года назад поставлена у нас в театре... (Дим вздрогнул).

А ты... Там тоже, между прочим, героиня является... потом...

Лика зябко поежилась, передернула острыми плечами.

В руках у Дима оказался деревянный жирафенок с удивленно торчащей на длинной шее головой-нашлепкой. Он вертел этого жирафенка, улыбаясь. Ему дико хотелось подойти к Лике, прижаться к ней...

Лика ушла на кухню и вскоре вернулась, неся перед собой медный сосуд на длинной палке. Налила ему кофе. Подала кексы. Нервно ходила на почтительном расстоянии по комнате, прикладывая к щекам свои пальцы — истощенные и суховатые, они напоминали церковные свечи. Теперь он разглядел, что она изменилась, отяжелела кожа на подбородке, переносье прорезала глубокая морщина.

— Милый Дим, если ты — действительно ты, то выслушай меня... Я понимаю, — говорила она теперь своим поставленным сценическим голосом, — ты пришел к себе в дом... Ты так думаешь... То есть... я не то хотела сказать... Как тебе...

Она вдруг остановилась, прислушиваясь к чему-то в коридоре. И опять ходила — размеренно. Сжимала пальцами виски.

О чем она? Он не мог осознать, о чем она. Сквозь сумятицу слов вдруг понял одно, страшное: она гонит его. Просто гонит.

— Ты разрешишь мне донить чашку кофе?

— Ну зачем? — с укором воскликнула она. — Ты взрослый человек... У тебя есть хоть капелька здравого смысла?

— Нет, — сказал он, заводясь.

— Подумай о себе... Тебе же никто не поверит... Тебе, видимо, надо переехать в другой город, если уж так случилось... Может быть, под другой фамилией... Милый... Дим...

Дим заметил, что из-под секретера торчит ночная туфля. Она была огромная, со стоптанным задником.

«Уйду. — Он тер ладонью лоб. — Сейчас, сейчас. Все очень уж сразу... Еще вчера... Вчера?.. Какой бред!» Для него это действительно было «вчера». Он, кажется, сказал это вслух.

— Что вчера? Ты теперь даже не прописан. Да не в этом дело... В чем ты меня подозреваешь?.. И не смотри на меня такими ужасными глазами, а то я заплачу... Я ведь сама тебя... вернула...

— Я не знаю, для чего ты это сделала... Здесь ведь не скажешь спасибо или благодарю. Только я думаю все: по-

чему ты не сделала это сразу, тогда?.. Я даже не знаю, сколько лет прошло — три, пять?..

— Я все объясню...— В глазах ее метнулся испуг.— А сейчас ты должен понять, вернее, просто поверить...

Вдруг она встрепенулась слегка, вытянула шею, опять прислушалась к чему-то в коридоре. И опять ходила, поглядывая на себя в зеркало, на свое покрытое красными пятнами лицо с неправдоподобными иконописными глазами.

— Только пойми: сейчас лучше, благоразумнее... для тебя, чтобы никто не знал об этом... о твоём... ну, возвращении.

Происходило что-то чудовищное, нечеловеческое, и он хотел только осознать — что?

Она остановилась, удивленно взглянула на него, сидящего в низеньком креслице и прикрывшего ладонью глаза.

— Кажется, телефон,— сказала Лика и выскочила, плотно прикрыв дверь.

Слов не было слышно. Она говорила быстро, как-то захлебываясь, потом умолкла. Позже через дверь пробилась фраза: «Почему ты так сух? Ты все еще сердишься?»

Солнце ушло за дома. В комнате стало мрачновато. Дим не мог одолеть озноба. Оглянулся и опять увидел ночную туфлю — огромную, со стоптанным задником. Он хотел просто понять, что происходит. Хотя что здесь понимать?

Телефон крикнул от резко повешенной грубки. Лика вошла, прихватывая на ходу полы распахнувшегося халата. Она включила свет, мельком взглянула на туфлю, потом на Дима, прикрыла ладонью прилившую к шее и ушам красноту.

— Тебя каждую минуту могут застать. Ко мне должны прийти из театра... Пойди куда-нибудь... пока. Пойми наконец — ты же фикция для них... Тебя нет! — Она припустилась перед ним на колено, коснулась его своими длинными пальцами, как бы заклиная.

Он хотел сказать: но ведь ты можешь *их* не пустить. И только сейчас совсем понял: она элементарно лжет. Дим встал.

— Позвони завтра,— сказала она, молитвенно глядя на него.— Я очень виновата перед тобой. Но я сделала... все, что было в моих силах. Поверь мне, Дим,

Сидя в сквере, против своих окон, он думал: «И все же для чего она это сделала?.. Чтобы посмотреть на меня и

прогнать?..» В окне была видна полочка с керамическим кувшином. Мелькали голова и плечи Лики. Потом она крутилась у зеркала, взмахивала кистями рук.

Она стояла перед зеркалом, когда открылась дверь и вошел кто-то громадный, плечистый. Вошел и попросту снял пиджак. Взмахнул им, повесил, очевидно, на спинку стула, по-домашнему закатал рукава. Переваливаясь, слоново топал по комнате. Ерошил щетку волос. Дим знал: это был Лео.

Было видно, как он потрепал Лику по щеке, подошел к окну, куря сигаретку, и размашисто задернул шторы. Диму даже показалось, что Лео видел его, сидящего в сквере.

«Идиот! — выругал он себя. — И как сразу не пришла в голову такая простая вещь — могла же Лика за эти годы выйти замуж. Да, но... почему она не вызвала меня... отсюда сразу? И что значит — сразу?» — Дим провел ладонью по лбу, стирая мысль.

С замирающим гулом останавливались ночные трамваи. Дребезжали бортами грузовики и, споткнувшись о красный огонь светофора, столбенели, вздыхали. Застряв на перекрестке, нетерпеливо мигали хвостовыми огнями легковые машины.

Впрочем, звуки и краски доходили до его сознания опять отдаленно и блекло — как размазанные.

И вдруг пронзившей болью отозвалась сирена «скорой помощи». Истерично провизжав, машина бросилась прямо под красный огонь. Эта пронзительная боль, внезапно ранившая его, сначала неосознанно, потом мгновенно высветившейся картиной воскресила в памяти последние минуты отцовской жизни. Отец умирал от рака легких, и, разумеется, ему со всей медицинской категоричностью запрещено было курить, да и сам он из острого чувства самосохранения уже не позволял себе этой малости. Но однажды вдруг мотнул очесом седой бороденки и повел дрожащими бровями в сторону своей любимой трубки — из его большой коллекции — с точеным язвительным профилем Мефистофеля. «Димушка! Раскури-ка мне вон ту, мою... Ну... пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста», — повторил он поспешно, капризно, требовательно, так что отказать ему было просто нельзя. Отец рассосал, распалил, медлительно, с наслаждением затаился несколько раз, пустил колечками дым, сказал вдруг «амба», и трубка покатилась из его опавшей руки. Голова откачнулась на валик дивана. Мать прибежала из кухни, не поверила, тормошила, положила под голову подушку, бросилась к телефону вызывать «ско-

рую». Дим видел в окно, как мать встречала санитарную машину у подъезда, нервничала... Трудно было оглянуться, но он оглянулся: уголок отцовской губы был вздернут в изощренной ироничности. «Скорая, ах ты, скорая!»

...К кому спешила сегодня эта?.. Проскочив перекресток, она верещала уже где-то далеко и глухо. Но странная боль от ее клекота еще жила в нем, и прихлынула внезапно необъяснимая радость: он чувствует боль! Посмотрел на почерневшие кончики пальцев, обожженные догоравшей спичкой — там, на площадке вагона, — только сейчас ощутив ожог. Чувство боли вернула ему Лику, и уж за одно это он должен быть ей признателен! — усмехнулся Дим.

На углу под фонарем стояли, сбившись в кружок, мужчины. Дим подошел к ним. Они говорили о футбольном матче. Попросил папироску. Один из стоящих протянул. Щелкнул зажигалкой, осветил Диму лицо.

— Алексеев Вадим?.. О... — И отшатнулся, вжал голову в плечи, все еще держа поднятой зажигалку. — И... и... первый раз вижу, чтобы человек пришел с того света... и... чтобы... и... прикурить, — сказал болельщик. — Забавно. — По-заячьему потер маленьким кулачком левой руки переносье.

Дим не сразу узнал в этом еще молодом мужчине с залысинами и в мотоциклетной кожанке сослуживца по Ветеринарному институту Гаррика Кротова, — так тот обрюзг и полысел.

— Честное слово, — обратился Гаррик к собеседникам, — самолично выдал сумму на венки.

В толпе сдержанно засмеялись, кто-то гаркнул во всю глотку и толкнул Гаррика в плечо:

— Колоссальный розыгрыш. Однажды тоже прихожу, понимаешь, а у меня квартира опечатана. Сургуч, честь по чести. Ну тут, представляешь, такая заваруха пошла. Дворники, милиция, протоколы. Три дня никто не решался распечатать. К себе домой, понимаешь, не мог попасть. Оказалось, один кореш пятачок приложил к сургучу. Ну я ему тоже... устроил.

— Да нет... Какой там розыгрыш, — пошевелил верхней губой Гаррик. — А с другой стороны... — И опять потер кулачком переносье.

— Только что из-за рубежа, — сказал небрежно Дим, чтобы разрядить обстановку.

— Понятно, — сказал Гаррик тоном сообщника и подмигнул Диму.

— Ну как сыграли? — спросил Дим и, прижигая себе

руку папиросой, опять радостно поморщился от неожиданной боли.

— Два — три, — с удовольствием ответил кто-то.

— Вообще-то пенальти им зря назначили.

И вновь пошел разговор, прав или не прав был судья, назначив одиннадцатиметровый.

Дим отошел, уселся на той же скамейке, в сквере.

Лампочка в проеме между шторами светилась по-прежнему.

Валил людской поток — по панели, по дорожкам сквера: возвращались из театра. А потом стало вдруг безлюдно. Изредка проходили спешащие прохожие. Медленно прошла парочка — пиджак у парня на пальце за спиной, девушка звонко цокает каблучками. Он держит ее за плечо. Все реже появляются трамваи. Зато проносятся все бесшабашнее, истошно завывают, тормозя. Как мыши, снуют зеленоглазые такси.

Светофор часто мигает — сразу на все стороны. Он глядит на Дима своим острым клювом желтоглазо — как сова на сосне.

И пусто. И тихо.

Дворничиха топает в огромных галошах. Приостанавливается, косо посматривает. Надо уходить. Но пусть погаснет эта лампочка — там, за шторой, светящая прямо в мозг.

Прошел еще час или больше. Он не уловил, когда это точно произошло, — лампочка уже не горит.

Совсем пусто и совсем тихо.

Распустив водяные веера, идут поливальные машины.

Всю ночь Дим мотался по городу. Он не знал, куда идет и зачем. Он был как шестеренка, вылетевшая из часов. Утром он оказался на окраине. Заборы, дровяные склады, похожие на динозавров строительные краны. Речка со щербатыми склонами, клочковатая серая трава. Упавшее дерево полощет свои лохмы в мутных стоках.

У прогнивших деревянных ворот на скамейке судачат пожилые женщины. Ребятишки купают собаку, привязав ее на длинную веревку. Пахнет затхлой водой, тиной и чем-то давним, простым, как детство. Идет косенькая улочка. Она упирается в ворота городского кладбища. Из-за кирпичной ограды торчит зеленая луковичка церкви. Крест сияет в первом луче солнца. Деревянные домишки глубоко вросли в землю, между рам уложен на зиму седоватый мох и костяника.

На одном из подоконников, за пыльным стеклом, вскинул руки и задрал нос Буратино. Он смотрит удивленно на мелькающие ноги прохожих, будто просит: возьмите меня отсюда.

У кладбищенской ограды рядом сидят старухи. На рожджках перед ними разложены еловые ветки, бумажные цветы, ленты из стружки. И пахнет елью, свежей стружкой и жирным черноземом.

И вот ворота. На мраморной доске: «Преображенское кладбище. Управление предприятий коммунального обслуживания Н-ского исполкома народных депутатов». А после уведомления, с какого и по какой час это предприятие коммунального обслуживания открыто,— подробный перечень, чего здесь делать нельзя. А именно: ломать деревья, копать червей, кататься на велосипедах, прогуливать собак и прочее и прочее.

Дим вошел в ворота и первое, что увидел — собаку. Она бежала не так, как бегают псы, имеющие свой законный номерок — удостоверение личности,— а как-то неверно, то и дело шныряя в сторону, как пьяная, и обнюхивала кресты. Это была явно бездомная собака и потому не падала под парagraф.

За железной решеткой проржавевшего склепа, прошитого ветками ольхи, сгрудились пожилые мужчины. С молчаливым упорством они лупили костяшками домино по мраморной плите: такого использования кладбищенских помещений не сумели предусмотреть даже в управлении коммунального обслуживания.

Возле церковки рядом стояли раскрытые гробы. Высохшие старушки лежали плоско в обрамлении бумажных кружев. А с козырька крылечка на них непроницаемо и холодно смотрел Спаситель. Молодой поп в черной рясе, потрескивающей в плечах, вышел из дверей с блюдечком и кисточкой. Скороговоркой бормоча что-то, с профессиональным автоматизмом макал кисточку и мазал старушек по лбу. На паперти стоял и с недоброжелательным пристрастием смотрел на Дима странный человек — коротко-рукий, коротконогий, в поповском подряснике. Лицо этого Саваофа было обрамлено окладистой бородой, и седые волосы загибались от шеи. В кулачке куцо согнутой руки он держал авоську — там были яйца, плавленые сырки, печенья. Выходя из церкви, бабки совали ему монетки и еду. Он деловито задирал подол подрясника, лез в карман брюк за кошельком, а то развязывал авоську и складывал туда подношения. Делая все это, он поглядывал на Дима.

Дим пошел по главной аллее — мимо громоздящихся, налезających друг на друга склепов. «Купец второй гильдии, почетный гражданин города... Вдова купца второй гильдии... Тайный советник... Его высокопревосходительство...» На мраморном пирамидальном постаменте золотой вязью было выведено: «Придите ко мне все нуждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Архимандрит Михаил». А в углублении постамента — стеклянная банка с этикеткой «Соленые огурцы», из которой торчал жиденький буткетик высохших маргариток.

Чем выше в гору, тем именитее и богаче были памятники — склепы, часовни. Ангелы смерти простирали свои крыла и скорбно сводили брови. Здесь было ближе к богу, а главное — суше. Книзу шли кварталы победнее. А совсем в низине пестрели голубые и крашенные «серебряной» краской заборчики и торчали деревянные кресты с нацепленными на их шею удавками еловых венков с давно осыпавшейся хвоей.

Дим свернул в одну из улочек, которая вела вниз. Даты на крестах все ближе подступали к сегодняшнему дню.

Сначала его удивило, что не было могил хотя бы пятидесятилетней давности. Потом Дим понял: в этих кварталах сменилось уже не одно поколение мертвецов.

От надписей на камнях и крестах веяло безумством отчаяния.

«Ветер, ветер, не шуми,

Нашу Нику не буди...»

«Спи, Алик, до воскресения из мертвых».

Из этих строк глядела наивная и древняя, как мир, надежда: а, может быть...

Дальше внимание Дима привлекла огромная зеленая клетка. Она была похожа на те, в которых держат попугаев, — только большая.

В клетке был человек. Каменщик. Он обрабатывал гранитный постамент под мраморной головкой вихрастого тонкошеего мальчика с пионерским галстуком. Посреди клетки на крестовине высился остов облетевшей елки. С ее сухих веточек свисали остатки золотого дождя и рыбки из папье-маше.

Дим кашлянул.

— Чем знаменит этот мальчуган?

— В Красном Бору на mine подорвался. Недавно совсем.

— А при чем здесь рождественская ель?

— Рехнулись, видать, с горя родители. Полковника сынок. Много лет ждали ребеночка. И вот..., дождались.—

Каменщик оторвался от долота, внимательно посмотрел на Дима: — Послушай, одолжи полтинник? За мной не пропадет.

И получив отрицательный ответ, опять зацокал по граниту, как будто Дима здесь уже не было.

Вдали, как призраки, вставляли прозрачные хлорвиновые накидки на крестах и венках.

Теперь Дим шел медленно, пристально вглядываясь в надписи на надгробиях.

В одной из оградок Дим увидел старуху. Она сгребла со стола в провизионную сумку все, что там было. Защелкнула сумку, смахнула со стола рукавом крошки и, поджав губы, так, что рот провалился, сверляще посмотрела на Дима. Взяла метелку и стала подметать, крича на воробьев: «Кышь, мазурики!»

— Развелось тут, — обернулась она к Диму. — Вчерась от родительский день был... А много ли усопшему надо? Внимание. — Она твердым жестом переставила сумку и опять принялась подметать.

Из боковой аллеи вдруг вывернулся, как будто выкатился на колесиках, тот коротконогий человек с ликом Саваофа и с авоськой. Теперь в глазах его стыло любопытство, а лицо светилось елеем подобострастья.

— Прошу снисхождения, любезный.

Дим остановился.

— Я наблюдал дерзновенный ваш взгляд, обращенный ко Спасителю. Это не в диковинку теперь. И почувствовал я в вас достойного противника.

— Противника чего?

— Ну, всего этого, — человечек повел коротышкой округ, — божеского. Взгляд у вас бесовский — разноречивый, — погрозился пальцем. — Дозвольте полюбопытствовать, чем вызвано ваше посещение кладбищенской обители?.. Я не настаиваю... Только я здесь, можно сказать, свой человек. Присядем, если не спешите? — Саваоф вскарабкался на скамейку.

Дим сел напротив. Их разделяла чья-то осевшая могила.

— Так вот: мы земля, пепел. Сгорим, и нет нас. Из земли — в землю.

— Не согласен. Что касается меня — я не из земли, я из плоти и духа.

— Ишь вы, — заартачился Саваоф. — А все же пребудем мы на земле краткий миг. Более продолжительно наше пребывание здесь, на кладбище. А когда звук трубы архангела возвестит о пришествии Сына человеческого...

— И что тогда?..

— Все пробудятся.... И останутся те, кто достоин.

— А... значит, вы тоже хотите выкрутиться?

Человечек вздохнул, поерзал по скамейке.

— Один — ноль в вашу пользу. Я не держусь за каждую букву писания. Здесь важна надежда, перед лицом которой люди очищаются. Скажу вам: каждый человек безвозвратно потерял в себе самом. И ему ничего не остается, как идти к богу, — будь он идея, или, как пишут философы, эманация, либо — вообще ничто... Вселенной-то, согласно науке, двенадцать миллиардов лет. А что было до? Теперь-то она расширяется, а настанет срок — опять сожмется в голубиное яйцо. А человек-то, понявший это, — каково ему? Любой зверь счастливее нас... Вот оно как... Чем чувствительнее разум, тем сильнее страдание и боль. Ибо страдание растет вместе с осознанием его. И потому человечество жаждет одного, если прямо смотреть в глаза истине, — полного отсутствия страданий, небытия, нирваны... Сомневаетесь? А алкоголизм, наркомания, поиски всяких других суррогатов забвения, коими является любовь и опосредствованно — искусство? Появление наше на свет сопровождается плачем, течение жизни всегда трагично, только впереди нам всегда якобы светит счастье. Тем более трагичен ее исход. На всем этом нельзя не увидеть печать предопределения. Сеять заблуждение, что мы здесь — для счастья, — безнравственно. Этот обман родит неразрешимые противоречия, и только истина неделима и есть одна правда, от которой не увернетесь: смерть — главная цель жизни.

— Чего же тогда долго думать, — трик-трак, и привет родителям.

— Не скажите: надо избыть то, что предначертано. К смерти надо готовить себя.

— И вы всерьез верите в бессмертие души?

— Верю. Не знаю, есть ли оно. Но верю. Это дает мне покой...

— И пополняет ваш кошелек... — Глаза Дима блеснули зелеными огоньками.

Теперь он шел берегом затянутой ряской речушки, густо пахло крапивой.

С желтеющих берез, порхая в солнце, падали листья, деревья обнажались. Сквозь их чернеющие ветвящиеся остоны нежно голубело небо. Пауки летали на паутине отважно, как парашютисты.

Чуть наискось, на могильном холмике, укрепленном дерном, но уже осевшем, торчала фанерная пирамидка с никелированной планкой:

«Алексеев Вадим Алексеевич»... 19...— 198...»

Дим поднялся и стал над холмиком.

Ковырнул носком дерн.

Вглубь, вширь, вверх простирался город смерти. Она беспардонно владела всеми этими акрами земли, арендуя их у бога. Она получала дивиденды. Стригла купоны. Она хозяйничала здесь!

Молча, почти не дыша, стоял он над своей могилой. Шелестели венки бумажных цветов.

И вдруг током ударила боль:

«Там в яме — Я! Кости... скелет!..»

Он попятился, споткнулся и, вскочив, побежал.

Выходя с кладбища, неподалеку от кирпичных ворот, Дим увидел девушку-художницу. Отстраняясь от мольберта и прищуривая глаз, она вдохновенно писала провал в кладбищенской ограде, ангела, облетевшие ветви берез.

Дим вышел на людную улицу. В нос ударил маслянистый запах завода, бензиновый перегар. Грохотали трамваи. Все как-то сразу переменялось.

Точка. Лика чужая. Что ж, можно понять. Ведь не лишать же себя жизни только оттого, что умер другой, — кто бы он ни был и как бы дорог он ни был. Как жены средневековых князей.

Да, но могла же она позвать его сразу? Но что значит — сразу? Может быть, они расстались с ней, разошлись за несколько лет до его смерти? Хотя и это ее не оправдывает.

Лучик сознания смутно заскользил в прошлое.

Я стоял перед зеркалом, точнее перед плоскостью огромного параллелепипеда, наполненного биоплазмой, — стоял на специальной скамеечке, как дети в ателье «фото-момент». Розовато-сиреневая масса, переливающаяся опалом, дымчато стыла в прозрачной кристаллообразной призме.

Сквозь коллоид полыхнул когерентный луч — выстрелил сквозь биоплазму, охватив меня. Было мгновенное чувство, что я воспарил куда-то и упал с высоты. Коллоид весь просквозился желтовато-перламутровой рябью дифракционной решетки, в которой теперь застыл «Я», как в судне.

Тотчас же автоматически включилась записывающая аппаратура. Коллоид дымчато озарился снующим в нем лучиком, отбрасываемым возбужденным кристаллом дву-

окиси теллура,— лучик считывал рябь дифракционной решетки...

Крутился медный диск, и алмазный резец старательно выстукивал на нем замысловатую строчку моего «Я».

«Крык»,— хрустнуло что-то.

Все озарилось фиолетово-желтым сиянием, и резкий звонок предупредил, что резец поставил последнюю точку. Теперь оставалось на той же пластинке (впрочем, можно было бы и на другой — в целях конспирации) записать волну опорного луча, и стереоголограмму можно посылать в эфир — хоть на Луну, разумеется, если предварительно забросить туда контейнер с биоплазмой.

И вот я навеки замурован в этой, такой патефонной с виду, пластинке!

С чувством почти суеверия я включил опорный луч, чтобы удостовериться в четкости голограммы.

В параллелепипеде возник сквозящий студенистый призрак. По телу прошли мурашки, и я даже слегка икнул, и вдруг почувствовал: то, призрачное мое «Я» как бы зовет, вбирает и поглощает меня, и я уже не понимал — где же я и кто из нас кто?

Ты — это ты или ты — это я?

Это было почти смешно. И страшно.

Но вот призрак стал терять свою прозрачность — он начинал материализовываться. Этого еще не хватало. Я судорожно выключил опорный луч... И все... Тьма.

Что же со мной произошло дальше — с тем, который остался во плоти?.. Я хорошо помнил, что собирался отдать пластинку Лике. Значит, у меня с ней было все хорошо... Все еще было хорошо. Только мне все время не хватало ее в то лето. И я все время, помню, ждал и ждал ее... И на меня, как тогда, нахлынуло чувство тоски, когда не знаешь, куда себя девать, и спасаешься в работе. Но тоска все равно сосет. В такие минуты надо смотреть на небо. Закинуть голову и смотреть. Но ведь не будешь вечно ходить с запрокинутой головой. Можно еще бежать с крутой горы. Но и высота кончается. Тогда хоть вой. Я звонил ей каждый день. Она обещала: «Да, да — обязательно». И не приезжала. Правда, у нее в театре была премьера. Но всегда найдется сто двадцать причин и одна-две веских. И горе тебе, если не тыходишь в число этих самых «веских», а входит кто-нибудь другой. Накануне записи я не выдержал и, бросив все, махнул в город. После генеральной репетиции — «для пап и мам» — мы шли с Ликой берегом канала, касаясь друг друга плечом. И я не брал ее под руку. Но мы все равно были как одно... Я уехал на

последнем поезде. А она обещала приехать на следующий день утром — у нее не было репетиций или даже был выходной. Но она не приехала... А только позвонила, что не может. У нее были какие-то веские причины...

Мысль хотела пробиться вперед. Но там была чернота — ничто. И она опять метнулась в прошлое, еще более давнее и глубокое, ища там объяснений.

...На склоне горы, над самым морем, дрожала веерная пальма. Она словно парила между морем и небом.

Я сидел выше, на уступе, — здесь кто-то догадливый соорудил скамейку из бамбуковых стволов, всю испещренную именами влюбленных.

Море, и небо, и вся охваченная дрожью, в голубом маре пальма. И словно давным-давно — сто, двести, тысячу лет назад — я уже видел все это. Ничего не изменилось с тех пор. Так же нежно пламенело море и реяла над ним эта одинокая пальма. И здесь же являлась другая, раздирающая сердце мысль: пройдет еще тысяча, и сто тысяч, и миллиарды лет; на Земле, как покосы трав, сменятся миллионы поколений, — и все будет так же, или почти так... Будет вечность, бесконечный полет времени, а тебя уже никогда-никогда не будет. С этим смириться нельзя, но и сделать тоже ничего нельзя.

Захрустела галька. В просветах мандариновых ветвей замелькало что-то черно-желтое. Из-за поворота появились двое. Он и она. Она, шустрая, как ящерка, легко поднималась впереди, размахивая полотенцем. Он — плотный, с чуть обнаруживающимся брюшком, орлиным взглядом и добродетельно-округлым подбородком. Он нес полосатую пляжную сумку, из которой торчали отжатые купальники и виноград. Ему трудно было поспешать за своей резвой спутницей, но он очень старался.

Она повернулась на одной ножке, увидела меня и неожиданно покраснела.

А ее провожатый сказал:

— Лика Александровна, мне сегодня обещали в верхнем зале... пока не прибыли иностранные туристы.

— Да, да, — сказала она с легким раздражением и вскарабкалась на уступ, с усмешечкой глядя, как он последует за ней. Он взобрался подчеркнуто ловко.

Меня она чем-то удивила. И я подумал — чем? Чистый, без единой морщинки лоб, чуть выпуклый, сужающееся книзу лицо, длинный подбородок, огромные с оттянутыми уголками век (такие только на иконах) глаза. На ней зо-

лотистая блузка с длинным разрезом на спине, вельветовые расклешенные брюки схвачены широким замшевым поясом.

Я смотрел вслед. Мужчина закинул сумку на плечо, взял Лику за руку, а она болтала с ним, все оглядывалась и незаметно скользила взглядом по мне. Я вспомнил, что он назвал ее Ликой Александровной. Это было смешно. Она казалась совсем девчонкой.

Несколько дней она не появлялась, а я уже привык ждать ее. Как-то, спускаясь к морю, я увидел ее. Она кружила впереди по серпантину дорожки. Она бежала, подпрыгивая и хватаясь за ветки. Заметив меня, приостановилась, поскакала на одной ноге, пошла медленнее. Она была одна, и во мне шевельнулось озорное. Что-то должно было произойти. Я загадал. Вдруг, смотрю, она сидит на тропинке. В одной руке туфля, в другой — каблук. На лице комическая гримаска.

— Катастрофа? — спросил я радостно и помог ей подняться.

— Да... вот, — сказала она, хитро глядя на меня и прыгая на одних пальцах. Она протянула мне туфлю и очень длинный каблук.

Я огляделся, ища камень.

— Бесполезно, — сказала Лика, поймав мой взгляд.

Подпрыгивая, она сорвала с ноги вторую туфлю, сразу став намного ниже. Засунула туфли в сумку, поскакала босиком дальше. Очевидно, я для нее был всего лишь дорожный эпизод: она скользила вниз, уже выкинув меня из головы. И только я подумал об этом, — она остановилась на повороте дорожки, оглянулась удивленно и немножко обиженно:

— Вы всегда так медленно ходите?

Я даже растерялся. Она, кажется, тоже смутилась, смирив меня энергичным взглядом, потом резко протянула мне руку:

— Лика Александровна.

Я не мог сдержать улыбки. «Лика Александровна» — это тоже были своеобразные каблуки.

— И не смейте смеяться, — вспыхнула она.

Мы пошли рядом. Она пыталась подладиться под мой шаг.

— Позвольте, Лика, — попросил я у нее сумку.

Слегка наклонив голову, она покосилась на меня, ее взгляд скользнул по моим сидящим вискам (хотя мне еще не перешло на четвертый десяток), и «Лика» была мне прощена. Но сумку мне она все же не дала. Впрочем, вско-

ре, как-то само собой, у меня в руке оказалась одна из ручек. И мы уже бежали вниз, размахивая сумкой, как школьники.

Вышли на набережную, к молу.

Вдруг Лика остановилась, словно что-то вспоминая. Поежилась от какого-то внутреннего неудобства:

— Простите... я вспомнила... Я должна зайти тут в один дом... занести шоколадку.

— Пожалуйста. Я обожду.

Через несколько шагов Лика остолбенело остановилась. Помялась, попятилась, вздохнула.

— Вот видите, дождь,— сказала она обрадованно, но и так, будто я был виноват в этом. На нас насадала клубящаяся туча. Туча швырнула косые, заблестевшие на солнце нити.

— Спрячемся,— предложил я.

Лика посмотрела на меня панически.

— Нет, нет. Я должна...— Она сразу забыла, что она «должна», потом вдруг сказала:— Я лучше сяду в автобус.

Но подошедший автобус был переполнен, и дверь не открыли. А когда он отчалил, пахнув газком, я увидел того товарища — с орлиным взглядом и добродетельным подбородком.

— Вот,— сказала Лика с прокурорским ударением, очевидно поняв, что я его заметил.

— Мне тут тоже надо кое-куда,— проямлил я.

Чувство юмора оставило меня.

— До завтра,— сказала она,— если, конечно...— Она занскивающе улыбнулась.

Вместо того чтобы рассердиться, я тоже по-идиотски улыбнулся ей.

Дождя уже как и не бывало.

И опять я сидел на бамбуковой скамейке.

Пальма дрожала.

И опять ко мне подступила мысль, что я уже видел все это — и пальму и море — очень давно, много тысяч лет назад, когда еще жили крылатые динозавры. Но теперь эта мысль неожиданно повернулась по-иному — обдавала солнечным теплом, звоном цикад и победным рокотом вечно живого моря.

Она пришла на следующий день. Прошла мимо, едва уловимым движением позвала за собой.

— Развязалась! Все! Слава богу.

Я сразу понял, о ком идет речь.

— Представьте, увидел, что я с вами, и говорит: «Я

ничего не имею против, чтобы этот молодой человек... Ваше право решать, но не будем играть в третьего лишнего...» Я говорю: «Не будем», повернулась и ушла.

— Так просто?

— Поклонник моего таланта. Я ведь актриса.

В этот вечер мы вместе сидели на бамбуковой скамейке.

Море, казалось, стреляло из пушек. И солоноватая водяная пыль оседала нам на лицо.

Она молчала, глядя на море. Луна уже постелила свою эфемерную дорожку. Черные волны флуоресцировали. Я тоже не знал о чем говорить. Как назло, в этот самый неподходящий момент я опять начал думать о своих амебах. У меня была задача — заставить их не делиться. Для меня чрезвычайно важно было заставить их не делиться, чтобы притом они не погибали. Человеку, который не знает, в чем тут дело, трудно даже представить, как важно было для меня это обстоятельство... Но тут я заболел — просто потерял сознание ночью в лаборатории, — врачи и настояли, чтобы я отправился в санаторий. Однако я все время был со своими амебами — там, в северном городе.

Молчание становилось неловким. Я посмотрел на Лику, и мне вдруг показалось, что мы с ней знакомы давным-давно, что мы так уже сидели на этой скамейке. Конечно, это было нелепо, но я ей сказал:

— Мне подумалось, что мы с вами уже сидели точно так, на этой самой скамейке, над морем. Это было чертовски давно, когда нас на самом деле не было.

— Да? — Она смотрела настороженно и на всякий случай иронично: — Я уже, кажется, слышала от кого-то об этом или читала.

— Вполне вероятно. Но это лишь значит, что не только мне одному в голову приходили такие мысли.

Лица картинно расширила свои мерцающие глаза:

— И тогда, очень давно, когда нас на самом деле не было, мы тоже молчали?

— ...

— Как же вы это объясните? То, что мы когда-то уже были? И сидели так же вот у моря и молчали?.. Переселенные душ?

— Как вам сказать... Если хотите. В сущности, в генетическом коде, как на небесах, записано, кем мы были и чем станем. И там, быть может, как лунные всплески, сохраняются следы памяти наших далеких предков... — Дим посмотрел на свой торчащий из сандалета большой палец, пошевелил им, потом бесовским зеленым глазом

глянул на Лику: — И если мы оказываемся в подобной ситуации, то... Вы понимаете?

Она поежилась, кутаясь в свой серебристый платок.

— Меня утешает, что моя прабабка была не менее легкомысленна, чем я.— И в Ликиных глазах плеснулось что-то младенческое, как льдинка в горном ключевом озере.

...Играли, перемигивались звезды... Струился, серебрясь, Млечный Путь. Вселенная, опрокинутая в комочек протоплазмы... Утратив очертания растрепанной домашней туфли, амеба округлялась, и уже едва заметный обозначался поперечный поясok хромосом. Поясок раздвигался. Его растаскивали в разные стороны нити-тяжи.

Разделится или нет? Это должно произойти через несколько минут или никогда. НИКОГДА!

Я отвел глаза от окуляров микроскопа.

Окна в комнате были завешены черным, и только узкий луч от вольтовой дуги, прорезав комнату и пройдя сквозь кварцевую призму, невидимо падал на предметный столик.

Дав себе секундный отдых, я опять окунулся в омут микровселенной. Она переливалась, мерцала, завораживала...

Я вглядывался: оттуда словно бы смотрелись в меня ее глаза. Дразнящие, нежно-холодные, как льдинки. Дрожало в них что-то добренькое, просящее, нежное-нежное. Я отражался в этих глазах.

...Из санатория я уехал не выждав срока. Просто сбежал. С Ликой мы обменялись адресами и обещали друг другу писать. Короче, я ждал письма, телеграммы, чуда,— и это ожидание было, как хроническая ноющая боль, которая длится все время и только в минуту острых впечатлений и встрясок забываешь о ней. Я высчитывал, когда Лика должна приехать, и копил в себе решимость самому прийти к ней.

И не мог я понять — как это я ее бросил?.. Конечно, амебы, но... Поначалу казалось, что ничего такого — просто пляжное знакомство. Но потом я понял, что она меня крепко зацепила,— не то что понял, вернее, даже еще совсем не понял, но чего-то испугался. И сбежал, конечно, не только к своим амебам, а... от нее. Когда дело начинается всерьез — женщины требуют времени, а я был одержим психозом времени, мне казалось, что оно уплывает у меня между пальцев. Доходило до нелепостей. Сидя в трамвае, я всегда мысленно подгонял вагон, когда он шел медленно или задерживался на перекрестках, злился на флегматич-

ного вагоновожатого. Да, так вот — искусство требует жертв, а женщины — времени...

Но теперь, когда я был вдали от нее и не знал, напишет ли она мне, захочет ли видеть по приезду, — я жалел, что сбегал от своего счастья, как писали когда-то в романах...

Я ждал, считал дни, и думал о ней — даже когда не думал.

Я смотрел в микроскоп.

Хромосомы вот-вот раздвоятся, отделятся друг от друга галантно, как кавалеры от дам в полонезе или кадрили, отразятся друг в друге, как в зеркальце, и в это мгновение их, как марионеток, потянут за ниточки в противоположные стороны и водворят... дам в одну комнату, кавалеров — в другую. Но... ничего подобного — никаких дам и кавалеров... Все осталось на месте... Поясок хромосом бледнел и таял, становился все призрачнее и прозрачнее. И опять текла звездная река. Я словно очнулся:

Прошло два часа. Между электродами потрескивало маленькое солнце. И вдруг я осознал: ведь чудо произошло! Я на всякий случай помотал головой и опять окунулся в микроскоп!

Да! Мои амебы НЕ РАЗДЕЛИЛИСЬ!

Это была победа! И не просто победа в данном научном эксперименте. Она могла иметь весьма серьезные последствия для человечества, — если вдуматься: они не разделились на две дочерних — они остались сами собой!

Я заглянул в соседний микроскоп — там были контрольные. Они не облучались. Они жили, как миллиарды лет жили их предки. В роковую секунду, как и было написано на их небесах, каждая из них распалась на две дочерних, дав две жизни ценой собственной гибели. А те в свою очередь готовились отдать свою жизнь во имя грядущих поколений...

Я не помню, как очутился на набережной. Только что причалил белый в белой ночи океанский корабль. По трапу спускались пассажиры. Это были влюбленные. Лайнер предназначался для свадебных путешествий вокруг света.

В серебристой воде змеились отсветы иллюминаторов. Тихо играла музыка. На корме танцевали.

Я стоял и ни о чем не думал. Я был оголтело счастлив. На рассвете я вернулся в институт.

В лаборатории ничего не переменилось. Все говорило мне о победе. Задрапированные окна и яростный треск сжигающих друг друга угольков вольтовой дуги. Она работала вхолостую. Я просто забыл ее выключить. Но мне нравилось, что она работала.

Я не подошел к окулярам. У меня так бывает: получу, например, очень дорогое мне письмо и спрячу его подальше в карман, не спешу прочесть. Даже сам не понимаю, в чем тут дело.

Я приоткрыл окно...

Полусонно шевелили деревья своими листьями.

Перистый рисунок облаков был неподвижен. Как гравюра, созданная на века. И все же через несколько минут все переменялось на небе — совсем незаметно переменялось. Как будто так и осталось. Я задернул штору. «Ай да Пушкин, ай да молодец!» Я упивался победой.

Дверь щелкнула. На пороге возникла Констанца. Кандидат наук. Старшая научная сотрудница отдела откорма мясного скота (это был наш отдел). Она огляделась, хмыкнула, чуть приподняла капризно изломанную бровь, молвила:

— Что за латерна магика?

Но так как никто не ответил, она еще раз хмыкнула и произнесла назидательно:

— Петухи уже давно пропели, Вадим Алексеевич.

И улыбнулась. Очевидно, у меня был достаточно странный вид, если Констанца улыбнулась.

У нее были глаза ярко-синие — действительно похожие на озера. Есть такие лесные озера — глубокие и прозрачные, до песка, до камешков на дне. И вода в них студеная, обжигающая. Когда она сердилась, глаза стекленели, лицо каменело. Становилось холодным и чуть надменным. Но зато когда улыбалась, все менялось: подбородок становился округлым и нежным, уголки губ вздергивались. Все лицо делалось милым-милым. Кажется, она мне нравилась. Но я просто активно ее ненавидел.

Всего несколько дней назад на производственном совещании Констанца сказала, что ей непонятно, как это некоторые научные сотрудники, вместо того чтобы заниматься профильными темами, пользуются институтом для своих не имеющих никакого практического смысла экспериментов. И так вот, подняв бровь, посмотрела в мою сторону.

— Петухи уже пропели,— повторила она, отдергивая штору.— И уже понедельник. Можно к работе приступать.

— К службе,— сказал я. Но мне не хотелось сегодня ни с кем ссориться, и я сказал примирительно: — Посмотрите. Вы только посмотрите! Ну посмотрите,— подбодрил я, почуствував, что она колеблется.

Констанца осторожно подошла. Наклонилась над Бессмертием.

Я видел, как дрогнули ее покатые плечи.

Она долго и тревожно вращала регулировочный винт, слишком долго и тревожно,— словно боясь поднять глаза, все вращала его и вращала...

Наконец подняла лицо.

Ярко-синие глаза-озера смотрели с недоумением и, кажется, с легкой усмешкой. На лице ее тревожно дрожали огнеты вольтовой дуги.

Я подошел к микроскопу.

Они были мертвыми — полуразвалившиеся уродцы.

Да, они не разделились на дочерние — они остались самими собой. Но какой ценой?!

Уже ничего не струилось. Погасло небо! Они были странно недвижны — эти гигантски разросшиеся амебы.

— Природа мстит за всякое насилие над ней,— сказала Констанца.— Помогите лучше мне снять ваши шторы, Фауст.

Все живущее должно умереть! Еще никто не усомнился в этом!

Через несколько дней я возобновил свои опыты.

Зашторивать окна было нельзя — это дезорганизовывало работу института и раздражало начальство. Я придумал для микроскопа светонепроницаемую рубашку с игольчатым отверстием для ультрафиолетового луча. Меня силу луча и время его действия, я искал нужный режим — я надеялся, я верил. У меня были для этого веские основания. Еще в двадцатые годы немец Гартман впервые сделал амебу бессмертной. Он, собственно, и открыл это чудо! В тот момент, когда амеба должна разделиться, он отщипывал от нее кусочек протоплазмы. И амеба не делилась — она оставалась сама собой, не разменивала своей индивидуальности. Немец не задавался далеко идущими целями, не выдвигал безрассудных гипотез, и со временем его опыты потонули в экспериментальной пучине. И никому не пришло в голову, что это было великое, может быть самое великое за всю историю человечества, открытие!

Теперь я повторял его опыты. Только вместо отщипывания протоплазмы я стал наносить укол ультрафиолетовым лучом. Я знал: надо нащупать ту единственную точку во времени, когда этот укол дает нужный эффект. Вскоре я понял: если амебу уколоть лучом в первые часы ее жизни, это ничего не дает. Она все равно, во что бы то ни стало, разделится. Молодая, она еще не желает задумываться о далекой смерти. Ей гораздо дороже законы любви. Укол в эти первые часы приводил к тому, что она все

равно делилась или... гибла. Если укол наносился во второй трети цикла ее жизни — до «точки роста», — деление тормозилось, но получались гигантски уродливые создания, которые чаще в конце концов распадались...

И вдруг. Это всегда «вдруг», даже если сто раз повторено. Чудо! Луч попадает в ту самую точку, в ту единственную секунду, которая делает одноклеточное существо бессмертным. Да, бессмертным — вопреки всемогущим законам бытия — благодаря вмешательству разума! Оно не гибнет в назначенный срок и вообще не гибнет!

Амеба не разделилась и не погибла. Она повторяла цикл своей жизни, а когда она вновь готовилась разделиться на дочерние, чтобы исчезнуть в потомстве, — ей опять наносился световой укол — укол бессмертия. Затем для этих, теперь уже чисто механических, акций я приспособил примитивную автоматику, которая включала луч в нужный момент.

Прошел месяц, — в чашечке Петри в сенном растворе паслась, не делась, уникальная амеба. Месяц! Чудовищно большой срок, если учесть, что ее родная сестра, исчезнув в небытии, дала за это время десятки поколений (контрольная популяция).

Бессмертное существо — амеба. Конечно, в силу видового эгоизма я больше думал о человеке. Кто-то, конечно, усмехнется: тогда при чем здесь амеба? Тоже мне — хо-хо! — сравнил. Амеба-то вон, а человек-то — вон! А какая разница?! Важен принцип: поправочка ко всеобщему закону жизни и смерти!

До того, пока в мире не случилось это чудо и немец Гартман не отщипнул у амебы, — как уж это ему удалось и при каких обстоятельствах, я не знаю, — так вот, пока он не отщипнул, даровав ей индивидуальное бессмертие, — само предположение о бессмертии амебы разве не было такой же чушью, нелепостью, ересью?!

Закон есть закон? И все живущее должно умереть?

Черта с два!!!

Я-то теперь знаю, что это не так.

Между прочим, очень важно усомниться в незыблемости того, во что веришь, как в бога. Выражаясь ученым языком, — вырваться за пределы логической модели, как из тюрьмы разума, и вступить в абсурдный мир, за гранью обычной логики. Усомниться и... поверить. Лишь поверив, что он делает первый шаг, ребенок делает его. Иначе он всю жизнь ползал бы на четвереньках.

Автоматика автоматикой, но когда в единственном на Земле месте смерть отступила под кинжальным лучом, я

не мог отказать себе в удовольствии время от времени прикидывать к окулярам микроскопа,— откровенно говоря, я очень боялся, что все это однажды кончится.

Подкручивая винт регулировки, я ловил фокус.

За моей спиной зашуршало. Так мог шуршать только накрахмаленный халат заведующего отделом Семена Семеновича. Я вжался в себя, как застигнутый врасплох школьник.

— Что, голуба,— упойтельно ласково сказал его оказавший голос,— трудимся?

Я посмотрел через плечо. Кажется, слишком откровенной была моя невольная гримаса.

— Я только намерен был спросить вас, как новая квартира? Переехали?

Весь институт был чем-то обязан Семену Семеновичу. Он был в течение многих лет бессменным председателем месткома и всем сделал что-нибудь доброе: кого лично устроил в институт, кому достал комнату, кому выхлопотал персональную пенсию. Он — весельчак, сыпал анекдотами и гордился своей прямоотой.

На его вопрос о квартире мне отвечать не хотелось, и я только как-то нелепо улыбнулся.

— А вы не очень-то вежливы, голуба,— заметил он добродушно и почесал свой шишковатый нос.

— Посмотрите,— неожиданно для себя сказал я.

Семен Семенович снял очки, протер стекла халатом, примеряясь взглядом ко мне:

— Хотите даровать миру бессмертие? Слышал, слышал... Что ж, похвально... Вы не лишены, знаете... — Он пошевелил пальцами в воздухе. Потом, помедлив, пожал плечами, подошел к микроскопу, нацелился одним глазком, но я оттеснил его. Он даже не обиделся. Опять потрогал себя за нос.

— Что же вы, всерьез думаете, что до вас никто и не докумекался бы до этих... если бы... Диалектику небось на пятерку сдавали? Все рождается, развивается, умирает. Какая черта? — Его кустистые брови поднялись поощрительно. — В самой жизни заложена смерть! Жизнь есть умирание. — Он мягко прошелся, хрустя халатом. — Если прямо, меня больше интересует, что там с вашей диссертацией? За вами должок — две главы. Еще — ни строки, — ай-яй-яй. В предстоящем году — или вам, голуба, это неизвестно? — совхозы области должны выйти на рубеж 100 тысяч тонн мяса. От нас ждут выкладок по повышению питательной ценности и усвояемости кормов. Мы должны — и этому посвящена одна из глав вашей же диссер-

тации — дать обоснованные рекомендации о методах нагула беконных свиней. А вы чем пробавляетесь, молодой человек? — Он горестно высморкался, махнул рукой и вышел. Потом вернулся с укоризной в домиках-глазах и сказал, как говорят упрямому ребенку: — Занимайтесь вашим бессмертием, ваше дело, в конце концов, — только уж в неурочное время... Хотя вас и следовало бы, — он отечески покачал головой, — пропесочить за ваши сомнительные загибоны... Поймите меня правильно: нам с вами никто, — он торкнул своим толстеньким пальцем в потолок, — никто не позволит даром государственный хлеб есть. Поймите — не прихоть моя. Так что уж, голуба, в служебные-то часы занимайтесь-ка плановой темой, для вас же лучше... Нам выделили ассигнования на перспективные темы — по животноводству. На днях будет высокая комиссия, проверит... Что мы скажем? Да... и имейте в виду, что все эти баночки-скляночки — от греха подальше. — Он сделал энергичный жест и присвистнул. — Не то намылят нам с вами шею...

Я молчал. А что я мог сказать? Просто он думал, как думают многие, большинство, все. И тут уж ничего не поделаешь. К тому же он был абсолютно прав: амебами я занимался в ущерб делу — институт-то был ветеринарный.

Меня пригласили сюда после окончания биофака. Пригласил бывший университетский аспирант Володя Зайцев: он кончал аспирантуру, когда я еще учился на третьем курсе, и он казался мне очень взрослым, и я даже робел перед ним. В институте Володя сразу занял должность ученого секретаря и сколачивал свои кадры — искал людей, способных двинуть науку. Это был человек с очень ясными глазами, очень нежным лицом и немыслимыми ресницами. Он всегда знал, что надо и как надо. И, очевидно, потому, что во мне не было такой железной уверенности, эта черта в нем меня несколько настораживала. Не нравилось, и как он здоровается. У него сухая, какая-то деревянная ладонь. Подав руку, он сразу резко отрывает ее. Но до поры я все же продолжал смотреть на него с определенным обожанием — как студент третьего курса на аспиранта.

На улице, в коридоре, даже у себя в кабинете он был неизменно как-то по-домашнему приветлив и даже нежен. Он звал меня «Димочка». Но зато на собраниях так же неизменно отчитывал меня за расхлябанность и безделье. Иногда он даже говорил: хватит нянчиться, надо требовать, надо наказывать.

После собрания он был опять вежлив и звал меня «Димочка». В этом была, очевидно, какая-то особая принципиальность. Дескать, дружба дружбой, а служба службой. Да и опять-таки я не мог сказать, что он не прав, он был очень прав, безукоризненно прав. Он говорил: «Стране нужно молоко и мясо. Перед нами стоит задача в кратчайший срок добиться высокой продуктивности скота. А что для этого сделал Алексеев? Может быть, он хочет накормить нас своими бессмертными амебами?»

И что я мог возразить? Насчет продуктивности скота — такая задача действительно стояла. Правда, я думал, что моя тема — бессмертие — в конечном итоге тоже может иметь практический выход. Например, выведение вечно юных коров. Но пока это звучало юмористически.

Совершенно неожиданно я нашел поддержку у директора нашего НИИ Ивана Федоровича Филина. Он подошел ко мне на трамвайной остановке. Его голова всегда чуть наклонена вперед, а потому зрачки плавают где-то под самыми ресницами... Он улыбался своими умными глазами, усталыми и добрыми. Непроходящая усталость таилась и возле губ — в глубоких висящих, как у чистопородного боксера, складках морщин.

— Я не выступал публично, когда вы там барахтались на собрании. Это было бы фанфаронством. Скажу — мне симпатичны ваши искания. Ум ваш молод, не засорен всякой дребеденью. Иногда слишком подробное знание предмета стесняет полет фантазии.

Подошел трамвай.

— Ваш? — спросил Иван Федорович.

— Ничего, ничего.

— Садитесь. — И, подтолкнув меня, сел сам. — Однако приходилось ли вам слышать что-нибудь о Рубнеровской постоянной? — Филин долгим ищущим взглядом посмотрел на меня. Продолжил: — Общая жизненная энергия остается постоянной для каждого вида и для каждого организма. Она вся заложена еще в яйцеклетке. Один индивид может, условно говоря, израсходовать ее за одно мгновение, другой — за несколько лет. А общий итог один: все прахом будет. Это было доказано еще на дрозофиле.

— Да, да, Иван Федорович. Я знаю об этих экспериментах...

— В таком случае: может ли быть вечной ваша амеба?

— Может.

— Сомневаюсь. Рано или поздно истощится запас отпущенной ей энергии, и опустится занавес над спектаклем.

— Нет, дав ей индивидуальное бессмертие, я перевел ее на другой энергетический баланс, в другую систему отсчета.

Иван Федорович с грустной и немножко мученической улыбкой покачал головой:

— Но чтобы сделаться бессмертным, я должен, вероятно, превратиться в амебу?

Трамвай остановился на кольце. Мы вышли и пошли куда-то.

— Если бы смерти не было, то «Взамен меня хрипел бы в тине ящер! И падал серый хвощ на прозелень болот!» Вместо меня была бы амeba! — засмеялся Филин.

— Нет, личная смерть никому не нужна. Есть смерть пожирания. Этого достаточно. А взаимное пожирание на уровне ЧЕЛОВЕК — это роскошь... Разве что, осерчав, вы уволите меня по сокращению штатов... Ну и я помру с голода, а вместе со мной и вся проблема бессмертия...

Мне удалось вызвать на лице Ивана Федоровича подобие улыбки, но глаза его смотрели по-прежнему мученически и немного снисходительно.

— Ну допустим... ваши амebные открытия вы поднимете до уровня хомо сапиенс... Готов ли мир к этому? Сколько еще пройдох и мерзавцев! Даровав им вечную жизнь, вы только навеки укорените подлость, мещанство, самодовольную глупость. И фашизм во всех ипостасях. Засóрите мир теми, кто гноил лучшие умы в Дахау, экспериментировал над живыми людьми. А они еще при параде по утрам пьют кофе со сливками, молятся богу. — В хрипловатом голосе Филина проступили металлические ноты. — Им тоже будете выдавать лицензии на бессмертие? Ну-с?.. — Подернутые белесой пленкой глаза смотрели с зоркостью ночной птицы.

— Да нет, — после долгой паузы выдохнул я, — думал я об этом. Вам известны слова Пьера Кюри на заре века?

— Знаю. Ну так его оптимизм боком вышел — атомной бомбой над Хиросимой... Она до сих пор чадит.

— Тот первый, кто взял горящую головешку после грозы — изобрел огонь... думал ли он о последствиях? А если бы задумался?..

Мы подошли к берегу пруда. Мускулистые сосны смотрелись в него. Некоторое время мы молчали. Было тихо, в озерке играла рыба.

— Милый мой, я не намерен разубеждать вас. Я просто хотел понять и, может быть, предостеречь от излишней легкости. — Мне хочется помочь вам...

— А Зайцев?

— Что Зайцев? Зайцев хороший учсек. На месте. Вас бы я не поменял на него. Вы бы не справились. А к вам он относится вполне пристойно. У него свои заботы. Конечно, он не хватает звезд с неба. Но у него просто другие цели и задачи. Спрашивает, чудак, с подлинной тревогой — это о вас: может, человек болен, может, усталость, нервный сдвиг? Может, установить негласное врачебное наблюдение, чтобы не травмировать? Сдвинутым вы ему кажется, не может он в вас поверить. Да и то, — усмехнулся странно, отщелкнул папиросу, она кувырнулась в воду, зашипев, — ведь не всем же, задрав штаны, бежать за вашим бессмертием, Вадим Алексеевич. — И тихо, с хрипотцой: — Я понимаю — вы прирожденный теоретик... и не по тому ведомству затесались... Впрочем, возможно, для вас еще ведомства не придумали... — И вздохнул: — А умирать кому охота...

Он протянул мне руку, я поспешил подать ему свою, и он с чувством, по-мужски пожал ее.

Я уже вывел несколько устойчивых вечных амеб, подобрав им наиболее комфортабельную среду обитания. Циклы их делений падали на разное время, и мне приходилось быть начеку.

И вот как-то в одну из таких минут Семен Семенович вновь навис надо мной.

Удивительно он все-таки появлялся — всегда «вовремя». Я еще подумал: без соответствующего сигнала Констанцы не обошлось. Она куда-то выходила и появилась перед самым его приходом. Войдя, сделала мне какой-то обманный знак, будто она предостерегала меня. Но я, разумеется, уже не мог оторваться.

Вот она — амеба уникум! Она сверкала зернышками, как драгоценность. Тридцать с лишним поколений прошли мимо, а она осталась сама собой. Помножили бы вы свои шестьдесят на тридцать, Семен Семенович! А? Я, само собой, не сказал этого, он совсем очумел бы от такого «загибона».

— Вы все-таки гнете свою линию, голуба?! Хотя бы уважили начальство. А то ведь как: я вхожу, а он бросается к своим окулярам. О поколение! — И он звучно высморгался в свой клетчатый платок, похожий на маленькую скатерку.

Я как мог попытался объяснить Семену Семеновичу, что я его уважаю и что никакого злонамеренного жела-

ния специально подразнить его у меня нет и в помине, но что не могут же амебы перенести часы своего деления на внеслужебное время. Все это я не очень убедительно и не очень внятно пытался объяснить своему шефу и уверил, что через неделю глава диссертации о нагуле бекона будет лежать у него на столе. Но он только развел свои пухлые руки и выпуклыми добрейшими глазами уставился на Констанцу. Та пожала плечами и улыбнулась. И лицо у нее было, как у кошки, которая только что слизнула пенку. Для убедительности я промолвил что-то вроде, что лучшие привесы дают метисы-ландрис: 734 грамма в сутки, при меньшей затрате корма. Но это не возымело действия.

— Ну что прикажете?.. Нет, голуба,— это Семен Семенович уже обратился ко мне,— решительно говорю вам и в последний раз: приберите отсюда ваших, так сказать, бессмертных амеб. Поймите меня правильно и не заставляйте принимать крайних мер. — Семен Семенович перескакивал с пяток на носки, засунув руки в карманы халата. — В противном случае я все же вынужден буду приказать лаборантке вылить содержимое ваших чашечек куда следует. — И он дернул за воображаемую цепочку. И двинулся на меня. — Нет, ну что это — ахинея какая-то. Ведь взрослый человек. Будь я вашим отцом, взял бы ремешок — ей-ей-же... Сами же потом благодарить будете... Сказать кому так... — Он похлопал себя платком по лбу, примирительно посмотрел на меня своими кроличьими глазами с кровинкой на белке. — Ну что вы, голуба? — Он подошел вплотную, взял меня за пуговицу халата. — Да-с! Сама идея архинелепа. Человечеству и так угрожает перенаселение. Оно растет в два раза быстрее, чем продукты питания. Так что же вы хотите, множить голодные рты в несусветной прогрессии? Неразумно! Преступно! — Он нежно крутил мою пуговицу, и она уже начала поддаваться его усилиям. — Бессмертие, будь оно трижды достижимо,— скажу вам: преступление перед родом человеческим. — Он отпустил пуговицу, чуть отодвинулся от меня, поднял палец: — Преступление! И никто вам не скажет спасибо! Разумеется, войны не выход. И мы за мир, нам ненавистна и фашистская евгеника и эвтаназия — убийство, так сказать, неполноценных. Но и противоположное абсурдно — две крайности сходятся. Вот что подсказывает нам диалектика... А? Что вы сказали?

— Ничего...

— А смена поколений? Диалектическое отрицание отрицания?

Я, кажется, слишком иронично посмотрел на Семена Семеновича. Он поежился.

— Смена поколений не отменяется. Просто никто не будет умирать, а поколения будут...

Семен Семенович замахал на меня руками:

— Нет, голуба, тысячу раз нет. Старость по-своему прекрасна и не обременительна для человека. Приходит мудрость, покой души, сознание исполненного долга. Со старостью бороться не следует. Это закономерный процесс, он логичен, он необходим человеку... А ваша позиция — чистейшей воды метафизика и идеализм, если не сказать жестче... И в своей лаборатории я не позволю заниматься этой, с позволения сказать, чертовщиной. Так что уж будьте любезны... — И как бы покончив со мной, он повернулся к Констанце, улыбаясь.

Он ушел, а я бросился к микроскопу: все было *legi artis* * — амеба опять сверкала, как драгоценность, — продолжала свою вечную жизнь. Оторвавшись, я мельком взглянул на Констанцу. Она смотрела на меня с каким-то оскорбительным сочувствием и почти с нежностью: как смотрят на дефективных детей — но не матери, а посторонние тети.

— Вы тоже думаете, что я потом благодарить буду?

— Не знаю, — как-то странно закашлялась она, будто поперхнулась смехом. — Смешной вы: не умеете вы ладить с людьми.

— Зато вы умеете, — отыгрался я.

— А что здесь преступного?.. Ведь много ли человеку надо? Пару ласковых слов...

— Для любого — ласковые?

— Почему бы и нет. Люди есть люди. Скажи иному, что он хорошо выглядит, — у него на весь день прекрасное настроение: цветет, как маков цвет, и как будто похорошел... и подобрел...

— Нет. Не умею.

— А вы, Вадим Алексеевич, донкихот.

— Это плохо?

— Ну отчего же, — я ничего не имею против донкихотов... Но все же обидно, когда они сражаются с ветряными мельницами.

— Но из меня, надеюсь, вы вить веревки не собираетесь?

— Не собираюсь. — Она вздохнула и как-то сникла, погрустнела. — Хотите, я дам вам один дельный совет?

* По всем правилам искусства (лат.).

— Нет, не надо. Совета мне как раз не надо.

Все-таки я иногда лучше думаю о людях, чем они есть. Я не придавал значения угрозе Семена Семеновича. На следующий день в чашечках Петри уже не плавали мои амебы, да и самих чашечек не было.

Вытирая полотенцем руки, вошла Констанца.

— Вы? — спросила она, будто не видела, что это — я.

— Чего изволите — бу-ет с-елано? — спросил я.

— Идемте. — Она жестко мотнула головой.

Я все же пошел за ней.

На заднем дворе она отвинтила герметическую крышку старого списанного автоклава. На дне аккуратно были сложены чашечки Петри.

— Возьмите ваших амеб. — Плотно сжала губы и отвернулась.

Это было, наверно, не нужно, но я решил пойти к Володе Зайцеву. Он появился только к концу дня. Он пожал мне руку, как всегда резко оторвав ладонь, будто обжегся. Смотрел на меня прозрачными глазами. Нетерпеливо сопел. Я молчал. Шея его покраснела.

— Жаловаться пришел? Ну так — это с моего согласия.

— Понятно.

— В конце концов, если тебя занимают твои бессмертные проблемы, — есть институты геронтологии. А мы — ветеринария. И на большее не претендуем.

— Ты прав. Спасибо.

Я-то, да и он, прекрасно знал, что там тоже, в институтах геронтологии, в планах нет таких тем... Да меня туда никто и не звал...

Я махнул рукой и ушел.

Я пошел на берег залива. Меня трясло. Еще один щелчок по носу. Сколько их было, сколько их будет?

Море бормотало невнятно. На волнах качались чайки. Чаек было так много, что они сами издали казались пеною волн. Поднимаясь, они парили над морем. И стоял такой разлитой стон и скрип, что казалось: где-то все время открывают и закрывают большие ржавые ворота.

Солнце сощурилось, подмигнуло и окунулось в воду.

Я механически взглянул на часы, это подхлестнуло тоску, — уже пять часов прошло с тех пор, как опочили мои бессмертные амебы, воплотившись в своих потомках,

Да, кислогато мне было. Просто некуда было деваться со своими чашечками Петри. Не в общежитие же их тащить. Там первая же добросовестная уборщица сочтет их за элементарные плевательницы... Сейчас я первый раз пожалел ту самую комнату, не квартиру, как говорил Семен Семенович, а комнату. Техничка — есть такое стыдливое штатное наименование уборщицы — подскочила ко мне перед заседанием месткома:

— Почему это вам такая привилегия? А рабочий класс — сиди? А у меня, может, двое детей. Что ж, что нет мужа?

Я и сам не знаю, почему согласился уступить ей очередь. Она не поверила, заплакала. Я ей говорил, что уступаю, а она все не верила. Плакала. Теперь я не то что пожалел об этой несчастной комнате, а так — вспомнил.

Сзади зашуршал песок. Я не оглянулся. Кто-то схватил и придавил пальцами глаза. Пальцы были тонкие, суховатые.

— Лика?

Это была она.

— Я шла за вами от вашего уникального института. Я загадала: если вы оглянетесь — я подойду к вам и будет все-все очень хорошо. Но вы не оглянулись. И я все равно подошла.

— Неужели вы могли не подойти из-за какой-то чепухи?

— Ну — я же подошла.

На ее шее, на цепочке, висели часы. Она их держала в пальцах, теребила.

— Так я и не поняла толком, почему вы сбежали?.. (Я понял, что она говорит о юге.)

— Уехал к бессмертным амебам.

— Это почти смешно. — Она накручивала себе цепочку на палец.

— Да, почти. А сегодня они дали дуба.

— Бессмертные?

— Да.

Это показалось ей ужас как смешно. И она хохотала неудержимо, будто ее щекотали: «Бессмертные, а дали дуба? А? Это — юмор!»

— Да, анекдот, — сказал я, поднимаясь со скамейки.

Она чуть остыла, почувствовала неладное в моем голосе.

Я рассказал ей обо всей этой истории с амебами. Она поняла только, что мне некуда деться.

— Отлично! — воскликнула Лика. И вдруг что-то очень деловое появилось в выражении ее лица. Она порылась в сумочке: — Вот ключ. Запишите адрес. (Я записал). Я уезжаю на гастроли. Потому я вас так срочно искала. Мои чемоданы уже следуют с реквизитом. Два месяца вам никто не будет мешать. Соседей у меня всего двое — муж да жена. Он — поэт. Стучит, как дятел, на машинке. Она бегаёт по издательствам, вынюхивает, где ему еще чего причитается. Можете разворачивать лабораторию на дому... Только чур мне первой экстракт вечной молодости в пробном флакончике. Ну, я побежала. Да? У нас сбор на аэродроме. Не провожайте. Подумайте обо всем. То есть я хочу сказать — не забывайте, что есть такая, в общем, которая, ну и так далее...

Все-таки я догнал и проводил ее. И хорошо, что догадался: не представляю, как бы она тащила свой огромный на молниях чемодан, когда я сам-то его еле волок.

Сверхзвуковой самолет унес в себе Лику. Остался только звенящий рокот.

Я почему-то резко повернулся и посмотрел на западную лоджию аэровокзала. На меня смотрела Констанца. Она тотчас скользнула в толпу. «Золотая рыбка? Что тебе надобно, старче?» Ошибся? Да нет: Констанца! Только она умеет так вильнуть хвостом. Спрашивается — чего ей здесь надо? И не слишком ли много совпадений? А впрочем... наверно, ошибся. В толпе померещилось.

Этого типа я никогда у нас не видал. Он сидел в лаборатории, как у себя дома, — в распахнутой кожанке, по-бычьему наклонив голову и широко расставив колени. Это была глыба: когда я вошел, мне показалось — человек заслонил собою все окно. Куря сигарету, он беззастенчиво, сквозь дым, разглядывал меня.

— Как вы сюда проникли? — спросил я, и не пытаюсь скрыть внезапной неприязни.

— Через дверь.

— Должно быть, у вас есть отмычка?

Мне показалось, что это и есть обещанная комиссия. Человек продолжал с легкой усмешечкой глядеть на меня.

— Я представитель треста похоронного обслуживания. — Встал, склонился. — Наша фирма окупает патенты на бессмертие. Из достоверных источников мне стало известно, что вы...

— Зачем же вам понадобились подобные патенты? — спросил я в тон,

— В том-то и дело, что нам они ни к чему. Вовсе! Даже совсем ни к чему. Это самое изобретение, как вы сами понимаете, способно только разорить нас. — Он выждал, сел, пуская дым кольцами: колечко в колечко. — Нам стало известно, — продолжал он, сдерживая улыбку, — что вы...

— Сколько? — спросил я очень серьезно, окончательно поняв, что все это чистый треп.

— Ну... — Он задумался, вскинув глаза, потом поерзал плечом, улыбнулся простодушно полными губами. — Фирма «Забота об усопших» гарантирует вам ежемесячный оклад доктора любых наук... до вашей кончины — без взимания налога на холостяков и бездетность. После — солнечную сторону на Богоявленском кладбище, склеп с кондиционированным воздухом... И прочие блага, на которые вы вправе претендовать.

Встал, протянул мне увесистую ладонь:

— Лео. Брат Констанцы.

То, что он оказался братом Констанцы, не вызвало у меня буйного восторга.

— Предлагаю союз титанов мысли, — сказал он, скрываясь за ухмылку. — Если вам нужен физик, математик, кандидат наук, кибернетик и прочая — так это я. Мне импонируют ваши поиски. Я сам кое о чем думал в этом направлении. В ваших руках экспериментальный ключ, я хочу предложить математический аппарат. — Он постучал себя по лбу.

Чего больше было в его тоне — самоуверенности или застенчивости, прикрытой нагловатым фиглярством, — не знаю. Но сейчас это меня мало заботило. Я был рад: нашелся человек, который не только думает, как я, но и готов со мною работать.

Все эти дни я только и терзался, что мне нужен математик, и как будто кто-то услышал меня. Пожав плечами, я сказал:

— Попробуем... Вообще-то я рад...

Я перетащил к Лике чашечки Петри, где на агар-агаре паслись мои одноклеточные стада. Это были уже не бесмертные небожители. Там шевелились их бесчетные потомки, размножившиеся, пока я улаживал дела и переезжал к Лике. Это были опять смертные!

Лео приходил сразу после работы — он работал в научно-исследовательском институте холодильных установок. Швырял куда-нибудь свой толстенный обшарпанный портфель, Садился, жевал бутерброд — один из тех, которым

утром снабжала его мать: так повелось еще со школьных времен. И молчал. Потом изрекал что-нибудь вроде:

— А... сивый бред все это... с твоими вечными амебами... Зубная боль. Каждую секунду меня прошивают десятки космических частиц. Смертоносный ливень. И от него, между прочим, зонтиком не прикроешься.

Я был убежден, что космические лучи здесь ни при чем или почти ни при чем:

— Ворон живет двести лет, а воробей? Девять — пятнадцать! Что, ворона минуют космические лучи?

Лео пожал лениво плечами. Он не любил аргументировать. Потом сказал:

— Впрочем, мне бы двухсот хватило на первый случай. К тому времени кое до чего додумаются, если, конечно, не гробанут шарик. Но, честно говоря, дело наше гробовое и хилое.

На такой пессимизм я отвечал неизменно:

— Как-нибудь выкрутимся.

Лео пожимал плечами.

Несколько вечеров мы с Лео присматривались друг к другу. И хотя ирония по-прежнему держала нас на расстоянии, я убедился, что работать мы сможем. Он приходил, садился, молча курил. Он мне представлялся таким громадным котом на солнце, которому в общем-то все равно — ласкают ли его, кличут ли его, — он выше этого. Он смотрел мимо меня сквозь дым и ухмылялся каким-то своим мыслям. Было в нем что-то ребячье — и в капризной непререкаемости суждений и оценок, и в его переваливающейся, слоновой походке — будто он только научился ходить.

Он говорил: «Существует только математика. Все прочее — слюни и сопли».

Но я понимал, что от этого ребячества его избавят только годы или уже ничто не избавит.

Я сказал ему, что на первый случай нам предстоит смоделировать процесс деления амебы и записать биоматематическую характеристику митоза.

— Тривиально. Но если этой чепухе придать математическое выражение...

По правде говоря, мне даже не так важно было объяснение процесса, то есть понимание причин и следствий. Мне достало бы малого — даже пусть научно не объясненной характеристики жизни! Я хотел иметь ее в своих руках — эту Кашееву сказку. И если не на острие иглы, — по крайней мере в виде смоделированной электромагнитной волны — на ленте или на пластинке.

В институте недавно установили новейший спектрограф — ЯРМ. Это нам было очень на руку.

Каждый атом имеет свой цвет, свой спектр частот, излучает или поглощает свою длину волны,— каждый атом имеет свою визитную карточку из того невидимого мира. Если на вещество направить многочастотный электромагнитный луч, то каждый атом, как струна скрипки, отзовется на свою частоту.

— Рыбак рыбака видит издалека,— комментировал Лео это явление, рассказывая в порыве благодушной болтливости уборщице о наших опытах.

Спектрограф может прочесть строение любой молекулы. Но нам нужна была не кривая статус кво, нам нужна была динамическая кривая — кривая жизнедеятельности.

Идея пришла Лео.

— Нужна телевизионная развертка,— сказал он.— Нужно ее приклепать к этому гробу (то есть к ядерномангнитному спектрографу).

Это была простая и потому блестящая идея. Лучик электронно-магнитной трубки, как в телевизоре, должен снимать кадр за кадром мгновенные изменения спектральной картины живого. И все это должно было записываться на биомангнитную ленту.

Теперь мы, как взломщики сейфов, вечерами проникали в лабораторию ЯРМ. Впрочем, на удивление, пропускали нас свободно. Ночные вахтеры (тетя Даша или тетя Фрося) заговорщически поглядывали на нас, прятали улыбку и... вручали ключи.

— Были — не были. Чтобы комар носа не подточил.

Уже много позже я понял причину такого легкомыслия вахтеров. Филин. Сам наш милейший директор.

Лео пристроил к ЯРМу телевизионную трубку с цветными фильтрами (последнее из чистого пижонства). Наш спектрограф был способен улавливать энергию квантов, различающуюся на одну биллионную долю,— такова была его разрешающая способность. Он мог регистрировать сигналы с частотой в несколько десятков миллиардов колебаний. Этого было достаточно, чтобы обнять картину изменений жизнедеятельности в процессе митоза.

Немало пришлось повозиться, пока запаляли субстрат с амебами в стеклянную трубочку.

На круглом, как иллюминатор, экране вспыхивали искры — голубые, оранжевые, зеленые. Они перемежались и гасли — как в бокале хорошего вина.

Потрескивал моторчик, утробно-глухо гудел аппарат. Щелкали тумблеры. Самописец, как паучья лапка, нервно выплясывал молниеобразные кривые, а электронный лучик, суетясь, спешил записать ту же кривую на биомагнитную ленту — остановить мгновения!

Все ярче вспыхивали искры. Вырастали, ветвились деревья огня и опадали.

— Пляска святого Витта! И это называется жизнь? — Лео провел ладонью по мягкому белесому ежику своих волос, довольный результатом. Он стоял потный, губы его лоснились счастливой улыбкой. Он был, как язычник у жертвенника. — В сущности вся музыка сводится к этому твисту.

Пляска нарастала.

Наступали секунды деления.

Ураган огня взметнулся по экрану.

И все улеглось.

Я сбегал в гастроном за колбасой. Лео вскипятил в колбе чай. Мы пили чай. Блуждали по экрану огоньки. Тлели, разгорались, мерцали... Все ярче, все выше... Брызнули цветные фонтанчики... Все повторялось... В том же духе.

Наконец мы сняли ленту. У нас в руках была «магнитограмма» жизни. Мы не знали, что она такое. Но она была у нас в руках! Мы владели той загадочной субстанцией, которая несет в себе преемственность биологического опыта поколений. Благодаря ей в комочке слизи начинает пульсировать жизнь и репродуцировать самое себя.

И вдруг я подумал, что все то, что мы делаем, — бред параноика. Ведь с помощью телевизионного лучика мы снимаем процесс и м п у л ь с и в н о. И если на экране эта прерывистость, это мелькание незаметны, то надо благодарить устройство нашего глаза. И только. И полученная нами кривая никакая не линия жизни, а — п у н к т и р. А там — между черточками, — по-прежнему, дразнясь и юродствуя, кривляется бессмертная смерть. Ларчик опять захлопнулся перед самым носом.

«Человеку ничего не остается, как гордо скрестить на груди бесполезные руки», — вспомнились тургеневские слова.

Лео аппетитно жевал бутерброд с толсто отрезанным ломтем языковой колбасы и прихлебывал чай из мензурки.

Я сказал ему о своих сомнениях.

— Порядок, — махнул он рукой. — Жизнь и есть пунктир, а не линия. Электроны излучают энергию, только

перескакивая, как тебе известно, с одной орбиты на другую... Кванты. Мы квантуемся.— И хохотнул, смахнув крошки.

Иногда Лео пропадал на двое-трое суток.

Как-то после такого отсутствия он ввалился в болотных сапогах, со спиннингом и вздрагивающими пятнистыми рыбинами в кожаной сумке. Рыбу он швырнул в холодильник.

Я и не подозревал, что за ним водятся такие страсти. Оказывается, он частенько выезжал на своих «Жигулях» на быструю и прозрачную Порожью. Со спиннингом шел к бурной каменистой протоке.

— Тихая заводь не по мне. Мне давай борьбу. Заглотнет блесну — и пошло, поехало, подсеку. И наматываю. А сам пальцем чую ее, голубушку. Каждое ее трепыхание, уверточки. И вдруг — рывок. Стравлю чуток. Перехожу с камня на камень. Наматываю. Обессилит — опять. На пальце держу. Пока опять не потащит. Опускаю... И опять... Но все это цветочки. А вот предсмертное отчаяние ее возьмет, тут держись! На последнем потянет. Кто кого! Вытащишь. Подцепишь сачком. А она свертывается кольцом. Сильная, сволочь... По голове тук — и распрямится.

— Это спорт? — спросил я, потрясенный обыденностью, с какой он обо всем этом рассказывал.

— Это называется жизнь, — усмехнулся он, видимо довольный своей шуткой. — Ежели желаешь, могу взять.

И я поехал. Мне хотелось посмотреть на этот бой, который Лео назвал «кто кого». Эта глыба человеческого мяса — и нежная, пугливая форель. Я мог еще понять и смириться с суровой, хоть и нелепой, необходимостью убивать животных, пока человечество не придумало какую-нибудь там синтетическую биопохлебку. Но делать из этого игрище, веселую кутерьму?

Мы подъехали к Порожи уже ночью. Легко взбирались в гору в лучах наших фар, задранных, как бивни. На нас из черноты, спотыкаясь, падали сосны. Теплый ветерок бархатисто щекотал лицо. Перемахнув хребтину, клюнули вниз, блеснула речка. Она, петляя, извивалась по долине. И вдруг на нас обрушилась метель.

Это были поденки. Такие белые речные мотыльки.

Они вихрились в лучах и бешено бились в ветровое стекло.

Лео выключил свет. Застопорил машину. В глубокой тишине стало слышно густое шуршание. Шуршало все вокруг. И летело, и несло, как дикая поземка.

Это был буран.

Мы выскочили из машины и побежали к берегу. Бабочки облепили нас, щекотали лицо, шею, лезли за шиворот. Они сплошной шуршащей и мельтешащей массой летели над рекой. Они колыхались в лунном свете. И падали в воду, саваном выстилая всю ее поверхность. Они гибли как-то бесшабашно, как японские смертники на войне. Это была единственная ночь в их жизни, они вылуплялись из куколок, чтобы дать жизнь новым личинкам.

Брачная ночь.

О клёве говорить было нечего — рыба была сыта.

Мы возвратились к машине и, не включая фар, тихонько поехали. А сзади над рекой колыхалось серо-белое полотно. Оно зменлось, вырисовывая причудливую линию реки.

— В Байкале водится голомянка, — заговорил Лео. — Для этой чумички дать жизнь потомству — то же, что подохнуть. Она разрешается посредством кесарева сечения, обходясь, разумеется, без скальпеля... Да, мой кинг, — любовь или смерть! За все надо платить. Стоит ли игра свеч?

Я был потрясен. Мне хотелось молчать.

Полосатый халат, перекинутый через спинку кресла, казалось, хранил еще тепло Ликиных волос. Я лежал в полудреме, касаясь его щекой. Мне представлялось, что Лика здесь. Я говорил с ней. Я рассказывал ей, что будет и как будет, когда люди станут бессмертными, как боги... Вообще в ее отсутствие мне легче было с ней разговаривать... Проще.

Лика мне писала: «Тысячи молоточков стучат в мой мозг. Если я через год-другой не сыграю так, чтобы обо мне сказали — это актриса, а не так себе, дерьмо, я просто сойду с ума или стану злой, как цепная собака...»

Мне трудно было представить ее — хрупкую — злой, как цепная собака. И мне был по душе ее напор. Я еще не знал тогда ее удивительной особенности — рваться к громадному, но, встретив на пути соломинку, вдруг не найти в себе сил перешагнуть ее.

— Ну и как — как эликсир бессмертия? — спросила Лика с порога, как будто мы только вчера расстались. Она с трудом втащила чемодан, который был едва ли не больше ее самой.

Я не вскочил, чтобы ей помочь, и даже ничего не ответил, потому что, оказывается, спал, а проснувшись, сразу не понял, где я и что со мной. Или, вернее, понял, но

подумал, что это во сне, — потому что я как раз видел, как она приехала и вот так вот вошла, пятясь, в комнату, втаскивая свой огромный чемодан на молниях...

Все эти ночи напролет мы с Лео пытались «проиграть» нашу магнитофонную запись. Пучок биотоков, снятых с материнской «ленты жизни», мы посылали на дочерних амеб, вторгаясь в цикл их жизнедеятельности и митоза. Мы пытались замедлить сам процесс и навязать замедленный ритм деления. И это нам отчасти удавалось, но до определенного момента. Уже где-то за точкой роста наши амебы совершенно выходили из себя — начинали вихляться, затем, как бы нехотя, округлялись, съеживались, как от боли, и в конце концов разваливались, превращаясь в бесформенную массу. Это происходило прямо на глазах. А те, что еще жили, с удовольствием пожирали останки своих сестриц, а вслед за этим распадались и сами.

Потрясенный таким итогом, Лео остервенело лязгнул замками портфеля и ушел не простясь.

Я оказался более стойким. Неутомимо набирал я пипеткой все новые и новые порции сенного раствора, капал на предметное стекло, включал генератор. Но «луч жизни», вместо того чтобы задерживать деление, кромсал их на части. И что хочешь тут.

Отчаявшись, я тоже бросил все и ходил по комнате. «Собака», — ругался я. И еще даже почище...

Потом я окаменело сидел, медленно ворочал жерновами мозгов. И ничего не мог придумать. И уж совсем на все махнул рукой, просто механически заглянул в тубус. Ну как заглядывают в печку или дымовую трубу, потеряв уже всякую надежду найти какую-либо запропавшую вещь. Заглянул и увидел: там, где только что растекалась бесформенная масса, искрились, сияли своими боками молодые резвые амебы. Они поднялись из праха, из аморфной распавшейся массы! (Да, я должен сказать, что генератор «Кашеева комплекса», как мы его называли, я включил совершенно уже машинально, после того как амебы «растворились»... и вот вам...) Я ничего не понимал. Весь следующий день я думал над этой загадкой, а под вечер уснул. Заснул тяжело и сладко — пока вот не вошла Лика или ее призрак. Но вошедшая была чем-то и непохожа на ту — во сне.

Секунду согнувшись над чемоданом, она через плечо смотрела на меня, и ее бронзового оттенка волосы двумя бодливыми прядями нависали надо лбом. Да, она была и та и не та, даже, скорее, не та, которую я все время ждал и видел.

Заметив мое колебание, она выпрямилась. Брови ее вспорхнули, а в глазах блеснуло настороженное отчуждение. Ожидая, она стояла, напряженная как струна,— в дорожных вельветовых брюках, в белом свитере. Но я был уже возле нее. Взял чемодан.

— Вы даже не ответили мне. Я ведь спросила вас?..— Она сказала это сдержанно, слишком сдержанно.

— Простите, я вас видел во сне и думал, что это все сон... и вы пришли ко мне во сне.

Лика устало улыбнулась и расслабленно плюхнулась на диван. По-птичьи наклонив голову, смотрела на меня с горячим любопытством, в котором сквозило недоверие и непонимание: что я такое?

Кинув пальто на спинку стула, Лика заговорила так, будто мы только что прервали наш разговор:

— Я читала у Джонатана Свифта — про бессмертных струльдбругов. Дряхлые, жалкие старики. Не позавидуешь.

Я не слушал ее слов, то есть слышал, но мне было как-то неважно, что она говорила. Я смотрел на нее,— она была здесь, и это само по себе было невероятно. У меня был какой-то шок — шок неправдоподобия.

— Вы опять не слушаете меня, как будто я стул.

— Да...

— Что — да? Я спрашиваю вас — зачем бессмертие, если бы даже оно было, развалинам, уродам, старухам?

Очевидно, всю дорогу — откуда она там ехала — она, думая о предстоящей встрече со мной, не могла отделаться от моих «загибонов» и потому, едва переступив порог, выпалила все это о бессмертии.

— Но бессмертие и молодость — это одно и то же, Лика.

Я говорил ей о бессмертии, но мне совсем по-юношески казалось: скажи она сейчас, и я погибну ради нее — утону или сгорю в огне.

— Да? — сказала она чуть иронично. — Об этом я как-то не подумала. И что — не будет комических старух, свекровей, женщин среднего возраста? Что же это за спектакль будет — простите? А конфликты, а драмы, а брошенные жены? — Она раскинула свои гибкие руки по спинке дивана. — Нет... это ужасно наивно. И я буду играть только молодых героинь?

— И не только вы, — поддел я ее слегка.

— Это дичь. Это неправда. Так не может быть. Вы мистификатор и пользуетесь моей неосведомленностью в этих вопросах,

Ли́ка поднялась:

— Дим, садьте вот так.— Она взяла мою голову и повернула к окну.— И не оглядывайтесь. Я должна переодеться.

Я слышал, как она доставала что-то из шкафа, прикрывшись дверцей, зашуршала своими резинками.

— Только молодые герои и героини? — вопрошала она из-за укрытия.— И никто не будет уходить на пенсию? А проблема кадров — продвижение театральной молодежи? Если никто не будет умирать?..

— Мы построим лунные театры.

— Мой маленький братишка, когда я еще жила с мамой, спрашивал: а что, если поставить табуретку, на нее еще табуретку, а потом еще,— можно так забраться на луну? Я отвечала: конечно, можно... Давайте пить кофе.

Я оглянулся. Ли́ка появилась из-за дверцы в легком халате. Она стояла в луче вечернего солнца и, кажется, нарочно не выходила из него. Посмотрев долгим взглядом на меня, она достала из чемодана печенье и трюфели. Ушла на кухню.

Разливая в маленькие красные чашечки кофе, она сказала тоном, не предполагающим возражений:

— Садитесь, Вадим Алексеевич.— И осторожно посмотрела на меня.— Марк Твен говорил: «Пользуйтесь радостями жизни, ибо мертвыми вы останетесь надолго».— И примирительно улыбнулась.

Я пригубил действительно очень вкусный и очень ароматный кофе.

— Человек, конечно, рожден для радостей,— сказал я, отправляя в рот маленькие воздушные кругляшки печенья.

Она смотрелась в зеркало, которое стояло в углу, у окна, как раз напротив нее, и беззастенчиво любовалась собою. Это было настолько откровенно, что не вызвало даже протеста. Тем более, что я сам не спускал с нее глаз.

Мы долго сидели. Мы молчали, и было хорошо. Она заварила еще кофе. И мы говорили, но уже неважно, что говорили. Я только помню, как смотрел на нее, а она разрешала мне это. И не то что позировала, а чувствовала себя, как на сцене.

Время шло к ночи.

— Вы устали с дороги,— сказал я с оттенком вопроса.

Ли́ка посмотрела на меня внимательно. Она жевала печенье и показала, что не в состоянии ответить. Она слишком долго жевала, и я сказал:

— Я пойду.— Но сам чувствовал, что в этом опять звучал вопрос.

И Лика поперхнулась. Быстро проглотив, она проговорила:

— Никуда вы не пойдете. Здесь же ваши амебы!

Конечно, куда я мог уйти от своих амеб!

Спохватившись, что я, видимо, не так ее могу понять, Лика посмотрела на меня сквозь ресницы и сказала, дотронувшись пальцем до моего колена:

— Во всяком случае, я вас не гоню...

От пеловкости я дернул за шнурок торшера, и круг света упал на ее лицо.

— Погасите.— Она защитилась ладонью.— Я так устаю от света там — на сцене. Посумерничаем еще?! Я люблю — при свете уличных фонарей.

Я погасил.

Она поднялась и, противореча себе самой, зажгла верхний свет.

— Сейчас я буду угощать вас своими винами.

Она достала две узкие длинные рюмки и сначала в одну, потом в другую стала аккуратно из разных бутылок наливать разноцветные вина — алое, золотистое, бордовое, янтарное, белое, черное,— и они остались лежать слоями.

— Это я сама настаивала... из ягод. Очень милые коктейли получаются.— Она поставила рюмку на столик торшера и подала розовую соломинку.— Это почти не пьянит, но снимает кое-какие застёжки с души... Пить надо не разрушая колец — такое условие! — И, опустив свою соломинку в рюмку, она показала «как».

— А с последнего кольца нельзя начать? — улыбнулся я.

— Нет. Тогда не получится,— серьезно ответила Лика.— Вам непременно надо не так, как все...— улыбнулась она примиряюще.— Я дома редкий гость. Все на колесах. Театр ведь наш — областной. И когда возвращаешься, хочется чем-то скрасить свою жизнь. Приходят друзья — все из театра, и всегда за полночь. А вообще, вся жизнь так. В чужих страстях, желаниях, надеждах. Они становятся своими... а свои?.. Вот уже пять лет... почти пять.

— Пять?

— Да... почти. Я ведь не кончала института. Меня в театр тетка устроила... Кончила я потом уже студию при театре... Но все же, видимо, когда нет своей личной жизни... Вот я не могу, например, играть взрослых ролей — мать... Я не пережила материнства... Да и вообще ничего путного не было в моей жизни.

— Ну что вы — у вас... все еще впереди.

— Конечно, это милое утешение, но важно, чтобы и

позади было... Мать была певицей. Она умерла во время войны. Я осталась на руках у тетки. Тетка сдала меня в интернат, да — как сдают багаж. Привозила мне подарки. Я не сужу ее, но лучше бы уж ничего не возила. Мне завидовали все девчонки.

Ли́ка скинула туфли и сидела, подобрав под себя ноги. В такт своей речи она чуть-чуть покачивалась. Умолкла, с недовольной миной посмотрела на верхний свет:

— У меня есть прекрасные свечи, я привезла. Давайте зажжем? — Она пошла и достала из чемодана разноцветные толстые витые свечи. Многоколенный подсвечник стоял на треноге возле дивана. Ли́ка вставила свечи и зажгла их от зажигалки, погасила свет. В комнате сразу стало сумеречно. Вместе с восковым дымком поплыл сладковато-смолистый дух — такой бывает на вечерней заре, когда молодые сосенки стоят чинно и держат на своих ветвях нежно-зеленые побеги — маленькие свечи на вечерней заре...

— Я закурю, ничего? — спросила она. И, выпустив дым и отведя его от меня рукой каким-то совсем моим жестом, спросила: — Да... о чем я?..

Я понял — она не рисуется. И вспомнил, что на протяжении нашего знакомства я не раз подсознательно ощущал, как вдруг ее голос делался похож на мой, и в прищуре глаз, и в походке являлось что-то вдруг неуловимо мое... Тут как-то случайно в ящике стола наткнулся на не отправленные ко мне письма — одно из них было запечатано в конверт, другое лишь начато: почерк был удивительно моим. Здесь же лежали другие неотправленные письма — тоже странности! — записки, заметки, конспекты, — и везде почерк был уже не похож на мой, но и везде — разный: ее и чуть-чуть как будто не ее.

В рюмке оставалось три колечка, и я, до того терпеливо игравший в игру, смешал их, позванивая соломинкой. То же почти одновременно сделала она, и озорные, немножко какие-то плотоядные скобочки обозначились по бокам ее губ. Она улыбнулась, как говорят, зовуще. И меня обдало жаром. Она так и смотрела на меня — игриво и маняще, а в зрачках где-то глубоко таился испуг ожидания.

Я сидел полный покоя и какой-то даже благодати — от вина, от приятного духа ярко пылающих свеч, от ее улыбки, которая кидала куда-то в пропасть и кружила голову.

Вдруг Ли́ка вздрогнула, тревожно провела рукой по своей щеке, волосам, плечу, словно стряхивая что-то. Повернула голову к окну, — в комнату косенько заглядывала луна. Вскочила, размашисто задернула пурпурную с золо-

тым шитьем штору. Села, нацепив на пальцы ног туфли. На лице ее не было уже прежней естественности и тепла — расслабленность, какое-то безволие.

— Устала,— сказала она с извиняющейся улыбкой.— Вас я тоже заморила... Не пора ли на покой? Спать! Спать! — И поспешно, явно испуганная прямою своих слов:— Вам я постелю на диване...— И совсем растерявшись:— Ну, в общем, где вы и спали...

...Эта игра в дружбу продолжалась еще месяц.

Несколько дней я ничего не делал — то есть в общепринятом смысле. Я думал. Я уже понимал, где тут собака зарыта, но как-то боялся даже поверить. Распавшись, амёбы сами вставали из собственного праха, из биоплазмы, из магмы — из ничего.

Своим сногшибательным открытием мне, естественно, захотелось поделиться с Лео. Он отсиживался дома, как в берлоге. Я взял такси.

Мне открыла маленькая женщина с добрыми круглыми глазами в белых ресницах, похожая на Лео.

— Вы к Лене,— проникательно поглядев, проверещала она, будто я мог прийти к ней.— Я вынуждена извиниться. Ленечка спит и просил не будить, кто бы ни пришел.— Она посмотрела на меня с уважением, но твердо стояла на пороге.

Я пожал плечами и повернулся уже уходить, как из недр коридора послышалось снисходительно-разрешающее:

— Кто там? Пусть войдет!

Он, конечно, слышал мой голос и понимал, что это я.

Он шлепал по коридору, подшелкивая себя по пяткам стоптанными домашними туфлями.

— Проходи, проходи,— подбодрил он меня.

— Что же ты ставишь меня в неловкое положение,— залепетала Ленина мать, испуганно глядя на сына.

— Мама, не смешите людей.— И уже не обращая внимания на нее, взял меня за плечо, подтолкнул в свою комнату.

— Понимаешь, знакомая одна должна была зайти, а я сегодня не в форме. Вчера перебрал малость.

Лео опустил на кровать. Со стены стекал турецкий ковер. А на нем — коллекция охотничьих ружей.

Лео указал на кресло — в виде трилистника. Оно трогательно обняло меня за плечи.

Возле окна стоял высокий эмалированный шкаф: не то сейф, не то холодильник. Лео потянулся рукой, открыл

нижнюю дверцу шкафа. Там, просквоженные подсветкой, искрились игрушечные шкалики коньяку. Он взял в ладонь бутылку, отвинтил одним движением пробку, разлил в шаровидные бокальчики.

— Ну как? За усопших сих,— произнес он с намеком.

— За смертью смерть поправших! — возразил я.

— Что ты имеешь в виду?

— Восстали из праха сии,— вот что!

— Ты гигант! — скептическим пафосом Лео прикрыл издевку.— Давай, давай, старик. Воскресение Иисуса Христа на уровне амебы. Ха-ха-ха! Ты случайно сам не...— Он сделал жест, означающий вознесение.

Я все-таки рассказал, в чем дело.

— Ну вот видишь — все равно без нее — безносой — не обошлось. Сначала — распад... Король умер, да здравствует король! Э... И только. Не знаю, не знаю.

Он быстро поднялся и ключиком отомкнул верхнюю дверцу холодильника. И я вздрогнул: там в стеклянном заиндевелом гробу лежала, как бы парила, кошка. Это был двухстенный стеклянный сосуд, поросший изнутри ворсистым инеем, как шубкой. Кошка была кхмерская, ее издыбленная шерсть искрилась. Зеленые глаза смотрели застыло — остекленело, но в них жил какой-то далекий свет. В ее оскале было тоже что-то неуловимо живое.

— Во хрустальном гробе том спит царевна вечным сном. Сия тварь спит уже без малого год — в глицерине и экстракте из нуклеотидов — как в соусе. Кровь вполне голубая — физиологический раствор опять же с глицерином. Впрочем, дважды я ее уже пробуждал. Ничего — полакала молочка как ни в чем не бывало.— Лео резким жестом большого пальца провел по нижней губе — будто все это было совсем плевое дело.— Помнишь тритона, проспавшего пять тысяч годков в ледяной глыбе? В нашей экспедиции было. Своими глазами видел — отогрелся и пополз, голубчик. Целый день жил, умер на закате, как и положено привидению. Мы тут, конечно, дурака сваяляли, не приняли всех мер. А кошечка вот — сама реальность!

Я только подумал: почему Лео до сих пор молчал? Он, кажется, понял меня.

— Я не посвящал тебя... У меня на это есть свои причины.— Он помедлил и все же не удержался: — Я скажу тебе с римской прямоотой: ничего хорошего не жду от нашего века и от твоих экзерсисов. Ничего, понял. Может, все это и будет — через тысячу-другую лет... Впрочем, может быть, и через сто. Не в этом соль... Нам-то... На хрена попу гармонию. Анабиоз — дело другое — верняк!

Я, наверно, смотрел на него непонятно, потому он слегка смешался и сказал:

— Моя специальность — холод. Ну, понимаешь, Димчик?

Он смотрел выжидая, но я молчал. И так как он не понимал, отчего это я на него уставился, он обнял меня за плечо:

— Нам, Димчик, остается одно — подождать лет с тысячу. Отлежаться. Я, между прочим, уже сконструировал специальный снаряд, который может быть замурован где-нибудь в зоне вечной мерзлоты, — даже заказал ребятам некоторые детали. Хочешь? Могу устроить. Вступай в компанию. Твои акции упали, а у меня — верняк. — Он хохотнул.

— Знаешь, мне некогда ждать, — сказал я, вскочив и на ходу накидывая пальто, обматывая шарф. — Пока. До встречи там!

Это, кажется, было очень пафосно и чересчур значительно... «Там!» Меня просто коробило от его предательства и шутовства. Это была какая-то истерика.

— Тебя считают немного чокнутым! А я им говорю — ты личность... Костя — помнишь этот с горбатым профилем, да художник из нашего театра... А, да... что я — ты же его хорошо знаешь: он с тобой, кажется, в армии служил? Так вот, он говорит, что ты на самом деле не такой, как ты есть, а играешь эдакого князя Мышкина. А я ему говорю: а ты попробуй так сыграть... Ведь чтобы сыграть это, надо в себе иметь. Правда?

Я смотрю в потолок на размытые тени, слушаю ее полупепет, и мне немножко неловко, потому что, говоря все это, Лика не утверждает, а как бы спрашивает — то ли меня, то ли себя.

Лика любит ночные разговоры. Она усаживается на кровати, натянув себе под горло простыню: она все еще стесняется меня и одевается и раздевается, как и в первый день, за дверцей шкафа. Она оправдывается — весь этот процесс достаточно неэстетичен. Актриса до мозга костей. Иногда это мне кажется жеманством или какой-то недо-развитостью.

Лика говорит без умолку и немножко экзальтировано — как это может быть только ночью. На ее лице дрожат отсветы, сочащиеся сквозь тугую ткань занавески. Лика болтает, ничуть не заботясь, интересно мне это или нет. Даже спрашивая, она не ждет ответа. Но я слушаю

се, иногда теряю нить, задремываю, и тогда мне снится ее голос. Я люблю слушать ее голос. И мне тоже уже все равно, что она говорит. Потом я вынырываю из дремы и улавливаю ее слова:

— Я знаю, ты думаешь, что я легкомысленная... Ты никак не можешь забыть мне этого несчастного типа на курорте... Да-да. Ты вот даже не замечаешь. Ты вчера вспоминал его... Тебе не хватает терпимости к людям. Ты всегда нетерпим к тому, что на тебе не похоже. И потом — ты не знаешь ничего. Я же издевалась над ним. Он, например, уверен, что любую женщину можно купить за черную икру... А я ела ее за милую душу и смеялась над ним.

— Это вот нечестно, по-моему, — заметил я.

— Нет, ты оставь, среди вашего подлого пола немало таких, что смотрят на бабу как на кубинскую сигару, которую можно купить в розницу, а выкурив, бросить... И мы мстим вам за это...

— Превращаясь в эту самую сигару?

— Если хочешь, — но не даем прикурить.

— Лика, ты говоришь пошлости.

— Да — назло тебе. Просто это тебя злит, как любого мужика. А потом — он действительно очень любопытный субъектик.

Лика еще выше натянула простыню на подбородок и изрекла обиженно:

— А ты не любопытен. И ревнив.

— Ты же знаешь, что это качество у меня начисто отсутствует. Разве ты еще не убедилась в этом?

— Но это какая-то однобокость и психическая импотентность.

— Что ты еще скажешь?

— Ничего... Всю жизнь я мечтала сыграть Офелию... Думаю, — сыграю, а потом уже все равно...

— Ну и что?

— Что — что? Теперь противно в театр идти. Он же сам мне предложил Офелию — главный. А потом переманивает эту Яблонскую из Большого и, как будто меня нет в природе, поручает ей роль. Ну, что теперь ты скажешь? А все знают, что она его любовница... а еще говорил мне: я сделаю из тебя не хрестоматийную дурочку, плывущую с гирляндами по реке, а любовь, убитую убогим послушанием... Ну, скажи, Дим, что мне делать? — Лика выпростала руку и патетически воздела ее.

— Сделай роль и докажи, что ты не верблюд. Потребуй художественного совета!

— Ты же понимаешь, что это наив...— Она тяжело вздохнула.— Много ли ты доказал? Со своими амебами? Вышвырнули — и все.

Мы молчим, потому что я понимаю, что слова здесь почти бессмысленны. Мы молчим, и я начинаю задремывать.

Лица торкает меня пальцем:

— Конечно, ты молчишь.

Всхрапывая, я пробуждаюсь.

— Я просто сплю.

— Ну да — ты элементарно спишь.

Она обиженно умолкает, дергает на себя одеяло, поворачивается спиной. И засыпает, посвистывая, как мышь. Зато мне уже никак не удастся уснуть, тем более что за стеной кто-то без конца гоняет пластинку:

Ах ты ноченька,
ночка темная,
ночь туманная...

Это поет Шаляпин.

Я думаю: человека уже давно нет, а его голос — именно его — с его тембром, модуляциями, страстью, мыслью — его голос, то есть совсем тот его голос отделяется от пластинок и царит. Будто там, за стеною, сам Шаляпин — живой.

Задремываю, но вдруг просыпаюсь, еще до конца не поняв, что же так толкнуло меня. Лица произносит, кажется, во сне «Не сердись, милый...» — и, утянув все одеяло, сворачивается куколкой и уже совсем спит.

А я лежу и смотрю, как раскачивается фонарь и летит, посверкивая, зимний дождь.

Несколько дней спустя появился Лео. (Лица была в театре). Как ни в чем не бывало, хохотнул, шлепнул меня по плечу:

— Привет, старик.— И сразу от порога ошарашил: — Значит, из этой амебной каши, говоришь, можно кое-что сварить? Озирис! Записал себя на патефон и можешь откидывать сандалии. А потом кто-то там в двадцать пятом веке завел — и... раз, два, три, четыре, пять — вышел зайчик погулять... Принесли его домой — оказался он живой...

Значит, дошло. Возвращение блудного сына не вызвало у меня буйного восторга. Может быть, я преувеличивал, но эта кошечка меня доконала. Я не мог одолеть неприязни.

Лео слоново потопал по комнате, остановился надо

мной, дыша мне в лицо. Нарастало ощущение, что он хочет притиснуть меня и взять за горло. А он, в упор глядя на меня телячьим взором, шутил, между прочим:

— Репродукционная универсальная мастерская по републикации индивидуумов: Алексеев и К⁰.— И как бы переходя на серьез: — Слушай, отец, ты сам-то понимаешь величие научного подвига, который я по праву готов разделить с тобой? — И по-бычьи мотая головой, будто его, как ярмо, душил крахмальный воротничок, элегантно выглядывающий из-под черного крупной вязки свитера: — Я думаю — ты простил мне минутный грех... неверия... Ничего сверхреального — миллионы людей не верят в эту кошмарную затею. Им кажется более реальной вечная жизнь на небесах в виде эманации духа... почему я должен быть лучше их?.. Можешь взять меня на поруки... Ну?

Он читал неприязнь в моих глазах, и я ничего не мог изменить. Все это его хохмачество только бесило меня.

Я сказал ему, что вообще-то конструирование амёб в изменяющемся биополе вещь, очевидно, возможная, но пока мне не удалось повторить чуда — видимо, случайно возник какой-то парадоксальный режим, а чтобы нащупать его вновь, может быть, потребуется несколько миллионов веков, как это и было уже однажды, когда на нашей матушке-земле все начиналось.

Он, видно, понял, что я хитрю, и заткнулся. Не желая остаться одураченным, он подмигнул мне с добродушной хитрецей сообщника и, помахав рукой, удалился, сказав:

— Итак, до завтра.

С этого дня Лео зачастил к нам.

Ли́ка с видимым удовольствием принимала его, угощала своим черным кофе, — она была почему-то уверена, что все должны любить только черный кофе. Лео отвечал взаимностью, — он ни разу не забыл прихватить тортик или коробочку наполеонов. Впрочем, съедал он их сам, потому что Ли́ка не могла себе позволить такой роскоши, тем более на ночь.

Ведя светскую беседу, Лео не забывал закидывать удочки, — Ли́ка-то этого не замечала. Он вроде бы даже утешал меня: огорчаться не стоит, надо повторить опыты — на высоком математическом уровне.

Но не мог я помириться с ним, не мог.

И он в конце концов сорвался с благонамеренного тона. Это было без Ли́ки. Она была на кухне.

— Брось, старик, не делай из мухи бегемота. Не злись. Мы же нужны друг другу — как два волнистых попугайчика. Не бросать же на полпути.

Я молчал, просто боясь сказать какую-нибудь банальность — вроде: не могу довериться человеку, с которым не пошел бы на смерть, в разведку, или что-нибудь подобное.

— Понял.— Лео стукнул ребром ладони по столу так, что затанцевали поставленные Ликой чашечки.— Ваньку валяешь. Скажи уж начистоту: запахло жареным, и ты решил сам снять сливки, без посторонних. Я понял все — я был не нужен!..— выкрикивал он истерично.

Кажется, в этот миг вошла Лика со своим дымящимся медным ковшом на длинной палке.

— Ребята, зачем ссориться... ну... правда... из-за ерунды? Как петухи... Все это, по-моему, как-то несерьезно.

Она стояла с дымящимся кофейником и смотрела то на меня, то на него. Она так упорно это делала, что у меня даже появилось какое-то нехорошее чувство к ней. Но я сразу же подумал, что слишком многого хочу от нее. В конце концов, все обыкновенно: так поступила бы любая хозяйка. Да она, в этом смысле, просто была права.

Я уж не помню, как тут было, только я оставил их пить кофе, а сам очутился на улице. И ощутил себя, когда дождь ушатом плеснул мне в лицо: виновной в этом оказалась скореженная набок водосточная труба.

Мне ничего не оставалось, как завернуть в ближайшую киношку. Из кино я вышел совершенно очумелый,— мне было странно, просто нелепо, видеть после знойного голубого Рима другой город, других людей, снующие в темноте снежинки.

Я вернулся домой поздно. Лео уже не было. Лика в халатике поколачивала пальчиками себе под глазами, капала на ладонь из грушеобразного флакончика масло, размазывала по лицу, роняла пальцы в тазик с водой и опять похлопывала себя по щекам.

Я молчал.

— Димчик, что случилось? Куда ты делся? Мы с Лео ходили тебя искать.

— Просто захотелось пройтись.

— Ты хоть бы сказал. Станный ты... Ты сердишься на него — что он скрыл якобы от тебя какие-то там опыты с кошкой? Но он не хотел преждевременно — пока нет достоверных результатов... Логично? По-моему, логично... Что ты молчишь? Скажи что-нибудь. Ответь.

— Что я могу ответить?

— Ты сам постоянно твердишь: надо быть терпимее к странностям других,— мало ли? А сам ты? Ты нетерпим. Ты не замечаешь даже, как ты деспотичен при всей своей мягкотелости.

— Ты решила со мной поссориться?
— Пойми — мне неловко перед человеком.
— Чего ты хочешь?
— Он теленок. Он совершенный теленок. Мне все время хочется подтереть ему слюнки...

— Можешь думать, что хочешь, — я не могу и не буду с ним работать.

— Ну, ты не прав.

— Вполне возможно... Пусть приходит, пьет кофе — я не возражаю. Я даже могу с ним сгонять партию в шахматы...

— Еще бы ты возразил!

Лика сделала яичную маску и легла на постель вверх лицом недвижимо. Она молчала несколько минут, потом сказала, почти не шевеля губами:

— Отаки это винство... Чевовек к тебе с духой... Даже если... Тоило осветить удаче, и ты...

— Замолчи, Лика.

— Авдываишься?

— Я сейчас уйду. Не знаю — совсем уйду.

— Ты потерял юмор, — приподнялась она.

— Кажется, я скоро потеряю тебя.

— Ты ревнуешь?

— Глупая. — Я обнял ее, присев на постель.

— Ты меня размажешь.

Засыпая, она сказала:

— Не дыши мне, пожалуйста, в ухо.

«Засветила удача и»... Значит, Лео так преподнес все это? Ну, а я? Имел ли я право отставить его? Ну, усомнился человек — он не исключение. У него свой путь, свои планы. Хочет переждать? Да, в этом есть что-то не очень приятное, — и эта кошка в домашнем холодильнике... Не желает быть ступенькой для бессмертия других, — сам хочет?! А разве я тоже не хотел бы?.. Вообразить только состояние последних смертных в канун изобретения вечной молодости! Почему в самом деле не подумать, как бы и самому оказаться там, в обществе вечно юных, — перешагнув века. Ну ведь и я о том же — как спастись? За что же я су-жу Лео?

Не сужу — не выношу. Его голос, его походку, его смех, его запах, даже его молчание. Хамство. Это скomorошество. Как она сказала? «Теленок». Да — теленок! Великовозрастный теленок с потрясающим ребячьим негативизмом. Человек, защищенный начисто от чужой боли... И будь у него семь пядей во лбу, — не хочу!

Отчеты по плановым заданиям я задержал. Главы диссертации оставались ненаписанными. И на доске объявлений уже более двух недель красовался выговор, подписанный нашим директором Иваном Федоровичем. Что ж, он был прав,— я его подвел.

Чаша, как говорится, была переполнена.

И вот в один из таких, взведенных, как курок, дней меня вызвал к себе Зайцев.

А было так.

Утром, только я вошел на институтский дворик — на встречу мне Констанца. Она шла, вернее как бы въезжала, словно Клеопатра на триумфальной колеснице, сдерживая на поводках шестерку собак, которые радостно лаяли и тянули ее.

Когда-то она была лаборанткой, и в ее обязанности входило разводить собак по лабораториям. Собаки, завидев ее, бросались целоваться. Вообще она была прирожденной собачницей, и, говорят, даже работала инструктором при собаководстве, натаскивала медалистов для военкомата. И теперь, став старшей научной сотрудницей, отбивала хлеб у лаборантки, которая должна была их водить. Откуда-то вывернулся Гаррик — кудлатый, в модных клешах:

— Привет, старушка, и как ты справляешься с такой оравой?

— Безусловное взаимопонимание на основе условных рефлексов. Просто люблю их.

Я ощутил мгновенный взгляд, скользнувший по мне, но будто его и не было. Войдя уже в парадную нашего корпуса, я приостановился: все-таки меня задевала эта ее непринужденность с Гарриком.

— Ты знаешь,— вдруг воскликнула она, пожалуй слишком экзальтированно: может быть, она чувствовала, что я слышу? — Вчера прихожу, а Степа — у Марины Мнишек в клетке. Два года тосковал — выл, скулил, глаз с нее не сводил... Наконец догадался: сам открыл свою задвижку, а потом — у нее в клетке. Смотрю,— батюшки, оба в коридоре, она ему морду на шею положила... Вот вам и условные рефлексы. Додумался ведь.

— Это, старушка, по Фрейду: сублимация.

— Рассказываю об этом чуде профессору Лысу. А он мне: «Я запрещаю вам говорить, что собаки что-то там думают. Это — не научно. Это — антропоморфизм...» Ну, посмотри на них. Какой же это антропоморфизм?..

Вдруг худущая, с проступившими ребрами, с перешиб-

ленной ногой сука, которую с чьей-то легкой руки звали Людовик, потянула «колесницу» на меня.

Констанца передала поводки прочих Гаррику, а сама пыталась сдержать Людовика.

Мне ничего не оставалось, как выйти из дверей, как будто я уже сбегал наверх и вернулся.

— Вадим Алексеевич! — В это время Людовик наско-чил или, вернее, наскочила на меня и стала лизать мне руки; в растерянности я гладил ее, а Констанца сказа-ла: — Как хорошо, что я вас встретила, — вас просил зайти Зайцев, сразу, как придете, — смотрела на меня нервно мерцающими глазами: — Ну, напишите вы им эту несчаст-ную главу, киньте кость. Вам же лучше, — сказала это несуразное, махнула как-то странно своими разметавши-мися косами и сильно потянула упиравшуюся суку.

Я поднялся к ученому секретарю.

Зайцев вышел из-за стола, протянул и оторвал от меня ладонь и предложил почти нежно:

— Присаживайся.

Сам зашел за высокую спинку старинного стула — буд-то за кафедру:

— Что же ты, браток, подводишь? Я ведь тебя реко-мендовал.

Он смотрел своими ясными глазами, затененными гро-мадными ресницами. Голова его лежала прямо на плечах (у него очень короткая шея), и он мне показался горбу-ном, подсматривающим из-за забора.

Мне стало неуютно в моем мягком кресле.

— Я-то ведь, если откровенно, думал из тебя наследни-ка себе готовить. Ну что прикажешь делать? Пока были одни разговоры — ладно. Я сглаживал. Теперь вот у меня докладная.

— Донос, — буркнул я.

— Зачем же так, — поморщился он. — Докладная. Все вещи имеют свое имя и предназначение. И не думай, что Филин за тебя горой. Он хочет, чтобы о нем думали, что он добренький. Заигрывает.

Он вышел из-за своего укрытия и дубовато прошелся.

— Поставь себя на мое место. Ну?

— Я разорвал бы.

— Ну, знаешь! Некоторым вещам надо давать политич-ескую оценку. Слишком много с тобой возимся, Вадим Алексеевич. До коей поры ты намерен сидеть между двумя стульями?

Он засопел, и полоска шеи, выглядывающая из-под воротничка, побагровела, и все лицо налилось кровью.

— Так! А тебе известно, что Семен Семенович болен? Подозрение на рак.

Получалось, будто именно я довел его до рака.

— Рак чего? — спросил я.

— Не рак, а подозрение на рак,

— Ну подозрение — на что?

— Что-что! Печени!

— Он в больнице?

— Пока дома... У тебя уже выговор есть! Имей в виду...

Ну чего ты добиваешься, как полоумный? Полетит к дьяволу твоя диссертация... Ну хоть бы защитил... И мы рассчитывали на твою тему, думали включить в план научных работ института. Могу поручиться, что она не стала бы достоянием грызущей критики мышей. Пойми ты! Чучело гоховое!

Мне показалось, что у него задрожал подбородок, а глаза стали голубыми-голубыми.

— Рак печени? — Я вдруг увидел эту печень, охваченную пожаром, я увидел, как деформируются печеночные клетки Семена Семеновича, выпавшие из-под генетической гармонии, как они мутируют... И болью меня шарахнула мысль: а что, если? Если...

— А что, если? — сказал я, кажется, вслух.

— Что — если? — переспросил он подозрительно и угрожал мне пальцем: — Никаких «если»... Мы тут посоветовались и решили дать тебе последнюю возможность. Ограничились понижением в должности. Будешь младшим научным сотрудником. Попотей. Много самостоятельности тебе дали, — он запыхтел, засопел, как еж.

— Спасибо за доверие. Можно идти?

— Идите.

Я повернулся по-военному, шелкнул каблуками и уже взялся за дверную ручку, когда он мне решил сказать еще нечто поучительное:

— Меня просто потрясает твой цинизм... Я вспоминаю одного циника из Андерсена Нексе. Перед тем как повеситься, он зажег канделябры, разделся и повесился у себя под окном голый!

Я до сих пор не понимаю, что он хотел этим сказать. Может быть, то, что он все же читает худлитературу?

Скрюченные морозцем листья струились по мостовой, уползали в подворотни. Я ходил по гулким, еще пустынным улицам. Я вышел из дому за три часа до работы,

чтобы подумать. В ритме шагов сами собой возникали мысли, цепляясь одна за другую, уходили... И все о том же. Это была почти шизофрения. Что бы я ни делал, с кем бы ни говорил, о чем бы ни размышлял — везде я видел и искал ее — Смерть, которую я должен убить, как Раскольниковов старуху-процентщицу.

На парадной одного из домов была прибита овальная медяшка, позеленевшая от времени. Там я разглядел дату — 1827 год — и по нижней кромке — «Санкт-Петербургское страховое общество».

Черт возьми, стоит домина и ничего ему не делается, а в нем, как в муравейнике, люди — живут и отходят. Стоит себе, застрахованный еще Санкт-Петербургской страховой компанией. А ведь именно камни, как все неживое, разрушаются неумолимо и безвозвратно — превращаясь в пыль и песок. И только живое противостоит этому неумолимому закону разрушения, потому что живое обладает удивительной способностью — каждое мгновение из хаоса творить гармонию. Эволюция увеличила потенциал живой материи, — у человека он во много раз больше, чем у амебы. Но почему он все же падает?

Амебе, с точки зрения стихийной природы, если угодно, даже нужна индивидуальная смерть — это самоедство, — чтобы ее ценой (отдав часть своего тела и, следовательно, энергии) начать новое строительство. Но человеческая смерть не имеет и такого смысла. На уровне человек она вообще, я был уверен, не имеет никакого смысла! Потомкам не нужна смерть отцов и пращуров — если, конечно, они не ждут наследства, не мечтают об освобождающемся чиновном стуле или месте премьера в театре, или считают несправедливым, что бог не прибрал еще сзекровь, бдительно храпящую за шкафом. Но ведь все эти застенчивые страсти дело преходящее. Не век же нам держаться за шкафы и стулья.

Амебы и человеки, человеки и амебы... Я думал о нашем (с Лео) методе задержки жизненного цикла у амев.

Я уже отчетливо понимал, в чем наш промах. Во всяком случае, стала совершенно очевидна наша с Лео ошибка, когда мы пытались стимулировать жизнь до начала ее угасания. Она в этом не нуждалась! Это все равно, как если бы вздумали лечить аритмию сердца еще до того, как эта аритмия наступила...

Моя мысль перебросилась на Семена Семеновича и на его печень.

Вместо того чтобы отправиться на работу, я отправился в онкологический институт: там заместителем по науке ра-

ботал Севка Анатольев. Мы служили с ним в армии. Он занимался проблемами происхождения рака, и в его руках была вся экспериментальная часть института.

Посверкивая своими золотыми очками, он подмигнул поощрительно, но с оттенком язвительного сочувствия:

— Давай, давай, может, тебе повезет, и тебе поставят золотой памятник еще при жизни. (Я слышал об этом по-суде американцев.)

Как бы там ни было, Севка снабдил меня двумя морскими свинками-близняшками. Одной из них была привита саркома печени. Я притащил их в институт и спрятал в термостатной. Я опасался Констанцы, не зная, как она примет моих подопечных.

Это было вечером. Я ушел из института, но мне пришлось вернуться. Толкнул дверь — заперта на защелку. Смотрю в дырочку, расцарапанную на матовом стекле. Констанца посадила свинку на ладонь и, забавно морща нос, нюхается с ней. А та тянется к ее носу. Шевелит усами от восторга. Потом смотрю: Констанца посадила ее на колени, за ушами теребит. Потом заулыбалась — вспомнила о чем-то? Погрозила пеструшке и захлопнула ее в клетку, а сама достала из сумочки какой-то пакетик — это была халва — и принялась сквозь прутья клетки кормить близняшек. Те хватали кусочки передними лапками, приподнявшись на задних, тянулись и проворно жевали.

Все же я постучал. Констанца защелкнула халву в сумочке, отнесла клетку в термостатную, одернула халат и, сделав холодные глаза, открыла мне.

— Что-нибудь забыли?

— Да.

Я зашел в термостатную и взял припрятанные там до поры женские замшевые туфли — подарок для Лики ко дню рождения. Констанца на днях обнаружила эти туфли. Я неудачно пошутил тогда: «Ищу Золушку, — вам они, кажется, малы?»

— Да, знаете ли, я примеряла: они мне жмут, — ответила она язвительно и покраснела, отвернувшись.

Выйдя из термостатной, я попытался сделать так, чтобы Констанца не видела коробки, висевшей на моем пальце, но это было наивно. Она тем более ее заметила. И тогда, все еще двигаясь боком, я спросил ее: как мои свинки?

Она снисходительно пожала плечами, устало и очень понимающими глазами посмотрела на меня.

— Вадим Алексеевич... — И вздохнула: — Мне очень нравятся ваши морские свинки. — Ее лицо вытянулось, остро выступил подбородок, и в глазах появился кошачий

холодок.— Только ведь для вашей диссертации о нагуле бесконного мяса нужны совсем не морские свинки,

И вышла из лаборатории.

А дома меня ждал сюрприз — Лео.

Лика выскочила открыть мне дверь,— я любил, когда она меня встречает, и потому позвонил. Она была необычайно оживленна и, вопреки своей обычной сдержанности, обвила мою шею, расцеловала, громко восхищаясь подарком, тут же надела туфли, сбросив с ноги старые, и, немножко приторно-просяще заглядывая в глаза, сказала:

— А у нас уже гость.

Я понял сразу, что это — Лео. Он предпринял очередную атаку.

— Ну, не серчай, старик,— сказал он, слоново ступая мне навстречу.— Я тоже хочу верить, что нас постигнет удача. Но надо все-таки отдавать себе отчет, что человек не протозоа. Он отличается от амебы, как счетно-решающее устройство от лаптя. Надо рассчитать свои силы и сосредоточиться на целесообразном.

Он поднял стопку и придвинул мне другую.

— Да, правда, выпейте и не портите дня моего рождения,— сказала Лика и налила себе.

И все мы выпили. Только я сказал, упрямо напрягая губы:

— Каждый — за свое.

— За свое пьют только те, кто себе на уме. И еще упрямы,— сказала Лика нестрого и погладила меня по голове.

— Хо. Упрямы, Джордано Бруно... Пойми, старик, век безрассудных аффектаций прошел. Сейчас все всё понимают. Науку шапками не закидаешь. Мы — дети атомного века. Наука и точный расчет лишают нас мнимой красоты бессмысленных поступков и бессмысленных жертв.

Он ждал от меня каких-то слов, но я молчал. И тогда он положил свою тяжелую и ленивую руку на мое плечо и сказал:

— Я, честно, хочу быть тебе полезным. Только, хо-хо — немножко трезвости. Напрасно ты на меня ощерился. Давай-ка хлопнем по стакашку — за союз бессмертных... И вы, Лика, поддержите коммерцию.

— Нет,— сказал я.

Это «нет» как будто сказал кто-то за меня. Я даже сам удивился. Но что я мог поделать. Он мне протягивал руку, и я мог бы, в конце концов, с ним работать,— разве мало

вокруг нас людей, которые нам неприятны, но мы вынуждены с ними работать.

— Нет, Лео,— сказал я.— Мне не хотелось бы, чтобы в этом союзе были трезвые роботы, которые заранее все понимают и живут по принципу — умный в гору не пойдет, оставляя себе в виде охранной грамоты неверия кхмерскую кошечку.

Тут в прихожей стали раздаваться звонки, приходили гости — артисты и режиссеры из Ликиного театра, поклонники ее таланта. И теперь, когда за праздничный стол рассаживались совсем обычные смертные люди, наш спор выглядел бы странно, и мы включились в общую кутерьму. Мы поздравляли Лику с тем, что она родилась именно в этот день, здесь же, за столом, играли в испорченный телефон — это было очень смешно и шумно. Потом откуда-то появилась гитара, и Галя Балясина, чем-то похожая на молодую Пьеху, только пухлее,— прима Ликиного театра — стала петь Вертинского. Она прислонилась спиной к стене, и по плечам ее стекали выкрашенные почти до седины тощие волосы. Она пела с обволаживающей тоской:

Ваши пальцы пахнут ладаном,
А в ресницах спит печаль,
Ничего теперь не надо вам,
Ничего теперь не жаль...

Включили магнитофон, кто-то пошел танцевать.

Из общей сумятицы мой слух выхватывал фразы, обрывки разговора:

— Не скажите — очень даже приятная пластика — в японском духе.

— Амеба не так уж примитивна, как вы думаете.

— Да, представьте себе — тридцать четыре минуты сидел в йоговской позе удава, и где? — в публичной библиотеке...

— А как же все вокруг?

— Никто ничего не заметил...

— Вообще люди делятся на борцов, болото и предателей.

— А не дернуть ли нам по рюмашке?

— Трудно выдумывать, когда точно не знаешь.

— Тюлькин придет к тебе в гости, а ты будешь чувствовать, что не он, а ты у него в гостях.

— А в общем, ребята, надо взалкать, взъяриться и выйти на стезю.

— Я думаю, ну зачем ей эта шубка? Старая уже.

— Шубка?

— Да нет, она сама — выдра, из ума уже выжила.

— Да, кстати, что делать со стариками, которые заедают жизнь молодых?

— Экстирпировать.

— Это вы серьезно?

Попив чаю с лакомыми кусками от огромного торта, в который было воткнуто множество коптящих красных восковых свечей, гости быстро собрались и ушли. Лео пошел провожать какую-то «актрисулю», — как он доложил в прихожей.

А ночью, усевшись на кровати и подтянув колени к подбородку, Лика говорила:

— Лео — щенок, мальчишка. И ты напрасно что-то такое думаешь...

Я ничего такого не думал, но ведь у женщин всегда так: если порвался где-нибудь там чулок, она непременно поднимет подол и смотрит — а не видно ли? — и тогда все начинают замечать, что у нее и в самом деле что-то неладит...

Я молчал, ожидая, что она еще скажет. Но она сказала совсем другое:

— Димушка, ты должен понять — нельзя же так: надо и о жизни думать... Ну что ты будешь иметь от этого бессмертия?.. — Я, очевидно, посмотрел на нее слишком ошалело, потому что она тотчас же поправилась: — Да нет... я ничего не хочу сказать, но ведь... если ты чего-то хочешь сделать, достичь в жизни... Нужно, ты сам понимаешь, — нужно обеспечить тылы... Ну, защити ты эту несчастную диссертацию... Я не о себе даже думаю, но — и о себе... Ты любишь говорить об эгоизме... — Она замолчала, собираясь с мыслями, что ли, и я молчал, потом она опять заговорила: — Ты любишь рассуждать об эгоизме, но когда это относится к другим... Почему я одна должна обо всем заботиться — своевременно заплатить за квартиру, за свет, за газ, подумать о твоём зимнем пальто? В чем ты нынче будешь ходить? Да это все проза. У меня ноги мерзнут, а тебе все равно, — мне нужны сапожки... Я устала думать...

— Ну потерпи немножко, милая, — сказал я незначащую и бессмысленную фразу. Потом уж совсем, по-видимому, некстати спросил: — Как там у тебя — как с Офелией?

Лика попросила передать сигарету — она вообще-то не очень курила (садится голос), но ночью иногда это себе позволяла.

Она закурила.

— Мне поручили Гертруду.

— Непостижимо.

— Вот опять ты — со своей колокольни. Разве нас спрашивают! На то режиссер. Ему, говорят, виднее. Он видит в целом. Кому... что... как...

— Да, — сказал я и больше ничего не сказал.

Когда Лика уснула, я долго еще лежал во власти копошившихся во мне мелких дум. Конечно, Лика была права по-своему, но что я мог сделать, — я не мог думать, как она. Или как она хотела бы, чтобы я думал... Сон совсем разгулялся. Я встал и вышел на улицу.

В эту ночь с большим опозданием выпал мокрый снег. Было бело-бело, чисто-чисто... И тихо. Поразительно тихо. И только слышно было, как идет снег. Он падал крупными медленными снежинками. Было пустынно-пустынно. В окнах — темнота и глухота. Что-то там, за черным блеском? За занавесками, тюлями и гардинами? Беспомощные, как дети, там спали люди. Спали все. Спал весь город, укутанный первозданным снегом. В белом снежном дыму. Они были беспомощны, как мертвые, но они были живые и рождали в душе нежность, как спящие дети.

Мирно посапывая или похрапывая, там спали мужья, подложив свои крепкие руки под головы жен, спали жены, уместившись на плече мужа. Спали в своих кроватках с высокими сетками дети. Спали подростки, вскрикивающие от вдруг осознанного (в ночи наедине с самим собой) ужаса небытия, и старики, успокоившиеся и приучившие себя к мысли — чему быть, того не миновать. Спали беспомощные люди в громадных домах.

Проходя мимо их окон, я чувствовал себя волшебником, и как хотелось, совсем как-то по-детски хотелось, даровать им бессмертие. Явить чудо. Но я знал: если бы даже и мог, они не приняли бы от меня этого. По разным причинам. Но причиной причин была сама она: некоронованная власть смерти, на которую не только никто еще не посмел поднять руку, но даже никто не помыслил... И молились ей в храмах и лабораториях.

Была тихая ночь, окутанная дымом первого снега. Вся запеленатая в какие-то тончайшие шлейфы. Я шел по белой улице с черными окнами, с таинственной немотой черных комнат. На одном боку Земли спали люди. Небытие на несколько часов опустилось над ними...

И когда я вернулся домой, Лика тоже спала — раскрытая, разметавшая руки, беспомощная, как подросток. Она проснулась, поднялась на локтях, спросила чуть испуганно:

— Ты сердншься? — И добренькое, молитвенное плеснулось в ее широких ночных глазах.

Эта запись была своеобразной партитурой симфонии, которую можно было назвать «Ритмы печени морской свинки». Я попробовал затем «проиграть» их на биомagnetной ленте. Это была стройная синкопированная музыка типа блюза. Во всяком случае, в ней были четкие ритмы и приятная мелодия. Совсем по-другому, стерто и невыразительно звучала запись больной печени,— это был сплошной размытый диссонанс. Я попытался сложить две партитуры, надеясь, что здоровая подавит больную. Так и произошло, и все же гармонии не было — что-то дребезжало, квакало, шипело. Собственно, я предвидел, что так оно и будет. Ведь с амебами было нечто подобное. Я сопоставил графические кривые больной и здоровой печени, наложил одну на другую и понял: надо из биополя здоровой печени вычесть биополе больной и ту оставшуюся частоту индуцировать на раковую печень — как компенсацию ущерба.

Мне нужны были математики, мне так нужны были математики! И я подумал: а почему бы мне не пойти к ним самому?

И вот я в вычислительном центре.

Нежно пощелкивают, шелестят железные шкафы, подмигивают, будто они и впрямь живые и гениальные. Вихрево струится магнитозаписывающая лента оперативной памяти, медленно-медленно поворачиваются магнитные барабаны, хранящие «жизненный опыт» многих лет. Перебирая своими чуткими железными пальцами, считывает программу перфораторно-приемное устройство.

Здесь хочется воскликнуть: «Оракулы веков, я вопрошаю вас!»

Но я сдерживаю себя, потому что люди здесь все как-то совсем обыкновенны — ну, как хозяйки у газовой плиты...

Первый раз я только постоял рядом с этими железными интеллектуалами, а потом приходил еще и еще, пока ко мне не присмотрелись и не привыкли, пока я стал почти что своим. Ребята оказались что надо. Не лезли в душу, понимали с полуслова и даже то, что сам еще не понял. Они делали свое дело, так сказать, обслуживали: «Освежить?» — «Компресс?» — «Не беспокоит?»

— Свечение клеток? Доминанта процесса, так — больная, здоровая,— понятно... Спектры надо разложить на Фурье-компоненты... Бу сделано...

Тут же на первом попавшемся обрывке бумаги выстраивались ряды бесчисленных формул и решений,— но это, собственно, был только вопрос, который и надо было задать железным оракулам.

Сюда, на Олимп, приходили и другие, много всяких желающих поймать истину еще при жизни. Правда, в отличие от меня они приходили с официальными заявками — от учреждений. Но этим ребятам, по-моему, все равно, лишь бы вопросы были на уровне современной науки. Во всяком случае, они не подумали спросить у меня какую-нибудь там бумажку.

Они очень похожи были друг на друга, эти трое, с которыми я вступил в контакт. Молодые, но лысеющие, лобастые, застенчивые, себе на уме. Они как будто ангелы у этой богоподобной машины. Больше всего ко мне милел Миша Гривцев по прозвищу Кот — кругломордый, губы серпиком, на голове жидкий пушок. Он-то мне и помог, в конце концов, сконструировать генератор для корреляции биополя раковой печени — для морской свинки.

На все это мне потребовалось около месяца. Иногда я только удивлялся: никому в институте до меня не было дела, никто меня не трогал. Но именно это рождало предчувствие последней бури... Но мне было все равно — я с головой ушел в дело, в котором уже брезжил прообраз победы.

Наконец наступил день испытания.

Морская свинка была распята, печень обнажена, и ее охватило биополе, снятое генератором с биоманитной ленты.

Уже к концу дня можно было наблюдать: саркомный нарост рассасывается и замещается свежей печеночной тканью.

Констанца все крутилась вокруг, заглядывала: ей очень хотелось узнать, чем это я занимаюсь. Но я молчал.

Констанца выходила и входила. Однажды, выйдя, она повернула с той стороны ключ: я оказался запертым. Что-то кольнуло меня, но я не придавал особого значения ее выходке.

Вскоре у дверей зашумели, я услышал шепот Констанцы. Кто-то дернул дверь. Потом голос Зайцева сказал: «У вас же есть ключ». Опять подергали дверь и ушли. Через некоторое время щелкнул ключ и вошла Констанца. У нее было злое и растерянное лицо.

— Вадим Алексеевич! Зайцев ходит по кабинетам... Он сейчас явится сюда... Может быть, вы уберете вашу пациентку... хотя бы в термостатную.

Она ведь прекрасно понимала, что сейчас я, если бы даже хотел, не мог этого сделать — я мог нарушить развитие биополя,

Впрочем, Зайцев не заставил себя ждать.

— Привет,— сказал он, войдя.

— Привет,— ответил я.

Он бросил мне ладонь и оторвал. Посмотрел лучисто сквозь махровые ресницы. Напыжился, выбрал голову в плечи:

— Я жду тебя уже два месяца. Почему отдел не дает понедельных сводок?

— Я же младший научный сотрудник, и теперь это не входит в мои обязанности.

Он посопел, как еж:

— А вообще что-нибудь входит в твои обязанности?

Я молчал. Я ненавидел его. Я ненавидел его тем больше, чем больше он был прав. Я ничего не мог ему возразить.

— Почему ты здесь? Тебя уже месяц ждут в «Светлом пути». У них нагул двести граммов на свиноматку в день. За счет использования в качестве прикорма кристаллов мочевины. Считаешь, что можешь получать получку, а делать, что бог на душу положит?

Зайцев подошел к препарированной морской свинке. Я встал рядом, готовый схватить его за шиворот, если он что-нибудь себе позволит.

— Знаешь-ка, Димочка, хватит, чикались с тобой, хватит. Есть статья 254 КЗоТ, пункт первый—о профнепригодности... И ищи себе место по заслугам... И вообще — ты здесь диссертант. Тебя взяли для защиты. А ты... Взрослый ведь человек. Очевидных вещей не понимаешь,— ухмыльнулся он жестко.— Бежишь от очевидности? Но ведь ты же не Эйнштейн. Что позволено Юпитеру, не позволено быку.— Он ушел, хлопнув дверью.

А Констанца стояла рядом. Убитая. Качала головой. И непонятно было — чего она качает головой. Она хорошо умела это делать — быть непонятной.

На следующий день появился второй выговор. Теперь дело за третьим. Я надеялся успеть со своей свинкой.

На пятый день она была уже практически здоровой. Быстро набирала в весе.

В начале следующей недели я пошел к Зайцеву, чтобы отнести ему сводки о работе отдела, хоть какие-то сводки: может быть, успокоится, не сразу вlepит третий выговор. Зайцева не было — он, оказывается, уехал в командировку. Следовало пойти к Филину. Но этого мне больше всего не хотелось. Когда тебя бьет в поддых человек, от которого ты ничего иного и не ждешь,— это одно дело, но когда апперкот наносят те, с кем у тебя завязалось что-то насто-

ящее,— это непереносимо. Все-таки выговоры подписывал он! Что тогда эти душеспасительные беседы с ним? Чего они стоят? Но, думая обо всем этом, я все же двигался к его кабинету. Я уже прошел по длинному заковыристом коридору и повернул в темный аппендикс, заставленный шкафами, как услышал голоса Констанцы и Филина. И сразу понял, что разговор — обо мне. Просто почувствовал, что обо мне.

— Нет, нет, нет, вы не... Это не так. Никогда он не говорил о вас ничего плохого. Он просто влюблен в вас.

— Да ну, полно вам. Что он, вас в адвокаты записал? Он в дурном смысле использовал мое доверие, а это...

— У вас искаженная информация... Какой-то испорченный телефон.

И чего она врет — подумал я: я только вчера в глаза ей сказал все, что думаю о Филине, и это было мало похоже на объяснение в любви.

— Ну хорошо... допустим...— услышал я и вжался между шкафами, пропуская их. Потом уже ничего не было слышно: они завернули в зигзаг коридора.

Когда я вошел в лабораторию, Констанца сказала:

— Как это ни прискорбно, я уезжаю в командировку. Недели на две или даже на месяц.

— А что за командировка?

— Да так... Можно мне не говорить вам об этом?

— Разумеется,— сказал я.

Я смотрел на нее и думал: с какой же все-таки целью она выгораживала меня перед Филиным и кто на меня ему наговорил? Как будто уловив мой беззвучный вопрос, вздохнув, она сказала:

— Только напрасно вы на Филина взъелись,— он к вам очень хорошо относится, и вы в этом еще сможете убедиться.

Она посмотрела на меня потеплевшими, совсем искренними глазами.

Я пожал плечами и ушел в термостатную: и чего она крутит?

Констанца погромела стеклышками. Сказала:

— Я пошла оформляться и уже не вернусь. До свиданья.

Она отсутствовала около месяца. Приехала подрумяненная морозцем, бросила мне на стол какие-то графики, схемы, расчеты.

— Вот зависимость нагула от примеси в корме различных пропорций порошка мочевины для разных пород поросят в колхозе «Светлый луч».

Она сделала то, что должен был сделать я и чего мне не хватало как раз для первой главы диссертации. Зачем — чтобы выслужиться перед дирекцией? Или чтобы мне доказать, что я занимаюсь не тем, чем надо?

Пока я разгадывал эти загадки, она преподнесла мне еще один сюрприз. Уже перед концом рабочего дня она сказала:

— Разве вам не известно, что Семен Семенович серьезно болен? Почему никому нет дела? Ведь у него даже нет семьи. Есть дочь, но она к нему не ходит.

— Но вы-то ходите...

— Не валяйте дурака... Какие бы ни были разногласия... Человек смертельно болен.— Она отвернулась презрительно и нервно.— Как вы можете?..

Мне все это казалось рисовкой и мелодрамой, рассчитанной на дурачков, и я сказал уязвленно:

— Я железный человек.

— Вы дурак.— И глаза ее стали круглыми, как у кошки, когда она сердится, она как-то даже зашипела и попятилась.

Я догнал ее в коридоре, неловко схватил за плечо. Она ускользнула из-под руки.

Я сегодня только снял потенциал с печени уже поправившейся свинки и вычертил конфигурацию биополя. Оно почти совпало с биополем ее здоровой близняшки... До того как пойти к Семену Семеновичу, мне хотелось проверить себя. Довести дело до конца. После работы я собирался к Коту — в вычислительный центр. Но вместо всего этого я, как ненормальный, нацепил на себя пальто, нахлобучил папаху, выскочил в снегопад и заметался по улицам в поисках Констанцы.

— Что вы суетитесь? — услышал я позади себя насмешливый и довольно деликатный голос.— Идемте. Только надо что-нибудь купить.

Я был как мышь, нацепленная на коготок.

— Вот виноград! — воскликнула она и увлекла меня в гастроном. И действительно, несмотря на конец ноября, в подсвеченных корзинах переливались, искрились черно-бордовые ягоды.

Увесистые гроздья хорошо гляделись из кулька, который она опустила в свою сумку.

— Но мне тоже не мешало бы купить,— заметил я с чувством покинувшей меня уверенности.

— Это будет от нас двоих. Больше ему ничего не разрешено. Ничего кондитерского и жирного, хотя это он больше всего и обожает. Не диетический же творог ему покупать. Обойдется.

— Ну... как хотите...— Я просто болтался у нее на кухне.

«Ну, черт с ней,— думал я,— пусть себе тешится. Я ведь все равно собирался к Семену Семеновичу,— не буду же я ей объяснять, что я тоже собирался. Она и не поверит».

Сначала она поднялась к нему, потому что пускали по одному и давали один халат на двоих.

Через полчаса она вернулась и накинула на меня халат.

— Ему совсем плохо,— сказала она.

Я поднялся к нему по широкой светлой лестнице, весь сплюснутый атмосферой смерти, которая царила в этом просторном красивом здании, напоминающем огромный саркофаг. Сюда входили, но выходили редко, и каждый вошедший сюда знал это.

Семен Семенович ждал меня в гостиной на пятом этаже, сидя в плетеном кресле. Он был совсем плох. Скелет, обернутый кожей. Весь — черный. Вся его поза говорила: отстаньте от меня, что вам еще нужно? Он был отрешен от внешнего мира и весь ушел в свою боль. Рядом на столике лежал в кулке виноград.

— Да... не красит...— выдавил он сквозь пергамент своих губ...— Прямо скажу, голуба моя,— не ждал! — Он даже попытался улыбнуться.— Кого-кого, а вас не ждал, Удивили, удивили...

— Меня привели к вам совершенно особые обстоятельства.

— Именно так и подумал.

— Я могу вылечить вас... По крайней мере... попытаться. Вы помните мои эксперименты по индуктированию биополя?..

— Нет-нет, голуба. Вы меня не втягивайте... Случай, конечно, подходящий... Но неужели вы думаете, что вам удастся сделать меня соучастником вашего антинаучного шарлатанства? Дудки. Нет уж, нет, Вадим Алексеевич... я вам признателен за визит... И за виноград спасибо... Но найдите кого-нибудь попроще...

— Простите, Семен Семенович, я хотел... я искренне желаю вам выздороветь,— сказал я, прощаясь и чувствуя, что он уже едва терпит меня. Это ужасно, что я сказал ему именно это, но что я еще мог сказать?

Дома меня ждало странное письмо:

«Тов. Алексеев, прошу вас прибыть на станцию Пещеры 29 ноября с. г. на электричке, которая отправляется из города в 18.00. Буду ждать в павильоне вокзала. Дружески жму руку. Ваш И. Ф. Ф.».

Это было похоже на детектив, а может быть, на провокацию. Потому что никакого И. Ф. Ф. у меня не было.

Я, конечно, поехал.

Господи, это был Иван Федорович Филин.

— Да, не удивляйтесь,— встретил он меня своей трагически-грустной улыбкой.— Директор — инкогнито! Пройдемтесь. Мне на ходу легче — привык на лекциях.

Он подхватил меня под локоть. Мы пошли по какому-то асфальтированному шоссе, которое уводило в лес.

— Заготовлен приказ о вашем увольнении... формально в связи с истечением срока, отведенного для вашей диссертации... Следует отдать должное,— вы предвидели эту вероятность и всеми доступными средствами шли к этому событию. Я не стану ни извиняться перед вами, ни признаваться в любви...— Он посмотрел на меня умно и нежно, и я заметил, что его черные, какие-то библейские глаза сквозят голубизной по окоему радужки.— Я слышал о противораковом эффекте...— Он астматически дышал.

— От кого? — поинтересовался я.

— Это как раз неважно.

Я молчал, приноравливаясь к его шагу и пытаясь понять, к чему он клонит. Тихие снежинки падали прямо с голубого неба. Мы вошли в березовый лес, чуть подрумяненный закатным солнцем. Меж стволов замелькало кирпичное одноэтажное здание.

— Сей пакгауз был выстроен еще при Николае Втором. Здесь начали было сооружать железную дорогу,— видите: насыпь, быки... Потом по каким-то соображениям бросили... Одно время здесь была опытная станция нашего института, вроде подсобного хозяйства... Оно и теперь принадлежит нам... Есть решение перевести сюда институт — в эти места. Угодья здесь прекрасные: пойма реки. Одно из отделений разбросанного на этих землях совхоза дает совершенно гигантские надои молока на коровью душу. На местном молокозаводе готовят из сливок этого самого молока превосходное масло, затмившее собою вологодское... Короче, сам бог велит нам перебраться сюда и развертывать научно-исследовательскую работу на реальной базе, сообразуясь с ее результатами, а не играя в прятки.

Где-то яростно трудился дятел, и по лесу гулко отдавалась его барабанная дробь.

— Пять зданий к будущему году будут подведены под нулевой цикл. Биохимические, физические, нейрофизиологические, гормональные, генетические лаборатории. Исследование кормов на специально отведенных и засеваемых участках, экспериментальная генетика для выведения новых пород скота и тому подобное...

«Не в пастухи же он меня прочит: что я на нулевом цикле-то?» — думал я, уже догадываясь, что идет некий «торг» в связи с моим увольнением.

— У меня есть деловое предложение... Начальник ОКСа Сергей Денисович Денисов сейчас на больничном. Но я получил его согласие... Если не возражаете, я назначаю вас его заместителем... Вадим Алексеевич?

— Польщен. Но, ей-богу, никогда не испытывал особой тяги к административной карьере и думаю, что...

— Ну это вам и не грозит,— Иван Федорович скептически ухмыльнулся,— уже хотя бы в силу вашего же характера: какой из вас администратор?! Но в данном случае необходим как раз ученый. Вам будет вменено принимать всякого рода прибористику, новейшее экспериментальное оборудование. Испытывать. На чем и как — это уже ваше дело,— загадочно покосился, улыбаясь.

Мы вошли в помещение, которое напоминало то ли зал для транзитных пассажиров, то ли товарный склад.

— Строительство возобновится летом, приборы же начнут поступать буквально в ближайшие дни. Для оформления предварительных проб мы решили использовать этот пакгауз. Ну-с?.. Всем прочим свободным временем вы вольны распоряжаться, как вам заблагорассудится. Соблазнов здесь не так уж и много. Разве что танцы под радиолу в местном клубе.

— Нет, это не для меня.

— Располагайтесь. Чем не башня из слоновой кости! Эйнштейн тоже мечтал о маяке, куда хоть иногда можно уединиться от суеты. Великие открытия чаще всего зарождались в небольших помещениях: вспомните подвальчик супругов Кюри!..

— Эйнштейн... Кюри... — Я самолюбиво подернул плечами.— Можете не сомневаться, что научное оборудование будет испытано самым тщательным образом и...

— Вы просто выручили меня. Если к основным приборам понадобятся там кое-какие приставки, вы можете воспользоваться тем, что списано. Или, наконец, взять в институте.

Я все понял и просто обнял его, он меня тоже и потцовски прижался лбом к моему виску.

— Там есть отгородочка, койка, электрокамин, в столе ручка и бумага. Я иногда приезжал сюда — подумать. Устранвайтесь. Желаю... Вообще смерть не страшна — страшна старость! — Он застенчиво улыбнулся, бодрячески подернул головой. — Что ж, докажите, что ваша идея достаточно безумна, чтобы стать истиной. А потом мы постараемся найти вам достаточно безумных единомышленников. Они — есть! — сказал он интригующе и пошел своей ковыляющей походкой — то ли бывалого моряка, то ли кавалериста.

Я остался один в дарованной мне «башне из слоновой кости». Огляделся. На стеллажах — пробирки, образцы почв, в угол сметены семена и полова. Пыль, паутина и... Я вздрогнул: под сводом окна, на ветхой гардине, висела летучая мышь.

«И там, у нее в занавеске, хохочет летучая мышь».

И я подумал: «Виси, виси — значит, я здесь не один».

...Да, так оно и было. Филин подарил мне лесную лабораторию...

...И опять, переступив порог забвения, мысль застряла в прошлом...

Почти месяц ушел на приведение лаборатории в бо- жеский вид. Филин прислал мне в помощь рабочих. Они выгородили термостатную — ее нетрудно было соорудить на базе бывшей сушилки. Вскоре стало поступать специальное оборудование: центрифуги и термостаты, электронные микроскопы, осциллографы с параллельно подключенными блоками самописцев разного предназначения, радиодатчики с золотыми электродами для вживления в мозг, счетчики Гейгера для улавливания скоплений в организме ионизирующих изотопов. Особенно повезло мне со спектрографом ЯРМ. Новейший ядерно-магнитный резонатор с динамической разверткой был просто уникальнейшим прибором, он позволял улавливать текущие в живом «веществе» изменения спектров на уровне квантования — то, что мы в свое время пытались сделать с Лео кустарным способом.

В общем, уже к концу января я смог приступить к задуманной мною серии опытов.

Прежде чем всерьез думать, как навязывать постоянство молодого ритма тканям и железам, надо было научиться снимать биопотенциалы всей жизнедеятельности организмов — от деления клетки надвое до его одряхления.

Я достал уникальных белых мышей с очень коротким жизненным циклом. Это был вид, точнее популяция, специально выведенная для научного эксперимента. После появления их на свет божий я вживлял в разные зоны мозга моих пациенток множество золотых электродов — с радиоприемниками в виде шариков на концах.

Иногда я выпускал моих венценосных белянок. Они гонялись, потряхивая своими султанами, как цирковые лошадки. Это продолжалось до тех пор, пока я не посылал радиоимпульс, — тогда они застывали, присаживались на задние лапки, суча передними по своим принимающим носам, и чуть недоуменно посверкивали красными бусинками глаз, потом я заставлял их бежать по кругу. То я бросал их враспынную — от индуцированного в их душонках страха. Потом нагонял на них жажду, они металась безумно, пока не натыкались на корытце с водой, едва не топя друг друга. Я мог заставить моих мышат, как бы вопреки их воле, спать, прыгать, пищать, жадно есть, несмотря на пресыщение, мерзнуть в жару... Я мог заставить их проделывать все, что хотел, в пространстве. И в общем-то, это давно уже стало трюизмом. Ах, если бы я мог, смог достичь того же во времени!!! Пока это лежало по ту сторону чуда.

Я с головой ушел в свои эксперименты, питался консервами, время от времени взбадривал себя кофе, который разогревал на спиртовке. Мысль зрела в мозгу, как зерно, брошенное в землю, которое должно напитаться соками и взойти, проклюнуться жизнетворным ростком. Впрочем, для этого ее, то есть мысль, нужно иногда оставить наедине с собой. Как бы забыть ее, что ли. Выйти, например, с саперной лопатой пообивать натекающие с крыши сталакти-ты, сверкающие хрусталем на мартовском солнце. Пойти в лес к незамерзающему ключевому ручейку, шелестящему в нежных пленках припоя, наклониться над ним, присесть на корточки, бездумно глядя на радужную игру сочащихся капель... И вот тогда, вырвавшись из логических построений, мысль может выдать на выходе из «черного ящика» кое-какие свежие идейки либо повернуть старые в неожиданном ракурсе. Во всяком случае, однажды мне стало безусловно ясно, что первым делом надо попытаться обнаружить две временные точки в семидневном жизненном цикле краснооких принцесс: точку окончания роста (половозрелости) и точку «начала конца» — когда начинается затухать половая железа. Обнаружить две грани отсчета — взрослого и цветущего организма. Обнаружить и попробовать «нажать» на них... Вспомнилась исполинская Пальма

Тени. Цветет она один раз в жизни. И мне повезло: я видел ее цветение. На вершине в то единственное для нее утро распустилась могучая кисть оранжевого соцветия. Всю свою столетнюю жизнь она готовилась к этому великому торжеству. Знала бы она, что сразу, вслед за цветением, она погибнет на глазах почтенной ученой публики. Облетели лепестки, опустились громадные восьмиметровые листья, сморщился и засох ее ствол... «Ну, а если помешать этому цветению?» — подумалось мне тогда. А это, наверно, возможно. Тогда Пальма Тени сохранит свое «я». Не сморщится, не засохнет, не погибнет. Но какой ценой! Ценой отказа от любви и материнства!.. Правда, у человека все несколько иначе: сама точка цветения продлилась у него во времени на годы. И прежде чем угаснуть, она способна дать несколько завязей новой жизни! Задержка «цветения» не грозит ему потерей любви!

Семидневные мыши должны были ответить на гамлетовский вопрос: быть или не быть? Быть или не быть бессмертию — не вида, а особи, личности, если говорить о человеке.

Двум беляночкам — самочке и самцу — я вживил по сотне золотых электродов в ту зону мозга, откуда ждал главной команды — в гипоталамус... Собственно, «я вживил» — это лихо сказано. Для того, чтобы провести эту тончайшую операцию, каждый раз приходилось ездить к знакомому рентгенологу, делать фоторентгенограмму мышинного мозга, затем с ней отправляться в электронно-вычислительный центр, чтобы он на машине рассчитал угол и глубину попадания электродами в нужные клетки мозга. Надо было у ювелира заказать специальный для черепов моих мышат стереотаксический прибор — подобие лука, где стрела (протаскивающая электроды) как бы выстреливает в трепанационное отверстие под определенным углом и на определенную глубину.

Наконец настал день, когда я, похоронив моих красноглазых белянок, за семь дней окончивших свое законное земное существование, развернул на полу курзала огромные рулоны записей, как домотканые половики после мытья полов, и принялся за дешифровку субэнцефалограмм.

Путешествуя по этим коврам с разверткой мышинной жизнедеятельности, я обнаружил, что, во-первых, идет непрерывное нарастание биопотенциала, а во-вторых, каждый день происходит его удвоение. При втором удвоении включается детородная функция, при четвертом — выключается.

Теперь можно было приступить к следующей и самой ответственной серии опытов — коррекции процесса. Я решил послать напряжение на четвертом дне — в момент, так сказать, начала конца.

Мышь, которой было уготовано бессмертие или, по крайней мере, бесконечно долгая жизнь, погибла на пятый день, не дотянув и до своего семидневного предела...

Был четверг. Я хорошо запомнил, что был именно четверг, потому что на свой выходной ко мне должна была приехать Лика. Я сидел над трупиком мыши и ждал Лику.

Я ждал Лику, а ее все не было. Я покормил мышей и отправился встречать ее. На шоссе я ловил ее облик в проеме деревьев, останавливался, прислушивался... Так в тоскливом томлении я добрался до станции. Нарастающим свистом всверливались в мозг электрички, приостанавливались, выбрасывали порции пассажиров и ушли дальше.

Она выскочила из последнего вагона, подставила себя для поцелуя:

— Понимаешь, такая дичь: лопнуло паровое — залило всю кухню...

Я не стал выпрашивать подробностей.

Увидя мышиный трупик, Лика вскрикнула, отскочила.

— Бедный мыш,— сказала она, подходя. Скинула каракульчовую шубку, сдернула черные с розой рукавички и, сев на скамейку, попросила сигарету. Она отломила фильтр и вставила ее в маленький резной мундштук. Закурила. А я думал: откуда у нее эта шуба? Но так и не решился спросить. Курить стала?

— Бедный мыш,— сказала она, глядя снизу вверх сквозь сизость дыма.— Ошибка в науке — путь к истине, да? — произнесла как можно мягче, будто дунула ребенку на ушибленное место.

Я так соскучился по ней за три недели, что мне просто расхотелось произносить какие-нибудь слова. Я посадил ее возле топящейся чугушки, сам сел у ее ног. Мне хотелось надышаться ею. Я дул на ее озябшие пальцы, а она подставляла их — каждый отдельно. Целовал ее колени, волосы. Она не отвечала на поцелуи — она принимала их покорно и немножко даже отстраняясь.

— Ты кому-нибудь когда-нибудь протягивала губы или руки, чтобы обнять? — спросил я, слегка уязвленный.

— Никому.— И объяснила: — Мне важно быть убежденной, что я не выпросила любовь, как подаяние.

Я хотел понять ее и поверить. У меня самого было что-то подобное — я тоже не любил навязывать своей любви,

Она заправила распавшиеся волосы за уши, по лицу ее бежала огненная рябь, бровь ее серповидно напряглась:

— Женщины бегут от любви, чтобы поверить в нее.

— Но, может быть, пора мне поверить?..

Она пожала плечами и как-то странно посмотрела вбок. Вынула шпилькой из мундштука остатки пепла.

— Я не знаю... Я не верю, что я тебе буду нужна, как только... Ты все ждешь от меня чего-то, чего-то сверхъестественного, на что я, наверное, неспособна. Чего-то ждешь, требуешь. И даже не замечаешь, как ты деспотичен...

— Это я-то? Который дает тебе полную свободу?

— А может быть, мне не нужна эта свобода? Ты хочешь, чтобы я совсем растворилась в тебе... Я и так порядочная обезьяна — я становлюсь тем, с кем нахожусь... И вообще... У нас в театре уборщица беременная ходит, и я вдруг замечаю, что начинаю, как она, ходить — живот вперед, спина прямая, боюсь столкнуться с идущими навстречу. Черт знает что...

— Значит, ты гениальная актриса.

— Тебя бы к нам главрежем, — улынулась примиряюще.

Лика опять закурила, а я поставил разогреваться тушенку.

— Кто это тебе такой мундштук подарил? — спросил я.

— Лео. На рождение. Разве ты не помнишь? Деревянную пепельницу и мундштук — из Закарпатья привез.

— Он хорошо изучил твой вкус, — сказал я весело.

— Да уж не в пример некоторым, которые считают, что знают меня насквозь, — сказала она тоже с веселой, задирстой ноткой.

Мы поужинали прямо из консервных банок, и Лика вдруг заспешила. Сказала, что с утренними поездами неудобно, можно опоздать. А я-то думал, она останется ночевать. Насчет поездов — это была плохо придуманная неправда. Если бы ей хотелось быть со мной, как мне с ней!

Наверно, в этот вечер я впервые почувствовал, что Лика ускользает от меня. Был даже порыв — бросить все, ехать вслед за ней, быть с ней, только бы быть с ней!

Но я остался со своим мышем.

Я похоронил его утром со всеми почестями — гражданской панихидой, — которая выражалась в мысленной речи в его честь. На бугорок я положил камень,

Лица открыла дверь, немножко отпрянула, глаза ее расширились. (Я все-таки поехал к ней дня через два.)

— Вот честно — не ожидала.

— Не рада?

— Глупый. — Распахнула мое пальто, ткнулась лицом в грудь, посмотрела снизу вверх, держась за лацканы. Когда она так смотрела, было в ней всегда молитвенное, добренькое-добренькое. — Фу! Мокрый. — Отряхнула кисти рук. — Ты не представляешь, как это здорово, что ты приехал. Просто я, правда, тебя не ожидала и внутренне не подготовилась — как будто срочный ввод без репетиции, — прости за профессионализм. И за правду! Я просто вся была занята иным, и ты меня застал врасплох — как будто я не причесана.

— Так и не научилась быть со мной естественной.

— Но и ты — тоже. — Она открыла дверь в комнату, повернулась на одной ножке, приглашая меня войти. Я задержался, пропуская ее вперед.

Стол был застлан газетами, под которыми ощущались вогнутости и выпуклости.

— Я тебя сейчас буду кормить... Ты никуда не спешишь? — Она посмотрела на меня с затаенным ожиданием, как будто хотела, чтобы я куда-нибудь спешил. — У меня все по-холостячки. Прости уж, — сказала она, откидывая газеты и раскрывая залежи на столе. Тут были открытые коробки шпрот и сардин, латка с недоеденной тушенкой, плетеная корзиночка с хлебом, надкусанный эклер, кувшинчик со сливками. Она попробовала пальцем кофеварку. — Еще теплый. Иди умойся... Нет охоты прибираться: поздно придешь, а утром — каждый день репетиции, перед выпуском. Одна. Раза два был Лео. И все.

Она пользовалась этим правом быть искренней и рассказывать мне все. И я был рад этому и с благодарностью принимал ее признания. В этом мне чудилась даже какая-то прочность нашей любви. И все же мне не верилось сейчас, что она совсем откровенна. А самое неприятное — игра в откровенность. Это уж хуже лжи и хуже воровства.

Умылся. Сел, налил себе кофе и сливок. Подумал: она ведь никогда не пьет со сливками — только черный.

— Ты пьешь теперь со сливками? — И пожалел, как будто шантажировал. Она покраснела.

— Нет. Это Лео. Как раз сегодня утром был Лео.

Когда она сказала «раза два был», — за этим звучало — был вообще, но не вот только же. А может быть, и ночью был? Да что это я — ревную? Нет, не хочу лжи. Мне кажется, я мог бы простить, если что и было между ними, но

мне нужна только правда! Как же: сам говорил, что она имеет право и не сказать всего, если... чтобы не травмировать...

— Утром забежал, принес сливки и эклеры, говорит: знаю, будешь угощать кофе, на большее ты не способна, а я эту горечь не переношу. Он ведь сладкоежка. Это, конечно, смешно — в таком агроманном мужчине. Но он... большой ребенок.

— Ты уже говорила об этом...

— О чем?

— Ну, что он большой ребенок.

— Не придирайся. Ты несправедлив к нему...

Она стояла перед зеркалом, подводя голубым веки. И только сейчас я понял, что она куда-то собиралась: ее плотно облегал дымчатое платье с широким стоячим воротом. Волосы схвачены заколками. Она распустила их, откинула на одну сторону, закусив заколки, и каштановая волна упала на плечо.

— Отращиваю! Знаешь, я вняла твоему совету — готовлю Офелию. Покажусь художественному совету. Что я теряю?!

— Ты молодец, — вдруг обрадовался я, кажется, поверив всему, что она говорила. Я хотел спросить, куда она собралась, но она взяла в горсть заколки и, прибирая волосы, опередила меня:

— Ты надолго?

Этот внезапный, как пуля из-за угла, вопрос, сбил меня с толку, мне показалось, что я мешаю каким-то ее планам.

— Да нет... заскочил... повидать... Вообще, нужно бежать. Много всякого...

— Ну вот всегда ты... — Мне показалось — она вздохнула с облегчением. — Подойди ко мне!

Она вынула из сумочки платочек, обтерла мне губы.

— Ты только знай... что бы ни случилось между нами, ты мне всегда будешь нужен. Ты — главное в моей жизни!.. Даже если ты меня бросишь... не сейчас, так потом... я приползу к тебе на брюхе, как кошка.

Она смотрела на меня серьезно и даже трагично, и глубоко в зрачках ее стыло смятение.

— Но почему ты сейчас... вдруг мне говоришь об этом?..

— Но это правда. Просто мне подумалось: ты — главное!

«Ты — главное» — такая клятва была, конечно, если и не убедительна, то приятна...

— Дим.

— Да.

— Если я тебя очень попрошу. Очень.

— Что? — Я очнулся от какой-то глухоты.

— Сейчас, что бы тебя ни держало, пойдем со мной...

Не спрашивай — куда, — опередила она мой вопрос. — Пожалуйста. Мне это очень важно! Я уже опаздываю.

— Но, может быть, совсем не обязательно, чтобы я шел? Я не входил в твои планы?

— Брось. Совершенно обязательно! Совершенно!

— Я рад... рад, — растерянно и с сомнением проговорил я.

Она подала мне пальто. Сама быстро оделась. Потянула меня за руку.

— Мы уже опоздали.

Куда можно опоздать? Театр — премьера, прогон? Офелия? Гертруда?

— Такси, такси!

И вот мы возле парадной. Вывеска: «Всероссийское математическое общество». Вот оно — Лео! Конечно — Лео! Опять — Лео. Кругом — Лео!

— Лео? — спросил я.

— Ты обещал ничего не спрашивать.

И опять потянула меня.

Гардероб был полон. И потому наши пальто свалили куда-то в общую грудку. Она повела меня энергично и уверенно, как циркач по канату, по узкой мраморной лестнице, на третий этаж, затем по полукруглому коридорчику и остановилась перед полуприкрытыми дверями, в которые был виден набитый доверху людьми амфитеатр-колодец. Тонкое лезвие прожектора было направлено на просцениум. На нем монументально, широко расставив свои ноги атланта, стоял Лео. Шелковисто, просвечивая розовым, поблескивала от яркого луча белобрысая щетинка его волос. Он облизывал свои лоснящиеся нежные губы, трогал себя за припухлый подбородок. Был слышен рокот его голоса, но слова были стерты, и только обрывки фраз прорывались сквозь общий гул: «...очевидно, что для всякого натурального ряда... квазиисуществования последовательность...»

— Ликушка, прости, зачем все это? Я не хочу, чтобы он подумал, что я пришел... чтобы... Зачем все это?

— Хорошо. — Она нервно сжала мою руку. — Он не увидит тебя. Просачивайся за мной. Тихонько. Встань вот за эту, ну за выступ...

— Зачем — этот... спектакль?

— Неужели тебе не интересно? Послушай... ну пемножко, и мы уйдем...

Вообще мне было уже интересно и любопытно: и о чем он там говорит, Лео, и зачем Лика притащила меня сюда, и чем все это кончится. Кроме того, отступить уже было нелепо. Единственно — я хотел теперь избежать здесь встречи с Лео. «Просочившись» вслед за Ликой в тамбур, я встал у косяка, за которым был недоступен взору Лео. Лика, пропустив меня, притулилась за мной.

Лео медленно, как водолаз, переступал с ноги на ногу.

— ...Таким образом, выживанию протоплазмы и ядра при переходе в состояние витрификации — остекленения — минуя гибельную фазу кристаллизации — при замораживании соответствует такая картина, учитывая сообщенные уже мною параметры и значения...

Лео тяжеловато повернулся, выставив на обозрение свой широченный зад, раздирающий прорези на полах пиджака, и, стерев вязь формул, которыми пестрела доска, лихо принялся писать новые — строка за строкой. Он развертывал «математическую картину» процесса — как стратег предстоящую баталию. Когда же, ломая мел, отбрасывая его и беря новые куски, он исписал половину доски, неожиданно раздались аплодисменты молчащего зала.

Я не понимал ни строки, ни полстроки, ни одной формулы — для меня это был темный лес, арабские письмена. Антимир. Это была демонстрация (для меня!) моего полнейшего не то что невежества в математике — просто природного кретинизма в этой области знаний. И глядя на этих людей, которые воспринимают всю эту кабалистику как нечто совсем обыденное, как какую-нибудь самую тривиальную симфонию или балетный номер, я думал, что я очутился в какой-то стране чудес. Я даже не подозревал, что в математической аудитории, столь далекой от сантиментов и эмоций, могут рождаться аплодисменты. И я понял, что Лео здесь котируется как математическая звезда первой величины. Тем временем Лео, исписав доску, «перелистнул» ее и продолжал на чистой. Он писал быстро и неотрывно. Несколько раз поставленная им эффектная точка сопровождалась всплеском аплодисментов.

И каждый раз при этом Лика подторкивала меня в ребро пальцем. Я косился на нее, — все лицо ее в отблеске проектора дышало гордостью и восторгом.

— Ты видишь, какой он, — прошептала она. — Ладно, идем, — потрогала меня за плечо, будто спектакль окончился, и выскользнула в коридор, вытаскивая меня за рукав.

Помогая ей надеть сапоги, подавая ей шубу, я видел в ее подбородке, складках губ, прищуре глаз, в самом взгляде его — Лео, казалось, он отразился в ней, как в осколке зеркала. И я опять подумал о ее способности перевоплощения, когда, как она говорила, теряешь себя, забываешь, что ты есть ты, — о полном растворении в другом «Я». Мне иногда казалось, что она преувеличивает эти свои способности, но сейчас я необычайно остро ощутил, что этот дар трансформации — от мимики к каким-то глубоким гормональным изменениям — действительно нечто врожденное, что-то такое, над чем она сама не властна.

— Какой он! А? — заглядывая мне в глаза, восклицала она на улице. — Ты не думай, — он для меня мальчишка. И никогда между нами ничего не может быть. Но я... Ты просто не понял его, не разглядел за накипью.

— Ликуша, я никогда и не сомневался в его способностях, в таланте, в его знаниях.

— Нет, ты не понимаешь... Понять — это уподобиться. Стать подобным. Им. Самим. Тебя не хватает на это... Да! Ты нетерпим, — распалялась она. — Ты только себя знаешь. И все, что от тебя отличается, — уже не истина, как любишь ты выражаться.

Я молчал: я ничего не мог ей объяснить.

— Конечно, — продолжала она, — он не золото, не ангел... Он есть то, что он есть, — ученый, а все эти штучки-дрючки — наносное. Если хочешь — маска. А душой он ребенок, ей-богу. Да, повторяюсь, большой ребенок.

— Со всем комплексом негативизма, эгоизма, инфантилизма — в двадцать-то четыре года?

— Мы все с легкостью необыкновенной обвиняем в эгоизме других — у себя же в глазу бревна не замечаем... Ну что ты против него имеешь? Сам не знаешь.

— Да в сущности — ничего.

— Вот — весь ты! Ну прости. Я хочу, чтобы вы помирились. Ведь, в конце концов, многое сделано вами вместе. Ты просто не имеешь права отмахнуться. Надо быть терпимее к людям...

— Я и не собираюсь отмахиваться. Он может взять свое.

— Да, «возьми свои игрушки», — как в детском саду... А ты не думаешь, что здесь одно от другого неотделимо, что вы только вместе могли бы... принести человечеству, может быть, не для себя, для людей... Ведь и ты без него... и все твоё дело... может...

— Что — моё дело?!

— Ничего. Не будем ссориться. Последнее время мы

встречаемся, только чтобы поссориться. Тебя нет — я скупаю. Думаю о тебе — как ты там... А стоит тебе приехать...

— Ну хорошо, я не буду приезжать.

— Не сердись... милый. Вадя! — Она меня так никогда не называла. — Ну пожалуйста! Знаешь, — оживилась она, — знаешь что? — пойдем в ресторан! Вчера я получила получку. Я угощу тебя нормальным обедом, а то ты там исхудал на сухомылке. Пойдем, миленький. — Она крепко стиснула мою руку и не отпускала.

— А Лео? Ты, видимо, обещала... ему...

— Я ему что-нибудь скажу... А вообще, я ему сегодня даже не обещала... Такси! — закричала она, щелкая пальцами.

И таксист, разбрызгивая снежную грязь, подкатил к поребрику.

Я вернулся в Пещеры взбаламученный, искореженный, верящий и не верящий в Ликину любовь, не понимающий, что происходит. И чтобы уйти от всего этого давящего, гнетущего, постоянно бередящего душу, я погрузился в работу. Я ходил и думал беспрестанно — в чем же дело: почему у меня не получается коррекция в точке последнего «жизневорота»? Думал до головной боли, до одури, до крошечных бессонниц по ночам... Нет, у меня решительно ничего не получалось с тормозом старости, и я решил отвлечься.

У меня явилась мысль: а что, если осуществить идею «восстания из праха», но теперь уже не амёб, а многоклеточных — например, летучих мышей. Почему именно летучих? — не знаю. В этом была какая-то средневековая кабалистика, а мне хотелось фантасмагорий. Мне нужен был праздник! Мне нужно было вновь поверить в свои силы.

Чтобы осуществить это рукотворное чудо, я решил воспользоваться голографией. Немало прошло времени, пока мне удалось сголографировать мышь когерентным лучом Рентгена в коллоиде биомассы, — тут пришлось повозиться и с выдержкой (она должна быть мгновенна), и с присадками, чтобы добиться особой четкости и контрастности... И вот однажды — при направлении опорного луча на застывшие дифракционные «волны» в коллоиде — летучая мышь ожила, возникла из этой биомассы, как Адам из куска глины.

Да, в цирке я имел бы потрясающий успех. Я штамповал мышей. Они вылетали из стеклянного чана с биоплаз-

мой, как голуби из рукава Кио. Они облепили потолок, повиснув на электропроводах, на люстре, ухватились коготками крыл за гардины. Они проносились, тихо пошвистывая, и едва ли не касались моих волос.

Я был, как дирижер за пультом.

В этот час опьяняющего триумфа ко мне вошли Лео и Лика. Упоенный своим экспериментом, я сразу не заметил их прихода.

Представляю себе: я был похож на средневекового колдуна, демонстрирующего зарождение мышей из кучи помоев, или на маньяка, окруженного своими ожившими галлюцинациями. Во всяком случае, именно такое я прочел в глазах своих гостей, когда наконец увидел их. Они и в самом деле решили, что у меня нечто вроде маниакально-депрессивного психоза, и все эти мыши, вылетающие из чана, мистифицированы мною для удовлетворения моей маниакальной страсти, точнее — для компенсации научной несостоятельности. Что я попросту посадил в чан этих мышей загодя и теперь забавляюсь, как только могу, и бредово убежден, что силой мановения волшебного жезла вызываю этих упырей из ничего.

— Не верите?! — воскликнул я, втайне даже радуясь парадоксальности эффекта.

— Нет, что ты, что ты... верим, верим, — приторно-урезонивающе говорил Лео, осторожно приближаясь ко мне. — А что?.. Так бы вот и людишек строгать. По одной болванке. Выбрать этакого раболепного идиота, олигофрена, такое человеческое пресмыкающееся и нашлепать полмиллиончика... Чтобы за тебя — в огонь... Нет, без трепач... Посадить их на каком-нибудь острове в Великом океане. Провести всеобщие выборы... В губернаторах — сам, как и положено творцу. А?

— Блестящая мысль. Я займусь этим как-нибудь на досуге, — поддакнул я как бы между прочим.

— Да... да... шутки шутками... — Он шарил глазами, что-то соображая, а мыши тем временем зарождались в зеленоватой мути прозрачного чана, просвеченного шупающим лучиком. Я приоткрыл чан, и несколько мышей взвились под своды потолка.

Лео бочком-бочком стал приближаться к чану. Я изящно преградил ему дорогу. Он протянул руку, кажется, пытаясь оттолкнуть меня. Я схватил его руку и сжал ее.

— Так мир, — возгласил он, отвечая на мое «пожатие». — Теперь я верю. Верую!

— Нет, Лео, — сказал я.

— Комплекс неполноценности! Мистификация! — заявил он без всякого перехода.

— Да. Мистификация, профанация, импотенция, деменция, — но мышки-то все же живые!

Лео соболезнующе подмигнул.

В проеме оставшихся незакрытыми амбарных дверей торчали любопытные лица рабочих.

— Живые! Из ничего! — И такой азарт успеха бился во мне, что хотелось дразнить всех — всех, кто усомнится в реальности свершившегося чуда.

В мгновенно наступившей тишине неопределенности прорезался вдруг голос бабки Маши — сторожихи со строительных объектов, которая по совместительству приходила по утрам прибрать в помещении для приемки оборудования:

— Давеча только сунулась — батюшки светы... Ну, картина, мне не впервой, — известная... Моему тоже, как упивши домой заявится, тоже завсегда мыши видятся... Увидела я эту галлюцинацию, да и говорю племяннику своему: «Беги к участковому, не иначе — белая горячка». Ну тот и побег. На попутке.

— Дура ты. Это же и тебе видится! Значит, и у тебя белая горячка, что ль?

— Словами-то не бросайся. Я капли в рот не беру... даже по великим праздникам.

Завывая по-волчьи, подкатил милицейский газик, затормозил, взвизгнув. Голубые фонари пугающе вращались в наступающих сумерках. Вежливо расталкивая любопытных, вошел участковый. И прямо — ко мне. В это самое время, как последний аккорд, я «отпечатал» и выпустил в мир новую стаю крылатых чудовищ.

— Товарищ, позвольте ваш паспорт! — взял под козырек.

Я вытащил его из заднего кармана джинсов вместе с остатками зарплат. Милиционер сличил физиономию с фотографией:

— Пройдемте!

— То есть?.. По какому праву?

— Было заявлено... Да и видно же... все это... все это... — Он не в состоянии был подобрать нужных слов. — Вы что, слепы, не видите сами? — вразумляюще показал глазами и растопыренными пальцами на шуршащий и мельтешащий мышиний рой, облепивший уже весь потолок и вылетающий в открытое окно. — Налицо — состояние алкогольного бреда. Иначе — белая горячка, — диагностировал милиционер. — Пройдемте. Разберемся. Объективными методами. И потрудитесь закрыть ваш котел.

— Товарищ сержант... уверяю вас... Вот мой документ... это всего лишь несколько необычный научный опыт.— Лео элегантно взял милиционера за локоток, склонился к его уху:— Эти мыши рождены из ничего— из биоколлоида... Но ведь вы тоже в сущности— из ничего, как и все мы,— из булки, из картофеля, из мяса...

Милиционер подозрительно покосился на Лео, соображая:

— Пожалуйста, и вы... пройдемте... будете свидетелем!— сказал он с ноткой угрозы.

— Благодарю. Я все сказал, что хотел. Можете запро-токолировать... У вас столько свидетелей и без меня.— Лео повел глазами на обступавшую нас толпу.

Среди сгрудившихся было уже много совершенно незнакомого люда: местные дачники, крестьяне, мальчишки с завязанными на голом пузе узлами рубах, туристы с ластами, в мохнатых панاماх.

В это время я опять, всем чертям назло, полыхнул лучом по чану. Через минуту из него выпорхнуло несколько мышей. Но они тут же начали наткаться на стены и предметы— падать: видимо, избыточное скопление углекислоты уже сказывалось на чистоте эксперимента: рожденные из «пены» теряли свои локаторные способности.

— Ну зачем ты так,— дотронулась Лика до моего затылка и отдернула руку, точно обожглась.

Публика завизжала и повалила из пакгауза.

— Прошу вас, пройдемте!— ласково, но тоном, не терпящим уже возражения, предложил милиционер.— Пройдемте, гражданин!

— Ей-богу, не вижу причин!

— Да?! Может быть, вы и не видите, но кругом вас люди... и они не слепы.

— Но я совершенно трезв.

Милиционер прикрыл нос, будто от меня разило сивухой.

— Не знаю, не знаю. Алкоголь. Марихуана. Героин. Мескалин. Псцилобин... Лекцию по криминалистике слушал... Просачивается через кордон... всякое... пройдемте. Составим протокол, проведем объективное исследование... на это!— Он щелкнул себя по горлу.— Если надо, мы извинимся.— Взял под козырек. Он был subtilen и почти нежен, этот розовый двадцатилетний милицейский мальчик. Паспорт был, однако, в его руках, и я, иронически подернув плечами, подчинился.

Толпа жужжала в палисаднике. Милицейский газик вращал своими голубыми фонарями.

— Кто пойдет свидетелем?

Скопище, как тень от дуновения ветра, слегка отколыхнулось, стало рассасываться. От общей массы отделилась бабка Маша, оправляя пояс на платье:

— Я согласна! Мне эти мышцы поперек горла вставши. Надо прекращать!

— Пожалуйте,— пригласил ее сержант, рыцарски подсаживая.

Лица просяще-вопросительно вскинула глаза на Лео, словно извиняясь перед ним, решительно шагнула к участковому, торкнула его указательным пальцем в плечо.

— Позвольте и мне... я поеду... Со своей стороны я могу удостоверить (она метнула словно бы даже осуждающий взгляд в мою сторону), что Вадим Алексеевич капля в рот не берет. Даже в день моего рождения пригубил лишь... Уверю вас!

— А вы, собственно, кем доводитесь?

— Жена... Да-да! Законная жена, не менее.— Вразумляюще подняла бровь — это у нее всегда красиво получалось: серповидно взведенная бровь.

— Простите, но именно по части законных жен... свидетельские показания... менее всего имеют силу. Не волнуйтесь, гражданка, разберемся по справедливости... Поймите и нас: мы не можем пройти мимо.— Окинул взглядом толпу и, почти влюбленно улыбаясь, козырнул. Вежливо пригласил меня в автомобиль. Я как-то рефлексивно оглянулся на Лео. Лео потрепыхал в воздухе пальцами поднятой руки, сделал двумя растопыренными пальцами что-то вроде знака «v» («victoria») или «детской козы» и изрек:

— Все это лажа, Димушка. Ну прокатишься в райцентр. Не убудет. А мы тут приглядим.

В этом «приглядим» мне послышалось нечто зловещее. Но я все же урезонивал себя: как бы там ни было и что бы там ни было — увлечение, психологический мазохизм, желание действительно нас помирить,— но не допустит она, чтобы Лео распоряжался здесь во зло: что-либо сломал или воспользовался записями. Уже через стекло я еще раз посмотрел на Лику: в голубовато-мельтешащем свете фонарей и отсветов от вспыхивающих фар иконписные глаза ее были полны искренней тревоги, она нервно покусывала губу. Поймав мой взгляд (шофер как раз прикуривал), она ободряюще улыбнулась и тоже помахала пальчиками сразу обеих рук, привстав слегка на цыпочки.

Газик заковылял по колдобинам и взгоркам проселка.

Хм! Все к лучшему в этом лучшем из миров,— усмир-
ял я себя,— протокол, так протокол. Все же вроде пер-
воначального свидетельства о приоритете и своего рода
патент.

Весь этот детектив в духе современных телевизионных
передач ничуть уже не угнетал меня, даже веселил, если
бы не Лео.

Сидя перед лейтенантом милиции, записывающим сви-
детельские показания бабки Маши («Вот ить какая га-
дость этот проклятуший змий, всех он жрет без разбору,
так и затягивает, так и затягивает. И порядочный с виду
человек, и грамотный, а вот ить привяжется такая па-
кость...»), я писал объяснительную записку. И думал о
Лео. Все казалось мне, что копается он там в моих доку-
ментах, дневниках, расчетах, графиках, осциллограммах,
заглядывает в чан-купель, откуда вылетают мои пенорож-
денные афродиты... А... ни черта он без меня не поймет.
Лях с ним! Лишь бы на пятнадцать суток не загреметь —
потому как новейший прибор по индикации винных паров
почему-то неизменно показывал, что я действительно на-
хожусь в состоянии крайнего алкогольного опьянения.

Протоколом дело и ограничилось. Подполковник пожал
мне руку, пожелав дальнейших успехов на «поприще чер-
ной магии», как он выразился, очень интеллигентно улы-
баясь.

Шофер милицейского газика в связи с окончанием ра-
бочего дня сам оказался «под газом». Тащиться же пеш-
ком ночью в свои пенаты по лесу двадцать километров
казалось мне излишней роскошью, и я решил переноче-
вать в местной гостинице, где мне был предоставлен са-
мый лучший номер — по броне.

Вернулся я в Пещеры на другой день к полудню. Ме-
ня встретил трепет встревоженных крыл. И полумрак
задернутых штор. Кафель был надраен — кем? Поуспоко-
ившись, мышцы повисли, как виноградные грозди. Я осмот-
рел первородную купель. Она была, по-видимому, в пол-
ном порядке. Записи-дневники и графики были аккуратно
сложены. Все было в ажуре. Но именно этот блеск и
настораживал: будто все делалось в перчатках. Здесь
витала тень Лео. И вдруг легкая дрожь прошла по
моему позвоночнику: в просвете между гардин я увидел
Констанцу, вытягивающую ведро из колодца. Вода плес-
нулась на голые пальцы ее ног, она отстранилась, подот-
кнула подол, обнажив упругие бедра, и, расставив ноги,
стала переливать воду в лейку. Да! Это была Констанца,
и она явно не подозревала о моем возвращении. Что ей

здесь надо? Идя своей верткой и легкой походкой (не смотря на грузность подрумяненного солнцем ее белого, я бы даже сказал — «дебелого», тела), она подошла к цветнику и принялась его поливать. Цветник тянулся возле дома в неприхотливом беспорядке, цвели красные лилии, маргаритки, ноготки. Я их не сажал, они росли сами, и мне никогда в голову не приходило поливать их.

Повесив лейку в сарайчик, Констанца подобрала рассыпавшиеся волосы, небрежно заколола их и направилась в дом.

Что мне оставалось делать — не прятаться же за шкаф? Я быстро расшторил окно и встал посередине зала — как для моментальной фотографии, чтобы она сразу увидела меня и чтобы никаких недомолвок.

Она вошла, тихо сказала «ой», одернув подол. Выпрямилась, с легкой надменностью запрокинула набок голову, отчего волосы рассыпались и волной упали на плечо.

— А, уже выпустили?.. Вижу, вас шокирует мое появление в вашей резиденции. Объясняя: о происшествии вчера же стало известно Зайцеву. Он послал меня присмотреть, если вы... словом, там... задержались... больше, чем следует...

— Откуда ему стало известно?

— Спросите что-нибудь попроще. Мне сказали, я...

— Слуга двух господ?

— Ага! — Она сузила свои кошачьи глаза, померцала ими, нагнулась, пряча за упавшей прядью лицо, нацепила стоявшие у порога туфли. — Будьте добры, подайте мне сумочку, вон там — за вашей богоданной купелью... Мерси. — Легко и изысканно крутанулась на носках и зацокала по кафелю. Мне оставалось взирать лишь на ее дерзко покачивающиеся бедра.

— Почему же Зайцеву?.. — все же не выдержал я.

Приостановилась, повернула слегка голову:

— Видимо, потому что он — и. о. ... Филин загорает в Ливадии. Всего доброго. Слагаю свои полномочия. — Наклонилась, взяла тряпку, бросила. — Подотрите за собой. Наследили. — И исчезла, легко притворив дверь.

«Здесь витала тень Лео и Констанцы».

Я впервые с такой отчетливостью осознал, что ведь Констанца — сестра Лео. Что именно она познакомила меня с ним, то есть даже не познакомила, а как-то странно подтолкнула меня к нему. И совсем уж нелепые мысли лезли в голову, в которых я никому бы не хотел признать-

ся: я плохо подумал об Иване Федоровиче и о всей этой затее с назначением меня зам. нач. ОКСа и «лесной лабораторией».

Мне показалось, что Лика вполне искренне обрадовалась мне, когда я нагрязнул через неделю, хотя холодок какого-то недоумения царил между нами. Обижаться, конечно, надо было бы мне, а не ей. Правда, она позвонила мне в Пещеры на следующий же день после моего триумфального возвращения из мест не столь отдаленных, но лишь затем, чтобы сказать мне, что я мог бы и позвонить ей «оттуда», что она всю ночь не спала и что на генеральную репетицию ей пришлось идти с головной болью. Я ей ответил примиряющей шуткой, что-то вроде: «Ну вот, с больной головы на здоровую». Это ее совсем разобидело, и она, крикнув, что ей надоели эти спектакли на публику со всякими крылатыми крысами, повесила трубку, моя же истерически запищала в моей руке... Да, встретила она меня радостно, подсакивая на одной ножке, размахивая соскочившей с ноги туфлей, хотя и настроенно, чуть отстранясь, будто я был все же слегка зачумлен и чем-то даже опасен. По комнате ходила, выдерживая некоторую дистанцию. На другого мужчину это, может быть, действовало бы разжигающе, но не на меня. Я тоже стал описывать какие-то ведьмины круги...

Боязнь разлада все чаще влекла меня вечерами домой, и я приезжал с последним поездом. Просыпаясь ночью, я замечал, что она сидит, подобрав колени к подбородку, и тревожно разглядывает меня. Я спрашивал: «Что ты?» Она гладила меня по голове и говорила: «Так». И вздыхала. Прощалась со мной, что ли?.. Я чувствовал, что она все отдаляется и отдаляется от меня, но словно бы и терять меня не хочет. К тому же я все отчетливее понимал, что она чем дальше, тем больше ищет во мне не то, что сближает нас, а то, что отдаляет: так ей было легче, видимо.

— Неужели ты думаешь, что я не хочу тебе удачи? — Она гладила меня по плечу.

— Ошибки в науке, тупиковые ситуации — те же удачи, — злился я.

— Может быть. Но если вся твоя жизнь будет только ошибкой? Тупиком?

— Пусть.

И все же я взбунтовался. Тогда-то, кажется, у меня и появилась мысль «записать себя», записать и небрежно

подарить ей пластинку со своим «Я» — подарить как нечто совершенно незначущее, как какой-нибудь твист.

Да, я хорошо помню, как зародилось у меня желание преподнести ей такой подарок. Но, собственно, игра самолюбия была лишь толчком. Мне не давали покоя мои пенирожденные твари. Естественно, я обратился опять к голографии... Запечатлевшись в застывших волнах дифракционной решетки биоколлоида, как бы ждущей лишь того, чтобы на нее был направлен луч лазера-проявителя, я всю эту «композицию» записал затем на пластинку из прочнейшего металла, который боится разве только плавиковой кислоты.

Потом уже в одной из прибрежных пещер, простирающихся под насыпью недостроенной железной дороги, неподалеку от своей «лесной лаборатории», поставил семь сосудов — для надежности семь — с биоплазмой и лазеры с радиоприемниками в крутящемся карабине.

Вообще все можно было бы сделать проще: запечатлеть себя «негативно» во всех этих параллелепипедах, а когда потребуется, нажать кнопку — пустить опорный луч в один из чанов — для проявки и материализации, но я боялся, что дифракционная сетка со временем может потускнеть и вместо меня явится какой-нибудь хилак, может быть в черно-белом варианте, или вообще никто не явится. В пластинке мне казалось надежнее. Впрочем, я, наверно, хитрил сам перед собой. Очень уж мне хотелось преподнести эту пластинку как сувенир, как нечто вещественное.

Значит, я в конце концов подарил ее Лике.

И вот теперь явился этот «Я»! Возникший из биоматериала, точный дубликат прежнего своего «Я» — со всеми потрохами, с умом, чувствами, знаниями, всем опытом своей жизни.

«Я», не знающий, куда идти, куда ехать, где найти пристанище, где преклонить голову...

Теперь оставался только вычислительный центр. Кот. Хотя Дим с ним так и не сблизился и их связывали только деловые отношения, но именно эта нейтральность (если она сохранилась) и была сейчас нужнее всего.

Кота на месте не оказалось.

Дим шел, по-прежнему обтекаемый толпой, и навстречу ему струился поток лиц. Внезапно что-то кольнуло его — взгляд, улыбка, жест... Знакомое что-то. Так и не поняв — что, он подумал: «очень знакомое», как будто он

сам шел навстречу себе. Дим оглянулся, но тот человек уже исчез в водовороте голов. «Что, если жив я — тот! Что, если я не умер? Что, если НАС, совсем одинаковых, оказалось двое — похожих до последнего атома?.. Двое — разъятых лишь в пространстве? Я здесь, он — там, в нескольких шагах от меня. Когда я один — я есть я, умерший и воскресший, но когда появляется еще один такой же — то я уже не есть я? Как валет на игральной карте. И чтобы кому-то из нас стать Вадимом Алексеевичем, другому из нас надо умереть? Значит, если есть тот, — я мог и не возникать вообще? Значит, рождение совсем подобного — это еще не рождение того же самого?» Это было непонятно — как непонятна бесконечность пространства, и холодило сердце тоской безысходности... Дим прогнал эту мысль.

И все же он не мог отделаться от этой мысли.

Однотельцевые двойняшки рассказывали (вспомнилось ему), что в их раннем детстве бывали моменты, когда один, глядя в глаза другому, вдруг испытывал какое-то умопомрачение, — и одному и другому начинало казаться, что они слились в одно, что каждый из них на мгновение как бы умер в другом, когда становилось непонятно — «Я» это «Я» или «Я» это — «Ты». И если в минуту такого всепоглощения безболезненно умертвить одну из половинок (плоть одного из них), то они останутся жить в одном, двое в одном — как одно целое! Так?.. Так ли?..

Дим вздрогнул. Прямо на него шел в нейлоновом стеганом ватнике взъерошенный очкарик. Его давний приятель — однокашник по университету.

— Сколько лет!.. Ну как? Выглядишь на все сто. С юга? Слышал, слышал — выгнали. Так и не защитил? Неудачники мы с тобой, — досадливо цыкнул сквозь зубы. — Я вот тоже никак... Одну пьесу мою, может, слышал? — «Мастодонты» — под чужим именем поставили и заголовок переменили, — судиться буду. А вообще-то все хорошо. Ну, бывай.

Нет, это все показалось. Никакого двойника не было.

Солнце ушло за дома и теперь сквозило своими полыми лучами вдоль переулков и улиц.

Похолодало. Он надел плащ, который весь день таскал на руке, не замечая.

Из-за домов прорезалась луна — красная и плоская, как картонная декорация в опере. Медленно тащилась она за ним по крышам дальних домов.

У дверей квартиры 24, где жил Кот, Дим остановился. На звонок никто не вышел, только жалобно и едва слыш-

но замаякал котенок. Дим спустился во двор, уселся на скрипучие железные качели, похожие на беличье колесо, поднял воротник плаща, с радостью вспомнил о припасенной сигарете. Прикурил у проходившего паренька. Задымил.

Вечер выдался теплый. Луна уже успела взобраться в самое поднебесье, побледнела и куталась в дымчатые шлейфы облаков, выглядывала и вновь прикрывалась вуалью. Дим усмехнулся, откинулся, отталкиваясь носком ботинка, раскачал качели, покачался, и ему казалось, что дым его сигареты вместе с облаками обвивает луну. На него напозла дрема, и в сознании выстраивалась картина тех дня и ночи — незадолго до того, как он ушел в пластинку, — когда он почувствовал, что Лика ускользает от него.

...В то время я упорно готовился к самозаписи. С помощью Кота совершенствовал ЭМГ — электромагнитный голограф, — который уже дал эффект на летучих мышах. Кот, как всегда, был бескорыстен, — правда, эксперименты по биозаписи были в русле его научных интересов. Был корректен, предельно пунктуален, со временем не считался, но и к себе в душу не пускал. Я ездил в Вычислительный центр, но несколько раз и Кот приезжал ко мне в Пещеры. Особые затруднения вызвала проблема передачи стереопроекции на расстояние: предполагалось, что передатчик, считывающий запись и передающий ее в чан (или чаны) с биоплазмой, и сам этот чан (чаны) должны находиться на расстоянии нескольких километров. Кот делал необходимые расчеты — впрочем, для чего и почему, его опять-таки не интересовало.

Я был обязан ему и материально — он помогал мне с электроникой. Делал это он как-то сверхэлегантно, как говорится, ничего не требуя взамен. Был он холостяком, зарабатывал хорошо, и все деньги, сверх скромного бытового бюджета, уплывали в основном на книги, но если надо было, он не задумываясь отдавал их на «незапланированный» или «непрофильный» эксперимент.

Шли последние доводки, и я безвыездно жил в Пещерах.

Как-то уже под вечер нежданно-негаданно в моем курзале появились Лика и Лео. Я в эту минуту занимался кормежкой мышат. Лео нес большую сумку с молниями, через руку его был перекинут Ликин плащ. Лика задержалась, закрывая на крючок калитку, а потом, догнав Лео,

просительно выглядывала из-за его могучего плеча и словно бы подталкивала его — мол, не бойся, все будет в порядке.

Я нехотя приподнялся.

Подойдя, Лео лениво бросил сумку на скамью и поднял руки — то ли сдаваясь, то ли распахивая объятия.

— О-го-го. Старик! — Он топтался вокруг меня. — Моя милиция меня бережет. Я безмерно рад, что вижу тебя в полном боевом комплекте.

— М-да... Чем обязан?

— Не лезь в бутылку. Пойми ты, чучело, — сказал он нежно, — я тебе только повредил бы, вызвавшись в свидетели... От меня элементарно пахивало, — Лео демонстративно дыхнул, выпатив губы, — нас обоих постригли бы на пятнадцать суток, а так ты отделался легким испугом. Видел бы ты себя со стороны в те неповторимые мгновения, когда из твоего чана вылетали эти упыри, а ты, как Мефистофель из оперы Гуно «Фауст», плясал вокруг. — Лео убил севшего на его лоб комара. Лица шумно вздохнула под самым ухом и сделала безвинно-молящее личико.

— Дим, — умоляюще плеснула глазами, толкнула меня пальцем в грудь. — Лео сделал все, чтобы вызволить тебя. Ты... несправедлив. И вообще... ты непримирим к тому, что не есть ты... Хотя сам...

Нет, я все же не мог преодолеть чувства острой, как приступ тошноты, неприязни. И я знал в то же время, что это не ревность. Если действительно баба ушла — при чем здесь ревность? Ну, а если не ушла — тоже ни при чем. Он мне был отвратен, и все же я не мог послать его ко всем чертям. Он был все же гость, и надо было соблюдать этикет.

— Присаживайтесь, — бросил я. — Сейчас закончу кормежку.

Лео уселся, расставив свои колени. Уселась и Лика, непринужденно болтая ногами, хотя было видно, что взвинчена она до предела.

— Нет худа без добра и добра без худа, — заметил Лео, поглаживая себя по лоснящемуся ежику волос. — Да... — пожевал губы. — Знаешь, старик, от сумы и от... А твое пребывание в кутузке — вполне наглядное свидетельство, что твоя идея вполне сумасшедшая, то есть истинная, — шутил он, достав пилку и подправляя ногти. — Без трепанья... Теперь-то... — Он развел руки, задрал свой золотисто опушенный подбородок, причмокнул. — Это не то что восставшие из праха амебы. Это уже — о-го-го!

Каюсь, не поверил в свое время и давеча было усомнился... Но если сам Эйнштейн заявлял, что он скорее откажется от своей кривой вселенной, чем согласится на прыгающие, как блохи, кванты, то, прости меня. А между тем у меня именно больше оснований носить камень за пазухой: ты отвернулся от моего... от моих исследований в области мерзлоты и ведешь себя, как Моисей на горе Синай после беседы с господом богом... Хотя и теперь, если начистоту, не убежден, что бессмертие плоти — благо в наш достаточно еще захламленный век. Сколько еще было жлобов, недоумков бродит по закоулкам нашего шарика... Ими ты заселишь вселенную? Не о духовности ли прежде всего стоит позаботиться?.. Об интеллектуальном. — Лео ткнул пальцем в землю, как будто поставил восклицательный знак. — И все же привел меня к тебе тот же данный нам от господина инстинкт познания... интересы науки! Прости, конечно, за трюизм. Это без хохмы. Поверь... Ну да ладно, богу — богово, — лукаво сверкнул глазом в сторону Лики. — А слона баснями не кормят, как говорят в нашей деревне, — дернул за молнию, отверз сумку, подбросил на ладони бутылку коньяку, сдернул зубами пробку. — Где сосуды в этом доме? Впрочем, — достал три стопочки, — фирма гарантирует... Как в лучших домах Филадельфии. — Он извлек кетовую икру, янтарно просвечивающую сквозь пластик, сервелат, буженину, рокфор, несколько плиток шоколада «Конек-Горбунок». — Все мамочка приготовила. Бюро заказов на дому. Ну давайте, давайте — за вечный союз богов — языческих, христианских, магометанских. Ну, ей-богу, хорошо в лесу! Нечто языческое. С природой на брудершафт. А? Хо-хо... — Лео плеснул в три стопочки. — Прошу.

Лика покачала головой:

— Ты забыл?

— А... да. У Лики завтра премьера. И посему — табу. Прошу, Дим! Опять же — нет худа без добра: есть официально за что... За успех!

Я взял нехотя. А Лео процедил довольно властно:

— Да пригубь, Ликушка. Помочи губки. Два таких парня просят.

Лика пригубила. Встала резво:

— Мальчики, я пойду поброжу окрест — на реку... А вы... поболтайте. Вы, право, действительно оба отличные парни... чего вам делить? Мне же перед премьерой необходимо побыть наедине с собой. — Она сделала ручкой, покачав пальчиками в воздухе.

И пошла, натянутая как струна, чувствуя спиной наши взгляды.

Это было похоже на предательство: как будто меня стукнули в подбородок. В воздухе повисла тоска — заныли зубы.

Быстро опрокинув еще стопочку, Лео долгим взглядом посмотрел на меня сквозь белобрысые свои ресницы:

— Как говорится, все могло бы быть иначе... Все-таки идиотизм,— когда люди, созданные для одного дела, не понимают друг друга. Не... комму... ни... кабель... ность! И не перешагнешь.

— Бывает, и не перешагнешь,— как-то неожиданно философски ответил я.

— Ну, знаешь: тут надо просто преодолеть. Превозмочь. Да... Все-таки чудило ты гороховое. Сделать такое сенсационное открытие и сидеть на гнилых консервах!.. Да я бы... Мужчиной надо быть, мужчиной... Почему ты не подаешь?..

— Хотя бы потому, что это только начало — этап... звено.

— Как говорили великие, дайте мне звено, и я вытяну всю цепь... Росомаха ты,— сказал Лео нежно,— психастеник. Гамлет. В конце концов, ты просто не имеешь права зарывать...

— Ничего, я не зарую!

— Бодрисься... А ведь сделать мало. Семьдесят процентов усилий надо положить на то, чтобы пробить и доказать, что ты не каракатица... Ты... ты просто не уродился на это. А с тобой вместе мы составили бы прекрасную пару — пару гнедых — диполь. И чего ты закинул-ся? — Он мягко улыбнулся своими яркими лоснящимися губами. Глаза его напряженно мерцали — как полуночные звезды. — Да, со мной ты имел бы уже «доктора», и лабораторию, и подручных. А ты кустаришь! Индивидуалист ты, мямля! Не обижайся. Я тоже не бог весть какой Геркл. Вахлак! Но все же...

Его глаза продолжали нервно мерцать, и в этом мерцании мне почудился взгляд Констанцы. Я даже вздрогнул, как будто это она посмотрела на меня из глаз Лео. Генетическая чертовщина.

— Кошечка моя не понравилась? Моя кхмерская кошечка. Хо-хо.— Лео энергично скрюченным указательным пальцем стер слюдогу с губ.— Ну так вот... Ничто человеческое... Аскегизм чужд нашему мировоззрению.— Лео чуть-чуть покривился, словно почувствовав на языке привкус несвойственной ему лексики: вообще-то он был

достаточно прям и не унижал себя демагогией.— Так в чем же дело? В чем? — Избычась он смотрел на меня, выжидая и уже настоятельно требуя ответа.— Ну?

Я молчал, слишком долго, пожалуй. Что я мог сказать? Что он мне просто противен, что мне претит его безапелляционный напор, его грубость, самодовольство, что он не чувствует чужой боли и слишком любит свое тело, что он пришел в науку с отмычкой, что, не попади он в науку, он с таким же успехом мог бы отнимать у дамочек сумочки в подворотнях, вообще в нем было нечто, перед чем я пасовал,— слепая хулиганская воля. Мне казалось, что и в детстве он отрывал мухам крылышки и вешал на чердаках кошек, что он не задумался бы сбросить над Хиросимой бомбу, если бы его хорошо попросили, и, между прочим, не тронулся бы потом умом, как тот бедняга Изерли.

Впрочем, я наверняка преувеличивал, но так я думал теперь и ничего не мог поделать с собой, хотя прямых доказательств у меня не было — все чистая интуиция. Может быть, все это было не в таких категорических красках, но... Я не мог произнести разоблачительной речи, но что-то должен был ему ответить!

— Что, Димуля, тебе нечего сказать? Ты вот совестишь меня, а вместе с тем ты постарался забыть, что я некоторым боком причастен к твоим пенорожденным мышкам. И думаешь, я не соображаю, что без математика ты не мог обойтись. Меня-то ты оттер, но кто-то у тебя есть. Свято место пусто не бывает, малыш. Так?

Вообще-то так. Я молчал.

— Хо! Мессия. Чистенький! Кто кинет в тебя камнем! Ты прости меня за этот пафос,— он нервно провел скрюченным пальцем по нижней губе,— но если ты, по крайней мере, прямодушен, правда тебе не уколется глаза. Ты слишком отдаешься эмоциям. А они, как установлено наукой, возникают, когда паникует разум: при дефиците информации. Загляни-ка к себе в душу... взглядишь, взглядишь,— он поднял палец,— в себя взглядишь, взвесь все.— В его голосе звучали проповеднические ноты.— Честно, не ждал я от тебя такого предательства. Не ждал, Димка.— Он протянул руку и тронул меня за плечо, заглядывая в душу.

— Нет, Лео. Ничего у нас с тобой не выйдет,— сказал я тихо и слишком спокойно.— Не выйдет, даже если бы я захотел...

— Мистика. Гофман. Кафка. Джойс. Почему?

— Не исключая — может быть, и мистика,— сказал я тверже.— Что же касается тобою вложенного — ты вправе

взять его вместе с моим, то, что уже не отпорешь без заплат. Это твое право!

— Спасибо, детка. Ты щедр. Ты думаешь, по скудости своего умишки, набиваюсь тебе в кумовья? Я тоже не лыком... и в твоей славе не нуждаюсь, тем более что с нее портянок не сошьешь. Дело мы с тобой начали гигантское. Обидно. Дурило ты, упрямец. Ладно, оставим вопрос открытым... Вон идет наша Гертруда. Роль, видимо, подзубривала. Береги ее,— сказал он вдруг с каким-то зловещим намеком.

Мы поднялись к ней навстречу.

Она шла как-то странно, бочком, прижимая к глазу носовой платок.

— Мальчишки, ой-ой-ой,— застонала она и запрыгала на одной ножке.— В глаз что-то попало — как толченное стекло.— Здоровым глазом она остро смотрела на нас: что тут у нас происходит?

— Дай-ка, может, мне повезет.— Лео взял платок из Ликиной руки, наострил уголок и, смешновато топчась, приоткрывая пальцами Ликино веко, пытался вычистить соринку. В его толстых пальцах была сноровистость и нежность, но у него ничего не получалось. Лика охала и тяжело дышала, топала ногой.

Вскоре ему надоело, и он сказал:

— Там ничего нет. Просто натерла.— И стал ее гладить по головке.— Пройдет. Посиди. Остынь малость... Забудь.

— Как, забудь? Режет, так режет... о-о-о...

— Да брось, кажется тебе! Ничего у тебя там нет, ей-богу.

— Дим, посмотри! — Лика несколько демонстративно приблизилась.

Лео вдруг надулся, стал покачиваться из стороны в сторону, сопел:

— Не могу я... Меня от своей-то крови мутит. Чувствителен! У тебя, может быть, лучше получится,— как бы санкционировал он и зашагал за угол дома.

Я вывернул Лике веко и, по мужниному праву, провел языком. Она поморгала, прикрыла веко, прислушиваясь, улыбнулась:

— Лучше. Спасибо... Лео! Куда ты там удалился?

— Сейчас. Может же человек побыть наедине с собой? — сказал он шутейно. Но вскоре вернулся:

— Порядок?

Лика ждала его появления, словно боялась остаться со мной с глазу на глаз. Лео поймал Ликин взгляд,

— Так мы едем? — постучал ногтем по часам.

Это «так мы едем?» тем более укололо меня, что было произнесено обыденно, с каким-то властным правом и как будто меня здесь не было. Лика почувствовала бестактность Лео, заерзала плечами, посмотрела на меня извиняющимися, озабоченными глазами:

— Мы с Лео договаривались, что уедем последним поездом...

— Но вы уже опоздали. Поедете утром.— Я рад был и не рад этому. Мне очень хотелось, чтобы она осталась. Но Лео? Для нее он, кажется, был уже совсем не лишним.

Когда ложились спать, Лика шепнула мне, что со мной ей неловко. Чтобы я лег отдельно. Раньше ей не было неловко. И при Лео она ложилась со мной. Я постелил ей на широком диване, где сам спал обычно. Для нас с Лео притащил две охапки сена.

Была теплая ночь, в пакгаузе было душновато, и я открыл створки окна. Вскоре к нам заглянула высокая луна в ореоле. Она ярко горела в расшитом россыпями звезд августовском небе.

Пахло смолой, сеном, потянуло прохладной сыроватостью и сладковатым запахом болотных трав и водорослей. Лео быстро засопел, похрапывая, на его полнощеком рыхловатом лице бродило благодушие, полные губы почмокивали, могучее плечо и рука красиво выпростались из-под шерстяного голландского пледа. Я поймал себя на том, что смотрю на него как бы глазами Лики. Я чувствовал, что она, затаясь, не спала. Луна еще не коснулась ее. В темноте лица ее не было видно.

Я задремал.

Они уехали утренним поездом, а еще через день я получил телеграмму: премьера откладывалась на конец месяца.

Эти дни до премьеры — до того рокового дня, когда я увидел ее в последний раз, я все занимался обдумыванием, как лучше обеспечить надежность самовоспроизведения. Надо было заказать несколько прозрачных чанов, наполнить их биоплазмой, содержащей все необходимые компоненты: аминокислоты, нуклеотиды, микроэлементы. Несколько чанов — как несколько запасных «яиц»: если бы я не вылупился из одного по какой-то причине, то другое должно было служить страховкой, если бы и второе подвело, проекция переключилась бы на третье. Такая система, обеспечивая надежность, напрочь исключала появление близняков, чего я инстинктивно боялся больше всего.

К тому времени я уже приглядел прибрежные гипсовые пещеры, которые, по-видимому, в давние времена использовались обитателями средневекового монастыря как отшельничьи кельи. Из его развалин к пещерам шли подземные ходы. В одной из таких пещер я собирался установить по кругу семь чанов, а в середине — телеголопроектор. Само же мое «Я» могло транслироваться с пластинки, удаленной на расстояние до ста километров. По расчетам Кота, для передачи могла быть использована коллективная телевизионная антенна — обычная антенна, крестами торчащая на наших домах...

...Ртутная гладь канала. В ней зыбко колышутся истонченные перистые облачка. И скользит тонко, то и дело забираясь под перышки облаков, легонькая сережка луны.

Мы идем с Ликой из театра. Я долго ждал ее у подъезда, пока она разгримировывалась. Все боялся, что подойдет Лео, которого на «генеральной» почему-то не было. Она меня вызвала телеграммой.

Стучат ее каблучки, отражаясь эхом от сумрачных уснувших громад домов, нависающих тенями над каналом. Фонари уже притушили.

Я не держу ее под руку. Я чувствую ее плечо. И она доверчиво прижимается ко мне. Мне хорошо, и, кажется, ей тоже.

Она недовольна собой и жалуется: Гертруда, конечно, не ее роль. Возраст она преодолела — вжилась в сорокалетнюю женщину. Но все же ее подлостью, жестокосердием она проникнуться не может — ее Гертруда слишком расплывчата... Я утешаю, говорю, что хорошо иногда сыграть что-то совсем не похожее — для «преодоления материала», переступить себя... Она поддается моим утешениям, она ловит их прямо кончиком носа. Она мне признательна.

— Только ты меня понимаешь, — говорит она и благодарно снизу вверх заглядывает мне в глаза. — Ты не думай — все это неправда. Я — о Лео. Я знаю — ты думаешь... Я твердо поняла: у меня есть только ты!

Она склоняет голову к моему уху. У меня счастливо кружится голова.

Так мы идем — рядом. И мне не хочется, чтобы кончилась эта неправдоподобно прекрасная ночь. Так бы идти и идти, и чтобы конца не было этой дороге, — плечом к плечу...

Проснулся Дим внезапно — из-за дома бил луч восходящего солнца. От Диминого шевеления скрипнули железные ободья качелей. Он вытер лицо ладонью, встал, ежась от холода, передернул плечами, потянулся. Одна нога была как не своя — затекла и свербила мурашками. Теперь она отходила, теплела и оживала.

Нет, в такую рань к Коту было идти неловко, но и сидеть было холодно и тоскливо. И Дим опять пошел по пустым еще улицам, залитым торжествующим утренним солнцем. Распушив усы, ползали поливальные машины. На деревьях сверкали капли.

С утра Кота на работе не оказалось: «Пошел к цитологам — в соседний институт».

И опять Дим пошел бродить.

И опять ему навстречу текла людская река. Бесконечная вереница очень похожих и очень (слава богу!) непохожих мужчин и женщин, которых он никогда еще не видел и, может быть, не увидит никогда.

...А толпа все текла и текла — из прошлого в будущее, из одного десятилетия в другое, из столетия в столетие.

В общем потоке проплывали несколько необычайные группки иностранцев. За то время, что Дима не было на этом свете, их еще прибыло в общем потоке прохожих. Их можно узнать не только поговору — главным образом по каким-то «не нашим» выражениям лиц (и даже затылков), кажется, более жестковатым и любезным, по одежде, изысканно простоватой или излишне экстравагантной. Но в общем-то, в общем-то и они сливались в многоцветном и однородном течении человеческой реки, воды которой, собираясь из многих ручейков, постепенно стекались в половодье человечества...

...Кот сидел, уставив взор в блуждающие глаза электронного шкафа. Лицо его было созерцательно-трагично. Бородка пламенела, как детский флажок. Она призвана была компенсировать полное отсутствие волосяного покрова на голове. Кот начисто не воспринял появления Дима — он, истинно, пребывал в другом измерении. В фазовом пространстве.

— Старик,— позвал Дим немножко наигранно, сам уже пугаясь своего появления.

Кот похлопал себя по бывшему ежику, вызволяясь из своего дремучего состояния.

— Привет, старина, где ты пропадал?

У Дима отлегло от сердца.

— Было тут всякое.

Кота вполне удовлетворил ответ, он мотнул головой, предлагая стул. Дим сел, а Кот, оторвав листок календаря, остервенело стал наносить какие-то формулы.

Машина тихо что-то бормотала, вздыхала, посвистывала.

Так продолжалось минут двадцать. Кот был мученически сосредоточен. Наконец он поднял оторопелые глаза:

— Посчитать?

— Посчитать. Любит, не любит, плюнет, поцелует, к сердцу прижмет... Посчитай. Выведи алгоритмы.

— Вас понял. Бузделано. Без трепача, — именно этим я сейчас и занимаюсь — эмоциями. И думаю, как бы вообще обойтись без них...

Он немного пожевал свою бородавку.

— Понимаешь, я пытаюсь теперь отфильтровать эмоции. Может быть, я уберегу отрицательные — боль?.. Ведь на кой лях она? Страдания?

— Думаешь?

— Черт его знает — хочу попробовать. Вообще покрутить. Может быть, оставлю одно рацию — *per se**, В чистом виде. Впрочем, это, видимо, бессмыслица.

— Я думаю — бессмыслица. Хотя бы потому, что интеллект вообще неотделим от эмоций. Нет мозга без тела, которое тоже мыслит... Вот уж не хотел бы, чтобы после смерти моего тела оставили жить голову: жизнь головы без тела ущербна именно интеллектуально. Да, в первую очередь... Поэтому бессмертие духа неотделимо от бессмертия тела...

— Ах, старик, ты все о своем бессмертии... Но увы — чем долговечнее плоть, тем хуже для интеллекта. Ну живет какой-нибудь Михаил Степанович... С годами создает свою концепцию... Коснеет в ней, как улитка в своей раковине... Амортизация ума слишком дорого обходится обществу.

— Значит со... скалы, как древние своих немощных старцев?

— Не ерепенься: чтобы обновить ум, надо его сначала уничтожить... Не зря ведь мать-природа ничего или почти ничего не делает, чтобы передать знания по наследству. Смерть — охранительный рефлекс вида.

— Я уверен, что интеллект со временем возвысится до такой степени, что безболезненно сможет опровергать са-

* *per se* (лат.) — в чистом виде, без примесей.

мого себя,— просто сегодня на это ни у кого не остается ни сил, ни времени... И именно смерть, которая постоянно гнездится в подсознании, и есть первопричина консерватизма интеллекта!

— О... апперкот!

Они давно уже покинули вычислительный центр. То есть это мягко сказано: по причине позднего времени их попросту попросили и опечатали дверь. Дим намекнул Коту, что рассорился с женой, и Кот пригласил его к себе, в свою холостяцкую квартиру.

Спор кончился тем, что Кот достал бутылку венгерского искристого — похожую на кеглю — и, разлив в стаканы, сказал:

— Не знаю, как ты, старик, но, когда настанет мой черед отдавать концы, я поступлю по-эллински.

— То есть?

— Как Сенека. Сяду в теплую ванну, попрошу неразбавленного вина и предамся философским раздумьям, считая этот день самым счастливым в своей жизни.

— Врешь. Слишком уж красиво.

— На этот раз все претензии Сенеке... Мне же по душе его сентенция: пока ты жив, смерти нет...

— За бессмертие плоти и ума! — сказал Дим.

— За смерть,— сказал Кот.

И они звякнули стаканами.

Несколько дней Дим прожил у Кота, собираясь с мыслями.

Съездил в Пещеры.

В кирпичном пакгаузе царили одни летучие мыши — те самые или их потомки. Пахло затхлостью и пустотой.

Когда Дим вышел из помещения, ему показалось, что между тихих берез мелькнуло лицо — глаза. Захрустел валежник. Волной засеребрилась листва. Какая-то кошачья повадка и гибкость... Ему была знакома эта изощренная мягкая гибкость...

Он вернулся к Коту со всеми предосторожностями конспиратора.

Сверхтактичный Кот ни о чем не расспрашивал. Ему, однако, не давал покоя незавершенный спор. И вечером, приходя с работы, он выдавал:

— Нужна смена поколений. Ты хочешь отнять от при-

роды причудливую игру красок, в результате которой она, пусть случайно, но хоть раз в столетие может выдать гения. Ты хочешь отнять у нее муку любви.

— Напрасные подозрения. Я не сторонник кастрированного рая. Пусть рождаются дети. Пусть спорят бессмертные интеллекты разных поколений.

Кот усмехнулся:

— Можно подумать, что ты уже что-то такое... сообразил?

— В том-то и дело, что я не знаю этого... Мне кажется, что я все же что-то сообразил... Иначе зачем им было убивать меня?!

— Повтори — не понял.

— А... так... мысли вслух...

Кот не мог скрыть недоумения и даже, видно, заподозрил неладное, но, как обычно, не подал вида.

Дим вышел из дому, купил «Вечерку», и ему сразу в глаза бросилось объявление:

«...Состоится защита диссертации на соискание степени доктора физико-биологических наук Лео Павловичем Левченко на тему «Излечение рака печени у кроликов методом реабилитации патологического биополя». С диссертацией можно ознакомиться в НИИ экспериментальной биологии и эндокринологии».

Хоп, вот это да!

Дим пришел в назначенный час. Актальный зал был полон. Дим уселся в заднем ряду.

Что он мог? Он был никто. Его вообще не было в природе. Он мог бы смутить «самозванца» своим появлением. Но это значило выдать себя противнику, и не так-то он прост, этот Лео, чтобы смутиться. Выйти на паперть и набить диссертанту морду? Заберут в милицию, будут судить. А как хотелось просто набить морду. Наверно, потому, от греха, решил он уйти. Не мог он слышать свои слова, свои мысли, свои методики из уст этого подонка, слышать и быть бессильным помешать этому. А впрочем: «Что в имени твоём?» Никому не ведомо имя создателя колеса или «Слова о полку Игореве». Что мне Гекуба, что я Гекубе?..

Дим вышел. Он ездил в переполненных троллейбусах. Ходил по городу, сидел на скамейках в скверах, опять куда-то ехал в вагонах подвешенной дороги, спускался в метро, и в толпе ему было легче, он как бы действительно переставал существовать.

В конце концов, непонятно как, он вновь оказался у парадной института, где шла защита. Впрочем, все уже кончилось: медики выходили, обсуждая событие. Они были скептически, они сомневались, что вообще есть какое-то поле печени или что-нибудь подобное и что можно лечить, воздействуя на деформированные потенциалы этого поля. Как хотелось врезаться в эти диалоги!

И вот глаза Лео. Он, видимо, заметил Дима, вздрогнул, пожал плечами, надвинул на глаза шляпу, зашагал своей гиппопотамьей походкой. В длинном плаще, телепавшемся по икрам, бородатый, он напоминал не то народника, не то кучера, не то сельского попа. Дим смотрел ему вслед — в кургузую спину. Он смотрел, ненавидя и бессильно сжимая кулаки.

И вдруг Димову шею обвили чьи-то руки, на одной из них болталась сумочка.

— Димка, Димка, ты?

Дим стряхнул с себя то, что ему показалось — и действительно было — Констанцей. Это было нелепо и сумасшедше, как будто какой-то пошлый розыгрыш или шантаж.

Она была в белом развевающемся плаще, в замшевых сапожках на высоком каблуке, волосы ее казались темнее, чем прежде. Ее глаза наполнились слезами. Они сияли счастьем, каким-то безумием счастья, и все нежное круглое ее лицо было просто наэлектризовано счастьем вопреки всему, несмотря ни на что.

— Димушка, миленький, солнышко. Не верю, не верю. Просто мне очень везет, я везучая. — Ее бессвязная речь, какой-то несусветный лепет и весь ее вид ошеломляли. — Ты не узнаешь меня? Или это не ты? Дим? Но ты пахнешь, как ты.

Она потрясла его за плечо:

— Дим!

— Нет, отчего же, я — это я. А вы — это вы. Констанца Левченко — из ветинститута и... по совместительству... Впрочем, не знаю, где и кому вы сейчас служите.

— Вы?.. Ты говоришь мне «Вы»?

Дим начал соображать: «Эта женщина хочет воспользоваться тем временным провалом, который отделял его теперешнего от того, который был? Спектакль на публику?» Он не мог одолеть неприязни... И все же ее поведение было слишком нелепым.

— Идем же — к нам... Тебя ждут Леша и Дима.

Это было уж слишком.

Загипнотизированный всей этой чудовищной нелепостью и ощутив вдруг всю беспомощность свою — в чужом мире, где он был — не он, Дим пошел с ней рядом. Все показалось вдруг ирреальным, как бы зеркальным отражением.

Она втолкнула его в такси.

Лифт поднял их на девятый этаж.

Почти до самого окна доставали верхушки сосен. Они раскачивались — с каким-то отрешенным покоем невозмутимой вечной мудрости деревьев.

— Садись. Вот твои письма... А я сейчас... Я скоро приду...

И бросив на стол письма, быстро ушла. Щелкнул замок.

Дим остался один со своими письмами.

Одно, другое, третье...

Это были письма к ней — к Констанце. В них были ласковые слова. Он называл ее «Моя Ки».

Это был его почерк.

И все-таки он не мог поверить. В нем не было любви и нежности к этой женщине, которая, кажется...

Дверь в маленькую прихожую была приоткрыта, и оттуда, шевелясь, проникал луч вечернего солнца. И когда она вошла в плаще и, как птица, выпустила из-под своих крыл двух малышей, он сразу почувствовал и понял, что это — его дети. Им было года по три с гаком. (Значит, четыре года назад он был жив.) Один был в желтом, другой в красном, — их, пожалуй, и можно было отличить только по одежде. И вместе они были вылитый он — будто сошедший со стула той детской его фотографии, снятой где-то в «фотоmomенте», с торчащей козырьком челкой, с взвихренным хохолком.

Это стало ясно, как только Констанца сняла с мальчуганов береты.

— Леша и Дима, — Констанца тревожно улыбнулась, подталкивая сыновей вперед.

Она не сказала им: «Вот ваш папа...» Это его даже обидело. Констанца остыла от первого безрассудного порыва. Смотрела, вдумывалась — хотела понять.

Дети стояли перед ним, как намокшие цыплята, — отчужденные, напуганные какой-то неправдой.

Рожденное из самых глубин желание схватить этих мальчишек, прижать их к себе, потискать, посадить к себе на шею означало в то же время признание, что Констанца его жена, что он, следовательно, любит ее, но этого не

было. И не могло быть, потому что в недрах его души непроходящей болью ныла другая любовь.

Констанца поняла. И впервые ужаснулась пропасти между ними.

Все эти дни, часы она была с ним — мертвым, ни о ком не хотела думать, ни знать, а когда он пришел живой, оказалось, что его — нет, просто — нет! Констанца стащила с себя плащ, вытерла детям носы. В острой прорези платья Дим увидел межинку груди. Она раздевала детей, обтекала стулья, углы шкафа, книжные полки, как рыба в аквариуме. И удивительно было в ней это сочетание полноты и элегантной верткости.

Скользнув возле Дима, она взяла детей за затылки и затолкнула их в соседнюю комнату — одному сунула пластилин, другому — заводную машину.

Она посмотрела в его глаза. В них были растерянность и решимость вместе. Он должен был ответить ей, он понимал, что вся правда на ее стороне. И ему захотелось быть тем, кого она ждала. Но не мог он! И от беспомощности, не отдавая себе отчета, он подошел к ней и ткнулся, почти ужасаясь того, что делает, в ее затылок, в густоту ее ржанных волос, взбитых в прическу.

И запах их оглушил его. Говорят, есть сто тысяч запахов. Наверно, их во много раз больше. Это был любимый запах — это был запах любимой. Да, так должна пахнуть любимая женщина — его женщина... Это как почерк. У него сладко закружилась голова. Он счастливо усмехнулся в глуби себя, а она оттолкнула его плечами.

— Нет, Димушка. Я хочу только правды... Не надо... Боже мой, какая дичь..., Я считала дни... часы...

Дим не хотел думать о той — другой, о Лике. Было ясно, что она предала его. Он почувствовал, что всегда обманывался в ней. Значит, в нем самом было что-то, что не давало увидеть, какова она на самом деле? То есть он и видел, но не хотел видеть, говорил себе: «Может быть, это не так?» — закрывал глаза. Было слишком много вложено себя в нее, чтобы отказаться, — это был отказ от самого себя. И заставлял себя верить, что она такая, а не такая. Или думал, что она опомнится и вдруг переменится и станет похожей на то, что он ждет от нее. Но она оставалась тем, чем она была. И с этим ничего нельзя было поделать. Да и не надо было... Он это уж сейчас-то совсем понимал, и все же его тянуло и хотелось видеть ее. И хотелось избавиться от этого, и потому еще больше тянуло.

Хотелось уйти, сбежать к ней — к той, хоть бы только опять постоять под окнами, выждать, пока она выйдет или придет. Понять, понять... Чепуха, будто здесь можно было что-то понять. Все было так, как было. И опять инерция ушедшего, несуществующего хватала его за сердце. И он понимал, что заглушить это бессмысленное и несуществующее он может только новым чувством. Но не мог. Смотрел на Констанцу и не мог, и, чтобы оправдать в себе это непонятное, не поддающееся рассудку, он вызывал в себе угасшую подозрительность:

— Три дня назад ты была в Пещерах — зачем? Я видел тебя за деревьями, или это была не ты?

— Это была я.

Дим вздрогнул. Он думал и надеялся, что она откажется, смутится.

— По городу разнесся слух о твоём появлении, но здравые умы утверждали, что это не ты, а самозванец — твой двойник. Я и раньше слышала о человеке, очень похожем на тебя... Но я знала, что если ты — это ты, то обязательно появишься там — в своей лесной лаборатории. И я ждала тебя. Я хотела броситься к тебе, но ты вдруг увернулся в чашу, и я подумала, что, может быть, это все же не ты... Но потом я видела тебя у нашего института...

— Ты сказала — наш институт?

— Да, я там работаю, веду лабораторией нейрохирургии.

— И вы дали ему степень доктора?

— Да, ему дали доктора. Хотя я выступала против.

Дим молчал, смотрел настойчиво. Он и боялся и ждал хоть одной фальшивой нотки в ее голосе.

— Ты выступала против него?

— Да. Я сказала, что его работа — плагиат. Но ведь в сущности это не было плагиатом...

— Не было?

— Да. Ведь твои записи не опубликованы. За это сразу бы зацепились. Я поправилась. Я сказала, что он выдал за свое открытие, принадлежавшее другому. Меня спросили — кому? Я сказала. У меня потребовали доказательства. У меня их не было... Лео попросил слова «для справки». Он сказал, что начинал тему вместе, но потом мы разошлись в методологии и он завершил ее сам, а ты, дескать, пошел своим путем, что ты вообще разбрасывался и брался за вещи, которые за гранью современного уровня науки... Один из оппонентов решил поклевать меня. Пристыдил: разве важно, в конце концов, кто? Важно, что открытие существует и может послужить че-

ловечеству. Мертвые сраму не имут, но и слава им не нужна... Что же вы, мол, предлагаете открытие зарыть в землю, как зарывали княжеских жен? И, кажется, его одобрили. Не все. Но одобрили.

Констанца поправила распавшиеся волосы и села в кресло, вздохнула:

— Ты не представляешь, какая он сволочь, он на все способен. — В ее голосе была искренняя ненависть.

Дим понимал, как это бестактно, но он все-таки спросил, чтобы поставить все точки над «и»:

— А тогда ты тоже думала о нем так же — когда толкнула его на знакомство со мной?

— Как ты можешь? Я тебя любила.

Он не знал, как это у него вышло, но он сказал:

— И потому делала мне всякие пакости?

— Пакости? Просто я всегда знала, когда тебе грозит беда и откуда... А пакостей я тебе не делала... Я любила тебя... А это... я от тебя же слышала, что тебе нужен математик...

Расшумелись дети, и кто-то из них заплакал. Констанца вышла, чтобы их успокоить.

Не то Дима у Алеши, не то Алеша у Димы отнимал машину. Мама пристыдила сыновей, говоря: как не стыдно им при дяде! — и это резануло его, потом она сказала, что им пора ужинать и спать, и повела их на кухню, они прошли, бычась и косясь на него, как косятся на чужого и недоброго дядю, который обижает их маму.

Дим отошел к окну.

Смеркалось.

Дома, небрежно разбросанные и, как спичечные коробки в игре, поставленные на попá, отшатнулись в аквариумную даль, заиграли желто-зелено-оранжевыми окнами. Сосна приблизилась и чуть не царапала ощерившейся ветвью потемневшее стекло.

Констанца накормила детей и уложила их, сказала, что, если они будут шуметь, не будет им никакого обещанного зоологического сада. И они затихли.

Она вышла, зажгла свет, стекло еще потемнело, а сосна отодвинулась в темь.

— Ну вот...

Молчали.

— Ты же был весь с ней и в ней, все время... с ней... Я даже не позволяла себе надеяться. Это было чужое, навек не мое... и мое.

— Прости,— сказал Дим.

— Идем есть, ты ведь голодный,

Они сидели в белой кухне. Констанца поджарила яичницу и подала ему с зеленым горошком. И стакан чаю. Себе налила кефиру.

— А ты? — спросил он, имея в виду яичницу.

— Сказано же — ужин отдай врагу. — И улыбнулась мило, как она всегда улыбалась.

Он быстро одолел яичницу, в три глотка выпил чай.

— Пойду пройдуся. Надо.

— Хорошо. Только не делай глупостей. Приходи... — Она встала и сказала, глядя на его отражение, парящее где-то там, за стеклом: — Теперь, когда ты пришел живой, я смогу все пережить, я смогу даже, может быть, выйти замуж... Вот.

И он видел там, за стеклами, в черноте, как она закрыла глаза.

Он угловато встал, споткнувшись о табурет, быстро накинул плащ и, улыбнувшись ей, вышел, мягко щелкнув замком.

Он знал, что идет к ней, к той, — чтобы увидеть ее в последний раз (перед неразделенной любовью люди глупеют), понять: она ему больше не нужна, она для него не существует, отделаться от нее, что ли? Он мог воспользоваться транспортом, но он этого не сделал, потому что это было бы уже решением, а ему не хотелось решать, ему хотелось, чтобы это произошло само по себе, как бы независимо от него,

Вместе с тем он шел все быстрее и быстрее — почти бежал, и холодный воздух перехватывал ему дыхание. С легким гудом, клацая переключателями, пробегали троллейбусы, гремели на мосту трамваи, вода лимонно змеилась сквозь мерцанье решетки. За деревьями летел легко двурогий месяц. Шуршала листва под ногами. Через кусты газона. Через ограду на перекрестке. Столкнулся с кем-то, разбилась бутылка, расплылось что-то белое — молоко. Вслед бранились: «Напился, сидел бы дома», Милиционер свистел, бежал за ним, потом отстал, дома поворачивались углами. Громада ослепила, чихнула осатанело, завизжала, осев на тормозах, — вздохнула над ним. И опять вслед летела ругань, но ему было наплевать на все это.

Да, вот этот дуб против ее окон. Дуб, возле которого он впервые, осмелев, поцеловал ее. Дуб с кульями ветвей, с залатанным жестью боком.

Окна были черными. Спят? Не приходили?

Он стоял долго, час или два, вжавшись в этот дуб.

Они появились внезапно, как из-под земли. На проти-

воположной стороне улицы. Он, громадный, покачивался, а она семенила рядом, держась за его рукав.

Бежит за ним, как облезлый котенок. Совсем потеряла себя! А ведь был же в ней шарм, задор, какое-то «я». Ведь и умненькая она... а?.. При других обстоятельствах Дим не заметил бы этих перемен, а если бы и заметил, то придумал бы для них свои оправдания. Сейчас ему почудилось, что произошло необратимое. И это неожиданно и странно обрадовало его...

...Окно горело в высоте. Оно одно горело во всем огромном уснувшем доме. Он не стал вызывать лифт. Поднимался медленно — со ступеньки на ступеньку, выжидая, прислушиваясь к чему-то в себе самом и еще не зная, сможет ли он позвонить. Уйти к Коту?.. Обдумать все, оглядеться? И прийти к Констанце потом, когда это станет неотвратимостью? Или совсем не прийти, чтобы не было неправды? Или кинуться оголтело в неизвестность, потому что страшно и невыносимо одному? Прильнуть к какому-то теплу и ласке?

Надо только подняться к дверям и постоять там и — как уж будет.

Когда оставался один марш и он приостановился на площадке, вдруг открылась дверь. И она вышла.

Она отступила в прихожую, пропуская его. Поверх длинной ночной рубашки накинут легкий халат с голубыми пагодами, вымытые волосы выющимися прядками облепили ее щеки, сузив овал лица. Он шагнул к ней со смутным желанием обнять ее. Она юрко ускользнула. И опять стояла, выжидая. Он опять качнулся к ней. Она подняла ладони, словно выпустила коготки.

— Ты был у нее?

Глаза ее стали холодными, стеклянными, свет их ушел куда-то вглубь, затаился.

— И да и нет.

— Раздевайся.

Она легко повернулась и через темную комнату прошла в кухню, где горел свет. Оттуда позвала:

— Иди сюда.

Он вошел, сел на табурет.

Она, склонясь над духовкой, сушила волосы.

— Пей чай, я заварила свежего. Под тарелкой блины. Они еще теплые, И бери варенье...

— И как же все это случилось?.. С нами... — спросил он меланхолично, еще находясь в каком-то сомнамбулиз-

ме, будто никуда не выходил, а так все сидел, пил чай, они разговаривали, и он спросил.

Волосы, колеблемые теплым воздухом, нависали ей на лицо, она теребила их. Сдувая их, она сказала:

— Так и случилось... Я приезжала к тебе раз в полмесяца. Туда — в лес. Привозила получку. Мне поручил это Иван Федорович. Сначала тебе зарплату по почте присылали, но получались какие-то загвоздки... Конечно, я сама подвела Филина к этой мысли, что это я должна делать, именно я, и никто другой.

— Но я не помню, чтобы ты...

— Ты и не можешь помнить — это было уже после того, как ты подарил Лике пластинку, из которой ты сейчас явился, как чертик из табакерки. Так вот. Я привозила тебе получку... Я приезжала к тебе на свидание. Я очень ждала этого дня... Ты, конечно, не догадывался. Впрочем, я все делала, чтобы ты не догадывался... Ты вживлял своим мышам электроды в разные зоны гипоталамуса и ретикулы, надевал на мышат какие-то жилеты с проводами... Потом ты пробовал заменить электроды лазерным лучом, чтобы обходиться без трепанации... У тебя что-то не получалось. Мне так хотелось помочь тебе, но ты злился на меня, я видела, хотя и был ты безукоризненно вежлив, — ты по-прежнему не верил и боялся меня... А вообще тебе было кисло. Это только слепой не увидел бы, как тебе было кисло. И я догадывалась почему... К тебе не приезжала Лика или почти не приезжала. Обещала, а потом не приезжала — придумывала какие-то нелепые предлоги. Я поняла это не только по твоему состоянию — мне Лео хвастал своими донжуанскими успехами. Но я-то понимала кое-что побольше. Твоей Лике он был нужен тогда, как наживка на удочку. Она хотела тебя сломить и привести к общему знаменателю. Об этом мне сообщило сарафанное радио, и я чувствовала, что это так и есть. Я, кстати, сказала Лео о его нереспектабельной роли в этой истории, но именно это-то его и зацепило. Он решил доказать, что с ним шутить нельзя. А ты, как всегда, вымещал свое настроение на мне, ничего ты не понимал — психолог... Однажды они — Лика и Лео — приехали вместе... Ты думал, она останется ночевать, а Лео все знаками поторапливал ее (это ты заметил и недоумевал). И вдруг она стала собираться. Ты просил ее остаться: тебе она очень нужна была в эти дни неудач... Она сказала какую-то дичь: дескать, как-то неловко мне оставаться с тобой на ночь, — ты должен понять, и кивнула на Лео. Тут уж ты кое-что понял... Об этом эпизоде ты мне позже расска-

звал, когда мы уже поженились, что ты всю ночь ходил по лесу, бешено курил и собирался положить свою голову на железнодорожную рельсу...

Констанца поднялась с табуретки, расчесывала волосы, закинув их на одну сторону. И Дим с радостью думал, что любит ее.

— Я как раз приехала вскоре после твоего срыва. Ты не работал — ты лежал в какой-то прострации. Тут ты мне и выдал как раз «по адресу»: «Я же понимаю, почему именно вы ко мне приезжаете... Стукаете». Я поняла твои ассоциации, почему ты перенес на меня, — я сестра Лео. Я заплакала, как девчонка. Не выдержала своей роли. Ты растерялся. Скоро я взяла себя в руки. И уехала. Решила — насовсем, но я не могла бросить тебя одного. Когда я опять приехала, ты удивился... Хотя слезы мой ты мог истолковать по-всякому. Тем не менее ты понял: что-то здесь не так. Теперь мне нечего было притворяться, и ты, наверно, видел в моих глазах все, что в них можно было увидеть, во всяком случае, ты зализывал свою вину. Стал рассказывать о своих опытах, а потом и о своей боли: больше просто некому было. Тут ты почувствовал, что я тебе даже нужна, и я почувствовала. Не очень это меня грело... но все же... Я знала, что ты все равно не мой, и — сейчас я уж этого не могу объяснить — я опять пыталась подействовать на Лео, чтобы он отстал от Лики, но это только подлило масла в огонь. «Зря хлопчешь, сестренка, — сказал он, — здесь тебе ничего не обломится». Не знаю, что он этим хотел сказать. Но, слава богу, ничего не понял.

Констанца поставила на газ сковородочки и, смазывая их маслом, стала печь блины, подбрасывая их в тарелку Диму. Налила себе чаю, под села к столу.

— Однажды ты пригласил меня в ресторан. Мы поехали в город. Ты заказал модные тогда цыплята табака. Цинандали. И что бы и о чем бы ты ни говорил в этот вечер, — ты говорил о ней. Нет, ты не перечислял ее достоинств и даже говорил какие-то гадости, но ты говорил только о ней. А я слушала тебя. Твой голос. Я была с тобой. Делиться со мной стало твоей потребностью. И ты уже не мог без меня. Как-то мы долго заговорились, и я осталась у тебя в Пещерах на ночь. Помнишь, у Бунина: «Что ж, камин затоплю, буду пить, хорошо бы собаку купить». Так вот, я была той собакой! Я ни на что не претендовала, мне только хотелось, чтобы ты не развинулся совсем..

Она явилась утром, будто чувствовала или знала. Для

меня это до сих пор загадка. Я вымелась подобру-поздорову. А она поставила тебе ультиматум: я думаю, она просто хотела остаться правой. А может быть, это так я со зла — я ведь ее мало знаю. Мне вообще невозможно было понять — как это иметь тебя и добровольно отдать? Потом она, я думаю, жалела, да она и вообще не хотела тебя терять. Подмял ее братец, прости, как мокрую курицу... Там не было расчета — какой-то гипноз — не гипноз. Во всяком случае она с ходу подала на развод, будто сама боялась, что раздумает...

Мы уже с тобой жили, а ты был все с нею. Всё о ней — каждый божий день. Что-нибудь вспомнишь или увидишь — всё о ней... А я целый год слушала тебя. А ты мне о ней все говорил и говорил, как о боли, а я должна была тебя еще жалеть. Потом немножко поотстало. Да... Стукнула она тебя... Но когда родились мальчики, ты перестал о ней говорить. А она еще звонила тебе по телефону — по каким-то нелепым поводам...

— Зачем она вытащила меня сейчас?

Констанца пожала плечами:

— Во всяком случае, не для того, чтобы вернуть мне... Не знаю, прости, не знаю, Димушка. Я могу быть несправедлива к ней. — Она долго молчала, смотря Диму в глаза: — Да, видно, прошлое не сотрешь резинкой, не подчистишь бритвочкой. — Теплый свет померк в ее глазах. — Да... Так вот мы прожили с тобой и уже с ребятишками еще год... Ты уже отогрелся у меня... Смерть бьет в самое счастье, как в яблочко. Если бы я хоть немного была готова к этому — ты умер, сгорел в три дня. Врачи сказали — от белокровия... Это было после какого-то опыта, который ты делал над собой... Ты от меня скрыл это... В больнице я все время была возле — а ты все уходил, уходил... Если бы они не обещали, не обнадеживали. Я просила врачей — хоть три месяца, хоть полгода. Наутро четвертого дня ты взял мою руку, пожал слабо, будто попрощался. Я держу ее в своей и вижу: глаза гаснут. Тут я и закричала.

Молчали. В доме стояла ночная тишина.

— Что с устройством? С биопеленгом?..

— Ты его не только начал, но и закончил, и погиб, подключаясь к нему. Я его уничтожила, разорила... Сейчас скажу... Гражданская панихида была в больнице. Пришли ребята из ветинститута. Пришла Лика. Это было в конце марта. Ты был весь засыпан грузинскими мимозами. Я с тех пор не могу переносить их запаха: меня тошнит от запаха мимозы. Я встала у изголовья. Лика потес-

нила меня. Так мы молчали над тобой. И невозможно было поверить, что ты мертв. Лео произнес речь, еще кто-то говорил. И еще.

И вдруг что-то такое произошло — замешательство не замешательство, какое-то движение. Лика нервно покосилась на меня. И тут я почувствовала пустоту, где стоял Лео. Я оглядела всех стоявших, — его не было. Не знаю отчего, но что-то недоброе опажнуло меня. Вышла я, — и во дворе нет. Я на улицу. Будто само собой что-то опять подтолкнуло меня: такси! — прямо-таки бросилась под него. Шофер выматерил меня. Я ему соврала что-то страшное, сказала: «В Пещеры». И сунула ему сразу десятку. Помню, еще оглянулась. Лика высочила следом.

Гнала я вовсю. Доехали за полчаса. Такси отпустила. Никого — ни следа на пухлом снегу. Дверь, правда, открыта и намело. Я подумала: тебя ведь отсюда унесли — забыли про дверь, наверно. Но Лео здесь явно не было. Я — к бумагам твоим. Стою над ними: все здесь — ты и нет тебя. Вот придешь — сядешь. Ведь в смерть никто не верит, — умер человек, а как бы это и неправда. От слез задохлась, села. Смотрю, буквы твои — ты писал, глажу я буквы... Но ухо где-то настороже, как у собаки. Слышу, подкатила машина. Он! Поскребся в окно, подышал, в дырочку заглядывает: следы ведь на снегу. Мои.

Тут откуда что взялось — опрокинула я спиртовку — подожгла бумаги. Сама — к прибору, реу, крушу, ломаю, бац... Братец ворвался. Схватил меня и швырнул в угол.

Он успел прихлопнуть ладонью твои горящие записи: не знаю, что уж там осталось, скомкал и в карман пальто сунул, со злобой, с досадой посмотрел на исковерканный Биопелинг Ки, как ты его называл. Ки — это была я. И говорит мне братец:

— Хоть и дура ты, но я тебя понимаю. Скажи мне спасибо, что я избавил тебя и просвещенное человечество от этого князя Мышкина.

— Что, что, что? — Мне показалось, что я ослышалась, я бросилась к нему, он усмехнулся нагло, толкнул ногою дверь и вышел, я и сейчас не понимаю — дразнил он меня или?.. Я пришла на кладбище, когда тебя уже закопали.

Он не мог не верить: за стенкой сопели его сыновья. И Констанца была их матерью. Какой-то кошмар!

— То, что я сделала, это было чудовищно. Я уничтожила тебя. Все, чего ты достиг за свою жизнь. Но я всеми печенками чувствовала, что не имею права отдать это твоему врагу, я уже понимала, что он подонок. Впрочем, уже потом, задним числом, я дошла, что вряд ли он смог

бы использовать твоё изобретение, без твоей головы — ему никак...

Дим сидел раздавленный всем — несколько лет жизни — псу под хвост, — но и счастливый, что есть вот такая женщина, которая... которую он, идиот, проглядел и не понял: значит, и в нём самом были не те гайки и винтики, какие нужны. Не те... «Значит, я сжег себя auto-dé-fé... Или? Забавно...»

— Не унывай. Главное, что ты — есть.

Он дотянулся через стол, взял её руку:

— Спасибо. Ты сделала то, что... Я бы, может быть, убил его!.. Но я не умею убивать. Я действительно, черт возьми, князь Мышкин, будь он не ладен. Теперь задачка — перепрыгнуть через пропасть в пять лет.

— Ты просто помолодел. Разве это плохо? Никогда не влюблялась в своих сверстников. Ты теперь даже чуть моложе меня... Ну, не унывай... Димушка.

— Тебе завтра на работу рано?

— Иди умойся — в ванную. Я постелю. Да?

— Да.

Когда он вошёл в спальню, она уже постелила ему и себе — на двух рядом стоящих кроватях — впрочем, она их несколько раздвинула, так что между постелями образовалась некая «нейтральная полоса».

— Ложись, я умоюсь.

Она выключила свет, и широкое окно вместе с прозрачной занавеской откачнулось в уличную темноту, а на улице посветлело. Сквозь шевелящиеся ветви сосны в комнату проглянули звезды. Как здорово было лежать в чистейших крахмальных простынях и, оказывается, на собственной кровати! Черт возьми, как хорошо, что он вернулся оттуда! А она ждала его, как ждут жены убитых на войне...

— Неужели... надо...

«Кто это сказал?»

— Неужели надо умереть?..

— ...надо

— ...умереть...

«Что это?..»

— ...чтобы что-то понять?..

Констанца стояла в халатике.

— Кто это сказал — ты или кто-то из нас?

— Ей-богу, не пойму. По-моему, это сказал я.

— По-моему — я.

Она скользнула дымным призраком и растворилась у себя в постели. Рядом! Уже совсем своя и непозволитель-

но недоступная. Он смотрел в потолок, на сомнамбулические колыхания световой сетки.

Она тоже смотрела в потолок.

«Чудак,— думала она о нем,— теперь ты будешь думать, что ты еще не созрел для нашей любви и будешь бояться опошлить... Чудаки эти мужчины и слюнтяи. Что с того, что я буду немножко недоступной в эту первую ночь — как тогда. Так это только так — для порядка».

Он потянул ее за руку, стал целовать пальцы.

Она сказала:

— Не надо... сегодня...

И он остановился, хотя оставил ее руку в своей.

А она сказала про себя: «Ну, глупый, чего же ты так легко сдался?» Она пожала его руку,— он понял это пожатие как прощение и бережно положил кисть руки ее на одеяло.

Она лежала не шевелясь. Смотрела в потолок. Он смотрел на ее лицо, на которое наплывала световая рябь. Только он хотел спросить, почему она не спит,— зазвонил телефон — прерывисто и часто: междугородная.

— Кто-то не туда попал,— сказала она и, накинув халат, выбежала в коридорчик. Оттуда она позвала удивленно:

— Дим. Тебя.

— Меня? — Он очень удивился, подумал: «Может быть, Лика, хотя — междугородная, кто же?»

— Мы вас слишком беспокоим,— услышал он сквозь шип и гуд усиленный микрофоном далекий голос. — У вас ночь. С вами говорят из редакции американского журнала «Лайф». Нам доподлинно стало известно о вашем уникальном эксперименте... Если вы не возражаете и если это не секрет, мы хотели бы услышать из ваших уст некоторые подробности...

— Я вас не понял. О каком эксперименте вы говорите?

— Воскресение, как это сказать,— из пластинки.

— Это ошибка. Вас ввели в заблуждение.

— О... мистер Алексеев, не разочаровывайте нас... Вы есть отличный материал...

— К сожалению, я не понимаю, о чем вы... Я просто был в космическом полете вокруг Солнца, о чем пока...

— Да, да. Ну это нас не интересует. Желаем вам всего наилучшего. — И телефон разочарованно запикал.

Вслед за этим последовали вызовы из Франции, Бельгии, Англии, Японии, позвонили из АПН. Агентства печати хотели знать подробности. И всех их пришлось отбрызгать.

— Но, Ки, откуда они узнали? И что я здесь? И вообще обо всем этом?

— Ты так на меня смотришь... Я могу подумать, что ты подозреваешь меня?

— Да нет,— сказал Дим как-то неуверенно, и опять какая-то странная мысль шевельнулась в нем.

Она смотрела в потолок, ждала, сердилась.

Он тоже смотрел в потолок — сердился на нее, на себя, на свою неуверенность, на свое неумение понять ее и поверить ей или...

Или...

Она уснула с капризным недоумением на лице — в темноте он уже пригляделся к ней,— но вскоре на лице ее забродили какие-то другие чувства, что-то она видела во сне.

А он так и не уснул. Уже сочилась молочная розоватость утра. Комната наполнялась светом, сосновые ветви заголубели. Он встал и как был, в трусах, подошел к книжным полкам. Между стопок книг были просветы, и там, в этих просветах, торчали причудливые коренья. Он пригляделся, угадывая лешего, Бабу-Ягу, раненого оленя, Дон Кихота. Под иными были подписи: «Буря», «Саломея», «Венера Пещерская».

Он представил, как она ходила по лесу — молодая ведьма (ведунья, подумал он) — и все эти лесные чуда глядели на нее и обступали со всех сторон. И она умела видеть их и разговаривать с ними. И это было там — в Пещерах.

Он прошел в комнату, где спали дети.

Мальчишки посапывали в двух деревянных кроватках. Один во сне подергивал себя за хохолок, другой лежал калачиком, прижав колени к подбородку. И вдруг тот, что дергал себя за хохолок, открыл глаза и, совсем не удивившись стоящему над ним дяде, спросил:

— Ты кто?

— Твой папа,

— Отец?

— Ну да.

— Я сейчас тебя видел.. Мама говорила о тебе, и я тебя каждую ночь видел.

Мальчик потормошил брата:

— Лех, а Лех.

Тот пробудился. Сел опешив — растерянный и розовый, протер глаза,

— Что я тебе вчера говорил! Вот он — отец.

И они, словно сговорившись, закинули ноги на грудки кроваток, сопя, преодолели барьер и бросились на штурм. Они лезли на него, как на крепостную стену, а он только говорил им:

— Тише, тише, братва, мать разбудите.

Лика сидела возле окна в раскидном кресле и вязала. В ее восковых пальцах вспыхивали спицы — это были не длинные спицы наших бабушек, а коротенькие, соединенные капроновой нитью, на которую и низалось вязание. Вязка была крупная, в толстую нитку, и уже обозначавшаяся кофта очень смахивала на средневековую кольчугу. Время от времени спицы затихали, вздрагивали. Лика прислушалась, в приоткрытую фрамугу было слышно, как хлопала дверь парадной. Она ждала Лео после защиты диссертации и по этому случаю даже не пошла в театр — ее заменили.

И вот шелкнула дверь в прихожей. Лика бросила вязание на подоконник и боком отскочила, встала так, чтобы открывшаяся дверь заслонила ее. Лео имел обыкновение не задерживаться в прихожей — прямо в верхней одежде вламывался в комнату.

Он вошел в макинтоше, бросил на стол свой пузатый портфель, который победно клацнул пряжками. Он швырнул его не раздраженно, как это бывало, а великодушно, размашисто, как-то даже щедро. Кинул шляпу в кресло и, ощупывая самодовольно бороду, подошел к зеркалу и тут увидел в зеркале Лику — кожа на лбу и висках натянулась: он не ожидал, что Лика останется дома.

— Тебя, я вижу, можно поздравить?

Он кивнул.

Сочные губы его, проглядывая в витках бороды, лоснились благостной улыбкой.

Лика бросилась, подпрыгнула и повисла у него на шее, болтая счастливо ногами. Осторожно потерлась щекой о шелковистые кольца его бороды. Хотя он уже два года носит этот, как она говорила, мужской признак, Лика никак не могла привыкнуть и приспособиться. Она вообще не терпела никакой волосатости, борода же казалась ей каким-то бесстыдством. Впрочем, она догадывалась, что борода ему совершенно необходима — она прикрывала расплывчатость и рыхлость его физиономии и, что ни говори, делала его лицо интеллигентным.

Лео вышел в коридорчик, скинул макинтош, вернулся, потоптался, снял пиджак, нацепил его на спинку стула и

оказался в сетчатой майке, поверх которой была надета манишка с бабочкой. Прикурил от зажигалки-пистолета и расселся перед столом.

Лика разогрела борщ и принесла ему дымящуюся тарелку.

Он ел, аппетитно прихлебывая и время от времени выбирая крошки из бороды. Моргал белесыми ресницами, глаза его светло голубели, и было в них телячье благодушие.

Ей было неприятно, как он ел — хлебал, прихлебывал, обсасывал кости, ел много, долго, вальяжно. Он очень заботился о своем здоровье, во всяком случае любил говорить об этом, а сам год от года рыхлел. Сначала ей даже нравилось ухаживать за ним, и она подмечала странное в себе — почти рабское желание подчиняться ему и в то же время едва ли не материнское стремление оборонить и защитить его — точно он был каким-то беспомощным. Ее часто корбило от его мужланской грубости, неожиданных слов и причуд, но она сносила все это, увещевая себя, что сумеет со временем повлиять на него и в конце концов он с годами помягчает, что это у него какой-то затянувшийся «подростковый возраст». Ей страстно хотелось подчинить его, посадить, как медведя, на цепочку. Сломить такого сильного и самобытного — в этом была проверка своих сил, что ли? А может быть, эта мысль появилась уже потом, и она хотела доказать самой себе, что должна и в силах изменить его, хотя кому это надо? — мелькало иногда.

Он был гуляка и Моцарт, — как он сам о себе говорил. Он мог неделями ничего не делать, лежать, читать какой-нибудь детектив, перебирать коллекцию своих значков, — он начал собирать их еще в первых классах школы, но и сейчас трясся от вожделения, если ему попадался какой-нибудь уникальный: такие он получал в обмен у иностранных туристов или привозил из своих заграничных поездок. Эта детская страсть поначалу ее тоже умиляла. Она делала, казалось ей, Лео более доступным.

В дни получек он пропадал допоздна, а потом, часто среди ночи, заявлялся с честной компанией и кого-то еще посылали в ресторан-поплавок, чтобы через швейцара раздобыть пару бутылок коньяку. И это ей поначалу нравилось.

— Детка, это мои друзья — физики. Обеспечь нам маринованных грибков и горячей картошечки. Вот тебе полкило икрицы и кильки. Да вот еще маслины. — Он вытягивал из карманов пакетики. — Раскидай,

И она вскакивала, быстро-быстро раскручивала бигуди, влезала в платье, которое Лео сзади привычным движением задегивал на молнию, и бежала на кухню, чтобы приготовить. Это вносило оживление, было много мужчин, которые наперебой спешили сказать ей лестные вещи. И она чувствовала себя этакой Панаевой, которая собирает вокруг себя избранное общество интеллектуалов. Только, конечно, на современном уровне и в современном стиле.

Такие «римские ночи» могли длиться неделю.

Потом однажды все менялось. Лео засаживался за письменный стол, отгороженный шкафом. И это сидение могло длиться неделю-две. Сходит в институт часа на два (и то не всегда), покажется — и опять уткнется в интегралы и дифференциалы, в свое фазовое пространство — мир таинственный и недоступный ей. Его работы сразу же по выходе перепечатывались во всех цивилизованных странах, он слыл одним из выдающихся математиков современности. Во всяком случае, так она могла понять, — к нему приходили письма и приглашения из Англии, Франции, Японии. И это не могло не вызывать уважения: она перепечатывала его рукописи, а он потом от руки вставлял туда свою математическую партитуру.

И все бы ничего, только уж очень он всегда и во всем старался принизить ее, будто это надо было ему для собственного утверждения. Он вообще говорил: «Женщины дуры» — и искренне был убежден в этом. И внушал ей и внушал, что никакого таланта у нее нет и хождение в театр (он так говорил — «хождение») — пустая трата времени. Она уже начинала верить в то, что нет у нее таланта, а может быть, и действительно: у нее и в самом деле все хуже и хуже было в театре, не получалось ничего, и роли ей стали давать третьестепенные. Ей говорили — «не бывает маленьких ролей...» Офелию она так и не отговаривала, потом мечтала о Бесприданнице: думала, вот сыграю, тогда хоть что! Пока ждала и гадала, уже поздно стало — годы вышли, пробовала для себя репетировать — а сквозное действие было одно, как бы молодую сыграть — двадцатилетнюю. Вначале ей даже нравилось, что Лео не был «живым укором», нравилась некоторая расслабляющая «богемность». Но потом стала догадываться, что за его холодком к ее артистической карьере стоит нечто совсем иное — не равнодушие, а даже наоборот. Он ревновал. Теперь он требовал, чтобы она ушла из театра, — это было его последним условием. То есть вначале это было даже приятно, во всяком случае, подкрепляло уверенность в крепости их союза, и она была спокойна:

пить пил со своей кодлой, за юбками не гонялся, хотя сам не был обижен и даже заезжие длиннохвостые француженки искали с ним свиданий, как с фигурой весьма колоритной — типичным бородачом — «а ля рюс». А он так легонько, элегантно расшвыривал всех. Но уж и ей не позволял ни на кого взглянуть. Приводил своих же дружков, которые слетались на его получку, как мухи на сахар, она же им прислуживала — мыла утыканную окурками посуду, подтирала после них полы, и ей же каждый раз попадало — тот не так на нее взглянул, тот не так руку пожал, тому она глазки сделала. А тут привел какого-то современного художника, тот сел за стол и спрашивает: а есть в этом доме хрен? Она побежала, натерла, протягивает ему с улыбкой, естественно. Ну Лео и отплясался на ней за эту улыбочку. Еще и гости не разошлись — муж в коридорчике притиснул: «По художничкам соскучилась?» Больно притиснул, будто шутя.

— Да и по режиссерам, — Лео достал из кармана конвертик: — Твой почерк?

— Но это же просто заявление, просьба о роли...

— Ради этих ролишек, мне говорили... ты запираешься с ним, со своим Гоголидзе, в гримуборной. Но знай, — Лео запрокинул голову и косенько погрозил толстым пальцем, — я не потерплю... предательства,

— Какая пакость!

— Пакость, — он повел изумленно вокруг воловьими налитыми кровью глазами, облизнул губы и вдруг стал кидать стулья, пепельницы, хрусталь. — Пакость? Я покажу тебе — пакость... — Потоптался, пошел в ванную, поставил голову под кран, шипел, плескался, бормотал... Проходя мимо нее с полотенцем на шее, процедил презрительно: — Пакость... Да, пакость! — и ушел в спальню.

Лика легла в гостиной на диване.

В щель между шторами смотрелась полная луна.

Лика не помнила, как в ее руках оказалась эта пластинка, похожая на обыкновенную долгоиграющую — только металлическая.

— Димчик! Может быть, приспела пора приползти к тебе на брюхе? А, Димчик? — Она сквозь слезы смотрела на пластинку: а что, если он улыбнется ей оттуда? — Димчик, а?.. Может быть, ты придешь и вынешь мне соринку из глаза...

Заворочался и откашлялся Лео. Сел, скрипнув пружинами, плюнул в плевательницу. Надел шлепанцы, накинул халат и, придерживаясь за стены со сна и подхлестывая

себя по пяткам задниками, вышел в коридор. Наткнулся на кучу белья. Чертыхнулся.

— Лика! Ты где? Что за хохмы?

Заглянул в комнату. Увидел ее тень за шторой:

— А... лунные ванны?..

— Да... вспомнила вот..., нужно постирать сорочку. Завтра не в чем идти...

— Ухм. Сорочка... да... сорочка должна быть чистенькой. Белье-то давно бы постирать надо. А то действительно мыши заведутся. Чистюленька моя... Ну разумеется, разумеется, искусство превыше всего... А это... что это у тебя там — сковородка какая-то в руке?

— Да ничего, ничего у меня нет... никакой сковородки! — И она повернулась, дзенькнула пластинкой о мраморный подоконник.

— Театр теней,— сказал он и ринулся к ней. Оторопевшую, схватил ее за запястье, слегка вывернул руку и взял диск из разжавшейся ладони: — Что это, детка?

Она пожала плечом, жалко-просяще улыбнулась:

— Не знаю, какая-то железяка. Подставка... На антресолях я рылась... белье... и... искала свою сорочку... потянула и вот там... Может быть, это вообще с прошлого века еще — дом-то старый, столетней давности.

Лео рассматривал, ошупывал пластинку. Зажег бра.

— О! Великолепный металл. Нержавейка.— Глянул на Лику.— Может быть, летающая тарелочка, пришельцы? Сплав магния и стронция?.. А волос ангела у тебя нет случаем? — Шагнул к обеденному столу, поставил диск на ребро, факирским жестом крутанул. Играя голубоватым лучиком, пластинка повернулась несколько раз вокруг оси и грузновато стала крениться набок, покачиваясь и теряя амплитуду.

Лика невольно протянула к ней ладони, придерживая ее уже на самом краю стола.

Лео, однако, деликатно предупредил ее, подхватив диск. Потом подбросил его, поймал за ребро сильными своими пальцами, успев заметить плеснувшийся суеверным ужасом взор Лики, непрерывно следящей за всеми перемещениями диска. Лео усмехнулся, глядя на ее распахнутые нелепо руки и растопыренные пальцы.

В следующее мгновение, повернувшись на одной ножке и надкусывая кончик ногтя, Лика хмыкнула:

— Цирк на дому, Кио?

— Ага!

«Может быть, о чем-то догадывается,— со страхом подумала она, вспомнив тот фантазмагорический день, когда

Дим выпускал из чана своих летучих тварей...— Наверно! Говорил же ему Дим о своих планах, об этих записях жизни — наподобие фуги Баха... Еще амёб они тогда вместе записывали, покуда не рассорились... Неужели догадывается?»

Она подколола шпилькой волосы, пошла подбирать белье. С табуретки поглядывала в проем дверей, на Лео. Тот, усевшись на стул и откинув его на задние ножки, покачивался, посвистывал и раздумчиво постукивал ногтем по пластинке.

Потом встал и, небрежно и хватко держа пластинку меж указательным и большим пальцами, проследовал в уборную и вернулся в спальню.

— Лео!

Он оглянулся в дверную щель:

— Ась?

— Зачем ты?.. Я думала... употребляю эту железяку как подставку для утюга.

— Да? Хм... Мне сдается, что она достойна лучшего применения.— Помолчал, причмокивая.— Если не возражаешь, я возьму ее как подложку для паяльника? Ты же понимаешь, производственные интересы...— Закрыв за собою дверь.

Побросав белье на антресоли, Лика тихо, на пальчиках подошла к дивану, легла, уставясь в потолок. На потолке шевелились тени. И если присмотреться к ним, то можно увидеть то добрую морду моржа, то мечеть с минаретами, то яхту, то куделявую бородку Лео с усмешливой улыбочкой... Сон не шел. Лика могла бы принять снотворного, но поняла, что это излишне: она просто боялась уснуть. Впрочем, под утро забылась. Стоило, однако, скрипнуть дверям — она открыла глаза. Лео вышел в одних брюках, засунув большие пальцы рук за голубые нейлоновые помочи, пощелкивая ими по облитым жирком мышцам груди.

— Лежи, лежи. Я сам себе кофейку сварганю. Мне сегодня пораньше надо. Отнести корректуру реферата. Лежи.

Она слышала, как он зашел в ванную, зашуршал душ. Скользнула в спальню и сразу нащупала в наволочке диск. А Лео уже навис над ней, держась за притолоку.

— Детка, что ты?

— Хотела постелить... вот...

— А... ну-ну. Постелить?

Извлек из наволочки пластинку.

Крутанул ее на столе — вибрирующую, приплясывающую, пластающуюся, невозмутимо прихлопнул:

— Прекрасная матрица. Тираж на первый случай — сотня штук, Сотня Димчиков. Впрочем, на первый случай достаточно и тридцати. «И тридцать витязей прекрасных чредой из вод выходят ясных и с ними дядька их морской»? А? Вот пойдет потеха. Пускай разберутся, кто — кто.

— Ты чего? Свихнулся уже совсем?

— Чего? Столько сразу поклонников твоего таланта! Хорошую клаку можно организовать. А? Хотя они передуют друг дружку. Но ты же это любишь, — олени, бьющиеся насмерть. Олений гон.

— Ничтожество, ничтожество. — Она зарыдала, прижав разъятыми пальцами глаза.

— Сберегла? Он всегда у тебя в печенках сидел. А я, дурак, разнюнился. Простака сыграл.

— Это подло!

— Да? А держать за гардинами любовника? — Он смотрел на нее наивно-пронзительными глазами, долго и вразумляюще. — Естественно: я беру его за шиворот и спускаю с лестницы. Так поступил бы каждый... всякий уважающий себя мужчина... Не волнуйся, детка, — никаких оленей не будет... Совсем наоборот.

Он взял пластинку за ребро, как будто хотел сломать.

Лика упала на колени, впилась в его ляжки ногтями — скользя коленями по полу, не чувствуя боли.

— Не смей!

Он слегка толкнул ее. Она сидела на полу, растрепанная и обессиленная, в разодранной сорочке.

— Убийца!

— О чем ты, киса? Такие эмоции заставляют предполагать грандиозные страстишки. «Как легко вы теряете голову, ай король, как рассеянны вы... Ну вот так-то. Признание не отягощает, а освобождает душу. Значит, Димчик? — пошевелил пластинкой перед носом поднявшейся Лики, раскрыл створки портфеля, элегантно швырнул пластинку в его недра. Почти не выпуская портфеля из рук, надел манишку, галстук, пиджак и, больше не сказав ни слова, вышел. Пушкой хлопнула дверь.

Лика бросилась сначала к вешалке, сорвала пальто, надела его прямо на сорочку, потом кинулась к окну, прикрываясь шторой, смотрела, как он вышел из парадной, причесываясь на ходу гребешком. Странно, однако, пошел он не к остановке автобуса, как всегда, а оглянувшись на окна, повернул в проулок.

Она выскочила на улицу. Подбежала к углу дома и увидела, как Лео опускается в подвальныйчик, над которым, она знала, висела вывеска: «Вторсырье»...

Он мог бы швырнуть пластинку в мусоропровод, в канал, закопать в землю, но ему, как видно, особое наслаждение доставляло сдать спрятанного в магнитных дорожках «Димчика» на переплавку. «Вахлак, жлоб, ничтожество!» Как бы сейчас она исколошматила его за это жлобское самодовольство и тупую силу. Пластинку она все-таки выручила, предложив старьевщику взамен бронзовые канделябры.

Вечером Лео пришел тихий, покорный, сказал:

— Прости. Все это большое воображение... бред параноика. — И, вынув из кармашка пиджака золотую цепочку, протянул ей в горсти: — Носи... детка... Ее носила сама Нефертити.

Он умел это — на крутых виражах вывернуться наизнанку.

Но все уже катилось под горку.

Четко, как чеканка по черненому серебру, запомнился этот вечер.

В черной воде канала кувыркались лунные зайчики. Лики каблук цокали по гранитным плитам и гулко отражались от уснувших громад домов. Рука Лео лежала на ее шее, под бел шерстным воротником голубой стеганки. Он слегка сжимал ее шею сзади пальцами, как будто — огромный и сильный — бережно нес ее, как несет кошка махонькую мышь, показывая всем и хвастая своей победой.

Теперь всякий раз, когда она была занята в спектакле, он непременно приходил встречать ее. Конечно, это не от великой любви, — думала она, — и не потому, что ему так уж не терпится скорее увидеть ее, а чтобы она опять, как говорил, не дернула налево с кем-нибудь из деятелей искусств. И то, что Лео приходил, как цербер, и вел ее под конвоем своей ревности, разумеется, не доставляло ей большого удовольствия. Нужен он ей, этот главреж, как рыбке зонтик — то есть в смысле мужчины. Хотя, конечно, приятно, когда на тебя еще смотрят, это прибавляет уверенности и вообще... Как-то Лео проговорился, что он, может быть, потому так уж захотел на ней жениться, что вокруг вилось столько мужиков... И ей тогда понравилось, как он об этом сказал. Да... Когда она думала о женских мужских отношениях, ей обычно представлялся олений гон: за оленихой, ломая ветви, бегут несколько самцов, а потом бьются сильнее, и один из них остается надо всеми... В этом сравнении с природой ей чудилась цель-

ность первозданности, первобытная, идущая от земли цельность, замызганная позже наслоениями человеческих табу — лжи, расчета, всяких задержек и фобий, из которых уже не выбраться. Ей нравилось, хотя бы где-то там внутри, чувствовать в себе эту олениху, которая бежит от... Этот бег — в ней — был самым веселым и пьянящим чувством. Но теперь бег кончился. Теперь своей хамоватостью, мужланским самомнением Лео вызывал желание высвободиться. Она хотела этого — и боялась, и надеялась, что все еще образуется, что все повернется как-то или Лео переменится и вообще что-то произойдет, и он поймет ее, и поможет ей найти себя, хотя бы не будет мешать... Но он все давил и давил — да, это его пальцы на шее.

— Убери, пожалуйста, руку.

Лео удивленно, с высоты своего роста, посмотрел на нее. Как бы слегка приотпустил ее. Она чувствовала его недобрый взгляд — в затылок: гуляй-гуляй.

«Цок-цок» — отдавались гулкие шаги в душе.

«Цок-цок». «Цок-цок». «Цок-цок».

Струился месяц в реке, как рыба чешуя.

Так же звучали шаги в ночи: они шли с Димом — этой же набережной канала, забранного в гранит. Лет шесть назад это было?

«Цок-цок», «Цок-цок».

Была такая же тихая светящаяся ночь.

И было все впереди. И она верила в свою звезду.

Вега! Она отыскиала ее сейчас на небосклоне — затерянную — свою. Игольчатый луч ее шевельнулся в канале.

Вспомнила, как расставались с Димом на юге в то лето, когда они познакомились, и, лишь смутно надеясь на встречу в каком-то далеком будущем, она сказала ему: «Когда вам захочется встретиться со мной взглядом, посмотрите на Вегу, — я обязательно почувствую ваш взгляд». Дим улыбнулся и обещал ей.

Потом — это было уже с Лео, он уезжал в командировку, она сказала ему: «Писем писать не будем, но каждый день в одиннадцать часов и ты и я давай посмотрим на Вегу, как будто скажем друг другу спокойной ночи». Это было, наверно, наивно, но зачем так нехорошо он усмехнулся и только пожал плечами?

«Цок-цок». «Цок-цок». Она идет под конвоем его взгляда.

В тот вечер, когда они шли с Димом, она сказала ему: «Тысячи молоточков стучат в мой мозг. Если я через год-другой не сыграю так, чтобы обо мне сказали — это

актриса, а не так себе, я просто сойду с ума или стану злой, как цепная собака».

«Цок-цок».

«Я не стала злой, как цепная собака, и не сошла с ума, но чего-то во мне не стало — меня не стало».

На горбатом мостике Лео окликнул Лику:

— Постоим, детка.

Она полуобернулась:

— Что тебе?

Он прислонился к решетке — в японской куртке с вывороченным воротниковым мехом:

— Какая тебя муха укусила? Муж тебя встречает, другая бы песни пела. Ну что тебе надо? Или не нравится, что встречаю?.. Ты скажи.

— Не нравится.

— Вот как.

— Надоела твоя бдительность, надоела, не хочу. — И она двинулась дальше.

Он сделал шаг, потянул ее за руку, взял затылок ее в ладонь.

— Бунтуешь? Не идет тебе.

— Ничего.

— Ищешь повода?

Она молчала, отвернув лицо.

— Захотела свободы — иди. О нем думаешь, об Иисусике, — угадал? (Она поняла, что он говорит о Диме.) Два сапога. Но знай: я человек страстей. Я могу... Ты знаешь. Во мне есть такое, чего я и сам боюсь.

Она рванулась и пошла. Он догнал. Взял за плечо, повернул.

— Пусти.

— Не пущу!

— Неужели ты думаешь, что после твоих угроз я еще буду стоять с тобой?

— Дура, — ведь люблю же. Не бегал бы за тобой.

Он сжал ей руки в запястьях. Она запрокинула лицо в небо, закусил губу, чтобы не закричать от боли.

— Давеча ты сказала, что у тебя задержка... Ну... Эго правда?.. Все еще? — Он искал ее глаз.

— Какое это теперь имеет значение и вообще — какое это имеет значение?

— Не смей убивать ребенка. Мне надоело, я хочу семьи. Мне не нужна жена-кинозвезда — перекаати-поле. Я хочу семьи! Ты для меня и так хороша. Я тебя и такую люблю еще больше. Я прошу — оставь. Слышишь?

Она покачала головой: нет.

Он оттолкнул ее и пошел в другую сторону — наугад, прямо по мостовой.

И тогда она, помедлив, сама не поняв себя, побежала за ним. Он убыстрил шаг. А она едва поспевала и забегала то с той, то с другой стороны.

— Не стыдно... женщину... ночью... среди города...

На них шало мчалось такси. Лео поднял руку. Машина, завизжав, остановилась. Открыл дверцу, втолкнул Лику, сам протиснулся с трудом, уселся, широко разъяв колени и сутуло наклонясь. Лика забилась в угол.

В шоферском зеркальце дрожало отражение виска и носа Лео.

Лику била дрожь, и она сжималась в комок, чтобы умирить ее. Он думает: так можно чего-то добиться... Ей хотелось пнуть его ногой: он был ей отвратителен своим самодовольным спокойствием и убежденностью в своей правоте. Она просто ненавидела его в эту минуту за то, что он заставил ее бежать за ним, как собачонку. В конце концов, это комплекс неполноценности — непременно желание унизить, чтобы самому выиграть в своих же глазах.

«Господи, я как загнанная мышь, неужели на свете нег человека, который понял бы меня?»

Они ехали мимо сада, и в сквозящих ветвях голых деревьев за ними, посверкивая, ошалело гналась луна.

Кажется, Лика слишком громко вздохнула — почти простонала, — из зеркальца на нее взглянули встревоженные глаза шофера. И Лео недобро покосился.

Возле дома тронул таксиста за плечо. Вышел, распахнул дверцу рыцарским жестом:

— Адье, мадам... Я еще проветрюсь.

И вновь уселся в машину, размашисто хлопнув дверцей.

Этой ночью Лео, разумеется, не пришел. Она так и думала, что он не придет. Не впервой уже. Теперь ночь, две, три, четыре будет вынашивать свою обиду. Такое сладострастное мучительство он отрабатывал еще на мамочке, убегая из дому с тринадцати лет. Сам провинится в чем-нибудь — промотает школу, предпочтя ей Дину Дурбин в кинотеатре старинного фильма, — и дома уже не появляется: пусть мамочка помытарится, посходит с ума. Для ночевок зимой он приспособил старое кресло-развалюху, укоренив его на чердаке точечного дома, возле труб водяного отопления, и припас дешевую библиотечку Шерлока Холмса. Время от времени он все же позванивал домой из автомата уже за полночь и молчал в трубку, прислушиваясь к материнским интонациям, — дошла или не дошла до

«кондиции». Если «дошла», значит, можно возвращаться и даже просить деньги. Сначала деньги шла на мороженое или многосерийный вестерн, потом, с возрастанием потребностей, на возвращение «долга», за который могут «убить», на блок сигарет, коктейль или даже на импортные джинсы — в зависимости от количества выстраданных им (и мамочкой) ночей...

Теперь это инфантильное мучительство было перенесено на Лику.

И хотя подобные психологические экзерсисы практиковались довольно часто, Лика все равно не могла до конца уверовать в их садистское лихоедейство. Она срывалась в жуткую истерику. Ее охватывал страх: с Лео непременно что-то случилось, он попал под трамвай, его пристукнули где-нибудь в проходных дворах, польстившись на его шикарный портфель или золотые запонки.

К тому же страшно было оставаться одной: пугала тишина, казалось, кто-то ходит по комнате, кто-то залез на балкон, что-то методически щелкало по оконному стеклу...

Она поднималась с постели и, накинув плед, сидела на подоконнике. С сумрачной, неверной надеждой встречала каждый светлячок такси, появившийся в конце улицы...

Лео не пришел ни в следующую, ни в третью ночь... Да... как всегда: решил похлеще подсесть ее за губу, как форель... измотать? Или просто бросил? «Бросил» — придуманное слово... Что она — перчатка?.. Ну уж ладно! Никому, как себе!

На рассвете третьего дня она «позвала» Дима.

Провела ноготком по зазору половицы за трельяжем — паркет раздвинулся, и из-под пола, словно только и ждало этой минуты, выскочило устройство, подобное обыкновенному проигрывателю. Оставалось поставить на стерженек пластиночку. И направить иголочку — бережно и точненько. И пустить рычажок — «ход».

Вот тебе, Ленечка, сюрпризик!

В эту минуту она очень хотела, чтобы Димчик действительно явился. Хотя и не верила в эту «чертовщинку». Копошилась смутная боль, — явится и скажет: «Что же ты, миленькая, держала меня в пластиночке, как собака зарытую кость? Сколько лет? Что же ты, миленькая женушка, так... А? Почему — не сразу?..» А ведь она и хотела сразу, в тот же день, когда он умер, — три года назад. И был порыв. Потом подумала: а если и впрямь явится, — тот, еще ТОТ, который хранит тепло супружеского ложа, — что же будет тогда? Боже правый! И она откладывала — на день, на два, на месяц, на три... Прошел год. Потом все

труднее было решиться: почему, мол, не включила пластиночку сразу?! Сразу! Коготок увяз — всей птичке пропасть. Кошмар...

А теперь уже все — одним махом: будь что будет!

Лео, не ночевавший уже несколько ночей, позвонил ей как раз тем утром, когда Дим явился к ней — явился в самом деле! Дим явился и сидел как раз в чешском креслице за чашкой кофе, когда позвонил Лео — по-телячьи дышал в трубку, ожидая ее вдоха, стона, доброго слова: «Левушек, это ты?..»

Что бы там ни было — она все же любила его. Ненавидела и любила.

...— Еще щец подсыпь, — сказал Лео, вытирая пальцами бороду возле губ.

«Да... но что же теперь будет?» — размышляла она, неся и плеская горячий борщ себе на руку.

Лео хлебнул (она поморщилась), обтер губы ладонью:

— Ты знаешь, какую штуку сыграла со мной сестренка? На защите она выступила против. И что ты думаешь она заявила? Моя работа от начала до последней буквы — плагиат: уверовала, что я — вор и мошенник. А? Как тебе это нравится?

— Дрянь: сама же ведь воспользовалась Димовыми идеями и пасется...

— Ладно, не будем мельчить. Не в этом соль. А соль в том, что он... жив!

Лица, краснея, отвернулась, достала из сумочки сигареты.

— Дай-ка огня.

Лео выстрелил зажигалкой, прищурясь и глядя ей в глаза.

Она хотела сдержать прилив крови и от этого краснела все больше.

— Ты сказал какую-то чушь. Я даже не могу понять.

— Жив. Я его видел, как вот тебя. В трех шагах.

Она отвернулась, вся пылая и все еще пытаясь одолеть прилившую к лицу кровь, подошла к зеркалу, поправила волосы:

— Двойник?

— Может быть, и двойник. Однако я видел, как на этом двойнике повисла моя сестренка.

Лица закашлялась от дыма, сгорбилась, съежилась,

— Ты сам же говорил, что это невозможно,— сказала растерянно.

— Ну, а если все же возможно?

— Дрянь. Это — она, она. Это — не я... я ничего не знаю... Спрашивай у своей сестренки.

— Ты что? — Лео швырнул ложку, и она брякнулась о край тарелки, зазвенела, перевернувшись. — Ты что?.. — Он встал и всей глыбой своего тела надвинулся на Лику. — А пластиночка? Пластиночка? Может быть, у тебя были дубликаты?.. Тираж...

— Лео, не надо, пожалуйста, не надо... больно же.

Она закричала. И тогда он зажал ей рот ладонью.

— Тише.

Он подтолкнул ее в кресло, где она давеча вязала.

— Ты мне должна сказать... Пойми ты, дуреха, — мы с тобой одной ниточкой виты. Я должен знать, чьи это штучки. Не бойся, мне надо просто знать.

— Ну откуда же я знаю — что ты имеешь в виду? Что? — сказала она с тайным вызовом и даже с каким-то намеком, но прикусила язык. Да, она хотела бы сказать: «Из-за тебя, идиота. Приревновал к главрежу — вот и возьми теперь за рупь двадцать». Ушел, бросил, — вот и поставила она заветную пластинку. Сама не верила, а так, а вдруг: назло!

— Теперь он представит документальные свидетельства, и накрылась моя диссертация. Это же позор! Смерть!.. Да, Ликушка, — никому, как себе.

— Нет-нет. У него ничего нет. Все черновики по этой раковой проблеме остались у меня. Для него это был частный вопрос... И он, в сущности, не довел его до конца — отбросил и пошел дальше. Он разбрасывался... Он хотел к нему вернуться, но...

Лео засунул руки в карманы брюк, переваливаясь с пяток на носки:

— Чтобы не разбрасываться, ему остается одно — уйти.

— Куда?

Лица с ужасом отшатнулась, нос заострился, лицо посерело.

— Зачем ты мне это говоришь?

— А ты все хочешь на саночках кататься? Чтобы руки чистые были.

— Зачем ты мне это говоришь?

— Не бойся... Это сделает моя сестренка, своими ручками, и даже не подозревая о том. Мы его еще заколотим...

— Лео, ты ужасен.

— Да ну?.

Он прошелся, играя желваками:

— Ну вот, детка, я и поймал тебя — хлоп! Зацепило? Я давно догадывался: ночью и днем — только о нем.

— Дурак ты... и даже, если в шутку... все равно — дурак.

— А ты хочешь играть в добренькую. «Бабушка, а бабушка, а почему у тебя такой большой рот?» Я человек прямой, я люблю прямо...

— Ты — злой.

— Да, а он святой, добренький! Он хочет бессмертия — не для себя? Предположим. Бессмертие индивида. А к каким это последствиям приведет, как это отразится на всем виде хомо сапиенс? Ему плевать! Демагогия. Да, я хочу бессмертия для себя и, если угодно, для тебя, но я не хочу ханжить и прикрывать эту страстишку марципаном. Один бог знает, какие фантастические мутации в ближайшие тысячелетия даст человеческий мозг... Бессмертие — это все равно за счет кого-то. Даже если ты будешь сидеть на Олимпе и питаться акридами — то ведь они тоже живые. Живые! Даже если ты будешь утолять свой аппетит не говядиной из консервной банки «завтрак туриста», а потреблять синтетическую пищу из сине-зеленых водорослей или планктона — то ведь это тоже — живое. Хоть и одноклеточное. «Цыплята тоже хотят жить»... Я по крайней мере говорю прямо: хочу бессмертия для себя и, если угодно, для тебя, — я тебе и обеспечу его. Это дело уже запатентовано. Не будем играть в черненьких и беленьких.

— Я уже ни в кого и ни во что не хочу играть. Мне часто просто хочется умереть... Но и это, очевидно, я не могу... я и на это не способна. — Лика раскинула руки-плечи.

— Ну зачем так-то?.. Ты ведь, чай, теперь удостоверилась в его гениальности саморучно... Может быть, даже тешишь себя, что он принесет тебе венец мадонны с лазерными лучиками. Бессмертие на тарелочке с золотой каемочкой... А! Что же ты не бежишь к нему? — Повел глазами по комнате. — Небось он уже здесь побывал, причастился?!

— Может быть, и был, — сказала монотонно и тупо.

Лео присел на валик кресла, притянул Ликину голову, почесал ей затылок:

— Ладно тебе. Был — не был — не суть важно. Тут не надо быть Вольфом Мессингом — дело твоих рук. Но... помни — это уже без дураков, — если ты с ним встретишься хоть раз — ноги моей здесь не будет... Ловите с ним Жура-

вуху... Да и он не совсем уж чокнутый. Надо быть совсем... чтобы простить тебе... что ты вызвала его оттуда лишь спустя три года... это запоздалое randevu по мимо-летному бабскому капризу. . Да к тому же и сестренка его уже подсекла намертво и уже не отпустит. Что же касается наших с ним деликатных отношений, могу сказать одно: дуэль продолжается... по лучшим правилам рыцарских времен — кто кого. Это даже привносит в наши будни некоторую экстравагантность... Ну ладно, будет... Вытри слезки-то... Тут мы с друзьями собираемся отметить докторскую, очень хочу, чтобы ты была... была, как всегда, украшением бала... А?

Лица слабо шевельнула головой, и даже непонятно было — «да» это или «нет».

Констанца тянула Дима за руку по крутой лестнице вверх. Она бежала, как школьница на выпускной бал. И так это было стремительно и озорно, что спускавшиеся им навстречу девушки-лаборантки озадаченно посмотрели на свою начальницу.

На третьем этаже перед дверью, обитой черным дерматином, Констанца остановилась, и Дим прочел: «Лаборатория мозга».

Она села за свой стол с голубоватым кувшином. Из кувшина торчали веточки ольхи. «Из Пещер», — подумал он. Такие кусты всегда лезли в его окна. В кувшине дремало солнце. Размашистым и мягким, все таким же озорным жестом она предложила сесть в одно из кожаных кресел.

Констанца и Дим только что отвезли детей в детсад и примчались сюда на такси. Сюда — в лабораторию мозга, которую Констанца, оказывается, возглавляла уже два года и была ни больше ни меньше как доктор биологических наук.

— Когда ты все это успела, Ки?

— Ха. Я и не то еще успела.

Констанца стояла, закинув руки за голову, в солнечной ряби. Это не означало ничего, кроме того, что она счастлива. Счастлива тем, что он — с ней, и еще тем, что у нее есть какой-то сюрприз, который она «давно» припасла для него и сегодня, наконец-то, сможет его «обнародовать».

Он смотрел на нее и не мог преодолеть зыбкого чувства ирреальности — будто все это происходило не с ним или не в этой жизни. И не мог пересилить в себе какого-то непонятного упрямства: хотел он быть с ней лишь бы назло той? — да нет, просто потому, что от нее шло такое чело-

печеское, родное тепло, потому что его дети были и ее детьми, что в них на веки вечные, сколько будет стоять мир, скрестились они, и это нерасторжимо, потому что он уже когда-то — хотя и не знает об этом — вдохнул в нее свою любовь, свет, который она отражает сейчас, потому что в ней есть что-то очень похожее на него. Ему даже кажется в эту минуту: когда он смотрит в ее лицо, словно он смотрит на самого себя — в зеркало. И ему кажется, что она похожа на него больше, чем он похож сам на себя, и это не бред — это действительно так, как ему кажется.

Она протянула ему руку, и они пошли сквозь залы.

В комнате, куда они вошли, Дим сразу увидел виварий с белыми мышами. У одной из головы, поблескивая, торчала диадема из золотых электродов с шариками на концах. Констанца отодвинула дверцу, и рубиноглазая царица, поводя хвостом, как шлейфом, доверчиво взошла на ее ладонь, живо обнюхивая все ее бороздки, подергивая усами.

— Эта коронованная мерзавка и не подозревает, что она — первое на планете бессмертное существо, во всяком случае, сотворенное руками человеческими.

Дим принял венценосную тварь из рук Констанцы. Смотрел восхищенными глазами то на мышь, уютно уютившуюся на его ладони, то на Констанцу.

— Да... — произнесла та с некоторой небрежностью, — она пережила уже сто пятьдесят шесть поколений своих сверстниц... А ведь это твоя мышь!

— То есть? — спросил Дим с известной долей подозрительности.

— Ты ее создал на шестой день творения, — улыбнулась Констанца. — Нет, серьезно, совсем серьезно. Ты принес ее за несколько недель до своей смерти и сказал: «Бессмертна, как Ева до грехопадения, — во всяком случае, по-видимому, переживет нас». Ты успел объяснить мне, что в каждой бусинке ее диадемы — свой генератор, установленный на твердой волне, и каждая из них контролирует одну из клеток сетчатой формации мозга... И выходило так, что эта мозаика волн каким-то образом блокирует инволюционные команды генного аппарата, идущие через сетчатую формацию в гипоталамус... Тогда она уже прожила три своих жизни! Ты говорил еще, что сами генераторы питаются от живой батареи — от самой мыши.

Дим арлекински вскинул кустики рыжих бровей, с недолимым удивлением разглядывая творение рук своих, о котором он даже ничего не ведал.

— Но почему же, Ки... почему ты сделала из нее, из

этой вонючей мерзавки, будь она трижды бессмертна, музейный экземпляр, всего лишь памятник в мою честь? Почему ни шагу дальше?

Нежное и горестное прошло по лицу Констанцы:

— А ты не думаешь, что природа по прихоти своей лишь только твоему мозгу даровала право создать расу бого-человеков?

— Ты мне льстишь.

— Отнюдь. Ты тут ни при чем... Ты, может быть, обратил внимание, что у меня... у нас в прихожей стоят бронзовые часы под стеклянным колпаком?

— Разумеется.

— Это единственное, что мне досталось как память — от мамы.

— Она умерла?

— Да... Год назад... Так вот, в этих часах был уникальный механизм — каждый час они вызванивали свой мотивчик... В очаровании этих дивных колокольчиков прошло мое детство... И случилось однажды, что часы эти перестали играть. Это Ленечка что-то там такое поправил. Он мне все говорил, что звон этот вообще его раздражает, не дает спать, особенно же он противен, когда его будят в школу... Подковырнул там что-то, а свалил на меня. Отец меня выпорол, а Ленечка только хихикал из-за угла.

Дим недоверчиво смотрел на посвистывающую у него на ладони, возможно бессмертную, мышь, перевел взгляд на виварий, где суетливо сновали ее близкие и отдаленные потомки — дети, дети детей, правнуки и внучатые племянники, которым уже и несть числа, — она ничуть не уступала им своей молодостью, красотой и здоровьем. Словно отвечая его мыслям, мышь подняла на него свою мордочку, пошевелила усами и, цепляясь коготками, перебралась с его ладони на рукав, вскарабкалась на плечо. Он склонил к ней лицо, а она коснулась своим холодным носиком его носа. И этот поцелуй был, пожалуй, самым счастливым поцелуем в его жизни. Потом она пискнула, глядя прямо ему в глаза. Это было даже страшновато. Дим улыбнулся.

— Я сняла несколько рентгенограмм. Но и это было уже кошунством... Жесткое облучение... Я сейчас.— И Констанца, ловко обтекая столы и стулья, юркнула из комнаты.

Две точки жизневорота... Воздействие на точку «начала конца» привело, увы, к плачевной гибели мыша. Попытка коррекции «биополя» в преддверии половозрелости закончилась просто анекдотически: мышь вымахала в эдакое белошерстное красноглазое чудище размером с теленка,

сбежала, была изловлена неизвестными лицами и передана палеобиологам. В печати появились сообщения о живом ископаемом... неизмеримо прозорливом, которое по каким-то пока неизвестным науке причинам растет не по дням, а по часам. И тогда еще мелькнула мысль: чем не метод для сверхэффективного нагула бекона!.. Но что же было дальше, дальше? Стена забвения. Не забвения — небытия... Да... Вот она — бессмертная мышь! Его создание! Но как, как он все же сотворил ее? Это не бывшее еще чудо! КАК? Увы, это было сделано после того, как он записал себя на пластинку... По сути, это гениальное было сделано не им — другим!.. Другим?..

Возвратилась Констанца с рентгено снимками. Приложила их, один за другим, к стеклу окна — на солнечный просвет: да, там в зыбких теневых контурах черепного костяка, в недрах мозга, видны были точки вживления. А толку — чуть.

Допустим, год-два работы дали ему подробную картину изменений в механизме старения мышинного организма и им были обнаружены главные точки отсчета для начала плавной коррекции. И были вживлены электроды с постоянными датчиками, выправляющими или меняющими конфигурацию биополя по принципу обратной связи... Но как теперь, не порушив всего чуда — всей это калейдоскопической мозаики, раскрыть тайну неповторимой игры биополей — этого живого костерка вечной молодости?!

Констанца смотрела на него, задумавшегося, всё еще прижимавшего мышь к щеке, и сказала чуть ревниво:

— Твоя, твоя. Вечная!

— Толку-то чуть. Да и поднимется ли рука?.. Неужели я тебе ничего... никаких подробностей... записей?

— Пока у тебя были неудачи, ты сердился, стоило мне поинтересоваться, как ты... Когда стало получаться, ты тем более молчал. Ты хотел убедиться наверняка, чтобы не прослыть болтуном. Потом принес эту мышь... Сам пропал. Опять убрался в свой скит. Стал изучать спектр своих потенциалов. Сделал особый стереотаксис — нечто вроде венца с лазерными лучами — вроде вот этого. — Она показала глазами на днадему мыши. — Посылал в мозг лазерные лучи... И там у тебя что-то с расчетами, что ли... не знаю... Одним словом, ты сгорел. Тебя не стало... В больнице ты почти не приходил в сознание...

Констанца тяжело, со стоном вздохнула. Посмотрела в окно, на мельтешащие взблески реки. Произнесла как бы против воли:

— Я тебе не все сказала. — Решительно перебросила на

него взор.— Но я должна сказать — раньше или позже, все равно ты узнал бы. Последние годы твоей жизни ты работал в стенах этого института — под началом доктора Селиванова, Николая Николаевича, или, как мы звали между собой, Ник Ника, или просто Н. Н., а был он занят той же проблемой, что и ты, — о расширении видовых пределов жизни хомо сапиенс. Надо сказать, Димушка, что именно он вывел тебя из тупика. Кое в чем он ушел в то время дальше тебя — в отношении разгадки механизма старения. Однако вы серьезно повздорили. Он считал, что главным импульсом старения является неудержимо, фатально возрастающее продуцирование гонадотропного гормона гипоталамуса и вообще химические возмущения, ты отстаивал гипотезу «искажения» биополя, утверждая, что химия только дрова в его костре... И тому подобное. В полемическом задоре однажды ты хлопнул дверью и уехал в свои Пещеры — благо ты по-прежнему числился там по совместительству. Решил доказать свое и тогда уже вернуться победителем. Старик тоже с перчиком — не пожелал о тебе ничего слышать. Впрочем, потом отошел, беспокоился... — Констанца помолчала, покусывая губу. — Умирая, ты более всего не хотел, чтобы он об этом узнал. Это было для тебя равносильно поражению: сама смерть была синонимом неудачи. И на секунду придя в себя, ты взял с меня слово, что я ни в коем случае не скажу ему о твоей гибели. И я, дура, держала это слово. Нелепо — да?

Он спрашивал меня об этой венценосной мышши. Я же соврала, что это так — эксперимент, тривиальный эксперимент по управлению эмоциями... Я все же надеялась найти ключик к твоей мышши. — Констанца заправила волосы за уши таким знакомым и когда-то неприятным, казалось, претенциозным, а теперь таким милым жестом. — И тогда... тогда я открылась бы. Тогда это не было бы нарушением твоего последнего желания, — думалось мне...

— Вот так мертвый хватает за пятки живого.

— Дим! Димушка! При чем здесь это? Просто все равно — мышка оставалась «вещью в себе». Вечная Богиня Мышь!.. Старик же был уверен, что ты безнадежно увяз в своих амбициях, попирая его выводы... К тому же... — Констанца вдруг покраснела, радужка глаз ее зашевелилась, стекленела, и она подняла пальцы, будто собираясь выпустить коготки. — К тому же, — повторила она, вздохнув и преодолевая какое-то внутреннее сопротивление, — с первого дня, когда я пришла наниматься, еще по совместительству, старик, едва положив на меня глаз, безнадежно влюбился... Лебединая песня. — Горько подернула бровя-

ми.— И сошел с ума. Он был готов на все, ничего не требуя взамен. Опекал меня сумасшедше... И когда умирала мама и никак не достать было обезболивающего средства... очень дефицитного... он поехал в Москву, достал какие-то скляночки, которые дали умереть маме без боли... Когда у нас с тобой началось, я боялась обидеть его. Я скрывала наши отношения... мы скрывали... ты оберегал меня... Я когда-то сдуру обещала ему,— он жалко, по-стариковски просил меня об этом,— если кто-то появится в моей жизни, чтобы он узнал об этом только от меня... И я уже была с тобой... Я не могла убить его... Прости, милый... Ты тогда понимал меня... Нет, нет, у меня никогда с ним ничего не было... Ты это должен знать... Ты это знал...— Глаза ее, потеплев, тревожно-заискивающе блеснули. О Димке и Алешке я наплела ему околесицу — не спрашивай... Придется теперь выкручиваться.

— Он чего-нибудь достиг? — Дим заулыбался смущенно, поймав ее растерянность. — Глупая... Я, разумеется, о его служебных успехах.

— А...— облегченно хмыкнула Констанца.— Кое-чего. Он возвращает стареющим крысам детородный цикл. Таким образом ему удастся задерживать старение на несколько поколений... Но пока лишь — задерживать. Ты сам узнаешь при встрече с ним. А это теперь неизбежно... И не удивляйся, когда он обратится к тебе на «ты», похлопает тебя по плечу и назовет тебя, как всегда, «Дим».

— Нет. Это исключено. Я приду к нему...

— Победителем?..

— Да. Когда разгадаю эту «вещь в себе». — Дим потерся щекой о шелковистую мышиную шерстку.

— Неисповедимы пути...

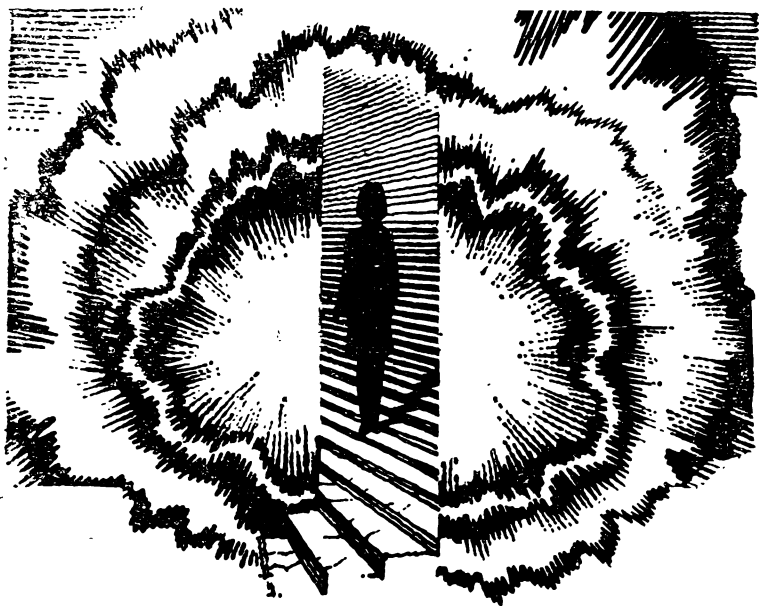
— Мужского фанфаронства?.. Может быть... но...

— А если тебе не удастся разгадать в ближайшие годы? Или вовсе? — Искрометно посмотрела ему в глаза.— А разве ты напрочь исключаешь меня? Может быть, я выросла хотя бы до того, чтобы стать тебе... ассистентом?— Констанца вкрадчиво улыбнулась своей мягкой милой улыбкой, округлившей несколько лисий ее подбородок.

Дим поднял удивленные и обескураженные глаза:

— Не исключаю.— И неловко заправил ей прядку волос за ухо... Неуютно поежился плечами. Прикрыл веки, провел пальцами по лбу и сказал, как будто что-то совсем незначашее:

— Я люблю тебя, Ки,



Галина Усова

Будешь помнить одно мое имя...

ПОВЕСТЬ

Никуда от меня не уйдешь,
Не гонись за мирами иными.
Все исчезнет, все минет — так что ж?
Будешь помнить одно мое имя.
Будешь только его повторять...

Небосвод заглянуло темно-сизыми тучами, стало почти темно. Миша и Павел Сергеевич остановились, не различая, куда идти. Из тяжелых туч повалил снег. А ведь в этот южный поселок до самого декабря съезжались курортники, догоняя уходящее из родных мест лето, ни о каком снеге и речи не было. И вдруг — ни с того ни с сего — повалил слепящими хлопьями. Это в мае! Через какие-нибудь две минуты по всей улице лежал мягкий неправдоподобно белый настил — словно не дышала она только что летним зноем, словно никогда на ней не клубилась засу-

шенная солнцем мелкая пыль. Леденящим контрастом ложились белые снежинки на ярко-зеленые ветки, на распустившиеся южные цветы. С недоумением выглядывали из-под снежного одеяла красные лепестки роз. Мелкие нежные цветки миндаля подавленно поблекли. Фарфоровые граммофончики магнолий съезжились и потемнели.

Миша поднял капюшон куртки, затянул до отказа шнурки. Павел Сергеевич так и стоял с непокрытой головой, невидяще вглядываясь в темноту, не замечая снегопада. На его редеющих темно-каштановых волосах оседали тающие снежинки, в темноте их было почти не отличить от обильно выступившей седины. Миша вытащил из кармана запасной капюшон, тронул Павла Сергеевича за плечо. Тот не шевельнулся.

— Вот, возьмите. Простудитесь ведь,— неловко сказал Миша, но Павел Сергеевич не реагировал. Миша обиделся было, но тут же понял, что Павел Сергеевич просто ничего не замечает, вглядываясь в безмолвную враждебную темноту.

— Павел Сергеевич! — Миша сильно толкнул его в плечо.

— Да, да,— отозвался тот.— Спасибо, Миша. Не надо.

— Замерзнете же! Вон снег какой пошел.

— Да, снег. Мне не холодно. Не надо ничего.— Он протянул руку, отломил веточку цветущего миндаля, поднес к самому лицу. — Она говорила, что миндаль уже цветет,— пробормотал он, бережно очищая нежные лепестки от снега и согревая их неловкими пальцами.— Я так и думал — прилечу, увижу миндаль. Раньше я дарил ей такие веточки...

— Идемте же, Павел Сергеевич,— перебил Миша. Ему стало неловко — будто он чужие мысли подслушивает. О ее прошлом...— Мы же решили пробраться к почте.

Миша всего два месяца работал на биостанции неподалеку от поселка и не так хорошо ориентировался, а тут еще темень. Как все было полно радужных надежд, когда открыли биостанцию! Разве мог кто-нибудь предположить, что возможен взрыв такой силы?

Павел Сергеевич медленно зашагал наугад, все еще сжимая в пальцах веточку миндаля. Миша подхватил рюкзаки и пошел следом.

Снег слепил глаза, под ногами что-то хлюпало, брызгала грязь: пушистый ковер перестал быть девственно чистым и быстро таял. Миша с трудом различал впереди широкую спину Павла Сергеевича и размашисто шагал, стараясь не отставать. Робко зашевелилось смутное воспо-

минание, вроде бы уже было однажды: слепящий мокрый снег застилает обзор, зябко и сыро, а он, Миша, устало шагает по хлюпающей сероватой кашеце, стараясь не потерять из вида маячащую впереди широкую спину Павла Сергеевича. Ерунда какая. Ведь сегодня Миша всего в третий раз увидел ее мужа. Ее бывшего мужа.

Он отлично помнил тот день, когда пришел к ней домой показывать свой доклад для московской конференции. Он так робел перед ней. Невозможно было себе представить, что когда-нибудь рухнет прочно разделяющий их барьер... Она так настойчиво сказала:

— Приходите вечером ко мне домой, посоветуемся насчет доклада. Вот адрес.

Он шел по бесконечной улице и думал: что бы это могло означать? И понимал, что, скорее всего, ничего. Просто не может на все хватить рабочего дня. Обычный деловой разговор, потом — церемонное семейное чаепитие. «Вам сколько сахара? Какое варенье вы предпочитаете?» Любопытно увидеть, как она разливает чай.

Примерно так и оказалось, только чай разливал муж. И варенья не было — зато всю середину стола загромодила ослепительной красоты коробка с шоколадным набором. Мише случалось видеть такие в кондитерских магазинах, но нельзя было представить, что кто-то взаправду покупает эти роскошные коробки и запросто ставит на стол вместо традиционных вазочек с вареньями собственного производства.

В тот вечер Мише показалось, что это такая слаженная семья. Домовитый, заботливый муж — именно такой ей нужен. Ну что ж, думал он, отправляя в рот бутылочку с ромовой начинкой, и слава богу. Так у нее и должно быть. На кафедре, правда, болтали, будто у нее что-то было с Селезневым. Мало ли у кого что было...

Второй раз Миша увидел ее мужа накануне того дня, когда тот собирался в очередную командировку и почему-то встречал жену после работы и ждал перед главным входом, а она вышла из института вместе с Мишей и, увидев мужа, нахмурилась, не скрывая недовольства, а Миша неожиданно смутился, хотя ни в чем еще перед Павлом Сергеевичем виноват не был. Павел Сергеевич холодно кивнул Мише, словно вовсе не был с ним так любезен в памятный вечер семейного чаепития, и взял жену под руку, как бы отодвигая от Миши, а она обернулась через плечо и ласковым голосом напомнила:

— Значит, мы с вами договорились насчет завтрашнего дня?

А он странным образом обрадовался, хотя речь шла всего только о завтрашнем эксперименте...

И все-таки так уже было: слепящий снег, широкая спина впереди, Павел Сергеевич идет не оборачиваясь, а она сле попевает за ним, стараясь не потерять из виду. Он обернулся и зло бросил ей в лицо:

— С профессорами компанию водишь, с академиками... А я, простой инженеришка, тебя не устраиваю!

Миша вздрогнул. Что это с ним? Он перевоплотился в нее, ощущая ее досаду и вину перед этим человеком, который так зло упрекал... Никогда она ему не рассказывала. Ее ощущения? Возможно, в поселке рассеялись те лучи, которые освободились во время взрыва.

Погода улучшилась. Снегопад прекратился, но черные тучи не расступились. Виднелись очертания обычных для южного поселка беленых домиков, окна чернели застекленной пустотой: утром жителей срочно эвакуировали в ближайший город. Снежные покровы на зелени и палисадах напоминали о необычности катастрофы. Павел Сергеевич вдруг приложил ладонь к стене дома, безразличное выражение его лица сменилось удивлением.

— Теплая,— тихо заметил он.

Миша приложил рядом свою ладонь — приятная теплая волна мягко обволокла его всего. Он опустил капюшон, расстегнул куртку. Ровное тепло гладило его волосы, шею, спину. Он повернулся и уселся на землю, прислонясь к дому спиной.

Миша сразу увидел ее. Он так и знал. В хорошо знакомом ему махровом халатике с синими звездами, она сидела на диване, поджав ноги, и смотрела куда-то в сторону.

— Это пси-луч,— тихо сказал он.— Я сразу понял.

Она молчала.

— Твой луч. Я знаю. Он высвободился. Я сейчас видел, будто я — это ты.— Она продолжала молчать.— Ты все еще сердись? Прости, но я не виноват. Я не хотел ссоры. Ведь я — это и вправду ты. Мы одно. Ты же знаешь, что наши лучи близки по характеристикам. Знаешь, что я думаю? — Он все пытался вызвать ее на разговор.— Взрыв связан с нашей ссорой. Мы ссорились возле установки, она зарегистрировала характеристики эмоций и перегрелась. Будто в перегруженную электросеть подключили критическую нагрузку. Потом она переваривала — как человек с замедленной реакцией, Окончательно переварила и взор-

валась — а нас рядом уже не было. Ну почему ты молчишь? Скажи что-нибудь! Я же люблю тебя. И всегда любил, что бы ты ни вообразила. Умная женщина, а понимать не хочешь. Как у тебя язык повернулся сказать мне, будто я на тебя смотрю как на ступеньку для своей карьеры? Ты не ступенька. Ты моя любимая. Я восхищался каждым твоим словом, каждым жестом. Ты была для меня идеалом ученого. Я у тебя учился. Твоей жизненной позиции, одержимости наукой, фанатичности, если хочешь. Да, я хотел продвинуться в науке, никогда этого не скрывал. А ты? Ведь ты эту самую карьеру сделала, разве не так? Вот и я хочу кем-то стать в науке, не всё пробирки мыть. Ну, не смотри так! Мне страшно!

— Страшно? Тебе страшно? — переспросила она чуть надтреснуто. — Ты же у меня такой храбрый! Против самого Логинова не побоялся выступить.

— Зачем ты надо мной смеешься? Надо же было добиться, чтоб нам разрешили вести исследования на биостанции.

— Значит, против Логинова не страшно было идти?

— С тобой мне ничего не страшно. Но когда ты так смотришь...

— Как?

— Как сейчас. Отрешенно. Просто жить не хочется...

— Бедный. А как же твоя карьера?

— Зачем она мне без тебя? — Он облизнул пересохшие губы и попытался шагнуть к ней, ноги вдруг неимоверно отяжелели и не отрывались от пола.

— Спокойно! Ха-ха! — Смех какой-то деланный...

— Но послушай, это же правда! Утром я просто слов не нашел в ответ тебе. Поверь, вовсе ты не ступенька для карьеры.

— Не ступенька? А кто же я для тебя?

— Любимая. Мне никто не нужен, кроме тебя. Не веришь? — Он был в отчаянии. — Как доказать тебе?

— Верю всякому зверю — и лисе, и ежу, а тебе погожу. Знаю, сейчас-то тебе никто, кроме меня, не нужен. Но ведь ты еще не защитился! Лучики эти нас связали прочней канатов. Не спорь, Мишенька. Я тебя лучше тебя самого понимаю. Ну, поссоришься со мной — а куда пойдешь со своей энергией человеческих эмоций? Где в Советском Союзе еще такой центр? Вот и выходит, что деваться тебе от меня некуда, пока не защитился!

— Боже мой, как ты все запутываешь! А я-то хотел, чтобы лучше, чтобы уехать с тобой на юг, на биостанцию, остаться совсем-совсем с тобой, вместе работать, вместе

жить! Чтоб никакие тени между нами не мелькали... Казалось, что это так просто!

— Все в жизни не просто, бедненький ты мой! — Теплою поткой проскользнуло сочувствие, но глаза глядели так же отчужденно. — Ты воображал, уговоришь меня уехать — и все образуется? А куда я дену свою предыдущую жизнь, ты подумал?

— Не было предыдущей жизни! — выкрикнул он. — Не было! Ты сама мне говорила...

— Была, — спокойно перебила она. — Мало ли что можно сказать под влиянием порыва. Но ведь ты отлично знаешь — был Павел Сергеевич. Был ребенок, которого я погубила.

— Ребенок? Какой ребенок? — Он похолодел. — Я не слышал...

— Ты многого не слышал и не знал, Мишенька. Вернее, не хотел знать. Ты, Мишенька, как страус — голову под крыло спрятал.

— Но ребенок, — беспомощно бормотал он. — Могла бы рассказать...

— Значит, не могла. Никому не рассказывала. Была дочь, которую я бросила на полуглухую бабку — тетку мужа. Была бы я настоящей матерью, растила бы ее сама — она бы не погибла от менингита. А мне важнее всего была работа.

— Боже мой, я же не знал... Давно?

— Еще до Виталия. И Виталий Селезнев был. О нем-то ты прекрасно знаешь. Куда я, по-твоему, все это дену? И эти двенадцать лет между нами...

— Нет! Это запрещенный прием. Ты... такая молодая, гораздо моложе меня. Ну, забудь это!

— Да как же забыть, Мишенька? Может, я не всегда об этом говорю, но всегда помню. Всегда.

— Сейчас я тебя обниму, и ты снова забудешь!

Он с силой оторвался от пола, протянул к ней обе руки, она усмехнулась, и руки его будто наткнулись на невидимое препятствие. Она оказалась огорожена невидимым забором.

— Убедился? — спросила она строго, точно нашкодившего школьника. — Двенадцать лет. Это они между нами. Ты о них мог не думать, потому что молодой, за спиной у тебя еще нет никого. Разве что мама, которая считает меня похитительницей младенцев и в парторганизацию чуть не написала.

— Но не написала! Я отговорил. К чему вспоминать?

— Так, между прочим. Так о чем я? Да, воспоминаний

у тебя нет. А я всегда, в самые блаженные минуты с тобой помнила: мне исполнилось двенадцать, а ты родился. Я знала уже основы алгебры и физики, не только по-русски, но и по-английски чуть-чуть говорила — а ты «мама» сказать не мог. Я влюбилась в Кольку Журавлева, а тебя в колясочке возили! Я кончила университет, а ты — детский сад. Я вышла замуж и родила ребенка, а ты приклеивал учителя черчения к стулу — помнишь, ты рассказывал?

Он смотрел умоляюще:

— Зачем это вспоминать? Так давно... А потом... Настал момент, разница сгладилась, разве ты забыла, как я обнимал тебя этими руками? Этими губами целовал тебя?

— Я ничего не забыла, Мишенька. И двенадцать лет тоже. И знала — встанут они между нами. Взрыв был неизбежен. Убедился? Не надо было нам вместе приезжать на биостанцию.

— Но почему? Ведь наши пси-лучи...

— Да, многие характеристики совпадают. Но разница в возрасте... Она должна была дать фазовый сдвиг. Во времени возможно расхождение биоритмов по фазе. Приезжать вдвоем — какая ошибка!

— Не ошибка! Ерунду ты говоришь. Какое еще расхождение биоритмов? Всегда можно найти выход, даже если ты права!

— Найди! Ну?

Злая насмешка в глазах приводила в отчаяние. Вместе можно бы придумать все, что угодно. Но раз она не хочет... Да еще силовое поле к ней не пускает. Протянутая рука натывается на стену. А она все смеется, смеется, невесело, торжествуя, жутко...

— Миша! Миша! Очнитесь! Что с вами?

Он открыл глаза и в недоумении огляделся. Он сидит на серых ноздреватых плитах тротуара, прислонившись к греющей стене...

— Вставайте! — Настойчивый голос не давал снова отдаться грезе.

Над Мишей склонилось лицо Павла Сергеевича. Добрые серые глаза, утонувшие в лохмах беспорядочных седых бровей, волосы с едва заметной проседью, глубоко запавшие складки вдоль одутловатых щек. Как-то она заметила вскользь:

— Он ведь добрый, только зануда ужасный! И меня не понимает,

Миша старательно не заметил услужливо протянутой руки и оперся о стену. Снова окутало тепло — нет, не бездушное тепло нагревательных приборов и не ровное тепло солнечных лучей, скопившееся на поверхности за несколько часов ясного утра. Будто Миша провел ладонью по теплой коже живого существа. Ровные биотоки или пульсация живой крови. Он наконец поднялся на ноги. Ноздреватые тротуарные плиты недавно, кажется, были засыпаны снегом. А небо затягивали тяжелые сизые тучи — они словно растаяли без следа. Совершенно светло, небо синее, как в то утро, когда он бродил по степи.

В то утро... В какое? Ах да, после аварии. Неужели только сегодня? Он бродил по степи и вдруг услышал грохот и увидел в стороне биостанции на фоне густого черного дыма крохотную черную молнию, рванувшуюся к небу. Он успел хорошо разглядеть необычный ее рисунок, она была такая белая на черном фоне дыма: ветвистое дерево без листьев, изогнувшееся как бы под сильным ветром.

Миша кинулся к биостанции. На месте каменного здания лаборатории он увидел большую черную яму в земле. По краям факелами догорали коттеджи служащих. И ни души. От лаборанта Сережи, который тоже примчался из степи, Миша узнал, что она уехала в поселок за почтой. Машина ушла с биостанции за полчаса до катастрофы. Попутки уже не ходили, все пять километров Миша с Сережей пробирались пешком. На подходе к поселку их остановил патруль. Начальник патруля объяснил, что утром на почту приехала сотрудница биостанции спустя минуту после взрыва. Предупредила, что последствия могут быть опасны и население поселка надо срочно эвакуировать, что и было сделано. Самой этой сотрудницы среди уехавших не было, в поселке ее не видели после того, как она с почты звонила в Ленинград. Миша совал начальнику свои документы и тщетно пытался объяснить, что он главный помощник той самой сотрудницы и должен ее разыскать во что бы то ни стало.

— Насчет помощника не говорили, — твердил начальник. — Сказали — никого в поселок не допускать. Сейчас машина поедет, отправим вас в город, туда всех эвакуируют.

Миша пытался пробраться другой дорогой — и неожиданно встретил Павла Сергеевича, который прилетел из Ленинграда после ее звонка. Вдвоем им чудом удалось проскочить в поселок по обходным тропкам. Они долго шли по улице. Потом повалил снег...

— Павел Сергеевич! Когда же погода переменялась?

— Ах погода? — Павел Сергеевич устало махнул рукой. — Да так, сразу как-то. Как началось, так и кончилось.

— Я потерял сознание? — спросил Миша.

— Похоже. Вдруг стенку начал ощупывать и сел прямо на снег. Я за плечо тронул — какое там, ничего не слышишь. Пока с тобой возился — гляжу, небо разом прояснилось, снег стаял.

«На «ты» перешел», — неприязненно подумал Миша. Подавил в себе раздражение — ведь он, как говорится, счастливый соперник, мог бы проявить великодушие. Утренняя ссора не в счет. И тут его словно огнем обожгло. Ведь он с ней выяснял отношения. А Павел Сергеевич? Неужели слышал? Что-то она говорила о ребенке...

— Я что-нибудь говорил? — тихо спросил он.

— Кажется, — нехотя ответил Павел Сергеевич. — Весьма бессвязно. Я так и не понял, о чем. Ну, пойдем дальше.

Миша напряженно шагал за ним следом, стыд обжигал щеки, — неужели слышал? Ведь Павел Сергеевич до сих пор ее любит, сразу из Ленинграда примчался. «Если она уцелела, как они встретятся, о чем будут говорить вдвоем? — подумал Миша. — Наверно, неважно, лишь бы она осталась жива. Только бы найти ее!»

Может быть, разговор в странном бреду — ее истинные чувства и мысли, которые он уловил? Может быть, это все, что от нее осталось? Ничто не исчезает бесследно — истина, усвоенная еще в школе. Когда Миша узнал, что она была в поселке, он был почти уверен, что она жива, только ее надо найти. Теперь он сомневался. Может, он увидел ее последние мысли?

Какое сейчас имеет значение — о чем говорить с ней, как себя держать? Важно только одно — лишь бы она осталась жива.

Миша догнал Павла Сергеевича и увидел, что тот все еще сжимает неловкими пальцами съжившуюся потемневшую веточку миндаля. Миша вспомнил о ребенке. Очень хотелось спросить, правда ли, но он не решался. Все-таки — слышал ли Павел Сергеевич?

Жара все расплывалась над непривычно пустыми улицами. Павел Сергеевич остановился, бережно положил веточку на землю, снял тяжелый черный пиджак. («Такие везде в черных пиджаках, даже на пляже», — с неприяз-

нию подумал Миша.) Павел Сергеевич аккуратно сложил пиджак и сунул в огромный командировочный портфель. Не забыл и поднять веточку.

Все на свете можно было бы запихать в этот портфель, который она когда-то окрестила «сундуком». Она шутила, что в сундук-портфель можно упрятать целого слона. («Если он, конечно, как следует подожмет хобот», — добавляла она и первая начинала хохотать.) С сундуком он ездил в командировки. Он привык сам собирать портфель в дорогу и раньше, когда они еще были вместе.

— Завтра я лечу в Магнитогорск, — сообщал он, придя с работы.

— Да? Вот как? — Она рассеянно не поднимала глаз от конспекта, или от книги, или от пробирки с таинственной жидкостью. — Именно завтра? А у меня завтра как раз ответственный семинар (или доклад, или комиссия, или эксперимент — но всегда ответственный). Магнитогорск — это где? О, как далеко!

И он сам искал в шкафу мыльницу и чистую рубашку. Иногда чистой не оказывалось, приходилось идти в ванную и рыться в грязном белье, которое вечно не успевали сдавать в прачечную. Он наскоро постирывал рубашку потемнее и вешал на змеевик, чтобы к утру высохла. Потом доставал из того же сундука купленные по дороге с работы пряники, заваривал свежий чай и громко звал:

— Чай готов — не пора ли сделать перерыв?

Иногда она шла сразу, иногда кричала через стенку:

— Сейчас никак, самый ответственный момент!

Он подходил к двери в ее комнату и робко застывал на пороге:

— Ладно, не торопись. Я тебя подожду.

Она небрежно отвечала, не поднимая головы:

— Да пей без меня. Ты же устал после работы.

Но ему не хотелось садиться за стол без нее. Он читал на кухне газеты, то и дело подогревая чайник. Она освобождалась и выходила на кухню, устало прищуриваясь. Он вскакивал, смахивал ворох газет на холодильник и наливал чай покрепче в ее любимую чашку с розочками.

— Ой, как хорошо! — радовалась она. — Какой горячий и крепкий! Спасибо! — И нежно целовала его в лоб.

Гости в доме бывали редко, все больше жили вдвоем. Ему и не нужно было никого. Изредка, если случалось отмечать очередной успех в науке, собирали шумную компанию в ресторане. Павел Сергеевич не любил этих сборищ. Он стеснялся профессоров и доцентов и каждый раз

вздыхал с облегчением, когда они вдвоем возвращались из нарядного ресторана в свою тесную обжитую квартиру.

— А синяя птица, оказывается, все время была здесь! — с торжеством заявлял он, захлопывая за собой входную дверь.

Низкая обитая железом дверь в какой-то подвал неожиданно напомнила ему дверь их квартиры. Павел Сергеевич резко остановился. Кажется, за дверью слабо плещет вода. На ржавом железе двери белел странный рисунок, похожий на детский. Тяжелый висячий замок на круглых дужках не заперт. Что там плещется?

Из-за его плеча Миша уставился на странно знакомый рисунок, белевший на ржавой двери. Где он недавно видел точно такой узор? Искривленное ветром деревцо без листьев... Ах да, молния. Во время взрыва была точно такая молния. Удивительно — будто отпечаталась на этой двери. Миша только хотел сказать об этом Павлу Сергеевичу, как тот сорвал замок с петель и вбежал внутрь.

Он спустился по крутой лестнице в длинный темный коридор и пробирался по нему, точно в кошмарном сне, пока не оказался в ванной комнате. Она как раз принимала ванну. Воду, как крышка, прикрывал плотный слой белой шипящей пены, торчало только ее лицо, такое до боли знакомое лицо. Она ничуть не удивилась.

— Это ты, — сказала она равнодушно. — Вовремя пришел. Подашь мне полотенце.

— Послушай, — сказал он хрипло. — Послушай. Что происходит?

Она приподнялась, высунув из густой пены голову и плечи:

— Ничего. Ровным счетом ничего.

— Уже подавать полотенце? — спросил он покорно.

Она пожала мыльными плечами:

— Разве не видишь — я не вымылась! Что за спешка?

Почему ее так раздражают его заботы? Что он плохого сделал?

— Что же случилось с нами? С нашей любовью? Куда ушла она?

— А куда уходит все, Павлик? Куда уходит время?

— Но любовь... Как мы ее сохранили?

— Ты хороший человек, Павлик. И был мне очень хорошим мужем. Никогда у меня не будет такого. Ты старше, на тебя можно было опереться. Теперь не на кого.

Я старше всех, а все моложе меня. Это так тяжело, Павлик. Плохо, когда женщине не на кого опереться.

— Но почему тогда... Почему ты не вернешься ко мне?

— Ты же знаешь. Я тебя больше не люблю.

— Но почему, почему?

— Прости, Павлик, любовь не спрашивает — почему. Так получилось. Не сердись. Наверно, мне всегда хотелось любить кого-то, кто ближе тебя. Более равного мне, что ли.

— Кто же тебе равен? Лощеный эгоист, который тебя бросил? Или мальчишка — долговязый очкарик?

— Не знаю. Я только пыталась найти себе пару...

— Павел Сергеевич! — кричали над ухом. — Вы меня слышите?

Он сидел на ступеньках, упиравшись головой в теплую стенку. И вовсе не в подвал эта дверь, теперь он знает. Там ванная, она моется, она ждет полотенце...

— Павел Сергеевич! — отчаянно кричал Миша. — Встаньте, попробуйте по ступенькам подняться. У меня сил не хватит вас вытащить.

— Зачем вытащить? — тупо спросил он. — Ты что, из ванной меня выволок? — Кровь бросилась в лицо. Мальчишка видел, как она моется!

— Из ванной? Там только подвал, темный и захлащенный.

Господи, так и ее не было? А разговор? Слышал ли Миша разговор? Павел Сергеевич положил ладонь на теплую притолоку и словно ощутил пульсирующую кровь родного человека, живую кожу ее.

— Павел Сергеевич!

Как сюда попал Миша?

— Павел Сергеевич! Оторвитесь от притолоки!

Что ему надо, этому длинному очкарику? Мальчишка, щенок. Оторваться от своего — что же тогда останется? Что останется?

— Дайте руку! Встаньте же!

Павел Сергеевич подчинился жесткому, требовательно-му голосу — с усилием, точно прерывающему сон звону будильника. Шатаясь, поднялся по ступенькам — на верхней лежала совсем почерневшая веточка миндаля. Где он ее видел? А, он сам ее сорвал недавно. Неужели не сто лет назад?

— Слушай, ты что-нибудь понимаешь? — хрипло спросил он,

Миша поправил очки:

— Догадываюсь. Какое-то преобразование пси-поля. Ну, вам же известно о преобразовании различных полей — магнитного, силового...

— Все виды энергии тождественны, — устало припомнил Павел Сергеевич.

— Вот-вот. Пси-поле, — повторил Миша. — Мы пытались его усилить, чтобы преобразовать. Ничего не выходило. А сегодня утром получилось нечто вроде замыкания в нашей установке. Хорошо, если это только перегрузка.

— Так... — Павел Сергеевич повернул боком «сундук» и уселся на него. У него вдруг ослабели ноги.

Миша опустился рядом на мягкую траву, зачем-то протер очки, закурил. «Ничего, кажется, парень, — подумал Павел Сергеевич. — Молод только. Поймет она, что этот тоже ей не пара. А может, уже понял? Она только пыталась найти пару...» Он тихо спросил:

— Думаешь, есть надежда, что она...

— Не знаю, — сказал Миша. — Надо искать. Ее лучи нам сигнализируют — возможно, она жива.

— Постой, а где же ты был во время аварии?

— Да так... Встал рано, бродил по степи.

В последнее время она все нервничала, устраивала сцены. И все боялась, что мама опять захочет писать в парт-организацию. В Ленинграде Мише казалось, что многие осложнения на биостанции отпадут сами собой. Время шло, а лучше не становилось.

— Любишь ее? — спросил Павел Сергеевич.

— Да, — просто ответил Миша.

— Так мне сразу и показалось, когда я тебя увидел, еще в Ленинграде, — вздохнул Павел Сергеевич.

— Погляди, что там такое? Видишь?

Миша заслонил ладонью стекла очков, чтобы не отсвечивало садящееся солнце. Они шли по узкому немощеному переулочку. Если бы не поблекшие и покоробившиеся листья недавно таких свежих растений, ничто не напоминало бы о снеге. Переулок упирался в Социалистическую улицу — по ней ходили автобусы, соединявшие поселок с городом и с биостанцией. Сейчас Социалистическая, как и другие улицы, вымерла, затихла. Только отсвечивали на солнце аккуратно выкрашенные щиты с номерами и расписанием автобусов.

Ахнув, Миша невольно остановился. Почудилось, что улица так и кишит огромными крокодилами, покрытыми

крупной серой чешуей, они вздыбливали серые спины, шумно били хвостами, будто кто-то невидимый внезапно потревожил их стадо. Откуда здесь, в отдалении от воды, в высохшей степной местности, могли взяться эти гигантские пресмыкающиеся? Он снова услышал Павла Сергеевича:

— Видишь? Диабаз шевелится. Будто мостовая ожила.

— Диабаз? Ах да, конечно. Откуда бы тут взяться крокодилам?

— Крокодилам? — не понял Павел Сергеевич. — А вообще похоже! Этаким взбесившийся крокодилий питомник!

Значит, это всего только гладкие камни мостовой. Хотя в известном смысле было бы легче, если бы это корчились и ходили ходуном живые крокодилы, а не бездушная каменная мостовая.

— Не пройти, — понял Павел Сергеевич. — Куда теперь?

А сам вспомнил: однажды шли вдвоем по пляжу и вдруг она дернула его за руку:

— Смотри, смотри! Зайчик!

— Где, какой зайчик? — недоумевал он.

— Да нет же, не вниз, чудак, ты вверх смотри! Во-он то облако! Увидел? Правда, совсем будто зайчик? С хвостиком!

— Да ну тебя, — он с досадой махнул рукой. — Какой еще зайчик? Облако как облако. Выдумашь тоже! С хвостиком...

Они повернули назад по пыльному переулку.

— Отчего же такое? — спросил Павел Сергеевич. — Цветы гибнут, стенки теплые, мостовые оживают. Что вы тут наколдовали? Если бы только взрыв, а то ведь какие последствия! Нет, давно я уже говорю, нельзя бабам руководство доверять! Нельзя!

— Павел Сергеевич! — Миша повернул к нему искаженное страданием лицо. — Не надо, я прошу вас! Она... — на язык просилось слово «была», он с усилием загнал его куда-то в пересохшую от жажды гортань. — Она настоящий ученый. Это слово к ней неприменимо. — Так же трудно сказать о ней «баба», как и «была». — Это одно из имен, которыми по праву гордится советская нейробиология.

— Слушай, ты, я столько лет был ее мужем, не хуже тебя понимаю! — прикрикнул на него Павел Сергеевич.

— Сдается мне, что вы как раз мало ее понимали. — Миша возразил пугающе тихим голосом.

— Я-то понимал,— жестко сказал Павел Сергеевич.— Я ее полюбил именно за эту нестандартность. Всегда мог простить ей все. Согласен был по столовкам обедать, сам полы мыл. Потому что понимал, что наука для нее — важнее всего. Даже ребенка из-за этого потеряли. Дочку, Оленьку. Ты небось и не знаешь. Она никому не говорит. Пришлось моей глухой тетке ее отдать. Погибла двух лет от менингита, только холмик остался.

«Значит, правда,— похолодел Миша.— Не почудилось».

— Это тебе не понять,— продолжал Павел Сергеевич,— что значит — похоронить вместе ребенка. И надежду иметь другого, не захотела она больше рисковать. Да разве кто станет ей ближе меня после того, как мы гробик в могилку опускали? Это *ты* пойми. Женщина нынче не хочет быть женщиной — в том смысле, как это было раньше. Не желает жить одной любовью, интересами любимого, детьми, кухней. Лезет она, раскрепощенная женщина, на производство, в науку, в политику. А природа своего требует: *она* в глубине души остается бабой, которой, как сказал один классик, к травке бы поближе, да мужа попроще, да детей побольше. Вместе то и другое не выходит. Тут, Миша, величайшая трагедия нашего времени. И взрывы — через это. Да. Все катастрофы от этого.

— Нет,— Миша тряхнул волосами.— Нет трагедии. Я разумею положение женщины. Разве трагедия, если тебя из тюрьмы освободили?

— Ого, еще какая трагедия! Представь — выпустили тебя из тюрьмы, а куда ты дальше? В тюрьме, как ни плохо, а на всем готовом, заботы о хлебе насущном нет, все предусмотрено. А вышел на волю — соображай сам, как жить.

— Освободили же, сделали полноправным членом общества, все пути открыли! В чем трагедия?

— Это ты по молодости. Кандидатский минимум сдал уже? Небось по философии пятерка? Книжную премудрость легко вы зубрить. А по делу, применительно к жизни? Пойми: ни одно жизненное явление нельзя воспринимать прямолинейно, односторонне. Во всем свои противоречия, отрицательные стороны уживаются с положительными.

Общество этого поучающего зануды вдруг сделалось невыносимым для Миши, его рассуждения казались пошлыми.

— Она... Вы же не в состоянии понять, кто она! Она... ей тяжело было с вами, вам же было глубоко наплевать, чем она занимается, вы в ней видели только бабу, свою

жену! Вы собственники! — Мишу бил озноб. Он натянул куртку.

— Дурень ты, дурень! — Глаза Павла Сергеевича потемнели. — Была бы мне нужна только баба — что я, не мог бы себе найти такую, чтоб варила мне щи и носки стирала? И рожала бы детей. А я... да я сам ей готовил и стирал в стиральной машине, к вашему сведению! Никогда этого не стеснялся! — Павел Сергеевич сердито тряхнул в воздухе своим «сундуком».

— Еще бы! А чем вам заниматься после работы? Сидеть у телевизора да газеты читать? Еще бы требовали, чтоб она вас обслуживала! Наука требует всего человека без остатка, слышите? Неважно, мужчина это или женщина. Ученый работает круглые сутки!

— А ты что можешь понимать, мальчишка? Ты с ней познакомился как с известным профессором, она уже имя мировое имела. Ты не ее, ты славу ее полюбил.

Да как он смеет, этот мужик, говорить то же, в чем обвиняла Мишу она? Почему нужно в чем-то низко подозревать Мишу, раз ему довелось родиться на двенадцать лет позже? Разве он нарочно? Во всем остальном они созданы друг для друга. Нет, вовсе не славу ее он любил, а ее голос, глаза, руки, совсем еще молодое стройное тело. И талант ее тоже любил, но разве она существовала отдельно от таланта?

— Неправда!

— Правда. Вот когда я с ней познакомился...

Она была просто студентка — серьезная девочка с чистым взглядом под пушистой светлой челкой. А Павел Сергеевич только что кончил институт и был таким же обыкновенным, как она. Откуда же было знать, кружась с ней в танце на университетском вечере, что он таким и останется, а она будет знаменитой? Он и не помышлял о таком, долго провожая домой худенькую девочку со светлой челкой, а она доверительно говорила ему:

— Надо столько успеть, а жизнь такая короткая! Я еще на втором курсе решила отказаться от личной жизни — ведь наука требует всего человека, вы согласны? Сегодня я случайно на вечер пришла...

Он поддакивал ее милой наивной болтовне, а сам думал: «Знаем мы эти отказы от личной жизни! Просто, наверное, никто еще не ухаживал. Дураки биологи — такое сокровище не заметить!»

Только годы спустя понял Павел Сергеевич, что наивные ее слова вовсе не были пустой болтовней. И как же дорого ему обошлись ее научные занятия! От скольких

мужских удовольствий пришлось отказаться, чтобы она могла спокойно работать! У мужчин-ученых бывают преданные жены, они обеспечивают мужу быт и оберегают от житейских треволнений. Но он все-таки не жена — при всей его заурядности! Разве поймет это долговязый очкарик, аспирант, который околачивался возле нее, купаясь в ее славе? Разве он задумывался, чьим незаметным трудом эта слава достигнута?

— Как же, поверили в твое бескорыстие! — злобно сказал Павел Сергеевич. — Для тебя она профессор, светило. А я вижу в ней ту скромную девочку с серьезными глазами под светлой челкой, всегда мне хотелось ее согреть, накормить, накрыть одеялом, чтоб легче и светлее ей стало. Ты разве это можешь понять?

— Могу. Может, я по-другому... Но я тоже люблю ее!

— Любишь, — проворчал Павел Сергеевич. — Как тебе ее не любить, кем бы ты был без нее? Тему тебе кто подсказал? Кто помог над ней работать? Кто тебя на кафедре отстаивал?

— Я тоже ее отстаивал! Мы вместе...

— Вместе... Кто ты и кто она? Кто бы тебя без нее слушал? Молчишь? Когда статью против тебя газета напечатала, кто в «Ученых записках» дал отпор? Удобно тебе ее любить, очень удобно!

— Неправда!

— Да? А в Париж на конгресс кто тебя оформил личным секретарем? Неплохо во Францию прокатился, а?

— Зачем вы меня оскорбляете? — Миша сжал кулаки. — Я ведь могу не посмотреть, что вы старше!

— Что я старше — это очевидно, но мы проверим, кто сильнее! — Павел Сергеевич тоже кричал. Он рывком освобождался от пиджака, перекладывая портфель из руки в руку. Потом сообразил, что можно поставить портфель на землю, наклонился... — Эй! — окликнул он Мишу совсем другим голосом. — Ты погляди сюда! Опять небось какое-то явление?

Миша наклонился, поправил очки и заметил, что пыль в переулке — красная. Не бурый краснозем, содержащий железо, а ярко-красная почва, словно живая кровь просочилась на поверхность.

— Пойдемте отсюда! — Миша поспешно подхватил «сундук».

Павел Сергеевич налегке едва поспевал за ним. Они шли словно по засохшей крови. Наконец нашли улицу, где был асфальт вполне нормального цвета. Миша замедлил

шаг. Павлу Сергеевичу удалось наконец его догнать и взять из рук тяжелый портфель.

— Красный песок...— начал Павел Сергеевич.

— Да, это он. Воздействовал на эмоциональные центры.

— Я так и подумал,— мирно согласился Павел Сергеевич.— А то с чего бы мы столько всего друг другу наговорили? Лучше не разделяться,— добавил он.— Мало ли чего.

Миша кивнул. Одиному путнику этот вымерший поселок, который, однако, стал оживать стенами и мостовыми, еще опаснее. Реакция у них различна: когда один поддается действию волн, другой сохраняет бдительность. Они смогут выручать друг друга из беды.

«Хорошо, что он прилетел,— устало думал Миша.— Что бы я тут без него? Мог бы и пропасть. А она? Вдруг уцелела? Вряд ли. А вдруг? Она жива и передает мне сигналы? Или мысли и чувства ее запечатлелись в том непонятном поле, в которое преобразовались ее волны?» Каким-то образом на дверях сарая отпечатался рисунок молнии, которую Миша видел при взрыве. Искривленное ветром деревцо без листьев. «Бедное деревцо... Хоть бы найти ее! Интересно, что бы она сказала, если бы увидела нас вдвоем?»

— Павел добряк и честный работяга,— сказала она однажды Мише.— Я, в сущности, очень виновата перед ним.

— В чем? — удивился он.— Ты же не можешь любить по заказу.

— Не могу. Но он так любит меня... Наверно, вся беда в том, что я слишком рано вышла замуж. Совсем не разбиралась в жизни.

— Тем меньше твоя вина,— пробовал Миша ее утешить.— Если он старше и опытнее, разве не он нес всю ответственность?

Она покачала головой:

— Он старше. Но он не мог знать то, что я знала уже тогда. Я знала, что никогда не буду заурядной бабой, всю себя отдам науке.

— Но ведь ты не пыталась скрыть это от него?

— Нет, конечно. Но он считал эти разговоры детской болтовней. Я-то уже тогда знала, что буду ученым. А он этого знать не мог. И все же — он мне очень близкий человек.

Может быть, ее обрадует, что ее пытаются выручить два самых близких и родных человека? Или ей будет неприятно? До сих пор никто еще не разобрался в прихотли-

вых загадках женского сердца, даже если это сердце профессора нейробиологии...

По времени давно вечерело, а солнце стояло в зените, хотя жара спала, и от ясного неба веяло спокойной прохладой. Миша заметил, что Павел Сергеевич держит в пальцах новую веточку миндаля. Сиреневые цветы казались неестественно темными. Рассмотреть бы веточку поближе, но Миша не решался попросить. Он начал приглядываться к цветам по дороге. Все растения успели восстановить свою свежесть, но странным образом изменили цвет, а иные — и форму. «Интересно», — подумал Миша.

У края дороги на кустах голубели цветы, аромат их показался знакомым. Миша подошел ближе — обыкновенный шиповник. Серединки цветов остались желтыми, а лепестки густо посинели.

— Синий шиповник! Почти синие розы! — удивился Миша. И продекламировал:

Красных роз и белых роз
Я возлюбленной принес.
Ей таких не надо, нет —
Синих роз подай букет!

— Чьи стихи? — поинтересовался Павел Сергеевич.

— Киплинга.

Вряд ли Павел Сергеевич такой любитель поэзии. Наплевать ведь ему, Киплинг это или Вознесенский. Это от нее привычка, она обожала устраивать викторины: «Откуда это? Чьи стихи? Кто написал музыку?» Муж, бедняга, невольно заразился.

— Синие розы? — переспросил Павел Сергеевич. — Интересно.

В голове у Миши приглушенным погребальным звоном отдавалось:

Я вернулся в те края, —
Умерла любовь моя.
Все ждала, ждала до слез
В Царстве Смерти синих роз...

— А что там дальше? — спросил Павел Сергеевич, будто подслушал. — Насчет синих роз?

— Забыл, — солгал Миша. Не надо ему про Царство Смерти. Неуместно. — Всю середину я, к сожалению, забыл. Только в самом конце, припоминаю, кажется, что-то такое:

Это был пустой вопрос;
Нет на свете синих роз*.

* Стихотворение Р. Киплинга «Синие розы» цитируется в переводе автора.

— Вот тебе и нет! — оживился Павел Сергеевич. — Вот же они! Надо же!

Миша осторожно взялся за ветку двумя пальцами, стараясь не задеть за шип.

Он стоял на широкой лестничной площадке у двери в квартиру. Он понял, что это ее квартира. Та самая, где она жила с мужем. Кажется, муж уехал в командировку. Классическая ситуация... Однажды Миша уже был в этой квартире, все втроем пили чай. Кажется, мужа зовут Павел Сергеевич. Он еще чай разливал. А теперь уехал на два месяца. Она сама сказала Мише. И пригласила вечером приехать — посмотреть вместе результаты данных последнего опыта. Интересно, кто будет сегодня разливать чай?

Рука медленно потянулась к звонку. Интересно, это и в самом деле обычный деловой визит? Или она пригласила его неспроста?

— Муж уехал, никто не помешает. Два месяца его не будет.

Просто так сообщила или к чему-то? Похоже, что намек... У Миши сладко замерло сердце, а она тут же добавила:

— Здесь трудно сосредоточиться, вы же знаете, Миша, все народ крутится. Дома свободнее.

Значит, показалось? Сейчас откроет — и официально:

— Ну, принесли? Где же ваши данные? И это все? Посмотрим...

И он начнет краснеть и маяться на кончике стула возле ее рабочего стола, а она пробежит глазами листки и сердито скажет:

— Не могли поаккуратнее заполнить? Я тоже, знаете ли, в средней школе воображала, что почерк не имеет значения, а вот оказалось — имеет, да еще какое, не только гениальная идея. Хотите стать настоящим ученым — научитесь сначала разборчиво писать!

Или все будет совсем не так? Может, ему вовсе не почудились эти странные намеки, может, она встретит его ласково и все станет ясно между ними... И он решится...

И тут он вспомнил, что однажды так уже было: он долго стоял перед дверью, не решаясь позвонить, потом позвонил, и она встретила его ласково, даже, кажется, первая взъерошила ему волосы, и он наконец решился... Он тогда прожил в этой квартире все два месяца, которые Павел Сергеевич был в командировке. Именно тогда мама

собиралась писать в партком. Бедная мама, она ведь думала, что спасает своего Мишеньку от вцепившейся в него хищницы.

Мама никуда не написала, но все запуталось. Вернулся Павел Сергеевич, а Миша жил с мамой в коммунальной квартире. Начались угарные свидания когда и где попало, вернее, когда и где удастся.

Рука, потянувшаяся было к звонку, опустилась. Миша взглянул на новенькую красную папку, которую держал под мышкой. Развязал тесемки — что там такое? Оказалось — синие лепестки шиповника. Целая папка синих лепестков.

Это был пустой вопрос,
Нет на свете синих роз!

Выходит, не пустой!

Он так и не решился позвонить, но услышал за дверью легкие шаги. Щелкнул замок, на пороге показалась девушка. Из-под светлой пушистой челки на Мишу смотрели пытливые серьезные глаза.

— Что же вы тут стоите? — спросила она приветливо. — Проходите, пожалуйста, в квартиру.

В прихожей Миша огляделся. Да, та самая квартира, он не ошибся. Действительно, он бывал тут раньше. Но кто эта девушка? Он ни разу ее тут не видел. Она провела Мишу в комнату — ту, прежнюю ее комнату. Все тот же рабочий беспорядок, большие пыльные ящики с картотеками, полки с пробирками, микроскоп на столе. В углу — тахта. На этой тахте он и спал тогда. Или, может быть, все это еще только будет? Что-то он совсем запутался во времени.

Тем же ровным ласковым голосом девушка предложила ему сесть, а сама села напротив.

— А вы меня совсем не узнаете? — спросила она, неожиданно лукаво улыбнувшись.

— Нет, простите, — недоумевал Миша. — Мне кажется, я вас прежде здесь не видел.

Что-то в ней все-таки знакомое, — промелькнуло в голове.

— А все-таки — взгляните. — Она сделалась колючей и насмешливой. — Никого я вам из ваших знакомых не напоминаю?

Нет, не вспомнить, никак не вспомнить, хотя, наверно, где-то встречались. И голос будто знакомый. С каждой

минутой все приятнее сидеть рядом с этой милой, обходительной девушкой. Невидимые теплые волны, идущие от нее, согревали почти ощутимо. «Я мог бы в нее влюбиться», — подумал он и смутился. Она все молча смотрела на него, он скоро оправился от смущения, пристальнее взгляделся в нее. Определенно он ее знает. Но кто она?

— Вы не биофак, случайно, кончали? — робко поинтересовался он и тут же пожалел о своем банальном вопросе, такая насмешка вдруг зажглась в ее лице. — Да, конечно, — спохватился он. — Простите, ради бога.

«Дурак, болван, — обругал он себя мысленно. — Не могла она еще ничего кончать. Небось только поступила. Может, я ее видел среди студентов на практике?»

Девушка рассмеялась — музыкально и добродушно, и тут же за спиной у себя он услышал другой смех, громкий и злой. Он вздрогнул и обернулся. У спинки его стула стояла она.

— Значит, не узнал? — она продолжала хохотать увеличенно громко. — Ха-ха-ха! Не узнал? А клялся! «В любом облике, в любом возрасте!» Ха-ха-ха! Смех!

Тогда он понял. Молодая девушка тоже была *она*, но другая — прежняя, какую он не знал и никогда не узнает.

— Так которая тебе больше нравится? Ха-ха-ха!

Но это же низко, отвратительно — так издеваться над ним!

— Вы не обижайтесь, — примирительно сказала молодая. — Она не нарочно. Вы ведь знаете — это естественная нервная реакция.

— Что, совсем запутался? — зло спросила *она* — которую он знал. — Так вы все, мужчины. Тебе ведь я молоденькая больше нравлюсь? А? Значит, я была права. Видишь, у нее нет ни моего положения, ни моей учености. Более того — еще неизвестно, достигнет ли она того, чего достигла я, если сейчас с тобой свяжется. А вдруг она захочет стать преданной женой тебе и матерью твоим детям? Не свернет ли она тогда с единственно правильного своего пути, который я прошла до конца с таким упорством? Ты хорошенько подумай. — В голосе уже откровенное рыдание, а Миша, страдальчески закрыв глаза, припал губами к руке той, молоденькой, и она не отнимала руки, и ему было так хорошо, хотя он слышал мучительные рыдания. По лицу его потекли слезы, но он вовсе не плакал, значит, это были слезы той, что стояла за спинкой стула, обжигая холодом, они бежали по его щекам, и вот он лизнул языком свою верхнюю губу и почувствовал, что слезы ничуть не соленые.

Он открыл глаза. Над ним склонился Павел Сергеевич и лил ему на голову воду из пластмассового стаканчика.

— Слава богу, очнулся,—вздыхнул Павел Сергеевич.— Я уж думал... Хорошо, колонка рядом. От воды, думаю, хуже не будет.

— От воды лучше.— Язык тяжело ворочался во рту и плохо слушался. Он поднялся на ноги и пошатнулся.— От воды лучше,—повторил он, борясь с собственным языком.— Если бы дождь...

Он заметил, что держит в пальцах несколько синих лепестков. Он бережно расправил их и засунул в пустую папиросную коробку.

Судя по часам, наступила глубокая ночь. Но небо по-прежнему сияло голубизной, а солнце припекало. Почта была уже совсем рядом — только миновать магазин и свернуть за угол. Миша заволновался. Он знал, что она близко, где-то совсем рядом, как в детской игре «горячо — холодно». Было горячо. Невыносимо. Что за глупость ему пригрезилась, будто он выбрал молодую. Она нужна ему такая, какая есть, какую он знает. И знания ни при чем... Он вдруг понял, что должен идти на почту один.

— Я сейчас,—сказал он виновато.— Надо отойти на минутку. Одному. Вы не возражаете?

Павел Сергеевич пожал плечами — еще спрашивается, как маленький. Нужно и нужно — пришиты они друг к другу, что ли? Миша скрылся за углом, а Павел Сергеевич вдруг понял, как устал за этот бесконечный фантазмагорический день. Солнце палило все нещаднее, уже не было сил стоять на иссушающей жаре, да еще с тяжелым портфелем в руках. Павел Сергеевич прислонил портфель к крыльцу, выпрямился и огляделся. Он стоял у задней стены какого-то магазинчика. Глухая деревянная стена. Обитая железом дверь заперта сразу на два висячих замка и заложена двумя огромными засовами. На двери белел детский рисунок — безлистное деревцо, искривленное от сильного ветра. Где-то он уже видел такой точно. Над рисунком на пожелтевшем клочке бумаги крупно выведено тушью: «Прием стеклотары от населения ежедневно с 11 до 17 часов». Внизу добавлено красным: «Выходной день — воскресенье».

«Сегодня, кажется, не воскресенье? Или воскресенье?» — с непонятной тревогой подумал Павел Сергеевич и спохватился — какая разница? Разве жажда избавиться от стеклотары привела его сюда?

Рядом на аккуратном столбике дощечка: «Здесь производится торговля керосином». — «Бутылок с битым горлом не носи нам», — привычно добавил в уме Павел Сергеевич и грустно улыбнулся. Старая, еще студенческая шутка, придумал кто-то из ребят в коллективной поездке за город. Павел Сергеевич повторял ее, когда видел такое явление. Этот незатейливый стишок, напоминавший ему студенческую молодость, почему-то неизменно раздражал ее, а Павел Сергеевич ничего не мог с собой поделать, всякий раз его как будто кто дергал за язык.

Он начал искать, куда бы спрятаться от невыносимой жары. Стена отбрасывала густую длинную тень — пожалуй, даже длиннее и гуще, чем полагалось бы. Или он уже привык ко всему относиться с подозрением. В тени громоздились разбросанные ящики. Он с облегчением вздохнул. Устало опустился на ящик, который оказался приятно теплым. Надо опасаться теплых предметов. Но стоять больше нет никаких сил. «Ерунда, — подумал он, склонив голову на грудь. — Просто солнце нагрело ящики, а тень наползла недавно».

Он оказался в прихожей своей однокомнатной кооперативной квартиры. (Никогда в жизни не было у него однокомнатной кооперативной квартиры. Сначала жили в коммуналке, потом ему дали двухкомнатную в заводском доме, а после переехали в трехкомнатную, — она получила как научный работник высшей категории.) Она обвила руками его шею, ласково ероша волосы — он не помнил у нее такого жеста! — а он нежно прижимал ее к себе за талию.

— Наконец! Виталик, наконец! — прошептала она в самое ухо ему.

«Почему — Виталик? — обожгло его. — Какой Виталик? Селезнев?»

Он легонько отстранил от себя ее голову, глянул в красующееся на стене зеркало в форме блестящего сердца, — никогда прежде не видел он этого зеркала и вместе с тем отлично помнил, как выбирал его в комиссионке. Из сердца в раме самодовольно смотрело чужое холеное лицо этакого парикмахерского красавчика. И прически такой он в жизни не носил, и пошлых, словно наклеенных, усиков. И брюнетом никогда не был. Но что-то неуловимо знакомое промелькнуло в чужой неприятной физиономии.

— Виталик, милый, — снова вздохнула она ему в ухо.

Этот хлыщ в зеркале — Селезнев? Но ведь это он, Павел Сергеевич. Что же он, превратился в Селезнева?

— Я больше к нему не вернусь,— шепнула она.— Ты рад?

— Как... не вернешься? — Это к нему, Павлу Сергеевичу, она не вернется? Еще как вернется! Он хотел с торжеством выразить это вслух, но язык произнес совсем другое: — Разве ты... По-моему, тебе ни к чему сплетни о своей особе!

«Фу, черт,— подумал Павел Сергеевич.— Ну и гад этот Селезнев!»

— Наплевать мне на сплетни! Привыкнут — замолчат! А ты будто и не рад? — Она счастливо засмеялась, у него даже сжалось сердце.— Я устала от двойной жизни. Да и Павел...

Павел Сергеевич вздрогнул. Он действительно сам отпустил ее к этому... Он верно рассчитал. Она всегда будет к нему возвращаться, не найти ей другой такой преданной души. Он отлично понимает, что вся ее тоска по другому мужчине — не что иное, как блажь. Всякая блажь проходит. Это прошло раньше, чем он ожидал. Виталию дали трехгодичную заграничную командировку, и он укатил, кажется, в Австралию, перед отъездом порвав с ней.

Где-то в глубине сознания Павел Сергеевич понимал, что сидит на грязных ящиках, сваленных на задворках продуктового магазина. И помнил, как он простил ее после разрыва с Виталием, уговорил вернуться домой, а то она, фантазерка сумасшедшая, начала ночевать в лаборатории. Он помнил, как она благодарно плакала, когда он почти насильно привел ее домой. Как, приходя с работы, запиралась у себя в комнате, потерянная и чужая. Помнил, как она пригласила Мишу, как он, выдерживая роль радушного хозяина, наливал Мише чай и придвигал коробку с шоколадным набором, а сам разглядывал длинного очкарика и думал: ничего, и этот ненадолго, уж больно молод. Похоже, выжмет из нее что надо — и живо найдет девочку помоложе. Он все помнил — и в то же время загадочным образом стоял с ней в прихожей однокомнатной кооперативной квартиры, возле изысканного зеркала сердцевидной формы, и был неотделим от Виталия Петровича.

— Нет, я, конечно, рад,— сказал он в образе Виталия.— Только... Понимаешь, сюда мама иногда заходит. Прибрать там, сготовить что-нибудь, белье взять в стирку.

— Ну и что? — Она не понимала.— Пусть себе приходит. Ты знаешь, я не очень люблю заниматься хозяйством, но охотно помогу твоей маме. Почему-то для тебя мне это не в тягость,

— Зачем? Мама привыкла сама меня обслуживать.

Как бы поделикатнее объяснить ей, что мама вообще не должна ее здесь видеть, как не видела до сих пор ни одной этой женщины?

— Ладно,— решил он снисходительно.— Устраивайся. Что-нибудь придумаем.

Он ведь сидит у магазина на ящиках. Теплые ящики. Мишу ждет, к почте идти. Вместе, потому что опасно. Чтобы не было какой беды. Она уехала на почту рано утром, до катастрофы. Она, может быть, и сейчас там. Начальник патруля ничего просто не знал. Прислонилась к стенке и грезит, грезит весь день, а стенка теплая-теплая... Некому ведь оторвать ее от стенки. Вылить на голову холодной воды, все и пройдет. Он ждет Мишу.

Непонятным образом он опять оказался там, где Павел Сергеевич никогда не бывал. Зато Виталию Петровичу эта отделанная белым кафелем комната хорошо знакома. В белом халате и в докторской шапочке он сидел за лабораторным столом перед большим микроскопом. Она стояла рядом.

— Ты должен вмешаться! — волновалась она. — Больше некому!

— Что я могу сделать? — Он чуть передвинул предметное стекло.

— Очень многое! Пойми, хотя бы с Бельским поговорить!

— Да, конечно. Я мог бы поговорить. В иной ситуации. Ты забываешь, что о наших с тобой отношениях благодаря твоему старанию известно всему институту. Я ведь тебя предостерегал.

— Виталний, что ты говоришь! Пойми, они хотят закрывать тему! Под предлогом, что мы ошиблись и приняли полученный результат за окончательный. Со мной они не разговаривают.

— В этой ситуации и со мной не станут.

— Но почему?

— Я тебе, кажется, неоднократно объяснял — не надо было афишировать наши отношения.

— Кто же их афишировал? Просто всё постепенно... Все узнали...

— Слишком много узнали. Даже о том, что ты ко мне переехала,— усмехнулся он.

— Не вижу в этом ничего плохого. Мы свободные люди — зачем прятаться?

— Я всегда говорил, что на всякий случай нужна осторожность. Я был прав. Что теперь скажет мне Бельский,

если я приду к нему и попрошу выступить в твою защиту? Не знаешь? А я знаю. А, скажет он, любовницу свою выручаешь. Естественно.

Она побледнела и сжалась, как от удара.

— Я не могу влезать в сомнительные истории,— продолжал он.— Мне предлагают оформляться на Австралию. На три года. Ты же умная женщина, неужели не можешь понять? Мне сейчас особенно важно, чтобы было чисто. Не могу я рисковать.

Она размахнулась и неловко врезала ему по физиономии — не ладонью, а неумело сложенным кулаком.

Он очнулся. Струйки холодной воды подтекали за шиворот. Небо посерело, моросил унылый холодный дождик. Лицо было мокрое — то ли от слез, то ли от дождя. Он нашарил в кармане платок, обтер лицо. Пощупал ладонь юбчик. Холодный и мокрый. Павел Сергеевич встал, подобрал портфель и хорошенько встряхнул. Обтер его платком, застегнул пиджак на все пуговицы и пошел искать Мишу.

Миша лежал ничком на деревянном крылечке под навесом у входа в магазин и громко стонал. Над ним сверкала омытая дождем вывеска «Продукты». Павел Сергеевич наклонился, брызнул в лицо Мише дождевыми каплями с портфеля. «Живительная влага»,— подумал он.

Миша резко повернулся, поднял к нему мокрые очки и закричал:

— Нет! Ты не поедешь к нему в Австралию!

Невыносимо было подглядывать чужое, сокровенное, интимное. А Миша сел на ступеньки, снял очки и корчился, мучаясь чем-то своим. Павел Сергеевич уже хотел подтолкнуть его под дождь, но тут он очнулся, надел очки и провел ладонью по ступеням.

— Остыли,— заметил он с облегчением.— Что, дождь идет? — Он увидел вымокшего Павла Сергеевича.— Хорошо, что дождь.

— Что хорошего?

— Вода нейтрализует волны. Даже если дождь радиоактивный, все равно, легче будет.

— Легче? — переспросил Павел Сергеевич.— Боюсь, что мне ни от каких дождей не полегчает.— Он стоял на дожде, взъерошенный, как промокший пес, потерявший хозяина.— Ведь ее нет.

— Известно,— Миша вскочил.— Идемте к почте — это рядом.

— Идем,— согласился Павел Сергеевич.— Возможно, даже найдем ее. Но для меня ее больше нет. И не будет. Я ошибался. Я считал, что нужен ей, что она вернется ко мне. Не вернется. Нет ее.

— Она есть,— сказал Миша.

— Так ведь и ты всерьез ее не устраиваешь,— жестко сказал Павел Сергеевич.— Давай уж по правде. Не на дипломатическом приеме. Кто ты перед ней-то? Мальчишка, щенок, ты уж не обижайся. Надо женщину найти по себе. Помоложе.

— Речь не обо мне,— тихо возразил Миша.— О ней речь.

Оба замолчали, слушая, как дождь стучит по крыше у них над головами. Мише вспомнился такой же унылый дождь в Ленинграде. Он впервые пришел в институт. Он знал, что кафедрой нейробиологии руководит женщина-профессор с мировым именем, и вообразил себе убежденную сединой старуху с поджатыми губами. Он робко постучался.

— Можно,— отозвался из кабинета музыкальный, звонкий голос. За столом сидела молодая, совсем молодая женщина, чуть постарше его самого — так ему показалось. Она привстала, дотягиваясь до какой-то папки, и он сразу заметил, что изящная фигура ее выигрывает от брюк и свитера в обтяжку. В ее глазах загорелись две лукавые звездочки — что, загляделся?

— Итак, я вас слушаю,— сказала она чуть насмешливо, потому что он так и не произнес ни слова.

— Я... я к профессору, девушка,— с трудом выговорил он и незаметно облизнул пересохшие губы.— Когда сама будет?

— А я и есть сама,— засмеялась она и показалась Мише еще моложе.— Самее меня здесь никого нет. Значит, это вас рекомендовал мне Николай Михайлович? Что ж, очень рада.— Лицо ее посерьезнело и стало деловым.— Надеюсь, что работать вместе будем всерьез и надолго? А то бывает, к нам бегут, за модой гонятся, а когда оказывается, что материально оно не очень-то...

Они были вместе долго. И очень серьезно. С ней столько всего вошло в Мишину жизнь, что трудно было бы переоценить. Это навсегда останется с ним. Он будет ее помнить. «Будешь помнить одно мое имя» — так начиналось стихотворение, которое она любила ему повторять. С ней можно достигнуть всего.

Мы с тобой в небеса воспарим,
Невесомость, прозрачно-святая,

Нас подхватит, и мы полетим,
Бег минут для Земли замедляя...

Все закружится, вздрогнет, замрет,
Отзовется в галактике где-то, —
И включатся в привычный свой ход,
На орбиту вернувшись, планеты.

Только живой организм способен создавать пси-поле. Но ее интеллект, возможно, оказался таким могучим, что излучаемая живая энергия эмоций не затухает даже после ее смерти. Может быть, в этом — причина явлений, наблюдаемых в зоне ее гибели? Или она, вопреки всему, жива?

По крыше теперь стучали только редкие капли.

— Что ж, пошли, — предложил Миша.

— Ты объясни, — пробормотал Павел Сергеевич, спускаясь с крыльца. — Авария связана с тем, что вы в человеке копались?

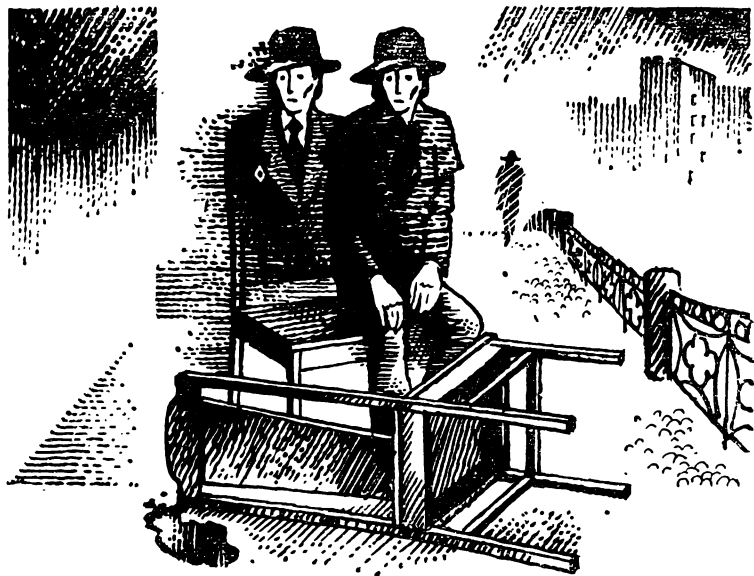
— Связана. Вроде замыкания получилось. А конкретно — думаю, что скоро комиссия прибудет, они разберутся.

— Зачем же копать? — спросил Павел Сергеевич. — Ведь не карбюратор какой-нибудь — человек! Опасно ведь. Убедился?

— Убедился, — почти весело сказал Миша. — Но буду. Очень уж охота разобраться. В механизме человеческих эмоций. И разберемся. К добру разберемся.

— Без нее, — словно про себя добавил Павел Сергеевич.

— Все равно, она есть, — ответил Миша. — Даже если мы ее не найдем. И даже если докажут, что установка взорвалась по ее вине. Никто не закроет то, что она открыла. Она есть!



Илья Варшавский

Сумма достижений

НОВЕЛЛА

Труп уже два часа как увезли на вскрытие, а мы со следователем сидели в моей квартире и все еще не могли понять друг друга.

Голова у меня разламывалась от боли. К тому же еще мерещилось лицо с вытаращенными глазами, крысиная кошечка, подобранная под осколок роговой гребенки, и лужа крови на полу.

Я подошел к шкафу и взял бутылку коньяка.

— Не возражаете?

— Возражаю! — сказал следователь.

— Тогда отвернитесь.

Он не отвернулся, а с какой-то недоброй усмешкой глядел, как я два раза приложился к бутылке. Потом сказал:

— Хватит! Поставьте бутылку на место! Вы и трезвый городите всякую чушь, а у меня нет желания откладывать допрос, пока вы проспите.

— Я говорю правду.

— Не валяйте дурака, Юровский. Мы с вами не дети и прекрасно понимаем, где граница между вымыслом и действительностью.

— Вот об этой границе я вам все время и говорю. И если вы мне не верите, то, значит, просто не представляете себе, что там может происходить.

После коньяка стало еще хуже. Я сел в кресло у окна и поглядел на улицу. Все шло, как обычно. Это был знакомый мир, с автомобилями, трамваями, световыми рекламами. Дико было подумать, что несколько часов назад...

— Ну что, так и будем играть в молчанку? — спросил следователь.

— Я не могу сейчас. Дайте мне отдохнуть.

— Отдыхайте.

Я задремал и проснулся от телефонного звонка.

Следователь снял трубку:

— Да? Это я. Вот, значит, как?! Хорошо.

Я слышал, как он что-то пробормотал, кладя трубку, но что именно — не разобрал.

Еще несколько минут я сидел в блаженном состоянии полного расслабления, где-то между сном и явью.

Затем он меня окликнул:

— Вы спите, Юровский?

— Нет, не сплю, — ответил я не открывая глаз.

— Давайте, рассказывайте все по порядку.

Это было как раз то, чего я не мог сделать. Разве можно передать словами все чувства, которые я тогда испытывал? Можно последовательно описать поступки, но это только усилит его подозрения.

— По порядку все записано там, на магнитной ленте, — сказал я.

— В этом вашем аппарате?

— Да.

Он подошел к аппарату и постучал ногтем по дефлектору.

— Это экран, что ли?

— Тут нет экрана, он работает по другому принципу.

— Включите!

Что ж, пожалуй, это было разумно. Пусть убедится сам.

— Садитесь в кресло, — сказал я. — Голову откиньте сюда и старайтесь не двигаться. Руками сожмите подлокотники.

Я подключил кресло к коммутатору, и он вскрикнул.

— Держитесь крепче за подлокотники, тогда не будет бить током, — посоветовал я. — Откуда начнем?

— Мне нужна вся картина убийства.

Я отмотал часть пленки. Картина убийства. Мне тоже хотелось заново это пережить. Говорят, что преступника всегда тянет на место преступления. Я ведь туда возвращался...

Я пододвинул второе кресло и подключил его параллельно.

— Можно начинать?

— Начинайте! — сказал он.

...Я шел дорогой тихо и степенно, не торопясь, чтобы не подать каких подозрений. Мало глядел на прохожих, даже старался совсем не глядеть на лица и быть как можно неприметнее. Тут вспомнилась мне моя шляпа. «Боже мой! И деньги были третьего дня, и не мог переменить на фуражку!» Проклятье вырвалось из души моей.

Заглянув случайно одним глазом в лавочку, я увидел, что там, на стенных часах, уже десять минут восьмого. Надо было и торопиться и в то же время сделать крюк: подойти к дому в обход, с другой стороны...

Прежде, когда случалось мне представлять все это в воображении, я иногда думал, что очень буду бояться. Но я не очень теперь боялся, даже не боялся совсем. Занимали меня в это мгновение даже какие-то посторонние мысли, только все ненадолго. Проходя мимо Юсупова сада, я даже очень было занялся мыслью об устройстве высоких фонтанов и о том, как бы они хорошо освежали воздух на всех площадях. Мало-помалу я перешел к убеждению, что если бы распространить Летний сад на все Марсово поле и даже соединить с дворцовым Михайловским садом, то была бы прекрасная и полезнейшая для города вещь...

«Так, верно, те, которых ведут на казнь, прилепливаются мыслями ко всем предметам, которые им встречаются на дороге», — мелькнуло у меня в голове, но только мелькнуло, как молния; я сам поскорее погасил эту мысль...

...Переведя дух и прижав рукой стукавшее сердце, тут же нащупав и оправив еще раз топор, я стал осторожно и тихо подниматься на лестницу, поминутно прислушиваясь. Но и лестница на ту пору стояла совсем пустая; все двери были заперты, никого-то не встретилось. Во втором этаже одна пустая квартира была, правда, растворена настежь, и в ней работали маляры, но те и не поглядели. Я постоял, подумал и пошел дальше. «Конечно, было бы

лучше, если б их здесь совсем не было, но... над ними еще два этажа».

Но вот и четвертый этаж, вот и дверь...

...Я задышался. На одно мгновение пронеслась в уме моем мысль: «Не уйти ли?» Но я не дал себе ответа и стал прислушиваться... Мертвая тишина... Затем огляделся в последний раз, подобрался, оправился и еще раз попробовал в петле топор. «Не бледен ли я... очень? — думалось мне, — не в особенном ли я волнении? Она недоверчива... Не подождать ли еще... пока сердце перестанет?..»

И тут меня ударило, будто обухом по голове. Это следователь выдернул вилку из розетки. Так делать нельзя, нужно выводить регулировку плавно.

Он растегнул воротничок и вытер ладонью потный лоб. Вид у него был совсем скверный. Я подал ему коньяк, на этот раз он не возражал.

Впрочем, он оправился быстрее, чем можно было предполагать.

— Ясно, Юровский, — сказал он, пересаживаясь за стол. — Вы вообразили себя Родионом Раскольниковым и убили топором свою домработницу, так?

— Нет, — ответил я, — это она вообразила себя старухой.

Он невесело усмехнулся.

— Опять сказка про белого бычка? До каких же пор это будет продолжаться?

— До тех пор, пока вы не поймете. Вот вы говорили о границе между вымыслом и действительностью. Когда-то искусство и жизнь находились далеко по обе стороны этой границы. Картины отгораживали рамами от стен, рампа отделяла зрительный зал от сцены, немые фигурки в кино походили больше на марионеток, чем на живых людей. Потом все стало меняться. На наших экранах, кроме звука и цвета, появились объемные изображения, запах и, наконец, этот самый «эффект участия». Вся сумма технических достижений сделала мнимое вещественным, иллюзия переплелась с жизнью. А разве все наши чувства не иллюзорны? Вы сейчас положили руку на стол. Вы ощущаете его сплошность и температуру, не задумываясь над тем, что под вашей ладонью комплекс элементарных частиц с огромными расстояниями между ними, а то, что вы принимаете за тепло...

Он не дал мне договорить и так заорал, что я даже вздрогнул:

— Довольно! Я уже сыт вашими рассуждениями по горло! Есть заключение экспертизы. Она скончалась от

удара по голове. Это уже не иллюзии. Скажите лучше, куда вы спрятали топор?!

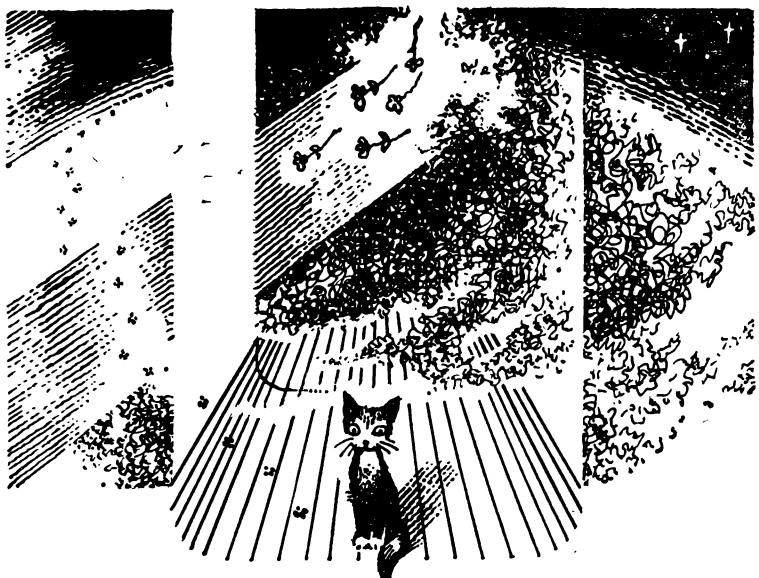
— Я же вам уже объяснял. Программа была составлена на двоих. Мне хотелось проверить реакцию постороннего человека. Она согласилась быть старухой. К несчастью, она оказалась слишком реактивной. Разве вы не знаете, что, если человеку в состоянии гипноза внушить, что его жгут раскаленным железом, у него на теле появляются настоящие ожоги. Я готов нести ответственность за то, что произошло, но это несчастный случай, неизбежный во всяком новом деле.

— Куда вы спрятали топор?

Увы, у него полностью отсутствовало всякое воображение. Он только и мог, что постоянно бубнить про топор. Такой следователь мне был не нужен. Я стер эту интермедию и опять ввел в программу Порфирия Петровича. Его манера вести следствие больше щекотала нервы.

Приходилось торопиться, потому что скоро начинались соревнования по фигурному катанию и мне хотелось почувствовать себя Габи Зейферт, а до этого еще — Бонапартом после взятия Москвы.

Однако мои планы расстроились. Пришел дежурный врач и сказал, чтобы я прекратил эту игру и поставил стулья на место, так как пора уже спать.



Феликс Дымов

Горький напиток «Сезам»

РАССКАЗ

...Она лежала ничком, зажав через шлем уши перчатками. Скафандр ее за какие-то минуты успел облипнуть бахромой...

Опять прорвалось! Я хмурю брови, и токер, уловив настроение — конечно же, настроение, а не гримасу! — заглушает мысли чудовищной мешаниной гавайско-аргентинских мелодий.

Токер — это пара таких черных чечевичек на висках, комбайн видеосвязи. Но в особых случаях — сенсоприемник и сенсobarьер: он ограждает хозяина от излишних, по его электронному мнению, эмоций. Как раз сейчас он настроен на особый случай, мой особый случай, длящийся шесть лет.

Уже шесть. Страшно подумать!

Вот и стараюсь не думать. Поддерживая мои старания, токер растворяет мысли в странной, уже почти на меня не действующей какофонии — какофонии на одного: вокруг на планете естественная, управляемая тишина. Иногда я с трудом удерживаюсь от того, чтобы не содрать токер с висков и с размаху садануть об угол. Но осторожность (а может, трусость?) побеждает, я не решаюсь отключить сенсobarьер и остаюсь наедине... с самим собой: токер давно уже лучше меня знает, когда мне работать, когда отдыхать. Я ведь пробовал, сколько раз пробовал. И сейчас же:

Она лежала ничком, зажав через шлем...

А так хоть музыка, хоть фон какой-то, хоть для воспоминаний не остается лазейки.

Но, бывает, прорывается. Вот, вот опять, просачиваясь сквозь музыку:

...Скафандр ее успел облипнуть... успел облипнуть...

Смыв воспоминания, токер снова нашептывает вычисленный для меня ритм. Все громче. И ГРОМЧЕ. И нелепее. И ПРОНЗИТЕЛЬНЕЕ. С самого утра.

В день Лидиной памяти он всегда особенно назойлив...

И потому, не нуждаясь в общении, спасаясь от самого себя, я обежал уже пол-Земли. Подальше от знакомых мест. И вообще от знакомых. Лишь токер, единственный эгоистичный собеседник, не переставая комарино зудит, зудит в виски, однако привычно, не мешая — ни в море, когда я с фотоострой гонял макрель, ни даже в Музее Видеопластики, где этот зануда по-своему озвучивал для меня тягучий бег изображений.

Внизу, на Земле, я несчастый гость, иногда неделями не покидаю мезопоста. «Станционный смотритель», — шутит мой брат Бась. «И слушатель», — мысленно добавляю я, потому что все время сосредоточен на наркотической, сфокусированной где-то в центре мозга музыке, которая внутри меня не помещается и все же обречена жить под чуткими присосками токера. Иногда мой спаситель, мой мучитель пичкает меня детективами, показывает высокие трагедии, погружает в комбинированные эйфорические симфонии великого Дай-Даудин Нивха... А когда все это не помогает, вновь переходит на безотказные оглушающе-примитивные ритмы...

Внизу я несчастый гость. Но только не сегодня, в годовщину события, о котором равно боюсь и вспоминать, и не вспоминать, — сегодня я не в силах усидеть на пыльном мешке, именуемом мезопост. Об одном молю судьбу: толь-

ко бы никого не встретить. Велика планета, а от знакомых не спрячешься. Но вон уже, кажется, на закат повернуло. Может, обойдется?

Ныряю в бутылочный полусумрак подводного перехода и неторопливо шагаю на тот берег по прозрачной изогнутой трубе. Сквозь слой воды солнце глядится покорным, прирученным, волны перекачивают его надо мной, как простой багровый голыш. Иногда, буксируя на незримых ниточках собственные тени, проносятся рыбы. У середины реки туннель поднимается к поверхности, становится светлее. Снаружи стайка девчонок, взявшись за руки, проплывает под трубой. Трое мальчишек верхом на дельфинах, разогнавшись, перелетают ее по воздуху. Один из них, хохоча, пытался повторить прыжок стоя, но рухнул при взлете. Подплыл к трубе. Заглянул сквозь стенку, заслонив ладонями свет. Подмигнул мне. Вскарабкался на свод туннеля. И пошел по крутой притопленной тверди, по колену в воде, подражая моей походке дерзкими извивами смуглого мальчишеского тела. Почти всю худущую, как у кильки, фигурку заслоняли снизу две отбеленные частым купанием ступни.

Такой вот нахаленыш мог бы быть моим сыном. Впрочем, нет. Не мог. Ему наверняка не меньше семи или даже восьми...

...Я заглянул в лицо, окостеневшее в гримасе наивной детской обиды. Лида с трудом разлепила жесткие губы...

Токер грянул танго. Но я еще секунду ничего не вижу, кроме окостеневшего Лидкиного лица, насмерть обиженных глаз...

Туннель пошел на снижение. Вода достает мальчишке до пояса, до плеч. Еще несколько шагов, продолжая кривляться, он ступает на цыпочках. Но наконец подпрыгивает и уплывает. Я перестаю смотреть вверх.

Туннелем выбираюсь на площадь. Посреди площади девчоночьи руки из теплого розоватого камня поддерживают сферическое кафе «Одуванчик». Парашютиками на ветру бьются в высоте фонтаны. Штуки три уже оторвались, вот-вот улетят...

...Руки замершие, тоненькие... Как у Лиды...

Воздух квелый, мыльный. Пыли так мало, что голые солнечные лучи его не нагревают. Однако и от этой ничтожной взвеси у меня першит в горле — это на сегодняшней-то Земле, умытой и пропылесосенной! Ничего не поде лаешь, профессиональное ощущение: стерильные спутники отучают дышать чем попало. Зато через двадцать минут

хода — гравиподъемник, подпирающий мой мезопост, привычное одиночество и...

— Тарасище? Ну, встреча, ну, радость! Давай к нам сюда, живо!

Венька Рубан. Усмотрел, черт глазастый. Угроздило меня вылезти под самый «Одуванчик»! Сбежать бы куда, да разве сбежишь? От таких, как Веник, не сбежишь. Кубарем выкатился из кафе, вцепился в рукав, машет кому-то наверх:

— Сам пришел, работничек чистоты, теперь не отвертится! — И мне: — С утра тебя ищу, эфир морщу. Так знаешь, что твой токер ответил?

Наклонился ко мне, защекотал губами ухо. Слов не разобрать. Но я на всякий случай изумился:

— Не может быть!

— Да чтоб мне гейзеров не видеть, если вру! Опять сенсobarьер поставил? Я решил, аппарат неисправен, и направил Контроль Связи.

— Путаешь ты, брат. Не было вызова.

«Все в порядке, отклонений не найдено», — сердито бурчит токер, придушив на секунду гавайскую гитару. Серьезная машина, знает, кому и когда давать связь. Сначала, поставив сенсobarьер, я буквально оглох от пустоты в голове. Но этот шептун заушный изобрел охранительную музыку и теперь смолкает лишь тогда, когда я работаю или забываюсь сам по себе. В этот день, в день памяти, у него с утра до ночи не бывает передышки...

— Токер сам с Контролем уладил, — заявляю я, оправдывая затянувшуюся паузу. — А у тебя, старина, что новенького?

— Ой, сейчас расскажу, идем! — Веник обнимает меня за плечи и нетерпеливо подталкивает к эскалатору. Честно говоря, мне не очень-то по сердцу этакая развязность моего друга. Впрочем, развязность эта, если разобраться, от незащитности, а не от нахальства, от скованности перед учителем бывшего ученика. «А ты, токер, наглец, — мысленно добавляю я, — того и гляди, не только режим, друзей мне начнешь выбирать по своему вкусу. Откуда тебе, милый, знать, кого пропускать, кого не к спеху?»

— Идем-идем, не упирайся, — суетится Веник. — С ребятами познакомлю. Поболтаем.

А вот это бы ни к чему — болтать. Спроси, чудак, есть ли у человека настроение болтать. Да ладно, все равно не отвяжешься. Может, оно и к лучшему? Может, и вправду отмякну в одуванчиковом холодке под фонтанами?

Эскалатор бесшумно возносит нас внутри стебля. Сквозь ступени виден пролетающий вниз голубь.

— Э-эй, Тарасище, спишь на ходу, что ли? Третий раз про «Пульверс» спрашиваю. Дышит?

Венька лопоух, лохмат, лупоглаз, потен — ни дать ни взять, распаренный веник торчком. Когда-то я читал у них на факультете магнитостатику, возил на Курилы понюхать серы. При виде Веника даже самые потухшие вулканы вздрагивали и плевались лавой. Теперь я понимаю, почему...

— Качает «Пульверс», что ему делается? — отвечаю с видимой беззаботностью. — Мы пылим, он качает...

И когда болтаем, как сейчас, он все равно качает. Без отдыха.

Бедный «Пульверс», пылесос ты мой всепланетный! Кому только я о тебе не рассказывал! Про сеть медленных искусственных смерчей, перемешивающих атмосферу. Про мезосферные отстойники для взвихренных с Земли частиц. Про фильтры, подъемники, шахты. Про вредность пыли — вторичная радиоактивность, парниковый эффект, да мало ли! Мне уже надоело повторять каждому, почему человечество организовало нашу Службу. Вот возьму и прочту лекцию этой нахальной швабре со товарищи: «Мезопост номер... представляет собой низкоорбитный спутник с комплексом отсоса, расслоения и брикетажа атмосферной пыли. Имеет опорный пункт наблюдения и регулирования...» Бр-р! Выслушаешь от другого такое — и подниматься к себе расхочется. А ведь я, что ни говори, люблю мой мезопост с его вороненой поверхностью, «ипподромом», отстойником, и почти уютной квартиркой — все то, что часто называю пыльным мешком, люблю и, пожалуй, ни на что другое не променяю...

В «Одуванчике» обычный уют. В меру весело. В меру шумно. Зал открыт со всех сторон, — лишь гибкая водяная пленка, сочась через неприметные устья, отделяет нас от земли и от неба, лишь пенные намагниченные струи фонтанов улетают и не могут улететь, повисая в не подвластных тяготению формах — в виде головки одуванчика.

— Сюда, Тарасище, за этот столик! — продолжает суеиться Веник, подталкивая меня в спину, — Знакомьтесь, ребята, это Тарас. Помните, я рассказывал о моем необыкновенном друге? Так вот, это он. Позволь, Симочка, представить тебе: Тарас. Человеку повезло устроиться на службу у Судьбы. Попроси хорошенько — нагадает счастье. А это, Тарас, Дональд, ас-вулканолог. Ты не пове-

ришь, на его счету уже два заштопанных кратера и магнитная «пепельница» на третьем.

Видеть аса, даже нахлобучившего магнитную затычку на жерло какого-нибудь второстепенного вулкана, мне хочется ничуть не больше всех тех, кого я уже счастливо миновал. Но деваться некуда. Делаю над собой усилие, раскланиваюсь, жму руки, озаряюсь почти натуральной улыбкой. Веник нарастил еще одно кресло у стола — пустое рядом прикрывает растопыренной пятерней. Ясно теперь, для чего меня разыскивал: он как-то намекал про подружку из кратерной obsługi, в гости напрашивался. Похоже, серьезно парня зацепило, если я с моими чарами понадобился...

Присаживаюсь на краешек кресла, украдкой тру локтем стол. Так и тянет попробовать пальцем пыль. Это тоже профессиональное: говорят, работники Службы повышенно мнительны — терпят пыль только у себя на спутниках. Новое дело. Раньше за собой не замечал.

Поднимаю глаза — и у меня начинает покалывать виски. Спасибо, Веник, дорогой, удружил! Догадываюсь, как пылко ты рекламировал мои способности! А мне сегодня не хочется лицедействовать. Особенно для этих двоих... Впрочем, чем они виноваты?

Кто-то когда-то раззвонил, будто у меня легкий глаз. Дурацкая история, я своей сокурснице Сабинке Озолиной пообещал в день рождения, что в нее влюбится знаменитый чабан или даже космический разведчик. А чего, мне не жалко! Девчонка красивая, веселая, я б и сам в такую влюбился, не будь у меня в подшефной группе этой странной, хрупкой, вечно к чему-то прислушивающейся девятиклассницы! И чем ее так влекли цветы? То есть нет, далеко не всякие цветы, а их телепатические разновидности, гибриды марсианских эринний и земных тюльпанов. Ну да не о Лиде речь. В общем, напроорочил я Сабинке жениха, а она возьми да и встретись с самим Оноре Хваной, Погонщиком Комет. Вот вам и чабан, и разведчик! С тех пор едва ли не десяток лет парочки считают добрым для себя знаком случайно позавтракать со мной, дескать, любовь будет крепче. И пускаются на всякие хитрости, чтобы устроить эту самую случайную встречу... Им забава, а я, лопух добропорядочный, вынужден терпеть и славу свою поддерживать, — мода! Каждый раз обещаю послать все к черту. И каждый раз пасую: обидно разочаровывать кандидатов в счастливчики. Теперь битых два часа пыжусь, строй из себя Кассандру! Нет. Всё. Точка. Домой. Хватит глупостей.

— А вы и вправду гадаете? — Сима недоверчиво тряхнула головой.

Волосы у нее чуть подсвеченные и ковыльно-мягкие на взгляд. Тончайший изохрустальный фужер (гордость века — материалы переменных свойств!) запел от соприкосновения с Симиной золотой прядью и тоже вызолотился.

— Будьте уверены! — неожиданно для самого себя принимаю я малопочтенную роль шута. Удивительное дело — мне и в голову не приходит сопротивляться. Набираю полную грудь воздуха и цыганской скороговоркой сыплю: — Мне подвластны сорок два тайных могущества, на четыре из них имею авторские свидетельства. Впрочем, скажу по секрету: несмотря на ЭВМ и комбинаторику, нынешние способы прорицания ничуть не точнее древних!

Ого, куда меня занесло! Мучительно соображаю, что делать дальше. Внешне я непроницаем и благодушен. О, как благодушен! Ведь никто не слышит, как вновь зашелестел умолкнувший было токер...

...И чем Лиду влекли эти телепатические плантации?..

Для меня нет тайн в широком, малоподвижном от недоумения лице Симиного приятеля. Чувствуется, он поддался ее уговорам, из-за одной Симы терпит здесь мою «магию»...

В таких случаях лучше не обращать внимания на сомневающих. Все равно решают девушки вроде Симы. Она подалась вперед, и ребро столешницы обтянуло тонкую блузку. Я отвел глаза.

— Что закажем? — бодро перебил молчание Веник, не давая забыть, что мы в кафе.

— Полагалось бы кофе... — Я, как студент на экзамене, откровенно тяну время. — Гадание на кофейной гуще — наимприятнейший, по-моему, метод воздействия на судьбу. Все же для поддержания формы предпочел бы чашечку шербета. И если можно — мандарин.

— Только-то? Ну, это пустяки, это мы мигом! — Веник нахмурил лоб и принялся терзать клавиатуру ни в чем не повинного синтезатора — процедура долгая, если не помнишь кода названия и сверяешься по меню.

Сидеть отвернувшись неловко, однако на Симу не смотрю. Странно. Я давно уж поверил в то, что равнодушен к женщинам. Неужели эта чужая девица вмиг выветрила из меня Лиду? Ногтем мизинца чуть-чуть отодвигаю от виска чечевичку токера.

*...Скафандр топорщил налипшую бахромку...
Мостик вокруг отстойника — «ипподром» — ровно и скользко блестел в свете Луны...*

Все в порядке. Отпускаю чечевичку. Картину мгновенно смыло монотонным напевом — словно заговаривают кобр.

Шербет Венику не удался — его не везде включают в обязательные напитки. Мой друг не смутился и извлек из недр уставшего бороться синтезатора стакан ледяного лимонада. Кивком благодарю, пью. Горло перехватывает, и это мне на руку — не надо ничего говорить. Зачем я сижу здесь? Зачем? Вот допью лимонад и...

— Gracias! * — счел нужным перевести мой безмолвный кивок Дональд. Тон его мне не понравился. Похоже, мальчику очень хочется посрамить прорицателя. То есть меня. Будто здесь кого-то тянули за уши. Будто это я вас искал, а не вы меня. Положим, девушке я бы еще кое-что простил. Но асу?! Можете, милые, топтать отсюда по всем четырем векторам! С ускорением! Да-да, и ты, голубка, тоже. Ишь, глаз положила — колдовской, гранатовый... У тебя у самой, прости, не было ли ведьмы в роду? Стараясь не встречаться взглядом с Симой, даю знак Венику продолжать поиск. И он, такой послушный, тихий, вновь захлопотал над синтезатором.

Я немножко играю на мини-рояле. Не настолько хорошо, чтобы выступать в концертах. Но и не настолько плохо, чтобы не опечалиться при виде трудно растопыренных над клавишами Венькиных рук. Покачав головой, я отпихнул его, наклонил панель к себе. Кажется, я догадываюсь, каким образом буду сегодня вещать для этих двоих. Даже не вещать, а так, импровизировать наудачу...

— Вы никогда не замечали, что консервные агрегаты заманчиво схожи с музыкальными ящиками? — Я ввел режим ожидания на всех трех регистрах. — Думается, пора нам породнить пищу и музыку: прекрасное должно подчиняться общим законам...

Странное лицо у этой Симы. Нос тонкий, с заметной горбинкой. Глаза самую чуточку косят. А щеки смуглые, сухие, бархатные от солнца, как кожа абрикоса. И удивительная готовность поверить во все, что ей обещают.

— Внимание, внимание! Котлетная симфония, дуэт яичницы с ветчиной! — Дональд фыркнул. — Если все ваши прорицания такого рода...

Симпатичный молодой нахал. К тому же весьма нетерпелив. Сима разбиралась в нем получше: притиснула к

* Благодарю! (Исп.)

столу сгиб его локтя. Оба не подозревают, до чего грубость Дональда кстати,— у меня уже чешутся подушечки пальцев, как всегда перед игрой на мини-рояле.

— Любые прорицания абсурдны, спору нет. Но разве не абсурд то, за чем вы пришли сюда? В счастье надо верить. А вера, хочешь не хочешь, иррациональна.— Я осознаю, что это жестоко, непростительно жестоко: Симино личико разочарованно вытянулось, вдоль тонкой шеи вздернулись на миг две твердые струнки. Но я продолжаю, и голос мой крепнет: — Не знаю, как вы, а я верю в Его Величество Случай. Поэтому хотел бы пожелать вам в новой жизни вместить бесконечное, примирить непримиримое, угадать неугаданное. Пусть ваше счастье будет таким же неожиданным и непохожим на другие, таким же терпким и выдержанным, как напиток, ни вкуса, ни запаха которого я пока не знаю и все же от чистого сердца синтезирую в вашу честь. Будьте счастливы!

Как хорошо быть дарителем. И ох до чего не хочется желать счастья именно ей — счастья с другим... Хотя... Какое мне до нее дело?

Я полуприкрыл глаза, разминая под столом пальцы, перевел педаль в свободную композицию и ударил по клавишам. Синтезатор, разумеется, это вам не мини-рояль, и все-таки кое-чего его клавиатура стоила. Меня закачала невесомость, заволокла какая-то голубизна, все пропало вокруг, кроме рождающейся под пальцами беззвучной мелодии, а когда она угасла, из подающей ниши выползли четыре стакана, закрученных наподобие рога и наполненных до краев трехцветной жидкостью.

— Какая прелесть! — восхитилась Сима.

— Еще неизвестно, с чем его едят! — отпарировал Дональд.

Так-так-так. Вот что хотите со мной делайте, он ревновал! Я мысленно усмехнулся и поднес напиток к губам.

Чего-нибудь в этом роде я и ожидал. Вкус получился необычный. Вроде яблок с перцем или соленой пастилы — зазывно-горьковатый и нежно-освежающий. А уж аромат — куда там тебе цветущий вишенник или ночная фиалка! Вот только... напитку следовало выйти чуть более сладким. Меньше парадоксов и больше сладости. А то ведь такое «счастье» можно весьма двусмысленно истолковать...

Дональд отхлебнул и уставился на меня довольно-таки невежливо. А Веник с Симой дуэтом выдохнули: «Ах!»

Для Симы легко делать чудеса. Глаза ее стали круглыми, растерянными. Без слов. Как у Лиды после первого поцелуя...

...Я подвел под скафандр руки, перевернул, заглянул через шлем в лицо, окостеневшее в гримасе наивной детской обиды. Она с трудом разлепила жесткие губы. Но я не услышал ни слова...

Токер опомнился и разлился вкрадчивым блюзом.

— Да-а.— Сима отставила стакан, мечтательно подперла щеку ладонью.— По-моему, это ваш лучший тост.

— Ты же не слышала остальных! — удивился Веник.

— Один из сорока двух тщательно отрепетированных экспромтов! — съязвил Дональд. Мальчик настойчиво лезет в драку.

— Сорок третий,— машинально поправил я. Мне лень доставлять ему удовольствие победы.

— Будто я не отличу импровизацию от наигранного варианта, правда, Венюшка? — восклицает Сима с непонятным мне укором в голосе. И почему-то улыбается. Когда она улыбается, кончик носика смешно наклоняется к губе, будто кивает.

Жаль. И где на Земле достают «незанятых» девушек?

О черт! Целый день носиться по планете — и вот так вот одной мыслью изменить памяти той, кого любил... люблю! Напрасно я покинул мезопост.

— Чего пристали к человеку? — вмешивается Веник.— Тарас вам не какой-нибудь шаман безграмотный. Сколько я знаю — он никогда не повторялся. И заметьте, все его предсказания сбывались!

Спасибо, друг, за темпераментную защиту. Только зря горячишься, зря метешь лохмами воздух. Чего меня спасать? От кого меня спасать? От самого себя человека не спасешь. От воспоминаний его. От вины его. Потому как мои они. Пожизненные. Ясное мое дело. Вечный сторож при «Пульверсе». Ручка от пылесоса. И за то тебе награда довеку: монашеская келья на спутнике. Да эйфорические симфонии...

— Тоже мне, ясновидец! Выдача гороскопов без ущерба для биографии! — окончательно завелся Дональд.

— Дон! — протяжно останавливает его Сима. Как в колокол: — Дон!

Мне больно видеть ссорящихся влюбленных. Вопреки собственной славе, я боюсь влюбленных. Оттаешь с одного бока, раскроешься чуток — и пустота там внутри не затягивается, сосет и морозит, будто свищ в скафандре. А главное — еще пять минут, и я совсем не уверен, что мне удастся уйти,

Черт те что! И почему она не утратила привычки так улыбаться? Так заразительно. Так мило.

— Ладно, братцы. С вами хорошо, но «Пульверс» — хуже дитяти малого, пойду...

— Брось, рано еще! — удерживает меня Веник.

— Нет-нет, не уговаривайте. Рад был...

А никто и не уговаривает. Сима занавесилась ресницами. Дональд не скрывает облегчения. Лишь Веник разволновался:

— Постой, Тарасище, куда спешить? Посиди еще... — Он, шурясь, смотрит на часы.

— Не жди, — тихо говорит Сима. — На конкурсе она. В Канберре.

— А почему сама не сказала? — Мой друг вспыхивает и срывает зло на пустом кресле: оно вздулось, накренив стол так, что мы едва успели расхватать стаканы. Потом, нервно дергаясь, убралось в пол.

Не понимаю, что с моим лицом: от столиков со мной здороваются незнакомые люди. Отвечаю направо и налево. Симу для меня будто пеленой застлало. Не вижу — и все.

— Пойдем, провожу, — угрюмо предлагает Веник.

Мне безразлично. Машинально раскланиваюсь. Даже, по-моему, изображаю улыбку. Сима подала руку. В глаза не смотрит.

Все правильно. А то раскукарекался тут, чародей-прицатель, навоображал невесть чего. Такие девушки не бывают «незанятыми». У них на это не остается времени.

Дорогу мне загораживает юное существо — прозрачное, как льдинка, и застенчивое, как Чебурашка. Краснеет всей кожей от шеи так, что ворот открытого цветочувствительного платья наливается дымкой.

Долго силюсь что-либо понять. Ага, дошло. Она директор этого кафе. Общественный факультет, первый курс, каникулы. Автомат-дегустатор рекомендует включить в меню мой напиток...

— И в добрый путь, включайте. — Я делаю попытку отмахнуться. — Синтезатор выдаст дубль-рецепт — при чем тут я?

— Но вы же знаете... — Голосок директора срывается, платье начинает полахать китайским фонариком. — Вы должны окрестить напиток. Или разрешить воспользоваться вашим именем...

Еще того не легче, оказали честь. «А не плеснуть ли нам, други, по ковшичку тарасика?» — «Имеешь в виду такого терпкого, со слезой? Почему бы и нет?» Прошумит

мое имя по кафе месяц или целый сезон. Да не в том дело. Назвать, безусловно, можно. Ой как хорошо можно называть!.. Только будет ли кое-кому это приятно?

Ну-ну, опять цветные перышки топорщишь?!

— Раз надо — пожалуйста... Пусть будет... (Имя, имя, два звука в сердце!) Пусть будет «Сезам». Коктейль «Сезам».

— Ой как здорово! — Директор просияла, захлопала в ладоши. Что с нее взять? Первый курс. Каникулы.

Подошел к балюстраде, сунулся лбом в фонтан. Струя отодвинулась. Но я дотянулся. Зачерпнул ладонью. Вылил полную пригоршню намагниченной воды себе за шиворот.

...Она с трудом разлепила жесткие губы. Я не услышал ни слова и лишь спустя бесконечную секунду нащупал на ее пояском пульте блок связи. Запинаясь и морщась, она прошептала:

«Ветер кружит нам головы, утопая в серых слезах Земли. Там мыши, Тарас, не ходи!»

Подумать только, она твердила стихи! Стихи о пыли, которая ее убила. А врачи заявили: шок!

Токер надрывался так, что я почти не слышал Веника. Или не вслушивался — в принципе, одно и то же. Мы шли по набережной. В сознание, не задевая, проникало:

— ...Невезуха какая. Я говорю: переменим потом, некогда сейчас, у меня камералка... А она — буду я дважды уют создавать! Не все ли равно, говорю, пятый уровень самый здоровый... Ну и подумаешь! А в моде восьмидесятый... Слушай, говорю, ну ты меня любишь? Люблю, говорит, а на пятый все равно не поеду... Ты не слушаешь? — Веник умолк, подозрительно уставился на меня.

— Отчего же? Могу повторить. На пятый уровень не поеду...

— Я вижу, уплыл ты куда-то...

Он прав. Меня опять занесло на «ипподром»: по его вороненой поверхности мчалась, закрывая голову, Лида...

Останавливаемся под аркой гравиподъемника. Мимо гордо шагают со смены практиканты-старшеклассники в серебристо-серых форменках. При виде нас подтянулись, дружно кивнули, миновав, опять зашпорили. Особенно неистовствовала, как я заметил, крепенькая синеглазая девчушка с шевроном младшего диспетчера — совсем неплохо для коротенькой летней практики.

— А я говорю, мезопосты устарели! Сто километров без толку тащим вверх пыль и лишь там начинаем работать...,

— Ты, Дашка, что, расчет забыла или у тебя защитные релюшки распаялись? — возразил юношески неустановившийся басок. — Знаешь, сколько надо энергии, чтобы питать в атмосфере разделители и домны?

— Стандартно мыслишь, Пуэбличек! Ты про полипы когда-нибудь слыхал?

— При чем тут полипы? Это же океанские животные!

— А если воздушную полиморфную породу вывести? Или даже вакуумную? Пусть сидят в шахте и каждая порода свой химический элемент усваивает... Дешево и просто!

Последние девчушкины слова я едва расслышал. Но и без того представил себе, как гигантский воздушный полип унижает ствол гравиподъемника сухими облаками-щупальцами и легко сделает то, чего мы сейчас добиваемся сложнейшими механическими устройствами и чуткой, но до жути капризной автоматикой. И тогда не будет ни отстойников, ни «ипподромов», ни «станционных смотрителей»...

Надеюсь, однако, это будет не скоро.

Подходим к кабине подъемника. Прощаться жаль, оставаться вместе незачем. Пористая земля под ногами выпускает знойные вздохи. Я часто шаркаю подошвами, стирая пыль, будто не туда, ко мне, волокут ее воздушные ручьи и речки. Ко мне и еще к трем сотням мезопостов, но у меня впечатление, что вся земная пыль налипла на мои подошвы — так отяжелели ноги. Веник, страдая, лезет в карман, щелкает крышкой портсигара. Беспепельная сигаретка, тонкая и длинная, как спица, тает, кажется, от одного взгляда. Но я все равно закашливаюсь и отступаю на шаг. Мой друг спохватывается, отгоняет ладонью назойливый аромат.

— Невезуха такая, а ты не слушаешь, — канючит он, не отпуская моего рукава. — Я тебе тоже, как и ей, надоел, да?

Еще как! Но ведь этого не скажешь.

— Задумался, извини. Если нужно, я помогу, хочешь?

— Конечно, хочу. — Он невозможно перекручивается, заглядывает в глаза. — У тебя получится, я знаю.

Я тоже знаю, обязательно получится: я в силах уговорить для него даже кинозвезду. Однако мне и в самом деле пора. Хоть и жаль Веньку. Мне всех сегодня жаль. Кроме себя. Кто бы взялся уговорить меня? Я тоже верю в легкий глаз. И, может, не очень бы сопротивлялся...

— А хочешь, наплюй, поехали ко мне, а? У меня хорошо...

— У тебя хорошо,— как эхо откликается Веник.— Лида всегда тебя ждет.

Это точно. Знать бы тебе, поросенок, правду! И почему я скрываю даже от него, в первую очередь — от него?!

Веник не прячет радости: раньше я ни разу не приглашал его на мезопост. И никого другого тоже. С той первой ночи с Лидой.

...— Не спеши, ладно? — сказала она, отодвигаясь. Моя рука соскользнула на ее холодное, в ознобистых пупырышках колено.

Токер охрип и с опозданием перескочил на африканские ритмы.

В гравиподъемнике движения не чувствуется. Лишь редкие микроскопические встряхивания свидетельствуют, что в соседней шахте навстречу нам проплывают ноздреватые брикеты — продукция «Пульверса». Отдельно органика. Отдельно минералы. А то и химически чистые элементы в мешках. Слитки металла попадают нечасто: их почти целиком потребляют вакуум-домны. Я так сросся со станцией, что отчетливо представляю себе каждый брикет там, за матово-туманными стенками кабины, которые за четверть часа пути меняют цвет от жемчужного до густо-фиолетового — от цвета Земли до цвета Космоса. Сегодня мы едем долго. А может, это только кажется: Веник опять нудит,

...В тот вечер Лида поднялась ко мне после тихого застолья в семейном кругу. Мы называли это свадебным путешествием. Она ненавидела Космос, боялась пустоты, боялась пыли, будто... будто мышей. Но я так любил ее, так настаивал, что она бросила наконец свою генетику, окончила краткосрочные курсы аэрологов и в один прекрасный, ставший вскоре несчастным день поменяла проникновенно-жаркую отзывчивость мутантных плантаций тюльпанов на стылую, вечно фиолетовую настороженность мезоспутника. В тот вечер после тихого семейного застолья и пятнадцатиминутного свадебного путешествия в гравиподъемнике Лида поднялась ко мне впервые...

Я сую ладонь в электронный замок. Руки окоченели, дверь открывается после короткой задержки. Пропускаю Веника вперед, вхожу следом. На диване с ногами возлежит Бась. При виде Веника брови его выстраиваются удивленными домиками.

Чуткий все же у меня братец! Кто бы кроме него дога-

дался, что сегодня меня надо стеречь? А Бась догадался. И не поленился притащиться на спутник, сибарит! И теперь сосредоточенно грызет козинаки, доставая их двумя перстами из бумажного кулька, лишь на миг повернув голову кивнуть гостю. Веник потрясен уютом и тишиной. Встрепанный, размякший, восторженный, бродит он по квартире и непрерывно ахает.

Меня опять мучит жажда. Раскрываю шкафчик синтезатора, колдую над клавишами. В точности как два часа назад в «Одуванчике». Во мне еще живет мелодия чужого счастья. Она движет моими пальцами и отливается в три симпатичных стаканчика. Хорошо, я догадался попробовать сам прежде, чем предложить гостям. Он оказался невообразимо горек — напиток «Сезам». Смахнув стаканы в зев раковины, я сотворил взамен три ломтя арбуза.

— Да, а где же Лида? — вдруг спохватывается Веник.

— Ешь, ешь козинаки, вкусно! — Бась сует ему под нос кулек.

Мне совсем расхотелось пить. Выкатываюсь в коридор. Оттуда — в дальнюю комнату. Здесь всё по-прежнему. И все полно Лидой. Как тогда, шесть лет назад, когда она на минутку оторвалась от моих губ:

— *Постой, я все же аэролог. Надо сбегать снять показания.*

— *Потом, потом... — нетерпеливо возразил я, вновь принимаясь целовать ее сонные нерасцелованные губы... Глаза... Виски... Шею... Все ниже и ниже в ворот расстегнутого платья. Мы сидели на краю постели. Мне передавался быющий Лиду мелкий озноб.*

— *Не спеши, ладно? — задыхаясь, выговорила она. И отодвинулась. Моя рука соскользнула на ее холодное колено, пупырчатое и шершавое от страха. Я иступленно повел ладонь выше по бедру.*

— *Нет-нет, я все же сбегая, не обижайся! — Она рывком высвободилась, запахнула платье на груди, стиснула в кулак обе половинки ворота. — Я мигом...*

И оставила меня одного на краю ожидания, тревожного, натянутого и ломкого, как перед криком кукушки в морозном лесу.

Приборы у нас дистанционные. К ним вовсе не обязательно бегать на свидания. Но я добр. Я нечеловечески добр. Я понимаю: Лида просто

боится первый раз, ей хочется побыть одной. Есть, знаете, такие женщины...

Утешенный собственной прозорливостью, я сижу на краю постели и улыбаюсь как последний идиот. Сначала пять минут. Потом десять. И еще полчаса, пока что-то осознаю...

Мне бы сразу кинуться в шлюзовую. А я зачем-то тряс пульт и вызывал, вызывал, вызывал ее, искричав ближний эфир Лидиным именем пополам с бранью.

Но она заблокировала в скафандре связь.

Я врубил обзор приборной площадки. Камера там неудобная, с малым возвышением, панорамирует случайными циклами. Лида неслась по «ипподрому», косясь через плечо и закрывая голову руками. Капризный кадр приблизил распахнутый в крике рот — неяркие сонные Лидины губы...

Великим чудом я не перепутал баллоны с ботинками и не напялил вместо шлема авральный рукав. В шлюзе, всхлипывая, рвал наружную створку, молотил ее каблуками. Ведь не открылась же, ни на секунду раньше положенного не открылась!

Когда я примчался, Лида лежала лицом вниз, зажав через шлем уши перчатками. Скафандр ее за какие-то минуты успел облипнуть бахромой. Ровно и скользко блестел в свете Луны «ипподром». По отстойнику медленными волнами ходила пыль.

Я бросился на колени и долго падал, проклиная невесомость. Наконец рухнул, подвел под скафандр руки. Лидино лицо окостенело в гримасе наивной детской обиды. В это выражение отлился страх. Страх! Она с трудом разлепила жесткие губы, но я не услышал ни слова и, точно это могло помочь, прижался шлемом к ее шлему. Лишь спустя бесконечную секунду догадался включить на ее поясе радиоблок. Запинаясь и морщась, она прошептала:

— Там мыши, Тарас... Не ходи... Мыши!

И слабей, затихая, еле слышно:

Ветер кружит нам головы,

Утопая в серых слезах Земли...

Подумать только, она еще твердила стихи! Стихи о пыли, которая ее убила. А врачи заяви-

ли: шок. Конечно, для медицины это и был шок — «общее необратимое угнетение организма, вызванное потрясением или страхом», вопрос только — что вызвало это самое потрясение. Меня утешали как могли — случайность, мол, один на миллион, психологическая аллергия к Космосу. Одним словом, шок. Но меня не проведешь, я-то знаю: это пыль мне отомстила. Пыль!

А мыши — это просто бред...

Токер затаился, не мешает вспоминать. В этой комнате воспоминания не опасны, а потому разрешены, даже поощряются. Я подхожу к окну, просветляю по-ночному затянутые стекла. За окном — вороненая металлическая поверхность мезопоста, кое-где изъеденная вакуумом и метеоритами. За окном — бесконечная Лицина могила.

...— Ты погоди, я мигом, — сказала она тогда.

И не вернулась.

С тех пор я оберегаю несостоявшуюся первую ночь — медовый месяц, растянувшийся на шесть лет и на всю мою жизнь.

Край откинутого одеяла.

Приготовленные у койки тапочки.

Ни разу не надетую ночную сорочку.

Неувядающие фиалки, схваченные стенным зажимом.

Вздыхнув, вынимаю из-за пазухи свежий букет, отдираю обертку, вставляю взамен старого. Фиалки, дрогнув, расправляют лепестки.

Одно и то же шесть лет подряд. Ничто не меняется. Ничто и не может измениться. Стерильно. Холодно. Сухо. Ни пылинки на белоснежной подушке, не потревоженной ничьей головой. Ни пылинки в цветах. На сорочке. На подоконнике. Ни пылинки на моей памяти. Да-да, ябеда электронная, ни пылинки. Сима не в счет. Я облизываю губы. Опять Сима! Да что со мной сегодня? С этим же решено раз и навсегда. Лида, Лида, Лида, «станционный смотритель», «ипподром», Бась, ну, прогулка по Земле раз в месяц — и всё, больше для тебя ничего на свете не существует, понял? Потому, казня себя ежегодно, придушенный виной, и брожу вместе с Лидой, ношу ее на руках, невообразимо тяжелую в невесомости и невесомую внизу...

Шесть лет убеждаю себя, что ее убила пыль. И все шесть лет мне хочется сознаться и крикнуть: «Это я, я убил! Поторопился в ту ночь... С ручищами...» Или, может, все-таки и вправду не я? Токер, милый, почему мне сегодня так этого хочется?

В комнату заглянул Бась и попятился, рассмотрев мое отражение в стекле. Хорошо хоть не Веник с утешениями. Не переносу жалости...

Сигнал вызова еле пробудил меня к действительности. Я ни в ком не испытывал нужды. О том, что могут испытывать нужду во мне, я вообще не подумал и лишь из вежливости разрешил токеру связь. В полуметре от моего лица сгустилось изображение. В этот момент я был склонен к галлюцинациям. Именно поэтому не удивился.

— Тарас, я забыла спросить...— От Симиного голоса, от ее волос изображение вызолотилось. Симины щеки пошли еле заметными белыми пятнами.— Вам не нужен котенок? У нашей сибирской пятеро. Я не знаю, куда их деть...

«Что ж, выходит, все зря? — пронеслось в мыслях.— Зря приговорил себя к одиночеству, от друзей бегал, а добровольные отшельники себя сослал? И за токер, выходит, оттого упрятался, чтоб ощущать это сладкое, спасительное бремя вины?!»

Мне все равно, о чем говорит Сима. О слонах. Бегемотах. Летающих ящерах. Пусть даже о сибирских котятках. Лишь бы не умолкала. Ни в коем случае не умолкала,— тогда я рано или поздно справлюсь со своим лицом... Котенок — это шерсть по квартире... Блюдец с молоком... Крошки... Рыбный запах... Ящик с песком... (Мама для Барсика мелко-мелко рвала в сквородку бумагу.) И все же говори, Сима, о чем угодно говори, чур-чур-чур, чтоб не сглазить! В конце концов, мне только тридцать два...

— Плохой из меня вышел прорицатель? — спрашиваю напрямик, отступая и прикрывая собой откиннутое одеяло, подпихивая ощупью под подушку Лидину сорочку.

— Напротив! — горячо возразила Сима.— Впрочем, если вы насчет Дональда...

— Ах, молчите, не говорите ничего. Я еду!

Отключился. И заметался как угорелый, не зная, за что хвататься. Вихрем пролетел по комнатам, стряхнул с дивана Бася, отобрал у него козинаки, высыпал Венику за шиворот. Оба смотрели на меня одинаково — как петух на дождевого червя: то одним глазом, то другим.

— Космические лучи,— серьезно заметил с пола Бась.

— Пятна,— предположил Веник, грозя мне кулаком и отлепляя от себя козинаки.— Пятна на Солнце...

Я недослушал. Застыл на миг, потирая лоб. Что-то мне еще предстояло сделать... Ах да, Лида! Я натянул скафандр. Выскочил наружу. Меня несло как на крыльях. Я подпрыгивал и парил, подпрыгивал и парил, Магнитные

подковки с неохотой отпускали металлическую полосу «ипподрома», зато хватко вцеплялись в нее к концу прыжка. Но я все равно взлетал. Я парил. Я пел...

— Слушай, не откажи в удовольствии просветить бывшего студента: этот танец в пустоте войдет со временем в твой новый курс?—раздался в шлемофоне гнусный Венкин голос. Судя по дурацкому вопросу, Бась ничего не рассказал про Лиду. И правильно сделал.

— Славный недогадливый Веник! — пропел я. — Без тебя в Канберре пусто, поспеши, дружок, в Канберру!

Пропел и, нашарив на поясе пульт, отсоединил внешнюю связь.

Справа в отстойнике жирно и медленно колыхалась пыль. Я лег на край, сунул руку по плечо, поболтал. На рукаве скафандра наклюнулся серый пушок. Смел его свободной рукой — на ней тоже запушилась бахрома. Когда я поднялся и отошел, пыль в отстойнике вспучилась и лениво выплеснулась на дорожку «ипподрома».

Не понимаю, что заставило меня оглянуться. Позади, на полосе, отпечатывалась в свете Луны цепочка следов, обрывавшаяся метрах в пяти, словно оставивший их невидимка застыл одновременно со мной и теперь воровато прислушивается. Впрочем, нет, крадется: вон серым мышьяным ворсом прорисовывается новый оттиск.

Мне стало как-то не по себе. Вслух уговаривая себя не спешить, я пошел быстрее. Алчный горбик пыли в отстойнике не отставал, примериваясь кинуться через край. В шлемофоне, отключенном от связи, слышались скрип, писк, шелест, напоминавшие потаенные перешептывания. И тогда, стыдно признаться, я побежал. Вдогонку на смазанной лунным светом полосе вспухали матовые следы.

Я не понимал (некогда было понимать!), чего испугался, — меня гнало помимо воли, помимо желания. И еще если бы не этот вливающийся в мозг радиоскрежет: он так изматывал, так выворачивал душу, что я непроизвольно поднял руки в попытке зажать уши...

Тут меня будто кто по затылку стукнул. Вот так же вот тогда неслась Лида. Стиснув руками шлем. Спасаясь от воплей пыли. Я, очевидно, след в след ступаю здесь по отпечаткам ее ног, Лидин призрак гонится за мной по пятам — все в мире повторяется...

Я прыжком развернулся, двинул наперерез невидимке, прошагал его насквозь. Следы уже размылись, сильно потеряли в размерах, а дальше совсем стояли, не в пример тем свежим, которые увязались за мной...

Ах ты, влюбленный с бантиком! Скалится мусорная

корзинка, а у тебя, спеца хваленного, глаза на лоб! Пустяк такой — а ты выцвел от страха! Приложи, приложи пяточку-то! Убедись в истине, коли под шлемом забрезжило!

Я ляпнул подошвой. Надавил. Отвел ногу. На магнитный отпечаток, делая его видимым, тут же надела электризованная пыль...

Вот так. И никаких тебе призраков. И ошалелая пылюка не гонится за своим покорителем по спутнику, чтоб придушить, а ведет себя так, как и положено ей во время прилива, когда в отстойник нагнетают максимальный потенциал. И требуется полнолуние, чтобы разглядеть это пыльное адажио. И отключенная радиосвязь — чтоб рядный шелест прямо в мембрану сыпался. И еще нужно здорово взвинтить себя. Так нервишки раскатать — аж до потери реальности.

Я присел на корточки перед ворсистым отпечатком собственной подошвы. Всесильные науки! И такая малость может все на свете! И убить человека. И остановить любовь. Скажи спасибо — Лиду вовремя вспомнил. Считай, она и спасла тебя. Каково же ей с ее аллергиями и страхами в тот момент пришлось, ежели тебя, мужика толстокожего, мелкой судорогой вило! Всё. Шалишь, серая. Теперь ты уже ни за кем не погонишься. Я об этом позабочусь.

Кто-то резко дернул меня за плечо. Я поднял голову. Надо мной висело побелевшее лицо Бася. Губы его кривились и бессмысленно прыгали. Я понял, включил радиоблок.

— ...с тобой?! Да ответь же наконец, слышишь? — во-рвался в уши дикий дрожащий вопль.

— Тс-с! Не надо шуметь! — Я поморщился.

— Фу, глухарь задумчивый! Как ты меня напугал! — Бась облегченно вздохнул. — Ждал-ждал выверта — дождался. Что стряслось?

— Да так, ничего особенного... — Капли холодного пота заливали веки, мне нечем было их смахнуть, я непрерывно мигал. — Аварийно передай на все мезопосты — снять в скафандрах блокировку связи. Хватит с нас!

— Зачем? — удивился, подбегая, Веник. Только теперь шлюз наконец выпустил его наружу.

— А затем, — я поднялся, — затем, чтобы воображение не заводило нас в тупик, из которого выход только в смерть или помешательство. Вроде этого, например...

Я мелкими приставными шажками — только магнитные подковки клац-клац! — заключил их обоих в некий магический круг, быстро густеющий и застающий пухом.

— В высшей степени поучительно, — пробормотал Бась.

— Ты мчался к этому открытию, как умирающий гладиатор,— подхватил Веник.— С бешеными белками и разинутым ртом...

Токер вдруг заурчал и забарабанил Киплинга: «Пыль, пыль, пыль от шагающих сапог... Пыль, пыль, пыль от шагающих сапог...»

«Хорош, чудотворец! — дал я ему мысленного пинка.— Всё танги да блузы разводишь. А влезешь в пылюку по уши — ты и тю-тю, сник! Ох, дождешься, просквожу тебя на реакторе!»

И вдруг, понимаешь, доходит до меня, что токер и не виноват вовсе. Ведь вся его сенсоприставка для чего предназначена? Кратковременные стрессы гасить, так? А за шесть лет контакта с человеком любой прибор переконтактится. Вот мой токер и приспособился, само горе мое для него нормой стало. Оттого и не давал мне ни на миг забыть, непрерывно себе и мне душу бередил...

Пыль. Пыль. Пыль, пыль, пыль...

Мои спасители раскричались, малюя на полосе пыльные узоры.

— ...Магнитные подошвы и необъезженная психика! — потрясает кулаками Веник.

— Ерунда! Главное — потенциал в отстойнике! — горячится обычно хладнокровный Бась.— И резонанс альфаритмов мозга, запертого сенсobarьером в эмоциональной клетке...

Ну, эти при деле. Им теперь на год хватит разбираться. Глядишь, до чего и докопаются. Салют!

На середине пути к гравиподъемнику, загораживая свет горсткой, я вызвал Симу на видеоэкран скафандра:

— Так я уже... я уже еду... Не передумали?

— У котенка глаза только-только прорезались, голубые-голубые, один пока больше, другой меньше. Зачем вы себе не верите? — не очень последовательно выпалила она.— Я жду.

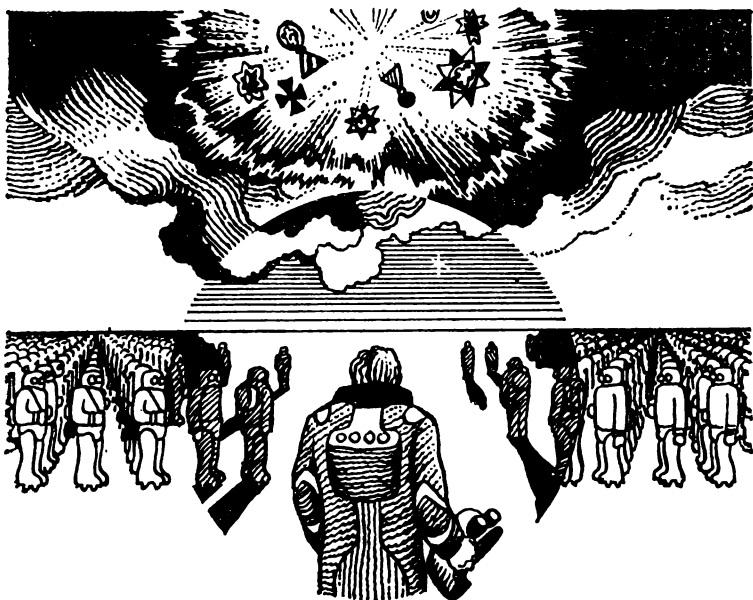
Помедлила капельку. Я замер.

— И вот еще что, Тарас... ска... Я правильно поняла: «Сезам» иначе — это «Сим-сим», правда?

Да, Сима, да. Сто раз да!

В шлюзе, сняв скафандр, я первым делом отключил сенсobarьер.

Честное слово, здорово, что такие девушки не бывают свободными!



Сергей Снегов

Чудотворец из Вшивого тупика

РАССКАЗ

1

Уже за сто метров сержант Беренс увидел, что новобранец Эриксен — дурак.

Он, во-первых, слишком часто и слишком по-доброму улыбался. И у него были очень ясные — не то серовато-голубые, не то голубовато-серые — глаза, к тому же такие круглые и с такими фарфорово-яркими белками, что казались блюдцами, а не глазами. А в-третьих, что было всего важнее, Индикатор Подспудности записал на ленте невсоятную характеристику Эриксена: этот верзила говорил лишь то, что думал, и даже в глухих тайниках его души пронзительный луч индикатора не обнаружил ни черного налета злобы, ни скользкой плесени лживости, ни мутных осадков недоброжелательства, ни электрических потенциалов Изортавырывательства, ни молекулярных цепочек За-

глазаочернительства, притаившихся в маскировочном тумане Влицопресмыкательства. О магнитных импульсах кчинам и гравитационной тяге к теплему месту и говорить не приходилось. Эриксен был элементарен, как новорожденный, и бесхитростен, как телевизионная башня. Таких людей давно уже не водилось на Марсе.

— Вы, малютка! — сказал толстый сержант Беренс, снизу вверх, но свысока оглядывая двухметрового Эриксена. Сержант Беренс — рост сто шестьдесят два, вес девяносто четыре, карьеризм семьдесят восемь процентов, лживость в границах нормы, свирепость несколько повышенная, ум не выше ноль сорока семи, тупость в пределах среднего экстремума, общая оценка — исполнительный до дубинности оптимист — держался с подчиненными высокомерно. Он умел ставить на место даже тех, кто был на своем месте.

— Не понял: из какого сумасшедшего дома вы бежали?

Эриксен почтительно отозвался:

— С вашего разрешения, сержант, я в сумасшедшем доме не бывал.

Беренс с сомнением раскручивал ленту магнитного паспорта.

— Но где-то вы жили до того, как вас призвали в армию?

— Я жил в городе номер пятнадцать, восемнадцатый район, сорок пятая улица, второй тупик.

— С ума слезть, — проговорил сержант. — На всех линиях, где у нормальных людей раковые опухоли нездоровых влечений, у этого недотепы сплошные нули и бледные черточки. По-моему, он ненадежен. Что вы сказали, Эриксен? Город номер пятнадцать? Знаю. Сороковой градус широты, сто двадцать восьмой меридиан, островок на пересечении пустого восемнадцатого канала с двадцать четвертой высохшей рекой. Двести двенадцать тысяч жителей, половина стандартные глупцы, около сорока процентов глупцов нестандартных — остальные не имеют социального значения.

— Так точно, сержант.

— Мы одиннадцать раз уничтожали этот город, — мечтательно сообщил сержант. — В последней атаке полковнику Флиту удалось разложить на молекулы всех людей и животных. Лишь в одном из подвалов, от флуктуационного непопадания, чудом, так сказал генерал Бреде, уцелел младенец, мы с полчаса слышали его плач. Флит ударил по нему из сверхквантовой пушки — Суперядерная-3, мега-

тонный усилитель взгляда. Боже мой, как сверкали глаза полковника, когда он погружал взгляд в творило орудия. Проклятый младенец обошелся нам в два миллиона восемнадцать тысяч двести двенадцать золотых марсов... Вообразить только — два миллиона!.. — Беренс посмотрел на Эриксена и добавил: — Это были кибернетические маневры. Атаки разыгрывались на стереоэкране.

— Так точно, — сказал Эриксен.

— Постойте! — воскликнул сержант, пораженный. — Вы сказали — второй тупик? Я сотни раз наблюдал его в стерео, четыре раза сам уничтожал... Вы знаете, как он называется по-другому?

Эриксен опустил голову.

— Уверяю вас, сержант, все правила марсианской гигиены...

— Он называется Вшивым, вот как он называется, — строго сказал сержант. — И не смейте мне врать! Место вшего обитания названо по людям, а не по насекомым. Там у вас наблюдались чудовищные выпадения из стандартности, разве не так? Это было гнездовье последних эмигрантов с Земли, самый скверный закоулок на Марсе!

Эриксен молчал, подавленный неотразимостью обвинения. Беренс поднялся. Он был протяженней в ширину, чем в высоту. И так как шагал он быстро, то казалось, что он не бежит, а катится. Он бросил Эриксену:

— Следуйте за мной. Первые занятия просты: нейро-волновая промывка психики на ракетных полигонах.

2

По равнинам Марса грохотал ветер. Утром он налетал с востока, в полдень дул с севера, ночью рвался с юга. В первые годы колонизации Марса направления воздушных потоков были упорядоченней, но пятьдесят лет назад Властитель номер Тринадцать, сразу же по вступлении на Пульт-Престол, повелел ветрам дуть лишь на юг, заваливая пылью города Нижней Демократии Истинного Капитализма. Коварная Нижняя Демократия мобилизовала для отпора электрическую мощность почти в пятьдесят альбертов, то есть пятьдесят миллиардов киловатт, по терминологии того времени. Результатом разгоревшейся пылевой войны было то, что прежняя упорядоченность ураганов пропала, ярость их увеличилась, а пыли стало больше. Нынешний Властитель-19, четвертый год со славой диспетчеризировавший северную половину планеты, надумал добиться перелома в затянувшейся борьбе и призвал под ан-

тены своих полков около трети населения государства. Была успешно проведена широкая облачная диверсия. Назревала большая война — уже не пылью, а водой и кровью.

Первое занятие показалось Эриксену невыносимо тяжелым. «Болван, отдавайтесь полностью и безраздельно! — гремел в его мозгу голос сержанта Беренса. — Аккуратней и повеселей!» Он уже не чувствовал ни рук, ни ног, ни туловища, все члены слились с органами машины в одно грохочущее, ползущее, бегущее, крадущееся целое: живой автомат, в котором сам Эриксен был не больше, чем его малой частью, маневрировал в пылевом полусумраке рядом с сотней таких же одушевленных боевых машин. «Яростней взгляд, пентюх! — надрывался Беренс в мозгу. — Сосредоточивайте взгляд, чтобы вас не опрокидывали, тупица!» Эриксен сосредоточивал взгляд и придавал взгляду ярость, но Эриксена легко опрокидывал презрительным оком каждый мчавшийся навстречу солдат. Глаза их вспыхивали неотразимо и, попадая в фокус удара, Эриксен мгновенно терял самообладание. За первый час занятий он раз десять валился в пыль, задирая двигатели вверх, и только иступленная ругань сержанта заставляла его с усилием переворачиваться.

Беренс командовал отдых.

— Если бы вы находились не в учебной, а в боевой оболочке, слюнтяй, вас дюжину раз разложили бы сегодня на атомы, — объявил он.

Эриксен молчал, убитый.

— Здесь усиление взгляда всего в пятьдесят тысяч раз и крепче, чем оплеуху, вам не заработать! — бушевал Беренс. — А в бою усиления дойдут до ста миллионов — что тогда будет, я хочу знать? Отвечайте, олух, когда вас спрашивает начальник!

— Я стараюсь, — пробормотал Эриксен.

— Стараетесь? — прорычал Беренс. — Вы издеваетесь, а не стараетесь, пустомеля. Вы должны мне отдаться, а вы увиливаете от отдачи, вот что вы делаете. Я не ощущаю вашего мозга, шизоик! Где ваши мозговые извилины, гнилой пень? Ваш мозг гладок, как арбуз, остолоп вы этакий!

Эриксен сам понимал, что мозгом его Беренс не овладел. Эриксен был плохим солдатом. В лучшем случае его мозг безучастно замирал, когда руки, ноги и сердце послушно исполняли команды сержанта. Для высокоинтеллектуальной войны безмозглые солдаты так же негодны, как и зараженные болезнью своемыслия. Впрочем, своемыслия давно уже не было.

— Что будет с армией, если расплодятся такие обороты? — орал сержант, размахивая кулаком перед носом Эриксена. — Наша непобедимость основана на совершеннейшей духовной синхронизации сверху донизу. Подумали ли вы об этом, балбес? И подумали ли вы, дегенерат, что одного такого перерыва интеллектуальной непрерывности, какую устраиваете вы, вполне достаточно, чтобы сделать нас добычей наших врагов! Я вас спрашиваю, головешка с мозгами, вы собираетесь мне отвечать или нет?

— Так точно! — сказал Эриксен. — Слушаюсь. Будет сделано.

Беренс метнул в него негодующий взгляд. Взгляд сержанта не был усилен механизмами, и Эриксен снес его не пошатнувшись. Снова начались маневры.

Эриксен скоро почувствовал, что мозг его понемногу настраивается на волну сержанта. Команды уже не гремели голосом Беренса, они стали приглушенней, превращались из внешних толчков во внутренние импульсы. Эриксен знал, что полная синхронизация его мозга с верховным мозгом, командующим армией, наступит в момент, когда приказы извне примут образ собственного его влечения, внезапно возникающей своей страсти. И тогда он, как и другие однополчане, будет рваться вперед, чтобы немедленно осуществить заплавшее в нем желание...

Однако до такой синхронизации было далеко. В голове Эриксена не хватало каких-то клепок. В висках застучало, жаркий пот заструился по телу. Выкатив от напряжения глаза, он схватился руками за грудь. Рычащие негромко двигатели вдруг завопили и стали разворачивать его на месте. Эриксен судорожно завращался по кругу, и все, на кого падал взгляд его смятенных глаз, взлетали, как пушинки, перекувыркиваясь в воздухе, или уносились по неровному грунту, с грохотом ударяясь о препятствия и надрывно ревя двигателями.

— Стоп! — заорал Беренс. — Стоп, дьявол вас побери!

Синхронизация Эриксена продвинулась так далеко, что яростный крик Беренса поразил его оглушительней грома. О других солдатах и говорить не приходилось: уже многие недели Беренс разговаривал с ними лишь их голосами. На полигоне быстро установилась тишина, прерываемая лишь грохотом ветра, поворачивавшего с севера на восток.

Беренс выбрался из оболочки и рывкнул на весь полигон:

— Рядовой Эриксен, идите сюда, дубина стоеросовая! Эриксен вытянулся перед сержантом,

— Нет, поглядите на это чучело! — негодовал Беренс. — То этот лодырь не может и легонько стрелкнуть глазом, то бьет зрачком крепче трехдюймового лазера. Что вы устались на меня, чурбан? Вы своим бешеным взглядом чуть не покалечили мне целый взвод, чурка с глазами! Или позабыли, что у нас учения, а не битва? Отвечайте что-нибудь, лопух!

Эриксен мужественно отпартортовал:

— Так точно. Стараюсь. Можете положиться на меня.

— Так точно. Стараюсь. Можете положиться на меня, — сказал сержант Беренс не своим голосом и окаменел. Полминуты он ошалело глядел на Эриксена, потом завизжал: — Передразниваете меня, параноик? А о последствиях подумали, чушка безмозглая? Отдаете ли себе отчет, тюфяк с клопами, чем противодействие грозит солдату?

Эриксен молчал, опустив голову. Ум его заходил за разум. Эриксен мог бы поклясться, что не он передразнивал Беренса, а тот его.

— Перерыв на час, хлюпики! — скомандовал сержант. — На вечерних занятиях будем отрабатывать самопожертвование по свободному решению души, предписанному командиром.

Уходя, он неприязненно зарычал на Эриксена:

— Чувырла!

Он укатил в канцелярию, а Эриксен улегся на грунт. Рядом с ним опустился пожилой рыжий солдат.

— Хлестко ругается наш сержант, — с уважением сказал пожилой. — Он обрушил на вас не меньше ста отборных словечек.

— Всего двадцать семь, — устало сказал Эриксен. — Я считал их. Дегенерат, болван, балбес, чурбан, лопух, пен-тюх, дурак, обормот, слюнтяй, пустомеля, лодырь, хлюпик, олух, остолоп, тупица, недотепа, юродивый, шизоик, параноик, гнилой пень, головешка с мозгами, дубина стоеросовая, чучело, чурка с глазами, чушка безмозглая, тюфяк с клопами. Ну и, разумеется, чувырла. Я сам берусь добавить еще с десятков ругательств не слабее этих.

— Сержант их без вас добавит, — уверил рыжий. — По части бранных определений Беренс неисчерпаем. Кстати, давайте знакомиться. Джим Проктор, сорок четыре года, рост сто семьдесят восемь, вес шестьдесят девять, лживость средняя, коварство пониженное, сообразительность не выше ноль восьми, нездоровые влечения в пределах допустимого, лень и чревоугодие на грани тревожного, все остальное не подлежит преследованию закона...

Эриксен пожал ему руку.

— Сожалею, что не могу отрекомендоваться с той же обстоятельностью. Во всех важных отделах психики у меня нули. Я в умственном отношении, видите ли... не совсем...

— Это ничего. И с нулями можно просуществовать, если беречься. У нас был солдат Биргер с полной кругляшкой в области лживости и эгоизма и всего ноль двумя самовлюбленности. И что вы думаете? Он отлично чувствовал себя в казарме и порой даже мурлыкал себе под нос.

— Он в нашем взводе?

— Его распылили на учении. Он опрометчиво сунулся под взгляд генерала Бреде, когда тот погнал нас в наступление. Ну, и сами понимаете... Квантовые умножители генерала не чета солдатским. Бедный Биргер запылал, как тряпка, намоченная в бензине. Если не возражаете, я немного вздремну около вас.

— Спите, пожалуйста.

Проктор тут же захрапел. Эриксен печально осматривал равнину. Над холмами ревел ураган, гоня красноватую пыль. С того года, когда энергетические станции спустили с цепей ветры, в атмосфере воздуха стало меньше, чем пыли,— уже в ста метрах расплывались предметы. Солнце холодным оранжевым шариком тускло светило в пыли. Эриксен думал о том, что с детства не видел звезд и что ему хочется полюбоваться на звезды. О звездах не приходилось и думать. Ураганы пыльной войны день и ночь гремели над планетой, они лишь меняли направление, обегая за сутки все румбы света и тьмы. Планета была отполирована ветрами, красноватый грунт сверкал, как металл, он был металлически тверд и гладок, а все, что можно было извлечь из него, давно было извлечено и, не оседая, вечно моталось в воздухе. Сегодня столкновение воздушных потоков было особенно яростным, оранжевый шарик Солнца был так расплывчато тускл, что казался не оранжевым, а серым. «Серое марсианское солнце,— думал Эриксен.— Холодное серое солнце!»

Еще он думал о том, что на далекой Земле, покинутой его предками, никогда не бывает пыльных бурь и ураганы там не так свирепы, там люди могут разговаривать без приборов и без приборов слушать, не рискуя быть оглушенными. Эриксен одернул себя. О Земле размышлять было заказано. Земля была навеки закрыта для глаз и разговоров. И Верхняя Диктатура и Нижняя Демократия одинаково запрещали вспоминать Землю.

Из канцелярии выкатился Беренс.

— Строиться, ленивцы! — гремел Беренс, заглушая вой урагана.— Напяливайте боевую оболочку, разгильдяи!

Проктор, пробудившись, зевнул на метавшегося грозного сержанта.

— Что-то я ему пожелал бы, только не знаю—что.

— А я пожелал бы, чтоб он уткнулся носом в грунт, а потом погнал нас в казармы на отдых,— грустно сказал Эриксен.

Эриксен еще не закончил, как сержант свалился с таким грохотом, что отдалось во всех ушах.

Он вскочил и, не отряхиваясь, заревел:

— Чего вылупили лазерные гляделки, гады? Живо запускайте моторы, скоты, и марш в казармы на отдых!

Солдаты кинулись к своим оболочкам. Взвыли воздушные двигатели. Взвод, человек за человеком, поворачивался к казармам. Сержант Беренс, раздувая горловой микрофон, завопил еще иступленной:

— Стой! Отставить отдых, мерзавцы! Стой, говорю!

Взвод торопливо выворачивался от казарм на сержанта. Беренс, катясь вдоль строя, неистовствовал:

— Кто скомандовал моим голосом возвращение в казармы? Я сам слышал, что голос был мой, меня не проведете, пройдохи! Что-что, а свой голос я знаю, подлые вы растяпы! Я спрашиваю, бандиты, кто кричал моим голосом?..

Солдаты молчали. Беренс докатился до Проктора и заклекотал:

— Это вы, негодяй? Вы, обжора? Вы, проходимец?

Он ткнул кулаком Проктора. Затрепетав, Проктор гаркнул:

— Никак нет, не я.

— Все ясно,— надрывался сержант.— Это ваша работа, Эриксен! Вот они где сказались, ваши психические нули, идиот! Я с самого начала знал, что от такого столба с перекладиной взамен рук хорошего не ждать. Я спрашиваю вас, распрохвост, почему вы кричали моим голосом?.. Вы меня слышите, глухарь бескрылый?

Эриксен, бледный, четко отрапортовал:

— Так точно, слышу, Никак нет, вашим голосом я не кричал! Я не умею говорить чужим голосом.

Беренс побушевал еще немного и начал учения. Эриксену и Проктору выпало наступать в переднем ряду. Проктор обалдело скосил на Эриксена оптические усилители и прошептал:

— А вы, оказывается, чудотворец! Вот уж не ожидал!

В день, когда у сержанта Беренса начались нелады с новобранцем Эриксоном, неподалеку от них, в Верховной канцелярии, на Центральном Государственном Пульте — сокращенно ЦГП — дежурил командующий Квантово-Взглядобойными Войсками — сокращенно КВВ — известный всему Марсу лихой полковник Флит, еще ни разу на маневрах не побежденный. Он прохаживался вдоль щита с Автоматическими Душеглядами — так недавно стали называть прежние автоматические регуляторы общественной структуры — и, всматриваясь в диаграммы самописцев, мурлыкал популярную песенку: «Будешь, малютка, печалить меня, разложу тебя вмиг на атомы». Дежурство проходило отлично. Диспетчеризация государства шла на высоком тоталитарно-энергетическом уровне.

Внезапно Флит нахмурился. Кривая одного из Душеглядов показывала, что на ЦГП идет начальник Флита генерал Бреде. Флит недолюбливал генерала Бреде, хотя по официальным записям нейтринных согладатаев они вычерчивались приятелями. Дело было не только в том, что генералу Бреде, как первому заместителю Властителя-19, было положено не три, как Флиту, а восемь процентов сомнения и не два, как прочим Верховным Начальникам, а пять процентов Иронии и что сам Бреде, по часто повторяющимся импульсивным донесениям Приборов Особой Секретности, временами перебирал отпущенный ему Законом лимит Сомнения и Иронии, а это Флит считал отвратительным и опасным.

Генерал Бреде выглядел анахронизмом в государственной иерархии Верхней Диктатуры. Это был обломок древней ракетно-ядерной эпохи. Он мыслил изжитыми категориями всеобщего механического разрушения и энергетического распада. Испепеленная, превращенная в радиоактивную пыль планета — таковы были его примитивные концепции будущей войны. Правда, Бреде открыто не высказывал подобных взглядов — не только люди, но и самописцы высмеяли бы отсталость его стратегических концепций, — Флит же не сомневался, что втайне Бреде от них не отделился.

Не один Флит замечал, что Бреде недооценивает последние открытия в военной технике, позволявшие уничтожать людей, полностью сохраняя их снаряжение и имущество. Когда стало ясно, что человеческий взгляд, усиленный автоматическими устройствами, обладает большей эффективностью, чем бомба, отличаясь от последней лег-

костью настройки на любую мощность, именно в это время, когда уже не место было сомнению, Бреде усомнился: он принимал Квантово-Взглядобойные Войска в качестве одной из частей армии, но упрямо отказывался признать КВВ главной ударной силой. К тому же личная оптика генерала была не на высоте. Командующий армией Верхней Диктатуры был до презрения синеглазым. Невооруженным глазом он не мог бы даже мухи убить, не говоря уже о том, чтобы сразить человека или поджечь дом. У подчиненных, на которых Бреде кидал взгляд, почти никогда не подгибались колени. Даже рост генерала — семь сантиметров выше стандарта для Сановников — Флит считал непозволительным нарушением авторитета. Черноглазый, стандартной фигуры, стандартно-стремительный Флит был, наоборот, живым воплощением воинственности. В его пылающих очах — меньше всего их можно было назвать отжившим невыразительным словечком «глаза» — сконцентрировались достижения оптической селекции четырех поколений профессиональных военных. У самого Властителя-19 не всегда можно было узреть такой пронзительно дикий и, без усилений, разрушительный взгляд, каким гордился Флит. Без светофильтров беседовать с ним было опасно. С женщинами он разговаривал лишь в темноте, чтоб неосторожно не поранить их нежным жаром своей природной оптики. Его первая жена погибла в ночь свадьбы и, хотя с тех пор прошло десять лет, Флит не переставал горевать о ней. Собственно, ночь, как показала запись контрольно-супружеских автоматов, протекала со стандартной бурностью, но на рассвете Флит, забывший задернуть портьеры на окнах, испепелил свою бедную молодую супругу отраженным в его зрачках светом далекого солнца.

Войдя на ЦГП, Бреде кивнул Флиту, уселся в кресло перед Государственным Пультом и задумчиво положил ноги на Пульт.

— Что-то не нравится мне сегодня Земля,— промямлил он.— Не люблю я, когда Земля в фазе трех четвертей.

— Ничего особенного с Землей — вращается потихоньку вокруг Солнца,— возразил Флит.

— Доложите Земную обстановку,— потребовал Бреде.

Флит подумал, что Бреде и сам мог бы поинтересоваться показаниями самописцев. С Землей, и вправду, нового не происходило. Строились 74 новых города, осушались три мелководных морских залива, разливались 47 новых пресноводных морей, вырубались дикие тропические леса и насаждались тропические парки. С космодромов Земли за часы дежурства Флита стартовало за пределы Солнеч-

ной системы два звездолета, в межпланетном пространстве находится в космическом полете 41 экспресс. Запущены еще три термоядерные станции — интеграторы фиксируют ежесекундный уровень потребления энергии земным человечеством на уровне одного эрга на десять с двадцатью пятью нулями, то есть около миллиона альбертов мощности.

— Почти в тысячу раз больше энергии, чем у нас, — сказал Бреде. — Высокого уровня добился земной коммунизм!

— Не вижу здесь страшного, генерал. Вы забываете о концентрированности нашего супертоталитарного строя. У нас не существует низменной потребности сделать райским существование людей, чем так увлекаются на Земле. Наш эрг в сотни раз боеспособней земного эрга.

— Это, пожалуй, правильно, — согласился Бреде. — Перейдем к Марсу. Что в малопочтенной Нижней Демократии?

В Великой Нижней Демократии Истинного Капитализма тоже не произошло нового, если не считать речи Второго Олигарха, прокарканной по внутренним каналам Общественного Сознания. Второй Олигарх с обычной своей демагогией нашептывал в подчиненные ему мозги, что только у них настоящая свобода, а у их врагов свобода отсутствует. Там, где господствует один человек, нет места для личной независимости и частной инициативы, квакал он. И еще он пролаял, что, пока верхнее тоталитарное государство не уничтожено, существует вечная угроза индивидуальной свободе, не говоря уж, разумеется, о проблеме взбунтовавшейся Земли, решение которой пока еще не созрело. Долой верхнего тотального диктатора, надрылся он, да здравствует свободная демократия Рассредоточенных Олигархов и частная инициатива под нашим непрерываемым руководством!

— Почуял стервец Второй, что мы собираемся слопать их всех, — сказал Бреде. — Обратимся к собственным делам. Как косинус пси?

— Косинус пси в пределах ноль девяноста трех. Считаю синхронизацию Властителя-19 с нашим общественным строем идеальной.

— Идеальность — это сто процентов, полковник.

— Сто процентов теоретически невозможны, — опроверг начальника Флит. — Существуют, в конце концов, конструктивные погрешности приборов. Об индивидуальных отклонениях психики подданных от психики Властителя я не говорю, ибо это несущественно.

— Наоборот, очень существенно, полковник. Если бы индивидуальные отклонения психики не имели места, то зачем синхронизировать солдат на полигонах?

— Осмелюсь заметить: требования к солдатам строже, чем к подданным, естественно, тут показатели хуже. Тангенс тэта, символизирующий ваше личное единение с армией, еще никогда не поднимался выше девяноста. Наше общество теснее объединено вокруг Властителя-19, чем армия вокруг вас.

— Та, та, та! — сказал Бреде. — Десять процентов моего расхождения с армией в сто раз меньше меня тревожат, чем один процент несинхронности Властителя с народом.

Полковник Флит накалил взгляд до нестерпимости:

— Вы говорите удивительные вещи, генерал.

Командующий армией даже не пошевелил ногой на Государственном Пульте.

— Удивительность их не выходит за границы моих штатных прав Сомнения и Иронии. Добавлю, что такой же высокий косинус пси мы имели в правление Властителя-13, но и семи процентов несинхронности оказалось тогда достаточным, чтобы наша общественная система впала в тяжелейшие автоколебания, едва не закончившиеся коммунистической революцией.

— Безвременно погибший Властитель-13 был гений, — торжественно сказал Флит, — а когда человек гений, даже если он диктатор, его поступки не укладываются в общепринятые формы понима...

— Властитель-13 был дурак, — сказал генерал. — А когда дурак занимает престол, его глупость кажется гениальностью.

У Флита перехватило дыхание.

— Как это понимать? — проговорил он, запинаясь. — Если я правильно... вы сейчас несколько превзошли...

Бреде убрал ноги с Государственного Пульта и рванул дверцу Приборов Особой Секретности, смонтированных на внутреннем щите. Самописец командующего армией вычерчивал благожелательную кривую. Флит, уничтоженный, опустил голову. Взгляд синих глаз генерала был черноглазо тяжек.

— Не судите обо мне по своей мерке, полковник! Вам не приличествует то, что положено мне. Если бы вы так же высказались о каком-либо из бывших властителей, я не говорю о благополучно нас синхронизирующем ныне, вас следовало бы расстрелять. Впрочем, подобное наказание вам не грозит. Кажется, уже двенадцать часов? Идемте, нас вызывает Властитель.

К Центральному Государственному Пульту — сокращенно ЦГП — примыкало помещение Пульта-Престола — сокращенно ПП, — где постоянно обитал Верховный Синхронизатор Государства — Властитель-19. Его предшественники иногда выбирались за стены своей крохотной резиденции. Он себе этого не позволял.

Он не разрешал себе даже сойти с Пульта-Престола. Все часы суток он восседал или возлежал на ПП: и ел, и пил, и спал на нем, а в дни государственных кризисов совершал на ПП отправления, по природе своей требовавшие некоторого уединения. Происходило это не из боязни Властителя лишиться Пульта-Престола, а по более высоким государственным соображениям.

Дело было в том, что влияние Властителя-19 на государственные дела падало обратно пропорционально квадрату отдаления от Пульта-Престола. Проклятый закон квадратичной зависимости от расстояния, легкомысленно установленный в незапамятные времена физиком Ньютоном, нависал грозной глыбой над каждым неосторожным шагом Верховного Синхронизатора. Один из его предшественников, знаменитый в истории Марса Властитель-13, в какой-то из своих вдохновенных дней объявил об отмене зловредного физического закона, но, как вскоре выяснилось, сам закон не пошел на свою отмену. Такая же неудача постигла и другое великое начинание Властителя-13 — повеление женщинам прекратить рожать детей, а дело воспроизводства марсианского населения полностью передоверить мужчинам, как объектам, лучше поддающимся стандартизации. Женщины, разумеется, с радостью отказались от вековой обузы беременности, но мужчины, как ни старались, технологию родов не осилили — пришлось разрешить возвратиться к примитивным методам производства людей. Властитель-19, большой любитель истории, держал в памяти ошибки предшественников. Его девизом было: «Ни на сантиметр от государственного руководства». Он проникал в глубины, недоступные подданным. Он знал о себе, что является величайшим из властителей Верхней Диктатуры, и приказал вынести из помещения Пульта-Престола портреты своих предшественников, как недостойные быть рядом с ним. Исключение было сделано лишь для портрета Гитлера. «Этот древний неудачник мало чего добился, — говорил с чувством Властитель о Гитлере, — но он был моим предтечей и пламенным пророком того общественного строя, который наконец установили мы».

Важнейшим из государственных решений Властителя-19 было переименование Властительных повелений (именовавшихся также Инвективами) в Диспетчерективы.

Генерал Бреде и полковник Флит, появившись перед ПП, сперва, по этикету, приветствовали портрет Гитлера, потом поклонились Верховному Синхронизатору. Тот жестом пригласил их присаживаться в кресла, расставленные вокруг ПП. В креслах сидели другие сановники, управлявшие внешними делами, психологией и бытом подданных и энергосоциальной структурой общества.

Сам Властитель-19 восседал на Пульте-Престоле в парадной форме—на голове высокий цилиндр с султаном, черный мундир с орденами, голубые трусики, а ниже—голые волосатые ноги (единственное развлечение, какое разрешал себе Властитель во время приемов, состояло в шевелении узловатых пальцев ног, это почти не ослабляло силы его воздействия на общественные дела). В безбрючности и босоногости Властителя-19 таился глубокий государственный смысл. Опыт многих поколений Властителей установил, что исходящая из них эманация государственности канализируется главным образом в нижних конечностях, одежда же экранировала эманацию от приемников в ПП, и потому чем меньше было одежды на ногах Властителя, тем лучше шли дела в государстве.

Лицом и фигурой Властитель-19 походил на свои руководящие ноги—худой, волосатый, с неустойчивыми глазами, с быстрой речью: язык его двигался столь же безостановочно, как и пальцы ног, хотя движение языка не имело такого значения, как подергивание пальцев. Иногда Властитель-19, забываясь, усердно почесывался под мышками, на груди и в других местах: мыться на ПП было неудобно, а удаляться в ванну, так далеко от государственных забот, он побаивался. Впрочем, в остальное время он вел себя с достоинством и был почти приятен.

— Я пригласил вас, господа, чтобы объявить окончательное решение проблемы Нижней Демократии Истинного Капитализма,—объявил Властитель-19.—Я буду максимально краток.

Приглашенные удобнее рассаживались в креслах. Когда Властитель-19 хотел был кратким, он укладывался часа в два.

Он начал с обзора трех больших общественных сил, действующих ныне в Солнечной системе. Первая из них—государство на Земле. С Землей получилось плохо, недоглядели Землю—такова единственно точная формула. Когда остаткам старых государств удалось лихим броском за-

хватить Марс, никто из тогдашних руководителей и не подозревал, что этим актом они лишают себя Земли. А получилось так. На Марс были отправлены надежные войска, материальные ресурсы, на Земле же, лишенной этих оплотов порядка, всюду запылала революция.

На Земле получила противоестественное распространение философия всеобщего благоденствия. Вечные различия цвета кожи и глаз, особенности крови и жесткости волос, размеров тела и формы головы, национальности и образования, достатка и подбора предков — на все эти основополагающие человеческие различия на Земле ныне возмутительно наплевали. Поощряется махровая анархия — каждый самостоятельно выбирает свою жизненную дорогу: тот идет в музыканты, другой — в космонавты, третий — в кораблестроители, — ни один не подумает испросить государственного разрешения на личные влечения! Каждый мужчина любит свою женщину, каждая женщина — своего мужчину, вместе они любят своих детей, а еще все вместе они любят всех вместе. Взаимная необоснованная любовь, хаотическое взаимное уважение, ничем не прикрываемая взаимная дружба — таков тот отвратительный цемент, что сегодня соединяет всех землян. И вся эта неразбериха обильно питается могучими энергетическими ресурсами Земли, настолько ныне огромными, что, к сожалению, сейчас нельзя и речи вести об отвоевании нашей прародины и наведении на ней порядка. Время взять ее в руки (Властитель усиленно зашевелил ногами) не пришло.

Но если от захвата Земли он с глубоким сокрушением должен временно отказаться, то нет причин не расправиться немедленно и решительно с государственным ублюдком, именующим себя Великой Нижней Демократией Истинного Капитализма. Медлить дольше нельзя. Сегодня один из Олигархов кричал о непобедимости их общества Частной Инициативы. Непобедимость эта — иллюзорна. Реальной мощи Олигархии Демократии лишены. Реальная мощь на Марсе сосредоточена лишь в их Верхней Диктатуре, тотально задиспетчеризованной его, Властителя-19, руководящей волей. Он утверждает с полной ответственностью: еще не существовало столь совершенного государства, как Верхняя Диктатура. Единство сограждан достигло у них высочайшей формы централизации — односущности. Если на Земле ублажают личные прихоти своих сочленов, — «Развивают человеческие способности», как там говорят, — если Нижняя Демократия пытается контролировать влечения своих сограждан, разрешая им

лишь угнетать один другого, то они, он и Властители, его предшественники, попросту отменили все личное у своих подданных. Они освободили человека от собственных целей в жизни, от частных прихотей и причуд, от индивидуальных особенностей, от необщих мыслей. Человек чувствует себя несвободным, когда он многого жаждет. Несвобода человека — в неосуществимости его желаний. В Верхней Диктатуре, где все свое отменено, люди ничего не жаждут и ни к чему не имеют особых влечений, а следовательно, не испытывают горечи неудовлетворенности и трагедии неудач. Они желают лишь того, чего желает в них он, Властитель-19,—желания их удовлетворяются легко. Он повторяет: не было еще столь свободного...

Властитель-19 вдруг запнулся, лицо его страшно перекошилось, он заверещал не своим голосом:

— Чего вылутили лазерные гляделки, гады? Живо запускайте моторы, скоты, и марш в казармы на отдых!

Его истошный крик потонул в общем вопле. Сановники, сорвавшись с кресел, надрывались теми же не своими голосами:

— ...Марш в казармы на отдых!

— Отставить отдых, мерзавцы! — завопил Властитель. Приближенные диким эхом повторили его команду.

На губах Властителя-19 появилась пена. Он подергивался на Пульте-Престоле, отчаянно бил о бока заскорузлой Руководящей пяткой. Голос его становился тише, Властитель бормотал что-то похожее на «проходимцы... подлые растяпы... обжора... недоносок... глухарь бескрылый...»

Потом надвинулась могильная тишина. Властитель-19 свирепо оглядывался. Ноги его были плотно прижаты к ПП. Цилиндр с султаном сместился на ухо. Неожиданное смятение, разразившееся в недрах государственного строя, было с успехом ликвидировано.

— Я хочу знать, что это было такое? — заговорил Властитель.— Генерал Бреде, отвечайте, что это было такое?

Генерал, приподнявшись, мрачно отрапортовал:

— Ваше Бессмертие, вы отдали команду, показавшуюся нам неожиданной. А почему вы это сделали — мы не понимаем.

Его поддержали дружным криком все сановники:

— Мы не понимаем, Ваша Удивительность!

Властитель-19 снова дернулся. На растерявшихся приближенных надо было прикрикнуть. Он секунд пять раздумывал, прикрыв тяжелыми веками бешеные глаза,

— Правильно, вы не можете понимать сокровенной глубины моих поступков. Знаете, почему я кричал? Я пошутил. Короче, через неделю мы начинаем войну против Демократических Олигархов. Каждый по своему департаменту проведет подготовку к войне. Теперь марш по местам!

Он с трудом удержался, чтоб последнюю диспетчерективу не прокричать тем же не своим голосом, каким кричал недавно.

Флит возвратился на ЦГП. Под утро туда же пришел генерал. Бреде не уселся за Государственный пульт и не положил на него ноги, как любил, но прохаживался вдоль щитов с Автоматическими Душеглядами. Он хмурился.

— Косинус пси отличен,— заметил полковник.— Единение Властителя-19 и народа достигло степени тотального слияния в одно целое. Ваш личный тангенс тэта тоже превосходит, хотя по-прежнему несколько хуже косинуса.

— Меня смущает полнота слияния Властителя с народом,— неожиданно сказал Бреде, обратив к полковнику насупленное лицо.

Флит был искренне поражен.

— Вас смущает совершенство нашей системы? Но ведь все достоинства нашего государства, в частности его боеспособность, держатся на этом фундаменте.

— Дорогой мой полковник, самые грозные недостатки часто являются обратной стороной достоинств. Если с нашим обожаемым Властителем что-нибудь произойдет...

— Абсолютно исключено. Синхронизация общества и Властителя совершается автоматически.

— Это меня и беспокоит — автоматизм тоталитарности...

Командующему КВВ показалось, что он наконец поймал своего начальника на ереси.

— Выскажите определенней, генерал!

Командующий армией за долгую службу уже не одного деятеля, вроде полковника Флита, подвергал распылу на полигонах. Флит был слишком маленьким противником, чтобы тратить на него духовные силы. Бреде выразительно передернул плечами.

— Мне отпущено много Сомнения, но и мои лимиты не безграничны. Лучше поговорим о вещах более безопасных. Вам не показался знакомым голос, каким неожиданно закричал Властитель?..

Флит шлепнул себя по лбу.

— Черт возьми, удивительно знакомый голос! И будь я проклят, если это не голос сержанта Беренса, самого лихого вояки и самого отпетого пройдохи в наших...— Флит, ошеломленный, с ужасом глядел на Бреде. Бреде значительно поджал губы. Флит, сорвавшись с места, заорал на весь ЦГП: — Послушайте, это же несерьезно! Неужели вы хотите сказать, что подлая вшивка Беренс пытается захватить Верховную Синхронизацию?

Бреде холодно возразил:

— По-моему, о Беренсе заговорили вы, а не я. Что до меня, то я лишь обратил ваше внимание на странное изменение голоса нашего Властителя. Замечу попутно, что вы превысили свои скудные пределы, полковник Флит.

Он показал на приборы Особой Секретности. Кривая благонадежности Флита была повреждена резким всплеском в Недопустимость, граничащую со зловещей красной полосой Обреченности. Флит нервно отпрянул от грозного пика кривой. Он лишь на три миллиметра не дотянул до предела, за которым безжалостные гамма-каратели автоматически обрывают жизнь провинившегося. Бреде спокойно прикрыл дверцы к внутренним приборам. Он подошел к Автоматам Энергетического Баланса Государства. Здесь что-то настолько поразило генерала, что он несколько минут не отрывался от щита.

Флит еще не оправился от ужаса, вызванного образом чуть не поразившей его гамма-смерти, когда до него донесся размеренный голос генерала:

— Полковник, какова первая акция нашей стратегической подготовки к войне?

Флит не понял, зачем генералу понадобилось экзаменовать его по столь элементарным пунктам стратегического развертывания.

— Мобилизация водных ресурсов, разумеется.

— Как идет эта мобилизация?

— Пока отлично. Удалось вызвать всеобщее скрытое испарение и сконцентрировать облака на северном полюсе. Мы прихватили солидную толику водных возможностей наших врагов, эти ротозеи так и не спохватились, что их грабят. Сегодня утром на полюсе было скомпрессировано четырнадцать миллиардов тонн воды, то есть семьдесят процентов водных ресурсов всей планеты.

— Теперь скажите: когда мы собираемся привести эти облачные массы в движение?

— Что за вопрос, генерал! В момент объявления войны, конечно!

— Войну мы еще не объявили?

— Я отказываюсь вас понимать, генерал! Разве вы не слышали диспетчерективу? Война начинается через неделю. Еще семь дней будут сгущаться тучи на полюсе, а затем мы мощным ударом превратим войну пылевую в войну грязевую и войска противника потонут в болотах.

— В таком случае должен вам сообщить, полковник,— хладнокровно сказал Бреде,— что двадцать минут назад облачные массы на полюсе пришли в движение и в данный момент несутся на нас.

Флит, вскрикнув, кинулся к энергетическому щиту. Тут взгляд его упал на нечто еще более страшное. Основной показатель государства, косинус пси, катился вниз. Флит метнулся к щиту, где вычерчивался тангенс тэта. Тангенс тэта стоял прочно на девяноста.

— Генерал! — простонал Флит, обернув к Бреде искаженное страхом лицо.— Армия еще в ваших руках, но государство разваливается. Синхронизация общества летит ко всем...

Бреде подскочил к Флиту, схватил его за шиворот и потряс. Командующий КВВ безвольно лягнул зубами.

— Идиот! — прошипел генерал.— Ваше личное счастье, что с государством что-то случилось, иначе гамма-каратели... Включайте аварийную сигнализацию по всем каналам!

Флит кинулся к пульту.

Не прошло и секунды, как планета была оповещена, что государственный строй Верхней Диктатуры свела непонятная судорога. Бреде потащил Флита к дверям Пульта-Престола.

— Еще не все потеряно,— сказал генерал с обычной невозмутимостью.— Будем поднимать Властителя, если он уже сам не вскочил. Пусть он налаживает свою разваливающуюся синхронизацию. По-моему, произошло чудо.

— Это революция,— бормотал вконец ослабевший Флит.— К нам проникли земляне! Боже мой, теперь нам крышка! Как вы думаете, не запросить ли срочной помощи у Олигархов Демократии?

— Кретин! — только и ответил ему генерал.

5

Причиной катаклизма, потрясшего государственный строй Верхней Диктатуры, был, разумеется, Эриксен.

Сержант Беренс доказал солдатам, что вырвавшиеся у него по запарке слова об отдыхе не имеют ничего общего с его истинными намерениями. После учений взвод не шел,

а полз в казармы. Солдаты были столь измучены, что половина их отказалась от ужина. Эриксен со стоном повалился на койку. Ему пришлось хуже, чем другим,—сержант вымещал на нем злобу. Вся казарма давно храпела, а к обессиленному Эриксену сон не шел. Эриксен, охая, ворочался на койке. К нему подобрался Проктор.

— Послушай, парень,—сказал Проктор, переходя на ты, что в Верхней Диктатуре считалось серьезным проступком.— По-моему, ты все-таки чудотворец.

— Чудотворцев не существует,—вяло возразил Эриксен.

Проктор жарко зашептал:

— Не говори так, парень. Это раньше не существовало, в дикарские времена. Конечно, пока человек не овладел природой, все совершалось по естественным причинам, как бог положил. Чудеса были технически неосуществимы, вот и все. А сейчас, когда так высоко... понимаешь? Без чудес нынче просто невозможно. Мы же не дикари, чтобы обходиться без чудес.

Не дождавшись ответа, Проктор продолжал:

— Как я услышал, что сержант орет твоим голосом твои слова, я тут же смекнул, что произошло чудо.

— Нормальная телепатия,—сказал Эриксен.— Сеанс гипноза на расстоянии. Я внушил Беренсу, что надо говорить, только всего.

— Не телепатия, а чудо,—стоял на своем Проктор.— И не гипноз, частное дело двух человек, а энергетическая эманация, нарушившая структуру государства,—вот как надо толковать твой поступок, парень.

— Не понимаю вас, Проктор.

— А чего не понимать? Это же не Беренс кричит на нас, а полковник Флит орет нам голосом Беренса. А в полковнике кричит генерал Бреде, а генералом командует само Его Бессмертие. Неужели ты этого не проходил в школе? Во всех нас, сколько ни есть людей, мыслит, чувствует и командует Властитель-19, а что нам кажется, что это наши мысли, наши чувства и наши голоса, так на это у нас есть свобода воображать... будто мы... Разве не так? И ты не голос Беренса заглушил, нет. Ты заглушил в Беренсе голос Флита, то есть голос Бреде, то есть голос самого его Бессмертия... Ты голос всего государства заглушил, вот что ты сделал. А государство защищено энергетической базой в тысячу миллиардов киловатт, и все эти тысячи миллиардов киловатт ты единолично... И вот я спрашиваю тебя — разве это не чудо?

— Чего вы хотите от меня?—устало спросил Эриксен.

Проктор зашептал еще жарче:

— Сотвори опять чудо! Раз ты сержанта Беренса сумел, ты с такой же легкостью... Это же одна цепочка, пойми! Одним винтиком завладеть, вся машина в руках. Вот слушай, что я скажу. На полюсе концентрируют тучи, чтоб внезапно бросить их на врагов. Двинь эти тучи на нас. Небольшого бы дождя, понял?

— А зачем вам нужен дождик?

— Во-первых, врагов не зальет, их механизмы не потонут в болотах,— соваться к ним будет рискованно. А во-вторых, все раскиснет у нас и взглядобойные орудия застрянут,— обратно не с чем соваться... И вместо войны — пшик!

— Вы не хотите войны?

— Ты ее хочешь? Я хочу домой — одного... И чтобы все эти централизации и тотализации... Ты меня не выдашь, парень?

— Конечно, нет. К тому же я не так проницателен, как нейтринные соглядатаи, и не так жесток, как гамма-каратели.

— Станут эти важные приборы заниматься нами! У них хватает возни с приближенными Его Удивительности. Ох, Эриксен, развалить бы таким умелым чудом всю чертову иерархию, а самому в сторону! И жить, не оглядываясь на соседа, и делать, что тебе по душе, только бы это не мешало другим, и чтоб никаких войн и вражды! Подумаю, сердце замирает,— такая простота жизни!

Эриксен взгляделся в рыжего Проктора. В полусумраке казармы цвет волос не был виден, зато ясно виделось, как пылает его лицо и как сверкают глаза. Он уже не шептал, а кричал тихим криком. Эриксен с полминуты молчал, потом сказал:

— Знаете ли вы, что такой образ жизни уже осуществлен на Земле?

— И знать не хочу! Эта штука мне по душе, а где она осуществлена, мне все равно. Так сотворишь чудо?

— Я уже сказал вам: чудес не существует.

— А я повторю: мы не дикари, чтоб не верить в чудеса. Развитие науки сделало возможным любое чудо. Сотвори чудо, Эриксен!

Эриксен понял, что от странного солдата не отделаться.

— Ладно, постараюсь. А теперь давайте спать.

Проктор убрался, а к Эриксену долго не шел сон. За стеной казармы ревел ночной ураган. В казарме воздух кондиционировали, но тонкая пылевая взвесь проникала

сквозь микроскопические поры в стенах — было трудно дышать.

Эриксен лежал с открытыми глазами, но видел не казарму, а то, что было вне ее, — огромную, неласковую к человеку планету. Как его предков забросило сюда? Почему они остались здесь? Почему, нет, почему они из людей превратились в бездушные механизмы?

Эриксен задыхался, ворочался, снова и снова думал о том, о чем на Марсе думать было запрещено. И вдруг вскрикнул, такая пронзительная боль свела мозг. В голове творился сумбур: слышались чьи-то стоны и визги, поскрипывания, потрескивания, что-то словно двигалось, что-то бормотало бесстрастно: «Косинус пси — девяносто девять и пять десятых, полная синхронизация! Косинус пси — девяносто девять и пять!.. Ах! Ах! — вдруг кто-то зарыдал в мозгу. — Гоните сюда эти проклятые тучи, гоните их сюда!» Эриксен напряженно, без мыслей, вслушивался в шумы мозга, пытаясь в них разобраться, но разобраться было невозможно, их можно было лишь слушать. Тогда он стал сам размышлять, но мысли так неохотно рождались и так медленно тащились по неровным извилинам мозга, так запинались на каждой мозговой колдобине и выбоине, словно каждая тянула за собой непомерно огромный груз, изнемогая под его тяжестью. «Тучи! — трудно думал Эриксен. — Ах, да... тучи... Нет, что же?.. Тучи... Вот оно что — эти тучи!.. Ах, нет — синхронизация... Нет, куда же я? Ах, что... что со мной?..» Он вяло, словно в сумрачном полусне, полубреду, удивлялся себе: он здорово переменялся в эту ночь. Ему не нравилась перемена. Нет, раньше он мыслил легко и свободно, мысли вспыхивали, как огни, проносились стремительно, как тени, что же, нет, что же произошло? «Тучи, — все снова упрямо думал Эриксен. — Все... тучи... сюда... и маленький дождь... утром... хочу с полюса сюда... хочу!»

И когда ему удалось не додумать, а доделать эту тяжелую мысль, он, измученный, дал голове волю больше ни о чем не размышлять и тут же провалился в сон, как в пропасть.

Его разбудил шум в казарме. Солдаты вскакивали с коек, раздетые, кидались к дверям.

— Дождь! Дождь! — кричали они в восторге.

Эриксен тоже протиснулся к дверям. Лишь в древних преданиях и бабушкиных сказках он слышал о чем-то похожем на то, что сейчас разворачивалось перед ним на равнине. И, охваченный таким же восторгом, как и другие солдаты, он вопил ликующе и обалдело:

— Дождь! Дождь!

Мир стал непостижимо прозрачен. Марсианская равнина проглядывалась на многие километры. Плотные взвеси красноватой пыли, вечно заполнявшие атмосферу, были осажены водой. Постоянно ревущие ветры смолкли, и мерный шум падающей воды был так непривычно слаб сравнительно с их надрывным грохотанием, что казалось, будто в мире установилась ликующая тишина. А вверху неслись темные, плотные, ежесекундно меняющие цвет и густоту тучи, и из туч рушились сверкающие капельки воды, змейки воды, сверкающие водяные стрелы. Это был настоящий дождь, первый дождь, испытанный Эриксом в жизни. И как не переставая изливался дождь на марсианскую пустыню, так же не переставая, слив свой восторженный голос с восторженными голосами всех солдат, Эриксен орал:

— Дождь! Дождь!

И тут он услышал крик Проктора. Рыжий солдат взобрался на стол и вопил всю мощь горлового микрофона:

— Слушайте меня, солдаты! Все слушайте! Это чудо! И его сотворил солдат Эриксен! Я ночью молил Эриксона о чуде дождя, и он пообещал мне дождь. Славьте чудотворца Эриксона! Славьте чудотворца!..

Истощенный призыв Проктора потонул в реве солдатских глоток:

— Славьте чудотворца Эриксона! Славьте нашего чудотворца!

Десятки рук схватили Эриксона и подняли над толпой. Солдаты, ликуя, несли Эриксона на дождь, а Проктор все кричал:

— Молите чудотворца Эриксона о прекращении войны! Пусть он отправит нас по домам жить своей жизнью! Требуйте от нашего чудотворца Эриксона нового чуда!

И солдаты заглушали моление Проктора громом голосов:

— На волю, Эриксен! Долой войну! Отпусти нас в свою жизнь, Эриксен!

Эриксен, промокший и счастливый, оглядывал мокрых, счастливых, восторженно орущих солдат и был готов пообещать все, что они требовали.

— Вы пойдете домой! — прокричал он. — Я отпущу вас всех в ваши жизни!

Вдруг он увидел, что дождь перестает. Тучи медленно поползли назад. Только что они неслись с полюса, как сорвавшиеся с цепи разъяренные псы, а сейчас какая-то мощная сила загоняла их на полюс, как псов в конуру.

Солдаты, замолчав, тоже следили за попятным движением туч. Эриксен попытался соскользнуть на почву, но солдаты не пустили — он по-прежнему возвышался над всеми.

И он первый разглядел катящегося к ним разъяренного Беренса.

— Назад в казармы, бездельники! — издали кричал сержант. — Бунтовать надумали, пададь! Слезайте немедленно, образина! — зарычал он на Эриксена. — Это вы, мятежник, покусились на синхронизацию! Сейчас я покажу вам, чудотворец-недоделыш, что такое истинное чудо!

Он страшно сверкнул на Эриксена лазерными биноклями, но очнувшиеся от оцепенения солдаты взметнули свои оптические щиты и убийственный взгляд Беренса потерял остроту. Новый взрыв ругательств был заглушен пронзительным выкриком Проктора:

— Чуда, Эриксен! Чуда!

Солдаты разразились воплем: «Чуда, Эриксен!», и Эриксена охватило отчаяние. Короткое опьянение своей мнимой мощью мигом прошло, когда он увидел Беренса. Чуда не существовало. Что-то случайно нарушилось в чудовищном государственном механизме, выпал из гнезда какой-то винтик, образовалась зияющая энергетическая отдушина, и тучи с полюса хлынули в эту отдушину. А сейчас винтик вставлен в свое отверстие, и тысячи марсианских термоядерных станций, синхронизированные в едином порыве, гонят назад миллиарды тонн вырвавшейся на волю воды. Он не имеет отношения к этому происшествию, оно возникло и ликвидировано помимо него.

И только чтобы успокоить неистовствовавших солдат, а не потому, что он верил в себя, он взметнул вверх руки и прокричал:

— Все тучи — ко мне! Да погибнет, что мешает этому!

И тут, потрясенный, он узрел сотворенное им чудо. Тучи, отброшенные на север, неслись обратно, а на них напирали облака с юга. Вокруг быстро сгущалась тьма. Над головами солдат, в противоборствовании облачных фронтов, сверкнули молнии. Гром в разреженной марсианской атмосфере был не силен, но вспышки ослепляли, как взгляды, усиленные лазерными умножителями, — солдаты опускали на глаза квантовые забрала.

Сержант Беренс в это время яростно врубался в гущу солдат, чтоб расправиться с Эриксеном врукопашную. Проктор прокричал:

— Эриксен! Уничтожь его молнией!

Эриксен едва успел скомандовать, когда к нему простерлись хищные руки сержанта:

— Прочь! Будь уничтожен!

Сержант высоко взлетел в воздух. И еще не успел он коснуться грунта, как с бешеного неба на него низринулась река огня, а вслед ей устремились новые огненные реки. Сержант Беренс, превращенный в плазму, уже разлетался по равнине все свои атомы, а молнии все били и били в то место, где он находился в последний миг жизни.

И тогда Эриксен, охваченный страхом содеянного, прокричал тучам:

— Разойдись! Все по местам!

Он и сам не знал, какой смысл в его команде, но, очевидно, смысл имелся: напиравшие фронтами облачные массы стали вдруг распадаться. И в разрывах облаков засверкало непостижимо чистое небо, давно не виденное на Марсе ясное небо с дневными неяркими звездами и далеким неярким Солнцем.

— Свершилось! — сказал кто-то среди всеобщего восхищенного молчания.

Эриксен, по-прежнему возвышавшийся над солдатами, увидел, что из Государственной Канцелярии, находившейся неподалеку от казарм, к ним идут высшие чины государства — генерал Бреде и полковник Флит,

6

Когда Бреде с Флитом ворвались на Пульт-Престол, Властитель-19 сидел на ПП, как на лошади, потерянно сжимая волосатыми босыми ногами бока верховного государственного механизма. Проницательному Бреде, впрочем, Властитель показался похожим не на мужественного всадника, отлично управляющегося с конем, а на огромную, вспучившуюся, до полусмерти перепуганную жабу. Умный генерал утаил, какие непозволительные ассоциации являются ему на ум.

— Что случилось? — хрипло прокаркал Властитель. — Еще никогда такого не было.

— Заговор землян, Ваша Удивительность, — доложил Флит, по обязанности младшего начинавший.

— Чудо, — мрачно установил Бреде.

— Чудес не бывает, — с испугом возразил Властитель-19. У него жалко исказилось лицо.

— Вы забываете о достижениях науки, Ваше Бессмертие. Мы развилась до уровня, когда любое чудо стало технически возможно. (Бреде, разумеется, не знал, что повторяет мысль солдата Проктора).

— Это ужасно! — сказал Властитель-19, все больше

бледнея.— Ноги не ощущают государства. С ума сойти, такая небывалость!

— Косинус пси ниже ноль сорока,— сказал Флит.— И он катится вниз. Энергетические станции отбились от ваших рук.— Он посмотрел на властительные ноги девятнадцатого Синхронизатора.— Мы гибнем, Ваше Бессмертие.

— Срочно доложите: что делать? — сказал Властитель-19 генералу Бреде.— Ужас, какая удивительность!

Бреде прошелся вдоль щита с важнейшими государственными приборами, потом распахнул окно. Тучи, ринувшиеся с полюса, сгущались над резиденцией Властителя-19. Лил преступный дождь, путавший стройную схему стратегического развертывания сил. Бреде минуту вслушивался в шум антигосударственного дождя, затем, не отвечая Властителю, обратился к Флиту:

— Вот вам те недостатки, полковник, что являются обратными сторонами наших достоинств,— вы недавно настаивали, чтоб я их вам объяснил... Автоматическая синхронизация государства на личность одного человека привела к тому, что общественному механизму стало безразлично, кто его централизует и синхронизирует. Какой-то пройдоха легче вписался в нашу государственную систему, чем вы, Ваше Бессмертие, и автоматы перевели синхронизацию на него. Очаг смуты в казармах сержанта Беренса.

Властитель-19 жалобно повторил:

— Что мне делать, господа? Какую выдать диспетчерскую?

— Сосредоточьтесь на управлении,— посоветовал Бреде.— Автоматической Синхронизации вашей особы с государством больше не существует — добейтесь ее силой воли. Боритесь за власть, черт побери!

Неистовые, глубоко запавшие глаза Властителя побелели от страха. Он яростно ударил ногами в бока Пульта-Престола.

— Я попытаюсь... Я верну себе власть!

Он на глазах раздувался от напряжения. Вскоре он радостно вскрикнул, ощутив утраченный было контакт с государством. В эту минуту сержант Беренс катился колесом к взбунтовавшимся солдатам. Бреде молчаливо наблюдал, как замедляется яростный бег летящих с полюса туч и как стихает запретный дождь. Властитель-19, конечно, дурак, но хорошо дрался за Верховную Синхронизацию. Полковник Флит, обуянный восторгом, не то танцевал, не то маршировал вдоль Пульта-Престола.

— Косинус пси растет! — выкрикивал он.— Семьдесят

четыре. Восемьдесят два! Восемьдесят пять! Победа, Ваша Удивительности!

— Победа! — завершал Властитель, подпрыгивая на ПП.— Моя берет! Моя берет!

Бреде с сомнением покачал головой. В голосе Властителя-19 слышались чужие нотки. Настоящая борьба только начиналась. Неизвестный узурпатор, захвативший ночью управление государством, скоро бросит всю свою волю в пылающее горнило синхронизации. Даже отбрасывая чужака концентрированным ударом, Властитель-19 не мог отделаться от резонанса его могущественного голоса.

И когда Властитель-19, вскрикнув, вдруг стал сползать с Пульта-Престола, Бреде кинулся ему на подмогу.

— Все тучи — ко мне! — бормотал Властитель уже несомненно чужим голосом.— Да погибнут!..

— Замолчите! — отчаянно крикнул Бреде.— Безумец, вы контрастируете повеление вашего противни...

Он не успел кончить фразы, не успел поддержать рухнувшего Верховного Синхронизатора. На месте, где только что находился Властитель-19, взвился столб пламени. Впервые за многие десятилетия Пульт-Престол был пуст.

Бреде вовремя остановился, а Флит отшатнулся от мрачной туши пустого Пульта-Престола.

— Беренс распылен, — доложил Флит показания приборов.— Государство погибло. Остается пустить себе в лоб отраженный в зеркале собственный смертоносный взгляд. Боже мой, какой конец!

— До конца еще далеко! — энергично возразил Бреде.— Вызовите автоматы Охраны. То, что не удалось плохо вооруженному Беренсу, может, удастся нам.

— Правильно! — закричал Флит, лихорадочно отдавая команды приборам.— И я лично расправлюсь с этим мерзавцем, можете быть покойны! От полковника Флита еще никто не уходил живым.

Выйдя из канцелярии, генерал и полковник увидели Эриксона, восседавшего на руках солдат. До них донеслись ликующие крики толпы.

— Как условились! — зашептал Флит.— На дистанции прицельного попадания я с одного взгляда распыляю этого...

Флит исчез, не успев вскрикнуть. Рядом с Бреде кружил смерч золотисто-оранжевой плазмы. Смердная пыль сыпалась на генерала. Автоматы безопасности отнесли Бреде подальше от места гибели полковника. Генерал ошеломленно глядел на то, во что превратился его недоброжелательный, но верный помощник,

— Так, так! — сказал Бреде. — Гамма-каратели снова действуют. Ну что ж, тем лучше!

Он подошел к толпе. Эриксен сделал знак, чтобы его опустили на грунт. Солдаты стояли вокруг Эриксена двумя стенами, чтоб защитить, если генерал попытается сотворить вред их чудотворцу. Но Бреде преклонил перед Эриксеном колени и провозгласил:

— Да здравствует Властитель-20! Рапортую, Ваше Бессмертие: еще ни разу наше государство не было так тотально синхронизировано, как это сумели сделать вы, Ваша Удивительность! Слава Властителю-20!

Бледный Эриксен смотрел на Бреде круглыми глазами. Солдаты безмолвствовали. Бреде, не поднимаясь, закричал:

— На колени, болваны! Слава новому Властителю-20!

Один за другим солдаты опускались на колени. Последним склонился Проктор. Временно заколебавшийся государственный механизм снова функционировал.

— Разрешите, Ваше Бессмертие, возвести вас на Пульт-Престол, — сказал Бреде, вставая с колен. — Я познакомлю вас с тайнами управления нашей несокрушимой Верхней Диктатуры.

Эриксен безвольно сделал шаг вперед. Он услышал шепот Проктора, но не остановился.

— Я думал, ты чудотворец, а ты — Властитель, — горько сказал Проктор вслед Эриксену.

Лишь на ступеньках Государственной Канцелярии Эриксен обернулся. Солдаты молчаливо расходились. Проктора в их толпе Эриксен не разглядел. Проктора больше не существовало.

После осмотра аппаратуры централизации общественной жизни Эриксен прислонился к Пульту-Престолу. Вокруг ПП теснились высшие чины Верхней Диктатуры, явившиеся на поклон к новому владыке.

— Итак, по-вашему, переворот сошел отлично? — спросил Эриксен Бреде.

— Превосходно, Ваша Удивительность! Погибло несколько дураков и нахалов, но государство вышло из кризиса крепче, чем было до него. И то, что оно само отыскало вас и сделало центром Тотальной Синхронизации, делает государству честь. Отныне уроженец Бриллиантового тупика...

— Тупик, где я родился, называется Вшивым, генерал.

— Полчаса назад он переименован в Бриллиантовый. В данный момент в нем устанавливают вашу статую. Итак, я осмелюсь утверждать...

— Я хочу попросить одного разъяснения,— сказал Эриксен.— Вы, конечно, понимаете, что меня, как новичка в управлении, больше всего интересует, достаточно ли прочен тот государственный организм, нервным центром которого я... так сказать... избран... Откуда ждать опасностей? Вы меня понимаете, Бреде?

Генерал отвечал с военной четкостью:

— Только четыре причины могут разрушить Тотальную Синхронизацию — удар извне, восстание подданных, бонапартистский переворот и технологический распад системы.

— Я хочу подробнее услышать о действии этих разрушительных причин. Мне кажется, их многовато, чтобы быть спокойным.

— Удар извне. Его может нанести либо Земля, либо Нижняя Олигархия. Земляне кичатся тем, что общество их живет лишь для счастья своих сограждан и что во внутренние дела других планет они не вмешиваются. Что до Нижней Олигархии, то военный потенциал ее ниже нашего. Думаю, о восстании подданных в нашем обществе тоже говорить не приходится. Что же касается... гм... вашего особого случая, то ожидать повторения... Нужно, так сказать, обладать вашей гениальностью, и даже высшей, чем ваша, ибо вы уже...

— Справедливо. Теперь причина технологическая.

— Она наименее вероятна. Наша государственная система развалится, если автоматы управления начнут уничтожать друг друга взаимно. Пока мозг Верховного Синхронизатора концентрирует управление в себе, опасности этой нет. Ну, а приказывать саморазвал, то есть вызвать мгновенный чудовищный взрыв, никакой Властитель не станет, ибо это равносильно самоубийству.

— Что ж, и это логично,— проговорил Эриксен.— Я думаю, Проктор был бы доволен.

— Проктор? Что вы хотите этим сказать, Ваша Удивительность?..

— Я хочу сказать, что Властитель-20 начинает свою Эру Синхронизации.

И прежде чем ошеломленные сановники успели вмешаться, Эриксен вскочил на Пульт-Престол, широко простер над ним руки. О том, что произошло вслед за этим, никто из них не сумел поведать миру, ибо их уже не было. Самому же Эриксену какую-то миллионную долю секунды казалось, что он в сияющих одеждах и в славе возносится в заоблачные высоты. А еще через доли секунды миллиарды атомов его тела сияющим плазменным облачком разносились по освобожденной планете.



Геннадий Николаев

Белый камень Эрдени

ПОВЕСТЬ

Глава первая, рассказанная Виталием Кругликовым, начальником акустической лаборатории

Я никогда не вру — это один из моих главных принципов. Жить с принципами, по-моему, куда легче. Чем больше принципов, тем лучше: один принцип вытесняет другой, и в результате вы никогда не попадете в безвыходное положение. У меня принципов много, жизнь постоянно обновляет и совершенствует их. Изобретение принципов — мое хобби.

Я люблю свою работу, люблю ковыряться в звуковой аппаратуре, извлекать из нее различные комбинации звуков. Люблю свою семью: жену Ирину и сына Александра. Люблю вкусно поесть, побольше и пожирнее — этакie большие, громоздкие блюда, вроде бифштекса с яйцом и жареным картофелем или мясное филе под соусом с грибами, а на ужин — горку блинов с топленым маслом или

тарелочки три-четыре оладьев со сметаной и смородиновым вареньем. Люблю почитать на сон грядущий какой-нибудь детективчик или просто полежать, глядя в телевизор или размышляя о космосе. Мой вес при росте сто пятьдесят восемь сантиметров сто двадцать пять килограммов,— представляете, какой я? В поперечнике я почти такой же, как и в высоту, и это, по мнению жены, самый главный мой недостаток. От себя добавлю: и единственный, потому что других просто-напросто нет.

Итак, начну с начала. Мы встречали Новый год. Собрались у нас, в нашей просторной квартире. Пришло человек десять: мои товарищи по работе, звуковики, и подруги Ирины, врачи со своими мужьями. Все было, как всегда, хорошо: сытно и вкусно, э-э, то есть весело и интересно. Я почти не пил (принцип: береги нейроны!), нажимал в основном на холодец, индейку, пирог с черемухой, блинчики с мясом (великое изобретение человечества!). А в промежутках проигрывал гостям магнитофонные записи, их у меня великое множество: от Лещенко и Шаляпина до поп-музыки и песен Высоцкого.

У каждого свой «пунктик», как говорит жена; у меня — принципы и магнитофон, у жены — турпоходы. На этих двух основах возник наш коллективный «пунктик» — записывать на пленку все, что происходит с нами в походах: мое сопение и ворчание, ибо больше всего в жизни я не люблю турпоходы, и блаженненький от счастья голос жены, ее бодряческие выкрики, команды, ахи-охи, треск костра и пение птиц. И вот одна из этих пленок подвернулась под руку. Я сразу понял, что это такое, и хотел снять, но Ирина рысью кинулась к магнитофону и включила воспроизведение. «Вот,— закричала она,— послушайте! Поет сама природа!» Конечно, ничего особенного там не было: стук дятла, посвистывание птиц, разговоры с бурятами, бурятские песни, похожие на раздумья вслух, ржание лошади. На второй дорожке та же самая канитель: тягучие рассказы охотника, ночная тишина и — в течение пятнадцати минут — странный мелодичный звук, напоминавший гудение проводов, но более многозвучный и объемный. Попал он к нам на пленку случайно — ночью, засыпая, мы забыли выключить магнитофон. Еще там, в долине, за Икатским хребтом, где мы тогда стояли, эта запись вызвала у меня жуткое ощущение: будто я сижу в клетке, а кто-то, невидимый, дразнит меня, стараясь, чтобы я зарычал и заметался от ярости. Еще тогда я хотел стереть ее ко всем чертям, но Ирина горячо воспротивилась, сказав, что этот звук что-то пробуждает в ней — то ли мысли, то ли

чувства. Во мне же, кроме зубовой ломоты да этой странной злости, он ничего не вызывал.

На гостей запись тоже произвела действие: они притихли, насупились, перестали пить и есть и вскоре топорливо, один за другим, разошлись по домам. Лишь мой добрый друг и сотрудник Янис Клаускис, командированный из Риги, да подружка его, Зоя, медсестра из поликлиники, где работает Ирина, задержались дольше других. Янис неподвижно сидел за столом, как манекен, вытянув тонкую шею и заглядывая в блюдо со сладкими пирожками. Зоя в прихожей, уже одетая, ждала своего кавалера, но Янис не замечал, что остался один и что его ждут. Я потряс его за плечи — он вздрогнул, бледное лицо перекосилось, словно он схватился за фазу двести двадцать вольт: увидев меня, он отпрянул и вместе со стулом повалился навзничь. Я протянул к нему руки, намереваясь помочь ему подняться, — он отпрыгнул еще дальше и, вдруг опомнившись, глухо рассмеялся. Бледный и потный, он сел на тахту.

— Ты что, Янис? — прошептал я. — Что с тобой?

Он помахал расслабленной рукой и прижал палец к губам:

— Тс-с... Молчок, а то Зоя начнет лечить. — Он хихикнул и поманил меня: — Послушай, Витя, где ты записал это?

Большие серые глаза его прыгали с предмета на предмет и не могли остановиться. Я протянул ему пирожок с повидлом и взял себе, потому что у меня принцип: разволновался — чего-нибудь съешь. Я съел пять пирожков, пока Янис мусолил один. Я думал, что он забыл про звук, но Янис, проглотив последний кусочек, снова спросил:

— Послушай, Витя, где ты записал этот звук?

Звук был записан на стоянке в высокогорной долине северных отрогов Икатского хребта, тянувшегося вдоль восточного побережья Байкала. Ирина, сразу загоровшаяся идеей новых турпоходов, принесла нашу исчерканную десятикилометровку, я показал примерно место, где мы тогда стояли. Янис долго всматривался в густо-коричневые пятнышки, из которых слагался хребет, в синие извилистые линии рек и светлые полосы долин. Мне казалось, что он уснул и спит себе с открытыми глазами, а мы, как чудаки, стоим вокруг и, стараясь перекрычать друг друга, доказываем на все лады, как там было плохо (это я) и как там было великолепно (Ирина). Но вот он отложил карту и сказал, кивнув на магнитофон:

— Заверните, возьму до завтра.

Не знаю почему, но мне очень хотелось, чтобы он взял эту пленку, Ирина же вдруг заупрямилась, стала говорить, что пленка уникальная, что отдавать ее преступление — только переписать. Мне показалось, что и она, и я (и бедняга Клаускис, и застенчивая Зоя — все в ту ночь были малость не в себе. Обычно я не тороплюсь высказывать свое мнение — будь то хоть самый большой начальник или даже жена, — я считаю, что так легче оставаться принципиальным, но на этот раз словно какой-то бес вселился в меня: я молча взял магнитофон, завернул его в новый яркий плед и подал Янису. Ирина закусил губы, но ссориться со мной не стала, не знаю уж из каких соображений. Янис жадно схватил магнитофон, быстро оделся и юркнул в дверь перед расстроенной, обескураженной Зоей. Я съел пару пирожных и остатки холодца и завалился спать. Ирина со мной не разговаривала, поэтому я тотчас уснул.

На рассвете меня разбудил телефонный звонок. Звонил вахтер института, жаловался, что какой-то пьяный колотит в дверь, требует, чтобы пустили, говорит, что позарез надо в акустическую лабораторию (в ту самую, где я являюсь начальником). А по инструкции в праздничные дни туда категорически запрещено впускать. Я велел узнать фамилию нарушителя. Вахтер долго перекрикивался у закрытой двери, наконец сообщил: «То ли кис-кис, то ли кас-кас, шут его знает, не разберешь». — «Клаускис!» — воскликнул я. «Во-во», — подтвердил вахтер и добавил, что этот самый Кас-кис грозитя, что разобьет окно, а все равно проникнет в лабораторию. Я сказал вахтеру, чтобы выполнял инструкцию: раз написано никого не впускать, значит, никого и точка. Но не успел я заснуть, как снова зазвонил телефон. Вахтер криком доложил, что из акустической лаборатории доносятся «всякие» звуки, от которых волосы встают дыбом. Я сказал, что выхожу, и начал быстро одеваться.

Когда мы с вахтером подошли к лаборатории, то никаких «всяких» звуков не было. Вахтер шепотом побожился, что звуки были, что до сих пор не опомнился и что кожа еще топорщится. Я открыл дверь. Янис был там. Сognувшись под тяжестью, он тащил из дальнего конца лаборатории анализатор спектра. Макетный стол, на котором мы обычно собирали схемы, был заставлен приборами. Стекло в одном из окон было разбито. Янис поставил анализатор на стол и невозмутимо принялся расставлять динамики стереофонического звучания. Вахтер начал шуметь и требовать немедленного составления акта, вызова милиции и так далее, но я, попросив его удалиться на свой пост, подо-

шел к Янису. Он почти рухнул на стул. Все это казалось более чем странным. Клаускис сидел, понуро ссутулившись, поддерживая голову тонкими руками. Он вдруг затрясся как в ознобе и уставился на меня своими тоскливыми глазами.

— Что ты собираешься делать, дружище? — как можно мягче спросил я. — Пойми, я начальник, отвечаю за лабораторию и должен знать.

Он согласно кивнул. Я ждал. Дрожь порывами охватывала его, и он изо всех сил сжимал свои маленькие, как у мальчика, кулаки. Я подумал, что неплохо бы увести его домой. Оставлять его в лаборатории в таком состоянии было нельзя.

— Твоя пленка — музыка, — начал он, с трудом подбирая слова. — Я должен ее проверить. Анализатор, — он ткнул в большой массивный прибор, — понимаешь? — И быстро-быстро произнес что-то по-латышски, но тут же виновато взглянул на меня и сказал по-русски: — Этот звук — загадка, он сделан как по лекалу. Там, внутри, что-то есть.

— Где внутри? — спросил я.

— Внутри звука. Там, в глубине. — Он зажмурился, мечтательно улыбнулся, и снова его губы искривились. — Давай вместе. Разреш! Прошу.

— Ты хочешь разложить звук по частоте? — уточнил я.

— Да, да. Это очень сложный звук. Не могу понять, как он сделан. То есть из каких простых звуков он состоит.

— Думаешь, он сделан?

— О! Я знаю звук, чувствую на вкус.

Он смотрел умоляюще, и я не выдержал: сбросив пальто, пошел к шкафу и включил рубильник. Признаться, меня самого сильно заинтересовал весь этот бред.

Клаускис тотчас, как только вспыхнули лампочки, занялся схемой предстоящих испытаний. Покачиваясь, бормоча что-то на родном языке, он торопливо соединял провода, ощупывал их вздрагивающими пальцами, словно не доверял глазам. Он блестяще разбирался в аппаратуре. Не прошло и минуты, как мощные динамики ожили, раздался ровный несильный шум, который на языке радистов называется фоном. Клаускис быстро «погасил» его несколькими поворотами рукоятки. Сделалось тихо, но тишина эта была не безмятежной, какой она бывает, скажем, в зимнем лесу или в глубоком подземелье, а напряженной, как в испытательном зале высоковольтной аппаратуры перед ударом искусственной молнии. Это особое состояние тишины объяснялось, видимо, тем, что динами-

ки все-таки жили, их могучие диффузоры едва заметно колебали воздух, и эти колебания вызывали ощущение напряженности и тревоги.

Клаускис ждал, пока прогреются приборы. Теперь он был совершенно спокойным. Его огромный лоб казался круглым и белым, темно-русые волосы гладко зачесаны назад. Я был знаком с ним лет десять и любил его искренне, как доброго, верного друга. Сейчас же, не знаю почему, он раздражал меня. Я отвернулся к окну. При первом взгляде оно показалось мне глубокого черного тона, но чем дольше я в него глядел, тем все более прозрачным, синеющим становился за ним мрак. Там, внизу, в двухстах метрах, текла Ангара, не замерзающая даже в самые лютые морозы,— черная, быстрая, окутанная густым туманом. Я чувствовал, что в этом что-то есть: материал, основа для выработки новых жизненных принципов...

Зазвучала эта адская музыка. От первых же звуков меня передернуло,— вахтер довольно точно передал ощущение: затопорщилась кожа. К концу «сеанса», кроме отворачивания к звукам, я почувствовал неприязнь лично к Янису Клаускису...

Янис перемотал пленку, перестроил схему и снова включил магнитофон. Он торопился, движения его были быстрыми, но точными. Лицо бледно, неподвижно, сосредоточенно.

Вдруг взвыли сто сирен на разных звуковых частотах. Мне показалось, будто я заскользил куда-то вниз, в какую-то пропасть. Полет был настолько стремителен, а чувство безвозвратности падения настолько остро, что, помню, у меня вдруг потемнело в глазах и я застонал от ужаса. Я смотрел на Яниса, на его тонкую, как бы призрачную, шею, и мне казалось, что единственное мое спасение... Говорить об этом, честное слово, противно, но не умею кривить душой, скажу: мне казалось, что единственное мое спасение — стиснуть изо всех сил его горло... Я приподнялся уже, но тут музыка оборвалась.

Клаускис сидел с закрытыми глазами и белым искаженным лицом. Я с трудом повернул голову — за окном разливался синий зимний рассвет. С Ангара, покачиваясь, клубами полз туман. Я хотел потормозить Клаускиса, но не мог поднять руки. Я просто сидел и тупо смотрел перед собой.

Клаускис застонал, упав грудью на стол, потянулся к магнитофону, перемотал пленку, изменил схему и снова

включил воспроизведение. Все внутри меня противилось продолжению эксперимента. И в то же время что-то тайное, темное жадно, нетерпеливо ожидало начала музыки. Я еще ближе придвинулся к Янису...

Теперь мне показалось, будто меня сразу же, грубо, бесцеремонно зашвырнули в какую-то узкую бездонную щель, и я, пролетев уйму времени, застрял в ней, как клин. Но и это ощущение было неточным: оказывается, я не остановился, а, как мыло, вгонялся в щель все глубже и глубже, и этой щели не было конца. И вдруг возле себя, буквально внутри стены, я увидел чье-то расплющенное лицо и безумно ненавистное тонкое горло. Из последних сил я дотянулся до него, обхватил слабыми негнушимися пальцами и, содрогаясь, стал давить, давить, давить...

Очнулся я на полу. Яркий дневной свет слепил глаза. Раскалывалась голова, ныло все тело и сосало под ложечкой, словно я не ел два часа. Прошло еще какое-то время, — сколько, не знаю, — прежде чем я смог приподняться и сесть. Янис Клаускис лежал неподвижно, раскинув руки со сжатыми кулаками. Казалось, что он не дышит. Я дотянулся до него и стал щупать пульс. Сердце работало едва-едва, с перебоями. Я подполз ближе и стал делать ему массаж. Вскоре он очнулся. Слава богу, в кармане пальто нашлась пачка печенья, и я малость подкрепился, иначе не знаю, сидел ли бы я сейчас перед вами...

Глава вторая, рассказанная супругой Виталия Кругликова, Ириной, врачом-терапевтом районной поликлиники

Теперь вы понимаете, что это за человек, мой муж? Если бы не я, уже давно наука потеряла бы еще одного исследователя, потому что Кругликов не смог бы пролезть ни через одну дверь. По современным взглядам, надо нагружать организм физической нагрузкой, уменьшать нервную и не допускать стрессов. Лучшее средство для закаливания — турпоходы. Я — за туризм! За походы, за рюкзаки, греблю, умеренную пищу и закаливание. А посему, когда случилась эта страшная новогодняя история с Виталием и Янисом, я сразу сказала: «Вот, мои дорогие, чем кончаются ваши «пунктики». Летом пойдем в турпоход в то самое место и слушайте там «голос гор» сколько хотите». В отличие от Виталия, я не бросаю слов на ветер, и в марте, когда Янис вышел из больницы (три месяца провалялся в нервной клинике), я собрала всех у нас дома, то есть Виталия, Яниса и Зою, и сказала им: «Ну, милые мои,

хотите — плачьте, хотите — смейтесь, а с завтрашнего дня извольте начинать тренировки. Сбор ровно в шесть ноль-ноль. Иметь при себе рюкзак, набитый кирпичами, штурмовку, турботинки, альпинистский шток. Будем ходить, будем лазать. Гор нет,— полезем на деревья». Почти четыре месяца гоняла я эту гоп-команду. Виталий похудел на два килограмма и сильно переживал из-за этого. Янис, наоборот, поправился на два. Зоя посвежела, загорела, перестала чихать. Я истрепала свои последние нервы, стала принимать элениум и корвалол. Слава богу, нашего Сашеньку, сына, на все лето взяла к себе бабушка, а то не знаю, что бы я делала. В конце июня наступил наконец долгожданный день, когда мы начали паковать.

Не буду рассказывать, с какими трудностями мы выбирались из города, как ни один таксист не хотел нас брать, как долго и мучительно мы шли пешком через весь город, поддерживая с боков шатающегося Виталия, у которого вдруг одна нога оказалась короче другой (никогда в жизни не было такого!), как буквально ползком взобрались на борт теплохода и рухнули на верхней палубе, чуть живые от изнеможения. Не стоит говорить также и о том, как перегружались в порту Байкал с теплохода на легендарный «Комсомолец», как потом плыли двое с половиной суток и Виталия невозможно было выгнать из ресторана и буфета. Наконец мы выгрузились в Усть-Баргузине, и это был наш первый привал.

На другое утро в шесть ноль-ноль я подняла всех звонком пустого котелка — проводник с лошадей и собакой ждал у дороги. Все рюкзаки, кроме моего, погрузили на бедную лошадь, я несла свой рюкзак сама, потому что люблю физическую нагрузку.

Два дня мы шли вдоль берега реки, по узкой тропке, через глухую тайгу. Нас кусали комары и донимала мошка. Больше всех страдал Виталий (за счет большей площади открытого для укусов тела). Мы все жалели его и старались подбодрить, как могли. На третьи сутки пути мы вышли из лесу и, потрясенные, остановились. Перед нами расстилалась ровная, вся желтая от лютиков долина. Впереди, казалось, в нескольких шагах, вздымались горы. Они стояли перед нами и были так близко, что для того, чтобы взглянуть на их белоснежные вершины, приходилось закрывать голову.

Нас вел Василий Харитонович Мунконов, старый бурят, низенький, шуплый, с веселыми глазами, в которых удивительно смешивались два его качества: добродушие и хитрость. За ним, мотая головой и взмахами хвоста отгоняя

паутов, вышагивал приземистый грязно-белый конь по кличке Лоб-Саган, нагруженный рюкзаками. Впереди, колыша траву, трусил лохматый пес Хара, что по-бурятски означало «черный». Мы, четверо, вытянувшись цепочкой, шли друг за другом, отмахиваясь от комаров березовыми ветками.

Начался долгий мучительный подъем. Бедная лошадь... Сколь терпеливо и многострадально это животное! Сначала Виталий держался за подпругу, потом за хвост, в конце концов на одной из площадок мы обвязали его веревками, и наш коняга, напрягаясь из последних сил, волоком перетягивал Виталия с уступа на уступ. Наконец мы достигли перевала. Вершины хребта скрывал густой туман. Воздух был холоден и насыщен водяной пылью. Одежда наша быстро отсырела. Камни, мох, корявые низкорослые листовенницы — все было сырое, холодное, серое. Лошадь боязливо жалась к нам, всхрапывала — от ее мокрой шерсти шел пар. Хара, как только мы остановились, лег, свернулся калачиком и прикрыл нос кончиком хвоста. Виталий хотел передохнуть и подкрепиться, но Василий Харитонович, обычно соглашавшийся с нами, решительно затряс рысью шапкой:

— Не, не, не. Пошли. Перевал — бэрхэ, трудный Горняшка сорвется, раскачает сардык — девять дней, девять ночей будет дуть. Ох, плохо будет.

И мы пошли вниз, в долину, по чуть приметной тропке, которую каким-то чудом различал Лоб-Саган. Заночевать пришлось на узкой скалистой площадке, более-менее ровной, пологой и гладкой, так что не надо было расчищать ее от камней и привязывать вещи. Все мы ужасно измотались, устали до тошноты, до синих мух перед глазами. Даже Василий Харитонович заметно сдал: его бронзовое лицо осунулось, глаза совсем спрятались за припухшими веками, он часто снимал свою мохнатую шапку и рукавом телогрейки вытирал голую, как яйцо, голову.

Спали не раздеваясь, не разводя огня. Конь по знаку Василия Харитоновича лег на бок, спиной к стене. Старик примостился возле него, укрыв себя и лошадь овчинным тулупом, Хара устроился у него в ногах.

Утро пришло молочно-белым туманом, далеким призрачным звоном горного воздуха, розовыми, зелеными просветами среди низко плывущих облаков. Сзади, над перевалом, полыхало белое сияние — там был восток. Свет расширялся, охватывал все небо — туман редел, рассеивался, катился вниз, цепляясь за скалы, устремляясь в распадки и долины. И вот черная зубчатая вершина

хребта встала перед нами, глухая и зловещая, как тюремная стена. Пока мы собирались, солнце поднялось, и снежные пики, вздымавшиеся далеко впереди, засияли нестерпимым блеском. Отраженный свет от снежников осветил наш склон, и мы пошли вниз по гигантской винтовой линии, шаг за шагом спускаясь все ниже и ниже.

Мы чуть было не прошли то место, где стояли в прошлом году. Янис первый сбросил рюкзак и торжественно сообщил, что мы пришли. Виталий, сверившись с картой, удивился. Да, сомнений не было, я тоже узнала место: просторная долина, в центре — круглая, почти правильной формы чаша, заполненная водой; от озера вверх по склонам темным кольцом расходится лес. Там, где мы стояли, простиралась ровная безлесая площадка, в середине которой возвышалась скала, похожая на всадника, слившегося с конем и вместе с ним увязшего в земле. Я взяла бинокль и стала внимательно рассматривать противоположный берег озера. Помнится, там должна быть пещера, и действительно, вскоре я обнаружила среди глыб и корневищ черный вход. Мы все по очереди разглядывали его в бинокль, и у меня возникло какое-то острое щемящее чувство — тоски, грусти страха, — как будто там прячется что-то загадочное и страшное.

Надо было спешить, до заката оставалось совсем немного, солнце уже лежало на вершине западного хребта, — еще час-полтора и долину затянет туманом, вместе с которым придет ночь.

Мы быстро натянули две палатки. На старом кострище поставили таганок, развели костер. Дров было много: кругом торчали сухостоины, на опушке леса полно было ваlejника.

Василий Харитонович съездил за водой, разнуздал Лоб-Сагана, пустил пастись. Мы с Виталием приготовили ужин. Янис и Зоя распаковали аппаратуру, проверили, не повредилась ли она, и разнесли пеленгаторы друг от друга, чтобы в случае появления звука можно было запеленговать источник. Василий Харитонович с любопытством разглядывал приборы, осторожно трогал хромированные рукоятки и восторженно цокал языком. Хара тоже совал везде свой нос и довольно покачивал хвостом. Потом Виталий и Янис принялись надувать матрацы. Василий Харитонович посмотрел, как они от натуги таращат глаза, засмеялся и пошел небольшим серпиком косить траву себе на подстилку. Хара не отставал от него ни на шаг.

Солнце спряталось за хребет, от озера пополз туман,

Вскоре все вокруг затянуло серой влажной мглой, настолько густой, что не видно было вытянутой руки. Мужчины разожгли второй костер — для света и тепла, перед палатками стало уютнее. В круг света вошел Лоб-Саган и остановился, понуро опустив голову, прикрыв глаза и чутко поводя острыми ушами. Хара улегся между кострами, на самом теплом месте, — глаза его сверкали, как лезвия бритвы. Поужинав, мы долго сидели у огня, изредка перебрасываясь словами, потягивая из кружек горячий душистый напиток — настой из смородиновых листьев, каких-то трав и зеленого чая.

Внезапно туман рассеялся. Легкое дуновение пришло от озера. Над нами открылось ясное ночное небо. В первое мгновение, когда раздался этот звук, мне показалось, будто загудели звезды, мерцающие над нами в вышине. Я не успела понять, что случилось, как Янис уже был на ногах — он бросился к правому пеленгатору. Виталий, заворчав, ушел к левому. Не знаю, как Зоя, а я никак не могла сообразить, что должна делать, хотя во время тренировок Янис по двадцать раз повторял нам наши действия в случае появления звука. Наконец я опомнилась, схватила фонарик, висевший на палатке, и побежала к Янису. Зоя отправилась к Виталию.

Подсвечивая фонариком, Янис поворачивал пеленгатор, определяя по стрелке прибора, в каком направлении звук имеет наибольшую силу. Я направила на прибор свой фонарик, — Янис кивнул и пробормотал, что, как он и предполагал, источник находится в озере. Я следила за стрелкой, — она отклонилась от нуля и, как Янис ни вращал пеленгатор, стояла почти неподвижно. Янис сказал шепотом, что источник не имеет четко очерченных границ, а расплывчат, словно разлит по поверхности. И все же главное направление угадывалось: стрелка прибора начинала чуть подрагивать в слабом стремлении отклониться еще дальше, то есть в этом направлении прощупывался максимум звука. Мне казалось, будто дрожит не только стрелка, но и сам прибор — все вокруг: земля, горы, небо, звезды. Но что самое странное — я вдруг ощутила какое-то смутное волнение, как бы легкая волна злости прокатилась через меня, мне даже захотелось стукнуть Яниса и броситься — о, вот это самое удивительное! — броситься в пещеру на противоположном берегу озера.

Звук прекратился, и мы молча вернулись к костру. Зоя и Василий Харитонович были здесь. Виталий долго не появлялся, потом пришел мрачный, какой-то подавленный, с исцарапанным лицом. Пряча от меня глаза, он наложил

себе огромную порцию каши с тушенкой (это после ужина-то!) и уполз в палатку.

Костер почти прогорел, но странно — как-то светлее, прозрачнее стало в долине: отчетливо проступили из темноты контуры скалы-всадника, вдали обозначился лес, сквозь него слабым светом мерцала вода. Василий Харитонович сидел, подложив под себя ноги и держа обеими руками кружку с чаем.

— Луна,— сказал он, повернув вверх лицо.

Только тут я заметила, что над восточным хребтом сиял краешек восходящей луны.

— Газар-хёдёлхё,— произнес старик и, как бы соглашаясь с кем-то, покивал головой.— Наран-батор дрожит, луну видит.

— Что он сказал?— насторожился Клаускис.

Старик повернулся лицом к скале и, сняв шапку, показал ею:

— Наран-батор на быстром бегунце дрожит, от земли оторваться хочет.

— Что это значит? — спросил Янис.

— Старики так говорят. Я внук моего деда, дед внук своего деда, тот дед внук третьего деда — тот дед передавал от своего деда. Вот какие старики говорят.— Василий Харитонович, улыбаясь, смотрел на огонь. Его прищуренные глаза блестели.

— Вы знаете сказку про эту скалу? — спросила я.

Старик пожал плечами и, нахлобучив шапку, отпил чаю.

— По-вашему — сказка, по-нашему — давным-давняя жизнь,— сказал он.

— А вы слышали звук? — спросил Янис.

Старик кивнул и после молчания сказал:

— Это играл хур дочери западного тэнгэрина, доброго небесного духа. У нее странное имя, люди называли ее просто Тэнгэрин Басаган, дочь тэнгэрина.

— Я не понимаю, о чем он говорит,— с болезненной гримасой сказал Янис.— Что такое «хур»?

— Что такое «скрипка»? — сказал старик.— Хур — это наша скрипка. Тэнгэрин Басаган имела хур из серебра боржи, из чеканного серебра, белого, как снег сардыка, чистого, как дыхание Тэнгэрин Басаган.

Янис нетерпеливо задвигался, я жестом предупредила его, чтобы потерпел с вопросами, иначе старик выйдет из настроения и потом не дождешься, когда ему снова захочется говорить.

Старик долго сидел молча, отхлебывая остывший чай.

Казалось, что он так и не заговорит, но он вдруг вскинул голову, улыбаясь посмотрел на небо, усыпанное яркими звездами, и начал задумчиво, тихо, неторопливо.

Глава третья, рассказанная Василием Харионовичем Мунконовым, проводником и сказочником

— Прежде-прежде, в прежние счастливые времена жил на восточной стороне, в местности Хонин-Хотон, в стране, высохшей и выдутой ветром, в той стране туманной, в которой люди блуждают, жил человек по имени Хоредой. Жил он с женой Алма-Хатан, женщиной доброй, но бесплодной, как высохшая шкура изюбра. Много у них было скота и добра всякого, но не было у них ни сына, ни дочери. Вот так они долго и скучно жили. Жена Хоредоя Алма-Хатан стала как-то больная и слабая. Тогда берет она материнское желтое священное писание и читает в нем, что будет у них в западной стороне, в месте, куда упадет смешивающий тысячу веков белый камень Эрдени, сын Наран-батор, простой, слабый человек. Узнал об этом Хоредой, сел перед юртой и сидит. День сидит, два сидит, девять дней сидит. На десятый день встал Хоредой, вошел в юрту к жене Алма-Хатан и говорит:

— Западные добрые тэнгэрины велят мне ехать на западную сторону, в место, куда упадет смешивающий тысячу веков белый камень Эрдени, чтобы взять там сына Наран-батора.

— Думано правдиво и говорено верно,— говорит больная жена Алма-Хатан и подает Хоредою красношелковые поводья.

Вышел Хоредой из юрты, поймал своего чубарого коня, положил на него холщовый потник, оседлал деревянным седлом и, взяв в руки красношелковые поводья, сел на коня и поехал прямо на западную сторону, в место, куда упадет смешивающий тысячу веков белый камень Эрдени.

Спустился Хоредой по ту сторону гор, в долину белого озера. Подъехал и видит: лежит в траве белосеребряный, светящийся днем и горящий ночью, смешивающий тысячу веков белый камень Эрдени. Взял его Хоредой и начал грызть на левых коренных зубах. И вдруг небо покрылось облаками, пошел кровавый дождь, каменный град посыпался, после этого пошел большой снег, который упал до нижних сучков деревьев. Снова взял Хоредой смешивающий тысячу веков белый камень Эрдени и стал грызть на

правых коренных зубах. Тогда небо вдруг очистилось от облаков и стало очень жарко; снег скоро весь растаял. Взял белый камень Эрдени Хоредой и в третий раз стал грызть его передними зубами. Тогда белое озеро заволновалось, белосеребряные барашки пошли туда-сюда, волны поднялись до верхнего неба, ямы опустились до нижней земли. Взмахнул Хоредой белым камнем Эрдени, рассек белое озеро по самой высокой волне и видит: на дне лежит сын Наран-батор, простой слабый человек, и плачет. Прыгнул Хоредой на своем чубаром коне на самое дно, взял сына Наран-батора и выскочил обратно. Сошлись волны на белом озере, и снова все стало тихо и спокойно, как прежде.

Привез Хоредой сына Наран-батора в свою юрту. Поправилась Алма-Хатан, и зажили они счастливо, втроем, в восточной стороне.

— Одинокий мужчина счастливым не делается, одна головня огнем не делается! — так сказал Наран-батор однажды.

Тогда с утреннего красного солнца начиная, достает мать Алма-Хатан материнское желтое священное писание и расстилает от дверей до противоположной стены. Так разостлав, она читает. Тогда вычитывается ей, что прямо на западной стороне, в местности далекой, за высокой горой, опускается с верхнего неба купаться в том же самом белом озере девица с диковинным именем, с именем не нашим, а попросту Тэнгэрин Басаган, дочь западного доброго духа. Она и есть суженая Наран-батора на девять дней и девять ночей.

После этого Алма-Хатан складывает священное писание и кладет на прежнее место.

Тогда берет Наран-батор чубарого быстрого бегунца, седлает серебряным седлом и, взяв в руки прекрасные шелковые поводья, привязывает к серебряной коновязи — горстью травы кормит, чашкой воды поит. Так приготовив чубарого быстрого бегунца, беглым шагом входит в юрту. Мать ставит золотой стол, вкусной пищей угощает, потом ставит серебряный стол, действительно вкусной пищей угощает и наливает крепкое вино. Наевшись досыта, встает и начинает одеваться, повертываясь во все стороны перед зеркалом величиной с двери. Потом надевает шелковую шубу, которую носит в летнюю пору, сто восемь пуговиц безошибочно застегивает, сверху надевает шелковую шубу, которую носит в зимнее время; ни пылинки на нем не оказывается. Туго ремнем подпоясывается, надевает на голову лисью шапку и беглым шагом выходит на улицу.

У серебряной коновязи отвязывает прекрасный шелковый повод, ногу ставит в золото-серебряное стремя и садится на чубарого коня.

Так он поехал прямо в западную сторону, в местность далекую, за высокой горой, к белому озеру, из которого вышел и в котором купается дочь Тэнгэрина, девица с диковинным именем, а попросту Тэнгэрин Басаган. Так поехал он, пыля и туманя; через десять падей ровно рысил, через двадцать падей не кривя рысил. Когда на небе стоял день, то он рысил до тех пор, пока на небе не настанет ночь; когда на небе стояла ночь, то он рысил до тех пор, пока на небе не настанет день. В жаркие дни без питья ехал, в темную ночь без сна ехал. По крику пестрой сороки замечал, что настала половина зимы, и, лисью шапку нахлобучивая, далее рысил; по пению соловья соображал, что наступают половина лета, и, лисью шапку подняв вверх, далее рысил. От его скорой езды делался сильный вихрь, который сносил рыжие камни, и дул черный ветер, который сносил черные камни. Так подъехал Наран-батор к высокой горе, остановил своего чубарого коня и говорит ему:

— На эту высокую и крутую гору можешь ли вскочить на самую вершину?

Чубарый конь отвечает:

— На самую вершину этой высокой и крутой горы могу вскочить, но ты, Наран-батор, удержишься ли на мне?

Наран-батор говорит:

— Если можешь, то скачи, а про меня не думай.

Возвратился Наран-батор на трехдневное расстояние, разбежался чубарый быстрый бегунец и запрыгнул на самую вершину высокой и крутой горы. После этого поехал Наран-батор в долину белого озера и видит: спускается с неба красивая белая лебедь, садится на берег белого озера и снимает свою белопуховую лебяжью одежду. И выходит из одежды прекрасная девица Тэнгэрин Басаган, такая красивая, что от красоты правой ее щеки освещаются правые горы, а от красоты ее левой щеки освещаются левые горы. Так она тихо, плавно ходит, что вырастает тонкая трава; так тихо нагибаясь ходит, что овцы и ягнята кричат. Такая она была необыкновенно красивая. Наран-батор влюбился в Тэнгэрин Басаган и, когда она нырнула в белое озеро, взял ее белопуховую лебяжью одежду. Накупавшись и поплавав, вышла Тэнгэрин Басаган на берег и видит: держит ее белопуховую лебяжью одежду Наран-батор и не хочет отдавать. Тогда она говорит:

— Верни мне мою лебяжью одежду, потому что пора подниматься на небо, к отцу моему, доброму западному тэнгэрину.

— Не могу вернуть тебе твою лебяжью одежду, потому что ты суженая моя и я на тебе женюсь,— говорит ей Наран-батор.

— Не могу я быть твоей женой, потому что ты — простой слабый человек, а я — дочь небесного духа. И мне пора подниматься на небо,— говорит Тэнгэрин Басаган.— Если не отдашь мою лебяжью одежду, превратишься в серый камень и вырастешь в землю навеки.

Наран-батор говорит:

— У меня есть смешивающий тысячу веков белый камень Эрдени, он меня выручит.

— Тебе не удержать мою белопуховую лебяжью одежду, ее можно только утопить, завернув в нее белый камень Эрдени и бросив в озеро. Но знай, Наран-батор,— говорит Тэнгэрин Басаган,— если у тебя кроме твоего камня ничего нет, если ты не можешь заставить тринадцать волшебств бегать по ладони и двадцать три превращения бегать по пальцам, то ты простой слабый человек и через девять дней и ночей превратишься в серый камень и вырастешь в землю.

— Да,— говорит Наран-батор,— я знаю, что я слабый и простой человек, и у меня нет ничего, кроме белого камня Эрдени, но я полюбил тебя и согласен превратиться в камень.

— Еще раз подумай,— говорит Тэнгэрин Басаган,— время еще есть.

Тогда Наран-батор берет смешивающий тысячу веков белый камень Эрдени и, взмахнув им, рассекает белое озеро до самого дна.

Потом он кладет камень в белопуховую лебяжью одежду и бросает на самое дно. Сошлись волны на белом озере, и снова все стало тихо и спокойно. Тэнгэрин Басаган не может без своей лебяжьей одежды подняться на небо и остается с Наран-батором, и они живут вместе девять дней и девять ночей, на десятую ночь смотрят, стоит в долине белосеребряный резной дворец высотой под самое небо, с многочисленными окнами и дверьми. Сверкает и светится, белее снега, как высеребранный, стоит дворец, освещающий сам себя. Увидела Тэнгэрин Басаган дворец и говорит:

— Ну, я пойду; отец мой, добрый западный дух с неба, спустился, сердится, домой требует. А ты, смелый Наран-батор, жди первой лунной ночи — я брошу тебе мой серебряный хур. Как только он заиграет, скачи на высокую кру-

тую гору, с нее попробуй подняться в небо. Но помни: если ты простой слабый человек, на первом же скаку превратишься в серый камень и вырастешь в землю навеки.

Так сказала необыкновенно прекрасная Тэнгэрин Басаган и ушла в белосеребряный резной дворец, сверкающий в долине, как высокий кедр в первом зимнем инее. Она скрылась во дворце и раньше рассвета поднялась в небо с гулом и шумом, в своем действительно прекрасном белосеребряном дворце.

Дождлся Наран-батор первой лунной ночи, смотрит, пролетел с неба, как падающая звезда, серебряный хур Тэнгэрин Басаган и упал в белое озеро, в то самое место, куда бросил Наран-батор завернутый в белопуховую лебяжью одежду смешивающий тысячу веков белый камень Эрдени. И заиграл хур из-под воды, и все озеро заиграло, и горы зазвенели, как бубенцы на бубне шамана. Вскочил Наран-батор на чубарого быстрого бегунца, ударил его нагайкой в правое крутое бедро, и только скакнул чубарый конь, как тут же оба превратились в серый камень и вросли в землю навеки. Потому что Наран-батор был простой слабый человек, а полюбил дочь небесного духа, Тэнгэрина. С тех пор каждую лунную ночь поет в белом озере серебряный хур Тэнгэрин Басаган, а Наран-батор на быстром бегунце дрожит, от земли оторваться пробует.

Глава четвертая, рассказанная Зоей Семенцовой, медицинской сестрой и подругой Яниса Клаускиса

В первую же ночь, когда мы разбили лагерь возле озера, еще до звука, Янис стал словно взведенная пружина,— я по всему чувствовала, как напряглись его нервы. Он ходил словно наэлектризованный, все время не расставался с блокнотом, вел какие-то расчеты. Когда стемнело, он отвел меня в сторону и шепнул: «Держись подальше от толстяка». Я хотела возразить, дескать, как же подальше, если еще в городе мы договорились, что за пеленгаторами будем следить парами: Янис и Ирина, я и Виталий. Но Янис шикнул на меня. В ту же ночь я убедилась, что он прав...

Как только раздался звук, я почувствовала, как меня буквально пронзил безотчетный страх. Я не могла прийти в себя, пока Ирина не растормошила меня и не заставила бежать вслед за Виталием. Я побежала, а вернее, тенью заскользила от камня к камню, от дерева к дереву, чутко прислушиваясь и приглядываясь ко всему. Издали я увидела огонек пеленгатора и подкралась почти бесшумно.

Виталий, склонившись над прибором, громко сопел и ворчал. Я тронула его за плечо — он дико вскрикнул и с неожиданной проворностью отпрыгнул от меня в темноту. От страха я упала на землю и лежала не шевелясь, пока не прекратился этот ужасный звук. Совершенно разбитая, я вернулась к костру — там понуро сидел старик, возле него крутился пес Хара.

Через несколько минут пришли Янис и Ирина, тоже какие-то усталые и молчаливые, и сели возле огня. Янис все озирался по сторонам и вдруг начал задавать старику вопрос за вопросом.

— Что такое «эрдени»? — был первый вопрос.

— Эрдени — драгоценность, ни с чем не сравнимая вещь.

— А почему камень смешивает тысячу веков?

— Есть камни, смешивающие сто веков.

— А этот, который в озере, смешивает тысячу?

— Этот — тысячу.

— А почему белый спустившийся с неба дворец вы называли резным?

— Народ так говорит. Значит, такой дворец.

— А почему дворец поднялся с шумом и гулом?

— А ты видел, чтоб дворцы подымались на небо без гула?

— А где-нибудь на земле еще есть такие поющие камни?

— Конечно, есть, но никто не знает, где они.

— Откуда же вы знаете, что есть?

— Народ говорит.

— А народ откуда знает?

— Народ все знает: что было давно-давно, что будет дальше-дальше вперед. Все народ знает.

— Но молчит?

— Ага, молчит, маленько не говорит.

— А скажет когда-нибудь?

— Конечно, скажет.

— А когда?

— Не знаю, я мало-мало знаю, в книги надо искать, в книги.

— В каких книгах?

— В толстых-толстых, семь рядов — золотые буквы, семь рядов — серебряные, семь рядов — из красной меди. Вот какие книги!

Тут вернулся Виталий, черной тушей выплыл из темноты, — я чуть не вскрикнула и прижалась к Янису. Виталий молча, ни слова никому не говоря, нагреб полную

миску каши и, сипло дыша, ушел в палатку. Мы посидели еще немного и пошли спать. Я насильно заставила Яниса выпить на ночь меду — снотворные таблетки уже не действовали.

Ночью я проснулась от какого-то странного шума. Сначала я подумала, что это лошадь бьет копытом по пустому ведру, но, прислушавшись, поняла, что тут что-то не так. Осторожно выглянув из палатки, я увидела Виталия, — в сером предутреннем сумраке он казался еще толще, еще ужаснее. Что он делал, я так и не поняла, потому что сразу же спряталась от страха под одеяло. По звукам, которые он издавал, похоже было, что он торопливо выскребал ложкой из ведра остатки вчерашнего супа.

Утром обнаружилась пропажа продуктов: исчезла вся тушенка, все брикеты с кашей и сухари. Остались посное масло, пшено, мука, немного хлеба и стуженка. Нетронутыми оказались также чай, перец, лавровый лист и молотый кофе. Я, как ответственная за провиант, забила тревогу. Никто ничего не видел, никто ничего не брал. И всем вроде безразлично, куда девались продукты, — одна я, как дурочка, все никак не могла успокоиться. Действительно, это настолько на меня подействовало, что весь день я ходила сама не своя. Все говорили: да брось, завалились куда-нибудь, да успокойся, да плюнь, а я не могла. Страшно было как-то и непонятно. Не могла же я подозревать кого-нибудь из нас...

Вторую и третью ночь озеро почему-то молчало, хотя ночи были ясные, полнолунные, теплые. Янис спросил об этом Василия Харитоновича. Он, по обыкновению, долго думал, потом сказал:

— Наран-батор поправляется, коня поправляет. Очень много сил надо, чтоб так-то землю трясти. С третьей на пятую ночь опять затрясет.

Янис выслушал старика с жадным вниманием, подавшись к нему и перекосившись от напряжения.

— То есть каждую четвертую ночь трясет? — спросил он.

Старик кивнул, почмокал губами и сказал:

— Большой газар-хёдёлхё будет.

— Почему? — спросил Янис.

— Наран-батор слабо тряс, силы берег, — ответил старик.

— А хур так же, как обычно, играл или слабее? — опять приставал к старику Янис.

— Большой газар-хёдёлхё — большая игра, малый газар-хёдёлхё — малая игра, — монотонно произнес старик.

Янис хотел еще что-то спросить, но, схватившись за живот, ушел в палатку. Я намешала меду в горячей воде и заставила его выпить полкружки. Мед при желудочных расстройствах тоже хорошо помогает. Янис, завернувшись в одеяло, скрючившись, чуть постанывал. Я предложила грелку, но он отказался и попросил оставить его в покое. Хара все крутился возле, я думала, что он голоден. Но когда я вывалила ему пшенную кашу на постном масле — остатки ужина, он понюхал и отошел. Старик, сидевший на камне возле огня, посмотрел на него и сказал что-то по-бурятски. Хара поджал хвост, прижал уши и ушел в темноту. Старик недовольно поворчал и снова принялся за свой бесконечный чай.

Прибравшись, я ушла в палатку. А надо заметить, что мы с Ириной спали в одной палатке, а Янис, Виталий и Василий Харитонович — в другой. В нашей палатке было пусто, еще с обеда Ирина с Виталием ушли куда-то и до сих пор не вернулись. Я легла, но долго не могла уснуть...

Глава пятая, рассказанная Василием Харитоновичем Мунконовым

Идешь в горы — бери лошадь и собаку. Не возьмешь лошадь, будешь без ног и без ушей, не возьмешь собаку, будешь без нюха и без сторожа. Хара — добрый пес, только шибко любопытный. Попадает ему, но такой от рождения. Лоб-Саган староват, силы не те, зато без слов все понимает, сам куда надо идет, и, ох, терпеливый. Хару и Лоб-Сагана ни на какие драгоценности не променяю, ни за какие деньги не продам — однако подарить могу хорошему человеку. Но разве хороший человек возьмет такой подарок? Ведь собаку взять все равно что руку у друга взять, а лошадь взять все равно что ногу у друга взять.

Сию я, это, у костра, чай пью. Смотрю, маленькая Зоя вываливает Харе кашу на постном масле, а он, смотрю, не ест, хвост пригнул и морду воротит. Э, думаю, Хара, нос какой у тебя — мокрый и холодный или сухой и горячий? «Подойди», — говорю ему. Он уши прижал, не подходит. Э, думаю, Хара не в настроении подходить ко мне, нос показывать. Почему, думаю. Уж не зашиб ли Толстый Виталик? Может, по животу пнул — живот у Хары болит? Или мышей объелся? Тогда иди, говорю ему, ляг, мышей переваривай. Нет, не уходит Хара, смотрит, сказать что-то хочет. Взял я его за шкуру, прижал к себе, глажу ласково, давай, говорю, расска-

зывай. Он повеселел. Ну, говорю, давай, что случилось? Хара умный и говорить умеет — только по-своему. Он у меня десять лет, только я его и понимаю. Другие — нет. Да что собаку — друг друга не понимают, хотя на человеческом вроде говорят. Хара мне сказал: «Рано-рано, светло, прохладно. Лежу, смотрю одним глазом. Пахнет дымом, мышами, травой. Из палатки выползает Толстяк. Быстро бежит к скале, берет зеленые мешки, несет к озеру. Бегу за ним. Толстяк бежит по тропе. В пещеру. Прячет мешки, задвигает камнем. Замечает меня, зовет. Подхожу. Пинает, больно пинает ногой. У Хары болит бок, болит лапа...» Э, думаю, что-то не то у этих людей. Узнаю-ка, что скажет Лоб-Саган. Подзываю Лоб-Сагана, шепчу ему в ухо: «Что ты видел сегодня утром?» Лоб-Саган пофыркал, но сказал: «Стою. Дремлю. Тихо. Темно. Из палатки выполз Маленький тощий человек. Пошел к озеру. В руках у него горит свет. Уходит. Тихо. Возится птица. Птица летит к озеру. Еще птица. Много птиц. Тихо. Тепло. Дремлю. Громкий шорох по сухой траве. Ползет человек. Маленький тощий человек. Ползет к палатке. Вползает. Тихо. Дремлю...» Э, думаю, какие странные люди. Надо держать ухо остро.

Глава шестая, рассказанная Янисом Клаускисом, специалистом по звуковой аппаратуре

Природа наделила меня странной, если не сказать уникальной, способностью: я не только слышу музыку, но и вижу ее. Я ощущаю ее в виде геометрических построений, движущихся в пространстве и имеющих различную цветовую окраску в зависимости от тональности. Форма фигур, то есть геометрия музыки, определяется сложностью созвучий: одиночная нота представляется мне в виде яркой прямой полосы, аккорд — в виде пересекающихся призм, цилиндров, правильных и неправильных тел вращения. По мере повышения тональности звука цвет от черного переходит в фиолетовый, синий, голубой, зеленый, желтый, оранжевый, красный, бордовый и снова становится черным. Скорость движения фигур определяется темпом музыки, а частота повторений отдельных частей композиции — ритмом.

К сожалению, нет прибора, с помощью которого можно было бы воспроизвести то, что предстает перед моим внутренним взором, когда я слушаю музыку. Если бы такой приборчик был, то это был бы великолепный определитель истинного произведения и халтуры. Глядя на эк-

ран, вы то и дело поражались бы, до какой высочайшей степени точно выстроены, гармонично раскрашены и четко движутся многомерные трапециевидные формы «Аппассионаты» Бетховена или тонкие влившиеся друг в друга призмы «Поэмы экстаза» Скрябина. Или легкая воздушная геометрия музыки Моцарта! Все это я рассказал не для того, чтобы доказать вам то, что лично для меня и так очевидно, а для того, чтобы легче было понять, почему так поразила, потрясла меня горная музыка, записанная Виталием.

Уже то, что я услышал за новогодним столом, при первом прослушивании, было потрясающе: вся известная мне музыка, в том числе и классическая, по механизму воздействия была как бы вне меня, как бы действующей извне,—эта же, горная, сразу вошла внутрь меня, и цвет и формы уже были не передо мной, а во мне! Я сам как бы трансформировался, превращаясь в те или иные фигуры, окраска которых все время менялась. Качество записи было неважным, какой-то фон мешал восприятию, искажал картины, замутнял краски. Надо было отфильтровать шумы, очистить музыку от примесей. В том, что это была музыка, я не сомневался. Хотя строгие ревнители формулировок наверняка не согласились бы со мной: ведь музыкой считается искусство, отражающее действительность в звуковых образах. Но только ли искусство музыка? А если сама действительность предстает перед нами в звуковых художественных образах? Если сама природа или неведомые нам существа создают прекрасное — случайно или нет, этого нам знать пока не дано,— в форме звуковых рядов, которые обладают мощной силой эмоционального воздействия,— разве это не музыка? И если не музыка, то что же?

Не будем фантазировать, будем излагать события в той последовательности, в какой они происходили. Итак, уже после первого прослушивания за новогодним столом мне показалось, что музыка состоит из многих-многих слоев, уходящих в недостижимые для рассудка глубины. Повторное прослушивание в гостинице укрепило меня в этой мысли, и я решил немедленно исследовать музыку, снимая с нее слои за слоем включением частотных фильтров.

Когда после досадной проволоочки с вахтером и Виталием я смонтировал схему фильтрации и включил воспроизведение, то был готов ко всему, и все же вздрогнул — ночная тишина с магнитофонной ленты вдруг перешла в необычайной глубины звучание: запело нечто, что невозможно было ни с чем сравнить. Я невольно закрыл глаза

и тотчас почувствовал, будто лечу — лечу, плавно покачиваясь, соскальзывая вроде бы с каких-то горок, но не проваливаясь, а как бы поднимаясь всякий раз все выше и выше. И было в этом скольжении что-то роковое — возникало и крепло ощущение, будто вот-вот, еще за одним взлетом, случится что-то грандиозное и неотвратимое. Звуки как бы несли меня, причем та сторона, откуда я летел, вызывала во мне настроение бодрости и восторга, а та, куда я летел, нагнетала чувство тревоги и опасности.

Перестроив анализатор, я снова включил воспроизведение. При первых же звуках у меня защемило сердце. До сих пор не могу разобраться в своих ощущениях: чувство жалости смешивалось с необычным волнением, которое все нарастало и усиливалось. Теперь я уже никуда не летел, а как бы сжимался в крошечный комочек. Музыка давила на меня, пронзала миллионами иголок, сжимала в точку, которую я остро ощущал ноющим и замирающим сердцем. Передо мной, за мной, внутри меня мелькали какие-то удлинённые тени, как стрелы, летящие со всех сторон, причем видел я их не глазами, а всем телом, каждой клеточкой кожи. И вот когда уже стало казаться, что сейчас я исчезну, превращусь в ничто, магнитофон выключился, и я отчетливо почувствовал, как возвращаюсь в прежние свои размеры.

То, что я испытал в третий раз, не назовешь ни чем иным, как стремительным засасыванием во вращающуюся воронку. На моих глазах в доли секунды рушился мир: хаотически перемешанные, причудливо раскрашенные, проносились через меня какие-то острые изогнутые обломки, какие-то пляшущие и бесследно исчезающие фигурки, полосы, зигзаги, спирали, крутящиеся, извивающиеся, дергающиеся. В страхе, какой бывает только в кошмарных снах, почти теряя сознание, я явственно ощущал, как чудовищный вихрь скручивает, растягивает меня в тонкую бесконечную нить и я превращаюсь в линию, извивающуюся и вот-вот готовую прерваться, раствориться в этом волчке, исчезнуть. Теперь-то я знаю, почему так сильно потряс меня и Виталия второй и особенно третий слой этой записи: слишком на большую глубину проникли мы для первого раза.

Потом, при помощи доброй Зои, я более спокойно и осмотрительно исследовал «пещеру», как я называл эту запись. Я спускался туда уже не как отчаянный авантюрист, а как дотошный исследователь, осматривающий и выстукивающий каждый миллиметр своего пути. И с каждым разом я все более убеждался в том, что это искусство

венная музыка, созданная какими-то могучими существами, обладавшими такими источниками, о каких мы еще и не мечтали, умевшими композировать звуки так, что они вызывали удивительные ощущения, при которых сама реальность тускнела и исчезала. И второе: я отчетливо понимал, что запись либо не закончена, либо оборвана впоследствии, либо конец ее заэкранирован каким-то мешающим устройством типа глушителя, которое могло быть на самом источнике.

Чем больше я вслушивался в музыку и размышлял о ней, тем сильнее и сильнее тянуло меня в те места, где она была записана. Я уже был почти уверен в том, что источник должен представлять собой большую достаточно гибкую мембрану, способную колебаться в очень широком частотном диапазоне. Я долго ломал голову, соображая, что бы могло быть такой мембраной, пока не вспомнил, что в ту ночь, когда музыка попала на магнитофонную пленку, мои друзья располагались на берегу горного озера. Да, там было озеро, небольшое и круглое,— на карте оно выглядело как горошина средней величины. Я решил всесторонне изучить этот район и за две недели перечитал методом беглого чтения все, что касалось геологии, археологии, антропологии, истории этого края, познакомился с работами Черского, Хангалова, Мельхеева, Солоненко, Окладникова. В Институте земной коры мне дали последние данные по сейсмичности и результат машинного расчета вероятности крупного землетрясения в точке расположения озера. Вероятность эта оказалась весьма высокой, и научные сотрудники института, в порядке юмора, проинструктировали меня, как себя вести в горах в случае землетрясения в семь-восемь баллов.

Легенда, которую рассказал Василий Харитонович, внезапно добавила еще одно существенное звено в цепь моей гипотезы. Теперь стало ясно, что источник надо искать на дне озера в те дни, когда происходят землетрясения. Тогда вода приводится в колебание, частота собственных колебаний массы воды в какой-то момент совпадает с частотой колебаний источника, и поверхность воды начинает играть роль огромной мембраны этого своеобразного динамика.

Я уже говорил о том, что у меня сложилось мнение, будто запись то ли обрывается, то ли не закончена, то ли экранируется каким-то глушителем. Проверить это можно было только непосредственным изучением источника, то есть взяв его в руки и разобрав на составные части, как мы это делали в детстве с отцовскими часами. Короче, все

сводилось к тому, что надо было при первом же появлении звука немедленно лезть в воду и доставать источник. Здесь следует сказать несколько слов о причинах моей поспешности.

Мне было известно, что место расположения озера — высокой сейсмичности. В Институте земной коры я нашел данные о годичных перемещениях верхних пластов земли и массу фотографий, показывающих, как резко меняется ландшафт в результате сейсмической деятельности. Там, где в прошлом была равнина, теперь зияла глубокая впадина, залитая снеговыми водами. Где раньше громоздились скалы, теперь белела каменная россыпь. Тут и там возникали трещины, оползни, вздутия, сбросы, провалы и так далее. Правда, ученые считали, что район озера наиболее устойчив, так как имеет какую-то особую геологическую структуру, представляя собой почти полностью замкнутое кольцо. Но устойчивость эта гарантировалась до пяти-шести баллов — при более сильных землетрясениях вероятность раскола кольца, или, точнее, подковы, резко возрастала. По прогнозам института, исходя из повторяемости землетрясений, это лето должно было быть особенно сейсмически напряженным: ожидали восьмибалльного толчка.

В первый же день, как только мы расположились, я незаметно от всех обегал окрестности озера и сделал два любопытных наблюдения: во-первых, я нашел пещеру, которой не было на карте; во-вторых, обнаружил свежую трещину, которая начиналась примерно в ста метрах от озера и тянулась по склону в сторону седловины, разделявшей могучие хребты. Я вставил в трещину затесанные прутья для контроля ее ширины. Как уже известно, в ту же ночь произошло землетрясение и мы услышали работу источника. Качество звука по сравнению с записью прошлого года заметно снизилось: появились какие-то хрипы, свисты, — я понял, что источник доживает последние дни. Едва все улеглось, я, захватив фонарик, кинулся проверять трещину и — о ужас! — все мои затесанные палки провалились в нее. Но еще больше я поразился, когда обнаружил, что проклятая трещина доползла до озера и ушла под воду. Если она расколает всю чашу, музыка может прекратиться. Я сидел на берегу, смотрел на четкий силуэт хребта, вздымавшегося передо мной в ночном прозрачном небе. И вдруг на меня нашло странное видение, мне представилась удивительная картина внутреннего строения всего этого района с различной цветовой окраской различно напряженных участков платформы. Светло-оран-

жевые массивы гор опирались на красные, ярко-красные пласты, изрезанные черными поперечными трещинами, которые тянулись друг к другу снизу и сверху. В том месте, где располагалось озеро, толщина нижнего слоя была минимальной, а цвет — самый яркий.

Именно под озером наиболее ярко сиял красный свет, слабея, тускнея, бледнея в обе стороны от чернильно-черной полосы, видневшейся в центре алого сияния. Видение продержалось секунду-две и замутилось, исчезло. Я почувствовал такую жуткую слабость, что задрожали руки, потемнело в глазах, и я свалился в мокрую от росы траву. Ко мне подошел Хара и стал лизать руки, лицо. У меня не было сил отогнать его. Видимо, мозг, собрав по крупицам, систематизировав, сверив, сопоставив все данные и создав передо мной цветной макет горного района, истратил все мои запасы энергии. Я лежал вялый, чуть живой, и мне казалось, будто верхняя часть головы отсутствует.

Я дополз до палатки и кое-как, на час или полтора забылся тревожным сном. Я был убежден, что затягивать поиски недопустимо, потому что, по моим, правда интуитивным, соображениям, состояние пласта, на котором мы находились, было критическим.

И еще одно обстоятельство, может быть, более страшное, чем землетрясение, возникло в первую же ночь после появления звука. Я имею в виду странное поведение Виталия, да и не только его — всех нас. Скажу о себе. Постоянный страх, настороженность, недоверие даже к самому себе, стремление спрятаться в пещеру или в какую-нибудь ямину, под корягу и тому подобное. Чтобы преодолеть этот странный комплекс, приходилось тратить уйму сил, стискивать зубы и буквально насильно заставлять себя заниматься тем делом, ради которого мы проделали столь трудный и дальний путь. Виталий же, судя по всему, «сломался» от первого прикосновения звукового поля. Не буду притворяться, будто я понял это сразу, в тот же час, — увы! Просто сработал инстинкт самосохранения, а уж потом — разум...

Глава седьмая, рассказанная Виталием Кругликовым

Раньше, до диамата, сказали бы — «нечистая сила», и точка. Теперь так просто не отделаешься. К сожалению, лично я пока не имею какой-нибудь удовлетворительной гипотезы относительно своего совершенно идиотского по-

ведения, поэтому ничего не остается, как признать у себя еще один «пунктик», кроме всех тех, которые уже известны. Новый «пунктик» начался в ту ночь, когда раздался звук. Янис уже хорошо тут говорил о «комплексе», могу добавить от себя: у меня было все то же самое и плюс внезапное изменение всех моих прежних принципов. Они словно растаяли и испарились в один миг. Даже этот вот, классический: не торопись подрывать свой авторитет, за тебя это сделают твои подчиненные — даже он не устоял, и, как видите, такие печальные последствия...

Наступала четвертая ночь. После заката, как обычно, с озера поднялся туман, потом разъяснилось, высыпали звезды. Мы с Ириной пошли к пеленгатору. Зоя осталась дежурить возле больного Яниса. Старик нахохлившейся вороной сидел у костра и глушил чай — кружку за кружкой. До восхода луны оставалось еще около часа, озеро было небольшое, круглое, как чаша спортивной арены в Лужниках. Мы с Ириной шли не торопясь, уверенные, что не опоздаем. Я рассказал ей о своих переживаниях. Она равнодушно сказала, что ей тоже все это кажется странным. Меня неприятно задел ее безразличный тон, но я промолчал.

Мы пробирались сквозь чашу, когда я услышал слабый всплеск. Так могла плеснуться рыба, но я знал, что рыбы в озере нет. Предупредив знаком Ирину, чтобы не двигалась, я осторожно прокрался к берегу и стал всматриваться в туман, призрачно колыхавшийся над водой. Увы, ничего не было видно. И мы пошли дальше.

Вскоре появился огонек горячей вполнакала лампочки — это был первый пеленгатор. Возле него осталась Ирина. Я зашагал ко второму. Ходьбы было не более четверти часа, но я, специально не включая фонарик, шел медленно, осторожно, прислушиваясь, напряженно вглядываясь в смутно видимые впереди контуры деревьев. Уже десять, пятнадцать минут прошло, а огонька горячей лампочки все не было. Предчувствие чего-то грозного, неумолимо надвигающегося овладело мною. Я включил фонарик, прибавил шагу и в тот же момент налетел на треногу второго пеленгатора. Пораженный, я с минуты смотрел на разграбленный прибор, не веря своим глазам. От сложного измерительного комплекса остались рожки да ножки: подставка, тренога да болтающиеся оборванные провода. Сам пеленгатор и батареи бесследно исчезли. Ясно, что здесь мне нечего было делать, и я немедленно, быстрым шагом пошел обратно к первому пеленгатору. Огонек я заметил издали, но, когда подошел ближе, об-

наружил, к моему величайшему удивлению, что возле прибора никого не было.

Помню, первым моим чувством была злость: какого черта вздумалось ей бегать куда-то, когда вот-вот начнет звук! И вечно так: ничего нельзя доверить этим женщинам! Рассвирепевший, я стал громко звать Ирину, кричал во все горло, но только горное эхо мрачно вторило в этой жуткой черной яме. Я стоял в растерянности: кинуться ли на поиски жены или остаться возле прибора. Вдруг небо засветилось, восточный хребет внезапно возник из мрака глухой черной громадой. И в тот же момент раздался звук. Он вырастал, набирая силу. Я приник к прибору ночного видения. На середине озера, среди клоунов тумана, покачивался плот, на нем странно приплясывал, размахивая руками, какой-то человек. Я тотчас узнал его. «Янис! Подлец!» — взревел я. Мне все стало ясно. Я бросился к воде, но тут сильный толчок сотряс землю. Вслед за первым толчком последовал второй, и началось светопреставление: все кругом закачалось, завывало, завизжало. Я упал и покатился по колышущемуся, дергающемуся подо мной склону, — то ли вниз, в озеро, то ли вверх, на зубья дымящегося хребта. Рядом со мной летели, грохотали камни, все затянуло пылью, я почувствовал, что погрузился с головой в воду. Вынырнув, быстро поплыл на середину озера, и с каждым взмахом, с каждым рывком вперед я ощущал все более и более сильную жажду сделать с Янисом что-то такое, после чего он бы не посмел своевольничать.

Рев, грохот и вой продолжались. Озеро как бы дрожало, мелкие волны беспорядочно плескались, сталкиваясь и гася друг друга. Яркий лунный свет освещал дымящиеся горы, рябую поверхность озера, качающийся лес. Я подплыл к плоту. Яниса нигде не было. Вдруг он вынырнул рядом со мной — с двумя горящими фонарями, в маске, с кислородными баллонами за спиной. От баллонов к маске тянулись гофрированные трубки. Янис дернулся от меня, но не тут-то было: я схватился за эти трубки и стиснул их что было сил. Он завозился в воде и вдруг накинул мне на голову что-то вроде петли. Меня сильно дернуло, шею сдавило, поволокло куда-то, я задыхался, хотел крикнуть, но не было воздуха. Кажется, я потерял сознание. То, что происходило со мной потом, — это так странно и так не связано с настоящим, что утверждать, будто прямо из озера я попал в пещеру, не имею оснований...

Глава восьмая, рассказанная Ириной Кругликовой

Никогда бы не поверила, что в человеке, будем говорить конкретно, в данном случае в моем муже, Виталии Кругликове, столько всего запрятано. Я имею в виду «пунктики». Можно вытерпеть его обжорство, его магнитофонные записи, его дурацкие принципы, которые выдумывает сам на свою голову, — все можно вытерпеть, но воровство... Чтобы мой муж скатился до такого — нет, это уже выше моих сил. Как только исчезли продукты, я тотчас, взглянув в его бегающие глазки, поняла все, то есть что это его работа. Позор, да? А что делать? Вообще Виталий теперь для меня загадка. Как можно за какие-то несколько часов так сильно перемениться? Из доброго, покладистого, демократичного вдруг превратился в злого, хитрого, жестокого...

Особенно меня тревожили его взаимоотношения с Янисом. Их первая стычка произошла в ту ночь, когда появился звук. Как известно, Виталий вернулся к костру позднее всех, подавленный чем-то и с поцарапанным лицом. Я спросила его, где он был и что с ним случилось. Он сидел в палатке и, злобно поглядывая на меня, молча уплетал кашу. Я ждала, что он скажет. Он ел. Тут в палатку просунулся Янис и тоже поинтересовался, что с Виталием. И вдруг Виталий, прижимая к себе миску, отполз в дальний угол и стал ругать Яниса на чем свет стоит — дескать, тот следит за ним, не доверяет, командует, оскорбляет, жалеет для него кусок хлеба, попрекает едой, и так далее и тому подобное. Янис слушал, слушал и тоже не выдержал да как закричит: «Замолчи!» Никогда я не видела его таким. Даже глаза побелели — просто ужас! Ну, думаю, сейчас начнется истерика. Но нет, Янис пересилил себя и спокойно так, но страшно холодно говорит: «Виталий, очень прошу, возьми себя в руки. Понимаешь?»

Второй раз они схватились из-за выбора пути обнаружения источника: Виталий считал, что прежде чем лезть в воду, необходимо провести более тщательные замеры. Янис же из каких-то своих соображений настаивал на немедленном исследовании дна озера по результатам первого замера. Я сказала, что, наверное, прав Янис, потому что кислородные аппараты у нас были, примерное место известно — зачем тянуть? И тут Виталий буквально расвирепел. Я была поражена. Обычно широкое, добродушное, с круглым вялым подбородком и большими голубыми глазами, его лицо вдруг заострилось, вытянулось, главным

образом за счет челюсти, которая опустилась и резко выдвинулась вперед, глаза ушли вглубь, сузились, брови как бы взлохматились и грозными валиками нависли над мрачно горевшими глазками, ноздри раздались, и было видно, как они трепетали. Я со страхом смотрела на него, и внутри у меня буквально выла сирена. С Янисом произошло тоже нечто странное: он присел, попятился и быстро исчез, словно его и не было.

И вот вечером, за два дня до катастрофы, Янис сказал, что хочет со мной поговорить. Мы пошли к озеру. По дороге он предложил не тянуть с поисками, а при следующем же появлении звука искать источник в воде при помощи пеленгатора и с аквалангом. Только пеленгатор надо отделить от треноги и прибора ночного видения, чтобы просто держать в руках. Он был убежден, что озеро является резонатором, в центре которого находится небольшой и, видимо, нетяжелый источник звука, и попросил меня помочь ему проверить в нескольких сечениях профиль дна озера. Я согласилась, мы не откладывая сели на плот и медленно поплыли от одного берега к другому. Я чуть-чуть гребла, Янис при помощи грузила и капроновой веревки следил за изменением глубины. Таким образом мы исследовали озеро по трем направлениям — дно озера представляло собой почти идеальную чашу.

Утром, накануне катастрофы, пока все спали, мы ушли на озеро и договорились, как будем действовать в случае появления звука. Днем он притворится больным, чтобы не вязался Виталий, и перед самым заходом солнца перенесет акваланг и веревку поближе к плоту. А когда стемнеет, демонтирует один пеленгатор. Я должна была прийти на «пристань» и подтянуть к берегу плот, который Виталий еще днем установит на середине озера для наводки приборов ночного видения. После этого я, чтобы не вызывать подозрений, должна буду вернуться к костру и после захода солнца пойти с Виталием на дежурство к ближнему пеленгатору. Если звук появится, я должна буду мчаться со всех ног к «пристани» и страховать Яниса на случай, если что-нибудь случится с аквалангом. Все было расписано как по нотам — единственной нерешенной проблемой оставалась ледяная вода озера: температура стабильно удерживалась в пределах семи-восьми градусов. Ясно, что в такой среде даже тренированные «моржи» более десяти — пятнадцати минут находиться не могут. Тут я увидела воробья, обычного пестренького маленького воробья, и меня осенило: ведь птицы плавают в ледяной воде и не мерзнут, потому что их перья смазаны жиром! Я сказала Янису про

подсолнечное масло: перед купанием надо обильно намотать нижнее белье в масле и одеться — жировая прослойка будет прекрасной теплоизоляцией! Он благодарно пожал мне руку. После завтрака, улучив минутку, я стащила все масло, какое у нас было, и спрятала на берегу.

Приближался вечер. Янис великолепно изображал больного — думаю, что если ему не повезет в науке, он сможет многого добиться на подмостках театра. Когда стемнело, я подтянула плот к берегу. Потом мы с Виталием пошли к пеленгаторам. Это была еще та прогулка! С Виталием творилось что-то странное: чем дальше мы отходили от костра, тем напряженнее и, я бы даже сказала, пугливее он становился. Шел осторожно, приседая и вздрагивая при каждом шорохе. Я включила и направила на него фонарик — он чуть не закричал, ужас отразился на его перекошенном лице. Но вот что не менее странно: я совершенно не испытывала страха — наоборот, было как-то забавно и любопытно, хотелось подразнить его, даже, более того, надавать ему тумаков, потаскать за мохнатые уши. Когда мы подошли к первому пеленгатору, Виталий пробормотал что-то бессвязное и, переваливаясь с боку на бок, пошел дальше. Я осталась одна. Передо мной в белесой мути лежало озеро. Небо, горы — все было затянуто туманом. И стояла такая тишина, что слышно было, как возле костра покашливал Василий Харитонович. Я ждала не шелохнувшись, пронизанная каким-то странным острым ощущением, будто вокруг меня, через меня от земли идут какие-то мощные токи, какие-то необъяснимые силовые поля, которые все более и более плотной завесой отделяют меня от всего мира. Еще, казалось, миг, и эти поля растворят меня в себе, и я исчезну, разойдусь туманом, дымкой, как эти тонкие прозрачные слои, колышущиеся над озером. Мне стало страшно. Я бросилась бежать, и мне казалось, будто эти поля пытаются удержать меня. Опомнилась я возле «пристани», — Янис был уже на плоту и беззвучно греб к середине озера. Он был едва виден сквозь туман. Я включила фонарик и стала размахивать им, как мы уславливались. Он ответил мне вспышками. Я нащупала на берегу две веревки, села между ними и стала следить, как они срабатывают по мере движения плота. Вдруг рядом с собой я услышала прерывистое дыхание, и что-то холодное и мокрое ткнулось мне в лицо. Я вскрикнула, но в тот же момент догадалась, что это Хара. Он стал тереться о мое плечо и жалобно скулить. Я шикнула на него, и он куда-то исчез. Тут раздалось цоканье копыт, и вскоре возле меня остановился

Василий Харитонович, держащий под уздцы своего коня. Молча, жестами он показал мне, что надо сделать, и тут же сам связал веревку, тянувшуюся к Янису, с ремнями, в которые была запряжена лошадь. Я поняла его затею: в случае чего лошадь быстро вытащит Яниса на берег. Я стала благодарить старика,— он помотал головой и, присвистнув Харе, торопливо ушел. Теперь все мое внимание сосредоточилось на Янисе. Он доплыл уже до середины озера, я почувствовала, как натянулась правая веревка. Левая обвисла было, но вскоре поползла снова — это Янис перетягивал ее к себе, на плот. Одним глазом я поглядывала за конем,— он стоял беспокойно, пофыркивал, переставлял ноги. Вдруг с противоположного берега донесся крик — то ли вопль о помощи, то ли яростное рычание. Горное эхо принесло многократно отраженное «Ир-ри-Ир-ри!» Это ревел Виталий — господи, никогда не подумала бы, что он может так орать! Что-то бултыхнулось в воду, и в тот же момент раздался звук. Мне показалось, будто все озеро чуть приподнялось из тумана и, как серебряное блюдо, сияющее под луной, задрожало, завибрировало, отчего и возник этот стремительно нарастающий по громкости звук. Янис, стоя на плоту, торопливо надевал акваланг. От волнения он путался, что-то у него не получалось, но вот наконец он нырнул и скрылся под водой, началось землетрясение...

Глава девятая, рассказанная Виталием Кругликовым

Я разрыл под собой листья и достал последний припрятанный кусок мяса. Он был свалевшийся, почти без сока, но я с жадностью набросился на него. Все вокруг зашевелились, зачмокали губами, заскулили. Я рыкнул, и они затихли. Завтра, если не поймает кабана, прикончу Дохлятину. Она уже ни на что другое не пригодна: не рожает, валяется в пещере и даром жрет. Один Умник возится с ней как с молодой. Если не повезет и дальше, начнем есть Старика, приручившего раненого волка и хромую кобылу. Где он ее прячет?

Я рвал мясо зубами и руками, добираясь до середины, где должен быть сок. Совсем засохшие пленки и жилы я кидал Большой Женщине. Она хватала их на лету и проглатывала не жуя. У меня так: я подкармливаю тех, кто мне нужен. Остальные пусть добывают себе сами или подыхают с голоду...

Вдруг раздался грохот, свист. Задрожала земля, стало

светло, как в начале дня, и на дальнем берегу озера, на ровной площадке, где мы убивали загнанных лосей, спустился с неба большой белый камень. Он блестел и сиял, этот высокий камень, и качался, словно на него дуло сильным ветром. Мы сидели, онемев, с раскрытыми ртами. Я забыл про голод и ощущал только злобу на Умника — своей тощей спиной он то и дело загораживал дыру и мешал смотреть. Я встал и дал ему пинка, — он с визгом вывалился наружу и больше не показывался.

Камень между тем перестал раскачиваться и замер, как огромный белый суслик возле своей норы. Я долго ждал, что будет дальше, но прошло светлое время, а ничего не изменилось: камень стоял неподвижно и никто к нему не подходил. Я доел мясо, сухожилия швырнул Большой Женщине. Другие в темноте зарычали, требуя доли, но я приподнял дубину, и они смолкли. Большая Женщина — моя и должна есть больше других. Она быстро съела остатки и легла возле меня. Тут у входа в пещеру появился Умник. В зубах он держал крысу, руки его были заняты корнями. Всю добычу он сложил у моих ног. Я приподнялся, крысу отбросил сразу — он ее тотчас схватил и отнес своей Дохлятине. Корни оказались горькими, и я швырнул их в угол. На них с рычанием накнулись другие. Умник снова исчез, но вскоре снаружи раздался его голос: он кричал так, словно увидел стадо кабанов. Я выглянул. Он приплясывал, размахивая руками: далеко на той стороне вдоль берега, покачиваясь, двигались яркие огни. Я схватил Умника за горло и кинул в пещеру, чтобы он не видел, как я боюсь. Меня называют Верзилой, но я, как и все они, боюсь темноты и медведей. Один Умник не боится темноты, у него глаза, как у шакала, — ночью ловит крыс и роет корни. Он пришел к нам из-за гор, в сытное время, поэтому мы его не съели.

Я пинками поднял других, чтобы помогли задвинуть вход тяжелой плитой. Ленивые твари, пока не дашь тумака, не двинутся с места. Наконец мы надежно укрыты. Сквозь щель видно, что происходит снаружи. Я и Умник смотрим. Огни движутся туда-сюда, поднимаются над озером, порхают, как бабочки, но к нам не приближаются. Все спокойно. Я засыпаю рядом с Большой Женщиной.

Утром я и Умник осторожно выглядываем наружу — никаких перемен: белый камень стоит, как прежде, кругом тихо, никаких огней. Я выгоняю других на охоту. Мы бежим к яме, в которую сваливаются кабаны. Бежим по узкой тропе, пригнувшись, держа в руках дубинки. Вот и яма — пусто. Бежим обратно. Ужасно хочу мяса. Впереди

бежит Умник, за мной — Старик, приручивший раненого волка и хромую кобылу. Где она? Я останавливаюсь и прижимаю Старика к скале. «Где хромая кобыла, которую ты приручил?» — спрашиваю его. Он падает на колени и трясется, как пойманный кролик. Умник опять что-то увидел и кричит, показывая на озеро. Я бросаю Старика и бегу к нему. Он показывает на белый камень, спустившийся с неба. На верху камня, в узкой части, появляется черная дыра. Из дыры высунулось что-то блестящее, и до нас долетел звук: так бы выл большой голодный волк. Мы все упали и долго лежали, спрятав головы. Звук продолжался, но никто нас не трогал. Вдруг звук стал другим: так бы кричала раненая сова. Я осмелел и поднял голову. Поднял голову и Умник. Другие лежали, обмерев со страху. Звук снова изменился: теперь нас звал маленький ребенок. Я ждал, что будет дальше. Умник вдруг поднялся и, пригнувшись, быстро побежал к озеру. Своевольная тварь! Я вскочил и бросился за ним. Не хватало, чтобы другие подумали, что он Вожак. Умник был уже в воде, когда из черной дыры белого камня вылетело Что-то и упало на середину озера. Звук не переставал. Умник поплыл к тому, что упало из белого камня. У меня стучали зубы, я не мог бежать вперед и не мог бежать назад. Сзади, крадучись, ко мне подошли другие. Они держали наготове свои дубинки. Тогда я бросился в воду и поплыл вслед за Умником. Я догнал его, когда он был уже на середине. Перед ним плавало Что-то, по виду белое, блестящее и гладкое, как большое сплющенное яйцо. Умник дотянулся до него, но тут я ударил его по руке, и Что-то ушло под воду. Он нырнул, пытаясь поймать Что-то. Когда он вынырнул, я схватил его за горло и стал душить. У него уже вывалился язык и вылезли глаза, но меня вдруг дернуло за голову и потащило к берегу. Умник выскользнул из рук, словно рыба. Я увидел, как на берегу заколыхались высокие травы и показались уши скачущей хромоногой кобылы. На спине ее, как волк, вцепившись в загривок, лежал Старик. Я зарычал от ярости, но петля так сильно сдавила мне шею, что я ослеп и оглох...

Глава десятая, рассказанная Ириной Кругликовой

Снаружи дул холодный ветер, и я сидела в пещере, ожидая, когда Верзила принесет мяса. Сквозь дыру видны были заросли травы, озеро и белая скала на том берегу, спустившаяся с неба. Вдруг от скалы донесся вой вол-

ка, потом зарыдала раненая сова, вслед за ней громко и жалобно заплакал маленький ребенок. В глубине пещеры заворочалась, захныкала Дохлятина. Я подползла к ней. Она стала показывать на дыру и просить меня, чтобы я взяла для нее маленького ребенка. Я завернулась в шкуры и вышла из пещеры. Ветер дул со стороны белой скалы, но не приносил ни запаха волка, ни запаха совы, ни запаха ребенка. Пахло чем-то другим — странным и совсем незнакомым, но приятным. Я внюхивалась в новый запах и прямо захлебывалась от слюны. Все внутри трепетало, тянулось к этому запаху, и я пошла на него, сначала медленно, потом все быстрее, смелее, нетерпеливее. Когда я подбежала к белой скале, то просто дрожала, у меня темнело в глазах от предвкушения какой-то очень вкусной пищи. Я обошла круглое основание скалы и с той стороны увидела дыру, сильный и терпкий запах шел изнутри. Я осторожно заглянула туда и чуть не закричала от ужаса: передо мной был ОГОНЬ! Жар его ударил в лицо, дым сдавил горло, оранжевые языки кинулись ко мне, как змеи. Я с воплем бросилась к выходу, но он оказался закрытым, кругом была стена. Я упала на твердую как камень землю и закрыла голову руками. И тут сверху мелко и часто закапала вода — это был дождь. Он шел все сильнее. Я подняла голову. Дождь падал и на огонь, и огонь уже не казался таким страшным, каким был только что. Огонь сник, языки опали и уже было не так жарко. Я встала и осторожно приблизилась, стараясь рассмотреть его. Ведь я видела его всего второй раз за всю жизнь. Первый раз это было давным-давно, когда на темном склоне горел лес. Тогда огонь был страшен, как стая голодных медведей. Теперь же он был маленький и слабый. Дождь утих. Я подошла еще ближе к огню и стала смотреть. Теперь я увидела, что это горят обломки деревьев. Одни обломки прогорали, превращаясь в черные камни, другие сваливались откуда-то сверху, куда улетал дым, и огонь снова усиливался, охватывая эти новые обломки. Дождь падал в огонь, я слышала, как что-то шипело и потрескивало там, внутри огня. И вдруг из стены появилась пустая раковина, а передо мной на тонком пруте свисел насаженный на него кусок мяса. Мне боязно было протянуть руку. А мясо, как бы поддразнивая, медленно поворачивалось над огнем, становясь коричневым и сочным. Наконец я не вытерпела, схватила кусок, но, тотчас отшвырнув, закричала. Я каталась и выла от боли, и когда опомнилась, то увидела, что над огнем крутится новый кусок мяса. К тому куску, который меня обжег, я боялась

приближаться, но и этот тоже был мне страшен. Я стала ждать. И вот прут вдруг отодвинулся от огня, наклонился, и мясо упало в раковину. Я кинулась было к нему, но вовремя спохватилась и, осторожно притронувшись, попробовала, так ли, как прежде, жжется это мясо. Нет, оно уже не было таким горячим, и я его съела. Еще, еще появлялось мясо на кончике прутика, и я ждала, когда оно делается коричневым и как следует остынет. Потом я научилась сама насаживать на прут красное мясо и держать его над огнем. Обломки деревьев стали падать не на огонь, а возле меня, и мне пришлось перекладывать их в огонь. От усталости и тепла меня разморило, и я уснула. Проснувшись от холода. Обломки деревьев грудой лежали возле меня, но огня не было. Сквозь дыру в стене сильно дуло. Раковины и прутья были пустые. Я надавила на стенку в том месте, откуда появлялось коричневое мясо, но ничего не получила. Вдруг откуда-то сверху раздался непонятный и страшный звук, как будто взревел леопард, но еще страшнее. Я выскочила из пещеры. Недалеко от скалы, на каменной площадке был огонь. Не очень большой и не очень сильный — такой, что не страшно было подойти. Возле огня тут и там валялись обломки деревьев. Такие же обломки, как бы образуя тропинку, вели в сторону леса, который рос на пологом склоне. Я хотела было пойти посмотреть, далеко ли они тянутся, но меня остановил запах. Я принялась и нашла несколько кусков красного мяса — оно было завернуто в листья лопуха и лежало возле целого пучка ивовых прутьев, на каких крутилось мясо в белой пещере. Я насадила кусок на прут, свесила его над огнем и стала поворачивать его так же, как оно поворачивалось там. Когда я его съела, я подумала о Верзиле и других: ведь теперь не только Верзила, но каждый другой, приносящий с охоты мясо, будет отдавать мне долю за то, что я буду превращать его в коричневое. От радости я стала вскрикивать, хлопать себя по бедрам и приседать, притопывая ногами. Никогда в жизни я не испытывала такого. Еще я сообразила, что надо зорко следить за огнем и вовремя подбрасывать обломки деревьев, иначе огонь потухнет. Я собрала валявшиеся кругом обломки в одну кучу и стала кидать их в огонь. Надвигалась ночь, но мне было тепло и совсем не страшно. Я уснула, но спала недолго — из страха за огонь. И действительно, огня осталось совсем мало, и я подбросила целую охапку обломков. Теперь я уснула гораздо спокойнее...

Глава одиннадцатая, рассказанная Василием Харитоновичем Мунконовым

Сижу я, это, у костра, чай пью. Слышу, Лоб-Саган зафыркал, рядом, над ухом. Э, думаю, однако, пора нам с тобой на озеро, на помощь маленькому Янису и большой Ирине. Пошли мы с Лоб-Саганом на озеро, а Хара уже там. Ох, собака какая любопытная, все видит, все знает. Он же и пещеру мне показал, продукты. Ну, привязал я Лоб-Сагана, пусть, думаю, поможет маленькому Янису. Я хоть и не понимаю, чего они там ищут, чего спорят-ругаются, но, думаю, раз ты пинаешь доброго пса Хару и много хочешь командовать там, где не надо, нехороший ты человек. И собака будет тебя кусать, и лошадь будет тебя лягать, и птица будет тебя клевать. И Василий Харитонов, сын Мунконовых, будет одним ухом слушать, другим забывать, о чем ты кричишь. И двумя ушами будет Василий Харитонов слушать маленького доброго Яниса и маленькую Зою. Много думай — мало говори. То, что надумал, — в голове, а то, что сказал, — из головы. Голова пустая много-громко звенит, голова полная тихо-важно молчит.

Быстро-быстро привязал Лоб-Сагана к веревке, которую подала большая Ирина, и еще быстрее вместе с Харой бегу к огню. Э, думаю, вдруг маленькая Зоя войдет в палатку к доброму Янису, будет искать там своего мужа и испугается. Кто поможет, кто руку протянет, кто слово скажет? Подбежали к огню — тихо. Спит Зоя. Хара скулит сильно, трется у ног. Э, думаю, неспроста Хара такой. Слышу, Лоб-Саган заржал. Ну, думаю, чего это они? Газар-хёдёлхё, землетрясение будет? Только так подумал — посветлело, озеро заиграло и затрясло. Хара завыл, кинулся от меня. Я как сидел на камне, так и свалился. Смотрю, из палатки Зоя выскочила. Я кричу: «Куда ты?» Она не слышит, бежит, запинается. Я поднялся — и за ней. Она вдруг повернулась и мимо меня на руках, на ногах, вприпрыжку — к палатке. Ну, думаю, Наран-батор упадет, Зою завалит. Подбежал к ней. Смотрю, Зоя забилась в угол, спит или боится, не разберешь. Вытащил ее, понес на руках быстрым шагом от Наран-батора. Бегу, а сам вроде тоже сплю на ходу. Хара вьется передо мной, смотрю, шибко удивляюсь: то Хара, а то совсем другой пес. Вдруг сзади завыло. Повернул голову — Наран-батора нет, а вместе него большая белая скала стоит, пыль из-под нее клубами валит. И так страшно стало, что ноги подкосились, а то, что нес, выпало и покатилося куда-то вперед,

вроде в какую-то ямину. А что нес — уже не помню, потому что и глаза, и уши, и нос — все забило пылью от большой белой скалы. Сколько лежал так, спрятав голову под мышкой, не знаю. Но стало сильно холодно. Выфыркнул пыль из носа, выскреб из ушей, протер глаза — смотрю, лежу на тропе, а кругом трава шумит. И вспомнил: это же Верзила меня душил, чтобы я ему лошадь прирученную отдал. Он ее съесть хочет. А лошадь хромоногая в траве ходит, на привязи. Уполз я в траву и побежал к озеру, где пасется моя лошадь. Бегу и боюсь, вдруг Верзила нападет. Выбегаю на берег, смотрю, Умник на середине барахтается, а Верзила держит его за горло, душит. Э, думаю, Умника надо спасать. Беру аркан, сплетенный Умником из ивовой коры, и кидаю. Петля точно ложится на голову Верзилы. Я резко дергаю, и Верзила заарканен. Подзываю лошадь, вскакиваю на нее и гоню прочь от берега. Конец аркана крепко обвязываю вокруг себя. Оглядываюсь — Верзилу тянет по воде, как пойманную рыбу. Умник поплыл на тот берег, к высокой белой скале. Смотрю, Верзила уже на берегу, волочится по камням, дергается, извивается. Останавливаю лошадь. Другие набрасываются на него, как муравьи на змею. Ну, думаю, забьют, тогда будет большая драка между другими, кому быть вожаком. Гоню лошадь, она шарахается в сторону. Прямо под ногами пробегает стадо кабанов. Я кричу другим. Они кидаются за кабанами. Спрыгиваю с лошади, подхожу к Верзиле. Он весь в крови, хрипит. Ударяю его дубинкой, ослабляю петлю, концом аркана обвязываю его по рукам и ногам. Пусть, думаю, полежит до утра. Он еще пригодится — без сильного вожака нам не прожить...

Мы добыли много кабанов. До темноты я рубил мясо своим топором. Мне накидали гору кусков. Верзилы не было, никто ни у кого не отбирал, все наелись досыта и свалились спать. Ночью поднялся переполох. Умник кричал, расталкивал всех, звал куда-то. Я вскочил, собрал в шкуру свое мясо и вылез из пещеры. Умник показывал на тот берег озера — там мерцал, покачивался из стороны в сторону огонь. Умник звал всех туда, к огню. Другие от страха не могли двинуться с места. Я, старик, три раза за свою жизнь видел большой огонь, и всегда он страшил и манил. Страшно, когда огонь горячий; хорошо, когда огонь теплый. Я пошел за Умником. За нами боязливо потянулись другие. У огня сидела Большая Женщина. Она так близко сидела у огня, что никто не посмел подойти к ней. Умник от страха и любопытства не мог стоять на

одном месте и, приседая и улюлюкая, все ходил и ходил вокруг. Большая Женщина поднялась, взяла обломок дерева и бросила в огонь. Сноп маленьких красных огней поднялся в небо. У всех у нас вырвался крик ужаса и восторга. Большая Женщина спросила у меня, где Верзила и удалась ли охота. Я сказал, что Верзила лежит на берегу, связанный арканом, и что охота удалась: у всех есть мясо. Большая Женщина, когда нет Верзилы, умеет говорить таким же голосом, как и Верзила. «Пусть каждый даст мне по куску мяса»,— сказала она голосом Верзилы. Другие повозились в своих шкурах, и каждый положил у черты, за которую боялся переступить, по куску мяса. Я тоже положил кусок. Большая Женщина взяла извовый прут, насадила на него кусок мяса и протянула к огню. Другие зароптали было, но сразу же притихли. Большая Женщина поворачивала прут, и мясо качалось в огне, дымилось, из него бежал сок. Я жадно вдыхал новый острый запах и чувствовал, как у меня текут слюни. Другие повизгивали от нетерпения. Когда мясо стало коричневым, Большая Женщина разорвала кусок на несколько частей и кинула мне и другим. Я поймал свою долю и чуть не закричал: кусок был горячий. Я перебрасывал его с руки на руку, дул на него, он так просился в рот, но рот боялся. Другие визжали и хохотали. А Большая Женщина крутила над огнем уже другой кусок. Я осторожно лизнул коричневое мясо, потом откусил и прожевал. Еще откусил, еще и еще. И не заметил, как проглотил все. Я не понял, вкусно ли оно, но не мог сдержать дрожи— до того хотелось еще коричневого мяса. Я и другие, пересилив страх, стали приближаться к Большой Женщине. Она крутила над огнем мясо и не замечала нас. Но вдруг оглянулась, схватила дубину и, вскинув ее над головой, сказала голосом Верзилы: «Пусть Старик и другие идут на берег озера и принесут Верзилу». Я подчинился первый, другие пошли за мной. Мы страшно боялись темноты, но еще сильнее нам хотелось коричневого мяса, и мы помнили, каким голосом говорила Большая Женщина. Мы принесли Верзилу и положили возле ног Большой Женщины. Он глядел то на нас, то на огонь, то на Большую Женщину, и в глазах его то горела лютая злоба, то метался страх, то появлялось жалкое выражение. Большая Женщина подтянула его поближе к огню— он задержался и захныкал, стараясь откатиться подальше. Большая Женщина прижала его ногой и поставила ему на горло дубину. «Пусть каждый даст по куску мяса для меня и для Верзилы»,— сказала она. Каждый выложил по два

куска мяса. «Пусть Старик соберет мясо и сложит вот сюда»,— сказала она, показав на свою шкуру. Я собрал мясо и осторожно, прикрываясь от огня, положил мясо на шкуру. «Пусть каждый принесет к огню по столько обломков деревьев, сколько сможет донести»,— сказала она. Мы дружно разошлись в разные стороны, и вскоре каждый принес по большой охапке. Верзила стоял уже развязанный и ел коричневое мясо. Вдруг он воззрился на Умника, который крадучись шел к Дохлятине, лежавшей возле меня. Умник присел, надеясь, что Верзила не узнает его, но тот узнал и, не выпуская мяса из зубов, поднял дубину и ринулся на Умника. Умник, как козел от леопарда, умчался в темноту. За ним, рыча и размахивая дубиной, убежал Верзила. Стало тихо и спокойно. Большая Женщина держала над огнем прутья. Я был сыт, мне было тепло, и я быстро уснул... И теперь не знаю, где я — там или здесь, то ли то сон, то ли это...

Глава двенадцатая, рассказанная Зоей Семенцовой, медицинкой сестрой и подругой Яниса Клаускиса

В ту ночь я долго не могла заснуть. На меня напал какой-то озноб, как при малярии или воспалении легких. Я прощупала пульс — нет, сердце работало, как обычно, восемьдесят ударов в минуту, наполнение хорошее, а внутренне я вся содрогалась: то в жар кидало, то в холод. И вдруг раздался звук и стало трясти. Не помня себя, я выскочила из палатки и бросилась бежать. Мне казалось, что на меня рушатся все горы, какие только есть вокруг. Земля прыгала подо мной, и я упала. На фоне пронзительно-синего неба увидела, как вздрагивает и раскачивается скала, под которой стояли наши палатки. Пыль, серебристая, светящаяся, клубами вздымалась от трясущейся фигуры всадника. Я вспомнила про Яниса — ведь он там, в палатке! Если скала рухнет, он погиб. Я вскочила на ноги, но повалилась — земля подо мной ходила ходуном. Тогда я побежала на четвереньках, как обезьяна, как зверь. Помню, страха не испытывала. Огромными прыжками я добежала до палатки и кинулась к Янису, вернее, к той темной фигуре, которая вырисовывалась под одеялом. Каков же был мой ужас, когда я обнаружила, что Яниса в палатке нет — одна лишь бутафория! Чья-то страшная физиономия заглянула снаружи, потянула ко мне свои жуткие руки, я забилась в угол — тут начался какой-то кошмар, словно в страшном сне...

Мне было холодно и жутко. Сжавшись в комочек, я лежала в темном углу пещеры. Надо мной стоял кто-то, часто дыша, как после быстрого бега. Я зажмурилась, приготовившись к смерти. Он притронулся ко мне, и я узнала Умника. Он звал куда-то, но я так ослабела, что не могла встать. Тогда он поднял меня и на руках вынес из пещеры. И понес вниз, к озеру, прыгая с камня на камень. При каждом толчке острая боль разрывала мои внутренности. Я застонала. Умник остановился передохнуть, и тогда я увидела белую высокую скалу. Умник понес меня к ней. Было страшно, но я держалась, — ведь Умник не боялся. Вблизи скала оказалась очень высокой, до самого неба, гладкой, как рог быка. Умник осторожно притронулся ладонью к скале. Перед нами открылся вход, и там, внутри, все было белое, светлое, теплое — туда хотелось войти. Умник внес меня внутрь. Вход закрылся, но не сделалось темно, как в нашей пещере, когда мужчины задвигают плиту, а наоборот, стало еще светлее. Умник положил меня в центре этой белой пещеры и отошел к стене. Боль утихла. Я согрелась и уснула.

Мне снилось, будто я иду с маленьким ребенком на руках по теплой мягкой земле, а возле ног шумит и пенится теплая зеленая вода. И такая прозрачная и чистая, что сквозь нее виден каждый камешек. И так много воды — насколько хватает глаз, все вода и вода. А берег — широкая полоса желтой искристой земли, мягкой и теплой, — тянется от одного края горизонта до другого. По левую руку — бескрайняя зеленая вода, по правую — теплая желтая земля и густые заросли зеленых пахучих деревьев с широкими раскидистыми листьями и желтыми круглыми плодами, в которых такой прохладный и вкусный сок. И кругом по желтой искристой земле валяются розовые, зеленые, пятнистые, чернобархатные, голубые раковины и тонкие красивые камни, похожие на ветки деревьев или рога оленей, только белые, как иней. И вода все накатывается, волна за волной, и стекает обратно — бесконечно. Я иду с ребенком на руках, одна, кругом ни души, но мне не страшно, а как-то радостно и спокойно, потому что мой ребенок здоров, спит, а я жду любимого человека — он вот-вот должен вернуться из дальней поездки.

Это действительно счастье: быть молодой, любящей, любимой и матерью здорового ребенка от любимого человека. Я сплю и не хочу просыпаться — не хочу обратно в темную холодную пещеру, не хочу!

Но сны проходят. Я проснулась от шума и криков. Я лежала на шкуре Умника возле большого горячего огня.

Большая Женщина была еще ближе к огню, но не боялась. Другие ели странное коричневое мясо. Рядом со мной спал Старик. В его ногах лежал прирученный раненый волк. Большая Женщина держала над огнем прут.

Вдруг из темноты ночи появился Верзила. Он волоком тащил кого-то, держа его за одну ногу. Голова и руки волочились по земле, ударяясь о камни. Верзила подтащил его ближе к огню, и я узнала Умника. Он был весь в крови, черный от побоев, но еще живой. Верзила взял у Большой Женщины свою дубину и поплевал на ладони. Я вскочила, бросилась на Верзилу и так сильно толкнула его, что он не удержался на ногах и повалился в огонь. Шерсть на шкурах, в которые он был завернут, вспыхнула, загорелись волосы на голове,— Верзила выкатился из огня, дымящийся, ревуший, с лицом, перекошенным от боли и ужаса. Большая Женщина с воплем отскочила от него, крутящегося по земле, вдруг опустилась на колени и зарыдала. Верзила катался где-то в темноте и громко стонал. Я была зла и ничего не боялась: двое других по моему знаку подняли Умника и понесли за мной в пещеру. Я чувствовала себя здоровой и сильной и велела положить Умника на то место, где обычно спал Верзила. Это было самое теплое, самое удобное место. Тут же лежали старые шкуры, и я укрыла дрожащего от холода Умника. Другие смотрели на меня со страхом и почтением, ведь я, маленькая Дохлятина, не побоялась самого Верзилу. Я приказала им закрыть вход в пещеру, и они кинулись выполнять мой приказ. Но плита была слишком тяжела для двоих,— они сопели, кричали, но не могли сдвинуть ее с места. Снаружи раздались шаги, и другие трусливо убежали. Я легла возле Умника, готовая на все. В пещеру осторожно влезли Большая Женщина, Верзила и Старик. Верзила тихо стонал, от него пахло паленой шерстью. Большая Женщина увидела, что место Верзилы занято, и сказала Умнику, чтобы он убирался. Тогда я поднялась, нашла ее руку, положила себе на живот и сказала, что у меня будет ребенок. Старик передал мои слова Верзиле и увел его в угол, где обычно лежала я. Там из трещины сверху всегда сильно дуло, но Верзила был жирный и не боялся холода. Большая Женщина ушла к Верзиле. Я легла возле Умника и укрылась его шкурами. Нам вдвоем было тепло и уютно, и я быстро заснула.

Глава тринадцатая, рассказанная Янисом Клаускисом, специалистом по звуковой аппаратуре

Трансформация во времени произошла настолько незаметно и иллюзия была такой яркой, что я, так же как Василий Харитонович, могу только удивляться: где сон, а где явь? Я сказал «иллюзия», применив это слово к прошлому, — с таким же правом я мог бы сказать «иллюзия» про настоящее и будущее...

...Я бежал по тропе к озеру. От белого камня, спустившегося с неба, доносился надсадный плач ребенка. Я бежал и думал, что возьму ребенка и отдам Дохлятину — тогда Верзила оставит ее в покое. И вдруг я увидел, что Верзила гонится за мной. Жизнь моя повисла на волоске: либо спастись бегством, либо падать на землю лицом вниз и позой смирения просить пощады. Я помчался что есть духу к озеру через заросли травы. У него ноги были длиннее, но зато я был легче. Вот и озеро! Я кинулся в воду прямо в шкуре и в подошвах. От страха я не чувствовал холода и плыл, быстро перебирая руками и ногами. Верзила метался вдоль берега. Ему жалко было бросать дубину, страшно было лезть в холодную воду, но и боязно было других, которые, как стая шакалов, окружали его, готовые отомстить за старые обиды. Наконец ненависть ко мне переборола все, и Верзила, бросив дубину, кинулся в воду. Его широкие руки на воде работали лучше, чем мои. Я плыл и смотрел на высокий белый камень как на спасение. Голос плачущего ребенка отчетливо доносился сверху, из темной дыры, в которой что-то блестело. Я уже слышал за собой сиплое дыхание Верзилы, когда из высокого белого камня вылетело что-то и упало недалеко. Я подплыл ближе и, едва протянул руку к тому, что упало и было похоже на сплющенное яйцо, как Верзила ударил меня по руке, — что-то ушло под воду. Я нырнул, пытаюсь поймать что-то, но оно утонуло. А Верзила схватил меня за горло и стал душить, но почему-то отпустил и, как заарканенный, заскользил к берегу, тараща глаза и размахивая руками. Я поплыл к другому берегу, из последних сил выбрался на камни и, поднявшись, медленно побрел к высокому камню. Еще издали я увидел в основании камня вход в пещеру — она была светлая и теплая. Меня потянуло внутрь. Вход закрылся за мной, но я не испугался — только удивился. Впереди открылся еще вход, поменьше, и там, дальше, тоже была пещера, только маленькая. Я вошел в нее, вход закрылся, и

снова я не испугался. Вдруг пол стал сильно давить на подошвы и в голове сделалось туманно. Я закачался, но тут же все прошло. Я осторожно выглянул: передо мной была светлая и теплая пещера, но совсем другая. Эта была огромная и просторная. В центре в круглом углублении была вода, в ней виднелось точно такое же Что-то, что утонуло на середине озера. Сзади раздался шелест, я обернулся и вскрикнул от удивления: стена на высоте моей груди отвалилась и образовалась большая дыра, сквозь которую видны были горы, лес, наша пещера и внизу — озеро. На берегу Старик и другие связывали Верзилу. Они возились с ним, как с медведем, — он рвал в клочья путы, отбрасывал их, но они, как муравьи, облепляли его снова, и он рычал и выл от бессильной ярости. Я заплясал, предвкушая, как они сейчас прикончат Верзилу, но тут Старик увидел стадо кабанов — я тоже их увидел, — и другие, бросив Верзилу, погнались за кабанями. Возле Верзилы остался один Старик, — он ударил его дубинкой, связал и, вскочив на лошадь, ускакал вслед за другими. Я видел, как впереди, колыша траву, неслись кабаны, а за ними, рассыпавшись цепью, бежали другие. Старик скакал на кобыле и гортанным голосом подавал команды — другие слушались. Я с жадностью следил за охотой. Отсюда было видно, как другие загнали кабанов в каменный клин с отвесными стенами и начали избивать их — вопли и визг еще долго доносились от туда.

От усталости и голода я опустил на пол и заснул было, но вдруг земля подо мной задрожала, вода в яме, в центре пещеры, покрылась рябью, и я услышал звук — такой страшный звук, будто выл большой голодный волк, рыдала сова и плакал маленький ребенок одновременно. Звук исходил от воды, от того белого и круглого, что было похоже на Что-то, утонувшее в озере. Мне хотелось вскочить и бежать, но вместо этого я ползком приблизился к воде. Едва я обмакнул пальцы, как звук изменился. Я погрузил кисть — звук стал приятнее, не таким резким и выворачивающим душу. Тогда я опустил в воду одну руку, потом другую, — звук еще более смягчился. Я опустил в воду ноги и погрузился весь, по самое горло, — звук стал певуч, будто запела стая перелетных птиц. В воде было тепло и приятно и я, плавая как рыба, случайно дотронулся до белого и круглого Чего-то, лежавшего на дне ямы...

...Вынырнул я на середине озера. Солнце палило нещадно, но здесь, в воде, было не так жарко — два могучих вентилятора Станции Контроля Космических объектов (СККО) подсасывали к озеру холодный воздух с вершины

восточного хребта. До конца дежурства было еще полтора часа, и я включил гермошлем, чтобы проверить показания приборов и окинуть взглядом Входной Экран.

Гермошлем — очень удобная штука: где бы вы ни были, в озере, в лесу ли, на вершине горы — в радиусе десяти километров гермошлем соединит вас с контрольным пунктом, и перед вами возникнут приборы и экраны, как будто вы перенеслись в операторский зал. Просто не верилось, что было время, когда операторы как идолы торчали перед приборами, не смея отлучиться. В гермошлеме вы можете, бродя где угодно, одновременно видеть показания приборов.

К тому же гермошлем следит за малейшими изменениями в показаниях приборов, и как только какой-нибудь параметр превысит допустимое значение, шкала начнет мерцать с негромким тревожным позвякиванием. Если же вы не среагируете, то получите порцию электрощелчков, которые способны разбудить любого засоню.

Итак, я переключил гермошлем на обзор приборов и Входного Экрана. По Инструкции такие проверки полагалось делать каждый час, но мы с женой считали этот пункт пережитком прошлого: ведь подобные системы были просты и работали без сбоев сотни лет на межпланетных радиомигалках. Однако как бы мы ни критиковали Инструкцию, а Инструкция была для нас законом, нарушить который можно только раз, — Автомат Станции сразу отключал нарушителя от систем контроля, и вы должны были подыскивать себе другое занятие — всякие переговоры с Автоматом исключались.

Осмотрев приборы, я перевел глаза на Входной экран. Каждый раз, когда смотрю на него, я поражаюсь нашему пристрастию к старомодным терминам. Входной Экран! Надо же было так скучно назвать гениальнейшее изобретение последнего столетия! И главное — ничего, что походило бы на старые экраны. Просто перед вами возникало черное, разбитое на квадраты пространство космоса. Квадрат за квадратом плавно проходил перед глазами, просматриваемый бегающими лучами на глубину в два световых часа. Поговаривали, будто бы Другие уже испытывают системы с глубиной просмотра до пяти световых часов, — если это так, то в случае появления космического объекта они смогут «перехватить» его прежде нас и «высосать» полезную информацию. Такого еще не случалось за всю историю человечества, но Инструкция требовала, чтобы мы были готовы к любому варианту...

Входной Экран зиял, как огромная мрачная дыра в

Ничто. Иногда мне даже казалось, что из него веет холодом, хотя конечно же, никакого холода не могло быть, потому что это было чисто иллюзорное изображение. Я осматривал свой сектор, когда вдруг скорость просмотра резко возросла, квадраты замелькали, как кадры древнего кинематографа,— я весь напрягся, ожидая чего-то необычайного. Таких явлений еще не отмечалось за все время существования станции. От мелькания черных зияющих дыр у меня закружилась голова, и, забыв, что нахожусь в воде и что надо хотя бы чуть-чуть грести, я пошел на дно и порядком нахлебался. А вынырнув, с удивлением обнаружил, что передо мной «висит» квадрат, уже просмотренный мною, с яркой, все увеличивающейся точкой, движущейся прямо на меня. Включился автоматический хронометр, и сбоку светящимися цифрами начался отсчет времени и расстояния. Тут же пришел сигнал, что Станция успела взять объект под свой контроль. Это значило, что любая информация, в виде ли электромагнитного излучения, в виде ли гравитационных волн, или комбинированными способами, например, шнур в шнуре,— вся информация, которую мог бы передавать космический объект любым известным способом, надежно экранировалась и сообщалась только на нашу станцию. Подобные системы Других уже ничего не могли перехватить.

Я сообщил об этом через стереофонический мегафон — мой голос, как эхо, прозвучал по всему горному району. Даже если кто-то из сотрудников Станции был на охоте на расстоянии до двадцати километров, он услышал бы мое сообщение.

Точка нарастала, и, когда появился Главный, она была величиной с кедровый орех. Объект шел с огромной скоростью, системы наблюдения выдавали результат с большой погрешностью — на самом деле объект был уже намного ближе к нам, чем это показывал Входной Экран. Правда, надо отдать должное его скромности: время от времени на табло вспыхивали слова: «Не могу оценить точность. Не могу оценить точность». Ну что же, теперь, когда объект в нашем «мешке», особая точность и не нужна — какое имеет значение, через час двадцать он достигнет атмосферы или через час тридцать. Важно, что информация из него уже «выкачивается» нашей Станцией и по специальным каналам связи поступает в Центр. Мы, работники Станции, понятия не имели, что там «качают» наши «насосы».

Главный, очень пунктуальный и придирчивый, тщательно просмотрел видеоотчет о начале контакта Станции

с объектом и сухо сказал через стереомегатон, что я действовал точно в соответствии с Инструкцией. У него принцип: никогда никого не хвалить.

У нас коллектив небольшой — пятеро, не считая старика для верховой езды и веселого молодого пса. Мы работаем уже несколько лет и все очень дружны. Главный и его жена, врач Станции, и мы с женой — все довольно едины во взглядах и интересах и не стремимся искать другое общество. Пятый — одинокий старик, прибывший к Станции и выполняющий различные вспомогательные функции, увлечен разгадкой секретов тибетской медицины. Главный и его супруга любят охоту, рыбалку, метание копий. Мы с женой предпочитаем разведение древних, почти истребленных животных, например бурундуков.

Объект приближался, и направление его движения менялось: ясно было, что он лишь приблизится к Земле и уйдет дальше, в сторону Солнца. Я вылез на берег, развалился на горячем песке. Передо мной пронеслись черные квадраты космоса, а объект, напомиавший серебристый сияющий мячик, как бы висел на одном месте, чуть заметно уменьшаясь в размерах. Вдруг от мячика отделилась искорка и стала уходить по касательной в сторону. Я тотчас же объявил по стереомегатону. Главный распорядился включить второй «мешок». Я включил и тотчас получил сигнал, что микрообъект взят под контроль.

Через час объект исчез с Входного Экрана, а микрообъект, тормозясь, начал крутить вокруг Земли сужающиеся петли. Я должен был сдавать дежурство Главному, когда из Центра сообщили, что, по расчетам, микрообъект приземлится в нашем районе. Главный объявил готовность всего персонала — все мы собрались на берегу озера, в гермошлемах, и даже Старик вынужден был оторваться от ста томов Ганжура и двухсот семнадцати томов Данжура. Он принес лассо, сплетенное по просьбе Главного для охоты на заводных механических косуль. За ним приплелись его любимчики — умяга конь и веселый пес.

Мы стояли возле «пещеры» — так называли мы между собой нашу Станцию, потому что она была построена в бывшей пещере, которую пришлось значительно расширить. Стояли, задрав головы к небу. Микрообъект был уже настолько низко, что Входной Экран не брал его, и мы использовали допотопные оптические дальномеры. Мы с женой первые увидели поблескивающую точку прямо над нами. Все наперебой стали высказывать предположения, что бы это могло быть. Но фантазировать пришлось недолго — вскоре микрообъект уже плавно покачивался над

поверхностью воды на маленьком парашюте. Стропы тянулись к сетчатому мешочку — там лежало Что-то, напоминавшее сплющенное яйцо, гладкое и белое, как полированная кость.

Глядя, как Что-то медленно приближается к воде, я сказал, ни к кому не обращаясь, что надо бы срочно подплыть, чтобы не дать утонуть. Главный, тоже как бы разговаривая с пространством, сказал, что торопливость здесь неуместна, а уместны осторожность и выдержка. Я сказал, что потомки нам не простят, если с микрообъектом что-нибудь случится. Главный ответил, что те, кто его запускал, знали о существовании атмосферы,— он показал на парашютик,— а следовательно знали и о существовании воды, и поэтому вода ему не страшна. Я сказал, что, возможно, это и так, но все-таки проще взять его сейчас, подставив руку, чем потом нырять на сто метров под воду и шарить там между камней. Ведь все равно придется его брать. «Мы не имеем права своевольничать»,— все более раздражаясь, сказал Главный. Я возразил, что Инструкция не запрещает входить в физические контакты с космическими объектами. «Да,— сказал он,— Инструкция не запрещает». Спорить с ним было бесполезно. У него принцип: делай то, что поощряется, и не делай того, что не запрещается.

В этот момент раздался металлический щелчок, и один из четырех строп, на которых держалось Что-то, автоматически отстегнулся. До поверхности воды оставалось несколько метров. Я знал, что если я сейчас брошусь в воду, то успею доплыть, но я знал и другое: Главный нажмет в своем гермошлеме специальную кнопочку, Автомат Станции навсегда отключит меня от работы, и я вынужден буду снова уйти в город, откуда мы с женой вырвались с таким трудом.

— А вы как считаете? — обратился я к его жене.

Она не сводила глаз с микрообъекта. Я думал, что она не слышала, но она вдруг повернула ко мне строгое свое лицо и быстро сказала:

— Я бы на вашем месте не спрашивала!

Главный с удивлением взглянул на нее и покачал головой. Старик странно улыбнулся и, подняв к небу палец, изрек:

— «Ваша душа очистится, если вы познаете истину».

Жена незаметно кивнула мне, и я бросился в озеро.

— Запрещаю! — закричал Главный, и я услышал, как он плюхнулся в воду вслед за мной.

Я плыл, поглядывая через плечо за преследователем. Главный быстро нагонял меня — сказывалась его натрени-

рованность. Я напряг все силы. Микрообъект висел уже почти над головой. Когда я подплыл к нему, отстегнулся второй строп, и Что-то сильно наклонилось, готовое выскользнуть из сетчатого мешочка. Я дотянулся, ощутил его холодную твердую поверхность, но Главный ударил меня по руке, схватил за горло. В глазах потемнело, но внезапно пальцы его разжались, и он, рыча от бессильной ярости и размахивая руками, заскользил к берегу. Сквозь туман, плавающий перед глазами, я увидел, как Старик, сидя верхом, вовсю погонял коня. От него в воду тянулась длинная веревка...

Тут возле моего лица раздался всплеск, и Что-то скользнуло под воду. Я нырнул и едва коснулся его пальцами, как тотчас же ощутил сильный рывок...

...Я понял, что веревка, которой я был связан с плотом, зацепилась за бревно. А когда вынырнул, был оглушен грохотом и воем. Над озером висела полная луна, все вокруг странно дрожало. Я посмотрел на берег — там должен гореть фонарик Ирины... Вдруг кто-то возник из темноты, схватил своими лапами гофрированные трубки акваланга и пережал их, скалясь от дьявольского смеха. Подача кислорода прекратилась, аварийный клапан, видимо, тоже был пережат, — задыхаясь, я сорвал с пояса веревку и накинул петлю на голову страшилища. Он отпустил меня и, рыча, заскользил к берегу. Мне некогда было разбираться с веревкой, которая застряла где-то между бревен, — я дернул ее что было сил, вырвал и тотчас нырнул.

Я погружался все глубже. Фонаря, укрепленного на маске акваланга, было недостаточно, я включил запасной фонарик. Звук продолжался. Пеленгатор указывал направление: вертикально вниз, на дно озера. Я торопился. Времени оставалось не так уж много, да и начинала сказываться холодная вода, хотя я и был в белье, смоченном постным маслом.

Внезапно стрелка пеленгатора задергалась, заметалась из стороны в сторону, как бешеная. До меня донесся приглушенный грохот, вой, скрежет. Мягкая, но сильная волна ударила снизу в лицо, в грудь, швырнула, закрутила и понесла в чудовищную воронку. Грохот нарастал — звука, который исходил от источника, почти не было слышно.

Теперь меня уже не крутило, а несло, как щепку, вниз, на дно. Свет фонарика отражался от слоев воды, дробился, и я мало что мог видеть. Мимо мелькнул черный рваный край, и на расстоянии вытянутой руки заскользила вверх

каменная стена с причудливо изогнутой поверхностью. Такая же стена проносилась с другой стороны. Я понял: дно озера расколосось и меня засосало в трещину.

Постепенно скорость потока уменьшилась, и я плавно опустился на глыбу, застрявшую между стен. Где-то вдали свистел и ревел поток — здесь же было спокойно. Я направил пучок света под ноги и вскрикнул от удивления: в выемке между глыбой и стеной блестело Что-то, напоминавшее сплющенное яйцо, гладкое и белое, как полированная кость. Я взял Что-то в руки, и тотчас странное, чудное ощущение овладело мною: будто я раздробился на множество других «я», в каждом из которых как бы присутствовал тот «я», у которого в руках было Что-то. Будто я окунулся в бассейн, кишаший точно такими же телами, как и я, причем каждое другое тело было тоже моим. Я засмеялся, руки мои затряслись, и от белого, гладкого, напоминавшего сплющенное яйцо, пошел тот самый звук, который исходил от озера, только этот был тихий и мелодичный. Изумленный, я застыл, глядя вытаращенными глазами на то, что было у меня в руках, — звук прекратился. Я снова потряс руками — звук пошел опять. Тогда я как сумасшедший стал встряхивать Что-то, забыв обо всем на свете. И чем дольше я тряс, тем больше терял ощущение самого себя и все больше как бы уходил куда-то, растворялся во времени, переходя из одной телесной оболочки в другую. И вот я увидел, или, точнее, охватил мысленно, все, что было раньше со мной, что есть теперь и что будет в будущем. Я понял, что сквозь века в разных телесных оболочках передается одна и та же человеческая суть — моя! Я был Умник, Янис Клаускис и Оператор Станции Контроля Космических Объектов одновременно — я жил сразу во всех них или все они частично состояли из меня. Я понял, что я вечен! Вечна моя суть!

Видимо, это был последний толчок — стены трещины заколыхались, как фанерные декорации от случайного сквозняка, глыба подо мной зашевелилась и пошла вниз. Я полетел вслед за глыбой — сверху меня нагнал огромный камень, от которого я не сумел увернуться. Удар пришелся по голове. Как бы из другого тела я увидел себя, того, который держал в руках Что-то, — я увидел, как меня, то есть его, отшвырнуло камнем к стене, поцарапало до крови плечо, грудь, бедро. Как вывалилось из ослабевших рук Что-то и, планируя в струе и крутясь, скользнуло в черную жуткую глубину.

Больше я ничего не помню...

Глава четырнадцатая, в которой разговаривают все сразу, сидя у костра возле разрушенной скалы

Зоя. Когда мы вытащили тебя из трещины, ты был как труп.

Ирина. Острая кислородная недостаточность, переохлаждение плюс тяжелейшие ушибы. Возможно, небольшое сотрясение мозга. Поэтому лежи, не двигайся — несколько дней.

Виталий (*задумчиво*). Кажется, я изобрел еще один важный принцип... (*Все смеются, Виталий обескуражен.*) Что я такого сказал?

Янис. Не обижайся, старина, мы смеемся не над тобой.

Ирина. Теперь я знаю цену твоим принципам: стоило заиграть какому-то камню, и все твои принципы...

Виталий (*обиженно*). Что, я, нынешний, тронул кого-нибудь? Убил? Задушил? (*Янису*). Ты что-нибудь имеешь против меня?

Янис. Нет. Не волнуйся, конечно, это был не ты. Ведь все это происходило совсем в другие эпохи.

Виталий. Вот попробуй объясни ей.

Янис. По-моему, всем все понятно. Главное, друзья, заключается в том, что здесь, в свое время, мы остаемся людьми. (*Добродушно, косясь на Виталия*). Конечно, не без маленьких, очень маленьких недостатков...

Виталий (*торопливо прожевывая кусок колбасы*). По сравнению с тем, пещерным, я просто ангел.

Янис. А Виталий молодец, перенес продукты в пещеру, теперь бы сидели голодные — все осталось бы под скалой.

Ирина. Ой, не говорите про пещеру! Не могу представить, как можно было так деградировать...

Янис. Ничего особенного. Влияние звукового поля. Видимо, за счет микротолчков источник все время излучал небольшую мощность, которая и действовала на нас постоянно в течение всех последних дней.

Ирина. Да, но как я могла?! Это мясо — фу!

Виталий. Теперь я тоже знаю твои возможности. (*Шутливо отодвигается от нее.*) Надо подальше от тебя, а то еще возьмешь дубину и...

Василий Харитонович (*Янису*). Ты счастливый, ты держал в руках Смешивающий тысячу веков белый камень Эрдени! Народ напрасно легенды не сочиняет.

Янис. Да, насчет народа вы правы. Но камень дер-

жал не я, вернее, не только я. Вообще приключение это наводит меня на мысль, что человечество состоит из огромного числа восходящих рядов, оно, как спектр видимого света, содержит линии самых тончайших оттенков, и каждая линия, как полосочка спектра, соответствует определенному свойству человеческой натуры — доброте, жестокости, уму, глупости, честности, лицемерию и так далее. И все эти восходящие ряды человеческих натур пронизывают на стеблях генов-носителей всю толщу времени — от возникновения homo sapiens до веерообразного расширения в необъятном космосе. Друзья! Нам выпало жить в XX веке, и я счастлив, что живу теперь, а не тогда, во тьме пещеры.

В и т а л и й. Стоп-стоп-стоп! Кажется, рождается новый принцип: чем больше счастья, тем больше проблем. Или: хочешь быть счастливым — ищи на свой нос приключений!

Я н и с. Строго говоря, ты прав. Счастье — в движении, в преодолении.

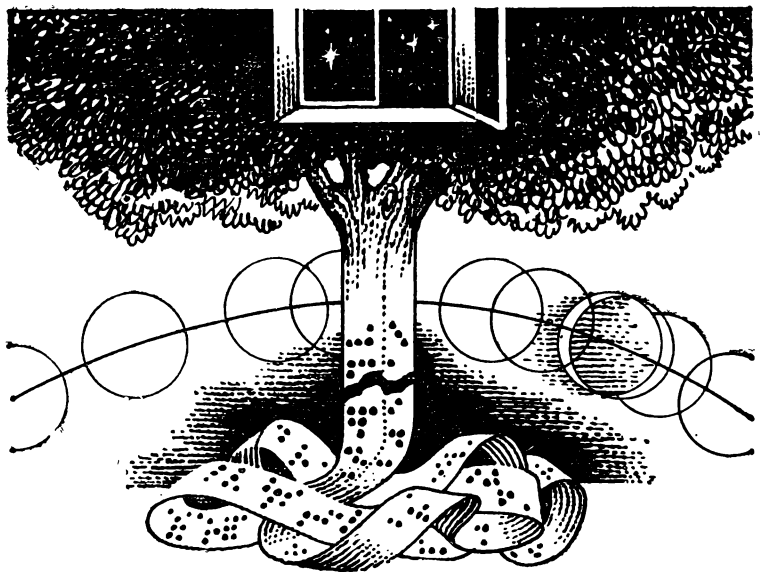
И р и н а. Мне все понятно, но при чем здесь этот белый камень Эрдени?

Я н и с (*поборов усмешку*). Поющее яйцо, поющая лагуна, поющий камень, поющее озеро — все эти легенды — следствие случайных встреч с одной и той же модификацией машины времени. Зачем это? Видно, для того, чтобы мы, люди, смогли узнать свое прошлое и заглянуть в будущее. Кому это надо? Думаю, больше всего самим людям. «...Народ напрасно легенды не сочиняет», как верно заметил Василий Харитонович.

З о я. Но почему «поющие», почему кругом музыка?

Я н и с. Ну, это понятно: расчет на то, что только разумные существа, стоящие на высоком уровне технологического развития, смогут разложить музыкальную информацию и проникнуть в глубинные слои, где и начинает работать машина времени. Не исключена вероятность, что в будущем нас ждут новые встречи с поющими камнями.

В и т а л и й. Ну уж извините! На этот случай у меня есть железный принцип: подальше от поющих камней! Вообще от камней!



Галина Панизовская

Ошибка

НОВЕЛЛА

— Владимир Александрович! Вы?

Она была в сером платье, в котором ходила прежде на лекции. Теперь оно, наверно, было домашним.

— По-моему, мы на «ты», — напомнил Володя.

— На работе — нет. Ведь вы ко мне как начальник?

Надя училась на четыре курса младше, и, когда после распределения появилась в его лаборатории, они оба приняли вдруг официальный тон.

— Начальников я на порог бы не пускал, — ответил он теперь.

— Тогда входи. Я сейчас...

Пропустив его в комнату, она поспешно удалилась. Было слышно, как в ванной льется вода.

Володя не был здесь года три. Или больше?.. Диван стоял, как раньше — у окна. И мир крыш за окном, как раньше, влезал вовнутрь, раздвигал стены, звал к себе... Статья Откинса валялась раскрытая под подоконником.

«Итак, мы показали, что выводы Надежды Веселовой содержат ошибку, и открытие русских, касающееся дискретности времени, оказалось, к сожалению, всего лишь дешевой сенсацией. Впрочем, за автором остается возможность нам ответить...» — в сотый раз прочел Володя.

Последние четыре слова были подчеркнуты. И оттого, что она подчеркнула их неровной синей чертой, ему сделалось как-то легче.

«Ну кто, в конце концов, этот Откинс? — спросил он себя. — Видный американский ученый, математик? Да. Но ведь не господь же он бог, в самом деле!» Статья Откинса пришла только вчера, а Надина дискретность времени касалась совсем новых областей математики, так что даже крупные специалисты не могли пока судить, кто прав. Это знала пока только сама Надя.

«Вот сейчас она войдет и скажет, что все это чушь, что американец просто врет», — говорил себе Володя.

Но она не входила, а в ванной что-то булькало. И он со смутной неловкостью вспомнил, что ведь, кажется, неприлично врываться вот так после десяти... Однако Надина работа наделала в прошлом году столько шума... Он должен был узнать, прав ли Откинс. Ждать до утра он не мог. И потому стоял теперь в Надиной комнате в одиннадцатом часу вечера и слушал, как она, наконец, закрывает в ванной воду...

Пять минут назад она впустила его и сказала: «Входи...» Она сказала: «Входи», а ей бы надо было сказать просто: «Все в порядке!» или уж выложить сразу: «Ох, знаешь, американец прав!» Неужели он прав? Сейчас она войдет и скажет...

— Я долго? Извини! — сказала Надя.

Она вошла, держась рукой за косяк. Рука была влажная, с закатанным рукавом. И это почему-то вселило надежду. «В конце концов, с чего я взял, что Откинс непременно прав?» — удивился он. Кисть ее руки была розовая, а локоть белый и, наверное, теплый...

— Знаешь, — произнесла она, — я решила бросить математику.

Комната, свет лампы, Надя у дверного косяка — все это постепенно возвращалось откуда-то издали. «Что? — хотел переспросить Володя. — Что?» Но слова ее висели в воздухе, становились невыносимо реальными: «Я решила бросить математику». Так. Значит, Откинс все-таки прав...

Володя нагнулся. Поднял статью. Сунул ее в карман. И ему казалось, он слышит, как Откинс там торжествует.

Значит, она согласилась с Откинсом. Или, может быть, нашла ошибку сама, еще до статьи. Вот почему она была в последнее время такая нервная...

— Это решено. Я собиралась сказать тебе раньше,— услышал он.

Значит, ошибку нашла она сама. Значит там действительно была ошибка...

Володя сделал в Надиной работе один раздел по теории вероятности — это была его специальность. Остальные расчеты она делала сама. И это была очень новая область... Он помнил все сорок конечных уравнений. Но, значит, там все-таки была ошибка, раз она так...

Сегодня утром он сидел в своем кабинете перед двумя молчащими телефонами. Сидел и представлял себе Надю со статьей Откинса: как она достает статью из конверта, проглядывает...

— Владимир Александрович, я хотела сказать вам...— услышал он.

Как жаль, что не принято закрываться в кабинете на ключ.

— Слушаю вас, Станислава Мстиславовна.

— Мне говорили, что в связи с делом Надежды Андреевны у лаборатории будут крупные неприятности.

— С делом? Что вы имеете в виду?

— Разумеется, это ее пресловутое открытие... Сенсационные выводы, поспешная публикация. И когда после этого доказано, что это всего лишь простая, чуть ни арифметическая ошибка...

— Это не доказано.

— Да?

— Уверяю вас.

— Владимир Александрович! Я так рада!.. А я не спала всю ночь, все думала: «Бедная Надюша! Понятно, почему она стала такая нервная...» Я просто больна была от огорчения. Вы меня вылечили, Владимир Александрович... И у дирекции не будет причин к недовольству... Я так рада... В самом деле...

— Извините, Станислава Мстиславовна,— сказал Володя.— Я спешу.

Спешить ему было некуда. Просто осточертела уже эта комната с легко открывающейся дверью и молчащими телефонами...

А ведь статья Откинса пришла только вчера. И в ин-

ституте она имелась как будто только в двух экземплярах. Один он запер в стол, в самый нижний ящик. А другой послал Наде.

— Доброго здоровья, Владимир Александрович!

«Ну вот, опять не успел выскочить»,—подумал Володя.

— Здравствуйте, Евгений Петрович.

— Извините, что задержу. Я хотел поинтересоваться насчет Надежды Андреевны.

— Да?

— Надежда Андреевна, как вы знаете, позволила себе всенародно объявить, что я вот уже двадцать лет жую одну и ту же жвачку... одну и ту же, видите ли, жвачку прописных истин... Ей, видите ли...

— Это очень неприятная история,—перебил Володя.— Но ведь это было так давно. Мы все принесли вам тогда свои извинения. Но я еще раз прошу вас извинить Надежду Андреевну, она сожалеет...

— Не стоит труда. Она сказала, видите ли, что не любит дураков...

— Она сказала это вам?

— Не мне. То есть не прямо мне. Но я...

— Вы хотите, чтоб я переговорил с ней?

— Уже не хочу. Я понял причину ее повышенной нервозности. Я только хотел получить от вас подтверждения. Это правда?

— Что именно?

— То, что она опубликовала неверные выводы и поставила всех нас в пренеприятнейшее положение. Видите ли, ложный результат — и все это ради минутной славы!.. Подумать только!

— Между прочим, Евгений Петрович, работу Веселовой подписал к публикации именно я, как начальник лаборатории, так что...

— Ради бога, дорогой Владимир Александрович!.. Вы так еще молоды. Вы были введены в заблуждение... Я далек от мысли...

— А перед этим работу одобрил Ученый совет, членом которого являетесь и вы, Евгений Петрович.

— Лично я на этом заседании не присутствовал. Сие отмечено в протоколе.

Теперь Володя мог наконец сбежать. Но он мало выиграл от бегства. Потому что ведь в кабинете на столе остались стоять два телефона. И по любому из них могла позвонить Надя... В общем-то это было удачно, что она как раз взяла свои отгулы. Статью Откинса она должна

была получить сегодня с первой почтой. И теперь вот-вот позвонит... Он прогуливался мимо своей двери... Коридор был пуст. Вдруг в нем возник сам собой Смирнов — заместитель начальника отдела кадров. Он приближался странными, неслышными шагами.

— Владим Санычу большой привет!

Он подошел вплотную. На правой стороне его лба белела шишка. Странная шишка. Он пришел в институт уже год назад, а Володя все никак не мог привыкнуть.

— Я слышал, у вас в лаборатории нервная обстановка? — поинтересовался Смирнов полусшепотом.

Шишка на лбу шевелилась при каждом слове. Володя с трудом оторвал глаза.

— Да? — удивился он. — Интересно. А я что-то пока не слышал.

— А вы зря обижаетесь, Владим Саныч. У вас в общем-то здоровый коллектив, но...

— Но?..

— Мне говорили, ваша Веселова человек нервный, болезненный... Скажите, когда вы узнали, что у нее шизофрения? А?

— Что?.. Вы, извините, шутите?

Шишка на лбу раздулась и вдруг стала лиловой. Смирнов погладил ее толстым указательным пальцем.

— Шучу, шучу, Владим Саныч... Но тетка ее уж действительно того... Говорят, тетушка-то в больнице и это у них у всех — семейное... А что это ваша Веселова напутала там в, как их, расчетах?..

— Кто вам говорил?

— Да вы не волнуйтесь. Вы...

— Я и не волнуюсь. Но хотелось бы узнать, Федор Викторович, кто сообщил вам все эти мерзости?

— Я бы на вашем месте, дорогой Владим Саныч, не выражался так уж неосторожно. Мне говорили честные люди. Те, что болеют за институт... Да! А то что-то многовато развелось у нас этих, как их, теоретиков...

— Спасибо за совет, — сказал Володя отходя.

Телефоны молчали. Он представил себе Надю, как она сидит со статьей Откинса на коленях. Ей пора бы позвонить. Вот сейчас...

Звонок!

— Пегин... Пегин слушает!

— Владимир Саныч! Я из машбюро.

— Кто?

Это была всего лишь Мартова. Голова у Володи как-то отяжелела.

— Слушаю вас, Тамара Сергеевна.

— Сдали в печать месяц назад... не будет готово... срывается срок... не хочет для нас печатать...

— Простите, я не расслышал. Кто не хочет печатать?

— Я же говорю, начальник машбюро Харитонов. Это же просто безобразие, Владимир Саныч! Он говорит, что от теоретиков вообще нет никакого толку. И что он получил команду печатать для нас в последнюю очередь.

— Команду? От кого?

— Не говорит от кого. И еще, Владимир Саныч, он говорит, что все равно мы все путаем.

— Спасибо, Тамара Сергеевна,— сказал Володя.— Я займусь этим сам.

Было без трех минут шесть. Потом — без одной, потом — шесть минут седьмого. Володя медленно надел плащ. Повернул ключ в замке, последний раз прислушиваясь из-за двери — не позвонит ли... Собственно идти ему было некуда, потому что там, дома, тоже ведь телефон, такой же зеленый и немой. А он не мог больше играть в эту телефонную молчанку.

Под дверью библиотеки желтела полоска света.

— Юля, можно?

Юля сидела, положив ногу на ногу, держа сигарету между пальцами. Каждый вечер, проводив читателей, она курила вот так на дорожку, одна в полутемном зале.

— Володя?.. Сигаретку?

— Ага. Спасибо.

— Курите-курите. Я оставлю форточку приоткрытой... Какая мерзкая погода на улице! Холод...

— Холод,— согласился Володя.— Юля, вы знаете Надежду Андреевну?

— Высокая шатенка, да? Мне говорили, что у нее неприятности с какой-то работой... Значительная женщина!.. Так, значит, Надежда Андреевна открыла, что мы можем посетить своих прабабушек? — удивлялась Юля.

— Теоретически возможность путешествий в прошлое доказана математикой еще в конце двадцатого века. Но речь идет не о практическом пикнике, а лишь в принципе...

— Все равно, Володя, это потрясающе! Я никогда не слышала... Но в чем же тогда открытие Надежды Андреевны?

— В правилах движения. Допустим, вы решили быть гостьей на свадьбе Наполеона и Жозефины...

— Наполеон мне несимпатичен,— грустно вздохнула Юля,— он, в общем-то, не был верен друзьям.

— Да? Но, предположим, вы все-таки побывали на его свадьбе. И забыли там свое кольцо. Вот это. Получить его обратно было бы трудно: Надежда Андреевна показала в своих уравниваниях, что нельзя посетить одно и то же время дважды.

Юля вытянула палец с большим голубоватым камнем в тонких золотых лепестках, произнесла со вздохом:

— Жаль. А то мы могли бы всю жизнь возвращаться в дни, когда были счастливы.

— Это невозможно.

— Что ж. Этого и следовало ожидать... Но свое кольцо я бы все-таки вернула. Я очень люблю его: его подарил друг... В первый раз я побывала у них в день свадьбы, да? А за кольцом я явилась бы к следующему воскресенью. И с вашей математикой все было бы в порядке.

— Нет. Надежда Андреевна показала, что нельзя появиться даже близко к тому времени, которое уже посетил. Это названо дискретностью времени...

— Дис-крет-ность? Знакомое слово. Означает, как будто, прерывистость. Да? Но если нельзя через неделю, то через сколько же можно?

— Вычислить абсолютно точно пока не удалось. Но приблизительно вы могли бы потребовать у Жозефины свое кольцо спустя двадцать пять лет с того времени, как вы его потеряли.

— Вы не помните, сколько прожила Жозефина? — задумалась Юля.— Но за двадцать пять лет она все равно бы меня забыла. И потом, у нее было за это время столько горя, что я сочла бы просто бестактным... Ну нет, кольцо надо забрать сразу! Ведь если это нельзя мне, я могла бы попросить кого-то другого? Например вас, Володя?..

— Если я не сопровождал вас на свадьбу. Тогда ваш запрет ко мне не относится. И я буду счастлив выполнить ваше поручение.

— Я вам очень признательна! — серьезно кивнула Юля, стряхивая пепел длинным розовым ногтем.— Все это очень любопытно, Володя. Но как это связано с неприятностями... Надежды Андреевны?

— Статья, которую я вчера у вас взял... Американцы пишут нам, что выводы Нади о дискретности неверны. Что допущена ошибка в расчете.

В зале было полутемно и тихо.

— Давайте еще по сигаретке,— предложила Юля.

...Холодно на улице не было. Шел мелкий ноябрьский дождь. И можно было шагать, ступая в черноту, спрятаться за летящие капли.

— Володя! — окликнули его сзади.

Меньше всего ему хотелось кого-нибудь встретить.

— Володя!

Он ускорил шаги.

— Володька же!

Он свернул за угол.

— Володька! Черт! Стой!

— Ну стою, — сказал он.

Это был Пашка Носик. Он учился с Володей на одном курсе. И он был чемпионом курса по бегу на короткие дистанции.

— Помни, что я — твой чемпион! — сказал он теперь. — Ну? Что у вас там с Надеждой? Выкладывай!

— Интимные подробности не касаются даже чемпионов, Паша.

— Интимные? Ах ты скотина!

— А ты пошляк. Узкий пошляк — кандидат Носик. Я же все-таки ее начлаб. А это уж интим от математики. Понял?

— Ни черта.

— Математик Носик, как вам удалось получить ваш диплом?

— Сам удивляюсь, — признался Пашка. — А как вы с Надеждой добились внимания американской прессы?

— За личные заслуги.

— Вы сможете дать опровержение?

— Пока неясно.

— Начальство уже выразило вам свое восхищение?

Володя пожал плечами.

— Ничего, за этим дело не станет, — успокоил Пашка. — Так вот, если вам нужен подручный кандидат... Или вам вдруг понадобится машинное время для вычислений...

— Что ты, Паша? У нас в институте свой вычислительный и...

— Еще бы! — сказал Пашка. — Еще бы! Но вы просто запомните, сэр, что если вдруг как-то понадобится...

Теперь был одиннадцатый час ночи, Володя стоял рядом с Надей и знал уже, что опровержения они дать не смогут, что в работе есть ошибка...

«Но почему она так легко сдалась? — возмутился Володя. — Она не смеет так все бросить. Пашка прав, сле-

лаем новый расчет, будем бороться. Даже если дирекция будет против...»

— Наверное, я не вернусь к математике,— сказала Надя.

«Размазня! — думал Володя. — Нужно доказать. Нужно драться... Впрочем, с кем драться? С кем, раз это действительно ошибка?.. А это ошибка, раз она так все бросает».

Надя стояла, глядя в окно, опершись плечом о стену.

«Многие ученые допускали ошибки,— думал Володя,— но никто не знает, как они об этом забывали... И забывали ли об этом их ближние?»

— Я хочу уйти из лаборатории,— сообщила Надя.

«Так,— решил Володя. — С самого начала было ясно, что год для такой работы — подозрительно мало. А у нее не было даже года. Было фактически месяцев семь: я сам отрывал ее на срочные заказы. Я отрывал... Но все равно, если работа не закончена, ученый не должен публиковать результат. Особенно такой результат. Она обязана была сама отказаться...»

— Я уйду,— обещала Надя.

«Ее работа — это была сенсация, можно сказать, почти слава. И вот теперь... Как она могла решиться на публикацию? И как я мог подписать? И ведь знал, что год на такую работу — мало...»

— Я подам заявление об уходе.

«Правильно. Она уйдет из лаборатории, из института. И все со временем забудется. Она должна уйти из института, потому что ведь действительно есть ошибка...»

— Мне опротивела математика...

«...Там все-таки есть ошибка. А это значит, что дискретности времени не существует... Мы вычисляли эту дискретность — двадцать пять лет. Мы говорили: никто не может посетить одно и то же время дважды. Мы уверяли: двигаясь из нашего 2023 года в прошлое, вы попадете сразу не ближе 1998-го, из него перепрыгнете в 1973-й, оттуда в 48-й, потом в 23-й... А захотите двигаться в будущее, так попадете в 2048-й. Интервалы эти можно увеличить, а уменьшить нельзя — дискретность! Но, выходит, дискретности нет. Это ошибка...»

— Мне опротивела математика,— еще раз сказала Надя. — Я уйду...

— И что будешь делать? Выйдешь замуж за марсианина?

В общем-то это было неблагородно, так шутить. Володя понял это прежде, чем успел закрыть рот. Но он

не мог себе представить ничего такого, из-за чего потерял бы к математике острый интерес.

Надя смотрела в окно на крыши.

«А ты, оказывается, подсюнок,— обратился к себе Володя.— Извинись, подонок!»

— Он не марсианин,— задумчиво сказала Надя.— Он историк. И потом, знаешь, он не может на мне жениться.

— Что???

Она занималась своей дискретностью и сидела в институте до ночи. Во всяком случае, он думал, что сидела. И она еще брала работу домой... Он не был у нее дома около трех лет, он представлял себе, как она сидит здесь за столом, заваленным графиками.

У нее было очень белое ухо. И прикушенный угол губы.

— Это еще кто такой? — выдавил Володя неожиданно хрипло.

Ресницы ее шевельнулись.

Когда она была на втором курсе, он рассчитал ей контрольную по сопромату. Он считал, а она сидела рядом, и ресница ее упала на стеклышко логарифмической линейки...

Теперь она смотрела в окна на крыши. Задумчивый мир крыш, плоскогорья, разорванные пропастью двора, замкнутые горными хребтами труб.

— Он приходил к тебе сюда?

— Я ходила к нему сама. И вообще — я все сама... — ответила Надя.

Она водила по стеклу пальцем.

— Он тебя бросил?

— Он уехал.

— Надолго?

— Навсегда.

Она водила по стеклу пальцем с коротким ногтем. Это было вместо слез. Это были ее слезы. Володя знал это точно. Он спросил глупо:

— Ты скучаешь?

— Нет. Просто не вижу ни в чем смысла... Понимаешь, он сидел за письменным столом, а я приходила и садилась сзади. Перед ним лежали его часы, трубка, карта, и я смотрела на его вещи, на его затылок, на плечо и могла со своего места протянуть руку и их потрогать... А спина у него была согнутая, он писал и было видно, что он не встанет вот сейчас и не уйдет туда, где не будет меня, где я не смогу его видеть... И тогда я думала, что просидела бы вот так вечность, две вечности. И ниче-

го больше не захотела бы, ни о чем не вспомнила. Потому что все, чего я могла желать, было тут, со мной, а все остальное, весь остальной мир мне просто совсем не нужен...

— А ему?

— Он историк. Он изучает нашу эпоху.

— Слишком современные интересы,— зло заметил Володя.— Историков интересуют обычно древности.

— А мы и есть древность, Володя. То есть, конечно, для Него. Он,— Надя произносила «Он» будто с большой буквы, как имя,— Он историк из будущего...

— Что???

— Ты же знаешь, возможность путешествий во времени давным-давно теоретически доказана. Так вот, Он пришел к нам из будущего изучать нас. Он — первый время-плаватель, запущенный их физиками... Как были когда-то первые космонавты...

Ноги у Володи стали будто ватные. Хотелось сесть на пол. А Надя говорила монотонно:

— Он движется из будущего в прошлое. Наш год — просто одна из остановок. Теперь Он передвинулся дальше.

«Черт знает что,— думал Володя.— Бред!.. Хотя почему бред? Ведь это на самом деле возможно...»

— Какой он, Надя?

— Он хороший... Но Он мог бы родиться и в нашем времени. Ты ни за что не догадался бы, что он не наш.

— Ты же догадалась?

— Сама — нет. Но, вообще, дело не в этом. Просто с ним хорошо, а без него плохо. Без него просто ничего нет...

Она чертила что-то на стекле. Глаза были сухие.

— Ты сказала ему?

— Что?

— Что ты без него не можешь?

— Зачем? Мы ни о чем не говорили. Я просто приходила к нему и все. Так было четыре месяца.

— А потом он... уехал?

— Я всегда ведь знала, что Он уедет. И каждый раз, когда шла к нему, боялась, что его уже нет.

Она шла к нему... У нее было мохнатое пальто на одной большой пуговице. Володя представил себе, как она идет к нему под дождем, со светлыми каплями в ворсинках...

— Это было больше чем счастье,— сказала она.— Это было больше счастья, когда я поняла, что ему тоже груст-

но прощаться... Он сказал, что расстанемся ненадолго и что Он возвратится, когда закончатся эксперименты.

Она все еще зачем-то чертила по стеклу. Может быть, выматривала этого своего типа, когда он там появится...

— Ну и что ж ты канючишь? — грубо сказал Володя. — Не зажди только свадьбу, когда вернется...

— Он не вернется.

— Здравьте! Это еще почему!

Она обернулась, глянула изумленными глазами:

— Но возвращение же невозможно, Володя! Неужели ты не понимаешь? Нельзя посетить одно и то же время дважды, а дискретность — двадцать пять лет...

Дискретность?.. Статья Откинса шуршала в Володином кармане.

— Пойми, Володя! В лучшем случае Он появится через двадцать пять лет... Я уже буду старая...

А статья шуршала в кармане...

— Но ведь Откинс... — пробормотал Володя.

— Что Откинс?

— Он опроверг...

— И ты принял это всерьез?.. Он просто не понял, этот твой балбес, что мы учили кривизну пространства...

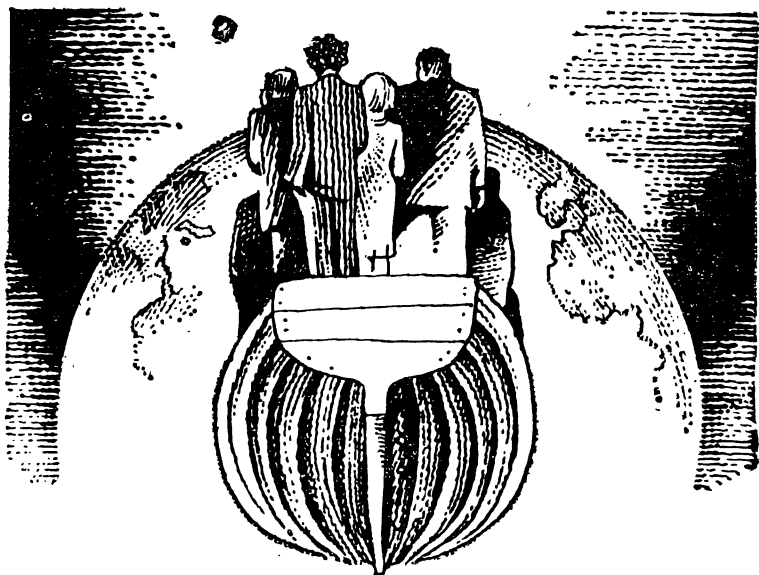
Она опять чертила пальцем по стеклу. Чертила сосредоточенно, как будто делала что-то важное, от чего нельзя ни на миг оторваться... У Володи сжалось горло.

— Послушай, Надь, — вдруг сказал он. — Ведь дискретность — это всего лишь гипотеза. Пусть Откинс балбес, но, может быть... может быть, дискретность все же не подтвердится? Ведь могут там быть другие ошибки? Поймай! — догадался он. — Сами мы балбесы! Дискретность была бы уже известна в будущем, если бы на самом деле была... Но раз твой пришелец обещал к тебе возвратиться...

— Ох, Володя, я смотрела заданный ему маршрут. После нашего 2023 года он должен попасть в 1988-й, затем — в 1973-й, после — в 48-й. А на пути обратно он остановится в 2048-м. Как видишь, тем, кто отправлял его в путь, закон дискретности известен вполне. А сам он, возможно, позабыл, что-то спутал... Знаешь, он очень хотел вернуться...

— И ты ему не разъяснила! — вскрикнул Володя. — Как ты могла?..

— Я боялась. Боялась, что он уйдет все равно... Или — что останется, а когда-нибудь потом пожалеет... Знаешь, я ненавижу математику!



Вадим Шефнер

Записки зубовладельца

РАССКАЗ

1. Ночное пробуждение

Милостивые граждане!

Если размышлять о зубах в мировом масштабе, то получаются весьма обнадеживающие цифры. По данным статистики, население нашей уважаемой планеты перевалило за три миллиарда душ. А чем больше людей — тем больше зубов. Откинем стариков, которые уже не имеют зубов; откинем младенцев, которые еще не имеют зубов; не будем брать во внимание инопланетчиков антропоидного типа, тайно заброшенных на нашу Землю, ибо количество их, как мы знаем, весьма незначительно. Будем упрощенно считать, что на планете имеется ровно 3 000 000 000 законных зубовладельцев и что каждый из них носит положенные ему природой 32 зуба. Теперь произведем несложное умножение:

$$3\,000\,000\,000 \times 32 = 96\,000\,000\,000.$$

Вот сколько зубов у человечества! Ему есть чем гордиться! Эти величественные, вдохновляющие цифры не оставляют места для пессимизма!

В моей жизни зубы сыграли решающую роль.

Случилось это в те давние довоенные времена, когда в Ленинграде моста Александра Невского еще и в проекте не было, а Володарский мост только проектировался; в те времена, когда почти все дома отапливались дровами, а в кухнях гудели примуса. А я в те давние времена уже полностью существовал на свете. Я был молод, холост, и хоть учился на втором курсе Деревообделочного техникума, не подозревал, что будущее мое заключается в поэзии. В стенгазете я уже успел поместить два стихотворения. Одно называлось так: «Поменьше стружки, друзья и подружки!» В нем я боролся за уменьшение древесных отходов. Второе было урколирическое и называлось «Ночь на Мадагаскаре».

В тот субботний вечер в комнате общежития было очень тихо. Все три моих однокомнатника отсутствовали по неуважительным причинам. Пользуясь тишиной, я полностью окунулся в творчество. Я начал писать балладу на историческую тему, в которой решил разоблачить графа Анжуйского. Начиналась она так: «Жил на свете граф Анжуйский, у него был нрав буржуйский». Однако за отсутствием дальнейших фактов я решил отложить работу на утро. Улегшись на койку, я вынул из тумбочки брошюру «Как избавиться от застенчивости». Я штудировал ее ежедневно, так как страдал недооценкой своей личности. Вскоре книжечка незаметно выпала из моих рук, я уснул.

Проснулся я от острой зубной боли.

Я стал метаться по комнате, держась за левую щеку. Ходики на стене показывали четверть второго. Я вспомнил, что в прошлом году зимой у меня тоже ночью заболел зуб. Я тогда побывал на Невском, в Зубной Поликлинике, где есть ночное дежурство. Опять туда?

Когда я спустился по лестнице к вахте, вахтерша беспрепятственно открыла мне дверь: по моему искаженному страданием лицу было видно, что я иду на улицу не с аморальными целями.

Общежитие находилось на Васильевском острове, Невский же проспект расположен на другом берегу Невы. Так как никакого транспорта в этот час уже не было, я решил повторить свой зимний пешеходный маршрут: Шестая линия — мост Лейтенанта Шмидта — площадь Труда — бульвар Профсоюзов — улица Герцена — Невский.

Был конец мая, когда намечаются белые ночи. Я шел по панели ровным крейсерским ходом, левой рукой держась за щеку, а правой размахивая в такт шагам. По случаю прохладной погоды гуляющих было мало. Недалеко от кино «Форум» меня окликнула дворничиха, поохала и дала такой совет: если у тебя срочно заболел зуб, иди весной в поле, найди фиалковый корень, высуши его, растолки в ступке и смешай с бурой, которой выводят тараканов. Смесь прими внутрь с молитвой.

У Большого проспекта меня задержала парочка влюбленных. Прервав поцелуй, она и он дали мне по зубо-врачебному совету.

Знаю, знаю,— многие не любят добрых людей, дающих им устные зубо-врачебные рецепты. В средние века зубным советникам грозила плаха. В Древнем Египте за неквалифицированную зубную помощь бросали в воды Нила. Подплывал дежурный крокодил и карал зубного советника съедением (из-за этого-то и стали там крокодилы священными животными). В наше время человек вспорхнул на вершины цивилизации, он имеет отличные бормашины и лекарства,— но не вымирает племя зубных советников!

Но я на них не в обиде. Наоборот, я им благодарен... Слушайте, что было дальше.

Когда я вышел на набережную, то увидел, что у моста Лейтенанта Шмидта стоит группа людей. То были опоздавшие! Мост только что развели. Приди я на пять минут раньше — и я бы спокойно перешел на другой берег. Советники зубные, встретившиеся мне на пути, похитили у меня эти минуты. Не предвидя счастливых последствий этого опоздания, я выругался и перестроил свой маршрут. Теперь он стал таким: Университетская набережная — Дворцовый мост — Невский.

Я зашагал по направлению к Сфинксам. В этот момент от группы, стоявшей у моста, отделился пожилой мужчина и пошел рядом со мной. Он держался за правую щеку. Все было ясно без слов: ко мне примкнул мой безвестный собрат по зубному страданию. Сомученик кратко поведал мне, что он из Гавани, и мысленно я прозвал его Гаванцем.

Когда Дворцовый мост был уже близок, мы увидели, что пролеты его начинают подниматься. Увы, началась разводка. Опять опоздали. ...У меня вырвалось скорбное проклятье, Гаванец застонал.

После тяжелого раздумья я предложил новый маршрут: Биржевой мост — пр. Максима Горького — Киров-

ский мост — Марсово поле — Садовая улица — Невский. Гаванец выразил свое согласие мычанием, и мы двинулись мимо Ростральных колонн к Малой Неве. Здесь к нам присоединилась Старушка в черном пальто. Она держалась за левую щеку. У нашей новоявленной сестры по страданиям был неплохой шаг. Однако когда мы вплотную подошли к Биржевому мосту, там уже поставили барьеры, и милиционер свистками отгонял пешеходов. Середина моста начинала как бы горбиться; обе половинны разводной части плавно поднимались.

Тут Старушка, не обращая внимания на свистки милиции, бросилась к барьеру, перелезла через него и помчалась вперед по дощатому настилу. Мы последовали ее примеру. Теперь мы все трое бежали по шершавым доскам безлюдного моста. Старушка лидировала. Полы ее длинного пальто развевались; она походила на самолет, набирающий скорость перед взлетом. Внезапно передо мной разверзлась бездна, на дне которой блестела вода. Я напряг силы — и, оторвавшись от края пропасти, перемахнул на другую сторону моста.

Уважаемый Читатель, если б зуб у меня не болел, я бы ни за что не решился на такой прыжок! Не наводит ли Вас это на мысль, что зубная боль стимулирует физические силы и творческие способности человека?

О зубах существуют превосходные рассказы, анекдоты, масляные полотна и художественные кинофильмы. Но не пора ли поднять зубы на принципиальную высоту и выявить их коренную роль в развитии цивилизации?

Начну с мрачных отдаленных времен. В Библии сказано следующее: «Каин убил Авеля». Никаких разумных объяснений действиям Каина не дается. Убил, мол, — и все. Заинтересовавшись этим странным фактом, я выяснил, что Авель в тот день с утра маялся зубами. Его стоны и жалобы слышал Каин. Он глубоко сочувствовал страждущему младшему брату, но ничем не мог ему помочь, так как лекарств и зубоврачебных инструментов в те времена не имелось. Наконец, когда Авель слезно стал умолять брата принять какие-нибудь меры, Каин решил прибегнуть к общему обезболиванию. Это была первая медицинская помощь в истории человечества. Правда, прошла она не совсем гладко. Но, так или иначе, цель была достигнута: зубы у Авеля болеть навсегда перестали. В связи с этим пора пересмотреть отношение к Каину.

Но не только медицина возникла благодаря зубам. Давайте нырнем в глубокую древность и проследим за-

рождение песни. У одного первобытного мужчины однажды заболел зуб. Мужчина стонал и выл от боли, и вдруг заметил, что если стонать и выть ритмично, то боль несколько смягчается. Через день она прошла сама по себе. А через несколько дней охотник вернулся с неудачной охоты и был в большой грусти. Но вспомнив, что ритмичный вой помог ему однажды, он повторил его и в этом случае. И на душе стало легче. После этого он стал выть при всякой возможности и передал свой творческий опыт детям и внукам. Так в мире возникла песня.

2. Пополнение рядов

Когда мы перешли на Петроградскую сторону, из подворотни выбежал молодой человек в бостоновом костюме, с цветком в петлице, но без галстука. У него было ошеломленное лицо. Он держался за щеку. Из его горестных возгласов стало ясно, что он — Новобрачный. Еще час тому назад он пировал на своей свадьбе, а затем уединился с молодой женой. Но внезапная острая зубная боль согнала его с брачного ложа и выгнала на улицу.

Теперь нас стало четверо.

Но едва мы миновали угол Гулярной улицы, как наша страдальческая группировка пополнилась сразу двумя новыми мучениками. Это были братья-Близнецы. Им обоим исполнилось в тот день по шестнадцать лет. Родители отметили это событие, пригласив к братьям их школьных товарищей. Съедено было много сладкого, и ночью у обоих Близнецов заболело по зубу. Оба они держались за левые щеки, и оба были абсолютно похожи друг на друга, и на обоих были одинаковые вельветовые курточки. Только у одного на лацкане красовался значок в виде парохода, а у другого — жетончик с изображением диснеевского поросенка. Брат-Пароход и брат-Поросенок присоединились к нам, и дальше мы шагали вшестером.

У Введенской улицы к нашему мученическому коллективу примкнул еще один страдалец. В одной его руке был бубен, другой он держался за щеку. То был молодой Бубнист-любитель. Зубная боль пронзила его на концерте самодеятельности во время сольного исполнения, и он прыгнул с эстрады, выбежал на улицу и уже часа три мотался по городу. Он очень обрадовался, что мы знаем, где ночью лечат зубы. Боль иногда отпускала его, и тогда он принимался петь и бить в бубен, приплясывая при этом. Видимо, он хотел допеть ту песню, которую не успел исполнить на концерте:

Не прочь бы выпить, братцы, я,
Да денежки нужны, —
Но, ах, организации
Мне денег не должны!

Увы, этот кипучий самодеятель не принес нам счастья! Когда мы подошли к Кировскому мосту, уже шла разводка. Поздно, поздно... Эта очередная неудача повергла нас в глубокое смятение. Но боль требует действий, и после короткого совещания наша группа приняла единогласное решение идти через Выборгскую сторону. Новый маршрут выглядел так: ул. Куйбышева — Сампсониевский мост — Пироговская набережная — Литейный мост — Литейный проспект — Невский. Теперь мы шли не по тротуару, а по мостовой. Лидировала по-прежнему Старушка.

Но вскоре она уступила свое лидерство. На подходе к одному высокому дому мы заметили, что с шестого этажа по водосточной трубе лезет вниз какой-то мужчина. Когда он благополучно слез, то сразу издал громкий стон и схватился руками за обе щеки. Выяснилось, что жена этого несчастного, отправляясь на ночную смену, в порядке ревности заперла комнату на ключ, а снаружи подперла дверь кухонным столом. Ночью у супруга заболел один зуб справа и один зуб слева. Не имея возможности выйти через дверь, бедняга в поисках медицинской помощи вынужден был вылезти через окно. Этот человек немедленно примкнул к нам и по праву возглавил шествие. Ведь то был не просто рядовой страдалец, а Сверхмученик.

Но и на нем не кончились наши пополнения. Подходя к набережной Большой Невки, мы увидели мужчину, сидящего на каменной тумбе и держащегося за щеку. Одет он был во все новое и, когда шевелился, с него так и осыпались магазинные ярлыки. Вокруг лежали различные вещи и предметы. То был Счастливец. Он жил в Гдове и выиграл там по займу пять тысяч. И вот минувшим утром он приехал на день в Ленинград, чтобы срочно реализовать эту крупную сумму. Весь день он мотался по универсам, комиссионным, толкучкам, — и отчасти по пивным и ресторанам. Заночевал он у двоюродного брата. Ночью у Счастливица заболел зуб. Брат порекомендовал ему идти на Невский, в зубную клинику. Счастливец пошел, забрав с собой все вещи, ибо поезд в Гдов уходил ранним утром. Теперь Счастливец присоединился к нам. Он занял место в конце процессии, предварительно взвалив на себя все приобретения. Среди них,

в частности, были: керосинка, мясорубка, швейная машина, набор сковородок, патефон, батарейный радиоприемник, железный штырь для громоотвода и портрет основателя ордена иезуитов Игнация Лойолы в золоченой раме. Портрет ему всучили на барахолке, строго заверив, что это изображен знаменитый физик Бойль-Мариотт.

Подойдя к Сампсониевскому мосту, мы обнаружили, что его готовят к развезти. Но теперь нас было целых девять человек. Из страдальцев-одинок уже выкристаллизовался боевой коллектив. У нас уже была своя иерархия и свой походный порядок. Поэтому, ведомые Сверхмучеником, мы отодвинули рогатки и барьеры, заграждавшие нам путь, и смело ступили на дощатый настил. Речной милиционер не только не протестовал, но даже отдал нам честь. Разводка моста была отсрочена специально для нашего прохождения. Вскоре мы шагали по Выборгской стороне.

Когда мы проходили мимо небольшого сквера, к нам подошла плачущая девушка, державшаяся за правую щеку. Она робко спросила, где мы надеемся получить медпомощь. Узнав нашу цель, она присоединилась к нам. Мой общий вид, по-видимому, внушил ей доверие, потому что она сразу же пошла рядом со мной.

Несмотря на свое болезненное состояние, я не мог не отметить, что девушка весьма симпатична собой. Мысленно я прозвал ее Малюткой. От нее пахло дорогими духами «Не покидай». Ее белокурые локоны изящной волной выбивались из-под синего берета с алмазной пряжкой. В ее больших голубых глазах блестели слезы. На ее приятной фигуре имелись шерстяная розовая кофта и экономичная черная юбка фасона «долой стыд». Конечно, официально такого фасона не было, это название в те годы придумали пожилые женщины, завидующие своим молодым соперницам.

Малютка, постукивая по мостовой гранеными каблучками, шла рядом со мной и доверчиво, сквозь слезы, рассказывала мне свой анамнез. Зуб заболел у нее среди ночи оттого, что она его простудила. Дрова в этом году, плохого качества, очень много осины и мало сосны и березы. У нее есть один знакомый, он обещал доставить три кубометра сосны, но никаких других вольностей она ему не разрешает.

Речь ее, несмотря на страдание, звучала как маленький серебряный водопад, и я даже не заметил, как мы дошли до Литейного моста.

Увы, его уже развели... Мы опоздали. Но отступить было некуда. Мы решили идти к Охтинскому мосту. Путь предстоял долгий.

...Мы шли по булыжнику мостовой в строгом походном порядке. В тишине белой ночи шаги наши звучали гулко и тревожно. Изредка попадавшиеся прохожие с удивлением, переходящим в остолбенение, взирали на торжественно-скорбное шествие. Впереди, держась за обе щеки, шагал Сверхмученик. За ним шли в паре Старушка и Новобрачный. Следом двигался я с Малюткой. За нами топали Бубнист и Гаванец. Четвертую пару составляли Близнецы. Брат-Пароход нес на правом плече штырь громоотвода; брат-Поросенок тащил портрет Игнатия Лойолы, доверенный ему Счастливец. Сам Счастливец плелся в арьергарде. Все остальные покупки он нес на себе. Он двигался тяжело, как корабль, груженный выше ватерлинии. Время от времени он вынужден был останавливаться, чтобы положить вещи на мостовую и подержаться за щеку.

3. Тайное задание

Охта в те времена была малолюдным местечком. Это сейчас там высятся огромные жилмассивы, а тогда там стояли маленькие домики, разделенные садами.

Когда мы проходили мимо одного длинного забора, мы почуяли запах сена и конского навоза. Затем увидели на воротах надпись: «Контора №9 Ленгужтранса». Мы бы спокойно прошли мимо, если бы не Старушка. Она сказала:

— Конский навоз от зубов очень пользителен, от умных людей знаю. Если к щеке конское яблоко привязать — сразу полегчает.

Навозотерапия заинтересовала почти всех. Но пугали препятствия.

— Ворота закрыты, — сказал кто-то из страдальцев. — Ночь ведь.

— А перелезть через забор можно. На то бог руки-ноги дал, — заявила Старушка. — Надо выделить добровольцев и пусть себе лезут на здоровье. Греха тут нет, это святое дело.

Братья-Близнецы вызвались сами, но больше никто на это святое дело выделять себя не решался. Тогда опасная Старушка указала на меня и высказалась за голосование. Меня выбрали добровольцем. Только Малютка воздержалась. Зато Сверхмученик поднял сразу обе руки,

Тут Бубнист, у которого в этот момент наступила светлая безболевая минутка, ударил в бубен и запел, приплясывая:

Чтоб угостить приятеля,
Мне денежки нужны,
Меж тем как предприятия
Мне денег не должны!

Но его попросили замолчать, чтобы не разбудить конюхов.

— Нас десять душ, значит, должны вы десять конских яблок добыть. Никого не обидьте! — проинструктировала Старушка добровольцев.

— Мне потребны два кругляша! — заявил Сверхмученик.

— А мне не нужно ни одного, — мягко сказала Малютка. — Я боюсь испортить цвет лица.

Все посмотрели на нее с осуждением, как на вероотступницу. Но я почувствовал к Малютке еще ббльшую симпатию.

Близнецы, согнув спины, встали у забора. Я по их плечам поднялся вверх и, ухватившись за торцы досок, подтянулся. Переметнув туловище через верх забора, я уперся ногами в поперечную доску и по очереди подтянул к себе братьев. Мы одновременно прыгнули внутрь двора, где стояли телеги. Из конюшни доносилось сонное топтанье лошадей. Крадучись пробрались мы туда и остановились у больших распахнутых дверей. Кони спали стоя.

Надо было приступать к выполнению задания, но тут возникла неожиданная заковыка. На полу конюшни имелся конский навоз в достаточном количестве, но не в виде кругляшей. Он был рассыпчатой и даже жидкой консистенции. Мы не знали, во что его собирать и как его транспортировать через забор. Да и годится ли такой навоз для лечения: ведь речь шла только о яблоках?

Вдруг из-за угла конюшни вышла могучая пятнистая собака с большой головой. Вся ее шерсть была в сенной трухе, — видно, спала где-то, а теперь учуяла нас и решила проявить оперативность. Мы замерли в неприятном ожидании. Собака степенно подошла ко мне и деловито, без лая и озлобления, укусила меня за ногу. Я подпрыгнул, но смолчал. Мне не хотелось, чтоб мой болезненный крик услышала Малютка. С другой стороны, я воздержался от крика потому, что боялся появления сторожа. У меня было опасение, что если нас поймают, то могут припаять статью за конокрадство,

Меж тем собака подошла к двум братьям и осуждающе посмотрела на них. Но кусать не стала. Они были так похожи один на другого, что у нее произошло раздвоение сознания, и она не смогла решить, какого брата надо наказать в первую очередь. Собака отошла от близнецов, вернулась ко мне и задумчиво укусила за вторую ногу, для симметрии. Я опять подпрыгнул, но смолчал. Было очень больно, но в то время я, как это ни странно, чувствовал некоторое облегчение. Очевидно, боль в ногах оттянула на себя боль от зуба. Но тут у меня возник вопрос: почему молчит собака? Не бешеная ли она?

Все это происходило вроде бы при полном согласии и взаимопонимании. Собака меня кусала, но не лаяла. Я был кусаем, но не кричал. Однако на близнецов такая пантомима произвела угнетающее впечатление, и они с шумом бросились к забору. В это мгновение из домика, примыкающего к конюшне, вышел сторож в ватнике. Я ожидал потока извозчицкой ругани или даже физических действий. И вдруг увидел, что этот человек держится рукой за щеку. Я понял, что наш брат по страданиям не причинит нам зла.

— Конских яблок сегодня нет, овес дали плохого качества,— произнес незнакомец с каким-то нездешним акцентом.— Что касается собаки, то она не бешеная. Она немая с детства.

Я с изумлением спросил его, откуда он узнал мои мысли и наши намерения.

— Многое знаю я,— уклончиво ответил конский сторож.— А сейчас я присоединюсь к вам.

Нездешний (так окрестил его я) вернулся в сторожку, разбудил своего напарника, затем повел нас к воротам, открыл их и вместе с нами примкнул к шествию,

4. На краю гибели

Когда мы, усталые и измученные, вышли к Охтинскому мосту, выяснилось, что его развели за шесть минут до нашего прихода. Это был наш последний мост. Выше по течению Невы мостов в те годы не имелось... Но надо было действовать, и вот мы постановили идти дальше вверх по Неве и искать перевоза.

Город кончился. Нева здесь не была одета в гранит; поросший деревьями и кустами берег выглядел совсем не по-ленинградски. Мы шли по пустынной дороге долго...

И вдруг за кустарником мы увидели большой костер,

казавшийся неярким в свете белой ночи. Потом слышались голоса. Мы вышли на полянку у самой воды, где вокруг костра сидело пять мужчин разного возраста. Они молча уставились на нас, мы молча смотрели на них. Наконец Самый Пожилой из незнакомцев сказал:

— Мать честная, мы-то думали — облава. А это опять зубники! Ишь, сколько их развелось! Вчера шесть штук приперлось, а сегодня целых одиннадцать!.. Из-за мостов? — обратился он к Сверхмученику, учуяв в нем предводителя.

— Из-за мостов, — скорбно ответил Сверхмученик. — Но нас не одиннадцать штук, а одиннадцать персон.

— Лады, персоны — так персоны, — добродушно согласился Самый Пожилой. — Идите к огню, погрейтесь.

Незнакомцы тактично освободили место, и мы встали вокруг костра. Каждый, подержав руки над огнем, торопливо прикладывал ладонь к щеке; после нескольких таких прикладываний зубу становилось немножко легче. Сверхмученик совал обе руки прямо в пламя, а затем молниеносно подносил их к лицу. Пахло паленым.

Уважаемый Читатель! Вас, конечно, интересует, что это за люди уступили нам место у костра. То были невисские речные пираты. В те времена они еще существовали и гнездились главным образом на Охте и выше по правому берегу матушки-Невы. Это были люмпены, которые имели лодки, — большею частью краденые. На корабли они, конечно, не нападали и черного флага с черепом и двумя костями у них не имелось. С этой мрачной эмблемой они были знакомы лично только по этикеткам на бутылках денатурата. Речные пираты промышляли тем, что продавали налево бревна, оторвавшиеся от сплавных плотов, брали то, что плохо лежит, с береговых пристаней и складов. Они же охотно перевозили пассажиров с одного берега на другой, заламывая за это пиратскую цену. Действовали они главным образом по ночам.

Согрев свои зубы, Сверхмученик вступил в коммерческие переговоры с руководителем пиратов. Самый Пожилой потребовал за перевоз к спуску у Летнего сада по полтиннику с души. Мы быстро собрали деньги, причем я уплатил за Малютку; она выбежала из дома без кошелька. Братья-Близнецы скинулись каждый по семнадцать копеек, больше у них не имелось. Со Счастливица руководитель пиратов взыскал рубль дополнительно за вещи.

— Вас Леша-Трезвяк переправит. В моторке поедете, прямо как графья, — заверил нас Самый Пожилой. — Леша, подгони свою посудку!

От группы пиратов отделился один, в кепке цвета восходящего солнца, и шаткой походкой пошел по берегу, за кусты. Через несколько минут послышалось тарахтение мотора, и вскоре Леша-Трезвяк подрулил на моторке к мосткам, находившимся совсем близко от костра. На носу суденышка было написано: «Надежда». Увы, оптимизм внушало только название.

— Страшно на такой лодке плыть,— заявила Старушка.— Вполне затонуть можно.

— Вы, бабуля, на людей панику не нагоняйте! — возразил руководитель пиратов.— Вам давно газета с того света идет, а вы за лодку беспокоитесь.

Мы стали грузиться.

Сверхмученик обосновался на носовой банке, все другие — на трех остальных. Моей соседкой оказалась Малютка; она села между мной и Бубнистом. Счастливцев долго грузил свои покупки; пираты помогали ему в этом деле. Леша-Трезвяк занял место на корме и стал возиться с мотором. Тот нехотя завелся. Леша на своем пиратском жаргоне дал совет:

— Сидите спо, не вертухайтесь! А не то мо и уто!

Но какое уж тут вертухание! Мы понимали, что вполне можем утонуть, если начнем шевелиться. Лодка сидела в воде очень низко.

Когда мы удалились от берега, Леша-Трезвяк вдруг заглушил мотор и, сняв с головы шапку, произнес:

— Прошу пожертво кто сколько мо от чистого се! Но не менее тридцати ко!

Все, конечно, возмутились! Сверхмученик гневно заявил:

— Это безобразие! Мы уже уплатили!

Но пират-моторист сказал, что те деньги — в общий котел, а эти — лично ему. На текущий ремонт. Он пустил кепку по кругу, и каждый из пассажиров внес требуемую сумму. Только Близицы ничего уже не могли дать. А за Малютку опять уплатил я, и в ее лучистых глазах блеснули слезы благодарности.

Ссыпав в карман пожертвования, Леша-Трезвяк завел мотор, и вскоре мы очутились на середине Невы. И вдруг Счастливцев, сидевший ближе к корме, заявил:

— Лодка течет! Мои новые ботинки промокли!

Когда выяснилось, что у всех ноги уже в воде и вода все прибывает, Леша добросовестно объяснил, что в носовой обшивке поломана одна рейка, а лодка перегружена, потому и течет.

— Пора принять срочные пожарные меры против

утопления! — вдумчивым басом заявил Сверхмученик. — Нужно облегчить лодку!.. Гражданин, придется вам выкидывать за борт вещички, — закончил он, обращаясь персонально к Счастливицу.

Но тому не хотелось расставаться с имуществом.

— В кои веки пофартило, а теперь, выходит, я должен свое счастье в воду кидать! Уж лучше я сам за борт сигану, только б вещи были живы!

Однако, чтобы успокоить общественное мнение, он выкинул за борт портрет Игнация Лойолы, и тот в своей позолоченной раме поплыл вниз по Неве к новым свершениям.

— Мало! Мало! — слышались голоса страдальцев. — Картинками не отделаешься!

Тогда Счастливец, с отчаянием на лице, схватил штырь громоотвода и метнул за борт. Но он не рассчитал движения: острая железина, перед тем как упасть в воду, ткнулась в бензобак и пробила его. Запахло бензином. Мотор фыркнул два раза и заглох. В наступившей тишине слышался заинтересованный голос Старушки:

— Боже, ответь, что с нами будет?!

Но бог молчал. Лодку кормой вперед несло по стрелю реки. С поворота стал виден Охтинский мост. Нам угрожало две опасности: или моторка затонет сама, или ее снесет на быки моста и она перевернется.

Тут у Бубниста вдруг наступил краткий безболево́й проблеск, и он звонко запел, ударяя бубном по головам соседей:

Нужны, нужны мне денежки
Повсюду и везде,
Мне требуются денежки
На суше и в воде!

Но никто не примкнул к его порыву. У всех возникла мыслишка, что если мы очутимся в воде, то в дальнейшем денежки нам уже не потребуются.

Меж тем Леша-Трезвяк, убедившись в полной неработоспособности мотора, встал на корме во весь рост, повернувшись к нам и скрестив руки на груди, как это любил делать ныне покойный император Наполеон.

— Правильно, значит, в песне поется: «Лю гибнут за ме!» — печально сказал пират.

— Скажите, неужели нет шансов на спасенье? — спросил Лешу Новобрачный, и все замерли в ожидании ответа.

— Возможен оверкиль, — ответил Леша загадочным голосом.

Мученики, услышав этот непонятный для широких сухопутных масс морской термин, заметно приободрились. На симпатичном лице Малютки блеснул светлый луч надежды. Но у меня в яхт-клубе был хороший приятель, и через него я теоретически знал, что означает это слово. «Оверкиль» — это когда судно переворачивается килем вверх. Однако в данных условиях я не считал нужным делиться с окружающими своими морскими познаниями.

Зная, что жить мне осталось считанные минуты, я решил подарить эти минуты человечеству, то есть использовать их для поэтического творчества. Вынув из кармана блокнот и карандаш, я стал набрасывать строки своей лебединой песни. Озаглавил я ее так: «Колыбельная-аварийная». Не буду приводить ее здесь, ибо если Вы, уважаемый Читатель, человек культурный, то Вы, конечно, знаете ее наизусть, как и другие мои произведения.

...Когда до моста оставалось метров пятьдесят, Нездешний вдруг проявил активность. Этот скромный конский сторож быстро пробрался на корму и, вежливо отстранив Лешу-Трезвяка, склонился над мотором. Затем он вынул из кармана нечто вроде портсигара. Я подумал, что человек захотел покурить перед смертью. Но когда он раскрыл эту металлическую коробочку, никаких папирос в ней не оказалось. Там был какой-то очень сложный механизм, а на внутренней стороне крышки виднелось зеркальце. Нездешний направил зеркальце на небо и произнес несколько слов на непонятном языке. С неба послышался негромкий приятный голос. Руки Нездешнего начали светиться розоватым огнем.

— Господы! Ты явился к нам! — воскликнула Старушка.

— Гражданочка, вы ошибаетесь, — тактично сказал конский сторож. — Я никакой не Господь, я просто скромный гость с Аллиолары, седьмой планеты в Загалактическом созвездии Амплитуда.

С запада подул сильный, но нерезкий ветер и начал нас отжимать от моста. Нездешний неторопливо провел светящейся ладонью по поверхности бензобака — и металл на пробитом месте сразу сплавился и сросся, будто там и не было никакой пробоины. Затем он отвинтил пробку бака, сложил ладони лодочкой и стал черпать воду из лодки и вливать ее в бак.

— Можете запускать мотор! — скомандовал он Леше-Трезвяку.

Тот недоверчиво завел двигатель. Послышались вы-

хлопы, запахло бензиновым дымом. «Надежда» рванулась вперед.

— Итак, мы спасены! — подытожил Сверхмученик. — Спасибо вам, товарищ пришелец! Скажите, как вас зовут?

— Мой земной псевдоним — Афанасий Петрович, — ответил Нездешний и возложил руки на воду, скопившуюся в лодке. В лодке стало сухо. Ладони нашего спасителя перестали светиться, он сел на свое место и схватился за щеку.

После пережитого волнения зубная боль завладела всеми с новой силой. Воцарилось молчание, прерываемое охами и стонами. Бодр был только Леша-Трезвяк. В нем происходила бурная переоценка ценностей. Вынув из кармана деньги, собранные с нас, он всыпал их в кепку цвета восходящего солнца и пустил ее по кругу, чтобы каждый взял свои монеты обратно.

Тут я спросил у Нездешнего, почему это он, обладая такой властью над стихиями, в то же время мается зубами и ищет помощи у земных врачей.

— Направляясь на землю, я дал на Аллиоларе подписку ничем не отличаться от землян, — ответил Афанасий Петрович. — Правда, только что я вынужден был для вашего и своего спасения прибегнуть к неземной технике, но предварительно я связался с Аллиоларой и испросил на это разрешение. Оно было дано, ибо там выяснили, что спасение данной группы людей не внесет существенных перемен в историю Земли.

Я хотел сказать ему, что он ошибается: ведь из того факта, что я спасен, вытекал тот исторический факт, что я еще одарю Землю своим творчеством. Но застенчивость помешала мне высказать это вслух.

— Еще вопросы имеются? — молвил Афанасий Петрович.

— Скажите, сколько у вас там стоит кубометр березовых дров? — слышался мелодичный голос Малютки.

— Дровами мы давно не пользуемся, — мягко ответил Нездешний.

— А есть у вас там ужа преступле? — поинтересовался Леша-Трезвяк.

— Увы, случаются. Года шестьдесят четыре тому назад вся Аллиолара была потрясена ужасным преступлением. Один муж бросил в свою жену куском туалетного мыла. Правда, не попал. Но ужасен сам факт. Наши газеты много писали об этом.

— Сколько мерзавцу за это дали? — спросила Старушка.

— Он был оправдан. Выяснилось, что у него болел зуб, и жена начала давать ему зубоврачебные советы. Она успела дать около шестнадцати советов.

— А какая система счета у вас? — задал вопрос Новобрачный.

— На Аллиоларе, как и на прочих высокоцивилизованных планетах, принята единая тридцатидвоичная счетная система. Основой ее послужили зубы. Суть в том, что у всех разумных существ на всех планетах всегда по тридцать два зуба. Все мы — братья по разуму и зубам!

5. Счастливые итоги

Вскоре «Надежда», целиком оправдав свое наименование, причалила к гранитному спуску возле Летнего сада, и десант зубных страдалцев без потерь в личном составе высадился на твердую землю. Леша-Трезвяк помог Счастливцу выгрузить вещички и, по просьбе последнего, используя имевшиеся веревки, привязал к его спине все покупки надежными морскими узлами. Для этого Счастливец встал на четвереньки. Дальнейший путь он совершал именно в таком положении.

Леша отчалил, крикнув на пиратском жаргоне последнее приветствие, и мы направились к цели, соблюдая прежний походный ордер. Впереди посреди мостовой, держась за обе щеки, шагал Сверхмученик, за ним — все остальные. Шествие замыкал Счастливец на своих на четверых. Он ступал тяжело, как боевой слон. Набор сковородок, привязанных к голове, громыхал устрашающе. Прохожие, рискуя опоздать на работу, останавливались и долго смотрели вслед нашему подразделению. Верующие крестились.

И вот наконец желанная зубная поликлиника!..

* * *

Братство зубных мучеников распалось. Из зубной лечебницы все уходили поодиночке, уже чужие друг другу. И только мы с Малюткой вышли вдвоем. Чтобы подождать, когда окажет действие лекарство, положенное в наши зубы, мы сели на скамью в сквере.

Боль шла на убыль. На душе становилось все радостнее и светлее, и только одно огорчало меня: близился миг расставания с Малюткой. Чтобы продлить общение с симпатичной девушкой, я стал читать ей свои стихи.

Малютка слушала как завороженная. Затем спросила, нет ли у меня чего-нибудь о дровах. Я признался, что про дрова мною пока что ничего не создано. Но под ее вдохновляющим влиянием я со временем, несомненно, дорвусь и до этой темы,—если, конечно, наше знакомство продолжится. Затем, преодолев застенчивость, я заявил Малютке, что мне хотелось бы с ней никогда не расставаться и что я готов оформить свои чувства через ЗАГС.

Малютка погрузилась в глубокое молчание. Судьба моя висела на волоске... Потом она прошептала:

— Любовь побеждает!.. Я, кажется, согласна... Ты рад?

— Еще бы не рад! — воскликнул я. — Этот день плотно войдет в мои стихи и через них — в мировую поэзию!

— Но брак — дело серьезное, — зардевшись, молвила Малютка. — Поэтому я хочу задать тебе один интимный вопрос... Ты умеешь носить дрова?

— В каком это смысле? — со смущением спросил я.

— В самом прямом, — обиженно сказала Малютка. — И, поскольку ты теперь мой жених, а я твоя невеста, я должна открыть тебе одну тайну: я живу на седьмом этаже. Лифта нет.

— Дорогая, я согласился бы носить тебе дрова, если б ты даже жила на верхушке Адмиралтейского шпиля! — прошептал я.

* * *

Через месяц мы сочетались законным браком.

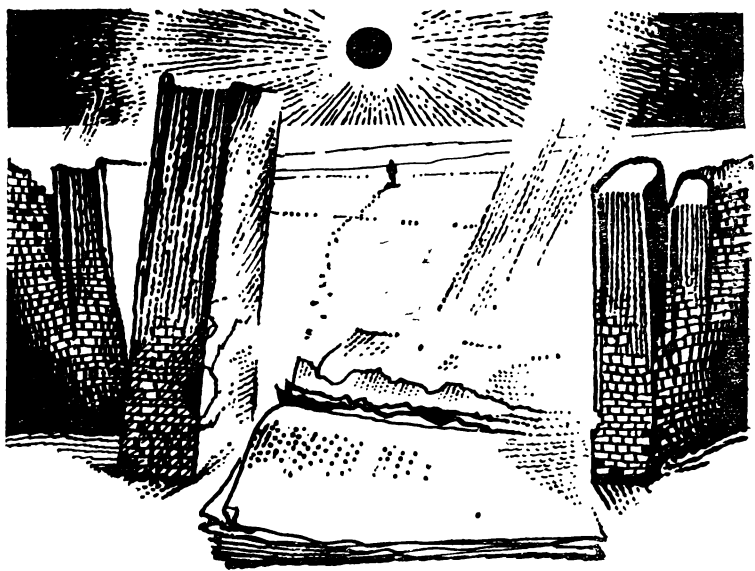
В день свадьбы в печати появилась «Колыбельная-аварийная», положившая начало моей общеизвестности. Вскоре была опубликована поэма «Дрова и судьбы», принесшая мне славу во всемирном, а быть может, и в космическом масштабе (ибо я уверен, что Афанасий Петрович прочел эту замечательную вещь в журнале, восхитился ею, перевел на аллиоларский язык и транслировал в Космос).

С Малюткой мы живем душа в душу. Со дня нашего бракосочетания миновало уже 32 года и 8 месяцев, но за все это время я не метнул в нее ни одного куса туалетного мыла.

Так, благодаря зубам, ко мне пришли личное благополучие и творческий расцвет, чего желаю и всему остальному Человечеству!

32 декабря 3216 г.

По Галактическому календарю.



Александр Шалимов

Стена

ПОВЕСТЬ

— Мы поймали еще одного, Борода.

— Сколько ему лет?

— На вид, за шестьдесят. Но может, и меньше... Выглядит гораздо старше, чем мы с тобой.

— А откуда?

— Из тех, что живут под развалинами в долине. Я его давно приметил. Он чаще других вылезал наружу в пасмурные дни. А сегодня с дождем выбрался высоко в горы. Я следил за ним в оптическую трубу из верхней лаборатории. Когда он подошел к одной из наших пещер, я сигнализировал ребятам. Они набросили на него сеть. Он даже не пробовал освободиться. Лежал и скулил. Когда стемнело, ребята втянули его к нам.

— Бесплезное дело, Одноглазый. От этих — из развалин — мы ни разу ничего не добились. Они умирали раньше, чем начинали вспоминать.

— А может, это упрямство, Борода. Просто не хотят говорить, как было.

— Нет, это кретины... Прошлого для них не существует. Тут одно средство — электрические разряды... Хромой верил, что хорошие разряды способны восстанавливать память прошлого. Но эти — из развалин — не выдерживают...

— Так пустить его?

— Пусти, пожалуй... Или нет. Давай сюда! Посмотрю, каков он...

* * *

Двое коренастых парней с чуть пробивающейся рыжеватой порослью на щеках, полуголые, в коротких кожаных штанах и деревянных башмаках, ввели старика. Он был худ и лыс. Впалые восковые щеки; черные борозды морщин вокруг тонких, плотно сжатых губ. Большие оттопыренные уши казались прозрачными. Слезающиеся глаза подслеповато шурились под покрасневшими, лишенными ресниц веками. Старик зябко кутался в короткий дырявый плащ. Спазматическая дрожь то и дело пробегала по худому костлявому телу. Из-под плаща виднелся рваный шерстяной свитер; грязные, в заплатках брюки были заправлены в дырявые носки, подвязанные кусками веревки. Ботинок на нем не было, и он переступал с ноги на ногу на холодном бетонном полу подземелья.

Борода первым нарушил молчание:

— Ты кто такой?

Старик метнул исподлобья затравленный взгляд и еще плотнее сжал губы. Борода встал из-за стола, подошел к старику почти вплотную. Старик весь сжался и попятился.

— Не бойся,— медленно сказал Борода,— и не дрожи... Не сделаю тебе ничего худого.

— А я и не боюсь тебя, разбойник,— прерывающимся голосом пробормотал старик.— Знаю, кто ты, и все равно не боюсь...

Он умолк и, отступив к самой стене, прикрыл глаза.

— Знаешь меня,— удивился Борода,— откуда?..

Старик молчал.

— Не глупи, отец. Садись поближе к свету. Поговорим. Хочу порасспросить тебя... кое о чем...

Старик продолжал молчать и не открывал глаз. Все его тело сотрясало от непрерывной дрожи.

— Видишь, он уже готов рассыпаться,— заметил Одноголазый.

Парни, которые привели старика, захмыкали.

— А ну! — негромко бросил Борода.

Под низко нависающим бетонным сводом стало тихо.

— Почему ты без сапог? — продолжал Борода, снова обращаясь к старику. — Разве у вас в долине теперь ходят так?

Старик покосился на полуголых парней и злобно прошептал что-то.

— Вот как? — удивился Борода. — Это ты? — Он указал пальцем на одного из парней.

Тот испуганно замотал головой.

— Значит, ты. — Борода не мигая уставился на другого парня. — А ну-ка подойди сюда.

Звонкий удар, короткий всхлип. Еще удар и еще.

— Теперь ступай и принеси его башмаки.

Заслоняя руками окровавленное лицо, парень, пошатываясь, исчез за тяжелой дверью.

Через несколько минут он возвратился. Одной рукой он прикрывал разбитый нос и губы, в другой были башмаки старика. Он молча поставил их на стол и попятился к двери.

— Немудрено, что польстился, — заметил Борода, — хорошие башмаки — на меху и подошва совсем не стерлась. Я тоже никогда в жизни не носил таких. Ты, наверно, был богатый, — повернулся он к старику, — раньше, до этого... Ну, понимаешь?

Старик молчал, не отрывая взгляда от башмаков, которые Борода держал в руках.

— Конечно, богатый, — усмехнулся Борода, — только очень богатые могли носить такие замечательные башмаки... На, возьми!..

Он швырнул башмаки к ногам старика. Старик быстро нагнулся, схватил их и стал торопливо надевать, подпрыгивая на одной ноге.

— А ты запомни, — обратился Борода к парню с разбитым лицом. — Мы не бандиты и не разбойники. Мы исследователи... Исследователи — это значит ученые... Мы должны вернуть то, что они, — он кивнул на старика, — потеряли. Это очень трудно, но другого выхода у нас нет. И мы должны быть прин-ци-пи-аль-ны-ми... — Последнее слово он произнес по складам. Так говорил Хромой, умирая. Он-то помнил кое-что — Хромой... — Раньше тоже были ученые... Раньше — это когда нас еще не было, а он был молодым. — Борода указал на старика, который, закусив губы, старался застегнуть пряжку на башмаке. — Те ученые знали больше нас, они даже умели делать такие башмаки... Но они были не-прин-ци-пи-аль-ные... Может, с этого все и началось... Вот так... А ты на что польстился?.. Ты понял?

— Понял,— сказал парень, всхлипывая и размазывая по лицу кровь и сопли.

— Вот и хорошо,— кивнул Борода и обратился к старику.— Так расскажи нам, как все это случилось?

— Я ничего не знаю.

— Быть не может. Что-нибудь да знаешь...

— Нет...

— Не всегда же люди скрывались в пещерах и под развалинами и не могли выходить на солнечный свет.

Старик молча разглядывал пряжки на своих башмаках.

— Ну! Я могу заставить говорить. Это будет гораздо хуже для тебя.

— Я ничего не знаю, клянусь вам.

— А мы поклялись не верить ничьим клятвам, даже своим собственным... Сколько времени ты живешь там, внизу?

— Как помню себя.

— Сколько же лет ты себя помнишь?

— Не знаю... Много...

— Десять, двадцать, пятьдесят?

Старик молча пожевал тонкими губами:

— Меньше, но я не знаю... Я не веду счет годам... Зачем? Время остановилось.

— Это вы остановили его, ты и те, другие — кто носил такие же башмаки на меху. Вас давно надо было уничтожить всех, как взбесившихся псов... А вы зарылись в норы и бормочете про остановившееся время...

— Кончай, Борода,— глухо сказал Одноглазый.— Это ни к чему. Давай его мне и я проверю, сохранились ли какие-нибудь воспоминания в его гнилом мозгу.

— Не надо! — закричал вдруг старик.— Я скажу, что помню. Зачем мне скрывать? Я ни в чем не виноват.

— Все вы твердите: «не виноват», — заметил Одноглазый,— выходит, все само получилось...

— Помолчи,— сказал Борода,— послушаем, что он помнит. Только начинай с самого начала,— повернулся он к старику,— и не вздумай нас дурачить. Кое-что нам известно... Наш... этот, ну как его... исследовательский центр действует уже давно...

— Я знаю,— кивнул старик.

— Знаешь?

— Да... там, внизу, знают о вас... Вы крадете женщин и стариков, мучаете их и убиваете. Вас боятся и ненавидят. Ботс давно предлагал истребить вас...

— Кто такой Ботс?

— Наш президент.

— Ого, Одноглазый, оказывается, у этих крыс внизу есть даже президент.

— Сами вы взбесившиеся крысы,— хрипло закричал старик.— Исчадия ада! Не даете людям умереть спокойно. Наступает конец света, а вы торопите его приближение.

— «Конец света» — дело ваших рук, отец. Ваше поколение отняло у нас солнце, отняло все, чем люди владели. Да, мы ушли в пещеры и подземелья, у нас не оставалось иного выхода. Но мы хотим знать, что произошло... А вы скрываете... Знание должно помочь нам вернуть потерянное. Тогда те, кто доживет, смогут возвратиться в мир света.

— Человечество вышло из мрака и перед своим концом возвратилось во мрак. Все предопределено, и вы ничего не измените.

— Слышишь, Одноглазый, они там, внизу, даже придумали целую философию, чтобы объяснить и оправдать свое преступление.

— Не трать на него время, Борода. Дай его мне, и я все кончу за несколько минут.

— Нет, это становится занятным. Нам давно не попадался такой разговорчивый гость. Кем ты был раньше, старик? До этого... Когда люди еще не прятались от солнца.

— Раньше...— повторил старик и закрыл глаза.— Нет, не знаю... Какой-то туман тут.— Он коснулся костлявыми пальцами лба.— Это ускользает, не поймаете его...

Одноглазый резко приподнялся, но Борода остановил его быстрым движением руки.

— Говори, отец,— кивнул он старику,— говори.— Голос его прозвучал неожиданно мягко.

Старик вздрогнул, глянул настороженно и отвел глаза.

— Садись к столу,— продолжал Борода.— А вы,— он повернулся к парням, молчаливо стоящим у двери,— принесите воды и чего-нибудь поесть.

Парни вышли и тотчас вернулись с жестяным жбаном и глиняной миской, в которой лежали куски черного копченого мяса. Старик неуверенно шагнул к столу, сел на край грубо отесанной деревянной скамьи, прикрывая ладонью глаза от желтоватого света тусклой электрической лампы.

— Ешь,— сказал Борода, придвигая миску с черным мясом.

Старик с ужасом отшатнулся.

— Не бойся. Это летучие мыши. Их много в наших подземельях. Мои парни научились ловить их электрическими сетями. Ешь!

— Воды бы...— прошептал старик, глядя на жбан.

Борода налил ему воды, и старик пил медленно и долго, судорожно подергивая худым кадыком.

— Хорошая вода,— пробормотал он, оставив наконец глиняную кружку и отирая губы тыльной стороной ладони,— чистая и сладкая.

— Здесь, в горах, много такой, а у вас разве хуже?

— У нас — гнилая... Течет из-под развалин, а там, говорят, остались трупы.

— Трупы? С того времени?

— Нет. Умирали и позже. Те, кто выходил днем. Это было давно, когда еще не поняли, что солнце убивает.

— Много вас осталось в развалинах?

— А зачем тебе знать?

— Просто интересно, как вы там живете.

— А как вы тут?

— Нас немного. И у нас хорошая вода и чистый воздух. Здесь по ночам дуют свежие ветры, а у вас, внизу, смрад и тишина. Я знаю — спускался туда не один раз.

— Чтобы красть наших по ночам?

— И за этим тоже, но чаще, чтобы посмотреть, понять...

— Что ты хочешь понять?

— Как случилось такое.

— Зачем? Того, что случилось, не исправишь.

— Не знаю. Я и многие из наших родились в тот год, когда это произошло. Мы выросли в темноте пещер, но хотим вернуться в солнечный мир. Он был прекрасен, не так ли?

— Не помню. Не могу вспомнить. И зачем?.. Прошлое не вернешь.

— Не в прошлом дело. Мир велик. Он не ограничивается этими горами. Может быть, не везде так...

— Дальше лежит пустыня — оранжевая и черная. Там только солнце, скалы и песок. Никто ее не пересекал.

— Ты видел ее?

— Нет. Один из наших доходил до края гор. Он увидел пустыню и вернулся.

— Он еще у вас?

— Нет. Умер. Его убило солнце. Он вернулся, чтобы умереть.

— И никто из ваших не пытался уйти совсем?

— Уходили многие, кто помоложе. Уходили и не возвращались. Только один вернулся и рассказал о пустыне.

— А остальные?

— Наверно, погибли. Солнце убило их.

— А может, кто-нибудь дошел...

— Куда? — спросил старик и вдруг начал смеяться; сначала чуть слышно, потом громче и громче, вытирая грязными пальцами слезы, выступившие на глазах.

— Замолчи, — глухо сказал Одноглазый, — чего разошелся?

— Куда он мог дойти?..

— Я не утверждаю, что так было. — Борода потупилась. — Это лишь предположение, или как ее?..

— Гипотеза, — подсказал Одноглазый.

— Вот именно, — гипотеза.

Старик перестал смеяться. Взгляд его снова стал настороженным и злым.

— Вы слепые щенки! Щенки, — повторил он презрительно, — хоть и называете себя исследователями и утверждаете, будто знаете что-то. Ничего вы не знаете, кроме мрака этих пещер, в которых гнездитесь вместе с летучими мышами. Здесь вы родились, здесь и подохнете. В мире не осталось ничего, понимаете, ничего, кроме нескольких горсток безумцев: мы — там, внизу, вы — здесь...

— Но в других долинах... — начал Борода.

— В других долинах только совы, гиены да высохшие трупы.

— Ты бывал там?

— Это не важно. Я знаю...

— Кажется, ты действительно много знаешь, — кивнул Борода. — Плохо только, что не хочешь добровольно поделиться с нами своим знанием.

— Мое знание для вас бесполезно.

— Нет бесполезного знания, отец.

— Его было слишком много во все времена. Оно и погубило мир.

— Значит, ты помнишь, как это случилось?

— Помню только свет, более яркий, чем тысячи солнц, и огонь, мгновенно пожравший все. Спустя много времени я очнулся там, где живу теперь...

— Ты был из этого города?

— Не знаю...

— А твои близкие?

— Я не помню их.

— А другие в развалинах?

— Они тоже ничего не помнят. Некоторые считают, что всегда жили так, хотя лет им больше, чем мне.

— Среди вас есть женщины?

Старик опять зло засмеялся:

— Чего захотел! Вы же украли их.

Борода и Одноглазый взглянули друг на друга.

— Видишь, я был прав,— заметил, помолчав, Борода...— Кто-то работает в соседних долинах... Мы не крали ваших женщин, отец,— продолжал он, обращаясь к старику.— Ни одной. Мы только исследователи. Когда из развалин исчезли последние женщины?

— Не помню. Давно...

— Это важно, постарайся вспомнить.

— Несколько лун назад... Не всех украли, некоторые ушли с молодыми и не вернулись.

— И теперь не осталось ни одной.

— Наверно... Я давно их не видел.

— А что говорят другие в развалинах?

— Не знаю... Мы редко встречаемся и разговариваем.

— Он врет,— проворчал Одноглазый.— Дай его мне, и я заставлю сказать правду и припомнить кое-что...

— Слышишь, отец, что говорит мой помощник? Может, действительно попробовать на тебе наши способы исследований?

— Я в твоей власти, разбойник...— прошептал старик, потупившись.— Но, когда ты вернул мне башмаки, я невольно подумал...

— Что же ты подумал? — прищурился Борода.

— Что ты не такой зверь, как о тебе рассказывают.

— Слышишь, Одноглазый!

— Он хитрит, чтобы спасти шкуру. Разве ты не понял?.. Было бы глупо отпустить его так...

— Отпустите меня,— оживился старик.— Отпустите, а взамен я пришлю вам другого.

— Кого же?

— Того, кто знает больше... Президента Ботса.

— Ты слышишь, Одноглазый!

— Он, видно, считает нас совсем дураками, Борода.

— Похоже...

Наступило молчание. Старик растерянно озибался, глядя то на одного, то на другого; потом горячо заговорил:

— Нет-нет, я не обману вас, клянусь. Ботс стар; все равно он скоро умрет, а он помнит кое-что — это точно. Только он не хочет говорить. Но вы сможете заставить... И получите пользу для себя...

— А для тебя какая в этом польза? — прервал Одноглазый.

Старик хихикнул:

— И для меня будет польза, парень... Когда Ботс исчезнет, придется выбрать нового президента. Им буду я...

— А ты действительно хитрец, — заметил Борода. — Но такой хитрец запросто обманет и нас.

— Не обману... Я ненавижу Ботса. Все в развалинах его ненавидят. У него в тайниках есть разные ценные вещи. Много... Есть даже кофе. Вы знаете, что такое кофе?

— Мы слышали о нем, но никогда не пробовали, — сказал Борода.

— Я пришлю вам банку, если стану президентом.

— Может, отпустим его, Одноглазый, за Ботса и за банку кофе?

— Обманет ведь...

— Если не верите, оставьте у себя мои башмаки. Вернете, когда Ботс будет у вас.

— Рискнем, Одноглазый. Мне кажется, он все-таки не обманет. Он слишком ненавидит Ботса, а кроме того знает, что с нами шутки плохи... Найдем в случае чего... Иди, отец; иди в своих башмаках и доставь нам поскорее Ботса...

* * *

— Ну, мы не прогадали, Одноглазый?

— Выходит...

— Где этот Ботс?

— У меня в лаборатории. Пришлось связать. Кидался, как бешеный.

— Очень стар?

— У нас еще никогда такого не было.

— Надо с ним поосторожнее... Может, заговорит так?

— Едва ли... Лежит и проклинает.

— Начнем помаленьку?

— Пожалуй.

— Тогда пошли.

Они спустились по крутому полутемному лазу в нижний этаж подземелий. Следуя за Одноглазым, Борода снова думал о том, что здесь могло быть раньше... Когда они несколько лет назад нашли и заняли этот лабиринт, в нем еще лежали скелеты и высохшие мумифицированные тела мужчин, женщин, детей. Множество скелетов и тел. Следов ран на них не было. Может быть, они умерли с голоду или от другой причины? Они лежали правильными

рядами во всех помещениях. Ребятам пришлось повозиться, пока очистили верхние этажи лабиринта. Теперь все это сложено в самом низу, в пещерах, которые находятся под долиной. Вероятно, тогда они допустили ошибку... Надо было получше обследовать те пещеры. Лабиринт может тянуться до развалин, которые лежат внизу, в долине...

Интересно, что удастся выведать от этого Ботса... Президент! Ничего себе добыча... Борода умел читать, и из книг, найденных в лабиринте, знал, что раньше так называли главу большого государства. Когда-то на земле были государства. И одно из них находилось в этих горах. Развалины городов кое-где сохранились. И под развалинами еще жили люди. Как в этой долине внизу.

Это было непостижимо... Почему сразу все изменилось? Океан пламени, пронесшийся над этими горами и всем миром... Откуда он? Что было его причиной: злая воля безумцев, роковая ошибка или... Или это «конец света», как твердил тот старик. В сущности, они почти ничего не знают... Знают лишь, что люди — множество мужчин, женщин, детей — жили в больших, освещенных солнцем городах; у людей было все, что пожелаешь, даже теплые башмаки на меху. Кроме того, у них были разные машины, приспособления, приборы, о назначении которых сейчас трудно догадаться, тем более что сердца этих приборов и машин умерли вместе с их создателями... Переменилось все сразу. Может быть, за несколько мгновений. Все испепелил, разрушил, расплавил огонь. На картинках в старых книгах были горы, покрытые яркой зеленью и цветами, были прекрасные здания из блестящего металла и стекла, которые искрились в солнечных лучах; было синее море, а на его берегах красивые мужчины, женщины, дети, которые не прятались от солнца... Борода невольно вздрогнул. Солнце — самый страшный и смертельный враг тех, кто уцелел. Его лучи безжалостно убивают все живое. Они убили растения, иссушили реки. Наверно, и на месте синей морской дали теперь бесконечная сожженная солнцем пустыня. Может быть, причина в солнце? Изменилось оно, а люди ни в чем не виноваты?..

Но почему Хромой утверждал иное? Всем, что Борода знает, он обязан Хромому. Хромой научил их жить в этих подземельях. Указал цель жизни: понять и попытаться поправить то, что случилось... Он был убежден, что катастрофа — дело рук людей — тех самых не-прин-ци-пиальных ученых, которых Хромой так ненавидел. С Одногла-

зым и учениками Борода теперь продолжает дело, начатое Хромым. Удастся ли им понять что-нибудь? Стариков остается все меньше; все чаще они умирают, так и не начав вспоминать... Да и хранит ли чья-нибудь уснувшая память воспоминания, которые они ищут?..

Одноглазый, шедший впереди, негромко выругался.

— Что там? — спросил Борода.

— Светильники гаснут. Видишь, почти не светят. Водяные машины, которые нам удалось пустить в ход с таким трудом, выходят из строя. Они дают все меньше энергии. Что будем делать потом?

— Надо добыть новые лопатки для колес.

— Где?

— Ну, попытаться сделать самим.

— Легко сказать! Из чего и как? Мы еще можем кое-как наладить старые машины, но сделать что-то заново... Это искусство утрачено навсегда, Борода.

— Вздор! Все эти машины сделали люди, такие же, как ты и я.

— Не совсем такие, Борода. Они знали то, чего мы не знаем. Нас ведь никто не учил. Мы до всего должны доходить сами.

— Значит, должны дойти и до этого: начать строить новые машины.

— Пожалуй, давай заниматься этим. И оставим то, над чем трудились до сих пор.

— Нельзя. Машины пока не главное, они только помощь в нашем основном деле. Надо думать и об одном и о другом.

— Знаешь, Борода, если Ботс нам сегодня ничего не скажет, похоже, мы проиграли... Ничего у нас не получится.

— И ты начал сомневаться!

— Давно; только не хотел говорить, не хотел оставлять тебя одного.

— Одного?

— Конечно. Если я уйду, уйдут и ребята. Наверно, уйдут все...

— Куда вы пойдете? Ты слышал, что говорил старик.

— Можно пойти вдоль гор, не обязательно углубляться в пустыню. Пойдем ночами при свете луны. Днем будем прятаться в пещерах. Если где-нибудь найдем женщин, отобьем их, заложим новое поселение. Коли хочешь, пойдем с нами.

— Это уже решено?

— Да... Если тот ничего не скажет.

- А если скажет?
- Тогда еще посмотрим.
- Так...

Больше они не проронили ни слова, идя по длинным плохо освещенным скальным коридорам.

«В сущности, этого надо было ждать давно,— думал Борода.— Ребятам все осточертело, а главное, им нужны женщины. Одно знание их не увлекает... В их телах сохранился первобытный инстинкт продолжения рода... А впрочем, все это тоже бессмысленно... Женщины давно бесплодны... В пещерах и в глубине развалин рождались лишь дети, зачатые до катастрофы. И если мы ничего не изменим, мы станем последним поколением этой проклятой земли».

* * *

Старик лежал на столе. Вербки, которыми он был привязан, глубоко впились в иссохшее худое тело. Голова запрокинулась назад, и острый клин бороды торчал вверх, отбрасывая резкую тень на побеленную известкой стену. При виде Бороды и Одноглазого старик шевельнулся, и из его впалой груди вырвался не то вздох, не то скрип.

— Развяжите его,— приказал Борода.

Парни, стоящие у дверей, бросились исполнять приказание. Когда путы были сняты, старик, кряхтя, поднялся и сел.

— Посадите его в кресло.

Парни подняли старика и перенесли в потертое кожаное кресло, стоявшее посреди помещения. Над креслом с потолка свисал блестящий металлический шар, от которого тянулись нити проводов.

Старик не сопротивлялся. Посаженный в кресло, он попытался устроиться поудобней и принялся растирать затекшие кисти рук.

Борода и Одноглазый присели напротив на грубо сколоченных табуретках.

— Ну, здравствуй, президент Ботс,— сказал Борода,— приветствую тебя в нашей исследовательской лаборатории.

— А я совсем не президент,— довольно спокойно возразил старик,— и никто до сих пор не называл меня Ботсом.

— Он утверждает это с самого начала,— заметил Одноглазый.— Врет, конечно, как они все...

— Значит, не Ботс,— кивнул Борода.— Возможно, мы ошиблись. Тогда кто же ты?

— Достаточно того, что не Ботс. Если вам нужен Ботс, отпустите меня.

— Не раньше, чем ты сможешь доказать, что ты не Ботс.

— Как же я это сделаю?

— А если не сможешь, значит, ты и есть президент Ботс.

— Хитро придумано.— Старик потер пальцами свою козлиную бороду и задумался.— Что вам нужно от меня?

— А вот это другой разговор... Ты достаточно стар и, конечно, помнишь, как это произошло.

— Что именно?

— Ты же понял...

— Огонь, который пожрал все?

— Да.

— Не знаю... И никто не знает.

— А ты помнишь, что было до этого?

— Нет... Помню себя с тех пор, как открыл глаза во мраке среди развалин.

— Слушай, Ботс...

— Я не Ботс.

— Допустим... Но кто бы ты ни был, помоги нам понять... Ведь мы ищем правду.

— А существует ли правда? И зачем вам она?

— Чтобы попытаться исправить...

— Это не в силах людей. Тем более теперь...

— И все-таки мы хотим попробовать.

— Но я ничем не могу вам помочь. Я ничего не знаю.

— Видишь это? — Борода указал на блестящий металлический шар, свисавший с потолка над головой старика.— Знаешь, что это такое?

— Нет... А хотя подождите...— Старик прикрыл ладонью глаза, вспоминая.— Однажды я уже видел над собой такое... Очень давно... С помощью этого когда-то лечили болезни. Только я забыл какие... Но вы, конечно, используете это для другого...

— Нет, и мы лечим... Память... Заставляем вспомнить то, что люди забыли.

— И убиваете их.

— Не всегда... Только тех, кто не хочет вспомнить.

— Не хочет или не может?

— Для нас это безразлично, отец.

— И вы хотите испытать это на мне?

— Если ты не будешь говорить добром...

— Но, испугавшись, я могу наговорить вам невесть что,

— У нас есть средство проверить... кое-что нам известно. Ложь не спасет тебя.

— От чего?

— От этого,— Борода кивнул на блестящий шар.

— Вам никогда не приходило в голову, что старость надо беречь, уважать... Вы называете себя исследователями, но вы просто дикари... Ведь уважение к старости, к минувшему — главная черта, отличающая цивилизованность от дикости, ученого — от дикаря.

— О каком уважении ты говоришь, отец? За что мы должны вас уважать? Вы лишили нас всего... И, если говорить о дикости, вы — ваше поколение — ввергли нас в нее. А мы хотим вырваться любой ценой! Понимаешь, любой... Ценой ваших признаний и плюгавых жизней — тоже.

— В логике вам отказать нельзя, хотя то, что вы творите, бессмысленно. Ну, допустим, ты и даже все вы, — старик обвел взглядом подземелье, — поймете, что произошло двадцать или тридцать лет назад. Ну и что! Изменить вы ничего не в состоянии.

— Поняв, можно что-то делать..., Искать средства, пытаться изменить...

— Вот вы поняли, давно поняли, что солнечные лучи убивают. Как вы это измените?

— Может, и изменим, когда будем знать причину. Почему они стали смертоносными? Ведь раньше они не убивали.

— Раньше не убивали, верно... Раньше были благодеянием. Благодаря им на земле появилась и расцвела жизнь...

— Ну так что же произошло? Что ты думаешь об этом сам? Ты очень стар. Главная часть твоей жизни осталась там, за огненной чертой. Я готов поверить, что ты, как все, ничего не помнишь... Но разум твой еще светел, и ты не можешь не думать о том, как все переменялось. И почему переменялось...

Старик сплел тонкие пальцы, подпер ими узкий худой подбородок и долго молчал, устремив неподвижный взгляд в дальний угол подземелья; потом, словно очнувшись, резко дернул головой и заговорил:

— Твой вопрос свидетельствует о твоём уме, прости, я не знаю твоего имени...

— Мы зовем его Борода, — сказал Одноглазый. — Он единственный среди нас, у кого волосы растут на подбородке и на щеках.

— Единственный... это интересно..., — пробормотал ста-

рик, снова обращаясь к самому себе.— Так вот, Борода,— продолжал он совсем другим голосом — отчетливым и твердым,— я действительно думал об этом, и не раз. И если тебя интересуют мои мысли, охотно поделюсь ими с тобой. Я не знаю, чем я занимался раньше, до «огненной черты», как ты говоришь... Начав вторую жизнь под развалинами в долине, я нашел себе занятие, вероятно, новое, тем не менее интересное и важное для меня,— я стал изучать сны... Да-да, не удивляйтесь,— сны... Свои сны, сны других людей, живущих рядом со мной. Я научился понимать сны, объяснять людям их значение... Если бы вы знали, какие иногда снятся интересные сны.

— А если снов нет? — спросил Борода.

— Сны есть всегда, просто ты их сразу забываешь, как я и другие забыли то, что было до «огненной черты».

— Ты, кажется, хотел рассказать нам, какие бывают сны.

— Да... Вот однажды мне приснилось поле — зеленое поле, густо заросшее влажной травой и цветами. Было раннее утро, и я бежал по этому полю. Никто не преследовал меня. Просто мне было легко и весело. Я бежал по росистой траве, и надо мной плыли легкие розовые облака. А потом взошло солнце, но не смертоносное, а ласковое... Его лучи согревали и сушили одежду, влажную от росы...

— И что же означал этот сон? — хрипло спросил Борода.

— Вероятно, когда-то давно, задолго до «огненной черты», я встречал солнечный рассвет на цветущем зеленом поле.

— А еще?

— Еще мне часто снится город. Большой город с очень высокими домами и узкими улицами. Нигде не видно развалин, а на перекрестках улиц кое-где маленькие площади, и на них среди камня правильные ряды деревьев и цветы... Много ярких цветов. И между цветами бьют к небу струи прозрачной воды, ярко сверкающие в лучах солнца...

— А люди?

— Да, и люди. Множество людей... Они спешат куда-то, не обращая внимания на цветы, водяные струи и солнце...

— Значит, ты когда-то жил в таком городе?

— Вероятно... И, в отличие от других его обитателей, находил иногда время посмотреть вокруг.

— Что же ты помнишь еще?

— Я не говорил, что помню. Это всего лишь сны...
— Которые ты умеешь толковать.
— Толковать — да... Но это не значит, что все так и было.

— Я перестаю понимать тебя, отец,— нахмурился Борода.

— Сон — лишь призрак, который возникает тут,— старик коснулся пальцами головы,—призрак воспоминания или того, что живет в тебе и самому тебе неизвестно... Может, это только мечты, а в действительности ничего не было.

— Но огненная черта была.

— В сущности и этого мы точно не знаем. Что-то переменялось в мире, в котором мы жили... И все...

— Хочешь запутать меня?

— Нет. Это мои мысли. Ведь ты хотел знать их, не так ли?

— Тебя трудно понять.

— Это удел всех нас. Люди давно разучились понимать друг друга и даже самих себя. Вероятно, с этого и начались все несчастья.

— Значит, в том, что произошло, все-таки виноваты люди?

— Я не могу утверждать, но порой думаю так.

— Твои сны подсказывают такие мысли?

— Не только... Ты умеешь читать, Борода?

— Да... Но я знаю мало книг. Книги — такая редкость. Они сгорели первыми. А те, что чудом сохранились, пошли на топливо для костров немного позднее. Уцелевшие хотели выжить любой ценой...

— Знаю... У себя в развалинах я собрал немного старых книг. В некоторых есть предостережения, что такое может произойти, если люди не одумаются.

— Предостережения?

— Да... Были люди, имевшие смелость предостерегать, предсказывать. Их называли фантастами.

— Расскажи об этих предсказаниях, отец.

— Это даже трудно назвать предсказаниями. В одной книге описано то, что случилось, так, словно автор видел все это.

— Но эта книга?..

— Она написана очень давно, наверно, до моего рождения.

— Значит, они знали?

— Некоторые, наверно, догадывались.

— Ты слышишь, Одноглазый?

— Слышу, но можно ли верить? Где эта книга?

— Она хранится в развалинах. Обещаю отдать ее вам, если освободите меня.

— Слушай, Ботс!..

— Я не Ботс.

— Мы уже договорились, что ты Ботс. Мне нужна эта книга. Но кто поручится, что ты не обманешь?

— Ты должен мне поверить. У тебя нет иного выхода. В некоторых случаях люди должны верить друг другу... Ибо неверие — это уже проигрыш. Я оставляю книгу в условленном месте между развалинами и вашей горой. Завтра ночью ты возьмешь ее.

— Хорошо. Я верю... С заходом солнца освободи его, Одноглазый. Пусть парни проводят его и условятся о месте, где он положит книгу. Я не буду больше утомлять тебя расспросами о снах, отец. Прощай. А пока отдохни у нас до наступления темноты...

* * *

— Что скажешь, Одноглазый? Ушел он?

— Нет... Он умер, Борода. Умер... не начав вспоминать.

— Ты... Ты посмел?

— Спокойно, Борода! Глупо было отпускать его так... Я хотел испытать его немного... Ведь я имел право... Я тоже исследователь, как мы все...

— Что ты наделал! Книга... Как мы достанем теперь его книгу?

— Книга могла оказаться такой же ложью, как и «президент Ботс». Он сказал, что его звали Стоб. Тот старик тоже обманул нас...

— Что ты наделал, Одноглазый!

— Только выполнил свою обязанность... Мы обязаны экспериментировать в поисках правды. Экспериментировать, а не верить на слово, как последнее время делаешь ты. Эксперимент оказался неудачным, вот и все. Еще один неудачный эксперимент. Но он последний, Борода.

— Последний?

— Да. Мы уходим. Все... Сегодня ночью. Я тебе говорил... Парни уже собрались. Решай, как ты? Но учти, теперь я командую...

— Он очень мучился?

— Кто?

— Ну этот — Ботс или Стоб...

— Не очень... Это случилось быстро. Он был слишком стар... Сразу начал бредить... Слова были бессмысленны. Впрочем, одна фраза показалась мне интересной,

но он не успел закончить ее... Он вдруг вспомнил о тебе... Он решил, что ты обманывал его, обещая свободу...

— Проклятие!

— Он решил так... Он сказал: этот с бородой, который обманул, он, пожалуй, мог бы... Солнце не очень страшно для него... Всего три ночи пути...

— Три ночи? Но куда?

— Не знаю. Это были последние слова. Больше я не разобрал ничего.

— Он бредил... Я такой же, как и вы все. Я вырос в подземельях... и никогда не выходил на солнце.

— А может, ты родился еще до огненной черты, за год-два?.. Почему только у тебя растет борода? Вдруг солнечные лучи не смертельны для тебя?

— Хочешь избавиться от меня таким способом? Не выйдет! — Борода усмехнулся. — Действительно ли он бредил так, или ты придумал это сам? Я не настолько глуп, чтобы поверить... Инстинкт подсказывает мне, что солнце губительно. Я страшусь его лучей, как и все вы. И я еще не хочу умирать. Идите, как вы задумали. Я остаюсь и попробую найти книгу, о которой он говорил.

— Подумай, Борода!

— Я уже подумал. Наши пути разошлись... Буду искать правду один.

— Это твое право. Но мне жаль, что ты оставляешь нас. И хоть ты обидел меня несправедливым подозрением, повторяю: я ничего не придумал. Старик произнес те слова, и я передал их тебе точно.

— Хорошо. Прощай!

— Прощай, Борода. Мы пойдем вдоль гор на север. Будем оставлять знаки, чтобы ты мог найти нас, если передумашь.

— Хорошо. Но я не передумую.

— Мы не уйдем далеко. В четырех ночах пути в большой долине есть развалины. Попробуем договориться с теми, кто живет там...

— Все это бессмысленно.

— Не больше, чем твое решение остаться.

Одноглазый направился к выходу, но, не дойдя до двери, вернулся.

— Вот, — сказал он, снова подходя к столу, за которым сидел Борода, — этот порошок — кофе... Его прислал тот старик в башмаках на меху. Опять похоже на обман... Порошок горький... Возьми его, если хочешь.

Одноглазый вынул из кармана кожаной куртки небольшую металлическую банку. Поставил ее на стол.

Борода не шевельнулся. Глаза его были устремлены куда-то в темноту, поверх головы Одноглазого. Одноглазый потоптался у стола и молча вышел, тяжело ступая подкованными сапогами.

* * *

Три ночи подряд Борода пытался проникнуть в развалины, лежащие внизу, в долине. Все было напрасно. Часть входов оказалась завалена, остальные тщательно охранялись. Из них доходил слабый свет, слышны были приглушенные голоса. На стук камня, выкатившегося из-под ног Бороды, от ближайшего входа в темноту просвистела стрела. Поняв безуспешность попыток, Борода возвратился в подземелья опустевшей лаборатории.

Электрические машины давали все меньше энергии. Светильники гасли один за другим. Надо было решать...

Следующей ночью Борода покинул опустевшую лабораторию. Он положил в кожаный мешок запас копченого мяса, другой мешок наполнил водой. Он остановил водяные машины, и тусклый свет немногих светильников погас. В лабиринте наступила непроглядная тьма. Перебросив через плечо кожаные мешки с едой и питьем, Борода ощупью направился к выходу.

Когда Борода выбрался наружу, над головой у него засверкали звезды.

Теперь надо было решать, куда идти. Чуть заметная тропа вела вдоль скалистого склона хребта на север, туда, куда ушли Одноглазый и ребята. Но старик, умирая, сказал о пути длиной в три ночи. Ночь приходила с востока, из пустыни.

И вдруг Борода понял, что выбор уже сделан; сделан еще тогда, когда он говорил последний раз с Одноглазым. Просто он откладывал исполнение... Путь только один — на восток, в пустыню. И чего бы это ни стоило, он должен дойти. Если даже в конце пути ждет смерть, он, умирая, будет знать больше, чем знает сейчас. И оставит знак тем, кто пойдет его следом. Старик не успел сказать всего, но теперь это не так важно, раз он решил идти...

* * *

Рассвет застал его у подножия гор, на краю каменистой пустыни. Когда восток заалел, а горы за спиной позолотило еще невидимое солнце, Борода разыскал пещеру-навес и забился в самую глубину, куда не могли бы проникнуть солнечные лучи. Утомленный ходьбой, он тот-

час заснул и проспал весь день. Когда он проснулся, солнце уже скрылось за хребтом, а пустыня на востоке потемнела.

Борода проглотил немного мяса, запил несколькими глотками воды и снова пошагал вперед. Еще некоторое время местность понижалась, потом стала совсем ровной. Пустыня выглядела такой же безжизненной, как и горы. Ни кустика, ни клочка сухой травы. Под подошвами скрипел гравий, иногда попадались более крупные камни. Несколько раз Борода пересекал неглубокие сухие лощины. Быстро темнело, ржаво-бурые тона пустыни блекли, растворялись во мраке. Над головой все ярче сверкали звезды. Борода оглянулся. Горы на западе словно стали ниже. Их темная зубчатая цепь четко выделялась на фоне угасающей бледно-оранжевой зари. Вокруг была пустыня — неведомая, огромная, угрожающая. Борода содрогнулся, вспомнив о завтрашнем рассвете. Что, если он не найдет укрытия от палящих смертоносных лучей!.. Еще не поздно вернуться к горам, где на каждом шагу есть пещеры и глубокие прохладные укрытия. Но он только тряхнул головой, чтобы прогнать сомнения, и ускорил шаги. Нет, он будет идти вперед, только вперед, пока хватит сил... Он выбрал яркую звезду, которая недавно поднялась над горизонтом, и пошел прямо на нее, а когда звезда заметно отклонилась вправо к юго-востоку, выбрал другую и шагал без остановки несколько часов. Потом горизонт начал светлеть, и впереди поднялся узкий серп ущербного месяца, предвещая близкий конец ночи.

Борода присел немного отдохнуть. Залитая неярким светом пустыня казалась серебристой. Кое-где сверкали осколки кремня, темнели неглубокие лощины. Ветра не было, полная тишина царила вокруг. Борода долго вслушивался в нее, но не мог уловить ни единого звука. Это была тишина всеобщей смерти... Суждено ли ему пережить следующий день?.. Он поднялся и пошагал дальше. Теперь он шел медленнее. Тело ломило от усталости, горели стертые ступни. Но он продолжал идти вперед.

Снова заалел восток. Заря стремительно разгоралась. Через несколько минут из-за горизонта брызнут ослепляющие лучи солнца. Пора было искать укрытие. Борода оглянулся. Местность вокруг была ровной, как стол. Ни выступов, ни скал... Он вернулся назад, к последней ложбине, которую недавно пересек. Спустился и пошел вдоль нее. Быстро светало. Глаза уже различали ржаво-фиолетовые краски пустыни. Лощина отклонялась к севе-

ру и постепенно углублялась. Наконец, когда стало уже совсем светло, Борода разыскал небольшой скальный карниз. Он выдавался на север и должен был давать тень в течение всего дня. Под карнизом было немного сухого песка. Борода вытянулся на нем, закрыл глаза. На этот раз он долго не мог заснуть. Сквозь прижмуренные веки различал, как горят в лучах взошедшего солнца скалы на противоположной стороне лощины, чувствовал жар от нагретых солнцем камней; они находились всего в двух шагах от него. Потом он заснул...

Проснулся он от ощущения невыносимого зноя. Ему показалось, что все его тело пылает. Он раскрыл глаза, но, ослепленный, не увидел ничего, кроме сияющей синевы над головой. Он зажмурился, а когда раскрыл глаза снова, содрогнулся от ужаса. Вся правая сторона его тела была освещена солнцем, которое висело почти в зените. Он стремительно отодвинулся, лег на бок, прижался к шероховатой скале. В полдень карниз давал слишком мало тени. Сколько времени он проспал, освещенный солнцем? Смертельно ли поражение, которое его настигло? Борода знал, что люди, пораженные солнечными лучами, иногда умирали не сразу. Может, и у него есть еще какое-то время? Он лежал неподвижно, вслушивался в себя и ждал... Граница света и тени проходила всего в ладони от его тела. Потом эта граница начала отодвигаться. Солнце склонялось к западу. Тени становились длиннее, жара уменьшалась, а он еще жил...

Когда тень заполнила всю лощину, Борода рискнул высунуть голову из-под своего карниза. Солнца со дна лощины уже не было видно, но его жар еще чувствовался в воздухе. Борода осторожно приподнялся, встал на четвереньки. Каждое движение отдавалось болью в онемевшем теле, кружилась голова, но он жил, мог двигаться...

Он дождался сумрака, вылез из лощины и побрел на восток. Сначала он шел очень медленно, но с наступлением темноты пришла прохлада и вернула часть сил. Он шел, не останавливаясь, до восхода луны. Облик пустыни постепенно менялся. Местность стала волнистой. В понижениях появились полосы песка. Ноги тонули в рыхлом песке, и движение сильно замедлялось. Поднявшись на одну из возвышенностей, Борода присел отдохнуть. Низко над горизонтом висел узкий бледный серп луны, освещая однообразные застывшие волны песка и каменистых гряд. Они тянулись во все стороны, насколько достигал взгляд.

Борода сначала вслушивался в окружающую тишину, потом начал дремать. Из полузабытья его вывел какой-то странный, далекий звук. Откуда он донесся, понять было нельзя. Может быть, из безмерных пространств пустыни, а может — с ночного неба. Он не был похож ни на что: ни на шум ветра, ни на грохот далекого обвала, ни на рычание дикого зверя. Зародившись вдали, он звучал какое-то время и постепенно смолк. И снова вернулась тишина. Но теперь это уже не была тишина смерти... Она скрывала что-то неведомое, о чем рассказал донесшийся звук. Борода поднялся. Силы снова возвратились к нему, и он двинулся вперед...

В третий раз впереди загорелась заря. Третья ночь пути подходила к концу. В редющем сумраке Борода оглядел с невысокой возвышенности окрестности. Вереницы пологих гряд тянулись до самого горизонта, между ними белели полосы песка. Нигде не было видно ничего похожего на укрытие. Оставалось идти вперед, пока силы не покинут его окончательно...

Когда из-за горизонта появился ослепляющий край солнечного диска и жгучие лучи коснулись лица, Борода только примкнул веки и продолжал механически переставлять ноги в сыпучем песке. Он уже ни о чем не думал, ждал только, когда упадет, сраженный смертоносными лучами. Солнце поднималось все выше, а он все еще шел, тяжело передвигая ноги. Лицо его горело от зноя, по щекам стекали струйки соленого пота. Наконец песок кончился; Борода почувствовал под ногами твердую каменистую почву. Потом что-то стало задевать за ноги, мешая движению. Он нагнулся, прикрывая глаза от нестерпимо яркого света, и увидел у своих ног полузасохшие стебли каких-то серебристых трав. Он сорвал один из них и поднес к лицу. Запах был незнакомый, острый и свежий до горечи. Борода опустил на колени и, касаясь лицом жестких сухих стеблей, стал жадно вдыхать их горьковатый аромат. Он еще не верил самому себе. Неужели это конец пустыни, неужели впереди жизнь?..

Он поднялся и, уже не думая о губительных лучах, которые изливало солнце, торопливо двинулся вперед. Он пытался разглядеть, что было перед ним, но не привыкшие к яркому свету глаза слезились; расплывающиеся радужные круги застилали все вокруг. Он только чувствовал, как трава под ногами становится гуще, и, опустив руку, ощутил, что стебли уже не сухие и ломкие, а гибкие и влажные...

А потом на его пути встала стена... Он догадался о ее близости по прохладной тени и, протянув вперед руки, нащупал шероховатую поверхность камня. Стена тянулась вправо и влево. Он поднял руки высоко над головой и не достал до ее края. Пальцы находили только стыки больших грубо отесанных плит. Он побрел вдоль стены, но тут силы окончательно покинули его... Он прилег на землю и, чувствуя, как сознание исчезает, решил, что умирает...

Но он не умер. Вечерняя прохлада возвратила его в мир запахов, звуков, красок. Он снова почувствовал свое тело и, приоткрыв глаза, увидел, что лежит в густой зеленой траве у подножия высокой серой стены. Солнце чуть просвечивало сквозь розоватые облака совсем низко над горизонтом. Прохладный ветер шелестел в траве, а над самым ухом звучала прерывистая серебристая трель, похожая на звон многих колокольчиков. Борода начал настороженно всматриваться в окружающую зелень, чтобы найти источник странных звуков, но увидел только крошечное зеленоватое существо с длинными изломанными ногами. Существо на мгновение замерло, и звук прекратился, но затем длинные ноги снова пришли в ритмическое движение, и опять полилась серебристая трель.

Борода усмехнулся, потом осторожно приподнялся, чтобы не потревожить маленького звонкоголосого соседа. И тут впервые он вдруг почувствовал, как нарастает в нем волна радости... Он жил... Солнце не убило его. Тот старик сказал правду! И впереди, за стеной, ждало неведомое...

Придерживаясь руками за стену, Борода встал на ноги и осмотрелся. Стена уходила вправо и влево непрерывной серой лентой. Она поднималась на пологие возвышенности, спускалась в ложбины и убегала к самому горизонту. Высота ее намного превышала человеческий рост, и нигде в ней не было заметно ни понижений, ни ворот, ни выломов. Вдоль стены тянулась широкая полоса растительности. Среди густой травы темнели кустарники, поднимались невысокие деревья. Далеко на западе, в желтоватом мареве заката, лежала пустыня. Борода долго всматривался туда, но гор, из которых пришел, разглядеть не мог.

Осмотр стены показал, что взобраться на нее здесь не удастся. Надо было поискать другое место, и Борода направился вдоль стены на север. Солнце зашло, быстро темнело. В густой траве все звонче раздавались серебри-

тые трели маленьких длинноногих существ. Борода почувствовал голод и жажду. Присев у подножия стены, он доел остатки мяса и допил последние глотки воды. Он не сомневался, что завтра за стеной найдет воду, но сейчас жажда продолжала мучить его. Он попробовал жевать стебли травы, но и это не принесло облегчения. Он продолжил путь почти в полной темноте и неожиданно очутился среди невысоких деревьев, на которых висели крупные, мягкие на ощупь плоды. Борода разорвал один из них и нашел внутри сладкую сочную мякоть с очень приятным вкусом и запахом. Утолив жажду, он решил остаться тут до рассвета. Он прилег на мягкой траве под деревьями и мгновенно заснул.

Проснулся он задолго до рассвета. Его разбудили звуки, доносившиеся из-за стены. Что-то приближалось с лязгом и грохотом. Чувство неведомой опасности заставило его мгновенно вскочить. Грохот нарастал. Коснувшись ладонью стены, Борода почувствовал, что она дрожит. В ужасе, что стена сейчас рухнет, Борода устремился прочь в темноту. Он наткался на деревья, падал, разорвал одежду и расцарапал лицо. Густые колючие заросли заставили его наконец остановиться. Он тяжело дышал, чувствуя на исцарапанных губах соленый вкус крови. Сердце судорожно колотилось в груди... Однако стена не рухнула и ничто не появилось из-за нее в темном небе. Грохот и лязг постепенно отдалились и смолкли совсем. Снова стало тихо, слышались только серебристые трели в темной траве.

До рассвета Борода уже не сомкнул глаз. Иногда из-за стены доносились какие-то неведомые звуки, но источник их находился далеко. И сколько Борода ни прислушивался, он не мог понять, что за странный мир отгорожен этой стеной.

Наконец стало рассветать. Окружающие предметы начали снова обретать свою окраску, и Борода узнал, что плоды, которыми он утолял ночью жажду, оранжевые, а колючий кустарник, в котором он запутался, убегая, усыпан яркими желтыми цветами. Мир становился все ярче, теплее и прекраснее, только стена оставалась серой, холодной, недоступной. Борода нарвал сочных оранжевых плодов, набил ими кожаный мешок из-под воды и направился дальше вдоль стены. Солнце уже поднялось над горизонтом, но было еще низко по ту сторону стены, и Борода шел в глубокой прохладной тени. Впрочем, теперь он уже не боялся солнца. Ведь даже вчера в пустыне оно не совладало с ним...

Наконец он нашел место, где каменные плиты, из которых была сложена стена, на стыках раскрошились, образовав углубления наподобие крутой лестницы. Борода окинул стену оценивающим взглядом и решил, что попытается тут подняться. Дважды он срывался и соскальзывал к подножию стены, но в конце концов дотянулся пальцами до верхнего края, схватился за него, приподнялся на руках и чуть не сорвался снова, ослепленный и потрясенный тем, что открылось его взору.

За стеной лежала разноцветная волнистая равнина, словно составленная из желтых и зеленых квадратов разной яркости и величины. В лучах утреннего солнца серебристо блестящие обрамленные зеленью голубые окна воды. Белые нити дорог пересекали равнину в различных направлениях. Что-то двигалось там встречными потоками, без конца обгоняя друг друга. Повсюду виднелись цветные крыши домов, что-то сверкало в тени деревьев, что-то вспыхивало цветными огоньками, искрилось и сияло в солнечных лучах. Порывы теплого ветра доносили немолкующий пульсирующий гул, словно там вдалеке лениво дышало огромное и прекрасное чудище.

Борода, выбравшийся на вершину стены, стоял неподвижно, ошеломленный, растерянный, сомневающийся... Может, он видит сон?.. Ведь это так похоже на цветные картинки, которые встречались в старых книгах... А может быть, он умер и это видения иного мира?.. А может?.. Мысли его путались, сбивались... Ведь не мог же этот сверкающий мир лежать все эти долгие годы в трех ночах ходьбы от того царства мрака, из которого он пришел.

Что все это значит? И эта стена, что она отгораживает?..

Борода не сразу сообразил, что тоненький голосок, звучащий где-то внизу, под стеной, обращен к нему. У него мелькнула мысль о тех крошечных существах, которые скрываются в траве и оглашают ночную тьму серебристыми трелями. Но, взглянув вниз, он увидел маленького мальчика в голубой рубашке, коротких красных штанишках и больших желтых башмаках, обутих прямо на босые ноги. Задрав светлую стриженую голову, мальчик внимательно и крайне неодобрительно рассматривал незнакомого оборванца, стоящего на вершине стены.

— Ну, почему не отвечаешь? — спросил мальчик, сморщив облупленный нос. — Зачем ты туда залез?

— Я хотел посмотреть... — нерешительно протянул Бо-

рода. Голос его прозвучал хрипло и глухо; Борода проглотил набежавшую слюну и откашлялся.

— Туда нельзя лазать,— назидательно сказал мальчик.— Разве ты не читал надписи?

— Нет.— Борода отрицательно покачал головой.

— А ты видел ее?

— Нет.

— Слезай, я покажу.

Борода с сомнением глянул вниз. Здесь было очень высоко, и стена казалась совершенно гладкой.

— Слезай, где влез.

— Я влез оттуда.— Борода указал на обратную сторону стены.

— Ничего. Слезай. Здесь недалеко есть дырка. Мы через нее лазаем за апельсинами. Ты видел там апельсины?

— Нет.

— Ну,— разочарованно произнес мальчик.— Какой ты! Ничего не видел. Подожди, я сейчас покажу.

Он исчез и через несколько мгновений появился по другую сторону стены.

— Ну, чего ты стоишь. Слезай!— крикнул он, как только увидел Бороду.— Иначе я не успею тебе всего показать...

Борода начал осторожно спускаться. Мальчик командовал снизу:

— Обопрись правой ногой. Так, хорошо. Теперь спускай левую. Не туда, правее. Какие у тебя здоровенные сапоги! Нет, переступи вправо, еще... вот так. Интересно, где ты такие достал. А теперь прямо вниз. Вот и все.

Борода прыгнул на землю. Потом осторожно опустился в траву мешок. Мальчик заглянул туда и покачал стриженной головой:

— Не видал апельсинов! А у самого целый мешок.

— Я не знал, что это апельсины,— смутился Борода.

— Так я тебе и поверил. Апельсины все знают... Ну, ладно, это ничего. Их тут очень много. И они ничьи. Хочешь, я тебе еще нарву?

— Не надо. Пойдем лучше на ту сторону.

— Пошли.

Мальчик юркнул в кусты. Борода последовал за ним. Тут между камней оказался узкий лаз. Еще несколько мгновений, и оба очутились по другую сторону стены.

— Вот и все,— сказал мальчик.— А ты куда полез!

— Я не знал...

— Это наш потайной ход. Но я разрешаю тебе пользоваться им, когда полезешь за апельсинами.

— Спасибо.

— А вот та надпись, смотри.— Мальчик указал на стену.

Борода взглянул вверх. На серых плитах тянулись ряды полустертых слов. Шевеля губами, Борода с трудом прочитал по складам:

«Запретная зона радиоактивного заражения. Проникновение вглубь смертельно опасно. Не пересекать... В случае...» — дальше ничего разобрать было нельзя.

— Не бойся,— сказал мальчик.— Это написали давно, когда строили стену. Я тогда еще не родился. Теперь там незаразно. Можно ходить... Только недалеко.

— Но зачем? — тихо спросил Борода, обращаясь к самому себе.

— Что — зачем?

— Зачем это все?

— Какой ты! Ничего не знаешь! — Мальчик презрительно сморщил нос.— Давным-давно, в далекие времена, там пролетал самолет и нечаянно, понимаешь, нечаянно уронил одну бомбу. Это была особенная бомба — очень сильная... И она взорвалась... Тогда и построили стену.

— А как же люди?

— Какие люди?

— Которые там жили.

— Ничего ты не знаешь! Люди там не жили... Учительница рассказывала, что там раньше были горы, а в них жили медведи и волки. Когда случился взрыв, все сгорели... — Он закусил губу, помолчал и добавил: — Только, может, не все... Некоторые остались... Поэтому далеко ходить туда нельзя. А ты что думаешь?..

— Я... ничего...

— Это плохо. Всегда надо думать!.. Ну, пошли!

— Куда?

— Туда.— Мальчик указал в сторону крыш ближайшего поселка.— Мне пора в школу. А тебе?

— Я не знаю...

— Ничего ты не знаешь... Пойдем со мной!

— Хорошо,— сказал Борода.

Мальчик протянул ему руку, и они пошли напрямик через светлый сосновый лес. Густо пахло теплой смолой. На мягком ковре прошлогодней хвои лежали синеватые перекрещивающиеся тени, Солнце поднималось все выше,

СОДЕРЖАНИЕ

От составителя	3
<i>Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий</i> ЖУК В МУРАВЕЙНИКЕ. Повесть	9
<i>Наталья Никитайская</i> СОЛНЦЕ ПО УТРАМ. Рассказ	167
<i>Олег Тарутин</i> СТАРУХА С ЛОРНЕТОМ. Повесть	193
<i>Борис Никольский</i> ХОЗЯИН СУДЬБЫ. Рассказ	228
<i>Борис Романовский</i> ГОРОД, В КОТОРОМ НЕ БЫВАЕТ ДОЖДЕЙ. Рассказ	247
<i>Георгий Бальдывш</i> Я УБИЛ СМЕРТЬ. Роман	263
<i>Галина Усова</i> БУДЕШЬ ПОМНИТЬ ОДНО МОЕ ИМЯ... Повесть	400
<i>Илья Варшавский</i> СУММА ДОСТИЖЕНИЙ. Новелла	429
<i>Феликс Дымов</i> ГОРЬКИЙ НАПИТОК «СЕЗАМ». Рассказ	434
<i>Сергей Снегов</i> ЧУДОТВОРЕЦ ИЗ ВШИВОГО ТУПИКА. Рассказ	455
<i>Геннадий Николаев</i> БЕЛЫЙ КАМЕНЬ ЭРДЕНИ. Повесть	484
<i>Галина Панизовская</i> ОШИБКА. Новелла	536
<i>Вадим Шефнер</i> ЗАПИСКИ ЗУБОВЛАДЕЛЬЦА. Рассказ	548
<i>Александр Шалимов</i> СТЕНА. Повесть	565

«БЕЛЫЙ КАМЕНЬ ЭРДЕНИ»

Сборник фантастики

Составитель Евгений Павлович Брандис

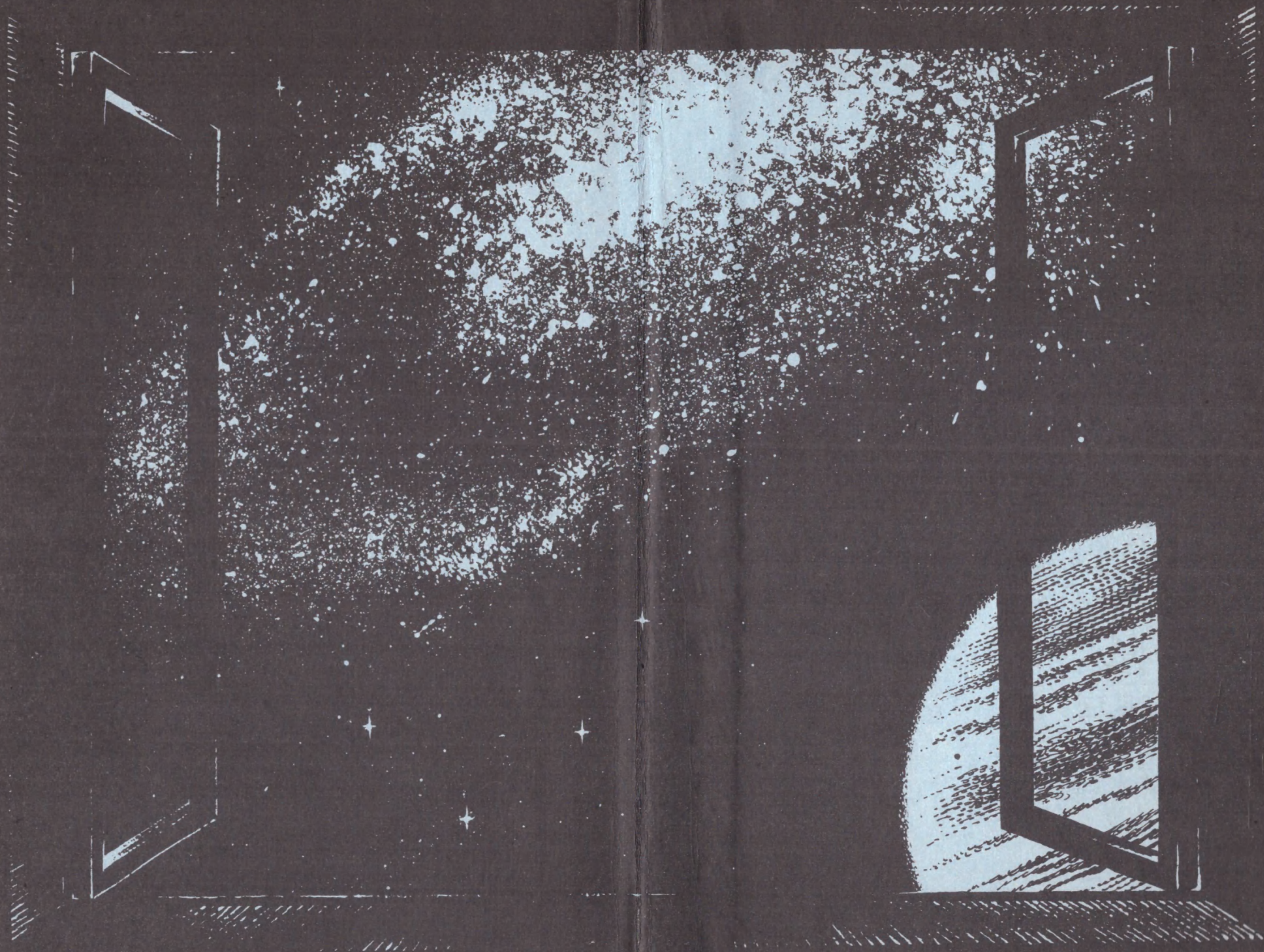
Редактор И. И. Слобожан. Художник А. В. Сергеев. Художественный редактор Н. Н. Гульковский. Технический редактор В. И. Демьяненко. Корректор С. А. Батюто

ИБ № 2166.

Сдано в набор 25.02.82. Подписано к печати 23.07.82. М-17629. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага газетная. Гарн. литерат. Печать высокая. Усл. печ. л. 31,08. Усл. кр.-отт. 32,13. Уч.-изд. л. 35,85. Тираж 100 000 экз. Заказ № 459. Цена 2 р. 40 к.

Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59. Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

Отпечатано в ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградском производственно-техническом объединении «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли, 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.



2 р. 40 к.

БЕЛЫЙ
КАМЕНЬ
ЭРДЕНИ

БЕЛЫЙ КАМЕНЬ ЭРДЕНИ

сборник
фантастики

